СЕРГЕЙ
ЗАЛЫГИН

2



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1989

СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ШЕСТИ ТОМАХ



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1989

СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ
ВТОРОЙ

СОЛЕНАЯ ПАДЬ

РОМАН

ОСЬКА — СМЕШНОЙ МАЛЬЧИК

ФАНТАСТИЧЕСКОЕ
ПОВЕСТВОВАНИЕ
В ДВУХ ПЕРИОДАХ

САННЫЙ ПУТЬ

РАССКАЗ



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1989

ББК 84Р7
З-24

Оформление художника
Д. ШИМИЛИСА

З $\frac{4702010201-315}{028(01)-89}$ подписное

ISBN 5-280-00786-2 (Т. 2)
ISBN 5-280-00785-4

СОЛЕНАЯ ПАДЬ

РОМАН

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Начиная с самой весны — потом все лето — громоздились над степью тяжелые облака, несли обильные грозовые дожди, а еще — тревоги.

Хлеба — на редкость урожайные сибирские хлеба осени девятнадцатого года,— уже тронутые рыжеватой сединой налива, как будто сдвинулись в сторону дальних и диких несеяных, некошеных трав.

И удивительно было, сколько же этот степной мир — с редкими деревьями, с частыми березовыми колками и сосновыми ленточными борами, с бесчисленными западинами пресных и соленых озер, с невысокими увалами,— сколько он может вмещать в себя забот и тревог? До каких пор он может это?

В селе Соленая Падь — богатом, базарном и церковном, известном далеко вокруг,— кузнецы день и ночь ковали наконечники к пикам, обручи к самодельной пушке... Дымные, приземистые кузни, неприметные до сих пор, позабывшие самих себя, вдруг воспрянули из веков, из далеких-далеких времен.

Снизу доверху воззваниями были заклеены деревянные столбы на крыльце обширной торговли купца второй гильдии Кузодеева — нынче главного революционного штаба. Их лепили одно на другое и рядом одно с другим.

Никто не боялся чьих-то слов, все мыслимое было уже произнесено: торжественность обещаний, беспомощность призывов, бесчеловечность угроз потеряли и настоящее и былое свое значение.

«Солдаты и крестьяне!— взывали крупные буквы на желтой выцветшей бумаге.— Всех вас зову я на общее дело! Солдаты должны рассеять те банды богоотступни-

ков, которые защищают гибельное для русских самодержавие народных комиссаров.

Крестьяне должны мешать продвижению большевиков и помогать нашей армии, идущей спасать наш умирающий народ.

Все мы должны свергнуть власть Советов, давших народу голод, войну, нищету и позор.

Спешите! Уничтожив самодержавие большевиков-комиссаров, вы, крестьяне и солдаты, тотчас начнете выборы в Учредительное собрание.

Я обещаю вам это перед лицом России и целого света. Порядок выборов в Учредительное собрание уже выработан, но война, которую ведут комиссары с армиями, спасающими родину, мешает нам избрать хозяина русской земли и навсегда наладить нашу жизнь так, как это решит сам народ.

Поднимайтесь же, крестьяне, которых вели на защиту родины и к победе Пожарский, Суворов и Кутузов, горожане, рабочие и купцы, которых поднял в смутное время Минин.

Я вас зову во имя России, во имя русского народа!

Вперед, на народных комиссаров! К Учредительному собранию!

К спасению России, к ее величию, счастью, славе!

Все поднимайтесь! Все вперед!

Верховный правитель и верховный главнокомандующий армией *Колчак*».

Сбоку и чуть ниже — другое:

«Братья крестьяне села Соленая Падь и волости! Ваша и другие смежные волости превращены в очаг большевизма, у вас народился самозваный штаб, попирающий законы и человеческую совесть, уничтожающий крестьян, которые трудом и потом нажили свое состояние.

Братья! Опомнитесь! Сбросьте ненавистных комиссаров, казните их немедленно, передавайте их в руки правосудия, представляющего грозную и справедливую власть верховного правителя Колчака!

Встречайте хлебом-солью, христианским благодарственным молебствием вверенные мне верховным правителем войска, двигающиеся к вам с великодушно протянутой рукою помощи!

В случае же малейшего вашего сопротивления я прикажу всей силой оружия — огнем артиллерии, пулеметов, саблями и кинжалами, а также сожжением — стереть с лица земли села, поддавшиеся безрассудному пороку отступничества от святой веры и русского государства.

Так повелевает мне долг, и так будет совершено, дабы пресечь порок и не позволить ему погубить Россию!

Полковник *Ершевский*».

На другом столбе, напечатанное на картавой машинке — «р» было вписано от руки лиловыми чернилами,— висело объявление:

«Товарищи крестьяне!

Для освобождения Сибири от ига разных самозванцев: Колчака, Анненкова и других тиранов, для восстановления Советской власти вы добровольно несете великие жертвы.

Ваши сыновья и братья сражаются в первых рядах революционных войск.

Сами вы по всей губернии прямо или косвенно участвуете в гражданской войне за счастье и волю.

Товарищи крестьяне! Снабжайте свою армию кожей, холстом, домотканым сукном и съестными припасами! Жертвуйте по силе возможности, помня об одном: от вашей дружной работы, от вашей солидарности и единства с революционной армией зависит успех вашего освобождения. Помните, товарищи, что эта борьба есть последняя борьба за освобождение трудового народа. И в ее успешном исходе — наше счастье, наше благополучие.

По окончании этой борьбы не будет ни разорительных войн, ни непосильных налогов, ни самозваных начальников.

Трудовой народ будет самостоятельным хозяином и творцом своей собственной жизни. Теперь же все, как один, дружно на помощь нашей революционной армии, нашим бойцам и семействам убитых героев-товарищей!

Агитационный отдел при главном штабе».

Наклеенные тестом воззвания были облеплены жадным роем мух, а на рассвете, покуда площадь бывала

еще безлюдной, сюда являлись козы. Задирая рогатые головы, они глодали объявления, торопливо перемалывали бумагу на острых зубах.

Уцелевшие листы шелестели под ветром.

В утро, когда через Соленую Падь прокатились отдаленные артиллерийские раскаты, было наклеено еще одно объявление:

«Товарищи крестьяне! Все уже слышали сластолюбивые колчаковские слова и обещания. И угрозы слыхали, и не надо нам еще угроз — мы и сами видим, как сластолюбивый Колчак жгет деревни, уничтожает взрослых и младенцев!

Артиллерийская белая расправа приближается к нам, товарищи! И она объявила нам, что мы больше не тыл нашей доблестной армии. Мы — ее настоящие бойцы и передовая позиция.

Каждый взрослый с сего 18 августа — боец!

Запомни это и пойми!

Народ, когда он приложит все свои силы, непобедим, и мы завоюем победу для самих себя и для своих детей, сколько бы она ни стоила жертв!

Да здравствует победа народа и для народа!

Главный революционный штаб краснопартизанской республики Соленая Падь».

Со всей степи, с дальних предгорий, с еще более дальних гор катились в Соленую Падь слухи.

Говорили разное: на помощь идет армия Ефрема Мещерякова...

Армия не идет — остановилась под Знаменской, даст бой полковнику Ершевскому на подступах к Соленой Пади...

Боя под Знаменской не будет — армия осталась в тылу у Ершевского...

Армия — неизвестно где, сам же Ефрем с тремя эскадронами идет в Соленую Падь. Примет главное командование...

Мещеряков Ефрем воюет с Колчаком скоро год, не проиграл ни одного сражения...

Родом он из села Верстово, Ефрем, с Нагорной степи, и еще задолго до войны верстовские мужики грозились его убить за корову.

Увел Ефрем корову зимой испытанным варначьим способом: обул ее в пимы, чтобы не оставляла на снегу следов...

Ладно — не убили тогда Ефрема за корову. Кто бы теперь над армией командовал?

Шли дезертиры из колчаковской армии, рассказывали: Колчак деревню сжег под городом Омском. Всю сжег. Двора одного не оставил...

Говорили: полковник Ершевский просит у верховного подкреплений, а верховный пригрозил повесить полковника на омской площади, если безотлагательно не возьмет партизанскую Соленую Падь... Партизанскую Москву — так нынче и называли это село далеко вокруг.

А еще — все и каждый — говорили: если нынче не будет боя, тогда будет суд над Власихиным Яковом Никитичем.

И действительно, суд был.

Собрались на площади у штаба, все село собралось, приехали люди из Малышкина Яра, из Малой и Большой Крутинки, из Старой и Новой Гоньбы...

Суд уже шел, а подводы все тянулись и тянулись по дорогам, будто белая артиллерия окончательно затерялась где-то в степях, среди увалов, ушла по одной из бесчисленных дорог куда-то в сторону, проглядев Соленую Падь, будто все окрест села и деревни получили обещание, что нынче они от боя с полковником Ершевским освобождены.

Шли пешие, ехали, вели разговоры...

— Сами судить будем... Кто на площади — тот и судья.

— Самосуд?

— И судить всеобще, и не самосуд, а по нонешнему закону.

— Ну, а если я крикну, чтоб стрелили Власихина-то? Я — отчаянный!

— Кричи. Кто тебя послушает?

— А как послушают?

— И очень просто — много нас, крикунишек-то. Посади меня за судью, так я то ли всех казнить велю, то ли освободить. У меня — середки нет!

— Кабы не судили Власихина — вот он был бы судья-я-а!

— Ты гляди, до чего народ дошел: сам власть назначает, сам за себя воюет, сам и судит, кого вздумает. Кто бы допрежь подумал?!

— Странно... То было — явится начальник, а я и видеть его не хочу. А тут сосед мой Игнашка — комиссар! Власть и властелин! И кажный божий день на меня через мое же прясло гляделки растопыривает. А ведь он мне, властелин этот, два целковых с тысяча девятьсот десятого году, с Моряшихинской конской ярманки, должон и не отдает, гад! Ну, как надоест он мне — да я его звякну чем? И уже вышло — я не Игнашку, а власть звякнул?.. Я так скажу: мне больше глянется, когда баба рядом, а начальство — где подальше. Ну, пущай покажется на глазах, постращает меня, в казну что отберет, ну, а после чтобы я обратно его ни сном, ни духом не видел!

— Не то время. Время — до мировой революции рукой достать! И нынче мы ее, мировую, сделаем, а завтра она нас, мужиков, сделает людьми. В корне изменит нас.

— Кого изменит, над кем — надорвется. У нас на выселке — Микишка Журавлев. Нога деревянная, к службе негодный, а бабу бить, самогонку жрать — это он разве что после третьей мировой бросит. Раньше — от его не жди!

— У этого — нога деревянная. А другой — весь деревянный, с ног до головы и обратно. На вид — человек, а сознательность его сроду не прошибет.

— Деревянному — удобнée жить. Износу нет.

— Все одно когда-то начинать на людей переделываться. С добра не начинается это, начинается с беды. Ну, а пуще Колчака беды в Сибири не бывало еще.

— Вот и надо сделать: Власихина Якова шашкой махнуть!

— Ты дурной либо из деревянных?

Суд шел по закону и порядку, утвержденному на этой же площади две недели назад.

Председатель суда Иван Брусенков — начальник главного революционного штаба Освобожденной территории. Члены суда: сельский комиссар Лука Довгаль по прозвищу «Станционный» (многие годы работал стрелочником на станции железной дороги), заведующий отделом призрения главного штаба Коломиец, четыре заседателя, избранные тут же меньше часа назад.

Протокол вела женщина из главного штаба, может и девица,— совсем еще молоденькая.

Судьи сидели за столом на просторном крыльце, левые руки у всех повязаны широкими красными лентами.

В углу крыльца вооруженный партизан стоял подле красного знамени Соленой Пади, за крошечным столиком сидела секретарша. А сбоку от судей возвышался чернобородый Власихин Яков Никитич, внимательный к любому — и к своему и к чужому слову. Похоже было — не его судили, он судил.

Председатель спросил: признает ли подсудимый состав суда законным и правомочным?

Он ответил, что признает:

— Свою руку подымал, когда затвердили нынешний революционный суд.

Зачитали обвинение — Брусенков зачитал, громко и ясно произнося слова, подавшись из-за стола вперед.

Голос у Брусенкова сильный, и сам он — с коротким ножками, но высокий и поджарый в туловище, с лицом сильно изрытым оспой,— какой-то неожиданный. Что сейчас человек этот скажет? Нельзя угадать. Он еще парнишкой бегал конопатым по деревне, а старики уже говорили: «Вострый будет мужик...»

Нынче Брусенков был строг, из-под маленьких детских бровей глядел настороженно, обвинение читал старательно, подставив под бумагу потрепанный картуз, то и дело одергивал длинную черную рубаху не очень свежего сатина и черную же опояску.

Когда кончил читать, снова спросил: признает ли Власихин Яков себя виновным?

И Власихин ответил, поглядев сначала на лица судей, после — в толпу, на площадь:

— Виновный я перед людьми...

Обвинение было такое:

«Власихин Яков Никитич, житель села Соленая Падь, тысяча восемьсот пятьдесят первого года рождения, обвиняется революционным законом в следующем: при объявлении мобилизации в красную народную армию он, Власихин, в ночь на августа девятого числа сего, девятнадцатого, года увез двух сыновей своих, Якова и Николая, в неизвестном направлении и спрятал, дабы уклонить старшего из них, Якова, рождения тысяча девятьсот второго года, от указанной мобилизации, второго — Николая — по неизвестной причине.

Вернувшись в Соленую Падь, он, Власихин Яков Никитич, в ночь на пятнадцатое августа явился не-

медленно в сельский штаб и заявил сельскому комиссару товарищу Довгалю Луке Ивановичу о содеянном, после чего был взят под стражу. Местонахождение сыновей назвать отказался, указав только, что перешел линию фронта и спрятал их в урмане, откуда они не смогут в скором времени возвратиться и не могут быть найдены и мобилизованы ни красными, ни белыми властями. Все указанное действие его, Власихина, от начала до конца является тягчайшим преступлением против народа и подлежит революционному суду народа».

— Каешься?! — крикнул Власихину с площади чей-то удивленный, уже немолодой голос.

Власихин и на этот голос обернулся, подождал, не крикнет ли с площади еще кто.

— Не каюсь, а признаюсь...— Расстегнул белый холщовый ворот, обнажив неожиданно седую грудь. Сам он был черный, смоляной, а годы его, почти полные семьдесят лет, вот где отпечатались — на груди.

Жаркий был день.

Далеко со взгорья, минуя церковную маковку, а совсем вблизи — железную, покрашенную в зеленое кровлю двухэтажного дома купца Кузодеева, нынче помещение главного штаба, на площадь, на головы и лица людей падали солнечные лучи. В этом густом и желтом потоке время от времени проскальзывали лучи совсем светлые, молодые, как будто народившиеся не от августовского летнего солнца, а от весеннего — майского, а то и апрельского, как будто не с запада смотрело солнце на землю, а только еще подымалось с востока. И похоже было, Власихин заметил этот особенный свет, улыбнулся. Глядя на него, и другие мужики тоже расстегнули вороты домотканых рубах.

Иван Брусенков поднял руку с красной повязкой.

— Вопросы от народа подсудимому не ставить! Сперва их будет ставить суд! — И сам спросил: — Объясните, подсудимый Власихин Яков Никитич, когда вы сознательно признаете свои действия как направленные против народной власти, почему же вы совершили их?! Почему, не глядя на свою же собственную сознательность, совершили?

Власихин задумался.

— Правильный вопрос... А совершил — потому что не думал в то время, хорошо ли, плохо ли совершаю. Бессмысленно мне было под самого себя подбивать за-

кон, хотя бы и того справедливей был закон, того правильнее... Когда бы я не сделал своего — народ бы меня сейчас не судил бы, нет. Судил бы я самого себя, и осуждение я сделал бы себе до того края, за которым у меня жизни уже не было бы. И какой бы мне ни был решен нынче народом приговор, какой бы он ни дал, народ, отзыв на мое действие — отзыв этот все одно будет мне легче, чем собственное мое осуждение.

И опять Власихин глянул на площадь.

Он знал — судить его непросто. Трудно и тяжко было его судить...

Двадцать лет служил Власихин срочную и сверхсрочную службу. И пока служил — отписывал землякам письма.

Просились в общество переселенцы из разных российских губерний — общество спрашивало у Власихина, а он письмом отвечал, принять либо отказать в просьбе.

Напала на деревню нездешняя, незнакомая хворь — служивый уже шлет письмо, как от хвори той лечиться.

Вышел спор с малышкинскими мужиками на сенокосной грани — его же спрашивают: какие у Соленой Пади имеются права на спорную землю, не помнит ли служивый, в каком году и кто пробивал ту межу?

Вернулся Власихин с долгой и дальней своей службы — его всей деревней встречали, и советчиком он стал всей волости, всему уезду. Везде его знали, отовсюду шли к нему. Он жалобы и прошения писал — городские писари против него ни умом, ни уменьем не выходили, он по крестьянским делам в Петербурге у министра был, а сколько раз в губернском городе — счет потеряп.

Мужикам Соленой Пади соседние деревни завидовали:

— Нам бы вашего Якова Никитича!

Нынче Яков Никитич стоял перед судом...

— Ну, ладно,— задал ему вопрос Лука Довгаль, сельский комиссар Соленой Пади,— старшего сына ты увез в урман и спрятал от народной военной службы. А младшего зачем? Для какой цели?

— К подсудимому обращаться по закону,— быстро сказал Брусенков.— То есть говорить ему «вы». Понятно, товарищ Довгаль? Понятно всем, товарищи присутствующие?

Довгаль кивнул, будто за всех, и чуть оробел от замечания, а еще оттого, что сам понял — вопрос он задал,

будто чего-то стесняясь, будто жалея Власихина. Чтобы никто о нем этого не подумал, он встал за столом и, повысив голос, потребовал:

— Отвечайте, подсудимый, на заданный вам судом вопрос!

Но Брусенков снова Довгаля поправил:

— Голос на суде не подымают. Говорят ровно и гладко, только чтобы все слышали. Не более того.

Власихин молчал. И на площади люди молчали. И за столом суда — тоже.

...Когда вернулся из солдат Власихин, он вернулся не один — привез с собою девочку.

Тихая была девочка, хотя и проворная, с тоненьким голоском, с большими, всегда открытыми, но незрячими глазами. Слепая была и сиротинка. Прибилась к нему еще ребенком, из солдатского котелка они сколько лет вместе щи хлебали, кашу ели...

И очень она была ему под стать, бобылю,— семью заводить не надо, поздно уже заводить, и хозяйка в доме...— сготовит и зашьет, к празднику в избе уберется. Слепота ей в работе не мешала.

А потом вот что случилось: она ему двух сыновей родила. Одного за другим. Обоих сразу и грудью кормила — и ползунка и колыбельного.

Сначала от Власихина народ сильно отшатнулся, особенно женщины, до того это было неожиданно. Но они же первыми с новостью примирились, привыкли. Да и мужики тоже — наверное, даже меньше его уважали бы, Власихина, если бы не тот случай: Власихин и в самом деле должен быть не как все. Не обыкновенный ведь он человек! Вот и жена у него — не как у всех!

К тому времени Власихин получил большую часть хозяйства умершего старика отца — отец его жил за сто, и похоже было, сын проживет не меньше.

С девочкой-слепушкой он обвенчался; парни подрастали. Хозяйствовал он больше с помочами, сам же день и ночь занят был делами общества. Сколько его ни просили, он так и не согласился на должность: ни волостным старшиной, ни в Кредитное товарищество — никуда, но от общественных дел не отказывался никогда ни словом.

Но не удавалась ему жизнь, не удавалась, и только,— лет десять назад погибла его девочка-жена.

Глупо погибла — вышла в масленицу из дома, а по улице мчалась шальная тройка. С лентами, с бубенцами, с пьяными гуляками в кошевке.

Метнулась от этой тройки слепая, но не в ту сторону — под коренника угадала.

Хворала долго, а когда умерла и хоронили ее, женщины выли, будто у каждой собственный ребенок погиб.

Оказалось — все любили ее, все будто света в окошке лишились.

Вдовец же Власихин, как в разных рассказах бывает, а в жизни редко, ходил на могилку слепенькой каждый день, не женился, даже няньку не брал в дом, сам воспитывал-выкармливал мальчишек своих, любил их бабьей любовью и только что по улице за ручки не водил по-городскому.

После отдал старшего в обучение купцу Кузодееву. До первой революции Кузодеев держал в Соленой Пади и в окрестных селах большую торговлю, а вскоре, как народилась Советская власть, бежал на Восток, говорили даже — в Китай, потому что при конфискации у него магазина оказал вооруженное сопротивление.

От Кузодеева и учился старший Власихин-сын, и выучился не одному только торговому делу — не скрывал он своей приверженности к хозяину, а когда объявился Колчак, то и Колчака величал «верховным».

Младший же Власихин, Николай, тот силой рвался к партизанам, умолял взять его в народную армию, когда отказали по малолетству — сам напрашивался стоять в караулах у поскотины либо у помещения штаба. И тогда отец, чтобы не шел брат на брата и сын его на его же сына, увез обоих в урман, поселил в какой-то скит либо просто в охотничью заимку.

Так было...

Теперь, когда Лука Довгаль допрашивал Власихина — зачем он и младшего своего сына, непризывного возраста, тоже схоронил от людей,— вопрос не только самого Власихина смутил, на всей площади люди притихли. Долго и терпеливо ждали, что Власихин в ответ скажет.

Он сказал:

— Сколько я людя́м служил — тут не смог. Тут самому себе сослужил, и сразу же против людей это вышло...

От маленького столика поднялась девушка-секретарь и, обращаясь к Брусенкову, заявила:

— Товарищ председатель! Подсудимый дает ответы весьма неопределенные! Нет никакой возможности занести такие ответы в протокол судебного заседания!

По виду она была совсем городской — девица, в ситцевом светлом платьице, с непокрытой темной головой. У нее было сосредоточенное выражение лица,— и выражение это, и чуть заметное замешательство, с которым она выговаривала строгие слова, к ней располагали, но не настолько, чтобы сразу же и простить ей ее нездешний вид, а главное — должность. Девке ли в суде писать?! И в каком суде! Над каким мужиком!

— Напишет — после концов не сыщешь по написанному!

Брусенков услышал и это замечание, встал и еще старательнее, еще громче сказал:

— Секретарь суда, член главного революционного штаба Освобожденной территории товарищ Таисия...— хотел назвать девицу по отчеству, но отчества не вспомнил,—товарищ Таисия Черненко предъявляет к подсудимому по закону. Она правильно предъявляет: это не ответы на вопросы, гражданин Власихин, а личное ваше выражение, вовсе не годное, чтобы записать его в протокол. Прошу относиться к себе, как к подсудимому, и к суду, и ко всем присутствующим товарищам со всей законностью, а не просто лишь бы как...

Власихин кивнул. С замечанием согласился:

— Верно: не каждое слово на бумагу ложится.— Обернулся к Таисии Черненко.— Запиши так... Зная, что действую противу закона, я все одно увез обоих сыновей своих из желания охранить их от войны... Охранить от войны... Так и будет ладно. Для записи.

Еще задали вопрос Власихину. Один из народных заседателей спросил его:

— Ты, Власихин, знал — на преступление идешь. На что надеялся? Что суд окажет тебе снисхождение? Или — как?

— Надеялся, суд не вражеский. Не колчаковский. Надеялся, кажный судья не только что меня — себя будет судить.

— Это как?

— Судья не только другого когр, но и сам себя судит. Над собою чинит суд, над совестью своей и человеческим понятием. Себя на подсудимое место ставит, а вовсе не потому судит, что сильнее, что зубов у его и когтей больше, как у подсудимого.— Обернулся к Таи-

сии Черненко и снова пояснил: — Запиши, барышня: подсудимый объясняет, что надеялся на справедливый и человеческий суд. Крепко надеялся!

— И тебя, Власихин, этот суд совсем особо поймет и особо оправдает, хотя бы и против закона! — подсказал Брусенков, забыв, что требовал обращаться к подсудимому на «вы». Подсказал и улыбнулся.

Но Власихин подтвердил серьезно:

— Так... Особо поймет и особо оправдает. Именно!

— С умыслом, значит, сынов от народу прятал?

— Не с умыслом, а с надеждой. С надеждой, что нету возможности братьям родным воевать между собой, потому что один — белый, другой — красный.

— Ты гляди на его-о-о...— сказали на площади удивленно.

— А что? Я свою жизнь сколь мог, столь и делал миру добра. Так неужто мир про это забудет нынче? Мало его слишком, добра-то, чтобы забывать. Когда его вовсе забудут, то, может, как раз миру и крестьянству всему конец сделается?! А я не верил в это! Нет, не верил в конец-то... Народ восстал. Он же — за справедливое восстал! Не ради же того, чтобы и то малое добро, которое в жизни есть, в грязь втоптать? Запиши, дочка: подсудимый доказывает, что, когда бы он не верил суду и справедливости, он запросто со своими сыновьями в урмане скрылся бы, а не явился за судом над самим собою. Однако он, Власихин Яков, явился — не мог без суда прожить.

— Значит, за святого перед нами желаешь выйти за дела свои? За престольного, храмового святого либо за апостола?

— Святым не был. А когда у другого была сильная беда, он не к попу шел — ко мне. И я тоже не к попу иду, а к народу. Я в народ верующий. Какой он ни есть, народ, но верить больше не в кого, как в его. Это и на бумагу ляжет. Ясно и понятно ляжет: верующий! Про себя я об этом могу хотя какую страшную клятву дать. Но и клятва ненужная здесь — заместо нее и пришел я сюда, на этот суд. А еще хочу спросить товарища главного над собою судью: он-то верующий в народ? Одной мы с ним веры либо разной?

— Подсудимый Власихин! — поднялся Брусенков.— Здесь суд, а не церква! Мы не исповедь принимаем, а судим вас. По революционному закону и судим. За совершенное преступление.

Почти одновременно с Брусенковым поднялась Таисия Черненко — теперь она сама хотела задать вопрос подсудимому, она торопилась задать его, перебила Брусенкова:

— Скажите, подсудимый, вы читали книжки писателя графа Толстого?

— Разных я читывал. И когда в солдатах, и когда по чистой вышел. И графов Толстых читывал, и простых.

— Значит, вы принимаете философию графа Толстого? Так?

— Разве про то речь, барышня... Разве про то, доченька, нынче?

— Подсудимый! Народный суд, он — народный и революционный. Без барышень и без дочек. Учтите и обращайтесь к суду по закону! — снова сказал Брусенков строго, а подсудимый уже вел разговор с людьми на площади.

— Ты власть Советскую признаешь? — спрашивали его.

— Суд признал от новой власти. Которая — за Советскую. А как бы самую-то власть не признал?

— Боишься ее?

— Не боюсь. Я никакой власти не боюсь!

— Это как?

— А много я власти видывал. И цену знаю ей. Двадцать годов в солдатах, и кажный день, да и в ночь еще на нарах — она всегда с тобой рядом, власть. Кажный день давит тебя законом, а для себя закона не знает. Хотя бы установили навсегда: один закон для народу, другой — для власти. Вовсе бы для ее другой закон, вовсе легкий. Нет, власть и этак не хочет. Ей сроду никакого закона не надо! Не хочет она его!

— Ты это — про царскую или про Советскую?

— Советскую не успел углядеть, коротко она была у нас. Однако народ за ее с надеждой. А я — за народ.

— А может это быть — чтобы народ был и чтобы он же был властью?

— Товарищи! — крикнул Брусенков и еще громче крикнул: — То-ва-рищи! Этого же нельзя забывать, что у нас здесь суд! Мы текущий момент с подсудимым обсуждаем либо как? Мы до какого времени будем тут заниматься? Может, покуда беляки нас всех не переколют?! Военное же время! Призываю к порядку! Тише!

И он застучал кулаком о стол, а на крыльцо взобрался однорукий Толя Стрельников, командир ополче-

ния Соленой Пади. Он всегда был своевольным, Толя Стрельников, всегда любил на народе пошуметь, а когда вернулся с фронта с культей на месте левой руки, то уже и в самом деле умел призывать, речи говорить. Его слушали и, культяпого, выбрали командиром ополчения, а когда выбирали сельского комиссара, то он совсем немногим меньше получил голосов, чем Лука Довгаль.

Взобравшись на крыльцо к самому столу, за которым сидели члены суда, Толя взмахнул единственной рукой и, заглушая поднявшийся шум, прокричал Брусенкову:

— Ты, председатель, на народ по столу не стукай! Народ сюда прибыл не для того, чтобы ты — раз! два! три!— до трех сосчитал, а все бы глазами только сморгнули! Не фокус в балагане пришли глядеть — человека судить. Якова Власихина, вот кого! Должон я знать человека до конца, когда я сужу его, или не должон? Может, мы его стрелим, а мыслей его уж не узнаем сроду! Что касается ополчения — оно выставленное на всех дорогах, и это уже не твоя забота! Ты хотя и власть, но чисто гражданская, а за караулы отвечаю ныне я!

— Дисциплину под себя подминаешь, Толя, вот я о чем!— миролюбиво, даже как-то ласково объяснил Брусенков Стрельникову.— Ты пойми!

— А заместо дисциплины личный анархизм тоже не вводи! Мозги у каждого собственные, а ты, когда засомневался в вопросе, ставь на голосование, не только на себя и надейся! Это когда нас пятеро или четверо, а тут же — народ!

— Ну, не перебивай, товарищ Стрельников, еще предупреждаю! В правилах для Освобожденной территории — иначе сказать, для нашей республики — ясно записано: собрания проводить правильно, ораторам выступать по одному. А ты самого председателя перебиваешь!

— А я тебя не перебиваю. Я — укорачиваю!

— Командир — должен бы порядок понимать. У кого еще вопрос?

Толя Стрельников не уступал:

— Он и есть все тот же вопрос: может ли быть народ сам над собою властью? Отвечай, Власихин!

— Это правильный идет суд!— поддержал Толю Стрельникова Власихин.— Глядит до края — кто на подсудимой скамейке, какой человек? Не с одной только стороны подсудимого оглядывает. Пущай меня допро-

сят, а дойдет — я ответить не смогу, для людей слов у меня нет, я и об этом, не скрываясь, скажу. Когда же меня народом допрашивают, я и высказываться должон тоже до конца. И я скажу: испытывались уже многие народы, на этом испытывались, чтобы самим собою управляться, но по сю пору ни у кого добром не кончалось. Не было такого случая!

— А нынче — может случиться?

— Нынче — может...

— Почему так?

— От большой беды уходим. И да-алеко от нее должны уйти, чтобы она к нам вновь и еще сильнее не пристала! Все должны наново переменить, всю свою жизнь. Сможем ли? Одно знаю — другого исхода нынче нет!

— Гляди, Власихин-то за пророка робит!

— А ты слушай знай. Слушай, не гавкай!

Власихин и здесь понял, что на площади говорится, откликнулся:

— Какие нынче пророки? Их вот делали-делали для народу, святых-то, а они взяли да против народу же и пошли!

— Ни святых, ни власти — мужицкий бунт до края! Так, что ли?

— Не так! Народ бунтует — а почему? Не против власти вовсе, а ищет власть, чтобы к ней прислониться. Он спит и видит власть, чтобы она от справедливости происходила и сама для себя закон блюла... Ведь как мы сами с собою управимся? Как в самих себя верить будем, долго ли? В себя и не в кого больше верить — отчаянность страшная! Покуда не погрешил, не обидел, как младенец свят — это просто. Они потому, младенцы-то, ни бога, ни власти не знают, что сами святы. А вот в себя в несправедливого верить, беззаконием закон устанавливать — это как? Своим собственным умом кажный час, кажный день жить, и ничьим больше?

— Мужики! Народ! Он — контра или кто?

Вскочил с места Лука Довгаль-Станционный и, не обращая внимания на председателя, прокричал:

— Скажи, подсудимый, а рабочего ты признаешь? Есть для тебя святой лозунг: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» — или нет? Не существует он для тебя?

— Для меня нету его.

— Тогда объясни, почему нету?

— А что городской тот рабочий? Не хозяин он на земле. Он — как сапожник: настоящему пахарю сапоги

изладить, и все! Что ему прикажут, то и сработает. Работает, а работы не видит. Сделал гайку, куда она пошла, зачем и кому — у его капли заботы нету, хотя ты выкинь ее в отхожее место — абы уплачено было. Он какую хошь вредность фабричную сделает — отраву, газов, чтобы людей на фронте, ровно мышев, травить,— ему все одно. Лишь бы жалованье шло. У меня труд — он не выдуманный, он с человеком вместе рожденный. Ты не плати мне вовсе, я все одно буду сеять, хотя бы для себя, когда не для продажи. Это — труд сущий. Труд, а не нанятая работа! А у него какой это труд? Служба, а не труд! Он свободу от капиталиста провозглашает, кричит, будто свободу несет! Какую свободу? А кто его, капиталиста, произвел? Крестьянин или кто? Он же, рабочий, его и произвел своей службой, вовсе не я, мужик! Это не от меня, от его пошло, что все продается и покупается — все! Он — нужон, рабочий. Без его нельзя. Понятно. Но почто его надо плодить по земле без конца и краю?

— Вот здесь ты провозглашаешь гибель народу,— снова заговорил Довгаль,— когда хочешь мужика от рабочего отколоть. Товарищи, я это особо говорю, чтобы все слыхали: высказался до самого конца подсудимый! У народа один варвар — Колчак, а кто против рабочего либо против крестьянина — тот враг обоим! Нельзя представить, сколько нынче рабочий приносит неисчислимых жертв, когда борется с Колчаком на железной дороге и в мастерских, а у нашего подсудимого такие слова на уме! Позор и несчастье, когда мы поверим ему! В этих его словах — полный конец мировой революции заложен! Он ее, мировую, убить хочет, когда она — еще младенец! Предать и убить, как тот иуда! Товарищи! Пролетарию — ему держаться больше не за что, только за правду и справедливость! У него нет другой приверженности, у него голова не затуманена личной собственностью и даже собственной личностью. В нем, в каждом — сердца мильонов, и мысль мильонов живет и трепещет! Он не так себя слышит, сколько голос масс, и надежду масс, и веру в великое будущее слышит он в каждую минуту! Забота у него не о себе — о трудящемся народе, сколько его на свете! Или пролетарий не сознает, что без мужика — ни государства, ни народу нету? Или забыл, что вся страна от мужика пошла? Или позволит когда мужику погибнуть? Ничего такого не будет сроду и не может быть, потому что это для самого

же пролетария — гибель и для всех людей — гибель! Почему же тогда мужик Яков Власихин, наш подсудимый, замахивается на пролетария?

Небольшое аккуратное лицо Довгаля покраснело, голос у него дрожал, он вышел из-за стола и наступал на Власихина, и Власихин как будто только сейчас понял, что его судят, и отступил вдруг, оторопел. Довгаль же произнес уже тише и спокойнее:

— Когда пролетарии всех стран не то что личное, а всяческое различие между собою ликвидируют и, будь то татарин либо француз, все нации соединятся в одно пролетарское целое — это какая же получится сила? И какая правда? И какая настоящая жизнь пойдет вместо нонешней подделки? Вот к чему Власихин глухой оказался — к правде всех правд, к справедливости всех справедливостей! Вот почему он и сынов своих спрятал от священного долга мировой революции, навсегда опозорил их! Мы не только что от себя — от имени его детей его судим! И нам власихинская справедливость не нужна — нужна своя собственная! Ясно и понятно!

— Товарищ Довгаль, высказался? До конца? — спросил Брусенков.

— До конца!

— Какую же ты после всего предлагаешь меру подсудимому?

— Народ скажет какую...— проговорил Довгаль.— Скажет ясно и понятно...

— А меру надо было тебе высказать, Лука! — сказал Брусенков Довгалю, когда тот сел за стол.— Говорил ты ладно, но не до конца. Он ведь крепкий, Власихин. Ты, может, и не знаешь, какой он крепкий? Его сперва надо отделить от его же слов, от всяких воззваний, как овечку от стада. После уж, когда он один останется...

И Брусенков поднялся и громко повторил то, на чем кончил Довгаль:

— Ясно и понятно! — повторил он. Замолк на минуту.

— Он-то непонятный, Власихин сам...— сказали на площади.

На этот голос тотчас отозвался другой:

— Стрелить его — враз понятный сделается!

Брусенков подтянул рубаху, поясок на поджаром своем туловище, поднял руку. Откашлялся.

— Товарищи! Правильно было сказано — уже понятно все. Но как обвинительная речь поручена мне...

Огибая дом главного штаба, появился верховой с берданкой за плечами. В нем тотчас узнали дозорного со Знаменской дороги.

Дозорный спешился перед крыльцом, бросив повод на шею невзрачного пегого мерина, и, припадая на одну ногу, приблизился к Брусенкову. Должно быть, эта неровная походка пожилого, не совсем здорового человека и торопливость, с которой он двигался, весь его значительный вид тотчас объяснили, зачем он прискакал, почему спешит. Он не сказал ни слова, а на площади уже закричали:

— Мещеряков прибыл!

— Главнокомандующий!

— С армией или как?

— Так точно, Мещеряков, товарищ главнокомандующий прибыли! — отрапортовал дозорный на всю площадь.

— Видел его? Сам? — спросил Брусенков.

— Как тебя вижу! Стал на Увале... Оглядывает местность и коням дает отдых. Сейчас квартерный его будет, после, ввечеру, прибудут сами.

— С армией? Или с отрядом только?

— Может, и не с армией. Но — много их. Вершние все. Вооруженные сильно!

— Тогда беги назад, встречай квартирмейстера его! Быстро чтобы!

Дозорный отдал честь, не очень ловко вскарабкался на меринка...

— Судить будем? Или Мещерякова кинемся встречать? Аж на Увал? — спросили с площади, но вопрос уже запоздал.

— Ур-ра Мещерякову!

— Ур-ра товарищу!

— Дождались Ефрема! Дождались ведь! — кричали на площади, и толпа таяла, устремившись в переулок в направлении Знаменской дороги.

— Товарищи! Граждане! — крикнул Брусенков, размахивая картузом.— Будем приветствовать товарища Мещерякова своей дисциплиной, то есть закончим наш суд! Поймите все — суд должон идти и дальше, как до сих пор он шел!

— Мешкать-то к чему? Старики! Куда подевались? Бегите по избам за хлебом-солью!

А Брусенков тоже кричал все громче и громче:

— Пусть которые пойдут приготовятся к встрече! Но масса-то, товарищи, масса-то — она же здесь должна завершить свое дело!

— Корову, старики, может, обуем, да и выведем ее встречать на Знаменскую дорогу? Корову в сапогах?!

— А это кто гудёт? Какая контра?

Власихин тоже крикнул «ура», но крик его обернулся на шепот... Он подался было с крыльца — маленький конвоир преградил ему дорогу. Заслоненный фигуркой конвоира чуть выше пояса, Власихин вытирал на лице пот и улыбался странной, растерянной улыбкой.

В одно мгновение он оказался забытым и толпой и судом и как будто сам о себе забыл что-то — хотел и не мог вспомнить... Поглядел на Довгаля — тот, не успев еще остыть от своей суровой речи, уже чему-то смеялся.

И только один человек о Власихине не забыл. Брусенков не забыл о нем.

Он и конвоиру дал знак, чтобы удержал Власихина на крыльце, и теперь во что бы то ни стало снова хотел сделать из толпы суд:

— Товарищи! Граждане! Какой может быть революционный порядок, когда мы ровно дикие сделались? — спрашивал он с надрывом.— Поглядите на себя, товарищи, ведь вы же — суд!

— Товарищи! Граждане! Главный революционный штаб Освобожденной территории призывает вас... Или мы уже всякую сознательность потеряли перед лицом собственного подсудимого врага?

Все гудело кругом.

Брусенков постоял молча, потом обогнул стол, за которым не оставалось уже ни одного члена суда, и сел. Не очень громко сказал:

— Суд над врагом народа Власихиным Яковом продолжается.— А когда стало чуть тише, повторил снова и громче:— Суд продолжается! И еще предупреждаю: как суд совершит свой приговор, хотя бы каким числом голосов, так он здесь же, не сходя с этого места, исполнит его... Ввиду военного времени.

— Здесь? На площади?!— переспросили Брусенкова.

— Здесь и будет...— подтвердил он. Одернул на себе рубаху, подтянул поясок, потом поднял руку.— Много

уже говорилось, говорилось морально, а я напомню белую артиллерию и спрошу: кто ее нынче не слышал? Все слышали, и никто не может тот грохот забыть. И когда мне была поручена судом обвинительная речь, то я обязан сказать... Сказать, что и как происходит, потому что нету нынче в жизни момента, чтобы мы проходили бессознательно... И вот я спрошу: когда верховный Колчак погнал наших детей под ружье — что мы, старослуживые, сказали ему? Мы сказали: сами пойдем и не в первый уже раз бросим семьи на произвол, но детей не отдадим! Война, пусть она и страшная, все ж таки война, пока солдаты с солдатами воюют. Когда же, мало того, дети идут на убой — это гибель народу, и сердце человеческое не может стерпеть, когда знает, что его муки еще и детям перейдут! И нету такой власти — это уже не власть, а одно злодеяние,— которая бы и отцов и детей гнала бы на гибель, и нету того народа — это уже не народ, а рабы сплошь,— который бы такую власть над собой терпел! Вот что мы сказали Колчаку, но его верховного ума не хватило народ понять, а хватило признать таких же, как сам он, иностранных тиранов, которые только и знают кричать, что они спасают русский народ, не глядя, что народ не чает, как бы спасителей этих заколотить навеки в гроб... Ну, а после того? После я сам сделал над собой, что никакая власть сделать была не в силах,— послал сыновей воевать. Объяснил: может, Колчак в нашей Соленой Пади двадцать только молодых рекрутов и взял бы, остальные бы дома остались, а сами мы своею рукою ребятишек голопузых и тех в караулы посылаем. Колчак в Знаменской шесть дворов пожег, девять человек зарубил, а мы поднялись воевать,— может, и Знаменская и Соленая Падь до последней избы очень просто сгорят... Как же получилось? Как могло произойти? А как произошло, что по-другому народ нынче уже не может, ибо перешагнули через его терпение! И я не скотина, чтобы мимо такого же, как я сам, на казнь вели мужика, а мне бы забота — травку щипать! Может, в другом государстве терпения этого больше — мой час настал! Другого исходу нету, как навсегда, любыми жертвами, избавиться от дикого тиранства, не ждать больше, когда из тебя то ли каплю по капле, то ли за один раз всю кровь прольют, из всех стран кровопийцам в окончательное растерзание тебя отдадут! Вот как я и любой другой на моем месте объяснил сынам, а которые мо́лодежь, так

и сами по себе еще лучше отцов и дедов все поняли!.. Это общее, а нынче я перехожу к Власихину...

Быстро-быстро Брусенков скользнул взглядом по фигуре подсудимого, заметил, что он растерян... Растерян, и началось это для него с речи Довгаля-Станционного, продолжилось, когда толпа осталась судить его, далеко не вся кинувшись навстречу мещеряковскому отряду, а сейчас Власихин ждал решительного удара... Сосредоточенно ждал, вникая в каждое слово обвинительной речи, догадываясь о том, куда эта речь ведется, чем кончится.

Власихина никак нельзя было взять да засудить, вынести ему приговор,— его надо было прежде сломить, чтобы он, если уж с приговором не согласится, так не смог бы ему и противостоять, не смог бы пойти на смерть с убеждением, будто прав он, а не судьи его. Задолго до суда Брусенков знал, какая предстоит ему задача — сломить апостола на глазах у народа. Знал и надеялся не только на себя, но и на Власихина, что тот, не найдя слов оправдания, не скроет этого перед людьми, не сможет скрыть своего поражения.

И вот чувство растерянности Брусенков уловил наконец на лице подсудимого, заметил, как тот провел рукой по кудлатой своей голове.

И еще заметил, что по переулкам и кое-кто из народа стал возвращаться обратно на площадь...

— Перехожу нынче к подсудимому,— снова повторил Брусенков:— Товарищи! Мужика каждый обманывал. Поп сколь меня обманывал, и царь, и Колчак, и всякая мелюзга обманула меня прошлый год весной, и я позволил той мелюзге Советскую власть спихнуть. Но больше всего обида мне — когда меня свой же, только шибко умный мужик обманет. И не Кузодеев-мироед — с того что и взять, тот всем и каждому известный,— а мужик, которому я верить привык, как честному. Тот мужик благодаря своего ума должон бы сказать в свое время совет: ты, Иван, либо ты, Марья, детей на царскую войну не отдавай, хорони как можешь, в урман куда увези. Глядишь, кто бы и сделал в то время, понял бы, что война — она глупая, кровопролитная и ничего человеческого в ей нет. Кержаки, староверы не отдавали же детей в службу! Не чужие их научили, свои, истинно свои люди. Но нашего, сказать, умницу призыв в ту пору не касался, его детки малые еще были. Вот он и молчал... Он и прошлый год, такой умный, не

говорил нам Советскую власть спасать и беречь. Которые и поменее грамотные, и поменее у них было ума — говорили. Не боялись, что мужики им не поверят, а временщики всякие расстреляют. А ведь ему — умному-то — как раз и поверили бы, как раз и не стрелил бы его никто: он же в апостолах средь народу ходил! Мы за это не судим. Не имеем правов. Когда добьемся — закон сделаем совестью, а совесть законом,— тогда и за умолчание правды суд тоже будет. Недолго уже ждать осталось. Вовсе недолго. А покамест все одно получается вывод: народ нашему подсудимому нужон, чтобы быть среди его первым и почетным, но с народом беду делить — на это его нету! Когда народ потребовал от его службы и жизни — то он пошел и обманул. А когда так — мошенник он и вор нашей действительной свободы. Вот он кто!

И снова Брусенков бросил взгляд на Власихина и теперь уже уверился: погиб Власихин. Конец ему...

Но речь кончить Брусенков еще не хотел. Покуда стоит рядом подсудимый, вытирает пот с лица и глядит куда-то далеко, а на самом деле никуда не глядит, ничего не видит, потому что повержен он,— в это время и объяснить и втолковать людям мысли самые главные, на которых все держится и держаться будет, за которыми встает уже победа правого дела!

И снова спросил Брусенков:

— Мы за что боремся? Боремся за свободу, равенство и братство. И мы уже на сегодняшний день имеем великую победу — равенство мы имеем! У меня стеснения нет про себя сказать, про товарища Довгаля либо про командира Стрельникова: мы власть гражданская и военная, а что у нас за этим? Какая корысть? Жалованье нам идет? Личное облегчение выходит? Нет ничего и не может быть, потому что когда бы появилась корысть — то я уже не народная, а та же самая власть, против которой народ и пошел. Нам всем война наша эту великую победу дала — равенство дала, и я скорее помру, чем позволю себе от этой первой победы хотя бы крошку себе урвать! Только от этого и все другое пойдет — и свобода, и братство, и счастье! И от народа — от его беды и жизни — убереженных сынков у нас не должно быть! Потому что с тех сынков кончается народная власть, а начинается власть над народами! Та самая гиблая власть возвращается с ними! И не должны мы слушать, когда говорят, будто власть наша большая,

а пользоваться мы ею вовсе не умеем — только что грабим, отымаем, убиваем. Враки все! Нету этого и не может при равенстве быть! Наша власть — вся на виду, всем равная. Судите ее, вот как Власихина судим нынче. В чем недоглядела, что сделала худо — все на нашем знамени отпечатывается, а оно, знамя это, для всех настежь открытое, для каждого трудящегося в каждой стране!

А та власть, которая до нас была, она с виду была одна, а в действительности другая. Она только и делала, что вид показывала. Она народ обирала — говорила: это благодать ему делается, для его же пользы. Она честного убьет, а газетки разные и попы объясняют — разбойник убитый, а то еще — герой, сам по себе пал смертью храбрых. Она закабалит — кабалу свободой назовет. И того ей мало — она с нас же деньги за обман брала, то ли за газетку, то ли учителю жалованье, чтобы он детишкам преступление по закону божьему растолковал! Конец ненавистному обману! Конец навсегда, а мы должны строго подводить под расстрел самого хотя бы и храброго партизана, когда он допустит мародерство либо насилие сделает, а тем более мы должны, как один, голосовать и, не сходя с места, исполнить наш приговор над изменником и предателем Власихиным Яковом Никитичем! Может, кто не понял: по закону военного времени, по закону Свободной территории есть предложение — расстрелять!

Покуда Брусенков произносил речь, он все чаще и чаще бросал взгляды на подсудимого, был уверен, что тот побежден, что он сдался... Но когда речь кончилась, он подумал: а вдруг еще не все? Вдруг народ возьмет и простит Власихина? Потому как раз и простит, что он побежденный нынче? Не кто-нибудь — Власихин ведь побежденный?

«Только бы ему на колени не позволить пасть!» — подумал Брусенков, напряженно глядя в толпу на площади: что сейчас оттуда скажут?

Он глядел в один конец площади и в другой и тут увидел Перевалова.

Перевалов стоял неподалеку без шапки, весь в густых веснушках, так что не сразу разберешь — кожа на лице или шерсть рыжеватая.

Перевалов глядел прямо перед собой и не как другие, а насмешливо, зорко. Ни испуга, ни тягости ника-

кой. Поглядел так же на Брусенкова и медленно потянул кверху руку с картузом.

Может, и не надо было давать Перевалову слова, кто другой, может, хотел высказаться, но Брусенков обернулся и тихо сказал:

— Довгаль! Ты же заместо председателя! Не видишь — Перевалов желает сказать!

— Желает сказать товарищ Перевалов! — крикнул Довгаль.— Перевалов Аким. Выйди сюда и лицом к народу.

Аким вышел, подождал чего-то и вдруг, резко обернувшись к Власихину, спросил:

— Вот, Яков Никитич, знать бы: может ли быть, чтобы народ весь был неправый, а один — того умнее человек, но только один — правым бы оказался? А?

Власихин ответил:

— Может война всему народу и все за́стила, а одному — нет? Он чем виноватый? Ему-то как быть?

И ничему и никого Власихин уже не учил — сам спрашивал. Умолял ответить.

— Ну, тогда прощай, Власихин! — с прежней своей уверенностью и даже весело как-то сказал Перевалов, будто смахнув с головы картуз, которого на нем не было.— Бывай здоров! — И затопал с крыльца.

— Падла ведь! — шепнул Довгаль, наклонившись к Брусенкову и слушая, как четко стукает Перевалов подкованными сапогами по ступеням крыльца.

Они оба знали за Переваловым дело, по которому его тоже следовало бы судить по всей строгости закона военного времени. Он при конфискации Кузодеева присвоил имущество: рядовую сеялку.

И про себя Брусенков подумал: «Ну, погодь, шельма! Нынче ты поможешь засудить Власихина, а после тебя засудить — это уже раз плюнуть! Мошенник!» И тотчас забыл о мошеннике, подумал: может, на приезд Мещерякова надеется Власихин? Вот сейчас явится Мещеряков, и в суматохе про Власихина сперва забудут, после простят?

И хотя кончилась обвинительная речь, Брусенков, не спрашивая слова у Довгаля, вдруг снова сказал:

— Взять данный момент, товарищи! Прибывает товарищ Мещеряков Ефрем Николаевич. Народу — радость! Но наш-то подсудимый тоже вроде радуется? А спросить: какое он имеет право? Какое право, когда он ни народа, ни, сказать, народных вождей не стра-

шится и не уважает — самого себя и еще деток своих уважает только?

— Страшный-то ты, Брусенков! — вдруг заметил подсудимый. — Ты — не сильно большой вождь, но и не малый начальник!

— Вот он как говорит! — воскликнул Брусенков. — Вот как! Оскорблением хочет действовать, но и этого у его не получится, потому что он — виноватый, и сам про это лучше других знает! А я спрошу: когда у другого сын, может, уже убитый в геройском бою с тиранами, либо отец, либо сестренка снасильничана, еще у другого кого-то — может, как раз завтра сыновья в бой пойдут под командованием нашего любимого товарища Мещерякова Ефрема Николаевича, а этот вот подсудимый будет свою бороду разглаживать, дожидаясь, когда сынки к ему в полном здравии из урмана выйдут? Так мы ему позволим сделать? Либо — иначе?

«Падет на колени подсудимый... Вот сейчас!» — снова показалось Брусенкову. Он уже видел, как черная борода вдруг будто бы склонилась и метет, метет по доскам деревянного крыльца.

Еще один мужик подошел к крыльцу, но на ступени подыматься не стал. Это был переселенец с Нового Куя, с того края Соленой Пади, где селились беженцы военного времени, — их из Минской, из Гродненской, из других губерний немцы пошевелили, они после того до Сибири дошли.

И хотя этот мужик-новосел знал Власихина совсем недавно, он спросил у него:

— То ж правду говорят: що ты всегда з народом? За его страдал... Чего ж сынов своих поставил теперь звыше всего?

— Я их не ставил. Они сами передо мной стали. Стали — не спросились!

Брусенков снова вдруг подумал: «А ведь не боится подсудимый! На колени падать не собирается вовсе!»

— Прошу поднять руки, у кого сыновья либо отцы и братья пали смертью храбрых за нашу свободу, — проговорил он громко, отчетливо. — Прошу!

Кто-то разом поднял руки и снова опустил... Кто-то оглядывался по сторонам.

— Если кто из родителей, потерявших детей, стесняется руку поднять — пусть не подымает, насильно никто не обязывает!

Тотчас еще поднялись с площади руки, а Брусенков сказал:

— А теперь — кто за смертный приговор изменнику народного счастья Власихину Якову?! Прошу еще поднять руки... Кто против? Суд спрашивает: кто против? Нету против...

Брусенков подошел к столу, открыл ящик, достал из ящика смит-вессон. Поглядел в барабан, взвел курок и взведенным передал небольшой мутноватый смит конвоиру.

— Вот тут,— сказал ему,— вот тут, сведешь с крыльца и у этой стенки... Ну?

Власихин стал спускаться со ступеней. Медленно стал спускаться, неслышно, хотя тишина кругом встала мертвая.

И вдруг на площади раздался чей-то вопль. Даже как будто испуганный вопль:

— Едуть! Едуть! Мещеряков едуть!

Толпа шарахнулась в переулок, через огород. И маленький конвоир, и согбенный, но все-таки огромный Власихин в недоумении остановились на нижней ступени крыльца.

ГЛАВА ВТОРАЯ

В деревню заезжать не стали, привал сделали в березовом колке. Колок вовсе крохотный, однако густой, с молодью. Костер разожгли в ямке из сухих веточек, чтобы горели бездымно, коней пустили на траву, но привязали крепко.

К закату Ефрем велел дозорным выйти на дорогу, глядеть до рассвета. Кто их знает, беляков этих, с какой стороны, когда и откуда они могут взяться?

Солнце садилось лениво, на березах гасли листья, будто угольки в заброшенном костре.

Ефрем обошел колок, наткнулся на копну.

«Вдовья, видать, копешка!» — подумал, поглядев на нее, низенькую, скособочившуюся. Еще вокруг поглядел — нет, не мужичья косьба! Литовкой махала баба неумелая либо вовсе девчонка: прокос узкий, туда-сюда вихляет, трава нечисто скошена. Срам — не работа... И сколько их, баб, нынче в степи мается, мужицкую работу ломит? Заела народ война, до края заела!

Однако грустил недолго. Сапоги новые сбросил, погладил — очень ласковые были сапожки, хромовые. Куртка тоже новая, блеск сплошной. Он ее постелил аккуратно, подкладом книзу, чтобы блеск этот об сено не поцарапать, лег на нее, еще сенцом накрылся и не успел взглядом солнце проводить — уснул.

Бессонные ночи были до этого подряд одна за другой, да еще в седле провел день целый.

Проснулся при высокой луне и только чуть прислушался — сразу же понял, что у костра его ребята допрашивают кого-то чужого.

— Значит, чей такой? Откудова?— спрашивал строго так голос Гришки Лыткина, совсем еще молодой голос, парнишечий, а ему отвечал человек, видать, крепкий, басом отвечал и со скрипом:

— Дальний буду. Сказать — с Карасуковки с самой... А дале что тебе?

Вот он откуда был, незнакомый пришелец,— с Карасуковки. Карасу — то есть «черная вода» по-русски,— с этим названием аулов и поселков было в степи не счесть. Но один Карасу русские на свою, на Карасуковку переделали, и деревня эта разрослась после, далеко кругом стала известна.

— Хвамилие твое?— спрашивал Гришка Лыткин.

— Глухов буду... Петро Петрович Глухов.

— Так... Почто по степи ночью шаришься? Белых ищешь либо красных?

Бас помолчал, после спросил:

— А вы кто будете? Мещеряковские или как?

— А мы мещеряковские и есть!— весело так взвизгнул Гришка Лыткин и еще веселее спросил:— Испугался?

— Дурной ты...— ответил ему бас.— Кабы я тебя испугался, так и тюкнул бы на путе разок, после — был таков...

— Ну-ну!— возмутился Лыткин.— Еще кто кого! Ну, так что же ты делаешь в ночи-то? Один?

— Сказать — так бунтую я.

— Напротив кого?

— Ну, не напротив же тебя!

Засмеялись партизаны, а Гришка Лыткин обиделся:

— Всякие нонче ходют... А Карасуковка твоя — село непутевое. Воды в нем — капли пресной нету. Соль голимая.

Кто-то Лыткина поддержал:

— И с мужиков с карасуковских соленая вода шерсть гонит, ровно с баранов. Ушей у их в шерсти не видать!

Ефрем понял, что карасуковский мужик был шибко волосатым, стал ждать, что бас ответит.

Он шутки не принял:

— Не твоя пашня карасуковская и не твоя баба там... Ну и помалкивай знай!

С пришельцем этим разговаривать надо было серьезно.

— Так ты как бунтуешь-то — до зимы только либо до конца самого?

— Оно бы хорошо — до зимы. Вовсе хорошо. Но не управиться. У Колчака у энтого силов еще — стихия! Ну и обратно подумать — дело у него пахнет неустойкой.

— Видать?

— Порет он шибко мужиков. Насильничает. А сказать — так с перепугу. Забоялся мужика всурьез. Да... Он-то боится, а нам что с людоедства его может быть? Подумать страшно...

— Всех не перевешает.

— Не в том дело. Озверует он нас, мужиков. Озверует друг на дружку до крайности, сами себе рады не будем. И надо бы с им до зимы за это управиться, но шанса нету.

— А Красная Армия? Урал перешагнула?

— Теперь считай: от Урала до Карасуковки это сколь ей надо ежеденно пройтить, чтобы к зиме достигнуть? И ведь с боем идти. Не-ет, куды... К зиме нам ладиться неизбежно. Это верно — миром, так и не с одним, а с двумя, а то и с тремя, сказать, колчаками управиться вполне возможно, однако зима-то — она тоже не ждет, тоже своим чередом движется. Ее не остановишь. Уже никаким способом.

— Зимой нам, партизанам, воевать несподручно.

— Ну, и с нами тоже несладко. Чехи, разные, сказать, сербы-японцы зимой Колчаку не помощники. К морозу чутливые. Обратно, нам бы пораньше колчаков свалить самостоятельно, чтобы Красная Армия на готовенькое пришла, тоже не худо.

— Это как же понимать?

Пришелец задумался. Огонек в леске светил неярко, партизаны сидели вокруг неподвижно. Который среди них пришельцем был — нельзя понять.

— Конечно, хужее колчаков на всем свете никого нету,— сказал бас.— А все же таки самим бы управиться, упредиться, по-доброму посеять, после — Красной Армии и Советской власти новоселье справить...

— С недоверием, значит, кругом относишься?

— А мне кто когда верил? Белый не верит. Красный тоже глядит, не обманываю ли я его.

— Ну, а по какой же тогда причине ты к Мещерякову подался?

— Слово ему сказать.

— Об чем?

— Об военной тайне... Ну, видать, вы свои здесь. Прямо-то говорить — так об сене я.

— Чьи же сена тебя заботят?

— Хотя бы и твои... Сенов бы на зиму Мещерякову Ефрему Николаевичу поставить. Снег падет — помается он без сена. У мужика его не отымешь — возропщет, да и не повезешь на подводе в районе военного действия. А вот нынче не поздно еще покосить бы в западинах, в камышах и копешки схоронить. Зимой конными были бы против пеших колчаков.

Ефрем крякнул: сам в сене, в чужой копешке лежал, но как следует о сене не думал, нет. А вот мужик карасуковский — тот подумал...

И ясная же ночь была — удивительно. Легла на землю тихая, обняла ее от края до края, будто ни войны, ни тревог на земле этой сроду не бывало. И забот тоже не бывает никаких, хотя бы и об сене.

У костра кто-то по дому заскучал:

— Рядна не хватает... Постелить бы под себя какую ряднушку, чтобы избой пахла!

— А ты дымка, дымка понюхай от костра-то — он кашей пахнет. Будто каша, с загнетки бабой только что снятая!

...У костра и дальше разговор, а с тобой рядом — твое сердце постукивает, да еще мысли теплятся, как тот огонек. И надо же — задумался Ефрем о сапогах своих новых и о новой куртке.

В эту куртку одетому, обутому в хромовые сапоги, ему бы смотр партизанским войскам устроить!

Смотр был сделан недавно, в Верстове, недели две-три каких, но ведь куртки-то не было тогда еще у Ефрема, и сапог тоже не было хромовых! В зипунишке проехал он перед войском. Папаха, верно, добрая на нем уже тогда была — из серебристой мерлушки сшитая,

и каждый завиток на ней будто своей собственной росинкой сияет, и красная лента вокруг, но не на одну же папаху войска глядели?

Нет, скажи, трудно мужику воевать в начальниках, очень трудно! Мало того что против Ефрема Мещерякова стоит генерал Матковский,— начальник тыла Колчака, в академиях обученный,— мало этого, надо еще точно решить: в каком виде перед своим же партизанским войском следует предстать?

Генералу об этом и заботы нету — ему мундир навешан на всю его жизнь, а какие портки к сражению надеть — о том денщик знает. А мужику?

Ладно, он смотр устроит, в новой куртке и в сапогах хромовых предстанет, войско крикнет ему «ура!», это уж верно. А после что?

За зиму с Колчаком управишься, придешь домой, начнешь пахать. Весной пахать либо осенью зябь — прохлада стоит на дворе. А ежели, скажем, ты летний пар выдумал поднять да еще словчился пар этот сдвоить — ведь это в ту пору жарища немыслимая!

Тут спина у тебя мокрая, вроде ее с ведра окатывают, а в штанах вся твоя мужицкая справа на три слоя в пене! У коней тоже пена в пахах, но им все же куда удобнее — они ее клочьями на пашню роняют. А ты за плугом ходишь, коней подстегиваешь, а им же завидуешь: тебе пену ронять некуда, она вся при тебе... Ну и сбросишь портки-то, идешь в одних исподних, а коли рубаха подлиньше — так и вовсе без них...

А тут является на межу твой сосед, какой-никакой Иван либо Петро, а то взять — щербатый Аркашка, и лыбиться зачнет во весь рот:

— А-а-а, Ефрем Николаевич? Товарищ Мещеряков! Робишь, милок? Землю пашешь, милок? Паши, паши, милок, это тебе не в кожаной курточке вершни перед военным строем красоваться! Это вовсе другой вид!

Вот он как скажет и не припомнит вовсе, что в твоей же армии рядовым служил, тебе полностью подчинялся и тебе на том смотре «ура» во всю глотку провозглашал! Не припомнит, гад!

Не-ет, генералом воевать несравненно легче! Скажи, хотя бы и Наполеон — решающее сражение проиграл, потому что насморк его прошиб. Да мужик постеснялся бы об этом говорить вслух. На крайний случай сказал бы, что животом вконец замаялся либо сердце у него за-

шлось, а то из-за собственной сопли воевать кончил, и все одно — герой!

Вот Россия мужицкая сейчас воевать взялась — так ее и холера трясет, и вша грызет тифозная, и чехи-японцы разные, о которых сроду-то никогда не слыхать было, явились порядок устанавливать и кусок урвать, но она воюет, мужицкая Россия, и воевать так ли еще будет!

Решил Ефрем войскам смотр устроить...

Почему? А потому, что очень просто могло его убить нынче, так уж пускай люди помнят его живого на добром коне и в добром обмундировании. Чтобы не обидно им было, будто за правду воевал и командовал ими варначишка какой-то.

«Все правильно,— подумал он,— и смотр войскам устроить надо, и сено поставить точно так, как подсказал мужик из Карасуковки...»

После потекли у него мысли и догадки, свободно так потекли, и надумал в ту ночь Мещеряков Ефрем воевать с генералом Матковским по-генеральски: выбирать и удерживать позиции, из обороны переходить в наступление. Тыл по всей форме устраивать, снабжение армии, гражданскую власть в тылу... Голова кругом, сколько дела. Но — пришла всему этому пора, и дальше оставлять села Колчаку, чтобы он их грабил, жег, мужиков и баб шомполами охаживал, никак было невозможно. Для чего тогда народная армия, если она не может народ под свою защиту взять? Кто в такую непутевую армию пойдет? Чего ради мужики будут ее обувать-одевать, кормить?

А жаль... Сильно жаль было Ефрему Мещерякову с прежней тактикой расставаться. Хорошая тактика, и жизнь при ней шла не так уж плохо: налететь, на марше разбить колонну противника, а то устроить засаду, да бог ты мой, когда у человека голова на плечах и рисковый человек — чего только он не выдумает, чтобы своему противнику хороший фитилек поставить?!

Как-то теперь будет? Соленую Падь, убейся, удержать надо. Но ведь и сидеть в окопах партизанская армия не способна. Потеряет маневренность, и значит, все свои преимущества. Трофеи откуда она возьмет, в окопах сидя? Откуда возьмет победы? А без побед партизаны воевать не любят и, прямо сказать, не умеют. Начинают скучать.

Были у Мещерякова еще и другие заботы: он сильно боялся за жену, за ребятишек.

Дора должна была ехать с ним, чтобы в Соленой Пади не подумали про главнокомандующего, будто село-то он оборонять взялся, а семью уберегает где-то далеко, в тайном месте.

И еще была причина, хотя о причине этой он вспоминать не любил: жена его от себя не отпускала.

Он еще был «кустарем», то есть с малым партизанским отрядом, человек десять—пятнадцать, скрывался в кустах, а она уже и тогда была с ним.

Теперь он главнокомандующий, у него личная охрана — три отборных эскадрона, но баба есть баба: не хочет ничего понимать, не верит, что три эскадрона его спасут. На себя только и надеется.

И нынче тоже вот приехала с младенцем и двумя другими, еще довоенными ребятишками, а в пути они несколько раз уходили от белых разъездов, да и сами спуска не давали, тоже налеты делали, и тогда решено было спрятать Дору и ребятишек в стогу сена, чтобы после один из эскадронов заехал, взял ее и к месту доставил.

Как-то там она в стоге нынче?

Все-таки ужасная жизнь у баб! Довольно б с них и того, что они — бабы, ребятишек родят, мужиков обихаживают, пьяными их из гостей увозят, а когда — так и от беляков. Довольно бы этого, но нет — пошла война, у них опять же забот и хлопот не меньше, чем у мужиков. Ну-ка, посиди в стогу с грудным младенцем! Да еще с двумя пестунами довоенного образца!

В полдень похлебали горячего, заседлали и тронулись. Заехали на пресное озерко, попоили коней, после того погнали еще шибче, не таясь: противника здесь уже не было...

И пошел день — пестрый какой-то, из лоскутков скроенный, но не сшитый. Что ни час — то вроде и новый день начинается. Тот не кончился — уже другой наступает. Рассвет был, полдень был, закат подходил, а дня вроде не было и не было.

Про ночной уютный колок тут же и забыли. Будто его и не встречали — ни копны той бабьей, в которой спал Ефрем, ни костерка. Днем человек о ночном редко

вспоминает, другое дело ночью — дневные заботы спать не дают. Это случается.

Вскоре степь стала изжелта-красной, колки осиновые и камыши налились киноварью, а дорожная пыль посинела. Только вода в озерах совсем светлая оставалась. Издали — так она прозрачная. Подойди, загляни — не то что дно увидишь, а еще и сама-то земля на неведомую глубину сквозь нее откроется. А солонцы на месте высохших озер — те похожи были на облака. Плыло облако, после опустилось на землю, распласталось и тянет к себе со всех сторон солнечный свет, сияет — глазам больно. Правда, в нынешнем году дождей выпадало немало, хорошо и вовремя падали дожди, пересохших озер было немного.

Она будто бы везде одинаковая — степь: и колки березовые и осиновые везде одинаковые, и дороги, и пашни, и мельницы-ветрянки, а хотя бы только на десять верст отступи от той грани, за которой никогда прежде не приходилось бывать,— она уже и другая, степь, незнакомая. Что в ней другое, не сразу поймешь: то ли цвет, то ли запах, то ли почва другая.

Любил Мещеряков эту новизну, любил угадывать: вот здесь, по едва заметному проселку, не иначе как за водой на бочках ездят, когда на своей пашне — ни озерка, ни колодца, а вот дорога перед низиной вдруг круто взяла в сторону, в обход — значит, низина сильно мокрая, болотная, либо солончаки там внизу даже после малого дождя совсем непроходимые.

Мужик — он всю степь, всю землю пашенную и пастбищную своими собственными знаками обозначил, он зря, за просто так, ничего не делает — ни дорогу не топчет, ни колодцев не роет, ни избушек лишних, никому не нужных, не ставит. Соображай вместе с ним, со здешним мужиком, и все ясно станет. Даже заранее угадывать можно, что там, за ближним увалом, скрывается — поселок ли, заимка ли чья-то, пашня, пустошь или пастьба овечья и летняя кошара из дерна сложена...

Память была у Ефрема на местность цепкая: один раз по дороге проедет, а случится помирать, закроет глаза — и всю ее, дорогу эту, поворот за поворотом, увал за увалом, деревню за деревней, от начала до конца вспомнит, словно заново ее проследует. Это уже точно.

Мало того, если проехал он когда-нибудь даже и не этой дорогой, а другой, но неподалеку где-то и в том же направлении, ему уже и хватит, он будто бы с той, зна-

комой, дорогу эту, совсем незнакомую, все-таки краем глаза видел — куда она ведет, что у нее на пути.

А в последнее время и еще по-другому стал на местность глядеть Ефрем... Западинка? А как по ней пройдет человек — в рост? А то, может быть, и конным, и его все равно в степи не видно будет?

Увал? На сколько верст округ с того увала степь видать глазом и в бинокль?

Одним словом, побывает на местности и уже знает, как на ней воевать.

Глухову не сказали, что он с Мещеряковым с Ефремом едет, а он, шельмец, делал вид, будто не догадывается.

Кони в отряде были запасные — Глухову дали пегого, бесседельного.

Глухов дареному коню в зубы глядеть не стал, кинул армячишко чуть не на самую холку, опояску с себя размотал, по концам ее связал петли — получились у него стремена. Он короткими ножками коня обхватывал почти что за самую шею — смешно глядеть. Но, видать, ему так было усидчивее на толстом, разгулявшемся в нынешних травах и ленивом пегаше. Они даже похожи друг на друга были — пегаш и Глухов: толстые оба, коротконогие, гривастые, один без седла, другой без опояски.

И характером сошлись.

Покуда Глухова не было, а пегого вели в поводу — замучились: он все время только и делал, что придорожную траву хватал, тормозил на ходу, седока с передней кобылы сдергивал, а тут под верхом пошел и даже — шагисто пошел, весело. Сперва вровень с другими, после застарался и стал на полголовы вперед выходить против самого мещеряковского гнедого...

Ординарец Гришка Лыткин возмутился снова:

— Ты, Глухов, шпиёнить за командиром нашим взялся? Ни на шаг от его! Отстань!

— Я же тебе с самого начала объяснил, цыпка ты моя, за тем я к вам и прибыл — глядеть, какая вы есть революция!

— По своей воле?— поинтересовался Мещеряков.

— Мужики карасуковские миром просили. Ну, и не сказать, чтобы из ихнего только вопросу я старался. Свой интерес тоже имеется. Собственный.

— Что же ты увидел?

— А пофартило мне с первого разу: Мещерякова и увидел.

— И-ишь ты! Узнал?

— Видать, когда глядишь.

Снова вмешался Лыткин:

— А ты знаешь, мужик, у нас как? Кто не за нас — тот против нас. Это не мною сказано — отпечатано воззвание к народу!

Тут Глухов отнесся к Гришке серьезно:

— Не врешь?

— Я об политике — пытай меня — слова одного неправильного не скажу. Одну только истину. А ты что, против?

— Ну зачем же я буду против? Сам подумай. После этого воззвания?

— Я-то давно подумал. И до края моя жизнь мне известная — воевать за справедливую власть. Хотя бы сколько ни пришлось воевать!

— Хорошо-то как!— согласился Глухов.— Только чей ты будешь хлебушко исти, покуда воюешь?

— Об этом заботы нету. Тот и накормит, за кого я кровь иду проливать!

— Ну, а если которому мужику кровь твоя ни к чему? Ты как, откажешься от его куска?

— Он все одно обязан дать мне буханку!

— А не даст? Сам возьмешь?

— И возьму!

— А со справедливостью как же? Она же наперед других к тому должна приложиться, от кого ты кормишься? Или тебя отец с матерью сроду этому не учили?

Мещеряков оглянулся и сказал:

— Повтори-ка, повтори, как фамилие твое?

— Глухов. Петр Петрович. Или непохоже?

Мещеряков зорко на Глухова поглядел...

Голова кудлатая с нашлепкой замусоленного картуза. В рубахе под мышкой — дырка, сквозь нее вырывается ветерок, захваченный расстегнутым воротом. Обе руки Глухов широко расставил в стороны. И — чоп-чоп! чоп-чоп!— шлепает задом по пегашкиной спине.

— Не обманываешь, нет... Он и есть мужик этот — Глухов!— кивнул Мещеряков.

— Узнал?

— Видать, когда глядишь! — усмехнулся Ефрем. — Десятин с полста сеешь?

— Ну, в нашей в степе это не посев — полста. Для старожила, для семейного — вовсе нет.

— Запас на три года держишь? Хлебный?

— Забочусь. От меня пол-России кормится. И по морю мой хлебушко возят в государства, а за маслицем — так мериканцы и немцы в Сибирь с охотой идут. Видать, не здря идут, дома-то у них не шибко масленая, значит, жизнь. И Советская власть не брезговала в свое недавнее пришествие.

— Отымала? Хлебушко-то отымала?

— Не то чтобы отымала, но и платила не сказать, чтобы сильно. Больше за идею брала, за деньги, за мануфактуру — заметно меньше.

— Ученье настало для народу, а за науку платят. Нам на белый свет глаза кто открыл? Большевики, Советская власть. А то бы и было у нас с собой делов — родиться да помереть. Остальное — неизвестно почему и зачем.

— Глаза-то мне открыли. Узнать бы, при каком обстоятельстве мне их закроют?

— Ну, это и правда что интересно. Германку воевал?

— На четырнадцатый-то год мне как раз полста пало. Из призыва вышел.

— Вот и не знаешь цену глазам-то открытым. А солдат — тот много понял, когда ему заместо проклятой войны мир был даден. Ну, а страдуешь-то чем? Свою сотню десятин либо того больше — чем жнешь? Жнейками? Косилками?

— И это. И другое. И еще — макормик.

— «Мак-кормик»? Сноповяз американский? Ты гляди — капиталист прямой! А не боялся ты, Глухов, что американцы эти как раз тебя по миру и пустят? Закредитуют, после — тук-тук — за долг возьмут тебя?

— На все божья воля: то ли он меня, то ли я его. Все зависит, сколь я обижен. Когда меня, и другого, и третьего он обидит — мы уже и договорились промеж собой не брать у него не то что машины — ни одной бечевки не брать. И пошел бы тот мериканец из Сибири без картуза... Солнцем палимый.

— И пошли они, солнцем палимы... — подсказал Мещеряков. — Грамотный?

— Расписываюсь... У меня дядя — Платон зовется. Не шибко грамотный и не сильно в годах, племянничка чуть постарше. Жил от нас неподалеку, а еще до японской ушел в Алтай. Вверх все и вверх по Иртышу. И занялся там оленя́ми. Особенные олени́ — рога с их китайцам, другим народам в доброй цене на лекарство продают. Так дядя — что? Он сам эти рога в разные страны возит. И не особо на границы глядит — оттудова, с самого верху Иртыша, до разных государств рукой подать. Мало того, братьев младших и сынов тоже научил рога возить и по-разному в разных странах понимать заставил их. Там английские, сказать, издавна были торговли — они и по-ихнему научились. Ну, как научились, поняли что к чему — конечно, ихнюю торговлишку сильно позорили. Туда везут рога, оттудова — чай, шелк, обратно, лекарства, и дело у них не стоит!

— Получается у тебя... Ну, притеснишь ты американца, «мак-кормика» этого, где после сноповяз возьмешь?

— На барыш охотник просто найдется. Свой ли, чужой — надо только с умом, соседа не обижать. Кузодеев — жил купец в Соленой Паде,— нету в уезде того кармана, чтобы он в его не успел накласти. Ну и дурак! Пакостить своему же соседу? Не дурак ли? Пакостить — это еще в гостях в званых, а еще лучше — не в званых. Только не у себя дома.— Помолчал Глухов, пегого подшуровал пятками.— Царапается нонче весь-то народишко... Всякий всего хочет. Как понять? Или верно что — Колчака терпеть никак нельзя, ну, а за одним уже и вся прочая жизнь в переделку вышла? У кого какое недовольство жизнью, кто сколь годов придумку таил — нынче все в ход пошло... В ход-то пошло, к чему придет-то, интересно мне?

— Значит, думка твоя — повыше других выцарапаться? Хотя бы и на торговлишке?

— Чем не ладно? Тебе — шашкой махать, головы рубить, команды подавать богом дано. У меня забота — хлебушко растить, торговать им по мере возможности. Чем не ладно? Без войны жизнь худо-бедно идет, а без хлебушка?

— Глухов ты, Глухов и есть! Не понятно, чем тебе Колчак плохой,— он же сильно богатых любит?

— Ну, как тебе объяснить-то,— вздохнул Глухов.— Я ведь, признаться, думал, ты и сам это понимаешь... А объяснить придется так: бедного Колчак не любит,

верно. Потому и не любит, что отымать-то у его нечего. Курей двух да еще разве вот ребятишек... Ну, а который побогаче — того он любит. И даже сильно. В этом ты — правый. Только для любви для этой уже Кузодеевым надо быть, не меньше. У того — на ограде полдобра, а другая половина — на заимках, в кредитках еще и еще где-то схороненная... Опять же и Колчак на Кузодеева надеется — именно его он над Россией поставить желает, и чтобы тот ему эту услугу ни в жизнь не забыл, чтобы без конца благодарствовал. Здря надеется! Благодарности от Кузодеева сам господь бог не дождется, да и какая, обратно, из его получится власть, когда он, еще не ставши ею, уже далеко вокруг успел напакостить? Нет, ровный мужик, и даже хорошо ровный, но у которого добро все открытое, все на ограде находится — он любую власть кормит, и любая власть его за это топчет... Мне, товарищ мой Мещеряков, узнать бы: как ты хочешь, чтобы было? И партизания вся — как хочет? За тем и посланный я от карасуковских мужиков. И не я один — от многих местностей еще пойдут на вас поглядеть.

— Ладно, я скажу,— согласился Мещеряков.— Народ воюет, народ и свою собственную справедливость сделает. Честного труженика с этого дня никогда не обидит. Ни купцу, ни кулаку, ни чиновнику в обиду ни одного человека не даст. Отныне — это его святая решимость. Когда из начальников будет кто негодный, его тут же разом уберут. Взять меня — покуда бью Колчака, я главнокомандующий. Побьет меня Колчак — сейчас мои же подчиненные командиры соберутся и еще гражданские лица, проголосуют — и пошел тот Мещеряков ротой командовать. Чего там ротой — рядовым запросто пошел. При таком порядке лавры на печи никто вылеживать не захочет сроду. Ясно? И барыш на чужом труде наживать — тоже!

— В случае, вернусь домой — так и пересказать мужикам?

— А как же еще?

Глухов приотстал на своем пегом. Задумался...

Теперь Гришка Лыткин повел коня ухо в ухо с мещеряковским.

Версты от избушки до избушки, от одного тока до другого немалые, а нет-нет и столкнутся в степи сорочьи голоса молотилок-трещоток, а когда и удары бичей переплетутся друг с другом, и человечьи голоса...

Издали мужики и бабы глядели на отряд мещеряковский и с любопытством и подолгу, даже останавливали приводы трещоток. Сразу же становилось тихо, и сквозь плюшевый полог дорожной пыли явственно начинала откликаться земля под копытами отряда, и когда кони чихали и фыркали, высвобождая ноздри от пыли, то громкими казались и эти звуки.

Если же отряд миновал чей-то ток вблизи — работу никто уже не бросал, наоборот — еще сильнее трещотки погоняли.

Военные нынче издали только интересные. Близко ими никто не интересовался, хотя была уже Освобожденная территория и белых здесь не ждали; с июля, с начала месяца, их здесь не бывало.

Уже когда солнце пошло на закат, достигли соленопадской грани. Вскоре остановились на увале, который так и назывался: Большой Увал. Он был уже в виду самого села. Стали ждать свои приотставшие эскадроны, чтобы в село вступить полным отрядом, при знамени.

Что-то похожее на рассвет после тьмы ночной и такое же призрачное, как самый первый рассвет, пронизывало дали... И глядеть-то в них было чуть даже боязно, словно в бездну заглядывать. Это в степи бывает. Бывает в ясную осень, когда степь переполняется желтыми березовыми колками, пшеничными полями, никогда не сеянным, не кошенным пряным разнотравьем, когда солнце уже клонится к закату и остывает будто бы потому, что остывает земля.

Мещеряков спешился первым, лег на траву. Полежал, поглядел и стал разуваться.

— Ноги-то, поди, сопрели во тьме, в сапогах. Вовсе никакой благодати не видят!— сказал он Лыткину и забросил влажные холщовые портянки в зыбкую тень двурогой березки.

Сохнуть портянки должны обязательно в тени, на ярком солнце они коробятся, морщинятся, теряют всякую мягкость.

Голые пятки в ту же секунду будто бы прихватило двумя горячими натруженными ладонями, и еще на плечи кто-то навалился — горячий и потный.

Мещеряков терпеливо, не шевелясь, обождал, и немного прошло времени — пятки и спину перестало тревожить, только по-прежнему щекотало легким, словно ребячьим дыханием.

«Ветерок, что ли?» — подумал Мещеряков. Ветер и на самом деле был, только хоронился от глаз. Но Мещеряков его все равно приметил: на той же двурогой, с редкими веточками березке листья чуть приподнимались и еще чуть сваливались набок, прихватывая яркого солнца своей обратной, уже не зеленой, а сизой стороной. Тоже пятки грели.

Тут поблизости пар был поднят на большом клине — десятин, верно, пять, больше, черные пласты ерошились, пахли не хлебом, а полевой травой... А неподалеку на полосе — хлеб родился, и хорошо родился — пудов по сто двадцать с десятины.

Поглядев на все это, Мещеряков высвободил из-под живота планшетку, развернул карту-десятиверстку.

Прежде всего заметил на карте полоску леса: полоска — словно зеленый червяк по бумаге прополз и след оставил после себя... А настоящий лес, тот широкой лентой проходил с юго-запада, подступал к селу Соленая Падь, касался мохнатым своим краем изб и огородов и тут же, почти поперек прежнему своему направлению, уходил на восток. И на юго-западе, и на востоке треугольник лесной полосы упирался в далекое-далекое, но четкое полукружье горизонта, только кое-где прерванное тусклыми озерами, густо осыпавшими степь и особенно ту ее часть, которая была замкнута внутри зеленых лент бора.

— Про-стор-но! — сказал Мещеряков. И еще раз повторил: — Просторно!

Стал приглядываться к лесу.

Вершины сосен мерцали, как свечи, зажженные при солнечном освещении, над ними там и здесь медленно вычерчивали круг за кругом коршуны. Не стремительные они были, не быстрые — шагом ходили по небу, ползали букашками...

Из степи в лес забегало несколько дорог — одна проделывала в нем узкую расщелину, а выбежала из леса по ту сторону, и слегка, будто захмелела, повело ее сперва в одну, после в другую сторону. Две другие впадали в лес и больше из него не возвращались. Или заблудились там, или незаметно пробрались в деревню, в ее кривые улочки и переулки...

А вот удивился Мещеряков — это когда заметил синеватый какой-то перст, указывающий прямо в небо, даже в самое солнце.

— Ты гляди,— спросил Мещеряков у Лыткина,— гляди, что там делается? Видишь?

— Где?— с тревогой спросил Гришка, притихший неподалеку от командира, может, чуть вздремнувший.

— Кромкой леса на юг, на запад дальше все и дальше — в небо там упор какой сделан, а? Ну, если гляделок нс хватает — нá тебе аппарат! — И Мещеряков расстегнул футляр, подал Гришке бинокль.

— Однако, церква там. Она. Ну и что?— тоже удивился Лыткин.

— Моряшихинская это ведь церква-то!

— Не может быть!

— Значит, может! Другого тут церковного села ближе нету. Соленая Падь да еще Моряшиха. Это подумать только, сорок верст — и видать!

Бинокль пошел по рукам — партизаны тоже стали смотреть на церковь вдоль боровой ленты на юго-запад.

Заспорили насчет бога.

— Хи-итрые эти попы — бога-то куда вознесли! В какую высь! Чтобы люди глядели, а шапки волей-неволей на землю падали бы!

— На то он и бог — высоко быть. А когда он пониже меня, по земле ползает, нечто в такого поверишь?

— А кто его вознес туда? Человек опять же. Кто кого выше-то?

— Пустое не вознесешь, надобности нету. Тем более обратно не скинешь. Укоренилось оно там, наверху-то!

— А — скину! Нынче — скину!

— А я тебя нынче же — по морде! Я у себя на избе, вот на самой вышке, резьбу изладил, а ты пришел и нарушил ее. Тебе она не нужная, а мне без ее — изба не изба, а может, и жизнь не в жизнь!

Небольшой, татарского обличья эскадронец, покусывая травку, рассказывал:

— Я в магометанстве был, после перешел в православие. Мало того перешел — в церкве прислуживал. Поп меня не хотел, а прихожане любили. «Мало ли, говорят, и среди нас, православных, бывает нехристей? И даже среди попов. А этот окрестился, и, видать, с интересом — пусть прислуживает!» А я старался. Божественное хотел понять.

— Понял?

— Куда там — понять! И его нету, и без его нельзя. Нельзя без веры.

— Ну, нынче это вовсе запросто!

— Не вовсе. Все одно — не в бога, так в революцию верят. Уже другое дело — во что вера, а все ж таки вера.

— Ты что же, правду ищешь? У нас среди новоселов с Витебской губернии был один — искал, искал день и ночь. Который раз не пил, не ел — все искал.

— Ну, почто? Ты мне поднеси — поглядишь, как я ем, как пью. Я правдой через силу не занимаюсь. Интересоваться — интересуюсь.

«Ты гляди, о божественном затолковали! — подумал Мещеряков.— Выше бог человека, ниже, либо вровень с ним? И зря затолковали — на скорую руку дела не решишь. Отвоюемся — на досуге виднее будет. Сейчас о войне думать, больше ни о чем. Живым остаться либо мертвым сделаться — вот это вопрос. Бог же нынче дело второстепенное». Но сам о войне думать не стал.

У Глухова Петра Петровича был дядя Платон, в горах где-то проживал, в разные страны оттуда ходил, а у Мещерякова тоже был свой дядя по материнской линии — Силантий.

Вот о нем-то и вспомнилось.

С Волги, с деревни Тележной был дядя и на родине сильно своевольничал — рубил у помещика лес, грозился помещика пожечь. Ну, и общество, чтобы с барином не ссориться, хотя дядя ничего миру сроду не делал худого, вынесло приговор: сослать его в Сибирь. Пошел он по этапу, а младший его брат и еще сестренка — те пошли за ним добровольно.

Вольные брат и сестра прижились, устроили деревню Верстово, брат женился, сестренка Силантия замуж пошла, и в тысяча восемьсот восемьдесят восьмом году от нее произошел Мещеряков Ефрем, а вот ссыльный Силантий успокоиться никак не мог — стал бегать по степи, ставить на землю чертежи и меты, в захват брать землю. Говорили — правда, нет ли,— дядя сапоги берег, так с весны обмазывал подошвы на ногах смолой сосновой, с песком ее замешивал, чтобы на жаре не таяла, и на этой на дармовой подметке по степи шастал из конца в конец.

В сапогах или босый, но только облюбовал дядя место с двумя озерами — нынешнее село Соленая Падь,— обчертил хороший круг земли, прижился. Жил, никто ему не мешал. После дорогу железную построили, народишко в Сибирь по дороге кинулся — стали поселенцы дядю утеснять. Соленая Падь волостью сделалась, и постановило общество считать за хозяином

только ту землю, которую он пашет, выпаса нарезало на каждую скотскую душу, а лес оставило за дядей — ту самую деляну, которую он уже вырубил.

Сколько лет проходит, пять ли, шесть — мир опять приговор выносит: делать земле душевой передел. Дяде обидно — не кто, как он, заложил деревню, а его — делят! И взялся он сильно галдеть на сельских сходах и тягаться с богатым переселенцем Кузодеевым. Хотел дядя Силантий, чтобы за ним его землю «отцовщиной» признали, навсегда наследуемой.

А Кузодеев не постоял, одной только лавочной водки миру более ста бутылок выставил, а еще сколько самогону — мир и постановил в пользу Кузодеева. Но дядя все равно и с миром не захотел посчитаться, прямо на сходе обещал Кузодеева пожечь. И пожег. Не то чтобы до края, но и порядочно. Сам же убежал далеко в горы. Вестей оттуда не подавал, так и не узнал, должно быть, что спустя короткое время общество о нем пожалело: Кузодеев мироедом стал огромным, землю арендовал в казне, после сам сдавал ее в аренду новоселам, а еще больше — старожилам, которым надела по их размаху не хватало, а сам с Ишима и с самого Ирбита возил товар в свои лавки. Сделал в Соленой Пади кредитку, и правда, что не стало в волости мужика, чтобы он у кредитки этой не брал в долг.

Больше того, с Кузодеева пошло, что и степь-то надвое поделилась. Прежде все жили одинаково, а тут образовалась Нагорная степь и Понизовская. Нагорные занялись хлебом, семена стали возить сортные, молотилки-полусложки покупать, а еще водить овец. Понизовские — те хлебом вдруг обеднели, земли у них оказались не очень-то сильные, но в межозерьях было без конца и краю лугов, и наладились они косить сéна, водить скотину, покупать сепараторы.

Кузодеев пробовал было и на Низы пойти, но там заграничные уже сели купцы-маслоделы, не дали ему ходу.

Еще знаменитые тут были три-четыре деревни по грани между степями — в тех мужики держались друг дружки, держали общественный маслозавод, а лавочников облагали хорошими податями в пользу мирской кассы.

Это, бывало, мальчишкой Ефрем замечал, как зимой, будто похрустывая на дорогах снежком, идут из деревни в деревню разные слухи-разговоры, как одно общество

приговорило сделать между собой расположку податей, другое — о пашне, о покосах, о выпасах, о торговле, о попе, о школе, едва ли не обо всей жизни.

Позже, уже перед войной, пошли еще и другие разговоры: кто какие берет на складах машины, единолично берет или в складчину делают приобретение — на десять, на пятнадцать дворов, какой между теми дворами существует порядок, когда общей машиной пользуются.

И сидели мужики зимние вечера, а по воскресеньям так и с утра самого занимались этими слухами, посылали своих людей в другие села — узнать, как там и что приговорено делать? Как бы прожить, думали, не даться ни своим купцам, ни немцам, ни друг дружке в оборот не попасть?

И вот — кто бы подумать мог? — не мужики эти, сидельцы и ходоки, не седовласые деды жизнь в степи нынче решают — решает ее Мещеряков Ефрем. Так случилось. Он сам этому не поверил бы хотя бы и прошлый год в осеннюю же пору. Единственно, кто бы мог об этом догадаться, так верховный Колчак. Но не догадался и он.

— Ну, поглядим, как это будет, как сделается! — сказал Ефрем Колчаку.— Поглядим!

Никто этому замечанию главнокомандующего не удивился. Все подумали: он просто так, на местность смотрит, определяет на ней военные действия...

А главнокомандующий все еще о военных действиях не думал, снова думал о дяде Силантии. Интересный был дядя, сильно вспомнился...

Году, припомнить, в девятьсот первом приехал навестить верстовскую родню. Погуляли сколько дней — после дядя взял с собой в Соленую Падь племянничка погостить, а еще заехать с ним по пути в Моряшиху, на конный базар. Только-только в ту пору была построена в Моряшихе церковь, моряшихинские своим божьим домом сильно гордились. Стояла она на бугре, сплошь покрытом травкой-топтуном, на травке лежали мужики в черных плисовых штанах, в красных шелковых рубахах. В картишки играли, косушками баловались. Такой у них был закон: торгуешь не торгуешь — на базар выйди в самом лучшем виде.

И девки ходили бугром — платья-лимонки, передники красные, кофты голубые, ботинки желтые, шнуровые.

Чтобы не пустым ехать, дядя взял из Верстова воз пшеницы, продать на базаре. И уже сторговался в Моряшихе отдать, когда перекупщик скостил полтора пуда с колеса. Пуд с колеса — по всей степи был тогда порядок. Гири на весы бросают, сорок пудов намеряли — получай за тридцать шесть. Потому и возили зерно на продажу сильным возом. А тут — полтора пуда.

Дядя деньги счел и за рубаху положил, после сказал: «А еще за два пуда тебе сдача!» — и два раза хорошо перекупщика по спине кнутом полоснул.

Тот кричать, звать своих дружков. Но и дядю Силантия тоже в Моряшихе знали, в обиду не дали.

Перекупщик нанял троих, чтобы Силантия и Ефремку в лесу по дороге перенять, измолотить до полусмерти.

Опять дяде свои люди об этом шепнули, и он в Соленую Падь не поехал и коня не стал покупать, а ночью они подались обратно в Верстово.

Деньги же, что за хлеб были выручены, и даже часть конских денег они успели прогулять: ставили на бегах на рыжую киргизскую кобылу, сначала выиграли, потом сильно проигрались... С тех пор Ефрем рыжих кобыл не любит, на всю жизнь не его эта масть стала, несчастливая для него.

Еще дядя целый день грозился тогда перекупщику, и Ефремка тоже грозился, а моряшихинские над ними хохотали, подначивали. Лавочник — один — должно быть, в отместку перекупщику — Ефремке поясок подарил, в нем он и вернулся домой...

А в Соленой Пади побывать ему ни тогда, ни позже не довелось. Все мечтал побывать. Деревню эту дома у них, в Верстове, по-другому и не звали, как «дяди Силантия поселение».

Нынче Ефрем на поселение это глядел...

Перед селом два озера: одно — пресное, в камышах, другое — горькое, с бело-сахарным песочком по берегам. На перешейке стоит высоченная сосна. О ней Ефрем тоже от дяди слыхал, об этой сосне.

Из пресного озера берется речушка Падуха, ныряет в болото, снова выходит на белый свет, и в том месте, где выходит, карасей водится видимо-невидимо... Тоже от дяди известно. Еще ниже — по ее берегам заливные луга, из-за тех лугов дядя Силантий больше, чем из-за пашни, с Кузодеевым и тягался.

А вот и кузодеевские торговли видно посреди села — домина ладный, под железной зеленой крышей, и амбар — что твоя крепость.

Все ж таки надо бы подумать о войне.

Представилось так...

Генерал Матковский выехал на белом коне во-он туда — на тот взгорок...

Генерала Матковского и белого коня хорошо было видно с КП в Соленой Пади, и Мещеряков приказал пулеметчику: «Понужни-ка его огоньком, генерала!»

Пулемет застрекотал, генерал как был, так и остался на своем месте: на этой дистанции его огнем не достанешь, только свой командный пункт ему выкажешь...

Вдруг генерал махнул рукой, и сотни три анненковских кавалеристов рысью-рысью пошли-пошли на Соленую Падь. Сперва с увала под уклон выскочили маленькие беззвучные лошадки с игрушечными седоками, потянули за собой каждая свою тонкую, курчавую, желтовато-пеструю ленточку пыли...

Пыль все густилась-густилась, а потом уже пошла под уклон желтой тучей, прикрывая собою всадников, клубясь в голубое небо, а по флангам скатываясь в сизоватую камышовую долину Падухи и в зеленую с яркобелым березовую рощу.

Пыльный вал этот приближался, все меньше оставалось над ним неба, и вот уже снова проступили из него первые конники, стали различаться и кони — гнедые, вороные, саврасые, рыжие,— они все шли одним и тем же стремительным наметом... Сперва только чуть, а потом все явственнее стала дрожать земля, а вот уже возник сильный гул...

Тут же из глубины и орудия ухнули — пять или шесть. Только они дали первый залп — еще сотни четыре конников пошло на Соленую Падь. В лоб, через перешеек. По склону вниз.

Мещеряков скомандовал — сосредоточить на них огонь, и огонь был сосредоточен, но тут белая артиллерия пристрелялась по огневым точкам, а первые три кавалерийские сотни стали заходить с фланга,— их никак нельзя было достать, потому что они шли кустами по склону горького озера. Только возле самого леса, на открытом месте, их встретил партизанский пулемет, тогда

они разделились на две части: одни пошли прямо, хотя несли потери, другие взяли еще правее, еще в обход.

Уже подскакали анненковцы через перешеек, уже достигли высоченной той сосны — Мещеряков дал команду на контратаку, а навстречу правофланговой кавалерийской группировке — то ли чехи это были, то ли еще кто,— чтобы ликвидировать опасность охвата, он выдвинул полк из резерва.

Но тут через перешеек начали приближаться основные силы белой кавалерии, за ней пошла пехота — и прямо, и опять-таки в обход озера.

И артиллерия противника все продолжала точный обстрел. И кто-то истошно крикнул: «Окружаюты!» Мещеряков, не оглядываясь, бах в паникера из пистолета, сам встал в рост, обнажил шашку: «За мной, ребята!» Но — уже поздно... Уже генерал Матковский с белого коня самолично рубает на большой площади Соленой Пади. И скотина вся, какая есть в деревне, ревет — и бугаи, и собаки, и курицы. Всегда почему-то она ревет во время сражения.

— А-а-а-а, хады! Попользовались моим добром?— кричит кто-то диким голосом, а это Кузодеев откуда-то взялся. И тоже рубает.

— Р-раз-два!— И генерал развалил Ефрема шашкой и вдоль и поперек...

«Та-ак...— подумал Мещеряков.— На кой черт такая война? Тьфу!» Прежде всего надобно заставить противника развернуться задолго до его наступления на село. Еще сообразить — откуда противник обстреливал Соленую Падь своей артиллерией. А обстреливать он мог как раз с Большого Увала, на котором находится сейчас Мещеряков. Больше неоткуда. Увал этот необходимо будет заранее пристрелять, но прежде времени этого не выказывать, а подавить батареи, которые установит здесь противник перед самым началом его решительной атаки...

Еще нужно — навести через Падуху какую-нибудь переправу, хотя бы из тесин и горбылей, потревожить левый фланг противника кавалерийским отрядом и через эту переправу вовремя ретироваться. Убрать ее за собой... Есть надежда, что противник тоже задумает через Падуху переправиться, там в болоте и застрянет. Тут его — огоньком.

Конницу надо расположить в приозерной котловине и маневрировать ею по ходу дела — для огня противника и даже для его наблюдения она будет недоступна, а когда противник достигнет этой котловины, тут и повести на него контратаки...

Левым флангом отступить в лес, тогда противник в лес пойдет неохотно, а в решительный момент оттуда, с правого фланга, можно будет перебросить часть сил на главное направление... Версты за три от Соленой Пади сделать правильную линию обороны — окопы, капониры.

И пошли, и пошли у Мещерякова рассуждения, как будет действовать он и что придумает противник...

За этим и застали его приотставшие эскадроны.

Рапортовал Мещерякову о прибытии заместитель его, комиссар Куличенко, мужик еще не старый, лихой, для налетов очень пригодный. Настоящую же войну Куличенко не любил, не понимал, как она делается.

И Мещеряков, по-прежнему занятый своими размышлениями, выслушал Куличенку молча, после велел развернуть знамя и — марш-марш!— вступать в Соленую Падь.

Они и так уже запоздали — надо было бы явиться в партизанскую Москву пораньше, при солнышке. Себя показать, других посмотреть и до конца дня связаться с главным штабом Освобожденной территории по множеству вопросов.

Партизаны поглядывали на своего командира, тоже помалкивали, а если говорили — так вполголоса.

Мещеряков быстро, но придирчиво оглядел строй, велел двум или трем конникам стать в глубину колонны — вид у них был не сильно бравый, и на вооружении состояли ржавые берданы. Нечего такими воинами гражданскому населению глаза мозолить в крайних первом и четвертом рядах. Махнул рукой Куличенке, а тот уже подал команду: «Вперед арш!» И за спиной у себя почувствовал Мещеряков жаркое дыхание трех гнедых под знаменосцами и шелест красного знамени верстовской партизанской армии, сшитого из кумача; услышал топот эскадронов, выровнявшихся в колонну, тонкий, нетерпеливый звон колес на железных ходах, приспособленных под пулеметные тачанки...

Ну, вот оно — дяди Силантия поселение.

Вот и сам он — главнокомандующий партизанской армией Мещеряков Ефрем Николаевич.

«Все ж таки фартовый ты парень, Ефрем!» — подумал Мещеряков, въехав на площадь Соленой Пади.

Он подумал так, увидев на площади огромную толпу.

Это как было бы грустно, как тоскливо въехать в партизанскую Москву по пустынным, безлюдным улицам!

Или посылать вперед вестового, чтобы оповещал население о приближении главнокомандующего? Тоже вовсе не ладно. Это, наверно, лет десять назад через Верстово проезжал министр, так сельский староста по избам бегал, доказывал народу, чтобы выходили навстречу к самой к поскотине! Но то был министр — власть над народом, а вовсе не народная власть. Какое может быть сравнение?

Но тут получилось — и не приказывали и не приглашали, а народ само собою на площади оказался в полном сборе.

Теперь дело осталось за одним — хорошо представиться. Это уже от самого себя зависит!

Потеснили конями народ, и эскадроны встали — один справа, другой по левому краю площади, третий как раз напротив штаба... Знаменосцы пробились на самую середину площади, а Мещеряков с Куличенкой спешились, бросили поводья ординарцам и взошли на крыльцо, на котором находилось соленопадское начальство.

Народ стал было приветствовать Мещерякова, но он тотчас поднял руку, и наступила тишина. В этой тишине он и спросил:

— Кто здесь будет старший по гражданской власти?

— Я буду! — громко ответил Брусенков. — Я начальник главного революционного штаба Освобожденной территории! Брусенков!

— Здорово, Брусенков! — протянул ему руку Ефрем, глядя на площадь, и тут же другой рукой приподнял папаху: — Здорово, соленопадские!

Тут прорвало тишину, народ закричал, заревел голосисто, и Мещеряков подумал: не зря он предстал перед людьми с эскадронами своими, с новым красным знаменем, со знаменосцами на конях в гнедую масть. Уже и начинается самое главное — победа над генералом Матковским. Ведь невозможно представить, чтобы и генерала вот так же где-нибудь встречали! Жаль, не видит нынешней картины генерал!

Прошелся Мещеряков по крыльцу туда-сюда. Он будто бы себя видел со стороны, оттуда, с площади.

Глаза у него голубые, в кругловатых веках, розовые губы чуть припухшие. И глаза и губы на ребячьи смахивают, кожа на лице розовая — загар ее никогда не берет. Из-под светлой мерлушковой папахи выбивается волос с рыжинкой, а усики темные. Невысокий, но крепкий, ловкий мужик, а еще — радостный. Это Ефрем о себе знал: когда ему хорошо, когда он про себя знает, что не сплоховал,— на него и людям глядеть радостно, а у баб — у тех сердце вовсе замирает. Война войной, кровь кровью, горе горем, но и осанка, и хромовые сапоги на главнокомандующем — дело тоже не последнее!

Ну вот, на вид соленопадцы Мещерякова узнали. Не то что глазами — вроде даже руками он каждому дал себя пощупать.

Теперь надо было подать голос, сказать слово. Дело уже труднее. Но — начинать надо. Начинать, не опаздывать. Как в бою, есть первый успех — развивай его и закрепляй не мешкая.

А голос у Мещерякова был тоненький.

Крикнуть, команду подать — это получалось, а вот речи — дело не мужицкое, интеллигентное, должно быть, поэтому оно и не давалось ему никак. А тут, на площади, речь была ему особенно не к месту потому, что он хоть слегка, а лысый был. Тридцать лет, а сзади лысинка, о ней никак не забудешь. Тут недавно один мужик, и не то чтобы сволочь, а все-таки сказал ему, будто у бобылей лысина растет спереди, а у бабников — сзади.

Произносить же речь в головном уборе тоже плохо, к народу непочтительно. В строю, перед солдатами,— там еще можно в шапке говорить, мало ли что между мужиками бывает? Там — строй. Подчинение. И то большой начальник, полковник или даже генерал, когда хочет к строю без команды речь сказать, и то, бывает, шапку скидывает.

Но говорить в головном уборе перед народом, перед женщинами, перед стариками?

И Мещеряков вот что придумал.

— Товарищи! — крикнул он и потянулся будто к папахе, хотел ее сбросить, но повременил.— Товарищи, вот я к вам обращаюсь со словом...

Молчание тянулось долго. Мещеряков глядел на людей серьезно, они серьезно глядели на него, а потом он

вдруг весело, хитро так усмехнулся и сказал Куличенке:

— Говори за меня, комиссар! У меня, товарищи, горло шибко узкое,— снова сказал он на площадь и еще назад покосился. Там, позади, девица находилась в ситцевом платьице — писарша, и притом молоденькая. Перед нею лысиной красоваться Мещерякову ничуть не хотелось.— Значит, туда что идет, внутрь, сказать,— то не задерживается, ну, а обратно почто-то туго! Вот комиссар при мне, он для того и есть — говорить с народом! Исполни свою должность, комиссар!

Засмеялись, загудели на площади. Ошибки не должно было случиться, и не случилось — принял народ шутку.

Куличенко вышел наперед, чуть даже небрежно Мещерякова отстранил, расправил бороду надвое, прокричал громко, зычно:

— Товарищи соленопадские! Товарищ главнокомандующий верно сказал: говорить нам долго не об чем. И некогда нам говорить.

Но сам речь держал долгую — о Красной Армии, о партизанской войне в тылу Колчака, о мировой революции. Только под конец объяснил, что Мещеряков лично будет руководить обороной Соленой Пади, что задача сейчас для каждого — погибнуть, но партизанскую Москву врагу не отдать.

Мещеряков, чтобы комиссара поддержать, слушал стоя, не шелохнувшись, но иногда вставлял свое слово:

— И правильно! Я с этим согласный!

А Куличенко, если греха не таить, тоже не шибко был говорун, а стоять перед народом и вовсе плохо стоял — брюхо сильно вперед держал. Старается, а это сразу же видать. Стараться можно, однако чтобы старания твоего никто и не видел. Он вообще-то неизвестно, был или не был комиссаром, Куличенко. Никто толком не знал.

Но тут, в Соленой Пади, без комиссара как-то неловко было обходиться, тут у них серьезные порядки держались. Мещеряков это сразу почуял, сразу же и комиссара выставил народу.

— Всем понятно или кто будет вопросы ставить?— спросил он.

— Какие могут быть вопросы! Ур-ра товарищу Мещерякову!

Народ вел себя сознательно, а все-таки чего-то еще ждал от главнокомандующего. Надо было еще поговорить, и Мещеряков обратился на площадь:

— Что происходит?

— Суд идет!

— Засудили уже!— ответили ему дружно, радостно ответили.

— Кого судите? За что?

Ему снова объяснили в несколько голосов: судили Власихина Якова — сынов спрятал от мобилизации в народную армию. Увез в урман и спрятал.

— А сам — вернулся?— удивился Мещеряков.— Ты гляди, интересно как!— Подошел к Власихину, оглядел его внимательно.— Почему же не дал сынам повоевать, а? Молодым в нынешнее время не воевать за народную свободу — или это можно?

— Разные они у меня выросли,— сказал Власихин.— Один белый, другой красный. Недопустимо, чтобы воевали они против друг дружки...

— Сколько же годов тебе, Власихин Яков?

— Семьдесят почти, товарищ главнокомандующий...

— Ну, а когда сам бы ты пошел воевать, то за кого — за белых или за красных? В семьдесят годов — кого бы ты выбрал?

— Люди соврать не дадут, товарищ главнокомандующий,— в любое время пошел бы я за красных!

— А приговорили тебя — расстрелять?

— Так точно, приговорили...

Мещеряков прошелся по крыльцу, папаху чуть подправил на голове. Все на него глядели во все глаза: и с площади народ, и Брусенков, и подсудимый, и девица глаз не спускала, и свои эскадронные глядели, не шевелились... До того было тихо!

— Ну, народ, все! Посудили — и хватит,— сказал Мещеряков.— Идите по домам. Нынче готовимся к сражению любой своей мыслью, а также и в действительности.— Еще прошелся по крыльцу, резко повернулся к Брусенкову:— Подсудимого освободить! Освободить, считать как призванного в народную армию!

Брусенков внимательно следил за Мещеряковым, будто заметил в нем что-то, чего никто, кроме него, заметить не мог. И вот он догадывался — что это такое?

— Товарищ главнокомандующий!— сказал Брусенков.— Подсудимый присужден всеобщим голосованием

по закону военного времени. Решения суда никем не отменяются.

Мещеряков прищурился, на площадь глазом покосил: глядите, народ, сюда, тут интересное будет.

— А когда так,— ответил он,— по этому закону приказы главнокомандующего обсуждению не подлежат, подлежат одному только выполнению. Первый эскадрон!

С левой стороны площади, вдоль бывшего кузодеевского магазина, шевельнулись конники, подтянули поводья. Командир эскадрона сию же секунду подал голос:

— Слушаю, товарищ Мещеряков!

— Первый эскадрон, зачислить подсудимого старика в свой личный состав! Взять под свое усмотрение!

— Слушаюсь, товарищ Мещеряков!

— Все!— сказал Ефрем.— Теперь старик уже не подсудимый — добровольно вступивший в ряды народной армии — вот он кто! Тебе же, товарищ начальник главного революционного штаба, предлагаю: обеспечить мои эскадроны — двести тридцать три конных — квартирами, пропитанием и фуражом.— И еще прошелся Мещеряков по крыльцу, легко так, весело. Приподнял на голове папаху.— А встретимся, товарищи, с вами в бою против нашего ненавистного тирана. Встретимся для совершения нашей общей и непременной победы!

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Сено было недавно в стог сметано — трава в нем еще зеленая, еще дышала влагой. Живая была трава.

И стог, как живой, покряхтывал, кособочился на одну сторону, собирался, никак не мог собраться с места тронуться.

В глубине этого стога, во тьме, и хоронилась Дора с ребятишками. Тяжко было там, в тумане.

Настоян был крепко туман этот на множестве разных трав... То колючий, жесткий жабрей першил в горле; то церковный запах вовсе маленькой богородской травки появлялся — ладан и ладан поповский; то лекарствами тянуло отовсюду; то бабьей ворожбой... Бабы в травку эту до отчаянности верят, секретно кладут ее под самую большую подушку и после думают: мужик уже до самой смерти приворожен. Мужик уйдет с даль-

ним обозом или служит военную службу и гуляет там с другой, и гуляет, а баба верит ему и верит.

Сколько запахов этих, сколько с ними вместе солнца, неба, земли вошло в пищу человеческую и в питьевую прохладную воду, в избы, в семьи, в любовь и в разлуку, в материнство и в отцовство, в трезвые и в хмельные песни, во всю человеческую жизнь, но тут слишком уж много было всего этого, душила чрезмерная сила, в испарину бросала, давила сердце.

Казалось, еще чуть — и ты вовсе растаешь в дурмане, кто-то другой, бог знает кто, придет сюда, но тебя уже не увидит, не услышит, не узнает, только вдохнет тебя, и вот так же закружится у него голова, будто с хмельного. Замутится сознание, и потянет его к забывчивому сну... И он скажет робко и негромко, успокоенный навеки: «Чую прах чей-то... и жизнь чью-то...» После — уснет.

Вот как ей чудилось в полдень, в жару, Доре Мещеряковой, когда все травинки в глубине стога потными становились, когда она глядела на ребятишек, лежавших с нею рядом.

Она на них глядела, боялась, как бы в головенки ихние, детские, неокрепшие от этого жара, от духоты и запахов мысли не запали страшные. Они будто уже ни ее, ни друг друга не узнавали, Наташка с Петрунькой.

Но самое тяжкое было ей с грудным младенцем.

Ниночке как раз исполнилось два месяца, а жизнь с нею рядом и ради нее прожита будто длинная-длинная, а до нее — совсем будто бы короткая. До нее — вдруг казалось — не было ничего. Ни ее самой, ни Ефрема. Ни того, от чего дети рождаются. Ничего! Рождалась Ниночка легко — куда легче, чем старшие двое... Родилась и будто удивилась сама, что и в войну люди тоже родятся, а потом все дремала, не то чтобы улыбаясь, а губки складывала во сне беззаботным цветочком. Пососет грудь и в один миг отпадает прочь, ручонки мечет в стороны и объясняет матери что-то о себе.

Объясняет — ей много не надо, она вырастет обязательно, какая бы ни была война, какая бы ни была у матери судьба! Такие исходили от нее бессловесные слова.

А матери страшно: обманет жизнь ребенка! До того страшно, что и глаза застилались темнотой, поперек груди что-то жесткое становилось.

И — удивительно — из такого красного, потного, из такого беспомощного человек должен был вырасти. Женщина. Со своей судьбой она будет и своих детей будет родить!..

Дышала Ниночка тяжело, вдруг прихрапывала, иногда. Сердечко билось у нее часто-часто. Господи, какое там сердечко, с ее же кулачок? А уже навалилась на него тяжесть неимоверная — и стог этот навалился, и солнце через стог всем своим жаром ее душило, и война, и еще материнская вина, должно быть, на сердечке этом лежала.

— Спаси меня, Ниночка!— шептала Дора, когда от этой вины уже не было ей исхода.— Виновата я — родила, привела тебя на этот свет, в стог в этот! Не я виновата — не знаю кто! А если и я — спаси и меня, помилуй, не умирай! Дыши, не дай сердечку своему успокоиться. После упрекай меня, после я рабой твоей буду на веки вечные, а сейчас умрешь — я жизни не выдержу, я всех прокляну — и себя, и Ефрема, и живых детей своих, и господа бога! Спаси, бога ради, в последний раз! Клянусь я тебе: никогда не приведу больше тебя к гибели, к этому краю мрачному, давным-давно тоже проклятому! Спаси в последний раз...

А ведь она и в самом деле, Ниночка, спасла уже ее. И не одну — вместе с Ефремом. И не один раз, а дважды...

Впервые — весной ранней, Дора была еще беременна, и настигли их с Ефремом колчаки в деревне Боровлянке.

Узнали, что Ефрем в той деревне скрывается, доказал кто-то, и начали они по избам подряд шарить. Тогда бросил Ефрем в сани мешки с зерном и сам лег между ними, а сверху все это накрыли рядном, на рядно села Дора, погнала кобылу.

На выезде из села остановили ее колчаки.

И когда остановили, выпятила Дора брюхо вперед и замахнулась кнутом.

— Ироды треклятые!— завопила отчаянно.— Ребятишек делать, так мастера вы, а растить — нету вас! Некогда вам — войной заниматься надо! Мешки ворочать, по лывам, по глызам брюхатой бабе на мельницу ехать — и то спокою не даете! Подставляйте рожи-то, я по зенкам бесстыжим кнутом-от секну, от слепых от вас сраму на земле меньше будет!

Колчаки отшатнулись. Она стегнула кобылу, а после еще долго оглядывалась, и плакала, и кричала колчакам, что и они бросили своих баб и ребятишек и слоняются по степи, ровно бездомные кобели. И кобылу настегивала — старую уже, надорванную кобылу,— и еще угадывала хлестнуть по рядну, под которым Ефрем хоронился.

Въехали в лес — Ефрем выбросил молча зерно на снег, вожжи взял и еще погнал кобылу. Остались они тот раз живые.

И почти такой же был случай уже летом, когда кормила она Ниночку грудью, сидя на телеге, а под сеном, под охапкой, опять хоронился Ефрем...

Но сколько же можно судьбу испытывать?

Сколько можно мужику воевать с револьвером и с шашкой, а спасаться за дитем вовсе малым, за своим же младенцем?

Сколько можно и матери так вот уберегаться и мужа оберегать, отца детей своих?

И не подлость ли, не низость ли, что хватает у нее совести на это? Зверь гибнет, а детенышей своих куда бы подальше в нору или в кусты прячет, зверю детьми своими от смерти отгораживаться не дано. А люди? Рубят и убивают друг друга, и жалости нет в них ничуть, а когда жизнь вымаливают — вымаливают ее ради детей и даже, бывает, несут дите впереди себя на руках, защищаются крохотным его тельцем!

— Я вину с себя не сниму сроду, дите мое!— шептала Дора во тьме.— Я за всех баб, за всех мужиков грех этот на себя приму и на колени перед тобой становлюсь, обливаю тебя слезами!

И становилась Дора на колени, и плакала молча и долго в черном и душном логовище своем. И обещала вцепиться обеими руками в Ефрема, чтобы не воевал он больше, чтобы не стрелял ни в кого и в него чтобы никто не стрелял...

В отчаянии шептала Ниночке обещание, а ведь знала: не сделает этого! Может даже, она и могла Ефрему его военную жизнь до конца испортить. Могла бы...

Упрекала бы его каждый день, проклинала бы его ежечасно именем тех, кого убил он в этой войне.

И он от войны ушел бы. Все может быть — ушел бы.

Но ведь и от нее самой тоже отшатнулся бы навсегда. Про нее бы забыл в тот же час, как прошлогодний какой-то день забывают. И еще — отшатнулся бы от са-

мого себя, другим стал бы человеком, не Ефремом Мещеряковым, а вовсе другим каким-то...

Она его знала, Ефрема. Она-то ничего, ни одной малости о нем никогда не могла забыть. Девкой шла за него замуж — уже тогда про него знала все. Не обманывала себя, объясняла себе, что придется прощать ему, прощать и прощать без конца, всю жизнь, потому что нет ничего, что она простить ему не смогла бы.

Все девки выходят замуж, а она не вышла, нет... Она в свое замужество ушла, в нем потерялась.

Как жила с ним первое время — год ли, два ли — не помнила. Как туман был какой-то. Тот же туман, но на нынешний не похожий.

В ту пору мужики к ней близко не подходили, должно быть, чуяли: Ефрем голову ни за что может отвернуть, да и сама-то она как только замечала на себе мужской взгляд — ее как ознобом злым прохватывало, она только что не рычала и никак в толк не могла взять, как это глупый мужик не понимает, что ее нынче не то что рукой — словом и взглядом задеть нельзя.

Еще когда Ефрем был парнем неженатым — он всех девок пугал, они все его боялись до смерти.

Ужас был перед ним, а в то же время как бы приятный. Особенный ужас.

Если девку кто из парней обижал на игрищах — то ли за косу сильно дергал, то ли, вроде шутя, обнимал, а после не давал ей из рук своих вырваться,— ей только крикнуть: «Ефремка! Заступись, бога ради!» — и Ефрем уже тут.

К обидчику подошел, молча с правой, с левой — раз! два! — весело так по морде стукнул, повернулся и пошел.

Если побитый парень не шибко гордый — дело между ними на том и кончится. Ефрем сам о таком случае не вспомнит и другому дразниться не даст.

Когда же парень простить не хотел, давал сдачи, так должен был знать, что не только на кулаках, но и на батожках придется мериться, что за Ефремом встанет весь Курейский край деревни и что пусть год пройдет, а встретится он где-нибудь один на один с Ефремом и тот не забудет к нему еще раз руками приложиться. И девки этот порядок знали: если уж кто вступал с Ефремкой в драку, так они с визгом разбегались по домам — конец наступал вечерке.

Но таких мало находилось охотников — с Ефремкой Мещеряковым связываться, и девки только шепотком предупреждали парней: «Отпусти! Не то вон сейчас Ефремку и крикну!» А Ефремка стоял всего чаще в стороне, глядел на игрища, улыбался чему-то и одну за другой свертывал цигарки.

Любили девки его защиту, любили за спиной его перед ухажерами своими покуражиться — так ее не тронь, этак ее не задень.

Но зато если Ефремка тоже вступал в игру и догонял какую из них, хватал ее железными своими руками — так мял, сколько хотел, и обнимал тоже, покуда не надоест.

И не то чтобы это со зла какого — просто так: он девок защищал, они от него и потерпеть должны были. И тут жаловаться некому было, тут парни над девкой издевались, ржали в голос: «Попалась! Терпи нонче!» А что ей остается, девке? И в самом деле — терпеть да повизгивать.

Чувствовали девки, что с парнем этим шутки плохи. Вдруг отведет какую из них в сторонку и скажет, что любит,— и уйти от него будет не просто. Если же пойдет кто за него замуж, так сколько же хватит горя?

А сколько выпадет с ним счастья?

Был Ефрем парнем не то чтобы красивым и видным, но железные его руки, отчаянность его и смелость, голубые большие и вроде вовсе детские глаза счастье обещали.

Не простое, далеко не каждой доступное — но счастье. Только, может, среди них и не было ни одной, которой оно доступно, это счастье?

И глядели девки на Ефрема издали, а когда глядели вблизи, воротили взгляд куда-то в сторону. Даже пожилые бабы, замужние и детные, и те его вроде стеснялись, замолкали, когда проходил он мимо улицей, и только вслед ему, и вовсе тихо, говорили меж собой:

— У-у-у-у, глазищи-то! Чисто варнак... Азартная девка за такого пойдет!

Пошла за такого Дора.

И когда пошла и справили свадьбу — девки, недавние ее подруги, на нее стали глядеть с тем же страхом, с каким до тех пор глядели на Ефрема, а бабы, которые особенно любопытные, спрашивали будто ненароком, но не раз:

— Ну, как с таким-то? Страшно? Либо...— И сами, верно, не знали, что «либо»...

Дора же и раньше знала за собой отчаянность, всегда ее чувствовала, а тут она не глядела даже, что баба вдвое, а то и втрое ее старше, в матери ей годится, отвечала по-шальному, на «ты»:

— Попробуй схлопочи такого же! Сама и узнаешь!

Это, наверно, она потому отвечала так и ничуть не стыдилась, что никто ее о Ефреме, о жизни их семейной спрашивать не имел права. Никто! Хотя бы и мать родная!

И еще боялась обмолвиться, как трудно ей с Ефремом.

Дома он и день и другой весь ей принадлежал. Что ни скажи, что ни заставь — все тотчас исполнит и улыбнется еще, и все захолонется в ней от этой улыбки. После оглянулась — туда-сюда, а его уже и след простыл на ограде. Куда он девался, где был и с кем? — об этом не узнаешь. Спросишь — он удивится даже: «А какое твое бабье дело?»

И сиди бессонную ночь, и страдай — откуда он вернется, когда и какой? С синяком ли под глазом, пьяный ли, в карты проигравшийся? Не спрашивай ни о чем, не упрекай, не то он снова повернется и уйдет снова, либо тут же запряжет и молча уедет на пашню, будет жить там в избушке один, неведомо чем сыт, ворочать же работу за двоих добрых мужиков.

И только чего не допускал никогда Ефрем — это обидеть ее при народе. Может, сам по себе не хотел, может, догадывался, что уж слишком тяжело, нестерпимо было бы от этого Доре.

Собирался народ в масленицу либо в престол на большие игрища, так он одевался в новое, глядел, чтобы и она была одета чисто и красиво,— и вдвоем шли они по улице.

Шли — каждому было видно, какое Ефрем оказывает жене своей почтение.

Шли, а девки, глядя на них, замирали, ругали себя, думая, будто напрасно они в свое время Ефремку убоялись.

Приходили на площадь. Там холостые ребята, да и мужики помоложе, а которые уже хмельные, так и старшие возрастом лапту гоняли; на высокий столб, маслом смазанный, карабкались, доставали с вершины самогонки четверть; боролись, подымали гири двухпу-

довки — против Ефрема в играх этих стоять было некому. А играл он и боролся весело, азартно, рисково боролся, но опять — о жене не забывал.

Дора лущила в то время подсолнухи с бабами, беседовала с ними о том, о другом, Ефрема будто и вовсе не замечала. После кивнет ему, поманит его пальчиком — он в ту же секунду бросает свое занятие, подходит к ней узнать, что надобно.

И млеют вокруг Доры бабы, и девки тоже млеют от изумленья и пялят на нее глупые свои глаза.

Объявили войну...

Она на выпасах была тот день, далеко от дома,— бросилась на подводу чью-то попутную, а когда бежала по деревне улицей, в каждой избе баба в голос ревела и причитала, и мужики ходили угрюмые либо пьяные. Успели уже.

Дора бежала со всех ног и думала, что ведь Ефрем и глазом не моргнет, что страха в нем нет и не может быть ни перед чем, но неужели за нее-то он не испугается нынче, за ребятишек ихних, в то время малых совсем, неужели не дрогнет у него сердце перед разлукой? Ведь жена она ему, мать его детей, и ему самому тоже не раз и не два была матерью, когда увещевала его и прощала его. Неужели уйдет и не заметит, как она страдает за него, не поймет, как страдать будет? Уйдет веселый и бесстрашный?

Ей бы не об этом думать в тот час, в те минуты, не о себе думать, только о нем, о нем одном, но она не могла по-другому!

Вбежала в избу... Ефрем уже в котомку свои пожитки укладывал, уже почти что доверху котомка полная была.

— Ефрем,— спросила она с порога задыхаясь,— а если убьют тебя? Я-то как же тогда?

— Всех не убьют!

— Всех не убьют, а тебя одного?!

— Бабий расчет...

Тогда она кинулась к нему в ноги, за колени его обхватила и взвыла, запричитала — пусть узнает наконец, что и она баба как баба, что и она слезами полна.

Ефрем сильно удивился. И даже замешкался как-то, затоптался ногами на месте: она ведь ни разу до того не выказала ему обиды какой, страха за него, ревности и каждую свою слезу улыбкой к нему обращала.

Он любил баб — страшный охотник был до них, но только по одной, когда же две или три соседки к ним в избу приходили — тотчас прочь исчезал: скучно ему было до смерти слушать их всех вместе.

Другая баба какой слух на улице либо через плетень перехватила — и уже бежит к мужику своему новость пересказывать. Ефрем этого не терпел, никогда такого ей не позволял. Заикнись только — слышала от баб то-то и то-то, он рукой махнет и еще оботрет после руку о штаны.

— Мое-то какое дело?

Любить он умел, как никто, но только такую, которая ради него от самой себя во всем отказывается, во всем для него ладная, безупречная...

Но тут уже не было у нее сил через слезы ему улыбаться — она ревела дико, она все хотела выплакать, все выкрикнуть, за все хотела убояться, что с ним на войне этой проклятой могло произойти.

И чем громче она вопила, чем крепче головой прижималась к ногам его, тем страшнее становилось ей за себя, за него, за ребятишек их — что, если он и тут ее не поднимет с полу, не успокоит, не скажет доброго слова? Не сделает этого, а на нее же и прикрикнет, почему нет у нее ласки? Почему невеселая, почему баба глупая, крикливая? Кого ей тогда проклинать? Его? Себя? И его, и себя, и всю жизнь вокруг себя?

Тот раз он поднял ее с полу. И на койку положил, сходил в ледник — принес квасу холодного и на голову холодную же примочку положил.

Сидел подле нее в горнице, думал о чем-то, молчаливо и долго думал. И тем его молчанием она и жила целые годы, покуда он воевал. Помнила молчание это и в разлуке переживала его едва ли не каждый день снова и снова.

Вернулся же он зимой, в начале восемнадцатого года... Холода стояли.

В буранистый день Дора поехала по дрова, их несколько солдаток собралось, а дорога лесная, дальняя, замело дорогу, она сильно домой припозднилась... Дрова в то военное время будто в лавочный дорогой товар обратились. Другие солдатки из-за дров замуж выходили, пленных австрийцев в избы принимали, а начнут ее соседи корить, солдатку, она сразу же и отвечает: «Ты за

билетом съезди за дровяным в лесничество, да в лес, да наруби по тому билету, наколи дров, привези их с леса одна-то, без мужика, а я погляжу, как это у тебя получится все!»

Царя в Петрограде прогнали, а первое, что после того в Верстове сделали — собрались солдатки, пошли в волостную управу, потребовали, чтобы им за всю войну дровяной долг вернули, а на первый случай немедля же выдали по кубу на солдатку. После отдавали билеты на порубку в те семьи, где мужики были, отдавали исполу: два куба дров напилить-нарубить и сложить, один — себе за работу, другой куб — солдатке.

И выдавало начальство билеты, не стало перечить. В других деревнях так не захотело, захотело по-своему, упрямо делать,— там солдатки и окна в управах повышибали, лесничих и объездчиков тронули и даже занялись самовольной порубкой, бабью революцию делали!

После эти свободы, бабами завоеванные, омское начальство опять стало к рукам прибирать, стало отпускать кубы далеко не всем, по выбору: у кого муж «Георгием» на фронте награжден либо совсем погиб, а еще кто в белую армию угадал и уже в то время с красными воевал. Таких по пальцам было пересчитать в Верстове, да они и сами не сильно за кубами этими гнались, помалкивали, народа стеснялись.

Припозднилась в тот день Дора с дровами.

Приехала, распрягла — уже и совсем сильно загудело, забуранило, потому, должно быть, и не слыхал дома никто, как въехала она в ограду, как распрягла. Пимы сколько времени обметывала на крыльце и все не чувствовала, не понимала, что случилось. Вошла в избу, а Ефрем — вот он сидит. На том же табурете, на котором котомку свою на фронт собирал, и сидит босой. На коленках ребятишки у него. В черепушке огонек моргает... И котомка, сильно обтрепанная, у порога на попа поставленная стоит.

Что после было — опять не помнила.

После — жил он дома. Он и дома умел жить, как никто не умел,— со двора не выгонишь. Другие мужики, одной с ним солдатской службы, зайдут, в картишки перекинуться покличут — он вроде глухой, не слышит их...

И весна так же прошла — либо он в избушке на пашне, Ефрем, либо дома.

Принес три Георгиевских креста, лычки фельдфебельские, снял и кинул на комод, позади зеркала. Кинул, да ни разу после и не вспомнил. Как только прибирать Доре на комоде — так и не знает, что с ними делать, с крестами и с погонами,— убрать куда подальше, с глаз долой — так ведь хватится вдруг, осерчает, что обошлась с крестами не так, как положено, службу его военную не уважила? На видное место положить — а может, он того и сам не хочет, может, он забыл о крестах этих, и слава богу. Зачем самой напоминать, чтобы он гимнастерку надел свою, подвесил кресты, да и пошел бы с ними по деревне гулять с такими же, как он сам, служивыми?

Не трогала она ни погонов, ни крестов, лежали они сами по себе, будто чужие чьи, но только не верила Дора, что долго это может продолжаться.

И когда только-только партизаны народились в какой деревне, может, с десяток их было, а в другой и того меньше, Дора сразу же поняла: отсидел Ефрем свой недолгий срок, отхозяйствовал дома.

Но если не могла она пойти с ним на ту первую, германскую войну, то теперь, когда война дома занялась, в своей же и в соседних деревнях, в ближних селах и камышах — она решила, что ни на шаг от Ефрема не отстанет, с ним пойдет, всюду с ним будет, покуда и эту войну мужики не отвоюют.

И пошла...

Отряды были в прошлом году совсем небольшие — скрывались на пашнях, в бору, в кустах.

Она с Ефремом тоже скрывалась.

А зимой в лесу, в степи долго скрываться не будешь — мороз, следы выдадут, и решили отряды до весны разойтись.

Так и сделали. Только Ефрем, которого уже тогда по многим деревням хорошо знали, и семеро дружков его — домой не пошли, пошли в горы и там под видом беженцев нанялись углежогами. На заимке в горах восемь мужиков хоронились. И она с ними — одна женщина. Одного любила, восьмерых обстирывала.

Весной отряды собрались снова и куда сильнее прежнего. Налеты совершали, походы по всей степи.

И Дора была с Ефремом безотлучно.

Тут как раз образовалась армия партизанская. И в южном уезде, и в Соленой Пади тоже была армия,

и решено было из них одну сделать, а главнокомандующим назначить Ефрема.

Ефрем пошел с тремя эскадронами в Соленую Падь, она пошла с ним.

Колчаки между двумя армиями проникли, стали Ефрема настигать. А тот нет чтобы уходить — начал со своими эскадронами на белых тоже наскакивать, по степи петлять...

И попали они в деревню Знаменскую, к матери Доры, к ее отцу. И Ефремов отец, Николай Сидорович, там же был. Радовалась Дора, что увидит родителей, а увидела в Знаменской бог знает что.

Пришли они в Знаменскую на рассвете, их сразу кто-то в поповский дом повел. Дора с ребенком на руках была, не знала, тоже зашла. Зашла, а там поп лежит, на куски изрубленный, и попадья задушенная.

Ефрем спросил: кто сделал? «А твои и сделали,— ответили ему.— Твои эскадронцы раньше тебя успели сюда, раньше успели и уйти отсюда».— «За что сделали?» И тут вот что оказалось — еще летом офицера одного живьем взяли, а у того списочек: кого колчаки побивали в здешней местности — партизаны, семьи партизанские. И список никем, а батюшкой был написан, и еще было сказано там: «Посоветовавшись с моею супругою, я...» Еще и схитрил батюшка — знаменских ни одного не помянул, из других деревень своего же прихода были мужики, на тех доказал. Сделал — не догадаться бы никому, как бы не попался тот офицер. Далеко где-то попался, говорили, едва ли не за тысячу верст от места, а бумажка по рукам шла, шла и вот — к батюшке вернулась. Не помогла хитрость.

Нынче та бумажка к супруге и была приколота.

Ефрем сказал: «Сами божьи слуги и виноваты...» — «Так еще-то эскадронцы пограбили имущество!» — «Ах, пограбили! Найду — сам же пристрелю мародеров!» Тут привели какого-то мужчину сильно пьяного, сказали Ефрему: «Этот был среди тех!» Ефрем вышел с мужиком из избы, а вернулся без него... Выстрел игрушечный был, будто ненастоящий. Только он вернулся — еще какой-то мужчина пришел, высокий, усатый. Закричал на Ефрема: «Вы что дурака валяете? Этот вовсе ни при чем, он после всего уже прибыл да успел где-то набраться!» Ефрем на усатого: «И тебе, видать, того же надо? Чего разинулся? После время оглашаешь? Ну, сделано, так уж сделано, мог бы пояснить, а не огла-

шать! Тоже, поди-ка, еще и начальство!» — «Начальство, угадал, но безобразия такого не делаю!» — «Ах, не делаешь? Тогда разберись — вот человек, который мне на эскадронца моего указал! Напраслину возвел. Разберись, и когда действительно напраслина, то этого человека за ложный донос сам и расстреляй!» А тот человек тоже заревел дико: «Я, что ли, доказывал один? Все так и доказывали!» — «Вот-вот,— сказал Ефрем усатому,— сколько их есть виноватых, столько и стреляй! Самолично!» И тут заметил Дору с Ниночкой на руках — она в толпе стояла. Подошел к ней, взял за руку, повел прочь. У ворот остановился, приказал, чтобы ему на квартиру срочно доставили акты описанного и конфискованного у здешних буржуев имущества.

Потом ехали по деревне в тарантасе, в дом вошли, мать к ней бросилась... А бросилась ли? Может, не было? Что там было, чего не было — после того поповского происшествия? Как только она через порог родительский переступила? Потому, может, и переступила, что в этом доме тоже несчастья, горя было через край.

Было так, что родители не в своем доме и жили. Даже не в своей деревне.

Старшая сестра Прасковья давно еще из Верстова пошла замуж в дальнюю деревню — в Знаменскую.

Ребятишек народила там, и уже забыли будто про нее в родной семье, редко поминали, навещали еще реже. Дора у сестры так года два назад только и была, Ефрем еще с фронта не возвращался. Прасковья же в начале войны овдовела: убили у нее мужика.

А тут Верстово колчаки сильно последнее время трогали, партизанские семьи преследовали, не только семью Мещеряковых, даже родителям Доры и тем грозились что-нибудь сделать. Родители взяли и в Знаменскую к дочери уехали. И вовремя. Отец Ефрема очень старый был, понадеялся на возраст — не тронут древнего. А легионеры пришли — избу у него сожгли, самого избили страшно, хотели будто бы на цепь посадить, к столбу приковать на площади верстовской.

Свои, верстовские, спасли его — опять же в Знаменскую, в тот же вдовий дом и доставили...

Мать, она и есть мать — как-никак, а отогрела у Доры сердце. Хоть сколько, а смогла. И не тем вовсе смогла, что приласкала дочь, приласкала Ниночку, старшеньких двоих, а еще — встретила Ефрема с великим почтением...

Как войти, напротив дверей, сидел на лавке Ефремов отец. Дора сразу же подумала: мать его посадила здесь, на виду, чтобы Ефрему приятно сделать, чтобы как вошел Ефрем — сразу же отца и увидел.

А смотреть-то на что? На колчаковскую работу? Что колчаки-легионеры с людьми делают — на это смотреть? Хватило бы уже такого!

Еще весной — вспомнить — сильный был старик, за плугом ходил, а уж по домашности не было дела, что бы проворно не сделал. Четыре рабочие лошади были в хозяйстве у Мещеряковых, да молодняк, да овец они водили порядочно — пыхтел, а все ж таки управлялся без сына, без снохи старик... А тут — сидит древний-древний, глазами водит, все время ищет чего-то. Ищет, не находит... На Дору поглядел, закивал часто, а не сказал ничего. Дора ему Ниночку показывает, он не видел Ниночку-то — она родилась летом, на боровой заимке в то время отряд Ефрема стоял...

Он увидел младенца, спросил:

— Как звать-то?

Будто никогда об этом не слыхал, не знал.

А вот другое заметил сразу:

— А-а, Ефремка! Ты гляди, пинжак на тебе какой — сплошь кожаный! Садись-ко! Вот тут и садись!

— Ты, сват, хотя бы рядом посадил Ефрема Николаевича!— сказала мать.— А то и место ему указываешь бабье!

Подошла к зятю, папаху на нем приподняла, поцеловала три раза. Ефрем папаху бросил на лавку, поклонился теще:

— Спасибо Дарье Евграфовне за внимание!— Сел, куда отец указывал.

— Пинжачок-от как, спрашиваю: на деньги купленный либо на муку где меняный?— допытывался старик.

— Выменял...

— И то — деньгам-от нынче веры нету. За деньги вещь не возьмешь, куды там!— И вдруг дрогнул весь, погладил Ефрема по голове, наклонился к нему и тихо так, жалобно спросил: — Ты скажи, Ефремка, пахнет ли от меня чем?

Ефрем сначала не понял, после стал наклоняться к отцу близко. И Дора к нему наклонилась невольно, хотя и странно было — вроде как зверям каким при встрече обнюхиваться.

Человеком пахло, человеком пахло хворым и вроде даже земляным уже каким-то, могильным. Дора подумала: старик и сам чует запах этот, а все кажется ему — мнится это, не может этого быть, вот он на других и хочет проверить. Заглянула ему в глаза — ничего нельзя угадать. Глаза сами по себе. Разговору в них никакого, выцвели, слов не касались. Но помнить что-то такое помнили... Либо Ефремку еще бесштанного, либо как сам он сватать приходил в первый раз Дору.

В избе тихо стало...

Ефрем сидел рядом с отцом, нюхал его, не стеснялся, и видно было, как старался он. Мыслями всеми догадывался, и глядел на отца, и носом шумно тянул в себя...

Отец же сидел — не дышал. Ждал — угадает ли Ефрем. И все в избе ждали — ребятишки и свои и Прасковьины,— все присмирели.

Вдруг Ефрем вздрогнул и так, будто бы ненароком, даже сказал:

— Ну, как, поди, не почуять... Очень даже сильный дух от вас, батя!

— А — угадай! Угадай, какой дух-от? А?

— Угадывать вовсе нечего — веником от вас, батя, сильно пахнет!

И засмеялся старик. Засмеялся-то как: будто сроду не били его колчаки, не хоронил он прошлую зиму жену свою, будто ничего худого не знал сроду. Толкнул Ефрема в грудь:

— Ты гляди, Ефремка, угадал! Угадал ведь как надо! Уж я мужиков двоих звал меня прошлой субботой парить, старались оне, но я же чую — веник не тот! Не тот, не верстовский вовсе веник, духу от его нет, и пар он под шкуру не загоняет! Ведь какой у нас дома-то веник был припасен загодя, ну пожег Колчак проклятый, пары одной на вышке не оставил! А здешним же веником — правда что обида париться, я уже вовсе надежду потерял, что оне дух какой при мне оставят! Сверху парит, а в нутре — пусто. Пусто, хоть убейся! Ну нет — вот понял же ты, все понял и пронюхал! Спасибо им, тем мужикам, все ж таки постарались, пропарили! И тебе, сын, низко кланяюсь! Теперь мне что, душистым-то, преставиться? В самый же раз!

— Ну, вы об этом погодите, батя! Торопиться некуда!

— Тебе, может, и некуда, Ефрем, торопиться, ты войной занятый, а мне временить грех! Я занятый нынче смертью. Вот как.

Мать шептала на ухо Доре:

— Избу пожгли, коней увели, самого избили — едва и дышал одним только боком, а веники более всего ему жалко! Заходится! Николай-от Угодник верно что призывает его!

Все смешалось нынче, все перепуталось...

В одно время совсем рядом все было — поп с попадьей убитые, расстрел, совсем напрасно Ефремом сделанный, Ниночка, мать с отцом, сестра вдовая, запах веников — тоже...

И как Ефрем понял тогда запах этот? Догадался, что отцу, умирающему, искалеченному, от него надо? Не вовсе же ему глаза войны застили, мог он и такое почувствовать? Все-то ему дано было, Ефрему... Таким он и с нею был... То не видит, не слышит ее страданий, слеп и глух. То — она глазом только поведет, махнет рукой, вздохнет — он уже и угадал, что с нею, что ей надо, что чувствует она и переживает.

Побыли они еще несколько дней в Знаменской. Правда, мучилась Дора. От матери, от детишек, от Ефрема страх скрывала, от себя не могла скрыть. Сколько уже она с Ефремом по степям, по лесам скиталась, чего только не пережила — привыкнуть не смогла.

Разве к страху за детей своих, за Ефрема привыкнуть можно?

Ефрем — тот ко всему мог привыкнуть. И «кустарем» был, и главнокомандующим огромной армией.

Он в любой жизни был как дома.

Принесли акты на конфискацию, которые он требовал. В поповском доме и требовал.

Ефрем их поглядел, полистал и бросил.

А Дора после рассматривала, читала, хотя и не очень разборчиво написано было.

Бумаги-то, бумаги-то! И совсем чистая, и линованная вдоль-поперек, большие листы, а рядом — из ребячьих тетрадок повыдерганные, с гербами были бумаги, писари исписали их красиво на одной стороне, а на другой — эти самые акты, мусоленным карандашом составленные.

В Знаменской Коровкин жил, Матвей Локтионович. Знали про него, видели — богато живет. На одной только швальне сколько рабочих держал, еще имел коже-

венное заведение, еще кредитку на паях с Кузодеевым держал. А все-таки кто бы подумать мог, догадаться, какие он в действительности водил капиталы?

Денег золотых конфискованных оказалось сорок семь тысяч, разных золотых вещей — пять фунтов с золотниками, чуть только не два пуда столового и всякого другого серебра! А шуб, матерьялов: две, три жизни проживи — не износишь!

Зачем это ему было? От какой глупости? Или от болезней это все спасает? От невзгод? От измен? Не спасает это ни от чего, одно только и делает — зависть делает от других, злобу. Вот он и хоронился, Коровкин, от людей, не показывал добро никому. Значит, и ему стыдно было? Мало того, через это добро он изменником всему знаменскому миру стал — колчаков у себя принимал, кормил их и поил. Досыта поенные-кормленные, они на площадь являлись, колчаки, призывали народ, грозились народу, а весной так и на самом деле шестерых знаменских шомполами били, и среди них — женщину одну...

А кончилось чем?

Колчаки у Матвея бесплатно пили-ели, после офицер дочку у него насильно увез, а самого хозяина мужики вскоре описали в этот акт, заведения отобрали в общество и заставили в швальне самую грязную работу работать...

Еще удивлялась Дора: в актах дом был описан на восемь комнат, конюшни, рысаки, бык племенной оценен в полтысячи, а после листки шли, так на тех корыта были записаны, ведра дырявые — дырок указано было, сколько на каждом, одна, либо две, либо всё в дырах ведро, а под конец там ручка от маховой пилы была зачислена.

Она Ефрема спросила: рукоятка-то зачем? Начали с золота, с двух пудов серебра, с восьмикомнатного дома, а рукояткой кончили? Деревяшка же эта с ладонь, чуть длиннее, и нет больше в ней ничего! Не ее ли Ефрем и проверял, когда акты конфискованного имущества себе потребовал? Не за нее ли воюют мужики?

Ефрем сказал:

— Правильно все сделано! Грабеж — то грабеж и есть, то есть прямое беззаконие. Грабит человек, так он знает — законом здесь и не пахнет. Но нынче-то мужик за что воюет? За закон и воюет, за новый, справедливый, вовсе точный. От закона он и делает. А тут уж

с мужиком ни один писарь, ни один крестьянский либо другой какой начальник сроду не сравняется! Тут он закон видит в каждом гвоздике!

Верно, что все нынче смешалось...

И приглядеться — семья-то, родные — все почужели будто друг другу. Сестра Прасковья зависть таила. Сама, должно быть, не хотела зависти этой, а куда от нее денешься? Она мужа потеряла, навсегда вдовой осталась, потому что в годах уже, и ребятишек на руках орда целая, а Дора с мужиком своим в тарантасе ездит, и даже при ординарце они. Ординарец и коней им запрягает-распрягает, и в дом входит, спрашивает, не нужно ли чего еще сделать. Дора дрова пошла рубить, так и колун у нее силой отнял, и сам наколол, и печь еще растопил.

Ребятишки Прасковьины на Петруньку и Наташку зыркают сердито, а Петрунька то ли не замечает этого, то ли нарочно двоюродных своих поддразнивает — к месту, не к месту, а только и слышишь, как поминает: «Наш батя...», «Мы с батей...»

Мать — та никогда-то Ефрема не любила, за глаза ругала и в глаза не сильно жаловала, а тут — с уважением к нему, «вы» завеличала. Потчевала его, будто масленка шла, сапоги чистила бархаткой, не уставала хвалить сапоги.

Один у нее оставался зять, один мужик — не парнишка и не старик, а мужик настоящий — на всех дедок и бабок, на всех тещ и племянников. И хотя сердце Доре вроде отогрела, спасибо ей, лаской своей к детишкам и к Ефрему — в то же время будто бы посторонняя ласка у нее была...

А вот отец Дорин, родной отец, тот не переменился ни к кому. Он ведь тоже не хотел в свое время, чтобы Дора за Ефрема шла. Братишки Дорины еще без штанов бегали, наперебой уже рассказывали — какие шутки Ефрем удумал сделать, с кем подрался, кого побил. Отец как услышит об этом — велит сразу же парнишкам замолчать, а на девчонок строго так поглядит — будто тогда еще опасался, что которая-то из них может за Ефремом потянуться. После на покосе как-то были они с отцом, отец кочкарниковый край докашивал. Дора еще вчерашнюю кошенину гребла, а сели сумерничать, и тут рассказал он дочери, какая у нее в замужестве будет жизнь. Он ей тот раз все высказал, и все, до точности, сбылось после. Он не перечил, нет. Даже и не

шумнул на нее, не пригрозил. Сказал: «Не ты за него — он за тебя идет. И вечно тебе с ним, как с ребенком малым, будет и забот и невзгод». Только не знал он одного — что Дора-то и сама все это знала. Больше отца знала.

А все ж таки в тот раз поняла она, как переживал за нее отец. Не в тот раз — позже уже поняла, и эта забота отцовская чем дальше, тем все ближе ложилась у нее к сердцу.

В семье отцовской пятеро рождалось детей: трое парнишек было, и все померли, а две девчонки — те выжили. И казалось Доре — тоскует отец по мальчишкам. Какая семья, какое крестьянство без сына? Вышли дочери замуж, и верно, остались отец с матерью — он да она, она да он... А ребятишек отец любил, они за ним вечно со всей деревни вились. Он грамотный был, отец, так мужики в которую зиму его за учителя подряжали, и тогда полная изба набивалась у них зимой мальчишек — учил он их читать. Писать сам не очень мог, читал же быстро, громко и ладно так. Было бы что — книжку, газетки обрывок, надпись под картинкой,— он все прочитывал по скольку раз подряд. И про буквы печатные все знал: как делаются они, какой краской покрываются, как отражаются на бумаге.

Дору сильно любил. Она думала: за то и любил, что читать тоже быстро и ясно научилась. От матери потихоньку привозил книжки с базара, в книжках сказки разные, про богатырей, про воинов. Но только Дора стеснялась при отце читать. Все думала, отцу как раз в этот миг помершие парнишки будут вспоминаться.

Мать, бывало, девчонок чуть что — за косы, пока парнишки были живые — тех за уши отдерет, но только отец на порог ступил — мать уже и присмирела, уже ласковая со всеми. Он крику-шуму не любил, отец, ребятишек никого не бил, но боялись они его, даже представить трудно, почему боялись. И — любили. Зимой сказки он рассказывал, множество сказок: про богатырей, про бергалов — горнозаводских рабочих Алтайских рудников, он и сам с заводов происходил.

Нынче в сестрином доме отец из сундучка старинного, солдатского снова книжки эти на свет вытащил. И в горницу к Доре положил. Про тех же самых воинов, про богатырей.

Она их читать не стала — не хотела. Какими они в детстве еще представились, такими пусть и остаются

с нею. Начнешь читать — а вдруг они хуже сделаются? И не поверишь больше им? А вот картинки глядела в книжках. Картинки веселые были. И война на них тоже веселая.

С Ефремом отец встретился, будто вчера только они виделись. Ни о чем не расспрашивал, ничего от него не хотел узнать.

Ефрем первый узнал, что отец в ополчение записался. Обрадовался:

— Это вы, батя, правильно сделали! Удивительно, как правильно!

— Удивляться-то чему?— ответил отец.— Я еще и по сю пору на опоясках с тобою потягаюсь!

Мать замешкалась, Ефрем тоже разом вспыхнул. Главнокомандующий-то который раз сильно на мальчишку смахивал...

— Ну-ну, батя, ну-ну-у,— сказал только.

Это еще Дора в девках была, а Ефремка сильно куражился, ходил по Верстову, бороться вызывал всех и каждого, удивлял всех, как ловко он бороться умел.

Один отец не удивлялся, говорил: петушок Ефремка. Нехватка у него в душе какая-то, что ли, вот он и старается вид показать, чего-то достигнуть. И на пасхе както, седой уже был, а вышел на площади с Ефремом на опоясках по-киргизски бороться.

Дора стояла, глядела на них, глядела, после не смогла глядеть — убежала прочь. Вечером только и узнала, что отец-таки положил Ефремку. А ей известно было: отец секретный один прием в этой борьбе знал.

Ефрем прием тотчас и понял и уже спустя время укладывал им на землю самых сильных борцов из киргизов, но случай все ж таки был — бросили его тот раз на землю, всенародно бросили.

— Поменьше своим эскадронам воли давай, главнокомандующий! С попами не сильно воюй, особенно сказать — с попадьями. И не только я, вовсе старики пойдут на партизанской стороне воевать!— еще сказал отец.

— Вовсе-то старики пускай уже дома сидят!— ответил Ефрем.— За внучатами тоже кому-то надо глядеть.

— А они успеют, старики. И там и здесь. И не то чтобы они — сила большая сами-то. Они другим, помоложе, силы придадут. Так.

Уезжали из Знаменской — мать плакала:

— Детишек-то береги, Дора... Младенца-то, младенца, не дай бог...

— Или ее надо уговаривать в том?— вздохнул отец. И один только раз молча Дору на прощанье поцеловал.

...Скоро ли кончится? Скоро ли переменится жизнь, не этой будет, другой?

Ничего не кончалось. Даже и не начиналось ничего тогда в Знаменской, самое-то страшное. Нынче в стогу в глухом, в жарком, в дурмане в этом — началось. Не только для нее — для Ниночки война началась, навалилась на сердечко ее.

Прежде войны были — мужиков брали, они где-то там, неведомо где и стреляли друг в друга, рубились. Мальчонка в семье рождался — все довольные были: душа ревизская, мужского пола, земли надел на нее, и лет через двадцать, раньше, еще одну рабочую душу женского пола в дом приведет.

Так за это все, за льготу эту, семья и плату несла: женили сына, внучата пошли от него, а отца уже и нет — убит на войне.

А девчонка крохотная при чем? Она от жизни ничего не просит, не требует. Она и родилась-то — жизни себя отдать! Без надела родилась.

Не та жизнь! Не та! Чему же отдавать себя?

И добьются ли мужики хотя бы и через эту страшную войну жизни той, настоящей? Смогут ли? Теперь уже остановить их нельзя и сами они не остановятся, теперь сколько будет крови — уже никто не считает, а слезы бабьи топчут — не видят, что топчут.

Удастся ли?

Послышалось — кони где-то невдалеке топочут.

Замерла в логове своем.

Кто? Свои за ней приехали, взять ее отсюда, как обещались? Или — другое?

Когда уходили от погони, в стог в этот спешно ее спрятали, и только прочь ускакали — выстрелы слышались. Теперь, может, за убитыми своими приехали — не успели тот раз убитых подобрать, увезти с собой.

Может так быть?

Сорока кричала... С тех пор как вместе с мужем Дора долгое время скрывалась — знала, что сорока над человеком вьется, выдает его криком.

Ее выдает? Или тех, кто ее ищет?

Может так быть?

Первый день, пока хоронились здесь, Дора все-таки выходила на воздух. Ночью выходила. Пеленочек не было, она с себя рубаху изорвала, ночью стирала обрывки эти в озере.

Наташка с Петрунькой тоже в воду залезали, сидели тихо в воде, не баловались, не брызгались, чтобы каплями звону не сделать.

Неподалеку из озера торчали в небо полусгнившие оглобли колесного хода. Забросил здесь кто-то и когда-то этот ход. Солнце с высоты светит прямо в озеро — ход проглядывается на чистом песчаном дне расплющенный, рядом со своей тоже кривой и вздрагивающей тенью. Солнце светит сбоку, с заката,— и ход распластывается далеко по воде, уползает своею тенью в камыши.

Из этого озера в другое протока тянется... Вода в ней немая, голоса при любом ветре не подаст. Ни волны, ни плеска. Только морщиться и умеет. И в небо раз в году, верно, глядится эта вода, а то все подо льдом или под тиной зеленой.

Ниночку Дора окунала в озеро, будто легче становилось ребенку. После кормились они все. Без горячего кормились, хлеб оставлен ей был, масло топленое в туеске, лук зеленый и соль. Был спичек непочатый коробок, но огонь Дора боялась разжечь.

Нынешнего дня почему-то боялась страшно. Только бы кончился он, проклятый, скорее, только бы тьма наступила!

Он все не кончался, тянулся все...

Дора о жизни, о людях думала, думала. А что о жизни думать, как обо всей о ней думать, обо всех людях, когда сороки и той до смерти боишься?

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

«Вот, Ефрем Николаевич, товарищ главнокомандующий, вот и довоевался ты!— сказал Мещеряков сам себе, войдя в новое помещение штаба армии.— Довоевался! Служить уже начал! То была одна война, теперь еще и служба! Как-то управишься?»

Он подумал так, Мещеряков, потому что его поразило новое помещение: с коридором, с дверями в разные комнаты, с часовыми у дверей. Даже со стуком — очень необыкновенным. Он прислушался — это пишущая ма-

шина стучала за одной из дверей. Не бойко, изредка голос подавала, но — упрямо.

Эскадроны Мещерякова прибыли в Соленую Падь под вечер второго сентября, когда суд шел на площади, а на следующий день — то есть вчера — Мещерякова в селе уже не было. Он был в полках.

Верхом ездил, пешим ходил и бегал, расстегнув гимнастерку на все пуговицы. Жарко было вчера... Он ругался, наганом на кого-то грозился, приказы отдавал, назначения командного состава делал. Все было. До глубокой ночи, до утра почти.

Переспал час-полтора, но сон слишком короткий, что ли,— отдыха не дал. До сих пор казалось — вот сейчас снова ему бежать, снова ругаться, позиции выбирать, баб каких-то с позиций к чертовой матери прогонять, чтобы не ко времени не путались.

Но сегодня не то было...

Сегодня надлежало ему явиться сначала в свой собственный штаб армии, а потом еще и в главный штаб.

Как этот самый главный штаб правильно называется, до сей поры было неизвестно. Кое у кого спрашивал — называли всяко: главным штабом Освобожденной территории, и штабом народного восстания, и штабом республики Соленая Падь, и штабом краснопартизанской республики. И армию по-разному называли: партизанской, народной, красной.

Правду сказать, так и в Верстове, в партизанском Питере, тоже армию кто как называл, но здесь уже придется, по всему видать, этим делом серьезно заняться — круглые печати нужно сделать, исходящие бумаги выпускать под нумерами.

За сутки, которые Мещеряков отсутствовал, штаб ему оборудовали добрый. Сельский комиссар Соленой Пади, должно быть, расстарался — товарищ Лука Довгаль. Выделил помещение бывшего Кредитного товарищества.

Во всей Соленой Пади только один Лука хотя и не очень сильно, но все-таки знаком был Мещерякову: летом приезжал в Верстово. Представителем приезжал. По вопросу о слиянии двух освобожденных территорий и двух армий.

А еще — собственный начштаба армии тоже распорядился, и вот при входе Мещерякову отрапортовал комендант, объяснил, что он же является командиром

охраны штаба и комендантом Соленой Пади. О таком Довгаль не догадался бы. Один не догадался бы сроду, тут человек военный нужен, чтобы так устроить.

Разведка, отдел снабжения, оперативный отдел, канцелярия — все имели комнаты, а начальнику штаба и главнокомандующему комнаты были отведены одиночные. Закрывайся, сиди — никто не узнает, чем занят, что делаешь. Спать и то можно.

В комнате главкома — стол, накрытый красным, на столе — стекляшка-чернильница, ручка с пером. У стен — два стула, две табуретки, и в углу прислонены две доски. Положи эти доски на табуреты — получится вдоль стены скамейка. Можно вызвать к себе штаб целиком — и все рассядутся, никто на ногах толпиться не будет.

У окна, в углу,— железный шкаф, на ручке шкафа, на засаленном кожаном ремешке — ключ, а внутри, на полках, лежала бумага. И много.

Неплохо тут с бумагой жили, в Соленой Пади. В Верстове по-другому было: как написать чего, то и посылаешь Гришку Лыткина разжиться лоскутком.

Вообще-то штаба настоящего у Мещерякова до сей поры не было. Где сам — там и штаб его. Всякий раз как в помещение новое заходишь, так и глядишь, куда окошки направлены. На случай, если выходить через них придется.

И Мещеряков внимательно осмотрелся: и тут окна выходили в переулок, напротив дом — длинный, приземистый и угловой, другой стороной выходит уже на площадь. Это Мещерякову не понравилось. Он вызвал коменданта, велел узнать ему, кто в том доме живет, чем занимается, и велел держать одного часового на углу, чтобы тот замечал, кто в тот угловой дом с площади заходит.

А вот выхода из помещения штаба было два: один с улицы, парадный, а другой — во двор. Чтобы не держать две охраны, второй был уже заколочен, только слишком крепко заколочен. Мещеряков и тут распорядился: впредь вторые двери держать закрытыми, но так, чтобы в любую минуту их изнутри можно было распахнуть.

Двор был хороший-просторный, с колодцем, с конюшней и с завозней, со стороны огородов замыкался складским помещением. В помещении теперь находилась охрана штаба и часть пулеметной команды. Тоже

правильно. До холодов вполне в складе можно было жить, а поставить печурки — и зиму коротать.

Осмотрев это все, Мещеряков снова вошел в свое одиночное помещение. Сел. Повертел ручку, перо обмакнул в чернильницу, на чистом листке бумаги расписался несколько раз. Потом росписи свои зачеркнул и подумал: «До чего эта война только не доведет?! За столом сидишь с чернильницей!»

Из главного штаба принесли сводки.

И посыльный сказал еще, что товарищ Брусенков ждут к себе товарища Мещерякова по важному делу в главном штабе.

— По делу, о котором товарищ Мещеряков сами знают! — сказал посыльный, а Гришка Лыткин стоял подле него.

Он так считал, Гришка, что каждого, кто в комнату к главнокомандующему войдет, он обязан сопровождать и строго за посетителем глядеть. Чтобы вывести посетителя обратным ходом, если тот сам долго не уходит.

Посыльный ушел быстро, Мещеряков разъяснил Гришке, чтобы он с каждым посетителем не входил к нему, вообще не входил, покуда его не позовут.

Оставшись один, прочитал сводки, сердито постучал по бумаге кулаком:

— Вот тебе, Ефрем, начало... Всем надо, чтобы как у людей было бы. И сводки чтобы были, и победы чтобы в них значились совершенно обязательно. Вот оно, начало,— без побед служба никак не может! Боится она, когда нет побед. Верно ведь, когда поражение и даже просто успеха нет, каждый может легко сказать, что и он так-то тоже смог бы сделать, даже лучше. То есть без начальства вполне смог бы обойтись не худо!

И вот старается главный штаб, товарищ Брусенков,— хорошо видать, как старается победу возгласить! Только сквозь старание это сильно заметно — дела плохие до сих пор у Соленой Пади, у республики, или Освобожденной территории, как называется она,— это в данном случае все равно. И никто не хочет в этом признаваться. Наоборот — все хотят провозглашать победы!

На второе число сентября месяца информационный отдел главного штаба имел следующие сводки.

По Легостаинскому району:

«В ночь на второе сентября наш полк напал на находящуюся в поселке Моховой Лог белую банду из ле-

гионеров четыреста человек, разбил ее, забрал семь возов патронов, воз гранат русских и английского образца и обоз с награбленным имуществом. Бандиты бежали для соединения с другими своими отрядами».

По Знаменскому району:

«Двадцать девятого августа противник, сгруппировавшись в отряд численностью около тысячи пятисот пятидесяти человек, при четырех орудиях повел наступление на село Знаменское и после двенадцатичасового ожесточенного боя был обращен в бегство. Захвачены пленные. Много патронов, пулеметные ленты, а также отбиты подводы с награбленным крестьянским имуществом, как-то: самовары, швейные машины, подушки и пр.».

По Семенихинскому району:

«Противник численностью около тысячи пятисот человек, при трех орудиях, повел наступление на деревню Каурово, после суточного ураганного боя противник вынужден был отступить с большими потерями».

По Морящихинскому району:

«Противник до двух тысяч человек, при двух трехдюймовых орудиях, повел наступление на село Ново-Оплеухино и временно им овладел, после чего был выбит в обратном направлении. По частным сведениям жителей выяснилось, что противник сжег своих убитых в двух мельницах, а раненых, пятьдесят две подводы, на которых было по пяти человек, отправил в направлении на станцию Елань. Выяснилось, что изнасиловано оказалось около тридцати женщин, среди них двенадцать девушек. Зарублено и искалечено мирных жителей семнадцать человек и казнен тринадцатилетний мальчик.

Трупы семидесяти партизан и восемнадцати жителей, итого восемьдесят восемь человек, сегодня в шесть часов похоронены в одном месте».

И еще по двум районам были такие же сведения, как две капли воды друг на друга похожие: противник силами в полторы-две тысячи человек занимал села, но тут же был из них выбит...

Вот это и не радовало Мещерякова — сходство сводок со всех районов.

В коридоре нового штаба уже толкался военный люд: все больше шли к интенданту армии, просили ору-

жие, обмундирование, обувь, медикаменты — чего только не просили!

Ну а интендант отправлял просителей к начальнику разведки: тот знает, где и какие у противника расположены склады и запасы, и еще другие ему известны сведения — скажет по секрету. После добывайте сами.

Собственная связь у штаба армии уже налаживалась. Не позже как к утру завтрашнего дня связь такой будет, какой должна быть: чисто армейская, гражданским властям, Брусенкову не подчиненная... В каждом населенном пункте — два-три вооруженных нарочных на хороших конях, в каждом значительном подразделении — то же самое. Конники галопом и доброй рысью проходят свой перегон за час, много — за полтора, по цепочке передают донесения в штаб армии, обратно увозят приказы, и в самые отдаленные участки фронта приказы эти прибывают в течение дня.

Наладится связь — не будет таких вот сводок: белые наступают, отбиты, отступают...

А куда, спрашивается, отступают? По каким дорогам?

Как бы не вчерашняя его отлучка — сегодня у Мещерякова собственная связь работала бы безотказно.

Связь — она не только ведь сама по себе важная, она дисциплине родная мать: каждый командир знает, что он хотя и далеко, а на глазах у главнокомандующего, знает, что всякий день ему нужно перед штабом армии отчитаться, что его сводка и любое сообщение, если в них набрехать, то сейчас же это и выяснится, выяснится просто — его нынешнее сообщение со вчерашним сравнят и с завтрашним и еще с донесениями соседних частей, с данными армейской разведки. Брехня сразу наружу станет.

...Там отступают белые, здесь отступают. А ничего этого нет — есть белое наступление!

Очень просто. Они нынче сами научились по-партизански воевать, беляки. Офицеров-дворянчиков тоже кое-чему научили мужики-партизаны. Вот они на месте и не задерживаются, когда не удалось взять село с марша, так не берут его, а если и взяли — поживились, пограбили, воинский поганый дух подняли и скорее идут дальше. На Соленую Падь идут, на главные силы партизанской армии. Им, верно, о состоявшемся объединении партизанских сил тоже известно.

Этот белый план Мещеряковым давно был разгадан, еще в Знаменской, на пути в Соленую Падь он его понял, а нынче в нем уже и секрета нет, он ребенку ясный — план генерала Матковского. А сводки все еще победу за победой трезвонят!

Одна была во всем этом отрадная мысль: генерал Матковский, надо думать, тоже не рассчитывал, что его колонны будут двигаться по десять верст в сутки, никак не более того. И что на маршах он будет нести серьезные потери, генерал тоже не знал.

Ничего не скажешь, бывший главком Соленой Пади, а нынче командующий фронтом товарищ Крекотень делал для Мещерякова хорошую передышку, придерживал и трепал белые колонны на дорогах, и верстовские отряды бывшего мещеряковского подчинения тоже без дела не сидели. А пользуясь этой передышкой, Мещеряков должен теперь быстро организовать надежную оборону Соленой Пади.

Но и это еще не все. Когда колчаковцы имели нынче хотя бы и частный неуспех, потому что сроки решающего сражения за Соленую Падь, которые они сами назначили, наверняка давно уже прошли, а партизанская армия все-таки имела относительный успех — то и надо было это положение использовать. До конца. Тут были возможности.

Задумался Мещеряков. Может, и не задумался — просто ждал. Ждал, когда само по себе что-то в голову придет.

Это с ним бывало, и даже нередко... Бывало, вот-вот уже скоро и начало боя, и план у него есть, давно уже выработанный план боя, но он вдруг сам этому плану перестает верить.

Знает: сейчас должно его осенить.

Он ждет, напряженно ждет и верит в свое ожидание, и вдруг — вот оно, в самом деле явилась твоя догадка — как ложный маневр сделать или засаду, где расположить резерв для решающего удара...

И не напрасно Колчак назначил за Мещерякова — за живого или за мертвого — хорошую сумму. Дальше этой обещанной суммы дело не шло, а все ж таки в ценах она, буржуазия, толк понимает! Знает за Мещеряковым его секрет — в решающий момент быстро сообразить, как ее, буржуазию, надо бить!

Противник-то это знал. А вот перед своими Мещеряков не хотел проговориться. Когда его спрашивали, как

додумался он сделать маневр, да и весь бой в свою пользу, отвечал всегда одинаково: «Давно продумано было. И такой план был загодя продуман, и другой, и третий...» А что, в самом деле, неужели каждому признаваться, как ты находился в томлении и ожидании как будто и вовсе нечаянной догадки?!

Но в помещении, в отдельной комнате, что-то не получалось — хорошо придумать. Или народа не хватало ему, крику, шуму и гвалта? Или еще чего? А может, просто-напросто задача стояла нынче очень большая, стратегическая задача, решающая для всего хода военных действий?

И Мещеряков встал, начал по комнате ходить взад-вперед, закладывая руки то за спину, то пряча их в карманы галифе, то складывая на груди. А потом вот что случилось — он снова сел, так, ни для чего, выдвинул ящик стола, а в столе, оказалось, лежит коробок с цветными карандашами!

Он тотчас крикнул из коридора Гришку Лыткина, велел ему узнать, откуда взялись карандаши, кто доставил.

— А это вчерась лично доставили вам, товарищ главнокомандующий, начальник главного штаба товарищ Брусенков. Я знаю! — ответил Гришка.

— Да ну-у! — сильно удивился Мещеряков.— Это кто же мог подумать, а? — И как будто даже упрекнул себя в том недоверии, которое появилось у него к Брусенкову с первой же встречи.— Ну, ты иди, Григорий, иди! Не толкайся здесь, не мешай!

Правда, еще подумал: может, эти карандаши еще недавно принадлежали бывшему командующему армией Соленой Пади товарищу Крекотеню? В таком случае ему, товарищу главнокомандующему, их иметь и вовсе положено.

Гришка ушел.

Мещеряков вынул из планшетки карту, рассыпал на столе карандаши, из железного шкафа достал большой лист чистой бумаги...

Навалился всем телом на стол. Папаху покрепче надвинул на лоб. Поплевал на пальцы.

Прежде всего нарисовал кружок черным карандашом и написал сбоку печатными буквами: «Сол. Падь». Он за собой знал — печатные буквы у него всегда красиво получались.

А дальше пошло и пошло дело: дороги изобразил, села на дорогах, положение частей противника, о котором так или иначе можно было судить по сводкам, расположение частей партизанской армии. В масштабе сделал — вдвое увеличил на листке все размеры против карты.

Получилась полная диспозиция на 1—2 сентября 1919 года.

В последнее время в армии Мещерякова такая работа делалась, но только — как? На худеньком листочке, карандашом в один цвет, и делал все это не Мещеряков, а его начальник штаба.

А нынче он сделал сам. В германскую войну чем только не приходилось заниматься саперу и телеграфисту Мещерякову при штабе армии, при других штабах и в полевых частях! Приходилось и диспозиции для начальства копировать, а нынче пришлось для себя самого.

И еще он вынул из планшетки компас и, глядя на него, нарисовал на листке стрелки «север», «юг». Вот так! Вот и понятно, почему капитал сроду не хотел грамотных мужиков и пролетариев: дай им настоящую грамоту, они сами собой запросто и с войной и с жизнью управятся!

А что, если бы у Мещерякова имелась не одна-единственная карта-десятиверстка, имелось бы их без счету, как у полного генерала, к примеру?

Он бы на листке диспозицию уже не рисовал, не пожалел бы настоящую карту, и на нее, на готовую, нанес бы расположение своей армии и армии противника. Еще и от себя нанес бы на карту иные перелески, овраги и дороги, которые землемеры в свое время то ли не заметили, то ли инструмент их подвел, то ли они выпивши некоторые места на ту карту снимали. Рассказывают, такие случаи тоже бывали. И не так уж редко...

Это какая на карте была бы диспозиция?! А? Ну, и свою нынешнюю работу тоже хаять вовсе ни к чему!

Карандашей было восемь штук: белый, черный, красный, зеленый, коричневый, желтый, синий, фиолетовый. Все разного роста.

Он ими порисовал, и они сразу будто привычными стали, уж привязался к ним. Разложил их по росту и сказал: «Ты, черт!» Потом подумал: «Кому это сказано-то?» То ли белому карандашу, который был не зачинен вовсе и самый длинный, то ли красному за то, что

он самый коротенький? Красный, значит, всегда в большом ходу, всем и каждому необходим, а белый ни однажды не понадобился. Белый для чего только нужен? Зря материал на него переводится, и место в коробке он занимает — на это место другой можно было положить, хотя бы еще один красный, либо коробок сделать чуть поуже, тоже выгода...

Тут-то и начала настигать Мещерякова одна мысль. Не до конца, но главное, что начала...

Генерал Матковский, начальник тыла верховного правителя Колчака, навязывал Мещерякову свой план кампании... Генерал, верно, спит и видит, как заставит он партизанскую армию перейти к обороне, к делу, для нее вовсе не привычному. Загонит партизан в окопы, сам же начнет играть своей артиллерией по этим окопам, по избам Соленой Пади. Прямой наводкой играть...

А что же Мещеряков? Хваленый главнокомандующий? Он вот что — он хотя на марше устраивает белым колоннам трепку, но в целом генеральскому плану подчиняется, готовится к обороне Соленой Пади...

Покатал Мещеряков все до одного карандаши под ладонью. И еще раз покатал — карандаши тарахтели, будто маленькие пулеметики. Под эту игрушечную стрельбу Мещерякову очень захотелось и еще остаться тем, кем он до сих пор был — партизаном. То есть в оборону не переходить, контрнаступать, трепать белые колонны на марше и там и здесь, а потом разбить их на подступах к Соленой Пади окончательно. Не дать главной силе противника — артиллерии — сыграть свою роль...

При такой полной для противника неизвестности можно даже у него артиллерию отбить... Хотя бы — несколько пушек.

Сражения — внезапные, быстрые, победные — Мещерякову ясно представились.

Но как к ним подойти, к таким сражениям?

Быстрые маневры нужны, неожиданность... Нужно обеспечить скрытую переброску группы контрнаступления с одного направления на другое. Использовать местные ополчения. Они дрались бы, ополченцы, хоть и старики, хоть и мальчишки,— каждый за полного солдата, потому что бой шел бы всякий раз не за чужой какой-то, а за их же собственный населенный пункт!

План заманчивый.

Чисто партизанский.

Но тут надо было решиться!

Или сделать на этот план ставку, выполнять его всеми наличными силами, и когда получился бы успех, то получился бы он полным и блестящим — потерь понесла бы партизанская армия самое малое количество, оборону Соленой Пади и вовсе не пришлось бы держать, не ставить село под испытание, под белый артиллерийский огонь, неизбежный даже при самом лучшем исходе. Но зато уже и в случае неуспеха Соленую Падь оборонять вовсе будет нечем, попросту придется сдать ее. На растерзание сдать...

Еще можно было план этот выполнять лишь частично, главную же ставку по-прежнему делать на оборонительное сражение и только выделить сильную группу контрудара, ослабить противника на марше, чтобы он подошел к Соленой Пади уже сильно потрепанным, чтобы еще до решающего сражения сопли и кровь по морде уже размазывал бы.

Но тут красота уже не та! Вовсе не та! Так ли, иначе ли, а белые успеют прихватить Соленую Падь огоньком. Ребятишек побьют. Баб тоже.

Как быть?

Какое принять решение?

Сводки не подсказывали Мещерякову ни слова. Молчали...

И он крикнул Гришке Лыткову, дремавшему в коридоре, чтобы тот позвал начальника штаба.

Начштабармом вот уже месяца два был у Мещерякова штабс-капитан царской службы, и, видать, вовсе не плохой штабс-капитан. Но ко всему еще он был давнишний партиец, отбывал за это каторгу в Забайкалье. Когда произошел Октябрь, воевал там за Советскую власть, а когда Советы побило контрреволюционное казачество — явился к Мещерякову и здесь тоже воевал. Явился он из города по приказу подпольного комитета партии, но не очень об этом рассказывал — знал себе воевал. Фамилия его была Жгун.

Жгун пришел с рукой на перевязи, это по нему еще в Забайкалье контрреволюция стрельнула картечью, с тех пор никак не могли вынуть осколок из локтевого сустава, а вредный был осколочек — успокоится, после снова гной и кровь из сустава гонит. Жгун — седой, высокий, худущий — встал перед Мещеряковым по-военному, кашлянул.

— Прибыл по вашему приказанию!

Мещеряков подал Жгуну составленную цветными карандашами диспозицию, велел с ней ознакомиться. И карандаши на стол положил.

Начштаба ознакомился, спросил:

— Ты и это умеешь?

— А что же!

— Какие будут сегодня распоряжения?

Мещеряков велел начальнику штаба срочно составить приказ всем командирам частей, чтобы они донесли подробно о боевых операциях последних дней, о всех направлениях, по которым отступает противник, выходя из боя, при каких обстоятельствах противник от боев уклоняется, на сколько верст продвинулся за последнюю неделю, имеется ли связь между соседними колоннами противника, насколько надежная и как осуществляется? Можно ли эту связь прервать?

Жгун быстренько все записывал на бумажку, потом спросил:

— Приказ будем посылать через Крекотеня?

Вопрос был не простой.

Тут сказывалось положение, которое сложилось нынче в объединенной армии: главнокомандующим был Мещеряков, командующим фронтом — Крекотень, но фронт-то в армии был нынче один-единственный, в нем вся армия состояла. Не очень складно, однако Соленая Падь пошла на слияние только при условии, чтобы Крекотень оставался самостоятельным командиром.

Мещеряков подумал и сказал:

— Пошли всем действующим отрядам, и Крекотеню тоже пошли. И чтобы он знал: послано всем. Не делай от него тихо.

— Ясно!— кивнул Жгун седой своей головой и виду никакого не показал. А он-то всегда был против этого условия Соленой Пади, считал должность командующего фронтом вовсе не нужной.— Разрешите к вам вопрос?

— Давай!

— Разрешите, товарищ главком, еще от себя расширить круг вопросов?

— Расширяй!— ответил Мещеряков.— Только не сильно. Чтобы полковые командиры не запутались бы в этом круге.

— Разрешите идти?

— Подожди...— Мещеряков помолчал, наклонился к Жгуну и тихо, быстро сказал ему:— Прикажи всем

командирам частей срочно выяснить, сколько в каждом селе на пути предполагаемого следования белых возможно временно отмобилизовать конных подвод? Так отмобилизовать, чтобы ни одной бы хоть сколько годной кобылы ни в одной ограде, ни на пашне не осталось бы. Сделай это, чтобы каждый командир подумал, будто только ему одному такой пункт предписано выполнить! Одному, а никому больше. Только к его району действия и есть у нас этот особый интерес. Сможешь?

И опять Жгун глазом своим острым, колючим не дрогнул, не повел. Кивнул, в бумажке сделал пометку.

— Все?

— Теперь все!

Жгун откозырял и ушел.

Э-э-эх, мать честная, что значит военная-то служба! Во всей армии один, верно, только Жгун это до конца осознает и понимает. Во всей армии только на него на одного и можно самому глядеть, чтобы это понять. Доведись до любого — сейчас вот и вытаращил бы на тебя глаза: «Как? Почто? Для чего? А-а-а, так вот что ты удумал, товарищ главнокомандующий! А ведь неплохо и удумал!» И пошла бы, чего доброго, эта новость до той самой бабенки, которая нынче на площади в Мещерякова глазенками стрельнула. Весело так, прицельно стрельнула, шельма! Видать сразу — ей война нипочем, она свое дело знает.

Мещеряков поднялся из-за стола, прошелся по комнате, постучал пальцами по огромному железному ящику, оставшемуся в комнате еще от Кредитного товарищества. «Денег, поди, в этаком перебывало — мильон!»

Еще подумал: проделать в ящике дырку и установить на позиции. Под ним окопчик сделать, поставить пулемет и стрелять с пулемета через то отверстие. Вот будет бронеогневая точка! Только окопчик нужно бы сделать чуть подлиннее ящика. На случай, если противник все-таки приблизится — выйти из-под него и, оставаясь в окопе, метнуть гранату!

После этого Мещеряков и еще стал читать гражданские донесения с мест. Их множество было, и все самые разные.

Из села Тимакова сообщалось:

«Тимаковское народное восстание просит вас, товарищи из всех окрестных деревень, немедленно приступить к повсеместным восстаниям и поторопиться бы прибыть в села Тимаково, Чивилиху, Зубоскалово для поддержания наших сил.

Начальник Тимаковского народно-военно-революционного штаба

Сизиков».

Из села Семиконного:

«Доношу начальникам штабов Тимаковского, как и Чивилихинского, что мы согласные отдать все свои силы товарищам на борьбу против Колчака, так как они имеют малые силы, просили присоединиться к ним повсеместно, в согласии умереть за общенародное право и Советскую власть, о чем и доношу в хорошем настроении все благополучно.

Начальник отряда *Агеенко».*

«Товарищи и товарищи села Семиконного! Услыхали мы великую радость, что у вашего села идет спешная организация и мобилизация. Великая для нас радость. Чувствительно благодарим за вашу спешную организацию. Товарищи! Не теряйте времени ни минуты. Пожелаем вам хорошего начала и успеха в настоящем восстании и еще несчетно раз благодарим всех вас, товарищи. У нас пока идет дело. Сегодня была стычка с белыми, жертв мало, а у нас есть белые в плену.

Начальник Тимаковского народно-военно-революционного штаба

Сизиков».

Из села Коротково:

«Поднято Красное Знамя».

Из села Колосовка:

«Разбит отряд под командованием прапорщика Абрамовского. Прапорщик Абрамовский расстрелян. Задержано семьдесят шесть правительственных лошадей. Конвоиров в количестве двадцати трех взяли в плен.

Днем 29 августа было предложено находящемуся под арестом Никифору Савельевичу Несмеялову дать заимообразно на дело революции поддержку деньгами, которых и было дано пятьдесят пять тысяч.

Спрошены были жители: «Желают ли они защищать себя от белых и как набрать армию?» Изъявилось добровольно мобилизоваться молодое сознательное и политически благонадежное крестьянство призывов с 1917 по 1908 год включительно.

Реквизировано стадо рогатого скота в числе семидесяти трех голов жителя села Чернодырино Сумарокова, которое гнали в направлении города.

Начальник Колосовского отряда *Бородулин*».

Из села Полтавка:
«Ночь и день прошли спокойно».

Из села Черный Бадан:
«Получено известие: казачьи станицы Муровая, Булашиниха, Суликова добровольно сдают оружие нашим представителям. Остальные покуда воздерживаются».

Из действующей армии:
«Доводится до всеобщего сведения, что партизаном Мощихинским сложена песня под названием «Грозная пика».

О грозная пика сибирского люда!
Не ты ли оковы сняла?
Радость и слава настолько велики,
Что пика свободно росла.
    О грозная пика! Ты вместе с борцами,
    Ты вместе со знамем в бою,
    Навеки историк подчеркнет на память
    Храбрость и силу твою!
О грозная пика! В бою с деспотизмом
Ты много от рабства спасла,
Ты иго вассалов, могуча и грозна,
Как вихрем, в пучину снесла.
    О грозная пика! Пусть варвар запомнит,
    Что пика с крестьянством сильна.
    Крикну и я: «Здравствуй, пика всесильна,
    И вечная слава твоя!»

Из села Московки:
«Объявляется, что во время набега белой банды на село Московку московским председателем был утерян пиджак, а в нем в кармане находилась печать Московского волостного исполнительного комитета. По возвращении председателя в село Московку пиджак и печать не найдены, которую просим считать недействительной».

...Мещеряков читал — ясно ему все представлялось. Даже и те деревни, которые в донесениях были упомянуты и которые он никогда не видел, появлялись перед ним как настоящие. И люди, о которых донесения сообщали, которые их подписывали, тоже в один момент возникали, и живые, и уже убитые. И даже скотина, семьдесят три головы, реквизированная, и та будто мычала и табунилась где-то тут, за окном. Хороший был признак: когда вот так живо все видишь, даже невидимое, далекое,— это к удаче.

Насчет того, что казачьи станицы Муровая, Булашиниха и Суликова оружие сдали, а остальные все казачишки покуда воздерживаются, он крепко задумался...

Как бы казачишки эти не ударили в тыл. Служивый народ. Да и какой вообще это народ, когда он только и знает, что служит? И мало того, еще службой своей хвастается! Служба его вперед всего интересует. Из мужицкой деревни отслужил человек, домой вернулся, про него и забыли, кто он был — унтер, или фельдфебель, или рядовой. Выпьют, так младший чин старшему морду побьет, о старшинстве не подумает.

У казаков не так. У них и в мирной жизни урядники, полусотники-сотники друг перед дружкой чуть что нестроевым шагом ходят, и девку выдать замуж, так сперва глядят — какой командир свекром ей будет. Будто в этом для нее все счастье и состоит. Романовы-цари сделали либо до них кто придумал: наделили казачишек большой землей. Чины сибирские казачьи — двести, даже пятьсот десятин имели. На рядовую душу и то отводили по тридцати десятин. А те — богато наделенные — сдают землю арендаторам, и своим, и неприписным крестьянам, и старожилам.

И нынче казачишки эти воюют не только с Колчаком, но и между собой режутся. Фронтовики вернулись домой, пороху нанюхались досыта, больше не хотят, от колчаковской мобилизации уклоняются, а вот которые дома сидели, старшие уже возрасты, те за белую власть горой, обещаниям ее верят и подачками дорожат.

Так вот и получилось у них, у казаков,— фронтовики режутся с тыловиками, бедные с богатыми. У служивых издавна ведется: любое дело начинают ли, кончают ли — междоусобная свара для них прежде всего другого...

Конечно, и везде-то есть такое, и в Соленой Пади, и в Верстове, но то по крайней только необходимости, а вовсе не поголовная резня стоит. Это колчаки раздувают, кричат, будто крестьяне нынче идут одно село на другое, сын на отца. Им это выгодно кричать, колчакам, не признаваться, что, кроме казачьих станиц,— ни одно село в степи за ними не пошло.

Все ж таки мужики — в большинстве народ, чинов среди них мало, чересчур богатых, как вот Кузодеев был или знаменитый Коровкин, тоже невеликое число...

Поначалу, правда, за милицией доколчаковского временного правительства богатые мужики кое-кто пошли. Настукать на кого, либо самых первых, еще неопытных и одиночных партизан схватить, передать властям — все это было. Но после, когда народный пожар во всю силу разбушевался против верховного изверга Колчака, против его генералов, атаманов, чужестранных легионеров,— тут уже и богатеи примолкли, затихли полностью.

Насчет председателя села Московки, потерявшего печать, Мещеряков подумал: «Ну, теперь он до конца жизни научится — если при печати, так будет носить ее в штанах, в кармане. Штаны-то, поди-ка, не потеряет!»

Песня «Грозная пика» показалась ему средней. Средне была составлена: не по-народному и не по-ученому. Ни так, ни этак. Ну а все ж таки в ход она вполне могла пойти. Особенно если Мощихинский, который ее сочинил, голос громкий имеет. Написанное — оно же само по себе тихое, его надо еще провозгласить!

А одна строчка в песне так особенно Мещерякову понравилась. Даже две:

...Навеки историк подчеркнет на память
Храбрость и славу твою!

И еще одно сообщение сильно Мещерякова задело... Написано было даже лучше, чем в стихах.

«О том, чтобы вести митинг в помещении волости — хотя оно и обширное,— не могло быть речи, так как не вместилось бы и одной четверти собравшихся. Открылся грандиозный митинг на открытом воздухе. Море голов!— прочел Мещеряков и тотчас представил это море.— А по мере того как товарищ Петрович говорил, настроение все поднималось. Когда же он кончил, раз-

дались голоса: «Все пойдем! Все умрем! Долой Колчака!» Какой царил подъем духа! Сколько энтузиазма! Не только мужчины, но и девушки, простые милые крестьянские девушки, и те кричали, что пойдут в сестры милосердия. И пошли. Вот ихние имена: Домна Колесникова, Наталья Сухинина, Елена Доровских и многие другие... Как величественно, как красиво это восстание!»

Вот как было написано!

Что мужики кричали «умрем!» и «долой!», Мещерякова ничуть не удивило. А вот девки о революции заботятся!

«Ну, и о них тоже позаботиться надо!— подумал Мещеряков.— Бабы — те сами себе хозяйки, а о девках — надо. Пусть милосердствуют за тяжелоранеными и за теми, которые при смерти. А уже от выздоравливающих надо их уберегать. Это команда такая: не воюет, не работает, только и знает, что выздоравливает...»

И Мещеряков вспомнил — на германской был у него ротный, тот своих взводных и даже унтеров то и дело устраивал в команду выздоравливающих. Для поощрения. На неделю, а то и на десять дней... И Мещеряков был в той команде тоже. Два раза был. Знал этот обиход.

Ну вот — настало время идти в главный штаб, к товарищу Брусенкову. Он одернул на себе куртку, поправил ремень, наган, портупею, усики пошевелил двумя пальцами.

Гришка Лыткин спрыгнул с подоконника, скособочил на себе папаху, и пошли они вдвоем из штаба армии в главный штаб республики Соленая Падь.

Часовые в дверях стояли — в момент приняли стойку «смирно».

А беда ведь с этим с Лыткиным! Чуть заметит за главнокомандующим какую повадку — сейчас то же самое делает, до смешного старается. И походку сделал себе под Мещерякова, и папахой где-то разжился серого цвета, и галифе добыл с кожаным сиденьем, а шпоры на нем звенят — бубенцы на выездной упряжке в первый день масленки! Нынче учится трубку курить и усы растит. Покуда ни то, ни другое у него не получается.

В любой разговор Гришка ввязывается, который раз мешает. Надо бы посерьезнее иметь вестового, из обстрелянных, но уж очень лихой Гришка этот. Душевный очень, к начальнику своему привязанный. А что у парнишки такое может быть? Отца и мать в эту пору

еще не сильно чтут, бабы у него в помине нету... Живой останется, вырастет, пахать-сеять будет, нынешнее время ему так и представляться станет: каждый день красным бантом повязанный, каждый час звонкими шпорами звенит.

Расторопный мальчишка. Толково ему объяснить — убьется, но сделает... Пусть будет вестовым — адъютанта же Мещеряков подберет себе правдашнего.

Молодость!

Ефрем и про себя скажет: когда в шестнадцать лет вдруг оказался бы он при таком вот боевом начальнике — все так же и делал бы, как Гришка делает. Глядишь на него — себя узнаешь. Про Ефрема, про молодого, чего только не говорили: что он и парней-то всех лупил, и девкам проходу не давал, и мужиков чуть ли не с пеленок уже стращал! Враки, поди-ка, все? Вот таким он, верно, и был, как Гришка Лыткин нынче. Конечно, тридцать лет не старость, а все ж таки и не семнадцать годков, нет! Семнадцать — что такое? Многого человек не знает. Забот не знает, зла, жадности, свирепости. Сам прост, все люди просты ему и весь белый свет. Жаль, проходит это быстро и слишком уж незаметно. Когда прошло? Нет, не заметил...

Ступили на площадь. С площади и осмотрел, не торопясь, Ефрем дяди Силантия поселение.

Оно вот как было сложено.

Площадь — большая, с торговым рядом, и выходят на нее дома — тоже все большие, под железом. Железо всюду зеленым покрашено. Красиво!

Далее — улица одна идет в ту и в другую сторону от площади версты по полторы. Прямая, широкая, кое-где канавы прорыты вдоль нее и даже поставлены деревянные мостки в одну доску, где земля черная, и в ненастье лывы образуются, кое же где земля вся покрыта травкой, и только к самым домам прижимается темная дорога.

Местами торчат колодцы-журавли, вздымая вверх тонкие безголовые шеи, выступают то тут, то там палисадники с темно-зеленой листвой черемух и сирени, с поблекшими цветами мальв, нанизанных на высокий прямой стебель. Плетней не видать; ограды поделаны крепкие, ворота на один лад — смоленые, сверху накрытые поперечинами с острой кровелькой, под кровелькой различить можно резьбу. А то и петушки наставлены на воротах.

Улицу эту в Соленой Пади, сразу видно, блюдут; кому попало и как бог душу положит строиться на ней не позволяют. Тут на ней где-то, наверное, и дяди Силантия изба стояла.

От этой улицы вниз по склону разметались пестрые богатые огороды, кое-где разделенные пряслами, а больше канавами и просто вешками. Это значит — соседи живут между собой спокойно, если и ругаются, так только на словах.

У самого озера — заводы. Один, должно быть, маслодельный, другой — швальня либо кожевенный.

От главной улицы вверх, в сторону бора,— частые переулки, там уже и ворот нет, и ограды далеко не везде, городьба поставлена абы как — и плетень, и жердяник, и просто подсолнухи посажены полосой погуще, вот тебе и грань между дворами. Но опять-таки избы бревенчатые, под крышами. Редко где накрыты дерном, больше тесовые. Малух вовсе немного.

Ближе к самому бору — снова добрые дома, хозяйственные, хотя и поставлены без улиц-переулков и глядят лицом кто куда. Там тоже место годное для жилья — сухое, высокое, а вода неглубоко — журавли ее достают из-под земли.

На кромке бора — церковь, кирпичное помещение школы с тремя оконцами и с невысокой городьбой вокруг, в деревянном приземистом барачишке больница, и рядом избенка фельдшерская, тут же и кладбище поблизости. Опять заводы: лесопилка с белыми копнами опилок, а с красной кирпичной трубой — это мельница паровая. Сарай огромный — машинный склад. Шесть, а то и семь-восемь сот дворов верных в Соленой Пади. Может — вся тысяча.

И объяснять где и что Ефрему не надо — ему все ясно.

То было — смотрел Ефрем на Соленую Падь издалека и свысока — с Большого Увала, теперь видит ее рядом... Рядом она жилая, назьмом пахнет, хлебом и ребятишками, лесом сосновым. Гомонит телячьими и ребячьими голосами. Жилое место.

На площади было порядочно вооруженных людей, многие с красными повязками на левой руке, а кто надел уже зимние треухи, тот и на треух насадил красный лоскуток.

Были тут эскадронцы из мещеряковского отряда,— эти при холодном оружии и одеты поаккуратнее, к во-

енной форме ближе. На ком фуражка военного образца только и есть, остальное все мужицкое и даже сильно потрепанное, а уже вид совсем другой.

Вдоль торгового ряда стояли эскадронные тачанки и телеги, лавчонки почти все были поразбиты, и в них, и на торговых деревянных столах сидели и лежали партизаны, а вокруг грудились ребятишки, не могли на воинов этих, на героев, насмотреться. И взрослые из мирных жителей тоже были здесь, хотя не так много. Бабы — те вовсе редко через площадь перебегали, торопились. Остановиться, по сторонам поглядеть им, конечно, некогда было. Той шельмоватой бабенки, что утром нацелилась на Ефрема, в этот раз было не видать.

А вот девок — совсем ни одной на площади не было, и Мещерякову это понравилось: порядок здешние жители понимают, держат девок до поры до времени на приколе.

Кто-то из полутемных разбитых лавчонок крикнул: «Ур-ра красному главкому!» Партизаны повскакали с торговых столов на землю, ребятишки прыснули к нему со всех сторон, но Мещеряков, приложив руку к ремню, а другую подняв над головой, приказал:

— Отставить! Вольно! — и спешно пошел дальше.

Припомнить — так давно уже не видел Мещеряков сел и деревень без вооруженных людей, без воинских обозов. А откуда им взяться, мирного вида селам, если по улицам ихним пешим ходит и ездит на боевом коне Мещеряков Ефрем? Он с собой все это и привозит, все это военное обличье. Мало того, пройдет неделя-другая — от зеленых красивых крыш одни лоскутки останутся: белая артиллерия их побьет. Разве чудом какая уцелеет.

Им, белым, что? Они пришлые и даже чужестранные, не то что деревню — землю саму дотла сожгут — не жалко. Недаром белые местных мужиков и не могут, сколько ни бьются, мобилизовать, разве только сынков кузодеевских и еще тех, у кого всю-то жизнь разбой и грабеж в крови играл, а тут — настало время — волчья их повадка вышла наружу. По своей деревне из орудий бить — на это среди людей редко кто решится, среди зверья только и найдутся такие. И бежит, бежит из белой армии мужик-сибиряк, хоть и стращают и преследуют его за это жестоко. Мало того, он домой прибежит, а тут ему уже кличка готовая: «Беляк!» Хотя и законы объявлены на Освобожденной террито-

рии — не трогать дезертиров белой армии, принимать, как своих,— так ведь жизнь в мирное время и то в законы не уложишь. А в военное? Терпит и это дезертир, все терпит...

Улица пятнилась белыми табунками гусей, пестрыми крапинами петухов и кур.

Где были придорожные репьи — возились свиньи, а где росла невысокая зеленая и ровная травка — вокруг колышков ходили на привязи телята... Козы — те везде блудили, тем закона нет. Было тихо, спокойно.

И вдруг откуда-то сверху, с верхних проулков, в улицу свалилась двухосная тачанка без пулемета, но с пулеметчиками, перепоясанными лентами, и с красным флажком на передке.

Колеса грохотали одиночно и залпами, мелькали спицы, вспыхивали железные ободы, отбрасывая искры, на колесах с той и с другой стороны висели псы, сшибаясь между собой, падали оземь, выли, визжали от боли и злости, с поджатыми хвостами снова бросались за упряжкой, а черный огромный и лохматый кобель барахтался под самой мордой буланого, со стороны казалось — он подвешен к дышлу... Роняя клочья шерсти, кобель ударялся о дорогу, прыгая, хватал дышло клыками, стонал и всхлипывал, будто окончательно удавливаясь в невидимой петле.

Вслед за упряжкой клубилась пыль, ширилась на всю улицу, подымалась под самые крыши изб. Коротенькие журавли одиноко торчали из темного марева без колодезных срубов, сами по себе.

Оба пулеметчика стояли в тачанке в рост, который был поменьше — впереди, высокий и лохматый, как тот кобель, сзади.

Задний орал переднему:

— Поласкай левую! Поласкай шибче!

Передний ласкал и левую и правую длинным, неямщицким кнутом и тоже стонал:

— По-стра-нись!

Воздуха ему не хватало, то и дело он выговаривал только «странись!» либо одно длинное и громкое «ни-и-и!».

Кони шли спаренно, вздымали потные блестящие крупы, падали сверху на передние ноги, падали будто на колени, но в неуловимый какой-то миг выбрасывали копыта, надтреснуто-звонко ударяя ими о землю... Или

земля раскалывалась под копытами, или все четыре копыта разлетятся сейчас в осколки?..

Хотя оба шли, как один, левым — серый, правым — буланый, скачка была уже дикой, шальной. Уже кони не чуяли себя, ничего не чуяли, не видели перед собою. Шли зверями.

У серого седая грива пала между ушами на лоб, закрывая то один, то другой сумасшедший глаз, буланый выкатил оба угольно-черных глаза, уздечка была у него в желтой пене, желтым намыливала морду, вспенивала распахнутую красную пасть.

«Хуже нет — останавливать дышловую!» — подумал Мещеряков, прищуриваясь на буланого и успев еще примериться к чьей-то деревянной ограде позади себя... В эту ограду и можно было направить упряжку. Кони вдребезги ее разнесут дышлом, а сами все ж таки останутся целыми, падут-таки на колени... Что будет с ездовыми — Мещеряков не успел понять... Вернее всего, живыми ли, мертвыми ли, окажутся далеко впереди, в огороде... «Хуже нет — останавливать дышловую... Кабы оглобли...— еще раз подумал он с сожалением.— Когда бы оглобли, то левой рукой можно бы на одной из них повиснуть, правой действовать... А нынче надежда — схватить на себя вожжину. Или прыгнуть в тачанку, да и выкинуть оттуда ездовых прочь? Когда не удастся вожжину ухватить — буду прыгать. Сзади буду!»

Гришка Лыткин что-то понял, кинулся вперед. Мещеряков, не оглядываясь, резко боднул плечом — Гришка полетел с ног. «Еще забота: задавим ведь мы — и кони и я,— все вместе задавим Гришку! Еще правее надо теперь выводить зверей этих в ограду — в следующий пролет между столбами!» И тут ясно так и свежо дунул ветерок, обгонявший упряжку, шевельнул волос на голове по краям папахи...

«С богом, Ефрем... Будь здоров!»

Сказочно как-то, невероятно даже — упряжка свернула влево. Два колеса, оторвавшись от земли, засвистели воздухом, пулеметчики упали на колени и какое-то время мчались, высунувшись через правый борт по пояс, когда же колеса вновь ударили о землю, они снова вскочили в рост, еще шибче помчались узким проулком под уклон, к озеру. И проулок-то едва заметный был между двумя постройками, но они угадали в него въехать.

Измолотый копытами и колесами, на площади остался черный кобель, приподнял голову, хвост, еще взвыл вдогонку коням, уронил голову и хвост. Замер.

У Мещерякова застучало в висках, он сбился с шага. Было так, будто бы это он и летит вот сейчас под уклон к озеру, под ним грохочут колеса. А может, даже он и на дышле вместо того кобеля болтался?.. Пришлось пошире, попросторнее вздохнуть, тихонечко посчитать себе: «Левой, левой, левой, Ефрем!»

Когда шаг был взят снова, Мещеряков подумал о пулеметчиках: «Не пьяные, гады! Когда бы пьяные — не узнали бы с ходу главнокомандующего, не свернули бы от него в сторону расторопно так и не удержались бы на повороте!.. Ну а если все ж таки выпивши? Что тогда?»

Мещеряков приказал Гришке Лыткину быстренько обернуться в штаб, сказать коменданту, чтобы послал вдогон за тачанкой верховых из дежурного взвода. К озеру тачанка подскочит — там ей и тупик, деваться дальше некуда кроме как обратным ходом.

Отряхиваясь от пыли, в которую он только что падал, Гришка спросил:

— Вы, однако, что, товарищ главнокомандующий, хотели варваров останавливать с ходу?

— Это тебе показалось! — ответил Мещеряков.— Показалось, ты и полез наперед старшего начальника! Вовсе нехорошо! Службы не знаешь! Ну, беги живей!

Тачанка полностью отгремела, на площади удивительно тихо стало... И пусто. Мещеряков глядел ей вслед. Густая пыль неторопливо ложилась обратно на землю. Он подумал: «Была, и не стало... Как ровно корова языком слизнула — и подержаться за ее не успел... И в руках как бы пусто сделалось...» Поглядел на свои руки.

А ведь высокого пулеметчика Мещеряков знал — с весны ранней тот служил в первом эскадроне, фамилия его была Ларионов. Ларионов Евдоким. Мужик тихий, спокойный, непохоже, чтобы напился сильно. Хотя разобраться, так пьют-то — для чего? Чтобы на самого себя не похожим быть! А на маленького — на того особой надежды не было: мог успеть. Маленький служил недавно, месяц какой, но сильно был умелый пулеметчик — в двух или в трех стычках уже участвовал, хорошо себя показал. Чей такой — как бы не спутать?.. Феоктистов, вот он кто, а звать по имени — уже не вспом-

нишь, потому что их множество, Феоктистовых, в эскадронах, и еще прибывают под этой фамилией люди... Известная фамилия в Нагорной степи, что ни село — то и десяток Феоктистовых.

А все-таки — если они выпившие оба? И Ларионов и Феоктистов?

Приказ был по армии: за появление в пьяном виде полагался арест, когда же пьяный покалечит лошадей, нанесет ущерб военному имуществу либо окажет сопротивление — полагается расстрел.

Не то чтобы приказ исполнялся всегда, но когда случалось на глазах у людей, когда все случай знали — исполнялся строго.

«Вот проклятые эти пулеметчики, свалились на мою шею!— рассердился Мещеряков.— Вот проклятый этот самогон! Где промчалась тачанка — может, саженях в пяти, может, даже они трезвые, пулеметчики, просто так балуются, а хмельным в тебя шибануло, как из ведра! Зараза! Ну, нет! Что до главнокомандующего товарища Мещерякова — тот до конца нынешней кампании в рот не возьмет! Ни в коем случае! Зараза!»

Сейчас, перед генеральным сражением за Соленую Падь, так и вообще-то самогонкой трудно разжиться, а находят у кого аппараты — бьют без сожаления, самогонщиков же штрафуют. Которые не унимаются, так были случаи — расстреливали.

Ну а когда выйдет победа над Матковским генералом... Тут надо будет закон этот трезвенный хотя бы на неделю или того меньше, но спрятать куда подальше! Все равно он бесполезным окажется.

«Только бы и выйти мне из штаба минутой какой позже либо минутой раньше!— вздохнул Мещеряков.— Не видел бы я и не знал бы ничего!»

После пожалел черного кобеля и себя пожалел: запросто могли бы они и вдвоем лежать растоптанные. И еще подумал: «Службу, Ефрем, служишь! Службу! Конечно, разбираться с пулеметчиками будет комендант, дело главнокомандующего — только приказать, а все-таки... Ладно, если пулеметчики эти и верно трезвые. А пьяные? К главкому же комендант и придет — подписать приказ о расстреле! К кому еще?»

Сколько это забот и дел нынче у Мещерякова!

А до чего все ж таки было бы хорошо — встретить противника на марше, разбить колонны его по отдельности, вовсе не переходя к обороне. Подумать только!

Для начала — вот так же, как нынче Ларионов с Феоктистовым,— подкатить к противнику, развернуться и дать с каждой тачанки по ленте без перерыва. А? Все ж таки взбудоражила и в нем кровь эта беспутная тачанка...

В кармане что-то потрескивало у Мещерякова. Он не сразу догадался, что такое, а это были карандаши в коробке. Когда он коробок сунул в карман — даже и не заметил.

ГЛАВА ПЯТАЯ

В главном штабе собрались Брусенков, Довгаль, Коломиец, Тася Черненко и Ефрем Мещеряков. Окончательно должны были обсудить вопросы, связанные с объединением армий, с прибытием главнокомандующего в Соленую Падь.

Договоренность между южной партизанской армией и главным штабом Соленой Пади состоялась на этот счет давно. Весной были здесь представители Мещерякова, а у него в Верстове почти две недели был Лука Довгаль,— но все равно и нынче предстояло о многом договориться. С самим Мещеряковым.

Сели за стол.

Брусенков, Довгаль, Коломиец, Тася Черненко сели по одну сторону стола, по другую — Мещеряков.

— С вашей стороны все, что ли?— спросил Брусенков.

— Сейчас мои подойдут. Припозднились!— ответил Ефрем. Огляделся, прищурился на ярко-желтый пол, на солнечный свет, падавший через окно.— Солнце чтой-то сильно бьет! В глаза!— сказал он и подвинулся вдоль по скамье. Оказался как раз напротив Таси Черненко.

— Так-так...— проговорил снова Брусенков, а Ефрем спросил у него:

— А какой же это у нас вопрос первым нынче поставленный?

— О соединении пролетариев всех стран. Так, товарищ Довгаль, договаривались мы?

— Именно!— подтвердил Довгаль, а Мещеряков поглядел на того и другого.

— То есть как это?

— Просто!— развел длинными руками в стороны Брусенков.— Хотим впервые выяснить твою платформу

и взгляд на лозунг всей мировой революции. Мы его у всех выясняем.

— Так неужто от меня соединение пролетариев всех стран зависит?

— От тебя не сказать чтобы много в таком великом деле зависело. А вот ты от него — в зависимости целиком и полностью.

— Ты скажи, не примечал я этого по сю пору. Ну ладно, а когда так, когда целиком и полностью,— что же нынче обсуждать-то? Тебе-то ясно это? И — товарищам...

— Мне ясно. За них я тоже ручаюсь. А вот как ты на это глядишь? Как и сколько ты в этом понимаешь?

Тут вошли Куличенко и Глухов.

Куличенко поздоровался резко, по-военному, а Глухов остановился на пороге, кивнул, огляделся по сторонам, всех присутствующих тоже оглядел, прошел к столу и сел рядом с Мещеряковым.

— Начнем либо как?

Брусенков поглядел на него, на рваную его рубаху. Спросил Мещерякова:

— А это кто у тебя? Что за товарищ?

— А он у меня никто.

— Ну все ж таки?

— От карасуковских мужиков ходоком. Пришел поглядеть и понять, что у нас здесь с тобой происходит. Глухов фамилия. Петро Петрович.

— А для чего это ему?

— Фамилия-то?

— Для чего он с тобой здесь? Нынче?

— Так говорю же: он от мужиков. Вон от какой от огромной волости. Ты для начала скажи, Глухов: можем-нет мы надеяться, что карасуковские мужики к нам все ж таки присоединятся?

— Сказать — это не от вас, товарищи, зависит.

— От кого же?— спросила Тася Черненко.

— От Колчака. Когда он еще месяц хотя бы не бросит безобразничать, не то что Карасуковская — все волости и даже все киргизы в степи ваши будут.

— И давно он у тебя такой?— снова спросил Брусенков у Мещерякова.

— Доро́гой к нам пристал. От Знаменской деревни верстах в тридцати. Нет, сказать, так и все сорок верст будет от Знаменской то место.

— И сразу ты его на заседание главного штаба привел? А если он военную тайну узнает?

— Так мы что, глупые совсем? Мы ему скажем уйти, когда зайдет о военных действиях. А сейчас почто ему нас не послушать? И свое слово нам не сказать? Соединение пролетариев всех стран не секретно же делается? Вот скажи, Глухов, ты за соединение?

— Я не то чтобы сильно «за»...— пожал плечами Глухов.

— Почему так?

— Дома делов слишком уж много. Управиться бы...

— Ты бы, товарищ Мещеряков, еще и Власихина привел сюда!— уже заметно сердясь, сказал Брусенков.— Тоже дружок твой.

— А вот это мне несподручно, нет. Я его с собой не привозил. Он ваш, доморощенный, Власихин-то... Приглашайте вы, я его послушаю!

— Довгаль, ты-то что молчишь?— спросил Брусенков.— В защиту пролетариата перед Власихиным какую речь сказал? А нынче? Это же прежде всего твой вопрос?

Довгаль сидел, опершись одной рукой на стол. Задумался.

— Наш вопрос... Но, видать, это еще не все — что наш он. Тут надо пример привести. Ясный и понятный. В руки взять вопрос-то всем и каждому...

— Позвольте, товарищи!— сказала Тася Черненко.— Довгаль говорит верно. А я хочу обратиться к товарищу Мещерякову: знает ли он, что в нашей армии созданы краснопартизанские части из бывших военнопленных мадьяр и австрийцев пролетарского происхождения?

— Сколько же их?— спросил Мещеряков живо.— Мадьяр сколько?

— Ну, две роты австрияков и мадьяр, считай, столько же!— ответил Довгаль радостно.— И вот с этого как раз и начнем мы с тобой разговор, Мещеряков, с этого!

— Мадьяры — верно что хороший пример!— кивнул Мещеряков тоже весело.— Вот с таким примером я и кому хочешь все объясню. И каждый мне поверит. А насчет австрияков — пример уже вовсе мало годный.

— Это почему же?— удивилась Тася Черненко.

— А потому, товарищ моя дорогая,— ответил Мещеряков,— потому что мадьяры — те, верно, солдаты.

Они и на фронте либо уже с нами сильно дрались, либо переходили на нашу сторону. Середки не искали, не скрывались. И понятно: они в свое государство задумали от австрияков отделиться, от ихнего императора Франца. Добра этого, императорского, повсюду хватает на каждую страну, на каждую местность, но им тот Франц даже и не свой вовсе. По-мадьярски будто бы ничего и сказать не может — «здравствуй», «дай сюда» и «прощай». Все. Австрияки же — те мирные. Те и в плену, в Сибири, больше полукровками занимались. Сколько от них ребятишек-полукровок пошло — с шестнадцатого года счет потерян!

— Почто же это как раз с шешнадцатого? А?— заулыбался в бороду Куличенко.— Почто с шешнадцатого, товарищ главнокомандующий?

— Ну, до шестнадцатого году старики и старухи еще счет вели по деревням. Старались. Жалмерок попрекали всеми силами. После видят — бесполезно это... И рукой махнули. А с мадьярами — вот вы женщина, товарищ Черненко,— а пример сделали очень правильный. Чисто военный пример.

На смуглом, чуть вытянутом вниз, но с круглыми ямочками лице Таси Черненко не дрогнула ни одна жилка, она осталась строгой. В упор смотрела на Мещерякова. Но его этот взгляд ничуть не смутил.

— Значит, в принципе ты за пролетарскую солидарность, товарищ главнокомандующий?— спросил Коломиец.

— В принципе — об чем разговор? А когда здесь, в нашей армии, будут воевать мадьяры — тем более!

— И ты сам готов нести революционное знамя по всему миру?

— Когда без него люди не смогут жить — понесу!

Но тут снова вмешался Глухов.

— Я так считаю,— сказал он,— у них, у мадьяр, тоже ведь наши русские в плену есть. Вот они ихней революции пущай и окажут полное содействие. Обязательно! А что? Из наших, из карасуковских, мужиков к им в плен попался один — известно это. Так тот один, дай бог ему волю, наделает у их делов, сколь у нас тут и рота мадьярская не управится сделать! Сроду не управится.

На той стороне стола помолчали, а Ефрем подумал: «Пусть Глухов и еще поговорит. Пусть штаб сам и решит, как ему с ходоком этим от карасуковских мужиков

быть!» И он еще сказал Глухову для задору, чтобы спор вдруг не заглох:

— В тебе, Глухов, видать, совести нету трудового народа! Тебе все — кабы полегче сделать здесь, а уже в другом месте, в другой стране — тебя дело не касается. Я говорил уже доро́гой, отчего это у тебя: богатый ты все же, видать, слишком!

Глухов Ефрема выслушал, помолчал и обратился к Брусенкову:

— Правду обо мне говорит главнокомандующий ваш? А?

— Правду, но далеко еще не всю!— ответил Брусенков.— Мало говорит. Или он бережет тебя? Для какой-то цели?

— Что же надоть, по-твоему, обо мне еще сказать?

— А то, что ты — я уже точно об тебе это знаю — эксплуататор хороший. А бедному ты враг! И когда Советская власть стоит за бедного — ты враг и ей!

— А-а-а, враг,— заорал вдруг Глухов. Глаза его покраснели, весь он под шерстью своей покраснел.— Это кто же тебе право дал в человека тыкать и кричать: «Враг»? Кто, спрашиваю?

— Меня выбрал на это место народ,— ответил Брусенков, и глаза его тоже нацелились на Глухова, губы сжались плотно.

Один лохматый, заросший весь, другой бритый, рябой — они привстали с табуреток, вот-вот кинутся друг на друга...

Мещеряков сказал:

— Фельдфебеля царской службы на вас нету!

Но Глухов будто и не слышал, еще наклонился через стол к Брусенкову:

— Тогда ты и сам не знаешь, для чего ты народом выбранный! Не знаешь! Тебя выбрали народ защищать, а не калечить его походя!

— Я трудовой народ и защищаю. Против царя защищал, против Колчака и еще — против тебя!

— О-он ты как? А я — кто же? Ты меня спрашивал, сколь вот этими руками я десятин земли поднял? Я в карасуковскую степь пришел — души живой не было, а я соли тамошней не побоялся, колодцы выкопал, на землю сел, просолился на той земле стоповым засолом, но и другим указал, что жить доступно, многие после меня стали жить. Я им что же — враг за это, людя́м? Я обзавелся, после меня уже другие обзавелись, безло-

шадные, неприписные,— я им тоже враг? Я им сделал, лю́дям, ты укажи — что ты сделал?! Ты покамест еще слова умеешь говорить, а вот на землю глухую ты первым придешь? Подымешь ее? Да от меня, может, пол-России идет, и я тоже иду от ее?

— Она нынче не та, Россия-то. Не та! Переделки требует. И еще требует убрать из нее которых. Навсегда убрать!

Спор был между Глуховым и Брусенковым серьезный. Мещерякову такой нравился. «Ладно бодаются!— подумал он.— Вовсе не зря доставил я Глухова в главный штаб!» И еще, поглядев на Глухова, он подумал: «В строю такой негоден, нет... Там в чужой кисет без разбору заглядывают и в чужой котелок... Там порядок — покуда команду слушают. А команды не слышно — любят беспорядок. А вот к полковому либо даже к армейскому хозяйству его приставить — будет сила! Ежели задержится Глухов, не пойдет к своим карасуковским — сделаю: приставлю его к хозяйству... Армейским интендантом!»

Брусенков же чем дальше, тем серьезнее становился, ответил Глухову:

— Я такие речи знаешь где читал? В колчаковских воззваниях читал. И не раз. Он там власть нашу комиссарским самодержавием кличет, Колчак. Однако народ бьет его, а не комиссаров!

— Так это же глупость — себя с дерьмом сравнивать! Колчаковская власть — она вся из дерьма деланная, это каждому должно быть понятно, одни, может, мериканцы-японцы не видят, сахаром дерьмо-то со всех сторон обкладывают! А ты что стараешься? Доказать, что ты лучше Колчака? Может, и лучше-то лишь на малость какую? Так неужели мужики-то кровь проливают за эту самую малость? И когда колчаки меня разоряют и напустили на меня чужестранных карателей, а ты тоже кричишь мне: «Враг!» — может, тебе цена-то тоже колчаковская! Стрелишь меня? Это ты можешь! Власть! Только сперва подумай, посчитай, какая тебе после того цена выйдет!

— Народ, может, и не сегодня, может, и погодя все одно скажет тому спасибо, кто ему помог от эксплуататора навсегда избавиться. А когда ты кричишь, что трудом своим степь цельную поднял, обзавестись людям помог,— я скажу на это так: вот за этим за столом сидят нынче товарищи, и нету среди них человека, чтобы ему

нечего было бы тоже об себе крикнуть, объяснить, сколько он сделал, сколько поту, может, крови пролил уже и еще готовый пролить за трудовой народ. Спроси хотя бы и товарища Мещерякова об этом. Ему сказать есть чего — однако он молчит! Почему молчит? Потому что когда общее дело — своими заслугами на других не замахиваются...

— А я и не замахиваюсь. Куда там замахиваться — обороняюсь я. И главный ваш командующий тоже об себе не промолчал бы, когда в его бы ткнули, объявили — он враг, и никто больше! И ты не промолчал бы! И любой и каждый из вас! Когда меня колчаки схватили бы и сказали мне «враг», я, может, и промолчал. Очень может быть. А тут как молчать? Тут все об себе вспомнишь, как на белый свет родился — и то вспомнишь!

— Зря стараешься!— сказал Брусенков.— От меня тебе не оборониться. У меня наступательный дух — на десятерых таких, как ты, хватит.

— Не оборониться, значит?!

— Ни в коем случае!

— А что же ты со мной сделаешь?

— Если еще вот так же будешь путаться, мешать нам — то я тебя стрельну.

— Это что же — твердо говоришь?

— Я ведь больше об тебе знаю, как ты думаешь. Много знаю: и кулацкую твою склонность, и в карасуковской степи твою агитацию знаю, чтобы не присоединяться покудова к партизанской территории либо даже свою сделать.

— Ты скажи-и-и-ка!— удивился Глухов.— Он что же у вас в штабе, Брусенков этот,— и со своими так обходится? Об ком что прослышит, не понравится ему — так он того человека сразу к стенке? Вы-то ему все здесь нравитесь — так понимать? Счастье ваше! Другой так и верно что позавидует вам, счастливчикам!

— Ты, Глухов, не разыгрывай...— сказал Довгаль.— Война идет. И жестокая. Каждому очень просто до худого доиграться. Понятно?

— Понятно. Вовсе. И получается, я у себя дома, в степе карасуковской, вовсе не напрасно уговаривал мужиков — не спешить под ваше знамя. Лучше обождать. Придет Советская власть — она за это не похвалит, знаем. Но ведь и у нас будет резон ей, Советской власти, объяснить: не хотели идти под диктатора. Хотя

под адмирала Колчака, хотя под Брусенкова-товарища. Не хотели и вас ждали. Вот как придется объяснить!

— Навряд ли тебе придется объяснять что кому, Глухов! — сказал Брусенков.— Навряд ли...

Мещеряков подумал: слишком далеко зашло дело. Он-то дело затеял вроде шуткой, но не так обернулось. Взять Глухова под свою защиту? Сказать: он его привел сюда, он обязан его отсюда и живым выпустить? Чтобы не столкнуться с Карасуковской волостью, с мужиками степными? Решил повременить. Подождать решил, покуда останутся они с Брусенковым с глазу на глаз. Ссориться с начальником главного штаба на людях и при первой же встрече — надо ли?

Но тут получилось вот что: Глухов сам по себе от Брусенкова защитился. И вовсе неплохо это у него получилось.

— Ты, Брусенков, сильно вперед не забегай,— сказал Глухов.— Умные так не делают. Сроду! Ну, а когда ты все ж таки забегаешь, то я ведь тоже знал — пользовался слухом,— к кому иду! И на всякий на случа́й доставил тебе махонький квиток!

С этими словами Глухов нагнулся, крякнул, сорвал с правой своей ноги сапог, а после стал разматывать длинную-предлинную, уже потрепанную, в дырах, портянку. Когда нога у него осталась голой, в одной только черной шерсти, с желтыми выпуклыми ногтями, он взял портянку в руки и стал ее рвать. Не порвал — вцепился в портянку эту зубами, холстина затрещала, и он вытащил из нее небольшой лоскут клеенки. Голубая клееночка была, с синими цветочками,— бабы такими любят на праздник стол в избе застилать. Глухов и эту клееночку порвал, достал из нее бумажку, расправил бумажку ладонью. Сказал Тасе Черненко:

— Ты, товарищ мой, по всему видать, крепко грамотная! Прочитай! Погромче!

Тася взяла бумажку, поглядела на всех кругом, но Мещеряков сказал ей быстро и строго:

— Читай, товарищ Черненко!

Тася Черненко стала читать:

«Товарищи мещеряковские и товарищи соленопадские! — написано было в этой бумажке.— Мы, карасуковские, посылаем от волости к вам своего представителя Глухова Петра. Выяснить настоящее ваше положение на предмет нашего к вам присоединения. И чтобы вы не приняли товарища поименованного за колчаков-

ского или просто так ему не сделали, то мы сообщаем вам, товарищи, для вашего же сведения: мы на всякий на случай поймали ваших партизанов в степу, трех человек, как-то: товарища Семена Понякова, жителя села Малая Гоньба, товарища Кореня Сухожилова, жителя села Каурово, и еще жителя селения Верстова, товарища Ивана Коростелева. Так что будет с нашим товарищем Глуховым вами сделано какое недоразумение — сообщаем вам, что и мы безотказно сделаем ту же меру с вышеуказанными товарищами. Но мы душой надеемся на правильный исход, и да здравствует народная власть, долой тирана Колчака!»

— Вот и видать сразу стало,— сказал Глухов, когда Тася Черненко кончила читать,— видать, что карасуковские мужики не кое-как деланные! А ты гляди бумагу-то зорче, товарищ женщина,— она еще и вашими заложенными товарищами тоже подписанная, бумага. Чтобы не вышло у вас вдруг сомнения.

Все молчали.

Молчали долго, и Мещеряков подумал: надо что-то сказать. Весело так хлопнул Глухова по спине.

— Так это верстовский мужик — Коростелев Иван,— у вас заложенный! Ты гляди, сосед ведь он мой! Не то чтобы ограда в ограду, но и не так далекий — дворов через пять и по той же стороне улицы!— И еще засмеялся Мещеряков.

А Глухов на него поглядел и громко заржал тоже, размахивая волосатой ногой.

Брусенков сидел — мрачнее тучи.

Ефрем и ему сказал:

— Да ты засмейся, засмейся, товарищ начальник! Смешно же!

Но Брусенков не засмеялся. Сказал Глухову:

— Погодь. Я подумаю. Может, по своей вредности ты и стоишь того, чтобы тремя нашими товарищами пожертвовать?

— Может, и стою!— согласился Глухов.— Но еще поимей в виду, что в те самые в деревни, из которых жителями происходят заложенные товарищи, из Карасуковки письма посланы. С объяснением и для всеобщего сведения. Как ты после в деревни те покажешься — тоже подумай! И еще сказать, ты знаешь теперь, что я вовсе не зря в вашем штабе нахожусь. Известно стало, что я — представитель.

— Товарищи! Ну что же, товарищи!— сказал Довгаль.— Давайте так: по первому вопросу у нас не слишком получилась договоренность — насчет лозунга мировой революции. Когда считать вторым вопросом переговоры с Карасуковской волостью в лице товарища Глухова — то же самое, не слишком. Но это в данный момент не должно нас останавливать. Среди нас не найдется ни одного, который подумал бы на этом остановиться. Мы должны сознавать — нам всем нужна победа над кровавым Колчаком, и все мы ждем как можно скорее родную нашу Советскую настоящую власть, которая безусловно и сделает уже все возможное в интересах всех трудящихся масс. Наша же задача на сегодняшний день — окончательно оформить объединение в связи с прибытием товарища Мещерякова и с принятием им фактически всей полноты военного командования...— Довгаль посмотрел на присутствующих, потом обернулся к Тасе Черненко:— Товарищ Черненко сейчас огласит протокол, который и явится для всех нас, для всей Освобожденной территории, радостным известием и самым важным документом! Прочти, товарищ Черненко!

Черненко поднялась над столом.

Ее тоненькая фигурка в ситцевом, в голубую крапинку платье, поверх которого надета была гимнастерка военного образца, и темная косынка, и руки с чуточку вздрагивающим листком бумаги — все попало в яркую полосу света, падавшую через окно. Тень Тасиной головы, рук и этого листка, темная и четкая, падала как раз на середину большого стола, так густо замазанного разноцветными чернилами, что все мелкие пятна сливались в одно большое радужное пятно, сквозь которое лишь слегка просвечивался стол — щелки между досками, прожилки сосновых досок, выцарапанные на нем буквы и слова. Листочек в ее руках дрожал почти незаметно, тень же от листочка перемещалась от одной щелки до другой, как будто не находя себе места.

Тася Черненко заметила свое отражение и совсем немного, совсем слегка отвернулась от окна... Тень не исчезла, но стала сразу же нескладной — ни Тасиной головы, повязанной косынкой, ни ее рук, ни дрожащего листка уже нельзя было различить.

Тася Черненко начала читать:

— «...Главный штаб объявляет:

Отныне образуется главный штаб Объединенной Крестьянской Красной Армии — ОККА — с местонахождением в селе Соленая Падь.

Главнокомандующий ОККА, избранный на совещании командного состава обеих армий в июле сего года, товарищ Мещеряков Ефрем Николаевич с сего сентября четвертого дня тысяча девятьсот девятнадцатого года фактически приступил к исполнению своих обязанностей.

Приступил также к исполнению должности избранный там же начальник штаба ОККА товарищ Жгун Владимир Дементьевич.

Все действующие армейские соединения сведены с сего четвертого сентября тысяча девятьсот девятнадцатого года во фронт действующей армии. Командует фронтом бывший командир армии восставшей местности Соленая Падь товарищ Крекотень Никон Кузьмич.

Переименование частей ОККА, а также назначение командиров будет произведено особым приказом главнокомандующего товарища Мещерякова Е. Н.

Главнокомандующий ОККА товарищ Мещеряков Е. Н. входит в состав главного штаба Освобожденной территории как член этого штаба и заместитель начальника товарища Брусенкова И. С. по военным вопросам.

При штабе ОККА создается ставка верховного командования в составе четырех человек: начальника главного штаба товарища Брусенкова И. С., начальника штаба ОККА Жгуна В. Д., командира фронта товарища Крекотеня Н. К. и комиссара сельского штаба Соленая Падь товарища Довгаля Л. И.».

Протокол был уже известен Мещерякову, он был принят совещанием командного состава партизанских армий еще в июле месяце. И все этот протокол знали, разве только Глухов не знал его. Но все равно — все слушали с интересом. Будто только сейчас и сразу както поняли, для чего все вместе собрались.

Тася Черненко села.

Мещеряков поглядел на нее, подумал: «Курносенькой такой, а ведь все надо понимать! Тут сам-то не сразу разберешься... Брусенкову я подчиняюсь в главном штабе, заместитель я его по военным вопросам. А он мне как главнокомандующему подчиняется в ставке... Ну, сейчас спорить, выяснять не будем. Дело покажет. Протоколом всего не решить.— И еще поглядел на Чер-

ненко, удивился: — А ведь не курносенькая она вовсе». Вынул из кармана гимнастерки трубку, стал набивать ее махоркой. И Куличенко стал вертеть цигарку. И Брусенков тоже. Все вдруг вспомнили — слишком давно не курили.

— Ну, товарищи, — сказал Довгаль, — я считаю, все ж таки самое главное совершилось. Дай-ка твоего, Ефрем! — И через стол потянулся за кожаным кисетом Ефрема. — Самосад? Либо покупной?

— А я уже спутался! — ответил Ефрем. — У меня в походном в ящичке мешочек — я, каким бы ни разжился, все туда, в одно место, и сваливаю.

— Тоже — объединение, — сказал Глухов. — Ну когда у тебя большой мешок — угощай всех!

Мещеряковский кисет пошел по рукам.

Коломиец, затянувшись перед тем из огромной цигарки, поднялся с места.

— У меня тут есть еще одно предложение. Совместное от нашей старой части главного штаба, еще, сказать, бывшей до Мещерякова.

Видно было — говорить Коломиец не очень-то умеет, но старается, и так как говорил он, обращаясь к Мещерякову, тот кивнул:

— Давай.

— «По случаю укрепления центральной власти, то есть главного штаба Освобожденной территории и объединения армий, а также во имя торжества идей революции предлагается: сделать амнистию и всех товарищей, совершивших преступления, кроме шпионства, освободить и отправить в действующую армию, где они должны исправить свое поведение и заслужить прощение», — прочитал Коломиец, сказал: — Далее! — И снова начал читать: — «Произвести пересмотр концентрационного лагеря военнопленных для особо тщательного выяснения лиц, мобилизованных Колчаком насильственно. Выявленных товарищей освободить немедленно, с правом вступления в доблестные ряды ОККА. На военнопленных — добровольцев колчаковской армии настоящая амнистия не распространяется». Еще далее: «Подрывной отряд, действующий на железной дороге, переименовать в Первый железнодорожный батальон и впредь именовать «Первый железнодорожный батальон «Объединение». И еще — совсем уже далее: «Для комплектования частей и установления однообразия в мобилизации объявляется призыв на военную

службу всех солдат сроков службы с тысяча девятьсот девятнадцатого по тысяча девятьсот девятый год включительно. Штабам полков озаботиться пополнением строевых частей за счет лиц упомянутых сроков службы. Всем районным штабам принять приказ к исполнению!»

— Вот тебе раз!— удивился Глухов.— То была амнистия, то мобилизация! Верно, что и совсем уже далее! Это как же все тут в одно сложено?

— А что же,— ответил ему Коломиец,— так и должно быть! Надо, чтобы народ понял — произошла радость для него; власть укрепилась и армия. Единение произошло. А под эту радость и единение мобилизацию провести! Для общей нашей победы!

Глухов, натянув наконец на правую ногу сапог, спросил:

— А какое единение? Мне вот не вовсе понятно. Что обсуждали — так ведь разъединение же одно? И с соединением пролетариев всех стран, и хотя бы с одной нашей Карасуковской волостью — одно разъединение. На том и сошлись только, чему вовсе обсуждения вашего не было! Потому, может, и сошлись? А?

Никто Глухову не ответил.

Может, каждый в уме ответил ему, только промолчал. У Мещерякова же, у того мысль одна мелькнула насчет Глухова. Он стал ее обдумывать.

Тем временем приступили к следующему вопросу: о съезде.

Брусенков коротко сказал, что в Соленой Пади на 30 сентября намечен второй съезд крестьянских и рабочих депутатов. Военная обстановка с тех пор осложнилась — как раз в это время могут разгореться бои непосредственно за Соленую Падь, но и необходимость в съезде возросла. В связи с объединением возросла. Нужно, чтобы съезд принял решения, обязательные для всей Освобожденной территории, чтобы он способствовал укреплению обороноспособности.

— А когда будут в то время за Соленую Падь бои, то и делегаты все пойдут на позиции. Мы и первый съезд проводили — пальба день и ночь слышалась,— сказал Брусенков, а Мещеряков подумал: «Съезд так съезд... Не надо покуда мне в гражданские и уже заранее решенные дела мешаться. Будет настоящая война — все и сами про съезды забудут».

Он все еще обдумывал занимавшую его мысль.

— У меня возраженией нет!— сказал он рассеянно.

Выбрали тайным голосованием заведующего агитационным отделом главного штаба, поскольку прежний заведующий замечен был сильно пьяным. Покуда тайно голосовали, опуская в ящик стола пуговки разного цвета, Мещеряков все думал, думал. Ему было все равно, кого выбирать заведующим агитотделом. Двоих голосовали, он не знал ни того, ни другого.

Стали подписывать протокол заседания. И тогда он вдруг сказал:

— Подпишись и ты, Петро Петрович.

— А я-то при чем?— удивился Глухов.

И все удивились предложению Мещерякова. Мещеряков же спокойно-тихо ответил:

— Присутствовал ты зачем-то здесь? Чего-то ради? А? Зачем-то мы тебя здесь держали? Вот и подпиши, что присутствовал представителем Карасуковской волости... Что считаешь возможным, чтобы волость участвовала в съезде. Чтобы помогала, сколько возможно, своими военными действиями. Или ты против?

— Так ведь и не было об этом нисколь разговора! Что откуда? Откуда взялось?

— Ну, тебе виднее, товарищ Глухов! Виднее! А когда ты не подписываешься, то я предлагаю записать и объявить так: «На заседании главного штаба присутствовал представитель Карасуковской волости товарищ Глухов П. П. Вышеуказанный товарищ не высказался о возможности присоединения волости к Освобожденной территории и о совместных военных действиях. Поэтому главный штаб, обращаясь ко всем волостям и селениям с призывом о мобилизации и тем обязуясь защищать эти селения от белой банды, такое обязательство на себя по Карасуковской волости не принимает».

Не видел еще Мещеряков мужика этого растерянным, вовсе глупым... А тут Глухов под шерстью своей покраснел, часто-часто заморгал махонькими глазками. Потом вскочил и заорал:

— Так ить это же ты что? Ты во всеуслышанье подставляешь нас Колчаку? Объявляешь в гласном приказе?

— Насчет Колчака — не знаю. Насчет тебя лично — подставляю тебя карасуковским мужикам. Когда они от белой банды пострадают, то и спустят с тебя с первого шкуру. Вместе с шерстью.

И Глухов сел и зажал свою кудлатую голову руками, а после протянул руку, кому-то помахал ею, неизвестно кому.

— Давай бумагу...

— Еще я пошлю с тобой приказ вашей армии!— сказал Мещеряков, когда Глухов подписался.

— Да нету у нас армии никакой! Нету же!— воскликнул Глухов.

— Ну, ополчения есть.

— Ополчения по селам вовсе малые! Какая у их сила?

— Какая бы ни была, передашь приказ первому же, какое встретишь, сельскому ополчению. Приказ и не сильно секретный. Я его товарищу Черненко сейчас буду говорить, она напишет.

Тася Черненко торопливо взяла бумажку, ручку обмакнула в чернильницу-стекляшку, точь-в-точь такую же, какая стояла на столе Мещерякова в штабе армии. Приготовилась писать.

— «Товарищи карасуковское ополчение!— начал Мещеряков, обойдя стол кругом и приблизившись к Тасе Черненко.— Когда вы не хотите остаться одни перед лицом белой банды, а хотите в дальнейшем опираться на помощь Объединенной Крестьянской Красной Армии, приказываю вам,— диктовал Мещеряков, заложив руки в карманы галифе и поглядывая в бумажку через Тасино плечо,— составить отряд не менее как пятьсот конных и вооруженных человек и задержать продвижение одной из белых бандитских колонн на какой вам удобнее будет дороге — Карасуковской либо Убаганской. Нам это все равно. Но задержите и нанесите им потери на марше. Окажите нам свою преданность, а также защищайте смелым нападением самих себя, собственную жизнь. Когда вы примете настоящий приказ к исполнению, немедленно сделайте сообщение телеграфом на станцию Милославку следующими шифрованными словами: «Карасуковские хозяева согласны продать Милославскому обществу столько-то пудов муки». Пуды эти будут названы по числу собранных в конный отряд человек. После того можете быть уверенными в случае необходимости на помощь нашей армии».

Тася писала быстро, разборчиво. Красиво писала. «Ладная бабенка. Может, и девица еще. Все может быть...»

— «В случае крайней необходимости, хотя бы и на самое короткое время, возьмите телеграф вооруженной силой!— продиктовал дальше Мещеряков.— Когда заложенные наши товарищи не сильно вами обижены, то советую назначить командиром отряда Коростелева Ивана. Смело и решительно идите в бой. Внезапность — это успех!..» Ну, а теперь как это было в письме карасуковскими написано? Которое ты в портянке принес, Глухов? Написано было ими: «Да здравствует народная Советская власть, и долой тирана Колчака!» — вспомнил Мещеряков.— Так же и в этом приказе напиши! После уже и роспись сделай: «Главнокомандующий Объединенной Крестьянской Красной Армии Мещеряков!»

И Мещеряков снова посмотрел на всех присутствующих. Очень внимательно.

Нравилось ему все, что нынче он сделал. Он и не скрывал, что нравилось,— посмеивался. Куличенко вслед за ним тоже засмеялся, только еще громче. Довгаль улыбался, и Коломиец тоже. Тася Черненко, кончив писать, подняла на Мещерякова большие темные глаза. Удивлялась ему или еще что?

Мещеряков сказал ей:

— Вот так, товарищ Черненко!

Не улыбался Брусенков.

А Глухов — тот жалобно сказал:

— Сильно уж ты меня окрутил, товарищ Мещеряков! По рукам, по ногам. Не думал я. Ну, никак не думал!

— Думал бы!— ответил ему Мещеряков.— Кто тебе не велел? Послушать — я тебя с интересом послушал. Дорогой, когда ехали, и нынче, в штабе. А сделал я — как война велит делать. Ты ровно котят нас тыкаешь-тыкаешь! А сила-то наша. И еще ты забыл: мужики карасуковские не зачем-нибудь — за помощью тебя послали к нам. И с тебя за это спросят. А ты? Увлекся то да се за нами замечать. Забыл свое назначение. А я вот не забыл, нет. С первого же разу и понял, зачем Глухов к нам посланный. И покуда ты у нас в гостях прохлаждался — колчаки, поди-ка, и еще народ в карасуковской степе успели потрогать. Имей и это в виду.

Глухов обе руки воткнул в бороду, сидел за столом не шелохнувшись, негромко Мещерякову отвечал:

— И все ж таки об тебе не думал я, что ты со мной сделаешь. Про кого бы другого, про тебя — нет! Я когда

на тебя в путе только глянул — ту же минуту угадал. Хотя и не сразу ты признался, угадал Мещерякова. Почему? Говорил уже — заметный твой сразу военный талан. А у меня другой — хлебопашество мое дело, торговля тоже. Я и почуял: мы на этом друг дружку хорошо поймем. Не будем искать, чтобы ножку один другому подставить бы. И не побоялся я тебя ничуть, вестового твоего Гришку и того опасался больше, как тебя. Ты еще и Власихина освободил, подсудимого, ни на кого не поглядел. А со мной? Хотя бы поаккуратнее сделал, а то взял и под колчаковский удар волость погрозился подставить! Так это же безбожно! Это же разве аккуратно? На угрозе капитал делать? А? Может, он и главным-то потому называется, штаб ваш, что пуще всех других умеет таким вот манером грозить и угрожать? Хорошо... Я вернусь домой, что я об тебе, Мещеряков, должон буду мужикам сказать?— Глухов приподнялся за столом, ткнул пальцем в Мещерякова:— Ты мне объясни — как объяснишь, так и скажу! Ну!

Мещеряков усмехнулся.

— А чего же тут объяснять? Вовсе не трудно! Все, как было, в точности скажи. Передай мои слова: когда нас не поддержат нынче карасуковские, пущай пеняют на себя. Еще передай: Мещеряков велел сказать — война! Они поймут. И тебе самому это понять тоже надо бы куда больше!

Брусенков, до тех пор долго молчавший, сказал:

— Может, и не нужно объединение с карасуковскими? Богатые они слишком? И от нас далеко?

Брусенкова не поняли — или он еще хотел постращать Глухова, или в действительности так думал. Тот разъяснять не стал.

Мещеряков поднял с пола лоскуток клеенки — голубенький, с синими цветочками,— передал его Глухову.

— Возьми! Рано, видать, обулся-то! Сейчас и распоряжусь — дадут тебе коней, сопровождающего, сопроводят до района военного действия. Там ужо одиночно доберешься. Бывай здоров!— Похлопал Глухова по плечу.

Разувался теперь Глухов совсем не так, как в первый раз это делал... Тогда он сапог с себя сбросил — едва успел его в руках удержать, а то бы улетел сапог в угол куда-то, и портянку разматывал — словно флаг какой.

Теперь сдирал-сдирал обутку с ноги, кряхтел, носком левой ноги в пятку правого сапога упирался, но соскальзывал, не снимался сапог, да и только. Долгое время завертывал письмо в клееночку.

Кое-как осилил Глухов и эту работу... Вздохнул.

— У меня в эту пору, в страду-то, в бороде пшеница прорастает, и я правда что глухой делаюсь: уши половой забитые и еще от грохота от молотильного ничего не слышат...

Удивлялись нынче находчивости Мещерякова все, кто был в штабе. Так ли, иначе ли, а удивлялись.

А ведь никто по-настоящему так и не знал, для чего Мещерякову наступление карасуковцев нужно было.

А нужно было вот для чего — для плана контрнаступления. Хотя командующий фронтом Крекотень и сдерживал белых на всех направлениях, но в тыл противника не заходил — неохотно отрывались нынче партизанские части от своих сел и деревень, не о рейдах по тылам — о защите деревень этих думали. Все силы свои, до единого человека, Крекотень хотел вывести на оборонительный рубеж. Задерживал противника на марше, а сам только и думал, как бы от него оторваться, занять оборону. И потому, что не стояло такой задачи — дать решительный бой хотя бы одной колонне белых,— все пять их колонн с запада, севера и северо-запада, сближаясь друг с другом, двигались на Соленую Падь. Чем больше сближались, тем проще могли оказать поддержку друг другу.

Теперь же Мещеряков рассчитывал так: внезапный удар карасуковцев с тыла приостановит наступление одной колонны. Остальные задержатся вряд ли — будут еще день-два продвигаться вперед. И вот тут-то и нарушится между ними связь, и Мещеряков, предпринимая контрнаступление, имел бы против себя одновременно не более двух колонн, и то не сразу: в начале операции только одну, вторая подтянулась бы позже.

И еще было соображение у Мещерякова... Весь ход нынешних военных действий, конечно, раскрыл противнику план крестьянской армии. На рытье окопов выходили деревнями — это в тайне не могло остаться. А действия в тылу противника его бы дезорганизовали. Тут и еще можно кое-какие демонстрации провести, окончательно сбить белогвардейцев с толку, а тогда и бросить все силы в контрнаступление, в частности, двинуться в Убаган...

Мещеряков указал карасуковцам две дороги — Убаганскую и Карасуковскую. А сделал он это, чтобы скрыть свои намерения. Ему будто бы все равно, где будет поддержка,— лишь бы она была. На самом же деле карасуковцы если выступят — так только по Убаганской дороге. Она была не открытая, не степная, перелесками шла и оврагами. Устроить на такой дороге засаду, после уйти без особых потерь — сама местность подсказывала. Ко всему еще Убаганская дорога почти вся проходит за пределами волости, ясно, что мужики карасуковские воевали бы на ней, до поры не навлекая на себя карательных белых экспедиций. Как будто неплохо было придумано?

Из своего приказа Мещеряков и не думал делать секрета. Зачем? Пусть все видят и понимают — он заботится о том, чтобы оттянуть сражение за Соленую Падь. И только.

Доволен был нынче Мещеряков.

Распрощался со всеми по ручке, Тасе Черненко — так пожал обе и быстро-быстро поспешил в свой штаб, откуда хотел еще засветло успеть на позиции.

Кончилось заседание главного штаба.

Остались Довгаль и Брусенков. Закурили. Довгаль, потянувшись, расправил ноги и руки, сказал:

— Ну вот, а ты, Брусенков, про Мещерякова что говорил? А? Как он с Глуховым-то? А?

— И сейчас говорю...— хмуро кивнул Брусенков.— Говорю — не отказываюсь.

— Да что ж ты нынче-то еще можешь сказать? Уже вовсе не понятно мне!

— Давай поглядим, что человек этот представляет... Первым делом пошел против народного приговора и Власихина освободил. Ему-то что — балаган нужно было с нами, со всем народным судом сделать, или как?

— Ну, на это махнем... Было — прошло. Поважнее есть дела.

— Как бы только это. Комиссара он сам себе назначил. Какой из Куличенки комиссар? Мальчишка сопливый и бестолковый. Глядит начальнику своему в рот. Не хочет над собою никакого руководства Мещеряков, только наоборот и желает. Далее: начальник штаба у него — капитан царской службы. И Глухова он привел в главный штаб, с нами посадил его. Тот безобразничал, издевался всяко, а в результате что? Секретный приказ с собой увез, вот что! И распрощались они, ви-

дишь ли, друзьями. Друг дружку поняли! А когда он шпионом окажется, Глухов,— я нисколько не удивлюсь! Ничуть. Еще: в Знаменской деревне Мещеряков эскадронца застрелил. Напрасно и застрелил. Это не самоуправство ли? И еще: корову-то, видать, не зря когда-то Мещеряков с чужого двора увел! Вот тебе об нем картина. Плюс нынешний разговор о лозунге соединения пролетариата. Кто-кто, а ты, Довгаль, почему об этом забыл?

— Мнится тебе, Брусенков! Да разве можно на все это глядеть? Разве нас с тобой завтра же нельзя засудить, что мы в войне этой кого-то напрасно стрелили? Ты гляди на действия человека, вот на что! Как армия его слушается, как идет за ним! Как революцию он делает, жизни за нее не жалеет!

— Не сильно хорошо он делает! Нет! Я на его месте сделал бы, как замышлялось сначала: оборонительных рубежей сделал бы не один и, может, не два, заставил бы колчаков рубежи эти брать, наносил бы им потери побольше того, как нынче Крекотень на марше наносит. А на последнем рубеже и дал бы решительный бой. Но Мещерякову партизанить охота... Очень даже!

— Вот что, Брусенков,— главнокомандующего мы сами выбирали. Народ верит ему. Давай и мы с тобой поверим. Он же год воюет — ни единого сражения им не проиграно!

— И сейчас не захочет — не проиграет. Не захочет — ничего худого в Соленой Пади не будет. Ну, а чего он хочет — не знаю. Прежде будто знал, стал на его поведение зорко смотреть — теперь не знаю.

— Та-ак...— сказал Довгаль.— Еще вопрос: после власихинского суда возвращались мы с тобой домой, ты обещал мне тогда — уберешь Мещерякова. Всерьез обещал или под горячую руку сказано было? И пошли вы все — и Коломиец, и товарищ Черненко — к Толе Стрельникову в избу. А я не пошел и жалел после сильно... Об чем был между вами разговор? Как решено?

Брусенков молчал.

Терпеливо ждал ответа Довгаль. Не дождался. Напомнил:

— Жду я. Может быть, и мне не веришь уже?

— Все может быть...— вздохнул Брусенков.— Не кто, как ты, ездил нашим представителем в Верстово. Не кто, как ты, с Мещеряковым тот раз вел переговоры.

А вдруг он тогда уже обошел тебя? Так же вот и обошел, как нынче Глухова, а?

Довгаль посидел, помолчал...

— Ну, когда так, то убирать надо тебя, Брусенков. Подумай об этом. Покуда сам подумай — после за тебя уже подумают.

Брусенков поднялся, молча постоял. Подошел к Довгалю, положил ему руку на плечо.

— С тобою, Лука, мы знакомые уже, вспомнить, годов более пятнадцати. И я нынче об тебе сказал — только как пример привел. Вообще. Как нужно глядеть кругом себя, как строго друг с другом быть.— Помолчал Брусенков, вздохнул.— Как бы не Черненко, девка эта, то было бы тогда, в избе Толи Стрельникова, постановлено — тут же Мещерякову насчет Власихина и предъявить. Чтобы он взял назад свое приказание об освобождении подсудимого.

— Он бы на это не пошел, Мещеряков! Ты это знаешь.

— А тогда его убрать.

— Совсем?

— Совсем.

— Значит, когда бы не Черненко, так и решено бы стало?

— Стало бы. Она против пошла, и Коломиец за ней, и Толя Стрельников колебания проявил. И решено было: еще на Мещерякова поглядеть. Показать ему всю нашу власть, как устроено в Соленой Пади. Как главный штаб управляет. Чтобы он все, что надо, понял. Чтобы сам подчиняться нашему управлению тут же и согласился. Ну, а когда он покажет себя против, не понравится ему... Поведем его по всем отделам главного штаба. Завтра либо послезавтра — поведем подробно. Чтобы поглядел бы. А мы чтобы — поглядели на него. И сделали об нем окончательный вывод.

— Да в уме ли вы? Об чем вы думаете в настоящий момент?— воскликнул Довгаль и покраснел весь и задрожал.— Белые же завтра подойдут вплотную, зверства сделают невиданные, а вы твердите: «Поглядим на Мещерякова. Поглядим, как с ним сделать!»

— Ну и что же? Главное сделано! Сделано объединение. А Крекотень — тот ничуть не хуже Мещерякова управится в главном командовании... В остальном же был уже сегодня между нами этот разговор, но ты, видать, не все понял: пусть белые придут! Пусть порушат

нас! Это что будет значить? А то и будет, что война наша с мировым капиталом еще жестче сделается. Еще больше массы поднимутся и осознают свое великое дело! Войдут в революцию с головой, без остатка. Каждый до тех пор в нее войдет, что обратного хода уже ни у кого не будет. Поэтому данный момент чем он кровопролитнее, тем это даже нужнее. И если имеется подозрение, что Мещеряков назад оглядывается либо жертв боится, то и убрать такого надо без сожаления. Отклонение каждого из нас от истинной линии страшнее, чем колчаковские банды. Пережить однажды — пройти сквозь горячий костер! Надо! Колчак — тот огня не боится. У него решение — сгореть, хотя бы ради победы, хотя бы и ради поражения! И он ни своих, ни чужих — никого не жалеет для огня этого. А мы почто слабосильнее его оказываемся?! Он-то — как зверь гибнет загнанный и будущих проклятиев не боится! А мы? Нам за нашу гибель история памятник сделает!

Довгаль молчал.

И молчание это Брусенкова еще воодушевило, он еще сказал:

— Когда мы не сделаем революцию нынче, то мы ее, может, и никогда уже не сделаем. Потому что капиталист уже другого Колчака нам для такого случая не даст. Такого же зверя. Капиталист когда поймет, что от смерти ему близко,— он и своему пролетарию тоже подачку сделает — куском, рублем, какой-нибудь фальшивой свободой. Может, одну десятую от своего богатства уступит, может, того меньшую часть, он не прогадает, но навеки пролетария успокоит, погасит в нем революцию. Потому, Довгаль, товарищ мой, давай торопиться, делать ее, пока горячо, пока не остыло, пока мы сами на жертвы готовые на любые, а капитал все опасности не осознал. Пока пролетарию и правда что нечего терять, как свои собственные цепи. Давай торопиться, ни пота, ни крови не жалеть. Иначе и вся та кровь, которая до сих пор народом была пролита, вся, до капли зря пропадет!

— Злой ты, Брусенков. Откуда ты? Кто тебя таким сделал?

— Не злой, а умный. Еще сказать: ученый. Сильно добренькие умными не бывают — запомни это.

— Нельзя так, Иван! Нельзя! Пусть нашей крови желает Колчак, пусть желают ее из разных стран легионеры — им деньги за это платят, и обещания дают,

и обманывают их всячески. Так ты и злился бы на их, на их только! Но ты и на своих тоже кровавыми глазами глядишь!

— Тоже. И свои, может, не меньше виноватые, когда их мильонами угнетают. Ведь и надо-то всего — договориться на один день и час мильонам этим, один раз только заняться, попачкать о капиталиста руки — и все! Конец настанет капитализму, думать о нем забудут. Ну, если не могут сговориться на один день — пусть бы на один месяц решились, на один и даже — на два года! А то боится каждый, и каждый для себя так ли, иначе ли ловчит, а получается — вместо единой революции позволяет себя отдельно от других в крови утоплять! Нет, и на своих глядя, радоваться тоже не приходится. Слишком ее мало, радости этой, в людях. Учение им нужно, и учение без пряника — вовсе другой мерой!

Довгаль подумал, провел рукой по лицу, вспоминая что-то. Вспомнил:

— Ты, Брусенков, при суде над Власихиным как говорил?

— Как?

— Говорил: не может быть, не должно быть такой власти, которая весь народ, и отцов и детей, гнала бы на гибель... И нету того народа, который такое над собой терпел бы безропотно! Говорил?

— То был митинг. Торжество и суд. А нынче — уже рабочая обстановка...

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Мещеряков осматривал оборонительные позиции. Сопровождали его командиры полков.

Сначала ехали бором, Мещеряков прикидывал, где тут в бору удобнее расположить полевой госпиталь, лабораторию для заправки стреляных гильз, армейский обоз. После выехали в поле.

Соленая Падь с целой стаей колодцев-журавлей, с зелеными крышами бывшей кузодеевской торговли, с редкими сизыми дымками оставалась позади и чуть справа. А вот впереди, сколько хватал глаз, велись оборонительные работы — наверное, тысячи две народу копали основную линию окопов.

Через выпас шла линия, рассекала поскотину, шла пашней по стерне, местами — прямо по не убранному

еще хлебу черным надрезом. По вспаханному же осеннему пару надрез этот был желтым, глинистым.

И всюду народ кипел, и падала, падала степная пашенная земля из окопов на брустверы, кидали ее мужики блестящими на солнце лопатами, а где так и бабы старались, и ребятишки.

Звон стоял над степью... Кто-то очищал в тот миг лопату о лопату, а еще кое-где сидели около небольших наковален мужики, те звенели безустанно — отбивали притупившиеся на плотном грунте лопаты домашними молотками.

Шел звон от бора до Большого Увала, а вверх — едва ли не к самому солнцу, разгоняя в белесом небе редкие, пугливые облачка.

И голоса человечьи тоже звенели, и гудели, и вздрагивали, налетая друг на друга, и тоже заполняли собою все вокруг — и вдаль и ввысь.

«Шумит-то народишко...» — подумал Мещеряков.

На фронте не раз приходилось ему видеть, как роются окопы, и он сам — саперный фельдфебель — тоже не раз и не один год рыл их, но никогда не примечал, что дело это такое звонкое.

А еще и по ту и по эту сторону линии обороны убирали нынче хлеб. Торопились. Погоняли коней, и лобогрейки быстро-быстро махали едва видимыми мотовилами, самосброски — крыльями, а на сенокосилках, приспособленных под жнеи,— на тех как-то особенно ясно видны были мужики, по большей части в белых рубахах и без шапок. Они тоже без конца, словно мельницы-ветрянки, взмахивали граблями-укладками, клали хлеб в горсти. И стрекотали на лобогрейках, и на самосбросках, на косилках ножи, и кони шагисто двигались по кромкам разбросанных там и здесь пшеничных, просяных, овсяных, гречишных полей. Пшеничные посевы — те особенно были похожи на крупные ломти хлеба, жнеи отрезали от ломтей совсем тонкие ломтики, поля суживались, а когда полоски несжатой пшеницы становились совсем узкими — в один-два захвата,— кони сами по себе прибавляли шагу, валили пшеницу сперва на одну сторону, разворачивались, шли обратно, и тут скошенное начисто поле с сероватой стерней сразу будто прижималось к земле, кончалось на нем лето, ступала на него осень. Глубокая осень. Поблекшая, бесцветная.

Бабы в разноцветных сарафанах, в белых косынках, с подоткнутыми подолами домотканых юбок цепками двигались по ходу машин, сгибались и разгибались, сгибались и разгибались — вязали горсти в снопы. Снопы нынче не складывали в кучи, а тут же подбирали на двуконные подводы в высоченные возы.

Один за другим шли эти возы чем ближе к деревне, тем плотнее один к другому — чуть что не сплошным обозом, а из села на порожних, стоя в рост и гикая на коней петушиными голосами, мальчишки-возницы мчались в обгон друг друга, подымали по дорогам пыль и, только свернув на стерню, притормаживали, ехали мирно-чинно, боялись, верно, что за бешеную езду мужики и бабы станут на них ругаться.

Шло дело.

Тут, должно быть, не глядели, чья пашня, кто хозяин,— убирали артельно. Весело убирали. Будто не перед войной — перед престольным праздником торопились: хотели управиться и хорошо погулять.

Будто и окопов тут же рядом не рыли и поля освобождали от хлебов не для кровавого боя.

А между прочим, когда снопы эти свезут в деревню, сложат, у кого прямо на ограде, у кого на огородах, и вся деревня покроется зародами, как грибами, а после того противник даст по дворам и постройкам первого же огонька — заполыхать может сильно. Куда как сильно! Нынешний колос и солома — богатые, сухие, горючие.

Еще смутила Мещерякова одна совсем ненужная линия окопов. Он спросил: а эту кто назначил? Кто выдумал? Совсем непутевую, боковую?

Ему ответили: это начальник главного штаба приезжал, товарищ Брусенков, инспектировал. Он и надумал.

Как будто товарищ Брусенков — лицо тоже военное, а не гражданское.

Повздыхал Мещеряков, в который раз уже подумал: «Партизанское ли это дело — оборона?»

А линия окопов на глазах все глубже врезалась в землю, уже обозначались ходы сообщения, пулеметные гнезда и выемки под капониры, ложные окопы Мещеряков тоже узнал, и кинжального действия, покуда еще не замаскированные. Война...

Еще раз оглядев местность в бинокль, Мещеряков спешился, бросил повод коноводу, велел тут и ждать его, пошел не торопясь, раздумчиво, а командиры полков тоже спешились и тоже двинулись за ним.

Держались не у самой линии окопов, а чуть поодаль, чтобы не мешать людям работать.

Мещеряков хотел, как только окопы будут выкопаны, провести учение прямо на местности — разыграть предстоящее сражение — и потому, объясняя командирам расположение и действия их полков, то и дело повторял: «А я буду вашим противником и сделаю, к примеру, так...»

Народ, рывший окопы, на командиров — а на Мещерякова так особенно — глазел, однако работу не бросал. Даже наоборот, еще больше старался. Ни криками, ни чем другим командирам их планы обдумывать не мешал.

И Мещеряков тоже с народом покуда не заговаривал, целиком был занят своим делом, а между тем успевал заметить, как и что делается, как работа организована.

Никем не назначенные старшие и мерщики, тут же громко выкликаемые по именам и фамилиям, отмеряли для каждой артели участки деревянными саженками, действуя усердно, словно собственную пашню, или межи на покосе разбивали перед троицыным днем, они же сменяли людей, командуя одним отдохнуть, другим попроворнее орудовать лопатами. Старшие, которые оказались позапасливее других, те имели добрые охапки черенков, тут же и меняли на лопатах черенки изломанные и вообще негодные.

Слышно было, как нерасторопного какого-то старшего какая-то артель вмиг сменила — как тот никуда не годный черенок,— покричала и назначила нового. Новый старший оправил на себе рубаху и тут же велел окоп углубить, а бруствер подровнять. Правильно велел, так и надо было сделать.

Суматохи особой не было. Бабы только повизгивали кое-где в окопах — ну, это им и бог велел.

Еще объяснив командирам задачу, Мещеряков вытер платком пот со лба, провел двумя пальцами по усикам.

— Ну что, товарищи командиры? Понятная пока что задача? А теперь, я думаю, и с народом надобно перекурить. Это тоже нехорошо — все время врозь от массы держаться!— Повернулся и пошел к окопам.

Его тотчас густо народом окружили. А он любил густой народ, Мещеряков. От долгой солдатской службы, что ли, это у него было: там, в строю, всегда и справа и слева от тебя люди, и на ночевках плотненько лежишь, кому-то голову на брюхо положишь, а кто-то те-

бе — и каждый вроде на перине; перед кухней походной тоже не один толкаешься с котелком; а с семнадцатого года пошли на фронтах митинги, так писарь был у них полковой, иначе на митинги эти и не призывал, как только криком: «Набивайся, набивайся, ребята! Набились, что ли?» О вагонах и говорить не приходится — в вагонах кони да генералы ездят по счету, нижние же чины — сколько набьется и еще сверх того один комплект.

И, весело обо всем этом подумав, заволновавшись перед началом разговора, Мещеряков вынул кисет, стал закуривать трубку. Спросил:

— Ну что, мужики? И — женщины! Как решено-то вами: белых будем бить либо они нас?

Пестренький, сильно уже древний старикашка в стоптанных опорках, которые еще только один день и согласились потерпеть на тощих кривоватых ногах, подался из круга, повторил вопрос Мещерякова слово в слово и сам же на него ответил:

— Значит, так приговорено было миром — колчаков до одного унистожить.— Помолчал, спросил, и дальше:— А главнокомандующий как на войну глядить? Ему как известно?— Поджал губы, стал часто-часто на Мещерякова мигать... Видно было — постирала жизнь старикашку. Постирала в щелоке, успела за годы.

— Наша и возьмет!— ответил старику Мещеряков.— Куда мы будем годные, что такой силой — и не возьмем? Зачем и жить на свете всем народом, всем вместе? Ежели в этом силы нет — тогда лучше разбегаться кому куда!

Но старик потоптался своими залатанными опорками и еще проговорил раздумчиво:

— Пушки у его, у белого... Пушки проклятые, и, сказывают, много-о!— Почесал спину.— И каждая ноздря — снарядом заряженная!

А Мещеряков тут же спросил:

— Вам, отец, в спину однажды картечью угадывало? Было дело?

— Было!— кивнул старик весело.— До того, слышишь, было — едва живой остался!

Все засмеялись кругом, и Мещеряков засмеялся тоже, но тут и осекся: вспомнил отца Николая Сидоровича, замученного беляками. И еще подумал: он не заради одного только смеха к людям подошел. Посмеяться можно, и даже очень это полезно. Однако опасно. За-

просто можно для начала зубоскалом прослыть. После и рад будешь серьезно с народом поговорить, но на тебя уже каждый будет несерьезно глядеть.

Он хорошо знал, Мещеряков, что ему предстоит, когда к народу подходил: его сильно узнавать сейчас будут, испытывать вопросами. Имеют на это полное право.

Уже заметил он и одного и другого, кто с нетерпением ждал, чтобы вопрос перед ним поставить. Старика, конечно, все должны были уважить, старика, пестро-рыжего, обтрепанного, никто не перебивал, но это только для начала.

Высокий тощий фронтовик стоял среди других, лопатку забросил на плечо, а цигарку незажженную уже всю губами изжевал,— тот солдатским понимающим глазом на главнокомандующего щурился.

И верно, он и задал вопрос.

— Может, мы зря с тобой, товарищ командующий, оружие-то на фронте бросили?— сказал он.— Довоевать бы уже нам с немцем, после — с собственным своим офицерьем? А то случись, покуда мы на мировую революцию надеемся — союзнички наши до конца сделают нам интервенцию, еще разожгут гражданскую войну, и тут уже не только от нас, дезертиров, ничего не останется — не останется и России, и даже мирного населения. Все истребится!

«Вот и возьми его, фронтовика,— подумал Мещеряков.— Какой оказался он птицей! Нет чтобы подумать: окопы же люди делают, готовятся к смертному бою, так неужели в такой момент и вот так о войне перед этими людьми говорить?! Его очень просто можно было пресечь. Сказать: «Оборонец, гад! На фронте мнение, поди, не высказывал, там тебе, оборонцу, быстренько бы просвещение сделали, а здесь, перед гражданским населением, задний ход даешь во всеуслышание? Не нашел лучше времени и обстановки?»

Но промолчал Мещеряков, не сказал так. Подумал, сказал по-другому:

— Оружие мы нынче подняли все — и военные, и вовсе гражданское население. А почему подняли? Смогли? Потому что мы его в свое время сами же обземь крепко бросили! Бросили, мирный исход всем и каждому предложили: германцу, собственной буржуазии, самим себе. Бросили — тем самым перед всем человечеством отвергли самую несправедливую бойню — и пошли

домой к бабам, к ребятишкам своим, к пашне. Но только это наше самое справедливое действие не понравилось кому-то, поперек стало, что мы сами собою управились, за чужой интерес перестали воевать. Буржуазии это стало поперек, и она объявила об этом с оружием в руках, а что мы поняли всю ее хитроумность — так нас же обозвала предателями! Только не понимает тот громкогласный буржуй одного: который народ по своей собственной воле смог бросить оружие, тот уже сможет и обратно поднять его с земли и опять же — без офицерской команды, сам по себе и ради себя! Чтобы защитить себя и мировую справедливость! Тут — буря, от которой буржуазии спасенья нет и не будет!— И Мещеряков положил правую руку на кобуру револьвера, левой приподнял на голове папаху...

Фронтовик же задумался, другим, не сильно бойким взглядом на главкома посмотрел. Цигарку свою не жевал больше губами. Мещеряков вынул из кармана коробок, чиркнул спичкой и через головы ребятишек, стоявших в круге первым рядом, подал ему — длинному, тощему — огонек.

Ребятишки снизу вверх на главнокомандующего глядели молча, после кто-то из них спросил:

— А правда — нет: вас пуля не берет?

Все засмеялись, не засмеялся только Мещеряков, ответил серьезно:

— Шальная пуля — та действительно может в меня попасть. А прицельная — ни в жизнь!

— Это как?— уже кто-то взрослый спросил.

— Подумай головой — как?— сказал Мещеряков, а еще кто-то подал голос:

— А ежели — кишка тонкая головой-то думать?

— Да просто же,— засмеялся Мещеряков,— покуда враг в меня целится, пуля тоже подумает, как меня кругом обойти!— И показал рукой, как пуля обходит его кругом и щелкает прямо в сопливый нос какого-то парнишки.

Смеялись все, и Мещеряков тоже смеялся. Его снова спросили:

— Без шуток, как управляться нынче будем с беляками?

— Без шуток так: наши подвижные части сейчас наносят белым колоннам потери на марше. И дальше будут наносить. И к Соленой Пади, вот к этой нашей оборонительной линии, противник подойдет сильно по-

трепанный. Но этого мало, в основном мы его из силы вытряхнем своей обороной. По всей видимости, запросит он поддержки из резервов. У самого Верховного и запросит. А мы в тот момент и перейдем в решительное контрнаступление, и уничтожим его по частям: сначала главные силы под Соленой Падью, после — резервы на марше. Как раз и российская Красная Армия будет где-то поблизости, и Советская власть. Недолго останется до полного соединения.

Кто-то удивился и нараспев сказал:

— При всем народе и военные действия объяснять! Это же глубокая тайна!

— Ну, противник, поди, не дурак, чтобы этакую тайну не угадать,— ответил Мещеряков. Подумал и еще сказал: — А кроме того, я надеюсь, среди нас предателей нету. Надеюсь крепко.

— А так бывает — чтобы без предателев? Чтобы на множество людей — и ни одного бы не нашлось?

— Бывает... Это я точно знаю.— И Мещеряков не торопясь стал рассказывать случай. Из его собственной жизни был случай.— Действительную служил я на Дальнем Востоке. Вышел как-то из расположения по увольнительной, ну, и сильно выпил. После вернулся в казармы, а дневальные, свои ребята, от начальства укрыли, тепленького меня тихо провели, на нары уложили спать. Но не спится мне. Что-то сделать бы еще? И надумал: встал босой, в дежурку прокрался. Шашка там висела на стене, в дежурном помещении, темляк сильно красивый, как сейчас помню, а еще висел там портрет его величества государя-императора. И снял я ту шашку с красивым темляком, вынул из ножен и портрет — раз, два!— порубил вдоль и поперек!

Мужики в кругу ахнули, молодежь — та повытаращивала глаза молча — не знала, что солдату за такую проделку бывает. А Мещеряков развел руками и плечами пожал.

— И что я в ту пору на его величество осерчал — не помню, хоть убей! Но только — сделал. И ловко так сделал, довольный остался. Ушел обратно на свое место и уснул. Хорошо уснул... Вдруг тревога, подъем. Ну, я солдат был уже не первого года службы, хотя и после выпивки, а вскочил, оделся проворно. Построились мы всей ротой, я во втором взводе стоял и во втором же отделении. Тут выносит ротный командир портрет изрубленный, показывает всему строю и пальчиками бу-

мажки поддерживает, чтобы не распались они окончательно. Спрашивает: «Кто сделал — три шага вперед!» Молчат все. Он опять: «Кто сделал — три шага вперед!» И даже сам ножками три шага на месте отбил. Молчит рота. «Не признаетесь — замучаю всю казарму нарядами. Всех лишу увольнительных! Во всем городе и все сортиры дочиста выпростаете! Замучаю нарядами, как перед богом — замучаю!» Обратно три шага собственными ножками показывает... Ну что делать — моя работа. Выходить надо из строя, когда из-за твоей личности на всех такая участь! Я ремень на себе подтянул и гимнастерку заправил, прежде как выйти, сделать три шага, а справа и слева от меня товарищи стояли и еще позади — те шепчут: «Стой, дурень, стой, не шевелись!» Я и остался в строю. И что же, вы думаете? Сколь роту нашу по нарядам не гоняли, гоняли безжалостно, и не один месяц, и все знали, кто сделал, но ни одного не нашлось человека доказать начальству! Ни одного!.. А когда так — кто тут спрашивал, бывает без предателей или не бывает? Я думаю, ответ понятный! Особенно когда учесть, что случай этот произошел еще в темное дореволюционное время!

Мещеряков сделал шаг, круг перед ним потеснился, он еще и еще шагнул. Командиры полков — за ним. Снова пошли вдоль свежей линии окопов, вдоль тысячной цепочки людей.

Командиры слушали главкома, главком — командиров. И чутко слушал, изучал на ходу. По особой причине изучал: хотел выбрать командиров дивизий.

Дивизий в партизанской армии до сих пор не существовало, а они были необходимы.

Если на самом деле, а не просто в мечтах, армия сможет перейти в наступление на север, на запад от Соленой Пади,— на этот счастливый случай нужно свести полки в самостоятельные группы, каждая — под командованием одного командира.

И смотрел, смотрел Мещеряков: кого из полковых командиров выдвинуть нынче же на дивизии? С кем из них в самый первый раз можно вместе подумать, посоветоваться о своих планах и замыслах? Кто из них будет ему нынче первым другом, первым боевым товарищем, правой его рукой?

И он все выбирал комдива номер один и никак не мог на кого-нибудь окончательно глаз положить.

Но тут случилось одно обстоятельство. Неожиданно случилось.

Мещеряков со своими командирами двигался вдоль окопов накатанной дорогой, а вот чуть дальше в моряшихинскую сторону был проселок, из бора выходил — там вдруг появились верховые.

Кто, откуда — сперва было непонятно, потом Ефрем заметил, что хотя едут верховые не быстро, но весело как-то, бодро, а еще спустя время он узнал в переднем верховом Гришку Лыткина, и все ему стало ясно, и даже испарина его прошибла...

Нынче утром, чуть свет, Мещеряков послал Гришку навстречу Семену Карнаухину, вернее сказать — навстречу Доре. Через свою недавно налаженную, но уже достаточно надежную армейскую связь было известно, что Дора благополучно отсиделась в стогу и под охраной карнаухинских эскадронцев нынче должна достигнуть Соленой Пади.

Гришке и наказано было — встретить Дору в бору, эскадронцев Карнаухина отпустить, а самому тихомирно, незаметно для лишних глаз, бором же сопроводить Дору в село, в избу Никифора Звягинцева.

А Гришка, мерзавец, что сделал? Карнаухина с эскадронцами не отпустил и окольной дорогой бабу не повез, а двинулся всем отрядом прямо на позиции, прямо на Мещерякова! Решил удружить!

Только что не с обнаженными шашками по открытому полю двигался объединенный лыткинско-карнаухинский отряд, а тысяча людей на него из окопов, с жатвы, отовсюду глядела и дивилась...

Ефрем остановился, сказал командирам будто между прочим:

— Ведь это, однако, баба моя следует с ребятишками! Однако, она!— Постарался и даже весело это сказал. Стал ждать, когда улыбчивый Гришка, и вовсе смущенный Карнаухин с эскадронцами, и сама Дора в бывшем кузодеевском рессорном тарантасе приблизятся к нему.

Закинул руки за спину и встал, первый взгляд Доры хотел своим взглядом перехватить, чтобы она сразу же все поняла.

Но Гришкина улыбка едва ли не весь отряд заслоняла — ехал Гришка намного впереди других, шапка набекрень, на боку — настоящий кольт, хотя и без патронов, но настоящий,— ухитрился, стервец, снять оружие

с убитого польского легионера еще под Верстовом. Конь под ним блестит, сам Гришка — тоже... Уже следом, вторым эшелоном, ехал всегда молчаливый, застенчивый Сема Карнаухин со своими эскадронцами.

А уже сама Дора — та была позади всех...

Сперва Ефрем косынку заметил, под изгибом тонкой дуги чубатого коренника — лиловые на розовом поле цветочки.

До чего они выцвели, до чего поблекли те цветочки, если Ефрем не сразу их узнал?!

Розовенькое личико младенца мелькнуло на миг и белесая Петрунькина головенка, но ее заслонила крупная фигура верхового эскадронца, потом снова, но теперь уже сбоку от дуги, показалась Дорина косынка и лицо под нею. Какое там лицо — глаза одни, и ничего больше!

А когда Дора наконец вся стала видна, Ефрем поглядел на нее строго, все, что нужно было взглядом сказать — сказал.

Она поняла.

Есть ли бог, нет ли его — точно неизвестно, но если все ж таки бог существует, то бабой он Ефрема не обидел: ни единого лишнего слова Дора не обронила, из тарантаса навстречу ему не кинулась.

Петрунька, тот, верно, к отцу подбежал, но парнишку отец мог и по головенке потрепать, так нужно было — не чужую семью он встретил, раз уж встреча произошла.

Когда же и Наташка кинулась было к отцу, Дора около себя ее в тарантасе удержала, придавила. Наташка изменилась в лице, чуть не заревела в голос. Дора чуть не заревела тоже, но удержалась и спросила:

— Как живешь-то ты тут, Ефрем? В Соленой-то Пади?

— К сражению с белыми готовимся вот всем миром. Так вот и живем. Все так и живем...

— А сам-то? На здоровье не жалуешься?

— На здоровье не жалуюсь. Да ты поезжай в деревню, Дора. Там тебе квартира определена, хорошая квартира. Григорий вот Лыткин и проводит тебя, он знает, куда и как.

— Я поехала, Ефрем. Я поехала и обед тебе на квартире сготовлю, покуда ты тут страдуешь...

Дора двинулась в деревню, Ефрем с командирами — дальше, вдоль позиций. Без женских слез обошлось, слава богу, дело. Без лишних и даже нелишних слов.

Отлегла нежданная тревога. Только отлегла, как поблизости крупного березового колка Мещеряков приметил какую-то особую обстановку: шалаши там стояли аккуратно в один ряд, ровная линия окопов была выкопана, и, видать, уже выкопана довольно давно — земля на бруствере успела подсохнуть, была неяркой, серой. Стали ближе подходить — что такое? Что за предметы? А это чучела были. Форменные чучела, из хвороста сплетенные и в деревянные бруски вставленные. Как на военном настоящем плацу, по которому солдаты первого года службы с утра до ночи бегают с криком «ур-ра», с винтовками наперевес и колют для практики чучела примыкаемыми четырехгранными штыками образца 1893 года.

В колке была расчищена линейка, как положено в лагерях,— аршина на три шириною, а длиной так сажен, верно, на пятьдесят; в одном месте линейка была даже присыпана желтым песочком, и здесь Мещерякова и всю группу командного состава встретил дежурный по части.

Отрапортовал:

— Товарищ главнокомандующий! Товарищи прочие командиры доблестной партизанской красной народной армии! В расположении полка Красных Соколов весь личный состав в наличности, а происшествиев нету! Дежурный по полку — Галкин!

К Мещерякову все его командиры разом обернулись — ждали, как он в данном случае поступит. Кто-то не выдержал, высказался даже раньше главкома:

— От это порядочек! Как в той, в царской, в кулачной армии! Очень просто перепутать можно и заместо белого офицера красного партизанского командира стрелить!

Мещеряков на этого нетерпеливого глянул, но ничего ему не сказал, дежурному, товарищу Галкину, скомандовал: «Вольно!» Обратился к своим сопровождающим:

— Кто тут из вас соколами этими командует? Ты, однако?

— Я!— ответил один из командиров.— Я — командир полка Красных Соколов Петрович!

— Кто-кто? — не понял Мещеряков. — Фамилию у тебя спрашивают, а ты по-деревенски отчество свое называешь!

— Такая фамилия — Петрович!

— По имени?

— По имени — Павел.

— Получается — Павел Петрович! И ничего тебе более не надо, даже отца родного?

— Шутка природы, товарищ главнокомандующий, — ответил Петрович. — По расположению полка проследуем?

— Проследуем.

— От это пор-рядочек! — опять сказал нетерпеливый командир. Это был комполка двадцать четыре. — Погоны у их тут, у соколов, не навешаны ли на плечи? Глянуть бы! Давно уже не видел, с осени семнадцатого года!

— А вот возьмешь белых офицеров в плен — и погляди погоны! — ответил командир Красных Соколов. — Погляди, если соскучился. — Зашагал рядом с Мещеряковым, поясняя на ходу: — У нас полк сводный — рабочая прослойка из города, точнее — шахтеры с Васильевских рудников, из местных жителей небольшая часть, две интернациональные роты мадьяр, один взвод сознательных чехов — перебежчиков на нашу сторону, больше взвода латышей. Латыши частью местные, а еще пришли из России для защиты первой Советской власти от белых, эсеровских и прочих войск еще доколчаковского периода. Еще при нашем полку действуют постоянные курсы командного состава — один выпуск уже произвели, около ста человек подготовили в течение полутора месяцев. Нынче снова готовим контингент самых благонадежных и политически развитых. Сами понимаете: при такой пестроте и при таких задачах без особой дисциплины нам невозможно. Без нее наше существование как воинской и революционной единицы попросту может быть поставлено под вопрос.

— Не торопись! — проговорил Мещеряков. — Я все твои объяснения должен взять в память!

Подошли к расположению интернациональных рот, и на ломаном русском языке, но четко и по всей форме им снова рапортовал молоденький чернявый мадьяр, а роты, построенные чуть поодаль, приветствовали их громким «ур-ра».

Строгие были все ребята и «ура» кричали серьезно, строго.

«Ты гляди-гляди, Ефрем, какая у тебя армия! — думал про себя Мещеряков. — Сколько в ней народов!»

И латыши тоже крикнули, немного их было, а крикнули хорошо.

А Петрович все показывал и объяснял. Показал полковую кухню, санитарный пункт, цейхгауз, вкопанный в землю и с маленькой избушкой для писаря, в которой писарь вел строгий учет полковому имуществу и каждый божий день подавал рапортички о наличии этого имущества самому командиру полка. Смотрели учебные снаряды, поделанные из свежих березовых бревен, и учебную пушку с разбитым стволом.

Смотрел Мещеряков и на самого Петровича — кто такой? Действительно, самой природой созданный командир дивизии? Царский недобитый офицер? Ходит быстро, четко, хотя и не совсем военным шагом, говорит негромко, но за свои слова не боится. В очках. Ростом заметно пониже Мещерякова, не белый и не рыжий, чуть с проседью, но такие не седеют и в шестьдесят.

— Ну, а скажи ты мне, шутка природы, товарищ Петрович, сильно строгий порядок — тоже ведь плохо? — не то насмешливо, не то серьезно спросил Мещеряков, чувствуя, как слова эти задевают всех командиров.

— Почему? Как это ты понимаешь собственный вопрос, товарищ главнокомандующий? — не ответил, а тоже спросил Петрович, сощурившись строгими глазками. — Почему?

— Радости нету, и не в крови он у нас, у русских, сильно строгий порядок. Особенно нынче. За свободу воюем, а для самих же себя свободы явная недостача! Скучной и вшивой войной мы сыты уже вот так! Она хуже каторги! Повоюем теперь от собственного сердца, весело и лихо. Без колючей проволоки, без генералов, без солдатской суточной пайки. Давно уже пора народу таким образом за себя самого повоевать. И еще учти — революция все ж таки по порядку не происходит. Ее в дисциплину не загонишь, нет! Распиши всю революцию по диспозициям, составь ей строгий план, сроки назначь, когда и что должно случиться, — от ее ничего не останется. А впрочем, — сказал Мещеряков, — давай глядеть на практике. На чем же ты дисциплину красных соколов строишь?

— На сознательности.

— Сознательность — на чем?

— На знаниях. На знании каждым солдатом общей цели и задачи. Чтобы от нее он воодушевлялся, чтобы именно от нее он воевал и гордо, и весело, и лихо.— И Петрович весело, громко засмеялся.

— Ну вот, к примеру, я и есть тот самый каждый солдат. Как ты мне будешь всеобщую цель и задачу объяснять? А вместе с тем собственную мою дисциплину?

Комполка двадцать четыре хихикнул. Глянул на Петровича, тоже спросил вслед за Мещеряковым:

— Ну, ну? Вот именно!

Петрович прибавил шагу и сказал:

— Выдумывать не будем. Будем знакомиться в подробностях. Как поставлено, как делаются первые шаги. У нас для этого составлена инструкция. Так и называется: «Инструкция по духовному воспитанию солдат». Она не только составлена, но и тщательно изучается.

Стали знакомиться...

На небольшой полянке сидел, по-татарски поджав под себя ноги, целый взвод солдат, красных соколов.

Один, стоя во весь рост, читал по бумажке, а все его слушали. Потом вызывались охотники повторить прочитанное.

— «Наша цель,— прочитывал старший со всем старанием,— свобода, братство, равенство. Поэтому каждый солдат должен быть сознательным, вежливым, корректным, как по отношению своих товарищей, так и гражданского населения. Любовь к людям, сострадание и помощь беззащитным должны проглядывать в каждом действии солдата».

Повторили пункт в один голос, старший объяснил, что слово «корректный» вовсе не отличается от другого слова — «вежливый», потом спросил: кто теперь без подсказки, а вполне самостоятельно может пункт еще разъяснить? Охотников оказалось множество, и старший дал слово одному, который громче других кричал, что все запомнил и понял.

Но на самом-то деле этот товарищ солдат не слишком оказался способным, слово «корректный» так и вовсе не смог произнести — закаркал.

Мещеряков немножко засомневался в старшем: правильно ли он объясняет, будто слово «корректный» и «вежливый» обозначают одно и то же? Кому бы и за-

чем это понадобилось — два одинаковых слова ставить рядом, бумагу напрасно переводить? У него мелькнула мысль, что «корректный» может обозначать «точный» либо «правильный», поскольку для точного и правильного артиллерийского огня всегда необходима корректировка.

Следующий пункт инструкции был такой:

— «В нашей армии, как среди самих начальников, так и среди солдат, сильно развито сквернословие. Наш русский язык настолько богатый словами и выражениями, что вполне можно обойтись без слов и мыслей, которые неприятно действуют на слух порядочного человека. Нужно всем сознательным социалистам стремиться не употреблять сквернословия в разговоре».

Мещеряков подозвал своих командиров ближе и тихо, строго сказал им:

— Они вот нынче выучатся — рядовые солдаты, поймут, как надо, а назавтра вы, командиры, приходите к ним и перед строем во всеуслышание провозглашаете: «...в бога мать!» Учтите, товарищи командиры,— чтобы отныне ни в коем случае такого не было! Понятно?

— «Каждый солдат должен охранять и беречь народное хозяйство, а также строго следить за лошадьми и отнюдь не злоупотреблять ими,— читал между тем старший.— Каждый должен помнить, что это его собственность в отдельности и в общем — собственность всего народа. Каждый член семьи бережет свое хозяйство, а мы все представляем из себя членов общей народной семьи. Кроме того, мы должны развивать в себе жалость и любовь к животным».

И опять Мещеряков строго поглядел на своих командиров, а те поглядели на него: никто уже не озирался сердито на Петровича. Комполка двадцать четыре заметно притих...

И Мещеряков тронулся было дальше, но Петрович показал рукой, чтобы командиры еще постояли на месте, еще задержались, а сам приказал старшему:

— Давай пункт девятнадцатый! Покуда мы еще здесь — давай!

Девятнадцатый пункт и солдаты, и командиры, и главнокомандующий слушали с особым вниманием.

— «Чтобы победить капитал и быть свободными, мы должны иметь сознательную, убежденную добровольческую армию. Сознательный человек всегда знает, за что идет и что ожидает его в будущем. В борьбе он не

считается ни с чем. Сознательность — это условие дисциплины, товарищества, дружбы и любви друг к другу. В этой товарищеской дружбе, в этой связи между собой — наша сила навсегда!»

Командиры поглядывали на Мещерякова, тот сказал:

— Исстрадался народ по человеческому! За века — исстрадался.

Но командир полка двадцать четыре все еще не оставлял до конца своей точки зрения.

— Занятия занятиями,— сказал он,— только при чем здесь рапорты и линейки? При чем цельная контора при цейхгаузе? Каждая шелудивая пара сапог находится под замком и под печатью писаря? Тут явное противоречие у красных соколов: когда они такие сознательные, то и бояться, что эту пару сапожонок кто-то сопрет,— им тоже не следует. Это для темного дореволюционного мужика либо для врага-буржуя необходимая мера, а для социалиста она есть не более как надругательство!

— А что же,— вдруг согласился Петрович,— что же, это твое замечание, товарищ комполка двадцать четыре, учтем... Это замечание не в бровь — прямо в глаз!

Мещеряков сказал:

— Покуда, товарищи, хватит наших общих толкований о предстоящем сражении с ненавистным врагом. После я снова соберу всех вас вместе, выслушаю мнения... А пока — подумайте.

Командиры ушли, последним как-то неохотно ушел комполка двадцать четыре.

Мещеряков и Петрович остались один на один...

Сели на стол для чистки стрелкового оружия, поделанный не из досок, а из жердей, отесанных на одну сторону.

Посидели.

За деревьями где-то рядом кто-то по-настоящему, по-фельдфебельски, командовал:

— На обед — ста-а-новись! Живо!

Послышался ретивый, дружный топот, потом — снова команда:

— Ша-а-гом...— ложки взяли?— арш!.. Правое плечо — вперед!

— Ну,— сказал Мещеряков,— объясни-ка, Петрович, шутка природы,— с чего ты все-таки свою дисциплину в полку начал?

Петрович, умостившись на столе, сказал:

— Начал с того, что без нее мне нельзя. И только с ней можно. Ты же сам только что говорил: революция — дело народное. Ну, а кто пришел нынче в революцию и в полк Красных Соколов? Объяснял уже — мадьяры, шахтеры. Соленопадские мужики. Эти — революционеры до мозга костей. Но есть и другие — более роты штрафников, осужденных трибуналом за преступления против революции, вчера амнистированных по причине слияния партизанских армий. На прошлой неделе прибыли кулаки, прямо-таки капиталисты — кожевенные предприятия имеют, лесопилки, мельницы, пимокатные заведения — и тоже воюют за Советскую власть!

— Откуда этих-то взял?— удивился Мещеряков.

— Как бы брал... У них у многих Колчак сильно разорил хозяйство. Кто поумнее, видит — колчаковская власть против народа не устоит, разбой это и вообще никакая не власть. Вот они и захотели вовремя с народом встать в ногу. Некоторые есть — в прошлом году уничтожали Советскую власть, а Колчак пришел, на словах им — спасибо, на деле — разоряет. Они схватились за головы и вместе с заядлым казачеством нет-нет — приходят к нам. Восстановить себя в наших глазах. Есть случаи — хозяин нанимает батрака, оставляет его дома и сам идет в партизаны. Воюет неплохо, ему так и надо — он свою вину чувствует. Вот как по-разному воюют люди и даже проявляют героизм.— Покрутив за дужку очки, Петрович вдруг спросил:— Ты, командарм, в главном штабе заседал?

— Было. А что?

— Подписал протокол объединения армий?

— Было. А это и тебе все известно, товарищ Петрович?

— Мне известно... Я ведь тоже член главного штаба. Только сейчас вот — укрепляю полк...

— Тогда понятно!

— Зато мне не все понятно, товарищ Мещеряков... Ты — заместитель начальника главного штаба по военным вопросам. Как со штабом знакомился? Ты что же — военный спец, и только? Что и как главный штаб делает — тебя не касается и касаться не будет? Не вникаешь? Уходишь от руководства гражданскими делами, да? А ведь мы, когда выбирали главкома, помнили, что ты член партии, вступил за два месяца до Октября. Что

ты — душой за народное дело и требования революции всегда поймешь, немедленно исполнишь.

Мещеряков это все выслушал, подумал и сказал:

— Вот, товарищ Петрович, история: только человека стало побольше других видать — на трибуну он залез или во взводные вышел,— он уже за себя не толкует, толкует за народ. Народную волю выражает либо народный гнев и суд, до чего бы ни довелось — везде у него самое народное. Колчак, гад, и тот объявляет: «Мы — народ...», «От имени народа...», «Ради народного счастья...» Но ты скажи, товарищ Петрович, как это на себя взять: прийти в главный штаб, вот как я пришел, и тут же заговорить от народа? Не умею. Не научился еще. Как-никак научился воевать, но не более того. И знаю, на что я способный, что могу, что — нет. Не надо, слушай, товарищ Петрович, обмана, будто мы можем все. Не надо! Проще нет — сделать обман, куда труднее его не делать. Не мешай его не делать!

Петрович веточкой березовой с единственным листочком поиграл...

— Ты уже сейчас о чем мечтаешь, товарищ Мещеряков, не на Курейский ли край своей деревни забиться? В свою избу?

Мещеряков прикрыл глаза, сказал задумчиво:

— Стал уже ее забывать, за войной этой, свою избу. То вспомнится она во всей подробности, а то на день цельный забудешь, откудова ты сам происходишь, где твой дом родной... Где твоя пашня... Где сенокос... Однем словом — где что... Теперь скажу не более того, что знаю: восстановим Советскую власть — она с умом будет дальше делать, и не хуже меня, а несравненно лучше, потому что первый шаг, первая победа для того и делается, чтобы самое лучшее пошло в ход!— Мещеряков примолк, глянул на Петровича и вдруг очень строго спросил у него:— Вот еще что! Вижу-то я тебя первый либо второй раз, не более того. Кто ты такой?

Петрович чуть замешкался. Мещеряков еще требовательнее спросил:

— Какого года рождения, товарищ командир полка?

— Тысяча восемьсот семьдесят шестого, товарищ главнокомандующий!— ответил Петрович и встал — руки по швам.

— С какой местности?

— Из Нижнего Новгорода!

— Теперь скажи, сколько же лет ты находишься в военной службе, товарищ комполка? Если взять в сумме — сколько лет?

— Нету у меня никакой суммы, товарищ главнокомандующий! — ответил Петрович.

— То есть как? Что же ты служил в своей жизни: год, два, три или десять?

— Три месяца был на германской, три — в рабочем красногвардейском отряде, два — в партизанской армии. Все!

«Ах ты варнак!— сердито подумал Мещеряков.— Тоже мне командир и допросчик — испытывает главкома!»

Не стал дальше Петровича о его жизни расспрашивать. Отложил на после когда-нибудь. Вздохнул и сказал:

— А ведь я что надумал нынче? Надумал свести полки в дивизии, после на совещании командного состава проголосовать кандидатуры комдивов. И — твою кандидатуру.

— Ну, это нехорошо, товарищ Мещеряков! Я же тебе говорю: опыта нет...— сказал Петрович.— Боевой опыт недостаточный.

— Отказываешься? А ежели революция требует, чтобы ты стал комдивом? Ты что же — это требование не исполнишь? И — не поймешь?

Но не сердито сказал это Мещеряков Петровичу. На белесовато-рыжего этого человека он ничуть не сердился. Он задумался...

Задумавшись, пошел к месту, где оставался коновод.

В обратном порядке миновал дорогу, на которой встретился нынче с Дорой, миновал боковую линию окопов, несуразную, никому не нужную, может быть — даже вредную, но выкопанную народом так же тщательно по приказу товарища Брусенкова.

Народу страдовало, пожалуй, даже больше, чем до обеда, только сдвинулся он в глубину полей, хлеб убирался теперь не только на той местности, где предстояло разыграться сражению за Соленую Падь, но и на дальних подступах к этому полю. Где-то там все ложилась пшеница в горсти, в валки, и вязали ее потные, горячие бабы с подоткнутыми подолами домотканых юбок, охрипшие мужики погоняли лошадей в косилках и самосбросках, метали снопы на подводы, и подводы, груженые и порожние, текли в разные стороны — одни

медленно, а другие быстро — пыльными дорогами-большаками, невидимыми проселками, просто без следа — по стерне.

Кипел народ, как будто бы вот-вот уже должно было заняться сражение, кони ржали громко, тревожно и в то же время торжественно, в сентябрьски синем небе таяли последние обрывки белесой дымки, и плыли своими путями крутые чуткие облака. Будто знали о близкой и дальней судьбе всех этих мужиков, баб, и ребятишек, и коней, но до поры спешили унести за горизонт свои тайны.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Не так уж большое число «отцовщины» — многосемейных хозяйств — оставалось нынче, совсем не то, что лет двадцать тому назад, а тут все еще стоял посередке Звягинцев Никифор Захарович, а вокруг него, тесно одна к другой, — семьи пятерых его сынов.

Свою собственную немудреную избу Никифор Звягинцев ладил чуть ли не сразу вслед за первым насельником здешних мест Силантием Дитяткиным, то есть лет сорок тому назад, и в этой избе, которая называлась «первой», «старой», а который раз «старьем», он жил до сих пор с женой Елизаветой. Сильно уже хворая была Елизавета, с разбитыми давней болезнью ногами.

А далее к первой избе в разные стороны пристраивали сыновья горницы, кухни и сенцы — Кешкина, Кириллова, Семенова, Левонтьева и Юрьева половины, пять сынов — пять половин.

Однако к нынешнему времени был уже сильный недочет мужиков: Иннокентий погиб на войне еще в начале пятнадцатого года, с середины шестнадцатого затерялся где-то в австрийском плену Семен, до сих пор неизвестно было, живой человек или уже мертвый; Юрий — тот служил нынче в разведке партизанской армии, только изредка наезжал домой.

Женщин же — мужних и вдовых, невест на выданье и девчонок — имелось на ограде душ пятнадцать. Никифор Захарович, памятливый на каждый гвоздик — в бабах путался, кричал какую-нибудь одну — прибегала другая, он ругался, обзывал неповинную и так и этак. В другой раз кричал без имени: «Бабы!» — их прибегало много либо ни одной. Он ругался еще пуще.

Несмотря на войну, на то, что мужиков был недочет, под строгим глазом Никифора Захаровича хозяйство и в последние годы заметно шло в гору. Звягинцевский земельный отруб обширный, с тремя пашенными избушками, с пригонами, с земляной банькой и погребушкой — был под самой гранью с Протяжным, верстах в двенадцати от Соленой Пади, а чаще звали тот хутор по-сибирски — заимкой. Почвы были в отрубе добрые, еще новые, требовали пота, но не скупились на урожаи.

И давно уже стала перед звягинцевским двором задача: выселиться из села на отруб совсем.

Помирал ли кто у Звягинцевых или нарождался — об этом помнили недолго. О заимке помнили всегда — гадали, решались будто бы окончательно переехать, построить жилье и правдишную баню, а потом снова раздумывали. Выселиться, сделать на заимке все новые постройки, вплоть до собственной кузни — хватило бы сил, но страшно было.

Страшно и непривычно бросить деревню — соседей, замужних дочерей, дядьев, сватов. Страшно было остаться без мира. Страшно заглядывать вперед, а помрет Никифор Захарович, кто останется в хуторе за главного? И глядели братья Звягинцевы друг на друга, гадали — смогут ли жить миром без отца, которого они иной раз и не сильно даже уважали, над которым то и дело посмеивались? Пуще того вздыхали вдовы: им-то что за жизнь будет, если они в хутор выселятся, а Никифор Захарович возьмет и помрет? Под чьим началом они тогда останутся?

Уже который год все ждали окончательного слова Никифора Захаровича. А он ждал смерти жены своей Елизаветы — та при жизни никак не хотела покинуть село,— ждал конца войны, возвращения затерявшегося в плену сына Семена, ждал новой власти, чтобы уже при ней поглядеть на свое семейное дело, прикинуть умом, что она-то ему скажет, ждал и ждал, не зная, дождется ли.

Никифор Захарович был человек своеобычный — что знал, то знал твердо, раз и навсегда, чего не знал — так и знать не хотел, все незнаемое презирал, а тут выпала ему такая немыслимая задача!

И не зная, как решить, как сделать, он со зла, что ли, пуще въедался в каждую мелочь обширного хозяйства, запоминал в нем каждую щелку, каждый предмет.

Чтобы у Звягинцевых были неполадка, недосмотр, чтобы они выехали со двора без дегтярной баклажки, либо на пашне побежали к межевому соседу за солью, либо нечем у них было связать, приколотить, приладить — этого не случалось.

Зато к Звягинцевым соседи налаживались за тем, за другим и со своей улицы, и чуть ли не со всего озерного края деревни.

Никифор Захарович не отказывал, только ругался, прежде как дать. От него терпели — он не вредно ругался, не злопамятно. К нему надо было не просто так подойти и поклянчить, а проведать о здоровье, похвалить за хозяйскую ухватку, пригласить когда-нибудь на после в гости.

Гость — это было для него слово святое, чудотворное. Побывавши в гостях, Никифор Захарович заметно молодел, принявши гостя, говорил, что ему отпущено теперь немало грехов. С гостями был нежен, тих, разговорчив до крайности.

Случалось, днем, а то и с утра, в самый разгар домашней работы, когда на общей кухне стоял звон чугунов и бабы творили пищу людям, скотине и птице, торопясь, кормили грудями младенцев, а младенцы на это краткое время замолкали, а скотина и птица все продолжали и продолжали рвать души воплями, требовать баб к себе на ограду — в это время в кухонный чад и пар торжественно вступал гость.

Не глядя ни на одну из баб, гость скидывал шапку и спрашивал о здоровье «самого».

«Сам» выходил из горницы навстречу, спешно пряча под кровать какой-нибудь ремонт, которым был занят почти что всегда — хомут ли, обувку ли с чьей-то ноги, шапку-ушанку, а то и старый-престарый, будто бы уже заброшенный пиджак — не было ведь такого предмета, до которого у «самого» руки не доходили бы. Выходил, в пояс кланялся гостю, провожал его в первую избу.

Тут, должно быть, углядев в окошко, что к Никифору Захаровичу кто-то проследовал, спустя время являлся и еще один гость, кто-нибудь из соседских. Потом уже, неизвестным чутьем угадывая час, прибывали старики с лесного края, с увалкиного, со всей Соленой Пади и даже с выселков и заимок.

Бабы от корыт бросались к сковородам, пекли блины; приветственно встречаемые скотиной и птицей, выскакивали на ограду, рубили головы попавшимся под

руку курам либо уткам. Никифор Захарович, налившись внезапной злобой, понукал баб пуще и пуще, иной раз не стесняясь гостей, говорил им непристойные слова, торопил, будто в доме что-то горело.

Бывали гости — у них хватало совести без стеснения намекнуть, что погода нынче ладится под пельмени, а готовых в доме не оказывалось, тогда уже дело не обходилось без жалостных бабьих слез, без проклятий хрычевским посиделкам, но посидельцы от этого аппетита не теряли — дожидались, покуда будет замешено тесто, нарублено мясо, наделаны и даже чуть приморожены пельмени, потому что без приморозка, опущенные прямо в кипяток, они не имели того вкуса.

Звягинцевские мужики в этих посиделках участия не принимали, не выходили еще возрастом, а, зайдя в первую избу, пригубив для порядка и поздоровавшись с каждым старцем за руку, сказывались сильно занятыми по хозяйству.

А посидельцы коротали время допоздна, дальние — оставались который раз ночевать, ближние — уходили сами, средних полусонные внучата Никифора Захаровича развозили по домам в кошевке, иногда в розвальнях.

О чем шли между стариками речи и разговоры — заранее известно: вспоминали за сорок прошлых лет урожаи, цены на пшеницу и на овес, вспоминали и людей — урядников, волостных старшин и писарей, своего крестьянского сословия тоже не забывали и, даже был случай, вспомнили всех бабок-повитух, долго не могли сойтись, кто из бабок лучше всех принимал.

Уже перед концом выясняли, по какому же все-таки случаю собрались: или это был день какого-то неслыханного святого, или поминки старца, усопшего столько-то годов назад, или еще что. Выясняли сторожко, никто не хотел быть незнающим-непомнящим. Никому не хотелось признаться, что собрались просто так, безо всякой на то причины.

Еще у Никифора Захаровича была привычка — до последней минуты молчать, не сказывать, если он заранее ждал к себе гостей: в хорошем дому гость любого часа — не помеха. А кто гостя боится — это, значит, дом непутевый, нерадивый! Неправедный!

И как только замечалось — Никифор Захарович листает календарь и вышептывает что-то губами,— ба-

бы начинали на него пугливо поглядывать, загодя готовить пельмени...

Из всех баб только одной Верке удавалось иногда выведать у Никифора Захаровича предстоящий гостевой день и даже, бывало, спровадить в гости его самого.

Верка была в доме особенная — никому ни жена, ни дочка, ни внучка.

Ее, Верку, взяли в дом лет десять назад по мирскому приговору: тифозная болезнь подкосила тогда людей, оставила сирот, мир и сделал сиротам раскладку. Звягинцевым по раскладке досталась Верка.

Звали ее в доме Веркой-шапошной, потому что из шапки мужики на сходе тянули в свое время жребий — кому кто из ребятишек-сирот достанется, а Никифор Захарович вытянул из той шапки махонький такой кусочек бумажки трубочкой, а развернув трубочку, прочитал корявые, неказистые буквы: «Верка-рябая осьми годов», сердито сплюнул и в одну свою огромную ладонь захватил этот бумажный лоскуток, в другую — тоже крохотную Веркину ручонку и привел Верку к себе в дом на постоянное жительство.

Называл он ее то и дело заразой, но к заразе этой раньше других привык, за быстроту, за смышленость едва ли не всем бабам на ограде ставил ее в пример.

Теперь она вошла в невестин возраст, и Звягинцевы без слова справили бы ей какое-никакое приданое, но только на редкость некрасива была Верка: рябая, плоский широченный нос, чуть только не вплотную к носу — тоже будто раздавленные, мясистые губы.

И веселая была Верка, и смышленая, и работящая, и голосистая, но вот одна беда: не невеста.

Покуда она этого до конца еще не понимала и гляделась с другими звягинцевскими девками в зеркальные осколки, гадала с ними вместе, а те ее зачем-то подхваливали, прочили хорошего и самого красивого жениха. Она за эти похвалы который раз и спроваживала из дома Никифора Захаровича. Ей одной это удавалось, больше никому.

Она это делала на ходу, торопливо — с каким-нибудь чугуном останавливалась перед «самим», хлопала недоуменно глазенками:

— Ах, дура-то я, дура! Никифор Захарович, едва не забыла: встрела нонче Епиханова Ивана Ивановича — наказывал вам кланяться.

Дальше Никифор Захарович уже спрашивал сам:

— Об здоровье справлялся?

— Ну как же!

— Об занятии? Что поделывает Никифор Захарович?

— Сильно много выспрашивал.

— А ты?

— Объяснила — с утра до ночи в хозяйстве.

— Не сказывал, что давно у нас с им не было встречи?

— Будто бы... Да я уже и забыла, Никифор Захарович, но будто бы сказывал он это!

Никифор Захарович надевал чистую рубаху, который раз — фабричный пиджак и шел в гости к древнему, уже беспамятливому Епиханову.

Но это редко удавалось.

Слишком уж любили соленопадские старики звягинцевскую ограду: «Звягинцевым, им — что? У их баб — ровно курей на насесте, в любую минуту управятся принять!»

Бабы же опять виноватыми и оказывались.

«Самому» же — гордость. Самому было шестьдесят шесть. Возьмется метать в стог — сыновья едва управляются принимать и мостить, а гостями его уже были старцы за восемьдесят — самые что ни на есть почтенные. И похоже, предстояло Никифору Захаровичу походить в мирских стариках, в лучших людях, с добрый десяток лет.

Конечно, если только не уйдет весь звягинцевский род на хутор.

И бабы звягинцевского дома, вынянчивая никифоровских внучат, внушали им:

— Погодь вот! Попластаешься еще перед дедом-то! Повдоль, а еще — поперек!

В пятницу уже с самого утра Никифор Захарович стал неторопливым и задумчивым. Много молчал.

Бабы присмирели — пельменей у них не было, негде было их еще морозить, прошлогодний лед в погребушке стаял, нынешнего еще не было — стоял сентябрь месяц.

А может, он грибного пирога запросит, Никифор Захарович, либо вчерашних щей? Ворчал же в завтрак, что щи слишком нынче свежие, невыстоявшиеся.

Бабы заметили почти что правильно — в полдень Никифор Захарович сказал:

— К нам нынче прибудут на постой супруга самого главного партизанского командующего товарища. С детками. Конечно, и они сами будут к собственной супруге. Чтобы быть порядку. Это же, по-прежнему,— как сам уездный начальник и даже губернатор. Чтобы быть порядку.— Поглядел на оторопевших баб и крикнул: — Ну? Глаза-то вылупили, будто на идола!

Тут бабы заспорили, на чью половину лучше всего поставить квартирантов. Никифор Захарович крикнул:

— Цыть! Оне будут стоять на Семеновой половине!

Но в тот день супруга главнокомандующего еще не явилась, явилась лишь на следующий день, когда прибранный, причесанный звягинцевский дом уже устал от ожидания и нетерпения, притих, и люди слонялись в доме какие-то полусонные, безразличные, все забывали, не боялись даже криков порядочно осипшего Никифора Захаровича.

Никифор Захарович полагал, что если запаздывает с прибытием супруга, так сам главком заранее навестит квартиру, поглядит, как в ней и что. Но главком, было слыхать, ночует в своем армейском штабе и даже вестового не прислал обсмотреть, как подготовлено помещение.

И не сразу все поверили событию, когда Верка в чьих-то мужицких сапогах протопала от общей кухни до первой избы и вроде того, как кричат «Горим, пожар!» — завопила:

— Прибыли! Прибыли! Батя, Никифор Захарович, айдате навстречу!

— В самом деле, что ли?— хватился Никифор Захарович, торопливо натягивая не с той руки фабричный пиджак. Он уже начал было думать, что ни сам главком, ни супруга главкомовская в его дом не встанут.

— Ну как же, в самом деле!— объясняла Верка.— Она-то уже в годах и в господском коробке, внутре, а он — ну вовсе молоденький и сам на козлах. До крайности вооруженный!

К воротам успели все.

Впереди Никифор Захарович, сын Юрий, разведчик при штабе партизанской армии, после конного рейда в тыл противника отдыхавший нынче дома, за Юрием — еще пуще порябевшая Верка, за Веркой — несть числа баб и ребятишек.

Бабка Елизавета, и та едва передвигая разбитыми ногами, опираясь на плечи двух внучек, выползла на

крыльцо, стала креститься на белый свет, кого-то благословлять.

Соседи глядели через прясла, а улицей легкой рысцой два каурых влекли крытый рессорный возок, за возком — порядочную и шумную орду мальчишек, каждый, толкая других, норовил вдарить кулаком по рессоре.

Когда с улицы возок стал заворачивать в распахнутые ворота, Верка снова не выдержала:

— Нет, глядите, молоденький-то он до чего, главный командующий!

Юрий дернул Веркину косу.

Верка поперхнулась, налилась слезой.

— Дура! Дура и есть — это же вестовой, служка при главкоме, не более того! Молчи, дура! Это вовсе не товарищ Мещеряков, а товарищ Гришка Лыткин — ординарец его!

— Вот срамота-то, Верка эта! Вот ведьма рябая! — изумился Никифор Захарович вполголоса, но тоже покраснел сквозь бороду, усы и брови.— Ешшо бы малое время — какой мог случиться из-за ее конфуз! И срам!

Спускаясь на землю, минуя непослушной ногой приступку возка, жена главнокомандующего партизанской армии Дора Мещерякова чувствовала, будто ее приняли за кого-то, кем она никогда не была. Ей хотелось объяснить всем этим людям, что они обознались, но и этого слова нельзя ей было сказать.

Уже плотно льнула к ней жизнь чужого дома. Как будто не было у нее своих бед и невзгод, еще чьи-то беды, невзгоды, задачи, чья-то чужая жизнь окружили ее.

А ей, ничего ей не нужно было, никто не нужен, только человеческий кров, под кровом — свои детишки, свой муж. Больше ничего на свете.

Прошла в горницу, в семеновскую половину. На руках Ниночка, по сторонам — Петрунька и Наташка.

Никифор Захарович ее провожал — говорил о своей радости. Наташку погладил по головенке. Петруньке из нутряного пиджачного кармана достал запыленный, давний-давний леденец, велел поделиться им с сестренкой.

Верка металась круг них, как пуганый телок на бечевке.

Никифор Захарович сказал Доре:

— Это тебе, матушка, будет кухарка и нянька. Не гляди, что она, зараза, рябая — она шустрая!

Горница поразила Дору: высокая и просторная, в углу иконы, повдоль стен — блестящие фикусы до потолка, люлька на металлической настоящей пружине, в люльке — горка стираных, чистых пеленок. У дверей деревянный конь без головы, зато на крутом обруче — вот-вот сам по себе заскачет, закачается, а еще — большая тряпичная кукла...

Дора хозяина поблагодарить еще не успела — Петрунька уже сидел верхом на безголовом коне, хоть конь и был ему заметно маловат.

Гришка Лыткин, мещеряковский ординарец, тотчас принялся внушать хозяевам:

— Чтобы, товарищ Звягинцев, в доме у вас было тихо и спокойно. Особенно когда прибудут сами товарищ командующий, чтобы ребятишки ваши ни один не проникали бы в эту горницу, не притронулись к оружию Ефрема Николаевича — к холодному и огнестрельному. Может убить!

Никифор Захарович кивал понимающе, но все глядел не на Гришку, а на Дору. Глядел и глядел.

Верка же, распахнув свой огромный мясистый рот, не дыша и приподняв обе руки, словно утка крылышки, слушала Гришку Лыткина с изумлением. Он кончил — она все слушала, не скоро пришла в себя.

Когда все вышли из горницы, оставив за побеленными створками дверей супругу главнокомандующего с детками, Никифор Захарович сказал домочадцам:

— Т-с-с-с!— и пригрозил пальцем. Он был светел лицом и торжествен. Ни в одно рождество Христово, ни в одну святую пасху и престолы последних лет не было у него этого выражения лица, не случалось. Он перекрестился на беленую дверь и сказал:

— Ну, энти присоветуют! Наконец-то! Сами товарищ главнокомандующий — они знают об жизни куды больше нас, обыкновенных мужиков! Они объяснят — идти на заимку либо не ходить вовсе ни шагу! Помогут решиться! Ежели и не сами собою все скажут, то хотя бы его супруга нам все про нас объяснит!..

После этих слов Никифор Захарович оглядел всех внимательно и пояснил еще:

— А что? Бабы бабам рознь! Царица Екатерина, разобраться, тоже была бабой...

Вот так началось Дорино житье на очередном постое.

Питались в звягинцевском доме сколько есть ртов — все сразу. Ставили три миски. Двух было мало — толкучка получалась за столом, крайние никак не могли ложками дотянуться.

У Доры же с ребятишками с первого дня заведена была миска своя и ложки тоже, без зазубрин, новенькие, пахнущие не щами и не кашей, а свежим лесом.

Доре с Петрунькой и Наташкой места были отведены за столом рядом с самим Никифором Захаровичем.

С утра и в обед обычно ели молча, торопливо и быстро, не глядя друг на друга, но в паужин, немного похлебав, Никифор Захарович, откладывая ложку в сторону, начинал беседу, что и как и кому завтра работать — ехать по дрова, по сено, чистить пригон или делать разную работу. И все новости тоже сообщал он в паужин и говорил о божественном, о порядке на ограде. Стращал баб и ребятишек.

Иногда спорил с сыновьями, но только до тех пор, покуда сам этого хотел, сам кого-нибудь убеждал, а когда начинали убеждать его, строго стучал пальцами по столу, и спор кончался.

Теперь при всех разговорах Никифор Захарович то и дело бросал внимательные взгляды на Дору — то ждал ее одобрения, то будто пояснял ей что-нибудь этими взглядами, то сам просил ее внимания, чтобы она поняла бы и запомнила те либо другие его слова.

А все это нужно было Никифору Захаровичу к тому, чтобы необычная его квартирантка, приобвыкнув, хорошо поняв звягинцевский дом, тоже вступила бы в разговор, а далее уже присоветовала, как жить — в деревне или на заимке.

Гостей Никифор Захарович и всегда-то любил и уважал чуть ли не до беспамятства, всегда помнил, кто и что говорили гости о жизни, но Дора была для него гостьей особенной, небывалой, почти немыслимой, умной и справедливой, и он требовал, чтобы при ней все в доме ходили без топота, на цыпочках, все вели себя скромно и вежливо, слушали ее в оба уха, чтобы, не дай бог, не пропустить какого-нибудь ее слова, какой-нибудь речи, которая на иной, на самый нужный лад повернет жизнь и старых и малых этого дома.

Он даже на икону-богородицу нынче не как всегда крестился, а с благодарностью за то, что она привела к нему в дом такую вот квартирантку.

И детишки Дорины тоже кое-что понимали — Наташка стеснялась, потому что была в мать, а вот Петрунька — тот ходил петухом, командовал над Никифора Захаровича внучатами, ему этакое уважение очень нравилось.

А Дора со страхом все больше и больше чувствовала это внимание к себе Никифора Захаровича и прочих живущих здесь людей и понимала, к чему оно ведется, а про себя думала: «Господи, да что же я могу-то? Спаслась я в это страшное время от смерти сама, спасла ребятишек, дождалась встречи с Ефремом — дайте мне понять, что живая я, что живые ребятишки, что Ефрем при мне! Какой же я вам советчик нынче?!»

Вспоминался ей все время отец — тот умел молчать, когда было не до разговора. Это еще девкой Дора была и только-только начинала от любви к Ефрему с ума сходить, еще сама этого не понимала, а отец — тот понял сразу же и подолгу-подолгу молчал при ней.

Тут другой был дом, другие люди в нем и порядки.

Много людей, много порядков, и притом друг на друга никто внимания не обращал, никто ни к кому не присматривался. Если кого за столом недоставало, так и не спрашивали — где человек, что делает? А говорили все сразу: кто-нибудь услышит — хорошо, никто не слушает — тоже ладно.

Один только голос Никифора Захаровича — гудящий, с долгими перерывами между слов — был для всех обязательным, все его слушали молча.

— Архип Евлампиевич Сузунов — девяносто семь годов,— говорил Никифор Захарович,— может, девяносто осьмой уже. Он и сам сбился на счете. А живет... Живет ведь, а?— Похлебав и снова положив ложку как раз посередке между своими большими длиннопалыми руками, тоже положенными на стол до локтей, Никифор Захарович продолжал:— Избу вот мы ставили первую с супругой Лизаветой. Более сорока годов как поставили, а стоит! Стоит изба-то!— Еще что-то и к чему-то, неизвестно к чему, долго вспоминал Никифор Захарович, вспоминать ему было нелегко, он жевал под бородой губу, опускал брови на глаза и наконец произносил дальше:— Бык ходит в обчественном стаде, припомнить — годов пятнадцать быку. Так и есть — пятнадцать, а ходит ведь? То-то! Вот так — как есть, так и должно быть. Должно, и никаких более разговоров. На энтом, что есть, все и держится. А как нету — так и не

должно быть... Романовы, цари, стояли триста годов с лишком. Подошли к им — спихнули. Ну и што? Што теперь? Их спихнули, начали, а теперя и друг дружку уже пихаем без конца и краю. За два года и десять властев сменяли. Рушить государство — это от безумия. Пущай бы стояло — от настоя все на свете только тверже делается. Что долгое, то и прочное.

Сын Кирилл, тощий и высокий, с бородкой, подвешенной прямо к щекам, минуя голый, изогнутый подбородок, выждав время, вступал с отцом в спор:

— Всему бываить конец, папаша! Далее нельзя уже было жить, как жили, это всем известно. Задетый был народ за живое: воевал-воевал, после — с немцем братание. Выходит — из-за чего воевали-то? Когда ни тем войны не надо и ни другим? Разорение и смерть, а неизвестно для чего. Кто же такую жизнь готовый стерпеть? С этого началось. Далее пошло и пошло, остановить уже невозможно, покуда народ не добьется своей правды.

— Правда, Кирилл,— это есть хлебушко и крестьянство. Ее и держись. Не держались — ну и что? Заместо войны с немцем — война друг с дружкой, и набежало еще сколь всяческой иноземщины — уже не счесть.

— Всех побьем, сладим новую жизнь. Справедливую.

— Слыхали тыщу разов. А кончится — всякие пришлые со всего света набегут, вот и будет твоя справедливость.

— Все — люди. Все как есть. И перед справедливостью все одинаковые.

— Другой обычай.

— Может, и другой. И хорошо, когда он будет лучше нашего с тобой, папаша.

— Хуже! Хуже и хуже!

— Это неизвестно, папаша.

— Известно! Православные-то мы, а? То-то!

— Колчак — тоже православный.

— Он — изменщик и антихрист. Иностранке продался. За Россию провозглашает, а сам изменщик!— не уступал Никифор Захарович.

— Немцы-колонисты не православные, а гляди, в ихних местах — в Панковской, в Решетниковской волостях,— у них наилучший хлеб. Урожайный.

— Ну и што? А мы — православные!

— Скотина у них молочнее!

— Ну и што?

— Одеваются чище. Ребятишек учат.

— Ну и што? А православные-то — мы! Не они. В нас вся суть-то!

— Да какая же суть? Чего суть?

— Православия! Веры!

— Тьфу, язвило бы вас, папаша! С вами говорить — все одно, что зубами гвозди дергать. Хотя бы упреждали с самого начала, а то начинаете доказывать, как человек, а гвоздями кончаете. Вера — вера! На что она, бесштанная, непутевая-то вера? Я — не юродивый, за веру босиком по снегу бегать. Когда православию я хорош, пущай и оно для меня будет хорошим, а то я на его не погляжу — перейму обычай у немца-колониста. И вы тоже — лучше ищете, заимку ищете, а ведь в православии говорится: человек, он в своем стаде должон жить и существовать!

— Но-но-но!— сердился уже не на шутку, а надолго Никифор Захарович.— Помолчи-ко! Доказать-то по правде не можешь, так сразу — в ересь! Крыть-то нечем напротив православия, так ты — в ересь!

— Как об стенку горох...— вздыхал Кирилл, пощипывая себя за бороду.

И Татьяна, Кириллова жена, тоже вздыхала:

— Гороху-то нонче — не сильный урожай. Поберегли бы. Будущий год, может, добрый выдастся на эту овощь...

Дора слушала.

Когда она встала на квартиру, людей вокруг себя совсем не желала видеть — ходила по горнице, притрагивалась к прохладным стеклам в окнах. Чуть запотевшие стекла с готовностью отпечатывали ее самое незаметное прикосновение. И деревянного безголового коня она брала в руки, и конь тоже к ней ластился. К ней ластилось все жилье... А люди нет. Люди эти как-то в стороне от нее стояли.

Сколько поскиталась Дора почти что за два года гражданской войны, а таких семей не видела — огромных и трудных. Все будто бы вместе, всему сердцевина — хозяйственный Никифор Захарович, но уже хорошо видно, что недолго этому оставаться.

Первым выйдет из отцовщины Кирилл. Спорит он с отцом подолгу, но не в спорах дело — дело в его жене, Татьяне.

Статная и румяная, уже немолодая, Татьяна знает все семейные привычки, любую прихоть Никифора Захаровича она исполнит будто бы с желанием. На самом же деле торопится сделать, как велит свекор, чтобы скорее уйти с глаз его, надеется — последняя зима для нее в этом доме. С Никифором Захаровичем она нигде не хочет — ни здесь, ни на заимке, она хочет хоть где, только бы без него.

А тот ничего не подозревает, ставит Татьяну в пример всем остальным бабам-невесткам.

Никифор Захарович иной раз вовсе незлобиво, незадорно говорит:

— Помру — что без меня у вас здеся будет? Какой порядок? Завтре же игреньку в чужой хомут запрягете, на филиппов пост замесите блины... Ей-богу, случится... Каждый погонится к другой жизни, а никто не знает, в чем она, другая. В посту скоромное жрать? Да?

И Татьяна при этом даже пугалась, правда что — другой жизни она не знала. Только в прежней уже не могла жить. Говорила тихо, упрямо:

— Как-нибудь. Каждому не чужая дана жизнь, своя собственная. Ему и проживать ее.— Говорила с хрипотцой, низким, задумчивым голосом, поднимала вверх брови. Кирилл на нее в это время не глядел, только вздыхал. Он ее сильно любил.

А вот вдова Иннокентия и жена Семена, которую Никифор Захарович тоже причислял к вдовам, хотя и ждал сына из австрийского плена со дня на день,— те были за выселение на хутор. Им другого исхода не было. Но как раз ни той, ни другой Никифор Захарович ничуть не верил:

— Вдовы, падлы, им, конешно, свекров глаз необходимый! Глаза не будет — завтра же к этому часу нагрешат. За ими гляди!

А уж чего там глядеть за Иннокентьевой вдовой — она робкая, худенькая, добрым-добро улыбается, ну как ребеночек! Улыбнется, оближет розовенькие ласковые губы. Вся ее забота — дети.

Бабка Елизавета одна только и знала, чего истинно хочет — помереть хочет. На месте, в первой и в родной своей избе, покуда не съехали на хутор, покуда не разбилась семья...

Трудно оказалось в этом доме Доре. Никто не хотел оставить ее в покое, наоборот — каждый приглядывал-

ся: как бы узнать у нее что-то такое о своей судьбе и жизни?

Никифор Захарович настойчиво хотел взять окончательный совет — выселяться ли или нет на заимку. Кириллова жена Татьяна хотела, чтобы Дора будто бы ненароком сказала, что в хутор выселяться нет резона, бабка Лизавета хотела высказать перед нею всю свою бесконечную жизнь и даже умереть хотела на ее глазах — зачем-то ей так нужно было. Людей слушать — им только дай, они не остановятся, о тебе не спросят, о себе будут говорить, хотя бы ты с края где-то между ними, а вовсе не посередке, хотя бы тобою во сто крат пережито больше, чем ими...

Непонятны люди друг другу. Даже самые близкие.

Воевать и гибнуть могут за общее дело отчаянно тысячами, а двое-трое понять друг друга — не в силах.

Понятным человеком была здесь для Доры рябая Верка. Хотя тоже невесело было от того, что Верку она понимает и видит, будто на ладошке, может, лучше было бы как раз ее-то и не видеть?

На кухне в сутолоке Никифор Захарович, вдруг рассердившись на что-то, сказал вслух:

— Кто ее возьмет? Кому нужна? За вдовца слепого отдать разве, так ведь все одно — на ощупь испугается. К чужим детя́м ее приставить на всю жизнь — и конец делу. Своих ей не грех хотя бы и в подоле притащить, ну и того нечего от ее ждать! Ясное дело — нечего!

Вытаращив глаза из глубоких впадин, вывернув наружу губы, Верка закрыла глаза рукой и так, ни на что не глядя, ничего не видя, ринулась в дверь.

Дверь была приоткрыта. Верка проскользнула в узкую щель, не задев ни створки, ни карниза, на легком, быстром и веселом теле вмиг унесла свою безобразную, прикрытую рукой голову...

А потом, уже ночью, Верка спрашивала у Доры — как жить с этаким чужим и безобразным лицом?

Спрашивала и не верила, будто ответ неизвестен. Спросила, как величают по отчеству Гришку Лыткина, ординарца. Оказалось, Дора не знает: Гришка и Гришка, парень и парень, Ефрему Николаевичу до конца предан и даже ревнует его к Доре, вот и все, чего еще нужно о нем знать? Для чего Гришке отчество?

Длинными осенними ночами звягинцевский дом спал, словно работал: похрапывал, постанывал, перекликался сонным ребячьим писком — Верка сидела

подле Дориной кровати в безрукавой холщовой, даже не отбеленной рубахе и все Дору допрашивала. Когда Дора наконец заплакала, Верка вдруг обрадовалась, стала радостной, стала шептать ей:

— Энто все неправда, Дора Александровна! Нисколь не может, чтобы Гришенька меня испугался бы! Не может быть, чтобы он без души оказался! Он же смелый до крайности и ужасно умный, не может он меня не понять!

— Не знаю...

— Ну вот, обратно, не знаете! А я знаю! И прошу вас очень — обскажите ему обо мне всю правду! Откройте ему на меня глазоньки! Ведь только и надо один раз ему настояще на меня поглядеть, а там — пойдеть и пойдеть наша любовь! Ну вот как у вас с Ефремом Николаевичем!

Верка взмахивала в полутьме гибкими, сильными, удивительно белыми руками, скользила к Ниночкиной люльке, на одной ладони вмиг приподнимала младенца, другой щупала пеленочку. Это не Верка двигалась, а каждое ее движение само по себе льнуло к ней...

Это она к чужому младенцу и то имела такую страсть, а если бы у нее явился свой? Ах, Верка, Верка, из шапки вынутая, как бы тебе обратно в ту шапку от самой себя спрятаться!

Перемежались Дорины ночи — то Ефрем, а то Верка.

У Ефрема предстояло страшное сражение с белым войском, и он, приходя в звягинцевский дом, уже ни на минуту не мог, не в силах был выкинуть это сражение из головы, оно мнилось ему как настоящее — с грохотом и воем, с заходами по флангам, с кавалерийской засадой, с победой и со смертями, может быть — со своей собственной смертью...

Но ему было все равно — смерть так смерть, лишь бы победить, и такой вот он торопливо ласкал Дору, целовал ее и ребятишек, пуще всего — Петруньку, а потом, вскочив на гнедого, рысью торопился на позиции, где вся партизанская армия, все соленопадские мужики и бабы спешно копали окопы. У гнедого рысь была каждый раз поспешная, почти что галоп. Гнедому было весело куда-то уносить Ефрема из звягинцевского дома...

А вместе с Ефремом — почти что всю Дорину жизнь. Ну, материнство ее оставалось с нею, а еще что? Дора

и всегда-то, еще девчонкой, а потом и невестой, робела на людях, боялась: вдруг кто-то о чем-нибудь ее спросит, а она не знает, как ответить?! Стыдно! Она и к Ефрему-то так потянулась, чтобы он, всегда сильный и храбрый, уберег ее от чужих, ненужных ей людей, а нынче вот Ефрем только и делает, что бросает ее на этих чужих...

И только Ефрем из дома, как в ночь-полночь Верка являлась к Доре тотчас после его ухода, едва ли не в ту же самую минуту и требовала, чтобы Дора объяснила — как ей жить на свете, такой некрасивой, но такой хорошей, и тоже не верила, будто Дора этого не знает. Чего-чего, а это Дора должна и обязана знать! Обязана Верке объяснить, а не таиться перед нею — так Верка понимала.

А Дора о себе-то нынче ничего не знала, о своей любви к Ефрему — что с ней делать, с этой любовью?!

И Никифор Захарович уже становился к Доре все безразличнее, меньше было в нем теперь вежливости, он, должно быть, уже ругал себя, что сделал ей в доме такую встречу, такую торжественную, а она этого не ценит, никак не желает войти в его трудное положение.

Спрашивал у Доры — можно ли хотя бы однажды, хотя бы час один поговорить с глазу на глаз с главным командующим, поиметь с ним совет? Насчет заимки...

Дора отвечала — сильно некогда ему. Не хотела на лишний час Ефрема от себя отрывать, а еще знала: ни к чему этот разговор Ефрему. Не то время: решающее сражение вот-вот случится.

Она его такого — на час ласкового, а на всю остальную ночь и день сурового, быстрого, в себя самого ушедшего — еще больше, чем всегда, любила, еще больше боялась, еще больше не хотела отпускать от себя прочь, на позиции.

И от этого всего, от вопросов Никифора Захаровича Дора решилась проситься у Ефрема на другую квартиру, к другим людям.

Но тут Никифор Захарович, должно быть, Дорино намерение угадал, стал особенно суетлив, стал Петруньке с Наташкой говорить ласковые и какие-то совсем ненужные слова, а те почему-то начали его пугаться.

Так они друг дружки и пугались: для Никифора Захаровича это ведь тоже был страх, если Дора съедет с квартиры... Страх... Позор...

И он останавливался против нее, открывал было рот, чтобы вопрос задать, поднимал на нее глаза и... останавливался. Не решался что-нибудь вымолвить.

А когда она, как будто ненароком, все-таки сказала Никифору Захаровичу, что думает съехать, тот поперхнулся и, перекатывая по длинной шее кадык, два-три раза глотнул слюну, а потом уже заговорил сипло, торопливо, будто оправдываясь перед нею в какой-то большой, в страшной вине:

— М-м-матушка, Дора Александровна, скажи ты мне, бога ради, жить-то нам как же дале? Дале-то как жить, не знаю, ведь, ей-богу, не знаю, хотя и хозяин всему дому, и седой уже, и человек не то чтобы вовек неизвестный ни миру, ни кому другому. Как жить-то на земле скажешь? Заимкой либо миром?

Дело было в кухне, были тут и мужики Звягинцевы, и невестки, и внуки, была Верка — эта сразу же по-дикому вытаращила на Дору глаза.

Да и все-то, кто был здесь, тоже глаза на нее уставили, все будто по команде замолкли, замерли и стали ждать, что она ответит.

Дора вздохнула глубоко. Страшен был ей этот вопрос. Может, потому, что сразу столько людей ждали от нее ответа? Может, оттого, что своих-то вопросов у нее было множество?

И вдруг она шагнула к Никифору Захаровичу и громко сказала ему:

— Старик уже, а о чем думаешь? О чем думать-то, когда война?— обернулась к мужикам, им тот же бросила упрек:— Мужики ведь! И ты, Кирилл, мужик, а ты, Юрий, так еще и разведчик в партизанской армии! И вот воюете, а не понимаете, что война?

Что война в России, и вот уже два года, и неизвестно, когда кончится, неизвестно, кто будет жив, а кто — нет, Дора до той минуты и сама-то, оказывается, не понимала. Нынче поняла ее будто бы до конца... Поняла не за себя только, за всех на свете людей. Все объясняла войной, всю свою и чужую жизнь, жестоко упрекала Никифора Захаровича за то, что он войны не понимал, думал о чем-то и для чего-то кроме нее. Она бы и его глупым не побоялась нынче обозвать, но сдержалась.

Вздрогнул старик Звягинцев. Оглянулся по сторонам, на каждого посмотрел, будто в первый раз увидел.

Остановил взгляд на Верке, на испуганном ее, искалеченном лице, потом взмахнул рукой, провел по лбу и, круто повернувшись, уже из дверей горницы сказал:

— Так разве я за себя спрашиваю? Разве же за свою жизнь — за ихнюю спрашиваю! За народ! Она, поди-ка, не сама по себе, война, делается, а опять же — из-за жизни?! Верке вон, образине, и той надо жить?!

И ушел.

И оттого, что старик вот так ушел, почти что убежал, оттого, что всю свою семью вдруг назвал народом — все поняли: в самом деле война!

Она была нынче единственным ответом всем на все вопросы и жизни и смерти, и Дору все так и поняли.

В тот же день Дора попросилась у Ефрема на другую квартиру.

— Народу слишком уж много в этом доме!— объяснила она Ефрему.

Но Ефрем жену не понял, сказал:

— Не этими делами надо заниматься нынче мне, Дора. Мне надо воевать, к сражению готовиться!

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Только вошел Мещеряков в главный штаб, как в коридоре опять встретил Брусенкова, Коломийца, Тасю Черненко.

Все они были серьезные очень, особенно начальник штаба.

А встречали его с почетом — трое одного. Хотели представить свой главный штаб, свою власть во всей красе. «И понятно!— подумал Мещеряков.— Войну воевать — это каждый мужик может, его этому на действительной учили и на фронте. А вот власти его никто не учил. Даже наоборот — всегда ему внушали, что власти он коснуться не может... Ну что же, поглядим, что это такое — наша мужицкая власть.— Поплотнее надвинул папаху.— Поглядим!»

Тепло сильно было в папахе. Жарковато. Но и ждать, покуда придет зима, тоже можно не дождаться.

Тут откуда-то подошел еще Лука Довгаль. Станционный, этот с Ефремом поздоровался приветливо, и все вместе начали обход главного штаба по отделам. Начали с посещения отдела народного образования. Он по ко-

ридору первым был — в бывшей кухне кузодеевских хором помещался.

До сего времени пахло здесь щами, печеным хлебом, вареным-пареным еще каким-то, и с большой печи, с одного ее угла, торчали черенки ухватов. Вся же остальная печь, и шесток, и два подоконника, и все четыре угла комнаты завалены были книжками.

За большим кухонным столом, сильно порезанным ножами и сечками, каждый спиной к небольшому узкому оконцу, сидели двое — заведующий отделом и его заместитель, он же секретарь.

Они сидели, а посреди пустой половины комнаты перед ними стоял посетитель — еще молодой, с русой бородкой, румяный священник. Ряса на нем была чистенькая. Аккуратный батюшка.

Когда распахнулась дверь и один за другим вошли Брусенков, Довгаль, Черненко Тася, Мещеряков, а чуть позже еще и Коломиец,— батюшка потеснился в угол, а завотделом народного образования и помощник его встали. Помощник — старый-старый учитель — загасил желтым пальцем цигарку и бросил ее под стол. Но оба они тут же и сели снова, поздоровались с вошедшими уже сидя.

Брусенков стал объяснять Мещерякову, кто они такие — нынешние руководители отдела, тыча пальцем то одного, то другого. Когда Брусенков говорил о них что-то не так, неточно — те поправляли его.

Мещеряков слушал внимательно, боялся что-нибудь пропустить, не понять.

Заведующий был только чуть помоложе своего помощника, в недавнем еще прошлом — знаменитый в Соленой Пади, да и в других окрестных селах плотник. Строил он церкви, моряшихинская церковь тоже была его работы, жилые дома — бывший кузодеевский дом — он и начал и кончил, теперь в нем и помещался весь главный штаб, а еще, когда стали строить школы, он и школы тоже ставил, не один десяток успел по деревням поставить школ. Тем более постройки немудрящие, одноэтажные, под старость лет как раз по силам ему приходились. Построил он школу и в Соленой Пади — из камня даже сделал дом,— и в тот же год просило его общество стать школьным попечителем. Он и стал и уже бессменно в этой должности состоял, а нынче главный штаб, как опытного в деле человека,

назначил его заведовать отделом народного образования.

Помощника ему дали с умом — учителя все той же школы.

— На первый случай,— сказал Брусенков,— работники они обои вовсе не худые. А навсегда нам их не надо — придет Советская власть, та и возьмется уже за дело, как должно быть. У нас до недавнего времени сильный был на этом месте работник, давно уже партийный. Нынче на другой должности — полком командует.

Мещеряков подумал: на этом же месте сидел ведь товарищ Петрович! Нынешний командир полка Красных Соколов. И вспомнились ему порядки, которые тот смог сделать в своем полку, и его собственное неудавшееся намерение — сделать Петровича комдивом.

Тем временем учитель пошарил рукой под столом и сбросил окурок с узла, на котором тот начал было тлеть. В узел завернута была постель — он здесь и спал, учитель, в отделе.

Сбросив окурок на пол, учитель вышел из-за стола, похлопал Мещерякова по плечу и сказал:

— Ты вот что, товарищ Мещеряков, ты, голубчик, будь добр, сделай сражение как следует, а то мало того — народ пострадает, еще и детишек нынешнюю зиму учить никто не станет. А это плохо, очень плохо!

— Постараемся!— кивнул Мещеряков. Он хотел сказать: «Постараемся, товарищ учитель!», но не получилось. «Товарищ» и «учитель» — не складывались у него слова эти вместе, тем более что говорили с ним, словно урок ему на дом задавали.

— Постарайся!— сказал учитель, одобрительно поглядев на Мещерякова из-под растрепанных, но редких бровей.— Тут вот Ваня, то есть товарищ Брусенков, обещал сразу после сражения и всех учащих из армии вернуть. Хотя занятия еще не начались, но ведь и готовиться к занятиям некому — кусочка мела в школах нет,— грифеля, дров! Окна всюду побитые. Но главное — это учащие. Их еще Колчак брал в армию, отменил льготы, а нынче — мы сами берем. Ничего хорошего в этом нет.

— У нас порядок — учителя от воинского призыва освобождены. И только по силе необходимости, на период решающего сражения, призваны. Все, кто на на-

шей платформе, посланы в армию как агитаторы,— пояснил Брусенков.

— Давай, слышь, товарищ начальник главного штаба, отпустим их седни же!— предложил ему Мещеряков.— Что там взрослых агитировать? Они жизнь готовые за правое дело положить, а их агитировать! В чем еще-то? Детишек будут учить — вот это сильная агитация!

Брусенков главнокомандующему не отвечал, тот еще предложил:

— Ну, давай так: отпустим учителей по школам, но обяжем сражаться по месту ихнего жительства. Дадим по бердане, кто поздоровше — пику, и, когда дело дойдет до сражения за собственный населенный пункт, пусть идут в первом ряду. Личным примером пусть агитируют!

И опять Брусенков ничего не ответил, а вступился плотник:

— А что? Он верно говорит — товарищ наш главнокомандующий! И вот они,— он кивнул в сторону своего помощника,— они тоже верно положение обрисовывают!

Тут Брусенков обернулся к священнику:

— По какому делу, благочестивый?

Священник вздрогнул, приподнял руки к груди:

— Не могу я дать подписку, каковую люди эти от меня требуют! Не могу!

— А мы не требуем!— сказал плотник.— Мы вам, отец, предлагаем. И сказать — уважительно предлагаем.

— У нас, товарищ главнокомандующий,— снова пояснил Брусенков,— порядок: церква отделенная от государства. И мы со всех попов и дьяков, которые учат, берем подписку, чтобы они в школах об законе божьем нынче не заикались. Хватит дурману! А которые родители все ж таки желают этому детей учить — мы не тормозим: нанимайте попа за свою особую плату, учите, но без школьных стен, а у кого хотите в избе. Об этом разговор у вас нынче идет?

— И все равно надо посмотреть,— заметил учитель,— чтобы и вне школы отцы святые не забивали детям головы всякими небылицами. Если уж учат, пусть учат только ради пробуждения в детях добрых чувств к людям. Никак иначе!

— Но совесть моя, совесть слуги божьего...— снова и торопливо заговорил священник, тут же сбился и продолжал почти фальцетом:— Я не более, как слуга его! Не о своем достоянии, о достоянии бога, о божьем законе совесть моя умолчать не может!

— А вот это ты зря, отец!— сказал учитель.— Вовсе напрасно. Говори о себе, о своей нужде, что касается учения божьего — не тебе его спасать!

— Богу — его закон нужон ли, нет ли — не знаю!— пожал плечами Брусенков.— Видать, несильно, когда он довел до нынешней убийственной войны. Но есть ли он или нет, этот закон, а выгода тебе от его, батя, все равно идет. Как на тебя глянешь, так и скажешь: идет. Даже и двух мнениев быть не может.

Мещеряков тоже засмеялся:

— Ну, еще бы!.. Солдатки, те, безусловно, к батюшке этому только и ходят причащаться!— Посмотрел на Тасю Черненко и смеяться перестал, стал серьезным.

Священник тоже серьезно поглядел на него, а потом обернулся к учителю:

— Согласен я с тобою: спасать великое учение немыслимо, когда оно есть бессмертно само по себе!

— Неправильно понял меня, отец!— ответил учитель, как будто даже осердившись.— Совсем неправильно! Учение тебе не спасти и не спасти никому, потому что губит оно самое себя!

— Но в словах этих кощунства более, чем смысла!— смиренно произнес священник, а потом, будто раззадорившись, спросил:— Поясните еще о великом учении и законе?

— Отчего же!— согласился учитель.— Поясню. Учение тогда учение, когда никого не страшится. Особенно если оно великое. А божье — оно, едва народившись, уже искало еретиков даже среди своих же мыслителей. Оно еще до рождества Христова преследовало Сократа. Король Фридрих-Вильгельм от своего лица и от лица церкви выражал полное неудовольствие Канту. Великий писатель всех времен — искатель божьего в мире — Толстой отлучен от церкви, проклят от имени того же бога с церковных амвонов. Кто учит божественному — не знает, что такое бог, а кто хочет познать — того объявляют преступником... Даже уничтожают. Что же говорить о людях, которые и вовсе не хотят бога, его добра? Учение отказывает таким в признании за ними человека. Отсюда следует, что учения этого и вовсе нет,

а есть тень его, догма или суеверная легенда, потому что все истинно человеческое, и тем более все духовное — не что иное, как познание человеком самого себя... Без этого познания какое же может быть человеческое? И все, что нынче происходит вокруг нас с тобой, отец, что творится учащимися вокруг нас, учащих,— творится для того, чтобы никогда уже не повторилась роковая ошибка, то есть боязнь мысли! Чтобы учение о жизни сущей и духовной отныне и навсегда создавалось беспрепятственно!

Священник задумался, и все вокруг примолкли — ждали, что он ответит.

Он ответил так:

— Именем процветающей ныне на скорбной нашей ниве революционной идеи тоже творится непотребное. Однако же идею ты стремишься от непотребного отделить, а не утопить оную в нем? Отделить, как злак от плевела. Не дано человекам чистой веры в мыслях, тем паче в делах рукотворимых. Будем же ее, веру, лелеять, а не отвергать, ибо по сему случаю она еще более человеческая есть потребность. И счастие его!

Теперь подумал учитель, постучал прокуренным пальцем по столу.

— Революция, отец, не объявляет себя ни вечной, ни высшей... Она прямо о себе говорит, что есть насилие над насилием, что она — меньшее из двух зол, и не больше того. Но если даже меньшее зло ты, отец, и бог твой возводите в высшее, вечное и божественное, то это срам, фарисейство и самая вредная из всех вредных догм.

Спор разгорался, но вдруг, поглядев еще раз на учителя, на Мещерякова, на всех присутствующих, священник спросил:

— А — дальше?

— Что — дальше?— пожал плечами учитель.

— Почему же вы требуете от меня подписки? Не проистекает этого из слов ваших! Отнюдь!

И учитель, усмехнувшись и еще пожав костлявыми, согбенными плечами, стал объяснять дальше:

— Мы не требуем. Мы объясняем. И прослушай меня, отец, еще раз внимательно: не даешь подписки — значит, не учишь в школе. Не учишь — значит, не занят в труде. Не занят в труде — значит, бери лопату, иди с ополчением копать окопы. Вот и все! Как же тебе не

ясно? А ведь когда-то был смышленый мальчик! Я помню!

— Как знаешь, батя!— снова сказал Брусенков.— Не хочешь давать подписку — зачем пришел-то? А когда пришел — не задерживайся тут! Простому гражданину давно бы уже объяснили, а с тобой без конца и краю канитель! Мы тоже люди занятые!

— Не отказываюсь я!— воскликнул священник.— Не отказываюсь устами произнести обещание, но приложить персты претит совести! И Святому писанию.

Брусенков возмутился:

— Бога нет, а закон божий все одно по печатному написанный! А ты — от гражданского закона хочешь, чтобы он на словах только был. Не выйдет! Кончим разговор!

Но тут снова вступился Мещеряков, обращаясь к учителю, спросил о священнике:

— Он что же — не хочет писать бумагу, а сам согласный? В этом весь вопрос-то?

— Только!— подтвердил учитель, и священник тоже воскликнул:

— Истинно!

— Да бросьте вы разъяснять ему! Он и сам все понимает! И дело-то вовсе простое,— засмеялся Мещеряков.— Пусть батя пишет бумагу, принесет, покажет нам. После возьмет к себе домой, а уже после сражения принесет и навсегда оставит нашему отделу. Все!

Брусенков вздрогнул, резко обернулся:

— А ты догадливый, товарищ главнокомандующий! Как это ты быстро понимаешь их? Таких-то?

— Просто!— засмеялся Мещеряков.— Он чего, отец этот, боится? Боится — мы сражение проиграем, придут белые, бумагу его найдут. И погладят его после того по головке — волос-то длинный, кудрявый, есть что погладить! А боишься ты этой самой причины, батя, вовсе зря — белых мы расколотим, ни один в Соленую Падь не зайдет, бумаги твоей не увидит!

Священник вдруг обратился к Брусенкову:

— Когда вы желаете окончить на сем разговор...— Поклонился и быстро вышел, а Мещеряков поглядел ему вслед, вздохнул:

— Незавидная жизнь у их нынче! До чего незавидная!

Заботделом спросил у Брусенкова:

— Я к ночке, товарищ начальник главного штаба, по школам хочу ехать, и мне надо путевую бумагу выдать от вас. О содействии.

— Далеко собираешься?

— Да вот в ихний, в Верстовский край, раз уже мы полностью с ними объединились.

— Белых не боишься?— спросил Мещеряков.— Их там у нас поболее нынче, чем в других местностях, блуждает.

— А я — с инструментом. Плотник. Топор да рубанок — кто на меня подумает, будто я от главного штаба? И в действительности тоже школы буду ремонтировать.

— Один — много ли сделаешь?

— Почто один? Инструмент — для собственной работы, мандат — для организации всеобщей. А что ты еще-то мне можешь для этой цели дать, товарищ главный штаб? Все одно ведь — ничего больше?!

Вместо ответа Брусенков кивнул на книги, заполнившие комнату:

— Конфискацию книжек закончили?

— Ни в одном частном владении более десяти книг не оставили.

Учитель встал, погладил на подоконнике книги:

— Богатство! Только божественного слишком много, а для обучения детей почти ничего нет!

Брусенков тоже внимательно осмотрел книги.

— Глядите — ненужное всякое, против народу направленное, чтобы к народу не шло вовсе! Когда будет какое затруднение самим решить,— принесите книгу мне. Не стесняйтесь, если я шибко буду занят важными какими делами. Найдем время — поглядим. Списки учителей и школ составлены? Полностью? Наличные и — потребные?

— Полностью!— кивнул учитель и развернул длинный список, лежавший перед ним трубочкой.

— Сельские отделы народного образования организованы? На местах?

— Этого еще нету. Но — будут.

— Решение первого нашего съезда в части народного образования чтобы висело у вас на стенке! На видном месте, с чистописанием.

— А оно и висит, товарищ Брусенков,— сказал завотделом.— Надо лишь глядеть хорошенче.— И кивнул в простенок.

Там и в самом деле висело тщательно переписанное решение первого съезда:

«Образование прежде всего необходимо русскому народу. Это самая важная потребность населения, которую может удовлетворить только народная власть Советов. Впредь же, до полного восстановления Советской власти, съезд считает необходимым:

— открыть школы грамоты, где есть помещения и обучающие;

— требовать от обучающих плодотворной работы, направленной к воспитанию детей, будущих граждан и будущих культурно развитых работников.

О смысле внешкольной культурно-просветительной работы:

а) устроить, где возможно, отделения добровольного общества «Саморазвитие»;

б) проводить, где возможно, беседы по общественно-политическим вопросам и по текущему моменту;

в) воспретить продажу без разрешения учебных пособий — бумаги, карандашей, чернил и пр.;

г) все штрафы, взимаемые от самогонщиков, передавать отделу народного образования».

К этой бумаге подошла Тася Черненко, стала ее читать. И Мещеряков тоже прочел все внимательно. Потом спросил:

— А золота вам не надо, товарищи? Может, пригодится вам?

— О чем это ты? Какое еще золото?— спросил Брусенков.

— Обыкновенное! Золотое!— ответил Мещеряков.— Мои ребята в Знаменской конфисковали сорок семь тысяч. Да еще игрушки всякие поделаны тоже золотые. Вот-вот в Соленую Падь должен доставить все добро мой эскадрон.

— Не-ет,— махнул рукой учитель.— Зачем нам золото? Что мы с ним будем делать?

Прощаясь, Мещеряков пожал руку учителю, приняв сначала стойку «смирно», потом улыбнулся ему:

— Учителей я вам из армии освобожу. Своим собственным приказом и освобожу, когда главный штаб его долго решает!

Брусенков сказал резко:

— Пошли. Пошли в финансовый отдел!

По пути Мещеряков засмеялся:

— Ладно учитель-то сделал батюшке проповедь! И по памяти сделал — всех помнит христианских учителей, даже которые до Христа еще были!

— Не совсем ясно говорил учитель...— ответила Тася Черненко, как будто даже не Мещерякову, а так, вообще ответила.— Не каждому понятно...

— Ну чего тут не понять-то?— удивился Мещеряков.— Он ведь что сказал? Что ложь всякая сама себя и губит. И — правильно! Взять хотя Колчака. Кто ему первый враг? Первый враг ему — Колчак!— И тут Мещеряков снова вспомнил о золоте, и, как только вошли в финансовый отдел, он тотчас спросил:— Здравствуйте, товарищи! Золота не нужно вам?

Финансовый отдел помещался в комнате узкой и длинной, вдоль одной стены стояли деревянные и железные шкафы — такие же точно, как в помещении штаба армии, вдоль другой — плотно друг к другу прижались столы, за столами сидели финансовые работники. Четыре человека.

Трое вытаращили на Мещерякова глаза, четвертый, в блузе, с бородкой клинышком, в очках и небольшого росточка, стоя за столом, громко стукнул костяшками — положил на счеты какую-то длинную сумму, прижал пальцем строку на разлинованной и тоже длинной бумаге и только после этого поднял голову. Часто-часто поморгал, будто что-то вспоминая, и спросил:

— А много ли?

— Сорок семь тысяч. В империалах и в червонцах. Еще — барахлишко золотое.

— А-а-а... Сорок семь... У Коровкина в Знаменской конфискованное?

— У него!— подтвердил Мещеряков.— Ты скажи, и здесь известно уже, оказывается, дело! А мы не слишком и рассказывали о конфискации!

— Когда привезете золото?

— Ну, не сегодня, так завтра.

— Богатство! Большое!

— Ну, еще бы не большое!

— С охраной везете?

— Эскадрон сопровождает.

— Кому здесь сдадите? В Соленой Пади?

— Хотя бы тебе. В отдел финансов.

— Нет, нам не надо...— И небольшой человек у окна снова пощелкал костяшками, после этого отнял палец от длинной ведомости.

— Как это не надо? А может, пригодится?

— Не надо!

— Так вы же контрибуции деньгами делаете!

— Делаем. Керенками. Керенские билеты двадцати и сорока рублей достоинством у нас ходят. Мы на белой территории для этой цели кассы экспроприируем.

— А золото — и ни к чему?

— Обсуждали вопрос. Вот с товарищем Брусенковым и обсуждали. Не имеется смысла. Не получается.

— Не получаться тоже может по-всякому.

— А вот как не получается: если мы не можем со всяким и повседневно расплачиваться золотом, то и не надо начинать. Иначе бумажный билет потеряет силу. Получится инфляция.— Завотделом выговорил это слово громко, со значением, посмотрел на Мещерякова и еще сказал: — А вслед за тем необеспеченным деньгам будет уже полная аннуляция! Верно я говорю? — И завотделом хитро так на Мещерякова поглядел.

Мещеряков подумал...

— Ты, товарищ завотделом, с деньгами давно сталкиваешься?

— А всю жизнь! Вот с таких лет!— ответил финансист и показал рукой у пояса. Совсем у него низко получилось.— Мальчиком был при лавочке, после — бухгалтером Кредитного товарищества. Много слишком я денег перевидел! Помыслил о них.

— А что же помыслил?

Завотделом подошел к Мещерякову, снова и часто-часто поморгал на него:

— Вот вы воюете. Люди — с людьми. А воевать надо всем против денег. Когда такую войну сделать в свою пользу — наступит справедливость. Раньше — нет!

Мещеряков стоял посреди комнаты, засунув руки в карманы, и смотрел на маленького финансиста. И тот, на минуту примолкнув, тоже разглядывал главнокомандующего, а потом стал говорить дальше:

— Жизнь начинаем новую, только один ее начинает с двадцати рублей, другой — с двадцати тысяч. Человека можно убить, осудить, деньги его не убьешь: он их скроет, на другие обменяет — все успеет. Скончается — сыну передаст. В земле схоронит — другой, совсем нечаянный человек найдет клад и тут же станет уже не за себя — за прежнего владетеля жить с деньгами. Как же понять? Чтобы денег было у всех ровно и не более того, сколько в действительности необходимо человеку?

В Панковской волости еще до присоединения к нам подумали. Сделали так...

— Ты вот что,— перебил финансиста Брусенков.— Ты скажи главному о реквизициях, о конфискациях, о контрибуциях — ему военными его силами всем таким приходится заниматься,— и пусть он знает, какой на это существует у нас порядок!

— Законность такая: конфискуйте, но за присвоение — расстрел. Делайте исключительно и только через комиссию. Что еще? Бывшему владельцу имущества от лица комиссии выдается расписка. Кончатся военные действия — многим оплатим обратно. Кроме злостных. Что еще? Расписки эти считаются совершенно как облигации займа. Нужно сказать: белые, у кого находят подобные облигации, тут же жестоко расстреливают. Деньги находят — ничего, за облигации абсолютно не щадят. И население, когда видит быстрое приближение белых, истребляет наш заем. Так что оплачивать его придется далеко не полностью.

— Правильно!— подтвердил Брусенков и еще сказал:— Он у нас, наш товарищ финотдел, дело знает, ничего не скажешь, только вот...

Мещеряков сел на стул, вынул из кармана гимнастерки трубку.

— Пускай разговаривает!

И завотделом, глянув на Брусенкова даже чуть насмешливо, продолжил про Панковскую волость:

— Начали они — в город сделали налет, захватили банк. А в банке денег не оказалось — белые вывезли. Захвачены были карандаши, бумаги и две самопишущие машины...

Окна финотдела выходили во двор бывшей кузодеевской торговли, бревенчатая стена амбара замыкала двор с противоположной стороны, сбоку был огород с невысокой городьбой, в огороде — беседка. Садовая беседка — и в огороде. Смешно! Но так, значит, нравилось бывшему владельцу второй гильдии купцу Кузодееву.

Замечая все это, Мещеряков ничуть не терял интереса к рассказу. Пригляделся — моргает завфинотделом, оказывается, будто и не зря — умно моргает.

— И сделали тогда панковские свои собственные мучные рубли,— продолжал финансист и небольшими ручками показал этот рубль.— На керенском, на романовском выпуске — это им уже абсолютно все равно —

рубли погасили, пуды поставили. Обеспечили подобное денежное наличие действительным запасом зерна в общественных магазинах. Но послушайте: опять богатый как имел больше хлеба, так и остался богаче других. Тогда они что поняли: муки запаса нет ни у кого. Мука сама по себе уже не хранится, а у кого все-таки был запас — они знали, произвели конфискацию. Конфисковали также и мельницы и стали молоть исключительно и только на мучные рубли. Стал мучной рубль подлинной ценностью. И чтобы увеличить ему обращение, они соль с завода на него исключительно и только отпускали. После всю торговлю на него же перевели. И никто мучных рублей мешками уже иметь не мог, все крайне бережно к нему относились. Абсолютно!

— Политика!— засмеялся Мещеряков.

— Политика!— подтвердил завфинотделом.— Только без золота... Золото ты, товарищ главнокомандующий, и отдай нашему военному отделу. Там оно, может, и пригодится!

— Какому, какому?— быстро переспросил Мещеряков.

— Военному, товарищ главнокомандующий,— пояснил Брусенков. Пояснил, не оглядываясь,— он прикуривал от цигарки Коломийца. Прикурил, повторил еще раз:— Военному!

— А есть и такой у вас отдел? Есть?

— У нас — есть,— подтвердил Брусенков.— Ввиду военного времени, так он самый большой. Без него главный штаб — не штаб. Тем более не главный.

И Брусенков вышел в коридор. За ним и все вышли.

— Интересно-то как!— тоже ни на кого не глядя, проговорил Мещеряков.— А почто же отдел этот не был, когда мы окончательный протокол нашего объединения подписывали? Когда он — самый крупный? Ввиду военного времени... И ведает, думать надо, военными делами?

Брусенков еще раз затянулся неразгоравшейся цигаркой.

— А некому было присутствовать — начальник отдела на позициях находился в то время. Вместе с товарищем Крекотенем находился он. С командующим фронтом.

— Так!— кивнул Мещеряков.— Так. Ну, пошли в военный отдел. Где он тут у вас?

— А он совсем не на пути. Посетим юридический, труда и народного хозяйства, информации и агитации, тогда уже — самым последним — будет военный.

— Предлагаю порядок этот изменить. Для меня главное то самое и есть, что у вас в конце числится,— Мещеряков остановился в коридоре, повторил: — Где, спрашиваю, военный отдел? Ну!

И все остановились. Брусенков — как раз напротив Мещерякова, руки в карманы, Тася Черненко — справа от него, Коломиец — слева. Довгаль — чуть впереди, у противоположной стены коридора. В коридоре было полутемно, торопливо проходили мимо какие-то люди. За дверями слышались чьи-то голоса...

— Слушай, Ефрем,— сказал Довгаль.— Давай нарушать не будем! Военный отдел потому намеченный последним, что тебе с ним делов больше, как со всеми другими вместе. Ты в нем и останешься, будет надобность, а мы сможем уже быть свободными, то есть уйти каждый по своим местам. Вот так. Просто.

— Где военный отдел?— повторил Мещеряков.

Ему никто не ответил. Тогда он шагнул вперед, слегка отстранив Брусенкова, и открыл ближайшую дверь. Войдя, спросил громко и требовательно:

— Какой отдел?

Из глубины комнаты неловко поднялся крупный человек, смуглый, бородатый, в расстегнутой почти до пояса рубахе, и не по-военному, но все-таки в тон Мещерякову также громко ответил:

— Юридический!

— А где военный?

— Отсюдова — вторая дверь. И направо тоже!

— Ясно!— ответил Мещеряков и снова повернулся, а в дверях уже стояли его нынешние сопровождающие. Стояли, тесно прижавшись друг к другу, но не двигались ни туда, ни сюда. Потом к Мещерякову протиснулся Довгаль, положил ему руку на плечо.

— Слушай, Ефрем,— сказал он,— ты человек военный, и не с этого тебе надо начинать, не с нарушений и не с глупого упрямства. Нас четверо, членов главного штаба, и для нас такой порядок — хороший, тебе одному только он плохой, а ты знай к своему гнешь...— Посмотрев на Мещерякова еще, Довгаль вдруг улыбнулся: — И все одно — ты и сам вошел в юридический, куда мы все вчетвером тебя хотели сейчас завести. Ну? Поимей же терпение!

Мещеряков постоял, потом кивнул в сторону бородатого юридического работника. Обернувшись к Брусенкову, сказал:

— Спрашивай, товарищ Брусенков. Я послушаю. Спрашивай вот этого. Объясняй — что к чему?

У Брусенкова же все еще рябинки были чуть красноватые, брови сдвинуты над узким и длинным носом. Уголком рта он покусывал снова затухшую цигарку.

— А может, еще поупрямимся, товарищ главком? — спросил он.

— Ну, когда тебе так понравилось... — ответил Мещеряков, а Довгаль обернулся к Брусенкову:

— Это ты тоже брось, Иван!

— Где товарищ Завтреков? Заведующий? — медленно, будто нехотя, спросил Брусенков у бородатого работника юридического отдела.

— Он что — сильно тебе нужон? — спросил тот.

— Сильно.

— Тогда он в главной следственной комиссии. Дело гражданки Решетовой решает.

— Текущие все дела отложить надо отделу. Текущие — после. А нынче заниматься исключительно и главным образом подготовкой к съезду.

— Занимаемся.

— Мало. Мы, может, товарища Завтрекова не дождемся, тогда ему передай, не откладывая, чтобы пришел ко мне и сделал свое предложение обо всех наших названиях. Положить надо конец безобразию и неразберихе! — Голос был у Брусенкова уже как обычный — глуховатый, отрывистый, требовательный. Он сделал как бы выговор работнику и замолчал, а вступился Довгаль и стал объяснять Мещерякову:

— Ведь у нас как, товарищ главнокомандующий? У нас по сю пору кто как вздумает, тот так и называется. И Краснопартизанская мы республика, и республика Соленая Падь, и Освобожденная территория, и просто — народная власть! А взять хотя бы, товарищ главнокомандующий, твою же армию?.. Армия, а порядку в ней того меньше, она — партизанская, красная, народная, объединенная, крестьянская, верстовская, соленопадская, мещеряковская — это же все упомнить и то невозможно! Пишем документы, протокол объединенный подписали, а после и понять будет невозможно, кто ж все-таки его подписывал? И когда прямо сказать,

то более всего в этом виноватые мы — руководство. Тут скрывать нечего.

— Надо раз и навсегда решить и записать,— сказал Брусенков.— А для этого неотложно надо собрать съезд, во всем утвердиться и наперед всего решить — кто мы?

Мещеряков кивнул. И о себе подумал, что он тоже далеко не все нынешние названия знает и понимает. И для всех-то тут — лес темный. «Ладно,— подумал он.— Не вовсе уж зря я в этот отдел тоже явился». И он спросил у бородатого юриста:

— Еще-то вы чем занимаетесь? Кроме названий — чем? К примеру?

— К примеру, составляем уголовный и гражданский закон для Освобожденной территории — это раз... Утверждаем все положения о конфискационных комиссиях, равно и акты крупных конфискаций. Все другие отделы, кроме военного, когда они издают распоряжения всеобщего значения, то с нами эти распоряжения заодно и подписывают. Еще организуем суды — сельские и волостные. Надзираем за лагерями военнопленных, передаем их отделу труда для разверстки по дворам как рабочую силу, принимаем жалобы граждан на неправильные действия народной власти...

Загибая крупные потрескавшиеся пальцы, работник юридического отдела продолжал и продолжал приводить примеры:

— Хотя если обратно сказать, то у нас есть и без конца и краю становится всяких комиссий по всяким вопросам — они отделам все менее и менее подчиняются, а все более и более лично вот товарищу Брусенкову. Потому что они именуются не просто так, а чрезвычайными,— еще сказал юрист.— Хотя бы и чрезвычайная юридическая.

Мещеряков ответил ему:

— Ну, существуйте! Делов у вас — вот!— и похлопал себя по верху серебристой папахи.— Пошли? Дальше?— обратился он к Брусенкову.

Но тот снова махнул рукой в самую бороду юриста:

— Как понимаешь свою главную задачу? Самую главную?

— То есть?

— Ну, со всей глубиной?

— Трудную жизнь живем нынче... Все надо предусмотреть. Все! На далекое будущее.

— А что это — все? — заинтересовалась Тася Черненко.— Это как вас понять? Скажите, мы выслушаем.

— Когда выслушаете, я бы объяснил так: делаем мы власть, после под нее делаем закон. А надо бы вовсе наоборот: сделать всенародным обсуждением закон, после призвать к нему власть, которая его блюла бы и свято исполняла и за это перед народом на съездах отчитывалась бы.

— А кто же сделает, по-твоему, самый первый закон, если не власть? От безвластия закон никогда не произойдет,— усмехнулся Брусенков.

— Самая первая власть и должна быть чисто законодательной, то есть выслушать народ, записать, какой он хочет для себя закон. После от власти уйти и никогда ею не быть. Ни при каком уже случае.

— Как дева Мария,— родить без власти законы,— усмехнулся Брусенков.— А то еще хуже — как ровно ты по Учредительному собранию тоскуешь? Закон без власти надумал, а? Да я такой закон навыдумываю для кого-то там, такой хороший, что его сроду ни одна самая наилучшая власть не сможет осуществить! Получится одно беззаконие! Это вот и сейчас уже, на сегодня, каждому видно, что даже у нас в отделах люди не столь занимаются делом, как выдумывают... Один — с деньгами выдумывает, другой — хочет закон без власти... И так далее, без конца. Я когда тебя спрашивал, что самое главное должно быть в отделе,— я ждал, ты скажешь: укрепление новой народной власти! Вот что я услышать хотел. А ты? Не забыть надо сказать о тебе товарищу Завтрекову. Как фамилия-то?

— Проскуряков.

— Понял ты меня, товарищ Проскуряков? Сделал вывод?

— У меня вывод загодя уже был сделанный. То есть я знал — тебе, товарищ Брусенков, мнение мое вовсе не поглянется.

— И в этом ты вовсе правый,— согласился Брусенков.— В этом — да! Потому что твое мнение — оно не твое. Оно — к большому нашему сожалению, нерасстрелянному Якову Власихину в первую очередь принадлежит. Вот кому. Вредные мысли — они живучие. Их кто-то заронит, и заботы нету, что они живучие, другим приходится их раскорчевывать!

— Так ты считаешь, это что же — ерунда?— удивился бородатый юрист.

— Я за это ручаюсь. Где только ты набрался подобных мыслей? Не на пашне, поди, и не в скотской ограде, а где почище?

— Набрался я этого, где погрязнее. Заседателем в судах и в волостном и в уездном сиживал. В буржуазном и в капиталистическом суде. И не один год. Там и набрался. А грозиться ты мне не грозись, товарищ Брусенков! Я на службе не у тебя и не у товарища вот главнокомандующего — у народа. Так же, как и ты. Мне народ — сход либо митинг — укажет уйти, я уйду, спасибо скажу за освобождение от службы. Пойду на свою пашню, к своей скотине. А покуда я служу своей головой, какая она у меня есть вместе с мыслями, и вы тут не то что стращать меня всем кагалом должны, а должны меня слушать и понимать!

— Ишь ты,— сказал Мещеряков,— ишь как ты нас бреешь! Чисто!

И опять, уже когда снова были в коридоре, Тася Черненко, посмотрев на Мещерякова коротким, внимательным взглядом, который он, однако, тут же и поймал, сказала:

— Трудно подбирать работников! Очень трудно! И мало их. И те, которые есть, далеко не всегда сознательные...

В тон Тасе Черненко Мещеряков заметил:

— Ищут все нынче. Все и каждый. Не каждый знает, чего ищет...

— И ты?— спросила Тася, впервые обратившись к Мещерякову на «ты».— И ты ищешь, товарищ главнокомандующий?

— Мне просто,— ответил ей Мещеряков,— побить Колчака. И даже того понятнее — нынче же надо побить генерала Матковского. Все! Кому это непонятно?

Следующим был отдел агитации и информации.

Тут работники оказались налицо, и все они вместе с пришедшими расселись по столам, стульям и подоконникам, а Брусенков сказал Тасе Черненко, чтобы она читала документы, подготовленные отделом в последние дни...

Тася читала «Воззвание главного штаба ко всей трудовой интеллигенции».

— «На нашей общей обязанности лежит разрушить старый строй и создать новый, одеть голых, накормить голодных, обучить неученых, защитить несправедливо обиженных!— читала Тася.— Не верьте слухам, что

мы — грабители, что мы — тот «красный зверь», о котором вопит Колчак, будучи сам с ног до головы в невинной человеческой крови. Когда сто человек голодных отнимают у одного богатого пищу — это не грабеж, а справедливость. И на этом пути социальной революции политический жернов эпохи перемолол уже многих кумиров. Из Временного правительства, до сих пор милого многим вашим сердцам, он сделал пылинки и атомы, которые ссыпались в мешки забвения. Рабочие и крестьяне побежали от этого политического Вавилона, как мопассановский герой от Эйфелевой башни.

Техническая помощь извращенной прессы сдавила крестьянину и рабочему мозги, и только интеллигенция пошла за ним, как за вифлеемской звездой.

Прежде многие из вас, интеллигенты, звали мужика делать революцию, но дядя Иван гнал вас палкой: «Молчите, крамольники!» Но роли переменились, теперь Иван зовет вас: «Пойдемте делать революцию!» — а многие интеллигенты его палкой: «Молчи, крамольник! Это не революция, а пугачевский бунт!»

Товарищи трудовая интеллигенция! Чтобы наше восстание в действительности было непохожим на бунт, вы должны быть с нами. Смело несите знания нам, восставшим за добро и правду! Целость ваших жизней и имущества гарантирована нашими приказами, запрещающими разбой и самоуправство!»

Тася кончила читать, все замолчали, и тут Мещеряков заметил — все смотрят на него. И еще он подумал, будто все, что делается нынче в главном штабе во всех отделах, делается для него, происходит испытание ему... Когда бы Брусенков и все другие этого не хотели, так и начали бы показывать штаб с военного отдела, который для главнокомандующего всего важнее, в котором он понимает и разбирается... Нынче какая-то идет с ним игра. Недомолвка какая-то во всем, что происходит. И сейчас, нет чтобы читать Тасе Черненко и дальше — все смотрят на него, ждут, что скажет он.— «Так и есть — испытание! Соображаю либо нет я в ихних делах... Или солдатишка серый — «ура-ура!», а ни на что больше не способный!» — подумал Мещеряков. Спросил:

— Это кто же сочинил?— Обвел всех глазами, остановился на фигуре немолодого уже человека, который, сложив на груди руки, сидел на узком подоконнике, свешивая часть туловища за окно.— Ты?

— Я!— подтвердил человек с подоконника.

— Так это за тебя мы и голосовали в главном штабе? Тайным голосованием ставили тебя на должность? Пуговицы в ящик опускали?

— За меня...

— Ясно!

«Отгадал — правильно...» — вздохнул Мещеряков.

— Забыл — у тебя образование какое?— разговаривал между тем Брусенков с заведующим отделом.

— Систематическое — высшее начальное. А затем самообразование в книжной лавке.

— Дальше-то я уже знаю об тебе: двадцать годов приказчика в книжной лавке прошел. Двадцать годов! Это сказать, товарищи, так сколь университетов стоит?— Брусенков обернулся к Тасе Черненко, Мещерякова он миновал взглядом и весело так сказал:— И вот пошла эта служба впрок — гляди, как кроет! Правильно написано товарищем! Что непонятные слова — про звезду, про башню, про жернова — тоже правильно! Что она, интеллигенция, все понимает, что ли? Сроду нет! Когда понимала бы, то и нельзя было про нее написать, как здесь написано: то она Ивана звала на революцию, а тот не шел, а то Иван зовет ее не дозовется революцию делать! И тут разница большая — народ за несознательность винить хотя и нужно, но далеко не так, как интеллигенцию, когда она получила образование, и не для себя только, а должна отдавать его народу! И винить ее за это надо сильно и как можно больше. А еще говорить ей непонятные слова — она их любит, не может без их дня прожить!

И тут вдруг Мещеряков встал и пошел. Пошел в военный отдел. «Надо сделать — сейчас же встать и сейчас же идти. Идти одному, никого не дожидаясь!»

А встал и пошел даже раньше, чем так подумал.

В военный отдел быстро распахнул дверь и тотчас оценил обстановку.

Люди здесь были все побриты чисто — не иначе как утром нынче брились... Это значит — вчера знали о встрече с главнокомандующим. И столы по ранжиру поставлены в отделе, и лампа керосиновая стояла на одном из столов — показывала, что люди тут и ночью работают, и, конечно, находилась лампа на столе у начальника.

— Здравствуйте, товарищи!— сказал Мещеряков громко.

Военный отдел — пять человек — встал, нестройно ответил на приветствие. Не по-военному ответил и не по-штатски. Ответил, замолчал. Чего-то ждали люди еще, не хватало им чего-то...

Вернее всего, не хватало Брусенкова. Они не думали, что Мещеряков явится к ним один — без сопровождения начальника главного штаба.

— Вольно! — весело так и насмешливо подал команду Мещеряков, потому что в команде этой не было необходимости — люди и так стояли «вольно», а не «смирно».

Потом на лицах сотрудников военного отдела исчезла растерянность, все враз вздохнули, и Мещеряков понял — позади него, в дверях, появился начальник главного штаба.

— Да ты проходи, проходи, товарищ Брусенков,— сказал он ему, оглянувшись.— Послушай, о чем у нас тут пойдет разговор! Ты же член ведь нашей военной ставки!

И Брусенков шагнул с порога в комнату, а Мещеряков тотчас закрыл за ним дверь. В коридоре остались Довгаль, Тася Черненко. Им он сказал:

— А мы, товарищи, здесь враз и управимся! Ждать нас долго не придется!

Подошел к столу с лампой, спросил у полного, уже немолодого человека в гимнастерке:

— Заведуешь?

— Заведую!— ответил тот.

— Фамилия?

— Струков!

— В германскую кем служил, Струков? На каких фронтах? В каком чине, когда демобилизовался?

— Пехота. Был на Восточно-Прусском, после — на Юго-Западном. Прапор. Домой вернулся в октябре прошлого года.

Мещеряков спрашивал, Струков быстро и четко отвечал, не задумываясь.

— Какое это в данный момент имеет значение?— начал было перебивать разговор Брусенков.— Какое значение имеют твои вопросы, товарищ главнокомандующий?

А Мещеряков строго спрашивал и спрашивал дальше:

— В Луцком прорыве шестнадцатого года был?

— Случилось...

— Это какого же было числа, подожди, подожди?..— проговорил Мещеряков, вспоминая.— Генерал Брусилов пошел в прорыв какого числа?

— А в мае, когда считать по старому календарю!— ответил Струков и начал вспоминать, как было дело, до тех пор, пока Мещеряков сам не перебил его:

— Коротко: для чего твой отдел существует?

Вот тут впервые Струков задумался. Посмотрел на Брусенкова...

— Ну, вот хотя бы мобилизация. Снабжение армии. Оружейные мастерские. Всё — наши вопросы...— стал отвечать наконец Струков.

— Для мобилизации в армии есть штаб. Для снабжения — отдел снабжения. В главном штабе Освобожденной территории есть отдел финансовый и конфискационные комиссии. Мне нынче показывали все это, чтобы я понял. Я и понял. Как надо, разобрался. Не знаю только — зачем ты? И к тому же — по всем вопросам. Когда бы ты занимался, скажем, одной только мобилизацией, я бы и тебя тоже понял и распустил бы своих работников, которые мобилизацию проводят. А когда ты едва ли не всеми вопросами занимаешься — мне что же, весь свой штаб расформировывать или как? Кроме разве что оперативного отдела да еще разведки? Или, может, и разведка мне тоже уже ненужная?— Это все Мещеряков сказал будто самому себе, но тут же снова быстро обратился к Струкову:— Ну, ладно! Мы в главном штабе делали протокол объединения, ты тот день был у товарища Крекотеня. Так мне товарищ Брусенков объяснил. В какой деревне был?

— В Тимаковой...

Мещеряков быстро расстегнул планшетку, вынул карту, показал пальцем:

— Вот она — Тимакова... Вот она — дорога на Соленую Падь. Обрисуй, пожалуйста, кратко военную обстановку: где наши части, где дислоцируется противник?

Струков начал вглядываться в карту, пересек тонкую линию дороги ногтем:

— Наши — тут... А вот тут — белые. Да я ведь вовсе и не с оперативной целью был. Был по делам мобилизации.

— Ну все равно как военный отдел интересовался же ты положением?

— Не успел. Спешил слишком.

— Это, конечно, может быть. Тогда давай коснемся здешнего положения. Надо же нам с чего-то общее дело начинать. Как ты находишь оборонительные работы под Соленой Падью? Признаешь хорошими?

Струков снова подтянул к себе карту и стал показывать, где и что сделано, какие выкопаны окопы, где, по его мнению, следовало бы еще копать. Мещеряков слушал внимательно. Поддакивал. А тогда и Струков спросил вдруг его:

— Мне тоже интересно — как ты дело находишь, товарищ главком?

— В какой части?

— Ну, хотя бы в части состояния армии? Общего состояния?

— Общее оно среднее. До хорошего далеко.

— Почему так?

— Почему? Взаимодействия частей не было вовсе... Насчет взаимной поддержки командиры частей хотя и вспоминали, но только тогда, когда противник их сильно бил. Не раньше и не позже. Уход за оружием тоже слабый, а местами об нем и вовсе забыли. Служба связи не поставлена, и бабы на позициях шляются: свои, и чужие, и вовсе беженки. Выпивки много по сю пору. Разной опять же. И самогонка, и бражка, и даже лавочная, эта уже вовсе не понятно откуда берется: лавочной же торговли уже год как не ведется и даже более года? Уж не фальшивая ли водка? Ежели фальшивка и подделка — тогда и до массового отравления легко может дойти дело. Я такие случаи лично видывал, приходилось.

— Это потому,— вступился Брусенков,— что у нас гражданское население повсеместно исполняет наряды на рытье окопов. А всем и каждому известно — гражданское население без баб не бывает. Но я спрошу так: кроме баб, ты на позициях заметил еще что, либо нет, товарищ главком? Командные курсы наши заметил? Всю армейскую организацию? В целом?

Мещеряков прошелся по комнате, остановился. Постоял. В окно поглядел. А когда обернулся, сказал:

— Ну, вот что, товарищи, я уже и готовый ответить на все вопросы. То есть как я понял ваш военный отдел.— Шагнул от окна на середину комнаты.— А понял я так: ты, Струков, вовсе и не бывал в Тимаковой тот день, когда мы подписывали объединенный протокол. И в штабе тоже не был — не хотели мне тебя показы-

вать. Не расчет тогда был. Зато был ты на местных оборонительных позициях. Был так: ходил следом за мной. Узнавал, что я делаю, как распоряжаюсь и разговариваю как. После товарищу вот Брусенкову все докладывал.

Струков заметно вытягивался, принимая стойку «смирно». А Брусенков подошел к Мещерякову:

— Так вот мы и не скрываем, товарищ главнокомандующий, что над тобою и над всей армией должно быть со стороны главного штаба руководство, а значит, контрольность. Так и должно быть. Не иначе. Ни твоей бесконтрольности, ни чьей другой не допустим. Тем более в военное время. Кончим воевать — другой разговор: мирная жизнь, она потому и мирная, что свободнее и без контрольности обходится. А нынче — положение всей жизни военное. Не тебе это объяснять!

— Понятно. Но когда я об контроле об этом знаю — это одно. Когда он от меня делается тайно — то это называется шпионство. И чтобы впредь таких недоразумениев у нас не случалось, я прямо заявляю: для меня нынешнего военного отдела не существует! А ежели все ж таки кто из его работников будет и дальше шариться в армии, по моим следам ходить и нюхать, то я отдам приказ брать таких и стрелять, как за шпионство!

Брусенков покраснел: рябины его по всему лицу сделались кровяными. Клюква или брусника. Он еще шагнул к Мещерякову, но тот не дал ему говорить, сказал сам:

— Дальше. Дальше так: я ультиматум до конца все ж таки не ставлю. Предлагаю: завтра в десять часов товарищ Струков является ко мне в штаб армии и дает обещание, что никакого шпионства с его стороны более не будет. После того он докладывает свои честные соображения — как отдел его может армии и общей нашей победе помогать и в действительности быть полезным. Когда мы с товарищем Жгуном, начальником моего штаба, эти предложения усмотрим как хорошие — то и хорошо дальше будем вместе работать. Когда они будут для нас негодные — то я уже окончательно и в полном ультиматуме повторю нынешние слова: военного отдела для армии нет и не существует! Все! В других отделах я больше нынче находиться не имею возможности — некогда!

И, козырнув, Мещеряков быстро пошел прочь из комнаты. Распахнул дверь... Остановился. Так же резко

вернулся, вынул из кармана и положил на стол коробок с цветными карандашами.

— Это ты мне давеча прислал, товарищ начальник главного штаба! — сказал Брусенкову, но не оборачиваясь к нему. — Возьми! У нас и в своем штабе таких дополна!

Брусенков усмехнулся, протянул руку, взял коробок, потряс его около уха. Сказал:

— Ну, мы примем пре́дметы обратно. Вовсе не постесняемся принять. А еще вот что — отдай-ка нам золото! Сорок семь тысяч и сколько там у тебя фунтов? Не хочешь отдавать военному отделу — отдай прямо в главный штаб. Прямо мне. Я ужо использую. Смогу. На общее наше дело и с умом использую...

— Нет, — ответил Мещеряков. — Не отдам. Самому пригодится. — И еще раз, уже с порога, повторил: — Не отдам!

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

На другой день в избе Толи Стрельникова снова собрались члены главного штаба.

Сидели в горнице.

Спокойным оставался, кажется, один только Брусенков.

Изба Стрельникова всем была знакома, но уже по одному тому, что это было жилье, а не штабное помещение, здесь невольно приходило на память, что к ночи люди имеют привычку ложиться спать, утром — вставать и завтракать, днем — обедать...

После напряжения, в котором жил главный штаб, после бессонных ночей, бесконечных посетителей, бесконечных событий, которые врывались вслед за этими посетителями, или в донесениях с мест, или еще как-то, даже неизвестно как, — обычное жилье казалось странным, и поначалу всех охватило какое-то оцепенение.

Однако молчали недолго.

Необычная была нынче встреча.

Разговор начался тихим, сдержанным — о том, о другом...

Тася Черненко все глядела в окно, будто упорно ждала еще кого-то, на продолговатом смуглом лице ее проступал неровный румянец, пальцами то одной, то другой руки она теребила металлическую пуговицу

гимнастерки. Пуговица оставляла на пальцах серый налет. Тася вытирала их о голенище сапога и принималась теребить пуговицу снова.

В кухне тяжко шаркала ногами и кашляла нутряным, навек приставшим кашлем древняя старуха — Толи Стрельникова бабка.

Толина мать умерла давным-давно, он ее не помнил, бабка и воспитывала его вместо матери, а теперь воспитывала и выхаживала, как могла, правнуков, и родных и неродных: жена Толи тоже померла лет пятнадцать назад, он снова женился, женился на вдовой и детной. Вот и росли артельно ее ребятишки и его, от первой жены, и общие, от нынешнего брака.

Жена и старшие дети страдовали, рыли окопы, малые все были на огороде, бабка одна и хозяйничала в доме, изредка стонущими, глухими окликами призывая в помощь девчонок, которые возились на крыльце с самыми малыми, искались друг у друга.

— Старая уже сильно. А ходит. Работает...— сказал Довгаль, прислушиваясь к шагам на кухне.

— Всю-то жизнь так...— кивнул Толя, плотнее заправил пустой рукав домотканой рубахи за пояс.— Я в пятнадцатом годе в лазарете лежал с масленки и до покрова. После первой еще контузии. Еще был с рукой. И вот — закрою глаза и слышу: бабка-то ходит, ходит, ходит... День-ночь без конца и краю ногами шебаршится и грудью кашляет... Я расту — из сосунка в парнишку, из парнишки в парня, из парня в мужика,— а она все шарк да шарк. День-ночь, день-ночь... По кругу.

Удушливо пахло геранью, расставленной в глиняных горшках по всем подоконникам. Иные горшки были поломаны, повязаны бечевками, из одного сквозь щель выползал на подоконник узловатый корень.

Посреди широкой деревянной кровати, покрытой лоскутным одеялом, будто в беспамятстве, лежал, раскинув все четыре лапы и хвост, рыжий встрепанный кот с разорванным до основания и еще не зажившим ухом. Черные с отливом и жадные мухи тревожили ему незажившее место, забирались внутрь, кот скалился, бил по уху лапой и просыпался, но тут же снова впадал в сон, даже храпел.

В углу, возле печки-голландки, на гибкой жердочке чуть покачивалась пустая люлька.

— Что — пустая-то весится?— кивнул на люльку Довгаль.— Снял бы, когда не нужна...

— А это баба не сымает,— ответил Толя рассеянно.— Все ж таки, говорит, острастка. Надпоминание.

— Ну и как?— осведомился Коломиец.— Как? Помогает? Ты-то — боишься?

— Я-то — не сильно. А баба — та страшится. Который раз.

— Все одно — толку нету!— махнул рукой Коломиец, пошел на кухню закурить от уголька, а когда вернулся, сказал еще:— Мы вот многодетных и малоимущих даже от службы в народной армии освобождаем, бумагу им пишем на этот предмет в отделе призрения. А ты мало того — многодетный, еще и безрукий, а служишь! Зря это ты, однако... Без тебя революция не погибнет тоже.

— Не в армии служу — в ополчении!— отозвался Толя.— Ну, а когда революция не погибнет без меня, то я без ее — запросто. Другие есть — с одной рукой научатся делу, а я без правой жизнь потерял, ничего не мог. У лесопилки живет Елисеев Никифор — тот запрягает одной рукой! Веришь ли — уздает, и хомутает, и засупонивает. А я? С готовой вожжиной могу управиться — не более того! А тут — сгодился! И еще как сгодился: у меня есть в ополчении и с руками и с ногами, кругом целые, а мне все ж таки подчиненные! Я и сам к этому долгое время был без привычки.

— Привык?— спросил Довгаль.

— Ко всему человек привыкает.

Коломиец кивнул в знак согласия с Толей, еще сказал:

— Нынче власть от народа отказу ни в чем не имеет...

— И об народе тоже заботиться надо,— заметил Брусенков.— Но ты, Коломиец, уже сильно за сознательность прячешься! Я тебе приказывал на страду квасу вывезти бочек десять для жнецов, соли выдать им же из общественного магазина по осьмушке — ты не послушался. И пересказывали мне, будто сказал еще: «Народ — он и без осьмушки нынче сделает! Его нынче вовсе не корми — он сделает!» Это правда, нет ли?

— Так я с твоих же слов, товарищ Брусенков, говорил,— удивился Коломиец.— Ты, когда мне приказ давал, эти же и слова говорил! Вспомни-ка!

— Я-то, может, и говорил, но приказ сделал. А ты второстепенные слова повторяешь, а исполнение приказа не делаешь. Еще случится — наказывать будем те-

бя! — И вот тут-то, совершенно неожиданно для всех, хотя все ждали этого, ради этого собрались в избе Стрельникова, Брусенков сказал: — Значит, так — самое главное произошло вчера в главном штабе, за дверями военного отдела, куда Мещеряков даже не посчитал нужным всех вас запустить. Он заявил, что военному отделу не станет подчиняться, а работников его будет на позициях брать. Как за шпионство. Так что мне от себя лично добавить к этому, пожалуй что, и нечего, разве еще, что в конце концов он даже в конфискованном золоте самому главному штабу отказал. Общее положение: наша армия под руководством товарища Крекотеня теряет силы, ведет бои, а бывшая верстовская тем временем сил набирается. Будет ли она после того действительно защищать Соленую Падь до последней крови — никому не известно. Положение требуется менять. В корне и окончательно. Мы и так опоздали. И дальше сильно опаздываем. Что ни день — Мещеряков имеет больше власти в армии, заблуждает вокруг своей личности народ, уже хватит ему такие дни предоставлять. Отседа ясно, как сделать! Предлагаю, как и с самого начала предлагал, — взять Мещерякова, предъявить ему ультиматум. Ультиматум такой: чтобы ни один его приказ по армии без подписи главного штаба не считался действительным. Чтобы немедленно стянул армию к Соленой Пади. Товарищ Крекотень — командующий фронтом, а фронт один — то есть фактический командир он и есть, а главнокомандующий — тот, скажем, как в прошлом военный министр, не более того. Чтобы признал свою ошибку по вопросу о Власихине. Чтобы отдал золото. Последнее не потому, что оно нам нужное, а потому, что оно и ему ненужное тоже. Теперь — взять Мещерякова. Это не просто, но я беру на себя. Сделаю. Мне нужна допрежь всего даже и не сильно большая помощь Толи Стрельникова, как проверенного и смелого члена нашего главного штаба. С Толей мы уже договорились насчет действий... Так, товарищ Стрельников?

Толя кивнул, поправил рукой по-детски взлохмаченные и светлые волосы.

— Затем уже нужно будет такое же, как сейчас наше, совещание, на котором мы и предъявим все вместе взятому товарищу Мещерякову указанный ультиматум. И решим по всей строгости, как поступить. Все. Хватит слов. Будем осуществлять!

Сильнее запахло геранью в избе Толи Стрельникова, слышнее стало, как храпит на койке рыжий кот, огрызаясь во сне, и как бабка двигается на кухне: шарк-шарк...

Тася Черненко еще раз посмотрела через герани в окно, вздохнула и отвернулась... «Ну, вот и все,— подумала она.— Все сказано. Бывает, что сказать труднее, чем сделать». И не то с благодарностью, не то все с тем же чувством облегчения перевела взгляд на Брусенкова, на его сухощавое пестроватое лицо и, когда Брусенков замолчал, продолжала смотреть, ждать от него еще каких-то слов. Как-то особенно звучали для нее сегодня его слова, глуховатый, уверенный, спокойный голос. Потом, в тишине, Тася подумала: «Это война!», и тут ей показалось, что только сейчас она и увидела войну, сию минуту открыла ее. «Ну, конечно,— продолжала она размышлять теперь уже об этом неожиданном открытии,— война — это когда перешагиваешь через себя, через свои представления, как через трупы!» Она вспомнила, что никогда не перешагивала через трупы, не раз видела убитых, только не вблизи, а издалека, но повторила еще раз: «Как через трупы!»

Война — вот что было настоящим огромного множества людей, и Таси Черненко тоже. На двадцать третьем году жизни она наконец-то обрела это настоящее, а двадцать два года — с самого младенчества — только и делала, что от настоящего уходила.

И настоящим же был Брусенков.

С пестрым лицом, с хрящеватым носом, с маленькими, тоже пестроватыми, умными и жестокими глазками. С желанием начать все сначала, если уж сама жизнь заставляет его начинать.

Тася смотрела на него: это он был готов избавиться от изначальной ошибки, от самого первого человеческого «не то», он выражал тысячелетнее возмущение «не тем», не подозревая даже, что ведь вся целиком жизнь тоже могла быть «не той»...

Нет, подозрения не смущали его. Если жизнь действительно не та, он действительно разрушит ее без сожаления. Без сожаления погибнет и сам.

Никто так не чувствовал внутреннего, скрытого порядка в хаотическом беспорядке войны, никому не было дано так просто распряжаться всем — сражениями, судами, жизнями,— как Брусенкову.

И нынче Тасе Черненко показалось очень странным, что еще несколько дней назад, когда Брусенков в этой же избе, сидя на этом же деревянном стуле с прогнутой спинкой и с исцарапанной кошачьими когтями задней ножкой, предлагал устранить Мещерякова,— она заколебалась, не поддержала его. Почему она заколебалась тогда? Что это была за слабость?

Обернувшись к Довгалю, она вдруг заметила какую-то его интеллигентность,— аккуратное и красивое лицо стало ей неприятным.

Она еще не знала, как далеко зайдет сейчас спор между Брусенковым и Довгалем, но как бы далеко он ни зашел, она никогда уже не позволит себе тех колебаний, той двусмысленности, той постыдной слабости, которой она поддалась однажды — при решении вопроса о Мещерякове. Никогда!

Довгаль между тем заговорил медленно, тяжело.

— Как на разговор Мещерякова в военном отделе посмотрел заведующий товарищ Струков?— спросил он у Брусенкова.

И Тася подумала: «Зачем, к чему этот вопрос, когда уже все решено?»

— С товарищем Струковым вовсе худо,— ответил Брусенков, нетерпеливо поглядев на Довгаля.— Товарищ Струков безоговорочно, как и назначил ему Мещеряков, явился к нему нынче утром в штаб армии, где они уже втроем, с участием штабс-капитана Жгуна, договаривались о фактическом подчинении военного отдела штабу армии.

— Почему товарища Струкова опять нет между нами?— снова спросил Довгаль.

— Это смешно!— ответил Брусенков и вдруг в самом деле засмеялся.— Человек пошел на поддержку Мещерякова, мы все считаем — Мещерякова необходимо устранить, а после того будем звать этого человека, советоваться с ним? Это смешно!

— У меня есть вовсе новое предложение...— сказал Довгаль.— Назначить к Мещерякову от главного штаба комиссара. Назначить товарища Довгаля.

И Толя Стрельников и Коломиец смотрели вопросительно: не поняли. Понял Брусенков. Подумал и сказал:

— Соглашательское зрение. Вообще и на самого себя. С самим собой идешь на соглашение, предлагаешься в комиссары. Странно. Или ты думаешь, что Мещеряков

согласится на твое при нем комиссарство? Бесполезно же это!

— Я не перед ним вопрос ставлю — ставлю сейчас его перед вами. Дайте мне ответ, а тогда уже и пойдет разговор, как Мещерякову мнение представить.— И еще, в упор посмотрев на Брусенкова, Довгаль проговорил: — Далее же вопрос я поставлю перед всем нашим главным штабом. В полном его составе!

Поскрипывала люлька, едва заметно пригибая тонкую неотесанную жердочку с коричневой корой. Не то ореховая была жердочка, не то черемуховая. Кот потянулся на кровати, открыл один глаз, глянул им на людей, закрыл снова...

— Навряд ли наше мнение будет положительным для тебя, товарищ Довгаль, навряд ли!— ответил Брусенков.— И в целом я вот только что подумал, спросил себя — а заслуживаешь ли ты теперь положительного? К своей личности? Хотя сейчас не в том даже дело. Вызываешь ты один вопрос. Не знаю — ловко ли задавать его? Но снова повторяю: ты же сам его вызываешь...

— Очень-то уж сильно не стесняйся.

— Тогда задаю этот вопрос. До сего времени мы впятером и даже четверо решали за главный штаб. Вплоть до объединенного протокола, который с Мещеряковым подписывали. А вот нынче, когда мы не назначим Довгаля комиссаром при Мещерякове, то он в своем недовольстве пойдет перерешать вопрос уже на полном составе штаба! Почему до сего дня порядок был для Довгаля хорош, он сам в нем хорошо участвовал, а нынче он стал ему плохим? Выслушать бы. Понять бы товарища Довгаля. До конца! Без этого — нет в тебе необходимой ясности, Довгаль. Без этого ты — как тот Мещеряков — внушаешь такое же сомнение. Такое же сильное.

Довгаль провел обеими руками по лицу, потом положил руки на колени, кивнул:

— Не напрасно я нынешнюю ночь об этом твоем вопросе думал. Думал — почему я в таком порядке до сей поры плохого не видел? Отвечу: не выпадало ему полного испытания. Удавалось нам под наш порядок вопросы подгонять. Но вот явился вопрос, он уже в наш порядок не влазит, и будет преступление, когда мы все одно будем стараться его обратно запихнуть. Он покрупнее нас с тобой, этот вопрос, товарищ Брусенков. Убрать или не убрать нынче главнокомандующего — это вопрос каждого товарища солдата, за кем он пойдет

в бой, кому он верит? Восстали мы тоже не четверо и не пятеро — восстал народ, а народ невиноватый, что мы между собой раскололись, виноватые в этом мы сами. Из своей вины мы не можем делать от народа тайну, тем самым делать ему плохое, а должны во всеуслышание о ней сказать. После уже сделать, как скажет народ. Так что если мы расколемся не только сейчас, но и в полном составе, все семнадцать членов главного штаба,— то я пойду еще дальше.

— Так... Пойдешь... Но пошел-то ты предлагать себя в комиссары опять же к нам — к той же четверке либо к пятерке, на которую ты едва ли не всему народу готовый жалобу принести? Если мы с тобой не согласимся. Ну, а когда согласимся, ты, верно, уже не будешь жаловаться никому — на согласие с тобой мы правомочные, это на отказ — ни в коем случае?

— Согласие — оно никому не угрожает. Согласие — это сохранить Мещерякова и,— учти, Брусенков,— Брусенкова тоже. Раскол же — это жертва, и мы ее делать сами по себе не имеем права. А во-вторых, объяснял уже я: наша рабочая группа — четыре человека — нынче доказала, что она плохая. Пока мы этого не видели. Увидели же, и не как-нибудь, а глазами и душой — значит, надо менять дело. Значит, пора вспомнить, что не наши только головы решают, решают и те, кого с нами нету,— члены главного штаба, кто в дружинах нынче и в полках тоже делает победу. Хотя бы тот же товарищ Петрович в полку Красных Соколов и многие другие. Мы настолько об них забыли, об других, что несколько человек уже к сегодняшнему дню есть среди них расстрелянные за проступки. Нами же и расстрелянные. А ведь опять же решений на это всего главного штаба не было? Хватит забывать! Надо вспомнить, пока не поздно, пока мы, может быть, самого печального для всего нашего восстания расстрела не сделали.

Было видно, что Довгаль ни в коем случае с Брусенковым не согласится.

И Брусенкова это поразило — он к этому не привык.

А еще больше поразило Тасю. Не понимал Довгаль, что два человека — Мещеряков и Брусенков — с первой же встречи не могли делать одно дело. Один из них должен уйти.

А Тася это понимала...

Недавно было — Мещеряков зачем-то забежал в главный штаб. Было еще до того, как он знакомился

с отделами штаба и, должно быть, не разобравшись, где и кого он должен найти по своему делу, махнул на него рукой, сел против Таси Черненко на длинную скамью у стены и потянул носом воздух, в котором вдруг запахло ваксой. Ни у кого в Соленой Пади ваксы не было, а у Мещерякова она была, сапоги его блестели, пахли пронзительно — он наслаждался этим запахом.

Он долго, улыбаясь, смотрел на нее, а тогда она спросила:

— Чему улыбаетесь, товарищ главнокомандующий?

— Так ты же, товарищ Черненко, не собираешься в меня палить с пистолета?— как будто даже удивился Мещеряков.— Либо рубить шашкой? Это вот я в бою встречусь с каким беляком — тому я уже улыбаться не стану. И он мне не станет!

Тася еще не знала, почему Мещеряков ее так раздражает, и терпеливо, не выдавая себя, ждала — когда же узнает?

В это время и вошел Власихин. Все такой же осанистый, огромный, с едва заметной проседью в черной бороде. И те самые люди, которые хотели расстрелять его на площади, уже снова обращались к нему с просьбами написать то одну, то другую бумагу, вот он и пришел с чьим-то прошением.

Мещеряков тотчас узнал его:

— А-а, здорово, дед! Слушай-ка, мне все ж таки интересно узнать — ты истинно за Советскую власть? Садись-ка вот!— Похлопал по скамье рядом с собой.— Садись, скажи!

Власихин сел и сказал:

— Я — истинно за нее. Близко либо далеко, мало прольем крови или больше того, а достигнуть справедливой власти над собой человек должон. Без этого на что расходуемся? Это жили вдвоем на земле Адам и Ева — тем надобности не было. Но когда нас, мильонов, с каждым годом больше и больше — надо как-то управляться самим с собою.

И тогда Мещеряков обратился к Тасе:

— Ты гляди, товарищ секретарь, мыслит дед-то! Мыслит в основном в пользу Советской власти и народа! Хорошо, не стрельнули в его тот раз, не успели,— вот он и мыслит по сей день!

Тася думала: Мещеряков тут же потреплет Власихина по бороде или по голове, но он потрепал его по плечу, встал, ушел. Заторопился вдруг. И вот тут-то

Тася поняла и сказала себе в первый раз: «Или — или: или тот, или другой. Этот просто мальчишка перед тем... И в семьдесят лет он не сможет стать взрослым... Даже Власихин — и тот взрослее его!»

Еще написав какую-то бумажку, она закончила свою мысль: «Так называемые жертвы истории — это прежде всего мальчики... Белые или красные, но одинаково наивные».

Наивность Мещерякова раздражала ее...

И какая-то легкость, даже — шутливость, с которой он делал революцию. Какая-то его интеллигентность.

Она удивилась собственному неожиданному подозрению, но это было так: Мещеряков оказался по-своему интеллигентен, даже — деликатен, даже — миролюбив, словно какой-нибудь земский врач или учитель из отдела народного образования главного штаба.

А интеллигентность, как бы она ни проявлялась, с некоторых пор претила Тасе Черненко, претила страшно.

Недаром она порвала с интеллигентностью, со всеми, кто исповедовал ее.

И тут она обернулась к Довгалю, рассмотрела его черные усики, похожие на усики Мещерякова, темные блестящие глаза, аккуратно расчесанную голову и сказала:

— Товарищ Довгаль, ты рассуждаешь, как мальчик!

Довгаль встал, прошелся от окна к дверям и обратно, сказал:

— Подведем итог. Ты, Брусенков, твердо стоишь на платформе. Потому и нужен нам, нашему делу. Но учти, народ — он выше любой платформы. Ты вывода не сделал, когда и меня и тебя, совдепщиков, в прошлом году запросто прогнали. Значит, не так делали, чтобы нас народ мог понять. Но ты и сейчас еще вывода не понял. Либо понял его наоборот. Боишься ты Мещерякова, потому что, как никто, сам склонный всех устранять! Отсюда и Мещерякова ставишь под сомнение в том же вопросе.

— Ставлю!— кивнул Брусенков.— Покуда мы с тобой ведем здесь суждения, он запросто разгонит главный штаб. Кто слепой, политически незрелый, тот опасности не видит.

— Я не кончил еще...

— Заодно твой сельский соленопадский штаб тоже разгонит...

— Не кончил же я!..

— Мне уже ясно, почему ты в комиссары к нему запросился. Военной и физической силы у него, верно что, больше, чем у меня.

— Еще раз — прошу и требую, товарищ Брусенков, дай мне сказать! И не наводи на человека тень — нынче это вовсе просто, но, когда тебе дорого наше дело, ты и сам должон этого уберегаться! Всеми силами! И какой же для нас выход? Какой выход, когда я не только тебе, Брусенков, хотя и хочу, но не могу уже верить — не могу верить всем здесь собравшимся? С этой минуты — не могу! Что тогда?— Довгаль черными глазами посмотрел на Толю Стрельникова, на Коломийца, на Тасю Черненко.

— Тогда прямой ход тебе — в комиссары к Мещерякову, а уже вместе идти на разгон главного штаба.

— Замолчи!— крикнул Довгаль, крикнул пронзительно, кот вскочил на лоскутном одеяле, бабка и та, должно быть, услыхала, перестала шаркать ногами, недоуменная тишина проникла из кухни в горницу...

— Есть выход,— неожиданно тихо, медленно снова заговорил Довгаль.— От него ни тебе, Брусенков, ни мне не уйти. Хочешь ты или не хочешь — я тебя сегодня же призову на люди. И себя тоже. Нынешний вопрос способные решить те, которые ближе всего стоят к идее, идейно и всею душою могут взглянуть на каждый факт, на всю нашу борьбу и жизнь. По-человечески взглянуть... Сегодня на заимке Сузунцева на заходе солнца соберется собрание партии. Мы самостоятельно, ячейкой, чуть ли не со времени Советской власти не собирались. Пора восстановить нам себя. Если не явишься — значит, забоялся своей неправоты. Призову я не только тебя, но и Мещерякова.

— Ты мне уберегаться велел, чтобы тень на других не бросать. Я уберегусь — я на этом собрании выскажу мысль всем, чтобы она не тенью была уже. Выскажу, почему ты в комиссары к Мещерякову пробиваешься!

— Я тебя об этом даже прошу. Лично.

— Нынче ты уже людей не соберешь, не успеешь.

— Моя забота.

— Кто тебе заботу поручал?

— Никто. Надо было сделать — я сделал, назначил, хотя до сей минуты еще не думал, какой вопрос будет перед нами поставлен.

Тася видела, как Брусенков становился злым. Той злостью, которую все в главном штабе давно знали, в которой Брусенков был страшен, но быстр, решителен, смел, в которой он не раз выводил штаб из-под ударов белых.

Но Брусенков не рассердился и не сделался злым до конца... Тоже поглядел через герани в окно, а поглядев на Довгаля — улыбнулся. Это было совсем неожиданно.

— Ладно...— кивнул Брусенков.— И даже вовсе не худо! У меня только есть мысль... Отказать ей нельзя... Прежде как мы явимся на сузунцевскую заимку, мы встретимся с товарищем Мещеряковым. Поговорим. Вдвоем. Мы оба партийцы. Он даже раньше меня вступил, еще на фронте, еще за два месяца до Октябрьского переворота. Мы имеем полное право и необходимость между собой выясниться. А уже с остальным неразрешенным вопросом прибудем на заимку. Я его и привезу, Мещерякова.

Спустя некоторое время вдоль озера, нижней улицей Соленой Пади, ехали в главный штаб Коломиец, Толя Стрельников, Тася Черненко, Брусенков. Довгаль отправился в другую сторону — на позиции.

Ехали в тарантасе, на козлах сидели Коломиец и Толя; Толя и правил единственной рукой, а Коломиец то и дело падал плечом на безрукое Толино плечо.

Пестрая кобыла шлепала разбитыми копытами по густой уличной пыли.

Брусенков кланялся прохожим, приподнимая картуз с треснувшим надвое козырьком.

На тарантас смотрели и с огородов, через немудрые жердяные прясла, на огородах нынче было много женщин и ребятишек. Шла уборка разного овоща, а кое-где уже копали картошку.

Соленая Падь и овощами и картофелем была известна далеко вокруг в Понизовской степи. Существовал даже сорт картофеля «солянка». Хорошо шел по супескам, долго хранился в ямах и подпольях без порчи. И урожай давал, особенно если не случалось чрезмерной засухи.

«Солянку» эту — чуть желтоватую, круглую и пахучую — нынче копали, подсушивали на солнышке и ведрами, кулями и попросту, волоча рядно по земле, стаскивали в ямы.

В улицу несло картофельным, луковичным, укропным, огуречным духом, дорожная пыль была пропитана им, как рассолом, будто совсем недавно падал рассольный дождь, после — высох, а дорога осталась пропитанной им на многие годы.

— А я,— сказал Брусенков Тасе,— я и пашню свою нынче не сеял, и огород как посадил — не зашел ни разу глянуть... Взошло ли, нет ли — не знаю.

Тася спросила:

— Товарищ начальник главного штаба, о чем же вы надеетесь договориться с товарищем Мещеряковым?

— ...баба там пласталась нынче, на огороде, а мне — носу сунуть недосуг было.

Тася стала смотреть вокруг... Вплотную к озеру подступали огороды, на гладкой воде, расцвеченной солнцем и тенями облаков, вдруг вспыхивали яркие огоньки, тут же и потухали.

— Эй, Толя!— окликнул Брусенков Стрельникова.— Поезжай, слышь, свиньим проулком, а после — мимо избы моей. Хочу глянуть...

Толя, не оглядываясь, кивнул затылком назад. Коломиец резко повернулся на козлах, уставился на Брусенкова красноватыми глазками:

— А? В чем дело-то, товарищ Брусенков?

— Говорю: езжайте лево...

— А-а-а...

Спустя еще немного свернули в узкий переулок между плетнями, и в самом деле весь взрытый свиньями: тарантас сразу же едва не застрял в глубокой рытвине. Коломиец стал хвататься за пустой Толин рукав, Тася крепко взялась за борт плетеного коробка, Брусенков, глядя на свиней, неохотно уступивших дорогу, сказал:

— Задави, Толя, одну, язвило бы ее...

Толя опять кивнул затылком, после коротко обернулся вполоборота, сдвинув белую, выцветшую бровь на самый глаз:

— Однако, объехать надо было свинячий этот буерак...

Он весь был напряжен, Толя, управляя одной рукой, строгий был, как будто соображал что-то.

Коломиец же, вывернув шею и взмахивая на толчках руками, почему-то вдруг начал объяснять Брусенкову:

— Сколь себя помню — это место без свиньев не бывало. Ей-богу! Строились здесь и огораживались изо

всей силы — и все ничего против ихнего рыла. Клад, что ли, чуют, проклятые? Жители окружные страдают: без хорошего кобеля-охранщика огород невозможно держать. В прошлом годе кобель один, видать, озлился — трех задушил, а они его... Такая была свара... И то сказать — с нашими, соленопадскими, кобелями навряд ли кто сравняется. Злее не найдется. Наши кобели — они же еще от самого первого жителя пошли, от Силантия. От дяди мещеряковского. У их, видать, порода! — Коломиец и еще продолжал бы рассказывать и размахивать руками, но тут вскоре показалась ограда Брусенкова, и он замолчал, обернулся лицом вперед.

Тася и раньше видела брусенковский двор, всегда он выглядел странно и неуютно, а нынче она удивилась еще больше...

Ворота были построены огромные и высокие, такие же, как на бывшей кузодеевской усадьбе, рядом с ними ютилась крохотная избушка. Во дворе снова возвышался амбар кондового дерева, но недостроенный, с одной стеной, зашитой горбылями, потом виднелась хлевушка из плетня, когда-то обмазанная глиной, а теперь лишь покрытая кое-где землистыми пятнами, и уже в огороде стояла добрая, с кирпичной трубой, с двумя застекленными оконцами баня...

Посреди ограды — ржавое, с несколькими обугленными бревнами пепелище; огород большой, почти весь покрытый пыльно-серой полынью, притоптанной к почве, и тоже — с пятнами бывших кострищ.

Было известно, что один из карательных отрядов хотел сжечь ограду Брусенкова, солдаты подпалили постройку, но пошел дождь, затушил огонь, а каратели вскоре бежали, не успев кончить дела.

После пришли партизанские отряды, не только свои — из других местностей, эти разбивали биваки на заброшенных огородах, жгли там костры. И здесь — тоже жгли.

Брусенков, как будто и не глядя на Тасю, вдруг заговорил первым:

— А это как случилось? Меня отец долгое время не отделял. Хотел, чтоб мы, братья, семьей жили, хозяйством сильным. А я — нет! Мечтал сам по себе достигнуть богатства. И начал строиться с малого, с бани, с ворот с этих, но все ставил для будущего, для большого двора. Сам жил абы как, в избенке, не хотел жилое ставить, покуда не разбогатею. И ведь разбогател бы! Но тут по-

шел на фронт, а когда вернулся — во мне позору этого, этого собственничества не осталось нисколь. Ненавистью и презрением к богатству я был пронизан. Понял: весь обман людского рода, вся его животная накипь — все от богатства, и покуда оно владеет, нельзя ждать справедливости. Ни отдельно от кого, ни в целом от человечества. И вот по сю пору не прощаю белым — не сожгли они ворота, не сожгли амбар — готовую половину! Они не сделали, а я гляжу, зажмуриваюсь от бывшей своей несознательности. Самому пожечь, но это уже не то. Враг бы сделал, я бы над им смеялся, что он сделал, как мне лучше... Вот так же, может, зря мы бьемся, не понимаем до конца самого истинного исхода, не решаемся самое главное исполнить...

Брусенков махнул рукой. Замолчал. Но ненадолго — заговорил снова:

— Другой раз говорят: человек учится на медные гроши. А какая разница — медь ли, золото ли? Это все одно и то же — металл. И не сильное от него учение. Я учился на кровях. Японская война — из-за дровишек купчихи Безобразовой пошла. Дрова она на Дальнем Востоке с кем-то не поделила, а царь за ее заступился. Получилась кровь. И — немалая. Германская война — того больше кровь, и даже непонятная до конца — из-за чего? Из-за чего началась, ежели братанием кончалась? И в конце концов понимать тут и нечего. Надо просто глядеть, что на чем дёржится... А дёржится все на том, кто кого сильнее, кто из кого крови больше может выпустить, кто ее не боится, этой крови. Это и в большом, и в самом малом. Вот хотя бы и Мещеряков,— ты думаешь, на нем чего дёржится? Нынче для войны он сколько-то нужен, верно. Этакие телки — они иной раз разоюются, ну, прямо как взрослые. А после? Постоянной же силы в нем нету, на раз один, и все. Вот он в этот свой один раз и лягается. Но война — она не на сейчас, война — она долгая, дольше жизни... Жизнь — живи, жизнь — воюй, может, тогда что и сделаешь, а раньше — нет!

А Тася, вглядываясь в этот странный двор, слушая этот неторопливый голос, вдруг подумала: Брусенков на какой-то случай прощается со своим домом. Может быть, со своей жизнью.

— Сегодня убираем главнокомандующего?— спросила Тася.

— Буду...

— Совсем?..

— Как бы совсем...— вздохнул Брусенков.— Но непонятно это будет многим, можно сказать — большинству. Еще несознательность кругом, неидейность. Время для этого надо, для понимания. Кто друг, кто враг и какой? Кого учить надо, а кого — убрать. Вот сейчас и приезжаем в главный штаб. Вызываем Мещерякова — берем его. Иначе сказать — арестовываем. Предъявляем тот же ультиматум. Когда он подпишется — все, нам больше ничего не надо, мы тоже не против — сделать по-хорошему. Откажется — предъявляем ему снова, но уже как обвинительное заключение, по которому и судим его. Мы четверо и судим, а еще — заведующий юридическим отделом товарищ Завтреков. Имеем право как члены главного штаба и большинство — члены ревтрибунала. Постановляем: снять с должности, оставить под арестом вплоть до прихода Советской власти. Это легкий суд и приговор, каждый отнесется к нему с полным доверием. Тем более главком в нашей местности не сделал ни одного боя, только все ходит по мирным позициям, а не доказывает своих способностей. Крекотень один и воюет. Среди бывшей верстовской армии у него нынче тоже не сильное положение: вчера расстреляны два пулеметчика по утвержденному им приказу и по пьянству. В эскадронах случаем этим сильно недовольные... Ну, а после того, если все ж таки сложится, чтобы пересмотреть наш приговор на полном заседании главного штаба либо где угодно,— пусть! Пусть его даже оправдают. Но какой это уже главнокомандующий, когда он только что был подсудимым? В должности его оставить уже невозможно, разве что сделать у Крекотеня начальником штаба. И еще: оправдать его — значит высказать сомнение главному штабу. Я же думаю, у нас авторитета хватит, чтобы все это раз и навсегда отвергнуть.

Тася спросила:

— Довгаль?

— Что Довгаль?— переспросил Брусенков, но тут же понял вопрос и ответил на него:— Это если бы Довгаль не заявлял нынче и при свидетелях, что он сам силой порывается к Мещерякову в комиссары! Ну, а заявил, после того что хочет, то пусть и говорит.

Миновали еще несколько переулков, виден был уже главный штаб.

— Если Мещеряков согласится подписать ультиматум, а потом выйдет из штаба и поднимет эскадрон? — еще спросила Тася.

— Ну, где он согласится? Это он на воле добренький, ходит, улыбается. А ведь мы его сперва арестуем!

— Ну и что же?

— Я чую, ему руки свяжем — он зверем станет. Тут и бери его голыми руками, веди хотя на какое собрание, следствие, хотя какой суд, он уже не оправдается... Твое дело, товарищ Черненко, ждать момента — написать протокол суда и приговора.

— Когда?

— Да вот сейчас же! Приедем в главный штаб, займемся. К вечеру, до собрания на сузунцевской заимке, полностью управимся!

К главному штабу тут же и подъехали.

Толя Стрельников соскочил с козел. Брусенков спросил у него:

— Значит, понятно, Толя?

— Ясно...— кивнул тот, плотнее заправляя пустой рукав за пояс.

И тут Брусенков неожиданно еще продолжил разговор — о себе самом:

— Я простым мужиком давно уже не стал,— сказал он.— Понял — на поводу у отдельной личности, а хотя бы и у целой массы, революции сроду не сделаешь, своего идеалу не добьешься. Сроду нет!

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Дней десять назад при главном штабе был организован новый отдел — почт, телеграфа и банков.

Банков на Освобожденной территории еще не существовало, а почтовые отделения с новой энергией повсюду взялись за дело. Были установлены твердые таксы на почтовые отправления всех видов в денежных знаках и натурой, несколько раз удалось договориться с почтовыми служащими на территории, все еще занятой белыми, и те принимали почту партизанских районов для дальнейшей переотправки в пределах Сибири.

В пределах же примерно ста верст, вдоль еще не достроенной как следует западной железнодорожной ветки, а от нее до Соленой Пади продолжал исправно работать телеграф.

А извне Освобожденная территория по-прежнему не получала сведений, разве только один из районных штабов сообщал вдруг для всеобщего сведения: «Перебежчик, унтер-офицер белой армии, категорически утверждает, что Колчак эвакуирует город Омск и с часу на час ожидается занятие колчаковской столицы войсками доблестной Красной Армии».

Проходило несколько дней, иногда — неделя, и уже другой районный штаб от другого унтера-перебежчика узнавал, что «Красная Армия с часу на час займет город Омск».

Но даже отрывочные сведения, ненадежные, поступающие от случая к случаю от перебежчиков, из газет и донесений, перехваченных у белых, из сообщений советских агитаторов, которые хотя и очень редко, а все-таки проникали через заслоны Колчака,— ни у кого не оставляли сомнений в том, что российская Красная Армия стремительно наступает, и если нельзя было сказать, занят или не занят Омск, так каждый знал, что в течение весны и лета Колчак потерял Поволжье, Урал и Сибирь до Ишима или даже до Иртыша.

Конец белой армии был близок и очевиден, а партизанская власть все больше становилась властью. Многие штабы на местах именовались Советами, и действительно, их отделы, службы, переписка, вся повседневная деятельность продолжала теперь деятельность тех Советов, которые были свергнуты летом прошлого года, как раз в горячую пору сенокоса.

Недавно специальным приказом главного штаба были окончательно распущены земства, и начинался приказ так: «Земства продолжают еще существовать в местности, уже занятой Советской властью...»

Так и считали Брусенков, весь главный штаб, что он — главный орган подлинной Советской власти на Освобожденной территории.

Но только не все районные штабы так считали, и — что особенно Брусенкова тревожило — самый крепкий, самый устойчивый по своему составу Луговской штаб то и дело подчеркивал, что он — власть временная, что он существует только до прихода российской Красной Армии.

Луговской штаб по всем статьям был особым. Начать с того, что он только назывался Луговским, на самом же деле резиденцией его была железнодорожная станция

Милославка с небольшим вокзалом, с большим, но недостроенным депо.

Там он и появился впервые, но белые несколько раз и на продолжительное время занимали станцию. Всякий раз штаб эвакуировался в село Луговское, верст за сорок на восток, а возвращаясь обратно, сохранял за собой свое сельское название — Луговской районный революционный штаб.

Не будь нынешним летом таких ожесточенных боев, Луговской штаб смог бы, наверное, настоять даже на том, чтобы все учреждения Соленой Пади переместились в Милославку как самый крупный и благоустроенный населенный пункт. Но пока что главный штаб должен был находиться в глубине Освобожденной территории.

Луговской штаб с самого начала возглавлял товарищ Кондратьев.

В первый раз Кондратьев поднял знамя борьбы, когда надежды на победу не было никакой, и восстание действительно было подавлено уже через несколько дней.

Позже он опять и опять будоражил не только Милославку и Луговское, но и смежные волости. Всякий раз восстания подавлялись, а он начинал все сначала, пока наконец ЛРШ — Луговской районный революционный штаб — не укрепился окончательно.

И вот этот-то штаб называл себя «временным»!

Однажды Брусенков пошутил — сказал на каком-то совещании, что Луговской штаб — это временное правительство, только большевистское, а Кондратьев тут же ему и ответил:

— Товарищ Брусенков подозревает, будто большевистским может быть что-то плохое?

Брусенков сдаваться не захотел, снова засмеялся и сказал:

— Карасуковские — те хотят воевать за Советскую власть, только чтобы она была без коммунистов. А Луговские? За коммунистов — без Советской власти?

Кондратьев опять повторил:

— Брусенков подозревает, что...

В последнее время Брусенков невольно стал думать о том, что с приходом Красной Армии положение Луговского ЛРШ еще заметно укрепится именно потому, что нынче он — временный и районный, а главного шта-

ба — пошатнется потому, что он главный и уже успел объявить себя Советской властью.

Приехав в свой главный штаб, Брусенков прошел в свою комнату.

Сюда явились заведующие отделами штаба, он передавал им бумаги со своими указаниями, а они ставили перед начальником разные вопросы.

Вопросы, в общем-то, были одни и те же: откуда взять? Откуда взять снаряжение, медикаменты, бумагу, писарей, фельдшеров, учителей, лошадей, повозки, чернила, хомуты?

Но как раз сегодня возник новый разговор: заведующий отделом труда и народного хозяйства доложил, что экспроприированные еще в июне — июле мастерские и заводы на нынешнее число произвели в общей сложности более пятисот пар пимов, тысячу двести сорок семь овчин, около тысячи аршин сукна, две тысячи с лишним пар меховых рукавиц, около восьмидесяти кубических сажен пиломатериалов, четыреста пеньковых кулей и семьсот шапок-ушанок.

Заведующие отделами тотчас начали делить все это добро. Коломиец, взглянув на Брусенкова пристально, просительно и преданно, сказал, что вообще все это должно поступить в распоряжение его отдела, что другие отделы и сами способны доставать, а призрение, оно на что способно? — только получать и распределять между призреваемыми!

— Не для себя же прошу! — воскликнул Коломиец, когда понял, что просит уж очень много.

Но тут маленький финансист дернул себя за бородку и заметил, что в главном штабе вообще нет ни одного человека, который что-то просил бы и что-то делал ради себя.

Брусенков кивнул финансисту: все-таки он любил его — маленького, мечтательного и в то же время расчетливого. Хотя почти что из интеллигенции, а в то же время какой-то мужицкий.

Давно можно было ввести финансиста в члены главного штаба, но только для участия в вопросах хозяйственных. Там же, где дело касалось политики, назначений и смещений, финансист вряд ли оказался бы к месту. Там и одного Довгаля Брусенкову вот как хватало.

Потом Брусенков сказал, чтобы заведующие отделами подали ему свои требования в письменном виде, а уже тогда, сказал он, мы их рассмотрим...

— Я и вот еще товарищ финотдел — рассмотрим!

Велел, чтобы разговор оставался покамест без огласки, потому что если о резервах отдела труда и народного хозяйства узнают все районы, так никто ничего давать главному штабу не будет, а будет только у него просить. И так может быть. С некоторыми.

Заведующие отделами ушли, Брусенков снова подумал: в случае перемещения Главного штаба в Милославку кого бы из них он с собой взял туда?

Коломийца взял бы, заведующего отделом информации и агитации, юриста товарища Завтрекова... А вот насчет Таси Черненко у него всегда было такое чувство, будто Тася действительно какая-то временная, с ней работать только до определенного дня. Как неизвестно откуда эта интеллигенция появилась в Соленой Пади, так же неизвестно, куда она может уйти.

...Брусенков стал знакомиться с бумагами, поступившими от местных ополчений. Приятно ему это было.

В армии про ополченцев рассказывали всякие смешные байки. Рассказывали, будто в одном ополчении на правом фланге был хромой на левую ногу солдат, так после вся команда — человек двести — на левую ногу же изо всех сил падала, старалась.

Будто бы у одного ополченского командира были часы, уже в течение многих лет не ходили, так он сам крутил стрелки, и как только докручивал до двенадцати — отдавал команду к бою... Другой будто бы смотрел в бинокль без стекол.

А что взять с ополченцев, когда на весь отряд — несколько бердан огнестрельного оружия да литовки вместо холодного? Воевали пиками-самоделками и трещотками: изладит дед какой-нибудь громогласную такую машину, и вот она издает звук за десять нарезных винтовок залпами и строго прицельными, одиночными выстрелами.

И лучшим способом для таких стариковско-младенческих отрядов было нападение, внезапные засады, ночные налеты. Только храбростью они могли побить белых, добыть у них оружие.

Брусенков тоже прошел через ополчение, командовал таким вот отрядом и одновременно руководил сельским штабом Соленой Пади, потом поставил на свое

место Довгаля, а сам ушел в штаб районный, тоже Соленопадский, а потом его районный штаб стал главным для всей Освобожденной территории.

Покуда все это происходило, он об ополчениях както и не думал. А тут почудилась вдруг молодость, которая и была-то совсем где-то близко — весной, даже еще летом нынешнего года. Почудилась, да и только, будто он сам — все еще ополченец.

После заведующих отделами Брусенков имел обыкновение встречаться с председателями комиссий — главной конфискационной, главной следственной и юридической.

Комиссии назывались еще и чрезвычайными, они не подчинялись соответствующим отделам, и хотя ни один из председателей комиссий не входил в число членов главного штаба, все они имели непосредственные отношения с Брусенковым.

Нынче Брусенков эти встречи отложил на следующий день — уже вот-вот мог явиться главком Мещеряков.

Мещеряков в самом деле пришел даже раньше срока. За ним и посылать не надо было: еще вчера была назначена их встреча в главном штабе.

Пришел один, без своих штабных работников. Поздоровался:

— Здорово, товарищ Брусенков!

— Здорово, товарищ главнокомандующий!— ответил Брусенков, не поднимаясь из-за стола. Он читал теперь бумаги, только что переданные ему земельно-лесным подотделом отдела труда и народного хозяйства.

В общем-то Мещеряков пришел слишком рано, у Толи Стрельникова, может быть, не все готово. Поэтому надо было Мещерякова занять разговором.

Вопросы, по которым они наметили нынешнюю встречу, были о лазарете, об оружейных мастерах, о снабжении армии продовольствием. С них и надо начинать.

Брусенков отложил в сторону земельно-лесное дело в коричневых корочках с двуглавым орлом, оторванных от какой-то книги. Орел был отпечатан черной краской, нынче выцвел, был сильно поцарапан.

— Слушай, товарищ главнокомандующий,— сказал Брусенков и еще поцарапал орла ногтем за клюв,— а я уже решил вопросы, которые ты ставил передо мной... Значит, так: помещение под второй лазарет подготовле-

но, вымыто-выскоблено, и среди населения начат добровольный сбор белья и мыла. Сестры милосердия назначены. И что их назначать, когда они сами желают служить раненым героям нашего дела! Наоборот, отбою нету от девок, которые есть вовсе малые: веришь ли — в голос ревут, что их не принимают. Ну, а есть женщины бездетные и выражают желание. Тех берем в первую очередь и предпочтительно... Хуже дело с хирургом. У меня сведения, будто через Милославку должон проехать хирург с семьей. Эвакуируется. Вот бы пленить, а? Твоя разведка ничего не сообщала?

— Мы на докторов разведку не посылаем.

— Напрасно. Дело нужное.

— Его пленишь, а он работать откажется. Что тогда?

— И сроду нет! Какой же это доктор имеет право отказываться от спасения человека? Да их как обучат, так еще и клятву с каждого берут, что он обязан лечить и заниматься медициной в любом случае, когда это потребуется! Приведем его в лазарет, поставим перед раненым — и все: он уже уйти не имеет возможности, а обязан хирургировать.

— Надо подумать...

— Подумай... За оружейными мастерами посланы люди в урман. Там среди охотников мастера по оружию знаешь какие встречаются? Надеюсь, есть и сознательные, тоже придут, помогут. Хотя уже и начался у них промысел, но не может быть, чтобы не откликнулись на просьбу народа. Не откликнутся — возьмем на замету, после войны потолкуем с ими. Дальше. Из Милославки еще вчерась привезли одного. Питерского беженца. Хотя и больной и старый — берется помочь, чтобы стреляные пистоны вновь восстанавливать. Взрывчатый состав знает как сделать. Только бы не заболел вовсе. Того хуже — не помер бы. Чахоточный... Закурим?

Закурили.

Мещеряков сидел на стуле нога на ногу, одной рукой придерживал трубку, другой обхватил колено. Слушал.

Внимательный был, подобранный. И напряженный какой-то. Неужели — чуял?

Намечено было сделать так: Брусенков садится спиной на подоконник, и это будет сигналом, чтобы Толя Стрельников бросил с улицы в другое окно гранату-бутылку без капсюля. Брусенков крикнет: «Граната!» — и кинется к двери, но, замешкавшись, пропустит Меще-

рякова впереди себя. В полутемном коридоре Мещерякова и должны схватить. На тот же случай, если Мещеряков почему-либо не выскочит из комнаты, кинется прятаться хотя бы за стол, Брусенков уже сам должен был взять его сзади, взять на несколько секунд, покуда люди из коридора вбегут в комнату. Все можно было бы сделать гораздо проще: два-три человека входят в комнату и арестовывают Мещерякова. Но несколько раз Мещеряков приходил к Брусенкову не один, а в сопровождении своих штабистов, и план был намечен на этот неблагоприятный случай. Хотя нынче с Мещеряковым не было никого, Брусенков решил ничего не менять. Делать, как намечено было и еще вчера несколько раз прорепетировано.

И еще — гранаты-бутылки были только у нескольких эскадронцев Мещерякова, больше ни у кого. В случае необходимости это давало повод объяснить все событие как хулиганскую выходку мещеряковских же людей. Но странно — шел разговор, и Брусенков не торопился. Ему было даже интересно с Мещеряковым в последний раз вот так поговорить.

Зашел вопрос о нормах питания для партизанской армии. Мещеряков сильно настаивал на увеличении мясного пайка, вспоминал, какие были нормы в царской армии и при Временном правительстве, даже припомнил откуда-то, сколько в сутки полагалось мяса разным родам войск при Суворове, приравнивал партизан к гвардейцам и гренадерам, поскольку партизаны — солдаты почти что вольные, у вольного же человека аппетит всегда и несравненно больше, чем у казарменного солдата.

Откуда он знал все эти порядки и нормы — было неизвестно. Брусенков подумал: может, Мещеряков на пушку его берет? С него станется... Но, в общем-то, Брусенков уже привык к тому, что главнокомандующий по военному делу знает много, такие подробности и факты, что в голову тебе не придет, будто их может кто-то знать и помнить.

И сейчас, споря с Мещеряковым, он удивлялся, подумал про себя: «Хороший бы вышел из тебя начальник штаба при товарище Крекотене, товарищ Мещеряков. Но ты на это не пойдешь, не пойдешь ни в коем случае. Жаль!..»

Суточную норму питания согласовали следующую: хлеба печеного три фунта, мяса один фунт, капусты

четверть фунта, картошки четверть фунта. Плюс еще и вольный харч, которым солдат сможет по своему усмотрению разживиться.

Исходя из этой нормы, главный штаб совместно с армейским интендантством должен был приступить к заготовкам продовольствия для всей армии.

— Я думаю,— сказал Брусенков,— мой отдел народного хозяйства утвердит норму без слова. А мы тем временем разошлем по армии и сельским комиссарам письмо с указанием данной нормы и чтобы занялись делом, заготовкой продуктов. Оговорим, что армейские части и сами могут конфисковать, брать под расписки и принимать от населения добровольные пожертвования всяких видов довольствия, только сообщать обо всех подобных случаях сельскому комиссару, чтобы тот зачислял и эти продукты в счет выполнения заготовок.

Мещеряков согласился, Брусенков записал договоренность в виде протокола и снова подумал: «Надо будет оформить в канцелярии. Как следует затвердить. И при Крекотене пригодится! Есть вопросы, так с Крекотенем еще хуже договоришься, чем с Мещеряковым. А уж насчет жратвы, так даже определенно с Мещеряковым толковать удобнее. У Крекотеня — у того аппетит звериный...»

Но спорил ли Мещеряков или слушал спокойно, только и в споре и в спокойствии он был по-прежнему напряжен, будто ждал чего-то...

Может быть, потому он нынче такой, что оба они избегают острых вопросов, вопросы эти ни тот, ни другой не ставят, даже краешком не задевают их?

И тут Брусенков спросил:

— Ну и как? Об чем же договорились вы нынче утром с товарищем Струковым? Он мне еще не докладывал, мой заведующий военным отделом. Может, ты скажешь?

Мещеряков повел плечами и вправду, кажется, оживился:

— Мы так подумали: каждому и в отдельности сообщать тебе об нашем разговоре вовсе не годится. Поскольку в общем и целом, не считая отдельных подробностей, договоренность между нами троими состоялась, мы и должны сказать о ней все трое. Так будет лучше.

— А третий — это кто же? Капитан царской армии?

— Начальник штаба партизанской Красной Армии товарищ Жгун.

Брусенков помолчал, после сказал:

— Ну что же, когда так — давайте соберемся хотя бы и вчетвером. Завтра об эту пору ладно будет?

— Ладно.

— Гляди не опаздывай, я завтра сильно занятый буду. Еще больше, как сегодня.

— А когда это я опаздываю? Сегодня так даже раньше сроку прибыл.

— Торопишься куда?

— Обговорить дела, да и в армейские части обратно.

— Живешь-то как? У Звягинцевых квартира подходящая?

— Почто бы нет?

Брусенков встал из-за стола, подошел к окну, глянул на площадь.

Толи Стрельникова было все еще не видать... Было еще время для разговора.

Мещеряков нагнулся, протянул руку к столу и как-то особенно ловко, как будто ни для чего, а в то же время словно что-то внимательно рассматривая, поиграл с чернилкой-непроливашкой. Сказал:

— Это вот в школу-то бегали, бывало. Ребятишками еще. Тоже вот чернилки были. Давно это было?— Ответил сам себе:— Давно! Чернило-то где берешь? Для всего главного штаба?

— Ну где его взять!— ответил Брусенков.— Конфискуем по силе возможности.

И, осторожно, пятясь задом, чтобы с площади не было видно его спины, Брусенков отошел от окна, повернулся к Мещерякову, протянул ему коричневые корочки с исцарапанным орлом и с бумагами лесного подотдела:

— Глянь вот эту исходящую от нас бумагу. Твоих армейских партизанов дело это тоже касается. Да и кого лес — хотя бы и крупномерный и дровяной — не касается? Не так уже богатые мы лесом, особенно в степном крае, в верстовской местности. Всю-то жизнь из-за его с казной воевали. Вот эту бумагу и гляди...— И сам тоже стал смотреть в бумагу через плечо Мещерякова.

Начиналась бумага, циркуляр этот, как и десятки других, со слова «предложить»:

«Предложить районным, волостным, а через них сельским штабам выработать для себя инструкции, а также таксы на лес...

Отдавая настоящее распоряжение, земельно-лесной подотдел исходит из того принципа, что не народ существует для власти, а власть для народа, а потому, являясь народным работником, подотдел и предлагает выработать инструкции на лес и таксы самому народу, а уже из всех доставленных в подотдел инструкций и такс подотдел составит одну общую...»

— Кроет! — усмехнулся Мещеряков. В первый раз и усмехнулся нынче. Потом задумался.— Это сколько же будет стоить по народному усмотрению лес хотя бы на полную избу? — спросил он у Брусенкова.— На крестовый домишко, положим, три на три сажени? Им вот из чего нужно исходить, таксировщикам этим: не цену одной лесины определять, а сразу же цену крестьянского дома, после уже — делить ее на число потребных бревен. И чтобы результат получился доступный среднему хозяину. А вдовам и малоимущим предусмотреть льготу. Согласный ты со мной?

— Пожалуй, что и так... Но ты обрати свое внимание, как тут сказано: «Не народ для власти, а власть для народа!» А?

— Это дело нынче известное,— сказал Мещеряков.— Как бы ни было оно известно — кто бы и пошел воевать в партизанскую армию? И чего бы ради?

— Сколько я ни гляжу за своими отделами,— вздохнул Брусенков,— они все одно к анархии клонятся.

— А что?

— Приняли таксы, утвержденные для кабинетских лесов его величеством государем-императором в тысяча девятьсот шестнадцатом году!

— Ну, а когда они были справедливыми, те таксы...

— Царские таксы для народа — справедливые?!

— Нынче-то они уже не царские! Когда народ за них проголосовал добровольно.

— Верно что — много тебе известно, товарищ Мещеряков! А когда так, может, скажешь,— спросил Брусенков, подвинувшись еще ближе и положив руку на плечо Мещерякова,— может, скажешь: почто же ты освободил своей властью Власихина? Пошел против народу и его священной воли? Скажи! Когда тебе столь много известно и понятно...

И вдруг Мещеряков встал, резко сбросив руку с плеча. Засмеялся. Громко и весело засмеялся, нельзя было не вздрогнуть от этого смеха, и Брусенков вздрогнул,

подумал: «У него победа, окончательная победа, оказывается, уже назначена! День и час! То-то он об избе и спрашивал о новой! Три на три сажени!»

— Скажи ты мне: сильно он тебе шею грызет, Власихин, а? Руку на сердце — и скажи!— спросил Мещеряков.

— Не мы с тобой, Мещеряков, поделили народ на красных и белых, на правых и неправых. Нам только нужно мерку понять, по которой это происходит. И когда был апостол на весь мир и по сю пору им желает остаться, мало того — другие есть, которые по несознательности либо как тоже этого могут желать, а в действительности апостол тот по новой мерке — ничто, как бремя и бесповоротный враг,— от такого надо освободиться. Со всей революционной решительностью! Когда же народ его судит, сам достигая высшей сознательности, а ты в ту торжественную минуту, гнусно насмехаясь, бьешь по руке народного правосудия — как это называется?

— Не все у тебя понятное, товарищ Брусенков. Удивительно, как по сей день ты переживаешь Власихина этого?— усмехнулся Мещеряков, уже по-другому усмехнулся и другой сделался в лице.— Почему это — не можешь ты без врагов, нужны они тебе, как воздух? И что бы ты делал посреди одних только друзей — угадать невозможно!

— Почему ты обо мне? Почему выставляешь мою личность, когда о народном приговоре идет речь?

— Не шуми. Суд был твой. По крайности, наполовину — твой. Но ты уже нынче об этой своей половине не поминаешь. Говоришь: «Народ! Только он — и больше никто!»

— Ты и суда не видел. Вступил с эскадронами на площадь — когда? Суд был уже решенный!

— Увидел... Успел...

— Умный?

— Который раз — бываю. Когда это сильно нужно.

— И завистливый?

— Завистливый. Особенно в бою. Когда кто лучше меня дерется, да еще — и против меня же.

— Еще бы — товарищ главнокомандующий. Только испытать бы: взять у тебя главнокомандующего — что останется от товарища?

— Войну кончим — время покажет, что и от кого останется.

— Ты вот что, товарищеский, независтливый, умный,— ты понять можешь: власть берем. А чем? Властью же! Что другое придумаешь? Не придумаешь! В кожаной курточке, в папахе серой и героем-освободителем перед народом куда интереснее красоваться. Но не каждого на это купишь. Кто-то и без геройского виду революцию делает. И геройскую и черную работу. Все, что потребуется, то и делает. Легко тебе жить, товарищ Мещеряков. Другим-то как от легкости твоей? Ты-то людей вовсе не стреляешь? Не бывает?

— Бывает.

— Хотя бы в Знаменской своего же эскадронца стрелил. По ошибке, да?

— Признаюсь.

— Но не об одном же случае речь! Ты скажи о главном: почему тебе стрелять можно, а других ты убийцами готов вовсе назвать? Ответь, будь такой добрый.— Брусенков медленно, не спуская глаз с Мещерякова, стал приближаться к окну... Шаг, другой... Приостановился, повторил: — Убийцами?..

Мещеряков опять сидел на стуле — нога на ногу, чуть согнувшись и обхватив руками колено. Покачивался. Думал.

Брусенков почему-то уперся взглядом в ту ногу главкома, которая лежала сверху, в блестящий хромовый сапог. Смотрел долго, потом спросил:

— Ну?

— Я воюю оружием, товарищ Брусенков. Я не убью — меня убьют. Ясно-понятно. И люди идут ко мне — знают, куда идут: в армию, под оружие. На другое на что я ни на столько не годен и не возьмусь за другое. Не имею права. За другое взялся товарищ Брусенков — воевать словом, делом, но — без оружия. Взялся — не жалуйся, не свое оружие не хватай. Управляйся с живыми, с мертвыми — это каждый может. Они же во всем с тобой согласные, мертвецы. Но в том и дело — тебе такие нужны. Подумай, может, ты выйдешь, скажешь: не умею с живыми! Не умею без оружия! Подумай...

— Ну вот, поговорили.

И тут Брусенков сел на подоконник. Плоская поджарая спина его в темной рубахе приняла солнечное тепло. Легкое было тепло. Он еще сказал:

— Спасибо за разговор. Время и кончать...

— Время...— согласился Мещеряков. Встал.

И когда он снова встал, Брусенков неистово упрекнул себя: зачем он разговор затеял, зачем довел до того конца, когда уже Мещеряков не мог о чем-то не догадаться? Как допустил, сделал это? Он еще сильнее прижался спиной к оконному стеклу, а когда раздался треск, он подумал: не его ли спина стекло раздавила?

Но это было лишь мгновенное недоумение — стекло затрещало, засвистело, зазвенело в соседнем окне, Брусенков перехваченным горлом крикнул: «Гран-ната!!!» — и бросился к двери. Он ударил дверь ногой, и когда понял, что Мещерякова нет рядом с ним, что его не видно, грохнулся на пол.

Падая на руки, чтобы проще было вскочить и броситься на Мещерякова, он в то же время подумал, что, если Мещеряков будет прыгать через него, устремляясь в дверь, он схватит его за ногу в блестящем сапоге...

На залитом все тем же легким солнечным светом полу было отпечатано множество различных следов: подошвы — каблуки, подошвы — каблуки,— пестрая, узорчатая и широкая, от стены до стены, тропа следов грелась в этом свете. И тихо было...

Потом в дверях появились люди, три человека, четвертый чуть позади,— люди, которые должны были схватить Мещерякова в коридоре. По глазам одного из них он понял, куда надо смотреть, и оглянулся почти назад.

Стул, на котором только что сидел Мещеряков, стоял теперь у окна, вплотную к простенку. На стуле, поблескивая свежей ваксой,— сапоги Мещерякова. Вытянувшийся вдоль оконного проема и сбоку от него стоял и сам Мещеряков. В одной руке — наган, в другой граната... Граната-лимонка, а вовсе не та бутылка без капсюля, которую бросал в окно Толя Стрельников. Это ошеломило Брусенкова, он приподнялся на руках и теперь уже видел лицо Мещерякова — напряженное, побледневшее и загадочное. Мещеряков смотрел на площадь, смотрел очень странно — скрываясь в простенке и поднявшись над окном, он снова заглядывал в окно, только уже сверху. Ему можно было так смотреть, потому что шея у него оказалась длинная-длинная и тонкая. Она тянулась из ворота расстегнутой гимнастерки.

Еще привстав с полу, Брусенков понял все, что произошло, все, что сделал Мещеряков...

Он вот что успел: подхватить гранату, брошенную Толей Стрельниковым, и выбросить ее обратно; подста-

вить стул к стене рядом с целым окном и вскочить на этот стул. Теперь, стоя в простенке, он был не виден с улицы. С улицы могли стрелять, заранее взяв на прицел подоконник, но Мещеряков заглядывал в окно сверху, готовый тоже в любой миг выстрелить и бросить гранату.

В этом положении его нельзя было схватить и отсюда, с этой стороны: он в мгновение мог выскочить в окно, а гранату бросить в комнату и еще выстрелить из нагана.

Медленно Мещеряков повернул загадочное лицо, так же медленно выпрямляясь на стуле и все еще наблюдая за площадью. По нагану пробежал солнечный зайчик, ствол блеснул, как лезвие. Из другой руки несколькими темными квадратами глядела лимонка.

Брусенков ждал...

Когда они встретились взглядами, Брусенков вдруг подумал, что лицо не было загадочным — наоборот, оно само озабочено загадкой: что же это было? Для чего?

Брусенков подошел к разбитому окну, распахнул его. Внизу, в палисаднике, лежала граната-бутылка, угадав горлышком в ямку и выставив кверху пустое капсюльное гнездо.

Чуть поодаль по площади шел Толя Стрельников, размахивая единственной рукой и с любопытством поглядывая на окна штаба.

— Вот,— сказал Брусенков,— вот так-то. И окна ради тебя не пожалели, товарищ главком! Чем только будем стеклить — стекла-то нынче нигде же нету?..— и засмеялся.

Мещеряков соскочил со стула, сунул свою лимонку в карман, наган в кобуру и, застегивая пуговицы гимнастерки, спросил устало и даже как-то безразлично:

— Ты что же думал: главнокомандующий на словах только может, да? Рассказывает о себе громкие слова, а пугни его в тот момент из мешка — он и... Так думал?

Брусенков засмеялся снова громко и весело. Мещеряков еще сказал:

— Хитро делаешь! И разговор ведь как подвел под момент! Но — игрушка опасная. Ладно, этот твой ополченец, как его... Стрельников Толя — ладно, он с одной рукой! А то бы я и подумать не успел, как стрелил бы его: на пять саженей бью из нагана в яблочко.

Люди из дверей ушли... Догадались уйти тихо, спокойно, тоже усмехаясь.

Немного погодя ушел и Мещеряков, чуть вздрагивая правым веком.

Брусенков сел за стол, подумал: «И вот так он уходит из главного штаба — все время одинаково: после, как подписали протокол объединения и сделал он задание Глухову, ушел... Давеча из военного отдела — так же. И нынче тоже так же...»

Задумался. Снова подошел к разбитому окну. Под ногами похрустывали осколки стекла. Вернулся к столу.

Потом быстро-быстро стал писать записку и крикнул дежурному по штабу, чтобы тот немедленно доставил ее главнокомандующему, вручил ему лично.

Дежурный ушел, чуть спустя уехал и Брусенков.

Записка была написана им такого содержания: «Товарищ главнокомандующий! Забыл за разговором сказать. Нынче вечером ты должен обязательно прибыть на собрание в сузунцевскую заимку. Это тебе приказ дал товарищ Довгаль, я только его передаю. Мы нынче главным штабом назначили товарища Довгаля тебе комиссаром, поэтому ты должен повиноваться ему безоговорочно по всем политическим и другим важнейшим вопросам.

Главный штаб — *И. Брусенков*».

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

На станции Милославка вышел первый номер газеты Освобожденной территории.

Станция Милославка, конечная на недостроенной железнодорожной ветке, два года назад, при Временном правительстве, была переименована в город, и тогда же по этому случаю там было решено издавать сразу несколько газет от разных партий и обществ.

И в самом деле — газеты стали выходить, однако очень быстро прекратили существование.

Нынче же летом главный штаб задумал выпускать свою газету, настаивал, чтобы она выходила в селе Соленая Падь, а милославские наборщики тем временем взяли и выпустили давно уже подготовленный номер у себя дома.

Номер этот вышел на полулисте оберточной желтой бумаги, конфискованной у купца Быкова в мастерской

по изготовлению кульков для бакалейных лавок, тиражом в пятьсот экземпляров. На грубой и неровной поверхности и буквы отпечатывались неровно, кое-где их не видно было совсем.

Газета называлась «Серп и молот», издателем значился агитационно-информационный отдел главного штаба краснопартизанской республики, кроме того, извещалось, что, помимо отдела, «сотрудниками редакции являются учитель товарищ Хломников С. И., наборщики товарищи Каляев И. И. и Бородухин К. Н., а также широко известный агитатор и пропагандист Советской власти крестьянин Перов С. Л.».

Через всю первую полосу крупным шрифтом напечатаны были лозунги:

«Да здравствует Центральная Советская власть!»

«Да здравствует Совет Народных Комиссаров!»

«Вся власть крестьянам и рабочим в лице их Советов!»

По поводу своего возникновения газета писала:

«Нашу печать враги называют «партизанской артиллерией». Наши враги, безусловно, правы — печатное слово великой правды бьет дальше самых дальнобойных орудий. Недаром за «Информационными листками», «Известиями» и «Бюллетенями», которые на самопишущих машинах и другими способами выпускают местные революционные штабы и армейские соединения, охотится, не жалея сил и своего благородного происхождения, белое офицерство, чтобы уничтожить эти листочки сожжением без суда и следствия, рядовые же белой армии скрывают их у себя на груди под страхом смерти. Издание нашей газеты нисколько не умаляет местных «Известий». Наоборот! Газета будет только содействовать дальнейшему их процветанию!»

Под общим заголовком «Официальные сообщения» наробраз объявлял о начале занятий с первого октября. Призывал население принять активное участие в ремонте школ.

Отдел юридический оповещал о результатах выборов в сельские и районные штабы, о выборах делегатов на второй съезд Освобожденной территории.

Четвертая полоса, как и полагается, была отведена под объявления и события местной жизни.

Хроникеры Милославки собрали обширный материал, разверстали его на три раздела: «Хронику

общественной жизни», «Судебную хронику», просто «Хронику».

«Хроника общественной жизни» открывалась рецензией на концерт, который прошел в Народном доме.

«После «Ямщик, не гони лошадей» публика потребовала «Шарабан», что является в высшей степени возмутительным! — писал рецензент.— Приходится удивляться, что в наше время есть еще любители делать из храма искусства балаган с шарабаном!» Далее рецензент отметил, что «публика вела себя в общем благопристойно, пьяных не было, а если и были, то не в сильной степени, чем и можно объяснить отсутствие плевков с балкона».

Кружок любителей музыки приглашал новых членов «со своим инструментом или хотя бы со своими струнами».

Штаб армии благодарил Троицкое сельское общество, которое пожертвовало в пользу героев-партизан пятьсот пятьдесят возов зеленого овса, десять возов печеного хлеба, один пуд свиного сала, пятьсот штук яиц и два горшка сметаны, а Троицкое общество, в свою очередь, выносило благодарность армии и лично начальнику отряда Смольникову «за дружественное отношение и действия по освобождению трудового крестьянства, причем считаем необходимым присовокупить,— говорилось в благодарности,— что самим товарищем Смольниковым, так и товарищами солдатами никаких грабежей, насилий, инквизиций или истязаний в селе Троицком совершено не было».

Портной Н. З. Заикин сообщал, что он кончал курсы в городе Риге, был директором школы кройки и шитья в Ташкенте, работал в крупных городах Черноморского побережья, имеет диплом и отзывы почтенной клиентуры.

Главная следственная комиссия публиковала списки арестованных по обвинению: в сотрудничестве с белыми и в шпионаже в пользу белых; в побеге с фронта и в распространении панических слухов; в дебоширстве, пьянстве и краже сена.

Был отчет из зала суда: в совокупных действиях с правительством Колчака обвинялся казак-доброволец Олейников. Он же участвовал в боях с партизанской Красной Армией.

Обвиняемый был приговорен к шести месяцам тюремного заключения. Полностью признав свою вину, он

через газету горячо благодарил всех, кто доставил его в суд, так как «по суду происходит тюрьма, а без суда и следствия — расстрел».

Служащие города делали через газету запрос: почему продотдел отпускает продукты по ценам более высоким, чем базарные?

Профсоюз кожевников, открывая мастерскую, объявлял о приеме от населения сырой пушнины: волчин, барсучин и медвежин.

Но самой главной, самой обширной и значительной в первом номере газеты была редакционная статья под названием «Уроки прошлого».

Газета говорила по поводу этой статьи:

«Наш издательский коллектив приложит все силы, чтобы как можно полнее удовлетворить возрастающие с каждым днем запросы массы читателей. Но мы не только будем удовлетворять запросы — мы сами намерены их воспитывать. Начинаем это воспитание, это подлинное просвещение трудящегося нашего времени публикацией статьи «Уроки прошлого».

Эпиграфом к статье были известные строки Надсона: «Как мало прожито, как много пережито!» Затем следовал текст.

«Ровно два года и шесть с половиной месяцев прошло со времени свержения монархии,— писали авторы «Уроков».— Сначала кипучая деятельность граждан, так решительно отвергнувших монархию, превратилась в апатию. Что же отравило народную самодеятельность, рвение к творчеству и заставило погрузиться в бессознательный сон абсентеизма?

Чтобы понять это, нужно понять другое: кем был мужик-крестьянин в недавнем прошлом?

Он был титаном каторжного труда. Он платил в лавке за аршин ситца восемнадцать — двадцать копеек, а на фабрике этот аршин стоил три копейки плюс полкопейки доставка. При этом он не знал, что на роскошные вещи, которые покупала буржуазия, никогда не было подобных налогов. А балерины? Он и представления не имел о том, каких безумных затрат требовали от своих меценатов эти львицы — опять-таки за счет трудового народа! Он платил пятьдесят три копейки за водку при настоящей цене тринадцать копеек. Пресса и периодическая литература сделали все, чтобы оставить его в плену умирающих консервативных взглядов, чтобы он курил фимиам перед отдельными личностями,

создавая себе кумиров, игнорируя коллективное творчество. Он был ослеплен обещаниями и заверениями и считал, что проблемы его существования решены или будут решены в ближайшие дни. Он не понимал всех тайн капитализма, пятидесятилетней тайны заводов Круппа, не видел в капитализме притаившегося зверя, заискивал перед ним. И нищие ругали большевиков за то, что те не позволяли им ходить с протянутой рукой и пресмыкаться.

Пока народ заблуждался и страдал от своих заблуждений, буржуазия после падения монархии проделала путь от объявленной ею же самой демократии до корниловского мятежа. Но она и открыла этим глаза народу. Нашлись люди и целые классы (в лице пролетариата), которые пробудили сознание всего трудящегося народа. И вот свершился Октябрь.

Общепризнанный взгляд на революцию таков, что ее должен совершить народ, доросший до тех идей, которые неразрывно связаны с революцией. Доросли ли мы до своей революции, до Октября?

Тут сама жизнь — лучший учитель. Мы слишком отстали от жизни за триста лет Романовых. Половина или даже две трети наших требований в начале революции сводились к тому, что Западная Европа уже давно имела. С ношей монархизма нам недолго было потеряться в том, что называется историей человечества, и Октябрь показал, что Россия — не дряхлая старуха, а сильная, здоровая, молодая девушка, которая, проснувшись от сна, хочет жить долго и счастливо. Нас упрекают в том, что мы прыгаем, не находя себе места, что совершаем скачки. Но что это за скачки? За жизнью или в сторону от нее? Мы совершили скачок за жизнью. Существует уже великий опыт народа в борьбе за освобождение, за свое благосостояние, ибо голодного одной свободой не накормишь.

А наш собственный опыт 1905 года? Что он дал? Государственную думу, эту птицу без крыльев и вовсе без перьев, которую монарх терпел только потому, что зажаривал ее по частям!

Итак, свободу можно получить собственными вооруженными руками и никому не доверять ее охрану. Свободой должно обладать большинство, а не меньшинство — это ясно ребенку, но до сих пор неясно было всей истории человечества. Но вот волею судеб мы вступаем в демократический строй. Час искупления

пробил! «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» — в этом спасение трудящегося человечества!

До Карла Маркса идея социализма была в каком-то тумане. После Маркса она превратилась в учение.

Любое учение и учение о социализме едва ли возможно разъяснить полностью — важны его принципы. Недаром же Маркс поставил на службу социализму философию Гегеля: «Нет ничего постоянного ни в природе, ни в человеческой жизни, постоянны только изменения». Через двадцать—тридцать лет всеобщее образование и воспитание выдвинут из недр народа столько живых сил, что технические и химические изобретения польются как из рога изобилия и настолько в корне изменят жизнь (понятно, к лучшему), что мы и представить себе не можем. Ведь социализм — это царство труда, где не будет ни бедных, ни богатых и, следовательно, не будет классовой розни. Социализм расковывает цепи, наложенные капиталом на ум человека, а ум человека настолько беспределен, что трудно определить, где и что начинается и чем кончается.

Октябрь и социализм неразрывны, они провозглашают в один голос: «Дорогу науке! Произвол исчезнет! Дорогу справедливости! Вперед, вперед! Вся сила в нас самих — трудящихся массах!» И каждый истинно трудящийся тоже провозглашает сегодня: «Ради победы социализма да здравствует Центральная Советская власть и Совет Народных Комиссаров!»

(В следующих номерах газеты редакция надеется дать продолжение статьи уже под названием: «Уроки прошлого и настоящего»)».

Утром экземпляры «Серпа и молота» были доставлены в главный штаб, и там сразу же замолкли пишущие машинки и в коридорах никого не стало, хотя время было — полдень. Посетителям объясняли: «Газету читаем!»

В полк Красных Соколов газета поступила тоже в полдень.

Петрович выстроил полк перед цейхгаузом, произнес речь, назвал это событие праздником справедливости. Командиры подразделений подходили под знамя полка, брали из плоской стопки по одному экземпляру газеты.

Сразу же после митинга Петрович подозвал к себе командира мадьяр товарища Андраши. Тот был готов — выбрит, пахнул мылом. Настоящим мылом.

Они оседлали коней и поехали на сузунцевскую заимку.

Слева оставалась ложбина с кровлями села на самом дне, а два круглых озера, почему-то казалось, лежат выше этих кровель. Справа — все еще не остывшая от летнего зноя степь слегка переливалась в мареве, марево подымалось к облачному небу. Над камышами речки Падухи дрожал утиный табун...

— Земля много-много хольдов,— сказал Андраши.— Очен. И вода — неизвестное движение. Венгрия — не так. Венгрия — каждый капля движет в Дунай. Да. Советская власть всего мира — хорошо. Советская власть Венгрия — хорошо очен. Да? Интересно, какой газетт сегодня Венгрия? Интересно, да?

Встретили разведчика Юрия Звягинцева.

Еще недавно Звягинцев служил в полку Красных Соколов, и Петрович и Андраши знали этого лихого солдата. Теперь он был в армейской разведке.

— Сем дён отслужу — на два дни домой, в отпуск!— И Звягинцев еще козырнул Петровичу, под красный лоскуток, пришитый к папахе.— А какие нонче новостя, товарищи командиры?

— Новости — у разведчиков!— ответил Петрович, тронув поводья.

— Разведка, сказывают, узнает от баушки Лукерьи. Когда баушке стаёт известно — от ее и мы знакомимся. Ну, что говорят-то?.. Говорят: нонче бомбу бросили в главный штаб...

— Бомбу? Какую? Кто?

— Нашу, партизанскую. Сказать, даже эскадронную, таких больше ни у кого и нету, как у мещеряковских эскадронцев. По фигуре — бутылочную, только без капсюля.

— Озоровал кто?

— Когда без капсюля — ясно, озоровал. Поглядеть, как главный штаб в окошки прыгать будет.

— А кто в штабе был в тот момент?

— Много было. Мещеряков были, Брусенков. Вся прочая служба.

— Что же, Мещерякова и хотели испугать?

— Ну, навряд ли. Тот не сильно из пужливых. Они у бати у нашего на квартире стоят — товарищ Мещеряков. Когда не в отлучке — батя с его глаз не спускает, ровно с малого ребенка. Удивительно даже. Нет, на главкома — кто на его замахнется? Жить каждому охо-

та. Вернее всего, на Брусенкова из армейских кто-то хотел поглядеть, ну и мадамой интересовались, как мадама через окошки прыгать будет? Не близко прыгать — два этажа!

— Какая еще «мадама»?

— Одна у них. Черненькая. По обличию и по фамилии. Либо не знаете?

— Ну, а белые наступают?

— А что им делать? Может, они и не сильно хочут, солдаты, так офицерство их гонят. Рабы!

Звягинцев хлестнул коня, задымил по дороге пыльным следом.

Версты две оставалось до сузунцевской заимки — встретился Довгаль...

Петрович еще издали его узнал — у того особенная была посадка в седле, ни с кем не спутаешь: правым боком вперед, всем корпусом назад... Руки при этом Довгаль держал на груди, в одной — повод, в другой — шапка. Он любил подставлять простоволосую голову под ветер и солнце.

Этой своей посадки Довгаль стеснялся на людях, проезжая деревней — усаживался прямо, как все люди, но покуда бывал один, где-нибудь в поле, его можно было из тысячи проезжих отличить.

Поравнялись. Андраши заулыбался, тоже сбросил картуз с головы:

— Хороший дни, товарищ Довгаль! Хороший здоровья! Хороший обед! Да?

Довгаль в ответ вынул из-за пазухи газету.

— Еще — вот!

— А как же! Слушай, Довгаль, это не ты ли нынче собираешь нас?— спросил Петрович.

Довгаль повернулся к нему лицом — открытым, веселым:

— Я! Я и собираю!

— По какому случаю?

— То есть?

— Какие решать вопросы? Кто вопросы ставит?

Довгаль подумал и сказал:

— Вопросов — их множество! Есть очень сурьезные.— Проехав еще несколько шагов, он прикрыл глаза и стал говорить громко, в такт словам поднимая правую руку с шапкой:—«В жизни человечества наступают времена, когда революция становится необходимостью. Народное сознание, народная совесть восстают! Буря

очищает мир от плесени, вдыхает жизнь в оцепеневшие сердца, приносит человеку благородство и героизм, без которых человек разлагается!» Когда хотишь — я и дальше, и дальше, и дальше могу все сказать. До слова! До единого! Всю газету, как есть — всю!

Петрович удивился:

— Не может быть?!

— Заучивать нисколь не надо, а будто бы я сам все, до слова, написал! Вот она — общая и великая идея — один сказал, а другой уже за собственное принимает! Тысячи и мильоны принимают.— И Довгаль резко обернулся в седле: — Скажи, товарищ Петрович, скажи, пожалуйста, вообще-то годный ли я к идейной работе? К самой высокой политике?

Петрович усмехнулся и сказал:

— Ну как же, Лука, дорогой товарищ, тебе ответить? Я думаю, годный...

— И совершенно правильно ты говоришь, Петрович! Я нынче страшно как переживаю идею, как овладела она мною! И всех других я тоже хочу заставить проникнуться до конца!

— Слушай, Лука, всех ли ты собрал нынче? Будет ли главный штаб, Брусенков? И товарищ главком?

— Они обои должны быть обязательно и во что бы то ни стало. Потому что у их случилось разногласие. Но только не может быть, не может получиться, чтобы они не нашли между собой общее. Как это может, когда они одной идеи? Тысячи, мильоны друг друга понимают, а двое — нет?

— Что за недоразумение?

— Не будем в этом деле покуда ворошиться. Боязно не так что-нибудь сказать! Выслушаем их обоих — это лучше всего. И ни одного чужого, безыдейного при этом на их глядеть не будет, только истинно свои люди!

И тут Довгаль стал приглядываться к дороге, проходившей в стороне, самой кромкой бора. Стал беспокоиться.

— Кого заметил?— спросил Петрович.

— Во-он там коробок видишь, да? Коробок, в серого запряженный, и тоже — куда? Тоже на сузунцевскую заимку держит!

— Чужой?

— Хуже чужого — Никишка Болезин. Один, а все-таки к нам проникает. Может всю среду попортить.

Солнце опускалось к горизонту, озаряя небо ясным, прозрачным светом, выпукло проступали перед глазами бревна заимочных амбаров, угловые врубки, пеньковые жгуты между бревнами...

И сосны вокруг заимки сузунцевской — огромные, столетние, и сосновый подрост, едва достигавший нижних ветвей материнских деревьев, тоже были омыты тем же светом... Между этими соснами и жердяной изгородью и расположилось собрание.

Сидели на земле по-татарски. Стояли, прислонившись к соснам. На пеньках устроились.

— Наше партизанское движение — это пожар,— говорил Довгаль, стоя на перевернутой колоде, показывая руками пламя, как все выше и выше оно вздымается.— И нету против силы, чтобы загасить его! А чтобы еще пуще на весь мир раздуть, такая сила есть, это мы с вами — партийцы! Кто нынче устраивает повседневную справедливость? Мы с вами устраиваем ее, коммунисты-большевики! Отсюда каждому из нас нужно запомнить: при конфискации имущества партийцам не брать совсем или брать в последнюю очередь, что останется, и только в самом крайнем случае. Если кто из партийцев имеет нынче среднее хозяйство и даже смахивает на зажиточного, а сделается бедняком — на это нечего злопыхать. Чтобы в точности понять интерес бедноты и пролетариата — самому бедняком быть даже полезно. А то находятся личности, они за бедняков, а сами не нюхивали бедности. Даже в буржуазном классе находились идейные представители — они отдавали состояние на революционное дело. Добровольно. А у нас встречаются по сю пору партийцы — он первый руку кладет на общественное. Позор! Я приведу один только, совершенно негласный пример. Никишка Болезин на солодниковском базаре картинку купил. С тремя конными богатырями. Я его встретил у поскотины, у Знаменских ворот. И какое же он дал объяснение поступку? Он кобылу понужнул, сказал, что картина никого не касается. Купленная за свои, и вопрос исчерпан. Уже после стал объяснять, что до революции она в десять разов стоила дороже, а нынче он взял ее за полтора пуда муки простого размола.

Товарищи! Я спрашиваю: может, мы революцию делаем того ради, чтобы после партийцы картинки подешевше покупали? Может, для этого мы и свою и чужую кровь проливаем? Да ежели мы, все члены нашей самой

чистой в мире партии, увешаем избы свои картинками, не глядя, что сосед, может, в ту минуту о куске думает и вообще в два, а может, и в три раза в имущественном положении меньше тебя имеет,— какое мы покажем тогда движение к своему будущему, к свободе, к равенству и к братству? Ведь ежели мы способные только других агитировать, а сами будем больше всех руками своими брать — так мы не то что коммунизм устроим, мы его навек тем самым погубим! Ведь идея — она же не сама по себе, ее глазами не углядишь, руками не нащупаешь, она — это мы с вами! Она для всех масс такая и есть, какими мы с вами для них являемся. Мы — члены партийной ячейки! Нас горстка, а мы большевиками себя называем, ничуть не стесняемся перед любой массой. Почему? Потому что все светлое и большое в людях мы на себя берем и не глядим, что нам от этого тяжельше других будет, не жалуемся, тяжестью своей не хвастаем... Но замыкаться с картинкой в своей избе — это недопустимо, и для всех нас это немыслимый пример! За идею, хотя бы за самую справедливую, себя не спрячешь сроду — глупая мысль! Наоборот, ты завсегда наперед ее идешь, а она уже за тобой следует, за каждым твоим шагом!..

Когда Довгалю пришла эта мысль — собрать партийцев, жителей Соленой Пади, не дожидаясь ни Луговского, ни других штабов, которые ставили вопрос о партийном собрании всей Освобожденной территории, он еще не знал — правильно ли он делает? Но тут, на собрании, сомнения его рассеялись, тут радость захлестнула его — стоило только ему поглядеть на людей.

Кто торжественно и тихо, а кто шумно и нетерпеливо, но все переживали нынче эту же радость — встречи.

Не радовался только один Болезин. Он еще перед началом собрания подошел к Довгалю, глянул узкими глазками и сказал сердито:

— А все ж таки ты сатрап, Лука!

Довгаль вздрогнул. Изменился в лице.

— Сейчас и разъясню!— ответил он Болезину.— Чтобы всем было нынче слышно и понятно, кто ты есть, что за человек! Чтобы раз и навсегда пресечь тебя!

И тут же Довгаль взошел на колоду, поднял руку, заговорил...

А теперь он кончал свою речь горячо и страстно:

— А когда вернется наша родная Советская власть, она партийцев таких, таких Болезиных Никишек, самих

заместо безобразных картинок к позорному столбу будет строго пригвазживать,— говорил он.— Но даже и без Советской власти, когда у тебя хватило ума вступить в партийные ряды, должно хватить его, чтобы ты сам себя намертво за этот свой поступок засудил. Ты вглядись в себя, и если твоя партийная совесть молчит — то лучше встань и выйди отседа раз и навсегда!

Довгаль наконец замолк.

А навстречу поднялся из рядов Болезин. Он поднялся и молча, медленно, шаг за шагом пошел, держа руки за спиной, в руках — картуз. Тропинка огибала амбар, прижималась к торцовой амбарной стене и еще раз сворачивала за угол, к коновязи...

Но по этой ближней тропинке Болезин не пошел — пошел по другой, едва заметной среди все еще густо-зеленой гусиной травки, под ветви двуствольной и черной от древности сосны с усохшими ветвями.

Здесь он остановился, обернулся к собранию:

— Совсем? Или как?

Никто ему не ответил. Он еще прошел, еще обернулся:

— Совсем? Из-за картинки кто же вычеркивает человека с партии?— Еще раз обернулся, теперь уже крикнул в полный голос:— Больше меня здесь никто не совершил? Да? Я один только и есть виноватый?! Эта же картинка — она же не просто так,— меня к ей революция приблизила. А ты — попрекаешь? За что?

Довгаль задумался, не ответил, и, чувствуя замешательство Довгаля, Болезин спросил еще раз:

— Один! Да? Виноватый среди всей массы?

Но теперь Довгаль уже отвечал ему:

— Тебе легче, когда бы ты не один был такой — больной личной собственностью? Тебе от этого радостно, когда бы ты не один был зараженный? Вот, товарищи, почему революция с трудом и тягостью делается не только всем народом, но даже самой революционной его и партийной частью! От твоей, Болезин, картинки тень падает на мировую революцию! Не понимаешь?

Болезин махнул рукой и ушел, огибая угол высокого амбара.

Довгаль махнул ему тоже и застыл неподвижно на колоде — ему показалось, из-за угла вот-вот выйдут Брусенков и Мещеряков. Он их ждал каждую секунду.

У него уже готова была к ним речь, готовы были особенные слова, против которых ни тот, ни другой устоять не смог бы. Которые того и другого объединили.

Это утром, в избе Тольки Стрельникова, Довгаль был одинок и слов у него было в обрез. Тогда были тяжкие минуты, а здесь Довгаль чувствовал торжество и силу своего убеждения.

Мещерякова не было. Брусенкова тоже. Предстояло их ждать, но и ожидание не тяготило Довгаля.

— Тысячи копают окопы с утра и до ночи,— говорил он,— и все одно мы про себя знаем: если бы призвали нас копать в Тверской губернии либо на Волыни, пошли бы мы туда? Нет, не пошли бы! Для нас там до сего времени,— чужое место! Мы бы не пошли, а офицер, буржуй — он собственник куда больше нас, но идет защищать: капитализм повсюду, не глядит, что владение его в одном конце земли, а он идет с интервенцией в другой. И получается — народам нет исхода, когда они имеют меньше сознательности к собственному освобождению, чем капиталист — к порабощению. И еще спросить: глодает ли нас нынче совесть, что пролетарий — тот бросает в Питере семью на осьмушку хлеба, а сам по великому призыву товарища Ленина идет с гордо поднятой головой в Сибирь и на Волынь защищать не только себя самого — идет ради нас? Упрекает ли? Или опять же, не по собственной ли нашей несознательности, мы ставили в первые прошлогодние еще Советы не столько людей, сколько чрезвычайные тройки и пятерки, а те уже чрезвычайно обходились не только с богатыми — даже с ровным крестьянином! Но мы должны верить и знать, что, когда бы Советская власть падала под ударом темной силы не только в Сибири, но по всей России, она и тогда восстановилась бы повсюду, потому что люди уже видели ее однажды и поняли ее! И какие бы мы ни были виновные, как бы сами ни калечили который раз дело, все равно справедливость одна! Другую никто не смог человеку показать. Нету нашей идее конца, и кто-то должон непрерывно нести и провозглашать ее, а потребуется — начинать ее снова и снова! А для этого — перед самим собой, перед каждым товарищем-партийцем — необходимо быть собственной совестью, чистым и преданным!

Еще совсем недавно Довгаля мало кто знал в Соленой Пади. Он подростком ушел на станцию железной дороги, прижился там как будто бы навсегда... После —

уже по водворении правителя Колчака — принял участие в забастовке железнодорожных рабочих и служащих, а когда Колчак стал за это жестоко расправляться — вернулся с молодой молчаливой женой-чистюлей в родное село...

Детей у них не было, жена день и ночь мыла и скребла избу. Довгаль не обзаводился хозяйством, больше ремесленничал, когда же началось партизанское движение — примкнул к нему со всею страстью...

А теперь вот имел право и призывать и упрекать любого человека. И стыдить имел право. Он это доказал.

Нынешним летом, в середине июня, казачья станица Егошинская, которая до тех пор никак себя не проявляла, была будто бы не за белых и не за красных, вдруг выступила и в одну ночь уничтожила на дороге партизанский отряд, после станичники еще заняли несколько сел и там вырезали всех ополченцев, уничтожили их семьи, пожгли дворы.

И тогда Лука Довгаль среди бела дня пришел в станицу, объявил, что желает договориться с казачеством полюбовно и мирно, потребовал собрать митинг. Говорил Довгаль перед людьми с полудня до позднего вечера, призывал станичников вернуться домой, подумать хотя бы еще несколько дней. Призывал к миру, указывал на безнадежность их выступления. Кончилось тем, что его арестовали. Но не расстреляли и даже ничего ему не сделали.

Не пропала бесследно его речь, засомневался кое-кто из казаков, и часть — особенно фронтовики, досыта понюхавшие пороха, по большей части покалеченные и поконтуженные,— убрались на пашню, на заимки, отклонились от своей станичной контрреволюции.

А тут пришел партизанский отряд, разгромил казачишек, освободил Довгаля. Освободившись, Довгаль уже говорил перед своими, защищая станичников. Опять ему удалось — не всех, а все ж таки кое-кого защитил.

И теперь и всегда так было: когда обращался он к людям, когда произносил речи, слушали Довгаля, смотрели на него, еще и еще ждали от него слова.

Довгаль и сам от себя ждал его. Он еще не сказал его вслух, но знал наизусть. Так же как «Уроки прошлого», напечатанные в газете. Еще тверже и даже как-то отчаяннее знал. «Товарищи! Вы покуда не в курсе, а я — буду комиссаром нашей армии!— хотел он воскликнуть

нынче.— Так верьте же мне, каждому моему слову и вздоху — верьте, верьте и верьте! Мне это нужно от вас, я этого требую от вас, и когда это будет, когда совершится,— никто уже и никогда в мире не сможет выдумать такой жертвы, которой я убоялся бы, на которую не пошел бы ради вас и общей нашей и великой идеи! Верьте!»

И ждал с минуты на минуту Мещерякова, будто бы уже видел его перед собою и ему говорил эти же слова, его направлял на истинный путь.

Ждал Брусенкова, чтобы камня на камне не оставить от тяжелого брусенковского упрямства.

Ему казалось — он ждет еще и еще каких-то людей, чтобы и они поверили — поверили ему, а через него всему, чему должен и обязан верить нынче человек!

Но все еще не было ни Мещерякова, ни Брусенкова, ни других каких-то людей, и, чуть повременив, Довгаль сказал:

— Товарищи! Есть предложение организовать коммунистический батальон. Либо хотя бы роту. И в предстоящем сражении показать всей армии чудеса героизма, а противнику показать нашу неустрашимость и храбрость, чтобы у него кровь позастывала в жилах!

Тут как будто даже кто-то догадался о тайных, невысказанных словах Довгаля:

— Тебе бы, Лука, комиссарить надо было при товарище главнокомандующем — вот это получился бы комиссар!

И началась запись в комбатальон. Когда началась — в этот момент и появился Брусенков.

Он только что приехал, оставил коробок у коновязи, приблизился к собранию и сразу же понял, что происходит.

— Неправильно!— сказал он громко и отчетливо, поправил картуз на голове.— Неправильно! Необходимо всем пойти в существующие роты и батальоны, а вовсе не записываться в отдельную часть, отрываться от народа! Для себя я спрашиваю самую малосознательную роту, со слабейшей дисциплиной... .

И посмотрел Брусенков вокруг, увидел Петровича, остановил на нем взгляд:

— Товарищ Петрович, в твоем полку таких рот нету, знаю. Но как армейский товарищ ты все одно можешь подсказать — куда мне записываться?

— На этот вопрос лучше ответил бы главком Мещеряков! — сказал Петрович.— Лучше он.

— Ну,— пожал плечами Брусенков и плотнее натянул на голову картуз,— от его-то как раз особой дисциплины ждать не приходится. Встречался я с ним нынче, и всерьез. После — записка еще с нарочным была мною передана, точно пересказаны все слова о собрании и наказ Довгаля — явиться. Не явился! — Брусенков посмотрел вокруг внимательно.— Нету?

— Перед лицом предстоящего сражения за Соленую Падь есть предложение: коммунистам, а также истинно сочувствующим, кто еще не в армии, но способен быть в строю, распределиться поротно! На роту по одному,— провозглашал тем временем Довгаль.— В ротах не объявлять о своей партийной принадлежности, а идти в бой и вести себя до конца сознательно, объясняя политический момент. Чтобы товарищи солдаты сказали первыми: «Этот человек дерется с врагом и любое испытание переносит, как коммунист, хвастовства в нем нету ни капли!» И вот уже в ту минуту имеется право с внутренней гордостью объявить: «А я и есть коммунист!» Либо выйти вперед, сказать: «Товарищи! Когда вы обо мне отзываетесь — подтвердите, что я достоин быть коммунистом!» Строй подтвердит, а тогда приходи к нам, мы запишем тебя в свои ряды,— слово над тобою произнесено народом, а это нам закон!

Петрович спросил:

— Это все, товарищ Довгаль?

Негромко спросил. Другие и не заметили.

Довгаль поднял к нему лицо — радостное, возбужденное:

— А? Что? Что еще?

— Мы с товарищем Андраши можем возвращаться к себе в полк?

— Почему бы нет?

— Слушай, Лука, не упрекнешь ли ты себя за нынешнее торжественное собрание? Ну собрались, ну записались в роты. Торжественности много. Дальше что?

Довгаль оставил кому-то бумажку, в которой вел запись, встал, отошел с Петровичем в сторону. Обнял его.

— Надо же нам было, товарищ Петрович, всем вместе собраться! Понять, что мы уже не разойдемся более никогда. Когда поняли — дальше будет все! Будет — единение! Ты гляди на людей, товарищ Петрович, гляди на их, а тогда сам поймешь без посторонних объ-

яснений.— И Довгаль протянул руку, указывая на одного, на другого, на третьего.

Были тут совсем еще парни, и мужики в серебре, кто — просто в посконных рубахах, перехваченных бечевками, кто — в потрепанных гимнастерках, кто — в длинных, почти до щиколоток, шабурах. Кто — в сапогах, а некоторые — уже в пимах...

Толпились по траве между лесной опушкой и высоким амбаром, но толпы не было...

Разговаривали в голос, никто почти не молчал, но и гомона и шума тоже не было, короткий смех появлялся там и здесь — слышались восклицания, но только ни перекричать, ни заглушить друг друга никто не хотел, голос исходил ото всех как будто один.

Курили... Дымки тянулись легкие, едва видимые.

Довгаль вздохнул.

— Ну? Ну, товарищ Петрович, что тебе еще надобно? Может, на этой поляне в данную минуту находятся самые сознательные и даже самые счастливые люди на всей земле? Других, может, таких нету?

И он еще махнул рукой, еще приближая к себе сосновый бор со сплошным коричневым древостоем, пашню с поседевшими гребешками пластов; следующую за этой пашней узкую луговину с редкими, охваченными в красное кустами боярышника и с частыми, даже издалека видимыми метелками высоких трав.

— Вот так!— сказал Довгаль.

Подошел Брусенков. Он тоже был тих, задумчив, без картуза... Картуз нес в руках. На лице спокойствие; будто вспоминая что-то давно прошедшее, он сказал:

— Забыл, а ведь и верно, надо бы объявить для всеобщего сведения: главный штаб нынче постановил при главкоме Мещерякове назначить комиссара. Комиссаром назначить товарища Довгаля. По его же личной просьбе и желанию. Тем более непонятно, что он нынче по записке не явился сюда, наш товарищ Мещеряков... Непонятно и вовсе странно. Ну, это, я считаю, все ж таки не слишком уже большая вина с его стороны.

Довгаль и Брусенков возвращались вместе, в одном коробке.

Уже было темно.

По увалу тянулась темно-желтая, почти коричневая узкая полоска света — не то солнечная, не то лунная.

Одна только и мерцала, а выше, в небе, и ниже, на земле, все заняла осенняя ночь. Не враз стукали копытами кони — брусенковский впереди, в оглоблях коробка, и верховой Довгаля сзади, на привязи...

Не сразу заговорили — каждый думал о своем. После Довгаль сказал:

— И все ж таки восстановились! Теперь раз и навсегда! Теперь связаться бы с губернией, и не просто, как сейчас,— от одного случая до другого, а повседневно. В крайнем случае поеженедельно. Хотя в городах Колчак еще хужее свирепствует, а все ж таки подполье не в силах уничтожить — оно пролетарское и несгибаемое. Свяжемся! Затем уже будет связь с российской партией большевиков. Еще дальше — с Интернационалом. Бесконечная это сила — трудящаяся масса!— Довгаль поглядел на желтую полоску света, повторяющую очертания увала. Вздохнул.— И как обидно становится, товарищ Брусенков, когда мы на месте у себя который раз не находим общего языка, не можем друг от друга заимствовать силу, убеждение и организацию! Обещаешь ли мне, Брусенков, что против главкома негласно и единолично ты никогда уже больше не пойдешь? Что не повторишь той картины, которая только сегодня еще утром случилась в избе Толи Стрельникова?

— Я обещаю, Лука!— сказал Брусенков.— Что вовремя не произошло, того не вовремя не должно быть...

— Ну, я так и знал, Брусенков. Я все ж таки верил!

— Негласно — не будет с моей стороны против его сделано ничего. Подтверждаю. Но во всеуслышание — я был против многочисленных его действий и поведения, сейчас против и всегда буду против. В одном месте он делает победу, верно, но в другом ее разрушает. Вольно либо невольно — это мне уже неинтересно.

— Сколь мы об этом говорим, никак не могу от тебя добиться — да что же он такого делает, Мещеряков, контрреволюционного?

— Еще до сражения или после он пойдет и сделает дело, от которого у тебя волос станет на голове, товарищ мой Довгаль... Запомни это. Пойдет он на разгон главного штаба.

— Этого не может быть!

— Как только узнает о нашем нынешнем совещании в избе Толи Стрельникова... Как только узнает, то и сделает это с главным штабом.

— От кого узнает?

— От тебя, товарищ Довгаль! Ты будешь при нем не только комиссаром, но и друг ему...

Гасла желтая полоска на увале, становилась все более узкой, тусклой. А звезд нынче в небе не было, хотя закат был светлым — без облаков, без туманов. Задумался Довгаль. Сказал:

— Ты хотишь от меня обещания, Брусенков, чтобы я молчал бы перед Мещеряковым? Чтобы взамен твоего обещания я дал тебе свое?

Брусенков не ответил. Довгаль заговорил дальше:

— Не будет такого с моей стороны. Не может быть, и ты должен об этом знать. И помнить. Как покажет дело, так я и сделаю. Зря ни о чем говорить главкому не буду, потребуется — скажу все до единого слова.

Помолчали, и Довгаль снова стал вспоминать «Уроки прошлого»:

— Э, Брусенков, Брусенков, помнишь ли ты, как там сказано: «Свободой должно обладать большинство, а не меньшинство, это ясно ребенку, но до сих пор неясно было всей истории человечества»?

— Про балерин тоже помнишь?— спросил Брусенков.— Там, в газетке, говорится — оне львицы и требуют на себя миллионы за счет трудового народа.

— Помню.

— Я и велел про их сказать! Чтобы не откладывали, а в первую же газету напечатали... Как ты думаешь, Лука, где сейчас находится Петрович, куда держит свой путь?— вдруг спросил Брусенков.

— Вернее всего, в полк Красных Соколов. Вместе с товарищем Андраши.

— Нет! Вернее всего, он сейчас на пашенную избушку Звягинцевых держит путь.

— А что там — в избушке?

— Там нынче товарищ Мещеряков находится. И товарищ Жгун.

— Тебе-то откуда это известно, Брусенков?

— Известно...

Еще проехали молча какое-то время.

Горькая обида подкрадывалась к Довгалю. Горькое недоумение,— почему главком с первого же шага пренебрег дисциплиной, не явился нынче на сузунцевскую заимку? Он этой обиды не хотел, ни к чему она была. Но она — была.

— А говорил ты нынче здорово, Лука,— сказал вдруг Брусенков.— Хотя я и не все слыхал, пришлось

на собрание припоздниться, но ты все одно говорил здорово! Все тебя слушали и молчали, даже товарищ Петрович молчал. Даже он не взялся помимо тебя людям объяснять и призывать их. Я от него этого не ожидал — молчания. А может, он понял истину про твои слова? Все может быть. Он — умный!

— Веришь ли, Брусенков, я к белогвардейцам ходил с речами, к белому казачеству — и то не переживал тот раз, как нынче пережил. Нет!.. А об чем должон был понять Петрович? Как это вообще понять твое замечание про слова, про их истину?

— Да просто — комиссар ты мой! Кто сильно, красиво и даже истинно излагает дело — хотя бы и борьбу за справедливость и за всю человеческую жизнь,— тот уже жизнь не делает. Делают другие.

Мещеряков и начальник штаба Жгун в это время и в самом деле были в звягинцевских пашенных избушках, почти на самой земельной грани между Соленой Падью и выселком Протяжным.

Под навесом, нарушая тишину темной ночи, хрупали кони разведвзвода, в избушке светила длинным языком свеча, за деревянным из неотесанных досок столом, склонившись над картой, сидел Жгун — худой, морщинистый, с рукою на перевязи. В углу, на топчане, на охапке сена и на шинели спал Мещеряков.

В головах — аккуратно сложенная гимнастерка, рядом — папаха, под ней, выглядывая наружу шнурком и рукоятью, лежал наган, еще рядом — портупея, трубка и бинокль.

В ногах — сапоги пятками вместе, носками врозь.

Мещеряков спал на спине в брюках галифе, в расстегнутой на всю грудь белой рубахе, свет тускло падал ему на светлый пушок груди, на лицо с разбросанными по лбу волосами и с короткими усиками над верхней приподнятой губой. Усики и во сне топорщились, если бы не они — главнокомандующий совсем похож был бы на мальчишку.

Дышал Мещеряков ровно, разметав обе руки, при каждом вздохе поблескивая планками расстегнутых подтяжек. Чуть слышно посапывал.

Посапывание прекратилось — Мещеряков повернулся со спины на бок.

Жгун поправил фитиль свечи, другой рукой, которая была у него на перевязи, потянул на себя карту.

— Ну вот, я и отдохнул сколько-то!— послышался голос, а когда Жгун оглянулся, голос раздавался уже из гимнастерки: Мещеряков натягивал ее через голову.

Потом появилось недоуменное лицо, и он сказал еще:

— Смотри-ка, а шея-то у меня болит! Вывернул я нынче шею, глядеть было слишком неловко!

— Где же это тебе пришлось, товарищ главнокомандующий?— спросил Жгун.

— Пришлось... Ну ничего, поди-ка, пройдет сама по себе?— Еще повертел головой.— А может, это уже к старости, а? Товарищ Жгун? Все может быть — волос же из головы падает у меня?!— Вздохнул. Взялся за сапоги, но раздумал их надевать и, подобрав босые ноги, обхватив колени руками, спросил:— Ну и как же? Все тобою продумано, товарищ Жгун? Окончательно, до тонкостей?

— Окончательно.

Тогда, быстро обувшись, Мещеряков тоже подошел к столу, тоже склонился над картой... Поглядев на нее, на Жгуна, на пламя свечи, сказал:

— Ну, теперь на свежую голову давай!— Указал на длинную, узкую бумажку.

На одной стороне этой бумаги было отпечатано объявление торгового склада сельскохозяйственных машин, нарисована сенокосилка с поднятыми вверх крупными пальцами ножа и жатка-самосброска с граблями, распущенными веером, а на другой — четким почерком, строчка к строчке, буква к букве, рукою Жгуна был написан приказ с задачей полкам 20-му, 22-му, 24-му и 26-му Красных Соколов разгромить противника по выходе его колонн из села Малышкин Яр.

Указывались в приказе: а) исходные позиции полков перед началом операции, б) взаимодействие во время боя, в) средства связи и сигнализации, г) дальнейшие действия в случае выполнения поставленной задачи.

Указывалось, что штаб армии и канцелярия остаются до конца операции в Соленой Пади, что о дальнейшем передвижении штаба будет сообщено особо.

Что служба тыла — лазарет, патронная лаборатория, пункт сбора пленных — будут находиться в выселке Протяжном.

Что там же, в Протяжном, впредь до выхода на командный пункт для непосредственного руководства боем, будет и главнокомандующий армии Мещеряков.

Еще и еще раз долго и молча читал Мещеряков этот приказ, а потом, тоже молча и старательно, его подписал.

Жгун кивнул, положил подписанный приказ в карман френча, чуть сгибаясь под низким потолком, прошелся из конца в конец избушки, а потом протянул главкому и еще одну бумагу. Протянул — ни слова не сказал.

Это было письмо командиру полка Красных Соколов товарищу Петровичу.

«Товарищ Петрович!— написано было на листке той же четкой строгой рукой Жгуна.— Луговской районный штаб в лице его начальника товарища Кондратьева и заместителя товарища Говорова, отмечая, что в объединенной крестьянской армии все еще не поставлена политическая работа, как того требует нынешняя чрезвычайная обстановка и задача полной победы над ненавистным врагом, предлагает немедленно назначить всеармейского политического комиссара.

Тем же письмом указанные товарищи предлагают назначить политическим комиссаром армии товарища Петровича.

Штаб армии, рассмотрев это письмо, отнесся к нему положительно и, со своей стороны, немедленно, по завершении боя за село Малышкин Яр, предлагает встретиться для окончательного решения поставленного вопроса в выселке Протяжном следующим товарищам: главнокомандующему ОККА товарищу Мещерякову Е. Н., начальнику главного штаба Освобожденной территории товарищу Брусенкову И. С., начальнику Луговского районного революционного штаба товарищу Кондратьеву К. М., вам лично, а также и другим лицам».

Подписал и это письмо Мещеряков.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Еще раньше, чем из Карасуковки была получена телеграмма, Мещеряков узнал, что карасуковцы сделали налет на отряд белых, который двигался к Соленой Пади по Убаганской дороге.

Узнал через свою армейскую разведку. Для разведки событие оказалось совершенно неожиданным, и она сообщила сначала: «Неизвестная белая банда сделала нападение на своих же белых, по неизвестной причине нанесла последним сильный урон в ночном бою». Только на другой день ошибка была исправлена: «Те белые, о которых было донесено вчерась, оказались вовсе не белыми, а восставшей карасуковской местностью в количестве пятисот семидесяти одного человека конных и вооруженных, о чем ими же было нашему разведвзводу точно сообщено».

А спустя еще день и была получена шифрованная телеграмма: «Карасуковские хозяева согласны продать соленопадскому обществу 571 пуд муки простого размола да здравствует Советская власть долой тирана Колчака Глухов Петр Петрович».

Было ясно, что карасуковский телеграф в руках восставших, что Глухов Петр Петрович проявил оперативность, что колчаковцы успели и еще пошалить с карасуковскими хозяевами, без этого они так быстро не собрались бы сделать дело.

Ну вот — начало было... Был подан сигнал, которого томительно и напряженно ждали Мещеряков и Жгун все эти дни.

Сразу же после подписания протокола объединения армий комиссар Куличенко с двумя полками вышел в направлении на Моряшиху и далее ленточным бором в тыл правофланговой колонне противника; он должен был дать колонне бой, и даже не один.

В том же случае, если с правого фланга, хотя бы самыми небольшими силами, выступят еще и карасуковцы, Мещеряков решил сам выйти против срединной и наиболее значительной группировки противника.

Одновременные — или почти одновременные — удары на трех дорогах должны были заставить противника задуматься: а действительно ли партизанская армия уходит в оборону?

Нужно было заронить подозрение. А тогда противник станет обеспечивать тылы и фланги своих колонн, оставлять гарнизоны в селах по пути следования, увеличивать арьергарды и к Соленой Пади подойдет уже далеко не всеми своими силами. Это и нужно было Мещерякову. Он в решающий момент стянет свою армию до последнего человека к оборонительным позициям, выдержит первый натиск белых, а потом как можно

скорее перейдет в решительное контрнаступление. Таков был официальный, утвержденный в штабе план.

И вообще Мещерякову давно хотелось дать бой и обязательно выиграть; подходила к концу всего-то вторая неделя его пребывания в Соленой Пади, но все казалось — народ слишком долго ждет от главнокомандующего боевых действий, хочет своими глазами, а не понаслышке увидеть, на что он способен. И армия ждала от него дела. Партизанские части, которые он привел из Верстова, в этом не нуждались, зато те, кто до сих пор воевал под командованием Крекотеня, хотели окончательно понять: почему Мещеряков, а не Крекотень нынче общий военачальник?

На этот вопрос надо было ответить.

Бой Мещеряков решил дать по выходе белых колонн из села Малышкин Яр. В случае успеха он и дальше намерен был развивать контрнаступление, даже вплоть до того, чтобы вообще избежать обороны. Об этом он даже самому себе не говорил, а все-таки и надежда в нем не гасла, теплилась. Не оборона была ему страшна, но тот факт, что не он будет нападать, а на него; не он, а кто-то другой будет назначать час и место боев.

Накануне он приехал в выселок Протяжный — несколько амбаров и молотильных токов, покрытых еще мягкой половой, было расположено в неприметной ложбине того же названия, верстах в шести от Малышкина Яра. Здесь и находился его штаб. Свой же командный пункт на позициях он хотел занять за каких-нибудь полчаса до начала сражения. Чтобы раньше времени не привлекать внимания противника.

Днем он хорошо вымылся в бане для бодрости тела, коротко, но крепко выспался, сначала тоже крепко поев и немного выпив.

Вечером отрезал от буханки кусок — солдатскую пайку, пол-луковицы чеснока тщательно очистил, съел и то и другое, запил холодной водой, начатую буханку и чесночную луковицу положил на середину стола, на видное место — пусть ждут его после боя.

Доктора правильно говорят: всякое ранение, особенно в живот, когда перед тем сытно наешься, переносить гораздо хуже. Кроме того, кровь сильно приливает к желудку, а во время сражения ее должно быть как можно больше в сердце и в голове. Это Мещеряков уже знал от себя...

Входили-выходили разведчики, кое-кто из командиров частей все еще был тут, хотя Мещеряков на них сердился, прогонял прочь; части были на исходных позициях, командирам надо быть при своих частях, а они все еще мотались на взмыленных конях к выселку Протяжному, потом обратно,— а для чего? Может, это у них от Крекотеня осталось, тот сделал привычку — до последней минуты толкаться в штабе главнокомандующего?

И он посадил в первой комнате комполка двадцать четыре, велел ему выслушивать всех, кто домогался сию же минуту увидеть главнокомандующего, и только уже в случае действительной необходимости входить к нему в дальнюю горницу, где он, расстелив на полу карту района военных действий, не столько на эту карту смотрел, сколько отдыхал перед боем.

Ну, а комполка двадцать четыре было кстати потренироваться; когда не вышло дело с назначением командиром дивизии Петровича, так Мещеряков стал приглядываться к молодому еще, но уже хорошо повоевавшему командиру этого полка.

Сам же, не торопясь, размышлял о разных предметах...

Есть люди — они о себе рассказывают, и даже с охотой, будто в ночь перед боем спят, как младенцы, видят веселые сны, а сигнал тревоги не сразу после таких снов могут понять.

Вранье все! Это рассказывать во всех подробностях о бое, когда он уже прошел, а ты в нем был и остался живым, интересно, даже необходимо.

В ночь же перед боем человек отчасти бывает мертвым, и говорить об этом вслух, да еще об этом врать, просто глупо. Глупо, и ничего больше! Он о тех ночах ни говорить, ни вспоминать не любил. Они тайной были даже для него самого.

В такие ночи и на прусском и на австрийском фронтах, да и в эту войну случалось тоже — он, как и все, делал вид, будто крепко спит, на самом же деле не спал никогда, прощался с другими людьми...

Для начала отец в эту ночь по-солдатски желает тебе удачи, снова и снова повторяет, в каких он был войсках и сражениях, если за ним строго не доглядеть, он тут же и приврет, представит себя героем.

Ты тоже желаешь отцу прожить побольше и даже заметно побольше того, что человеку суждено, походить за внучатами, ну, а потом легкой смерти.

Жена в эту ночь редкостно хороша и тиха, чуть-чуть и молча ласкает тебя рукой по лицу...

Детишки глядят на тебя, словно ты явился перед ними и объясняешь, как надо жить, какими быть. И мало того, что им, детишкам, понятно и ясно и они тебя слушают внимательно, мало того — тебе и самому это тоже понятно и ясно. Не понятно только, почему же по сю пору ты сам так не жил, как об этом рассказываешь?

После подходишь под благословение матери... Подходишь — сам ребенок, хотя бы и двадцати, хотя бы и тридцати лет. И опять удивляешься: почему не жил до нынешней ночи так, как велела мать, как мечтала она о твоей жизни?

Но мать не упрекнет. В такую ночь не то что мать — никто и ни в чем не упрекнет тебя. Никто, кроме себя самого. Но и от этого последнего упрека убережет мать. Наоборот, что-то скажет тебе, как-то к тебе прикоснется — и снова чувствуешь ты себя в той самой жизни, которая начала будто бы уже обрываться.

И хотя с шестнадцатого года Мещеряков окончательно не верил в бога — с того дня, как угадал в немецкую газовую атаку,— материнское благословение для него не переставало существовать.

Нет, ночь перед боем — это ночь человечья! Тем более что подумать-то человеку о себе в другое время некогда. В бой ты идешь — уже ни о ком и ничего не помнишь, а перед тем дано тебе иной раз вспомнить все-все, что было, все, как было. Дано — пользуйся. Не прикидывайся перед товарищами, будто и это тебе нипочем, даже ночь эта. Лежи молча. Думай.

Лукавство во всем этом есть — тоже правда, есть хитрость, но разве от нее хуже? Прощаться-то со всеми ты уже попрощался, а спроси: разве не знаешь, что все ж таки и еще живым будешь?

В первых боях, потому что они первые, потому что ни с того ни с сего в самом начале войны не так уж много людей погибает, у большинства это еще впереди.

В последних — потому что они последние, и если ты их множество пережил, почему бы не пережить еще один?

В ночь перед боем у Малышкина Яра все это было, опять было так, будто жизнь прожита, расчеты с нею

покончены, остался один бой, и больше ничего. И теперь только в бою, и только через него, она уже и могла снова вернуться, жизнь. Теперь уже в неразберихе огня, криков, маневров вдруг тебя осенит какой-то миг... Что за миг? А это тот самый, до которого ты мысленно дошел еще вчера, вчера услышал вот этот крик, вот этот залп, увидел такой же маневр, а теперь увидел его в действительности. И вот уже ты бой подхватил и через него возвращаешь себя к жизни. Это удача твоя. Надейся: уже не смерть с тобой играет, ты играешь с нею!

В просторной избе о трех горницах почему-то пахло ржаным хлебом.

Мещеряков выходил на гумна, смотрел полову и солому — ни одного колоска ржаного нигде не заметил. Молотили здесь пшеницу-белотурку и номерную, овес, гречишная была солома, были длинные, хрупкие, как перекаленная сталь, ости ячменя, а ржи — нигде. Рожь вообще в этой местности не знают...

Отмолотились протяжинские хозяева недели две назад и семьями ушли в большие села — в Моряшиху, в Соленую Падь. Там вместе со всем миром и уберегутся от Колчака, там — сила, а здесь — всего-то десяток мужиков, против конного разъезда и то не выстоять.

А минуют выселок колчаки — удивятся этому партизаны: почему миновали? «Ага! Выселок-то заодно с колчаками?» Вот и не стали протяжинские пытать судьбу, бросили строения. А ржаниной в избе пахнет — так это, наверное, был квасный дух. Густой, сильный, как брага...

То и дело подъезжали разведчики с донесениями, прибыл уже и размещался лазарет; как только он прибыл, сразу же под окнами избы послышался женский голос:

— Да ты изведал ли когда в жизни любви-то? Тетеря?

— Какая это жизнь?— вздохнул в ответ немолодой уже, грустный бас.— Какая жизнь — день и ночь с песком на зубах!

Долгое время слышалась разноголосая перекличка, говорили кто о чем. Бессвязно. Потом двое кто-то повстречались, давние дружки:

— Каким ветром, милой, занесло? А? Пригвоздило — и прямо сюда? Вот встреча!

— Ветер нонче всем один...

— Горы двигаем, да?

— Горы-то двигать тоже надоть знать — в какую сторону? Чтобы на себя не обвалить...

— А что там все ж таки в Зубцовой? Обратно из нее белая банда посягает?

— Белые — и не очень. У их у самих, зубцовских, еще большая сила колебания проявляется. Казачество!

— Так ить белые сами на себя всем глаза открывают! Хотя бы и казачеству!

Мужицкие разговоры тоже слышались. Хлебопашеские:

— Мы урожая не ждали нонче, ждали запалу... За троицей вслед над нашей местностью туча прошла. Стариков спрашивали — и расейских и чалдонов,— в один голос отвечали: врать не станем, не бывало у нас такой на глазах! Черная, ну как в тулупе в барнаульском завернутая, и ни капли не обронила, а жаром пышет страшным! Может, дошла к горам, об горы задела, остыла, после того излилась. Над нами прошла — мы в ту же минуту кто во что запрягать кинулись, пашню глядеть — сгорела либо живая еще? Живая была пашня, но только чуть. Еще бы полдни такого жару — и нет ничего: ни колоска, ни травки. После, что ты думаешь? Голубенькая такая, махонькая тучка надвинулась и каак ливанула — спасла пашню! А больше нам в лето обиды не было — и тепла и дождя в самый раз. Трава так и по сю пору еще молодится... Ну, а та черная была туча — забыл сказать,— грому от ее — так это не оберешься! Идет и грохочет, идет и грохочет! Правда ли, нет ли — земля круглая? Гром-то все катился и все под гору!

Об этой туче Мещеряков нынче слышал не раз. И в разных местностях...

Долго было тихо.

К ночи, что ли, угомонился народ, вот так же задумался о предстоящем бое, как только что Мещеряков о нем думал.

Наконец, когда тишина стала томительной и захотелось, чтобы ее прервали, в хутор въехали двое или трое верховых, один, соскакивая на землю, сказал сердито.

— Тарантас угнали, хады! На железном ходу!

— А в кого запряжен-то?

— Да запряжен, бог с ей, кобылешка немудрящая! А тарантас выездной, сами бы еще сколь у ем поездили... На железном ходу!

— Кто же такие?

— Кто их знает... Не похоже, чтобы беляки. Фулиганье какое-нибудь. Жиганы. Трое.

— Как же вы — вершние — и не догнали? Как могло быть?

— Догоняли. Оне дорогу, видать, знают, через мочажину колесами проехали, а мы след хорошо не поглядели, ринулись. Ну, едва коней не утопили в мочажине этой. И сами по уши в грязе побывали.

— Что за банда?

— Вернее всего, банда и есть. Фулиганье. Жиганы.

— И зачем им тарантас спонадобился? Документов там не было каких? Срочных бумаг?

— Документов вроде не было. Разве что при бабе... Которая в тарантасе была. Они ее тоже сперли.

— Что за баба?

— Ну, штабная. Которая при Брусенкове состоит, при главном революционном штабе.

— Черненко?

— Черненко...

— Оторвали, язви их, кусок. Была и нету. Из-под самого носа увели!

— Брусенков сильно сердитый будет. Грамотная баба. Он без ее ни шагу.

Мещерякова вынесло из дверей избы, он подхватил с перил крыльца повод гнедого и уже верхом крикнул:

— Это что же за партизаны, что за мужики, когда у них баб из-под носу воруют? А? Десятеро — за мной! Лыткин! Десять человек, не больше и не меньше! Догляди!

За распахнутыми воротами поскотины остановился, чуть подождал. Одним за другим подскакивали верховые, он еще приказал Гришке:

— В обход мочажины на большак и по большаку с криком, с шумом гоните до самой Салаирки.— Сосчитал рукоятью нагайки троих: — Первый, второй, третий! За мной!

Тронул вправо, через пашню.

Он рассчитывал, что Гришка со своими конниками спугнет бандюков с большака на проселок вправо. Проселок на неудобной этой, мокрой и озерной местности держался вдоль большака, верстах в двух от него, потом круто брал еще вправо, на деревушку Семиконную. Если бандюков нет ни на большаке, ни на проселке — значит, они белые, к белым и ушли. Их уже не возьмешь, но хотя бы узнать, кто такие. Если свои, с Осво-

божденной территории, так не должны уйти далеко. Будь они все верхами — пошли бы пашней, напрямик и куда угодно, но с тарантасом только две дороги: большак на Салаирку и проселок на Семиконный. На этом проселке и ловить банду...

Перемахнув мягкую, только что сжатую пашню и с небольшого увала снова спустившись вниз, под уклон, Мещеряков дал коням передышку. Лег на землю. Ночью вот так глядеть снизу вверх вдоль земли — далеко можно видеть, и бинокль хорошо берет, особенно движущиеся предметы, а слышно и совсем неплохо, если только кругом тишина, никто тебе не мешает ни словом, ни вздохом. Мещерякову никто не мешал, кони похрапывали, так он отошел чуть в сторону, чтобы не слышать их.

Но не было ничего ни слышно, ни видно. Ночная осенняя степь чуть шелестела травами, где-то совсем близко была неубранная полоса хлеба, хлеб позванивал колос о колос, о почву задевали невысокие облака. Тишина Мещерякова ничуть не разочаровала, он подумал — расчет его правильный: пашней бандюки не поехали, побоялись, на пашне останется след, по следу их с рассветом настигнут, хотя бы и за много верст.

Проселок же где-то близко давал большую петлю, на ту петлю и метил Мещеряков, соображал, как бы не ошибиться в темноте, не взять правее либо левее...

Вспоминалось: наутро предстоит сражение, но азарт погони, еще какое-то упрямство охватили его, он легко уговорил сам себя: «И здесь успею и там! До рассвета далеко еще!»

Все-таки немного погодя, прислушиваясь к прерывистому дыханию гнедого и беспокоясь, как бы не загнать его, как бы не вывести его из строя, он подумал опять: «К бою-то к нынешнему, к особенному бою, я уже сильно готовый! Как бы не потерять эту готовность. Не опоздать, не промахнуться...»

Опять похрустывала под копытами нескошенная трава. «Успею!» — подумал Мещеряков, а когда выехали на крутую петлю проселка, выехали точно, не забрав ни право, ни лево, Мещеряков сразу же и догадался — не успел.

Проселок огибал здесь глубокий, мокрый лог, как раз от поворота шел круто под уклон, примерно за версту пересекал этот лог и поднимался в обратном направлении.

По прямой на ту сторону — рукой подать; прошлась по той стороне луна, так проселок с плюшевой синеватой пылью даже на какое-то время видно стало. А еще стали видны фигуры конных, и тарантас тоже мелькнул. И колеса стукнули. И копыта.

Но это было по прямой, а туда-обратно — две версты, притом одна верста в гору да размытая, неустроенная, саженей, верно, тридцать длиной — гать, по которой коней надо вести спешившись. И еще, как это часто бывает, что вместе с одной неприятной догадкой сразу же приходит и другая, Мещеряков вспомнил карту местности, а на карте проселок — как вслед за этим логом он дает развилки еще на два или на три населенных пункта, а уже после того достигает деревушки Семиконной.

— Ушли,— сказал он.— Ничего больше не выдумаешь — ушли, гады...

И погоня показалась ему глупой, никчемной, и себя самого он за эту глупость сильно стал упрекать: ну зачем он-то поскакал! Полководец, перед боем! Даже и во тьме не глядел бы на тех людей, которые были с ним рядом.

С той стороны оврага крикнули:

— Щ-щенки мещеряковские! Слюни-то, поди, до полу у вас достали уже?

Все слышно было, как там притормозили, как спешились — дали коням передышку, чувствуя себя в безопасности. Даже и огонек цигарки будто бы мелькнул.

Внизу, по дну лога булькала вода, кое-когда волновались камыши. После захрюкала свинья. Наверное, одичавшая какая-то — ушла из Протяжного либо из Семиконной еще весной и одичала в этом буераке окончательно...

Когда на той стороне зашевелились, должно быть, решили снова трогаться в дорогу, Мещеряков вдруг подъехал к самой кромке лога и крикнул:

— Эй, ребята, слышно вам? Либо вы все там глухие собрались?

Кто-то там, на той стороне, кашлянул, кашлянул не просто так, а в ответ, он крикнул снова:

— Так это я, Мещеряков, и говорю! Лично! Вот какое дело: бросайте тарантас и бабу — живую, невредимую. Сами — с богом! Даю обещание — никто вас не

тронет. Когда же вы несогласные, с утра половина моей армии пойдет по вашему следу, и говорю точно: пойманные будете все! Я на следу на вашем стою и уже не сойду с него! Мало того, всю вашу родню возьму, всякого возьму, кто из ковшика подаст вам воды напиться! Ни тетки, ни дядьки вашего живыми не оставлю! Все. Договорились. Поняли друг друга!

С той стороны грохнул выстрел.

Кто-то рядом с Мещеряковым тоже вскинул было винтовку. Мещеряков сказал:

— Отставить! Вот разве в кусты зайти, а то они, может, в действительности видят нас хорошо.

В кустарнике переждали беспорядочную пальбу. Пули шли все больше правее, цокали о ветви, посвистывали.

Когда на той стороне угомонились, Мещеряков крикнул снова:

— Ну, ребята, так мы едем! Бросай тарантас с бабой на открытом месте, на лужке. Чуток подальше того, как сейчас стоите. Чтобы без провокации мы ее взяли обратно.

И поехал по дороге вниз. За ним — остальные. Еще стукнули выстрелы, и даже бердана ударила железными обрезками. Обрезки летели со звоном и воем, прямо как картечью палили, но до этой стороны не долетали — плюхались в камыши, чавкали там, словно поросята... А у белых, у тех винтовки были нарезные. С бердан да еще железками белые никогда не стреляли.

— Так поспешайте, молодцы! — крикнул еще раз Мещеряков.— Мы сию минуту едем! — Своим он сказал: — Пришпорить! Кто их знает, вернутся — на гати нам засаду сделают! Надо туда раньше их поспеть!

Все-таки гать переходили с предосторожностями — двоим Мещеряков приказал пешими быстро бежать на ту сторону, сразу же залечь. В случае малейшего шороха открывать огонь. Двое перебежали. Тогда и остальные выехали на другой берег лога, но тронулись не дорогой, а пошли в обход, чтобы к тому месту, где было бандюкам наказано оставить тарантас, подъехать с противоположной стороны. Когда было совсем уже близко, спешились, оставили коней при коноводе и пошли, пригибаясь к земле, тихо, осторожно.

— Кто их знает, варнаков,— шептал Мещеряков,— кто их знает? Конечно, они могут тарантас загнать

в кусты, сыграть нам на нервы. А могут и с фланга засаду сделать, из травы, из кустиков пальнуть...

Выпряженный тарантас стоял на лужайке, которую Мещеряков указал. В тарантасе, связанная, сидела Тася Черненко.

И сидела-то будто ни в чем не бывало. Не заметишь сразу, что руки связаны за спиной, никогда не подумаешь, что украденная женщина. Сидит, смотрит на луну.

— Ты хоть бы голос подала, товарищ Черненко! — удивился Мещеряков.— А ну, ребята, развяжите попроворнее девку-то!.. Товарища Черненку! — И сам принялся Тасю развязывать.— Ты гляди, веревка у их на этот случай припасенная была! Добрая веревка! Ну, закоченели руки-то?

Черненко обернула желтое, словно у китаянки, лицо с большими черными глазами. Глаза тоже пожелтели при этом повороте, она как-то странно улыбнулась, будто почувствовала их желтизну. И только. Ничего не сказала.

Подошел коновод с конями:

— Товарищ главнокомандующий, твой-то гнедой-то — в ногу пулей поцарапанный! Это, видать, кода они с другой стороны палили, и произошло.

— Не может быть! — воскликнул Мещеряков, бросился к гнедому щупать рану.— Это как же мне завтра без коня-то, а? Ну, какой же я буду без гнедого? — Посмотрел в сторону Таси Черненко, сказал тихо: — Нет, это точно: от баб солдату удачи нет! Неужто и правда нет?..

Запрягли одну лошадь в тарантас. Гнедого привязали поводом. Мещеряков сел рядом с Тасей Черненко, стал ее разглядывать.

— Ну, и что же ты? — спросил он чуть спустя.— И слез у тебя нету на такой случай? Или от страху нету их?!

— Мне не страшно, товарищ Мещеряков,— сказала Тася.

— Ну, чего врать-то? Наговаривать на себя? Или, может, они стукнули тебя чем? Сознание искалечили?

— Я сама по себе не боялась...

Мещеряков долго молчал, после проговорил задумчиво:

— Ну, тогда вовсе худое твое дело, девка. Вовсе худое!

— Наоборот. Разве бояться — лучше?

— Так не об этом же разговор — лучше либо хуже. Когда боятся-то живые люди, так разве об этом думают? Неужели тебе в голову не пришло, что они с тобой могли сделать?

— Мне не страшно...

— Дура! Дура и есть: когда тебе не страшно, так хотя молчала бы!— И Мещеряков сплюнул на дорогу.

Тася сказала:

— Ну, как вам объяснить, Ефрем Николаевич.— Она называла Мещерякова и на «вы» и на «ты», это ее раздражало. Она начала фразу снова:— Как тебе объяснить...

— Да не объясняй, ради бога, никак! Ни мне, ни вам — никому не объясняй!

Но тут она обернулась к Мещерякову, схватила его обеими руками за плечо и сказала:

— Все говорят о жертвах, о готовности принести себя в жертву, но только никто не решается этого сделать! До конца. Никто из людей, среди которых я выросла. А я — решилась. Неужели непонятно?

— Конечно, непонятно! У тебя же мать есть? Она — живая женщина, а хотя бы и померщая, так ей не все равно было — какая ты станешь? Ты тоже матерью должна быть, хотя бы при какой жертве.— Еще подумав, будто послушав, как перестукиваются под колесами корни кустарника, Мещеряков уже тише сказал:— Не люблю я, слышь, людей, которым жизнь не мила! А уже про этаких баб и говорить не приходится — отрава. Такой нынче решит: ему собственная жизнь ненужная, а завтра он так же и об моей жизни подумает! Мне это не глянется.

— Товарищ главнокомандующий, неужели ты боишься смерти?

— Так я же не против того, чтобы живым быть. Не против. А на кой черт такая жизнь, при которой смерти не боишься? На это мне голова дана, и глаза, и уши, и даже оружие: защищаться самому, других защищать от смерти!

— Умереть ради других — и тебе страшно?

— А я-то чем хуже других? Что-то все нынче: «Другие, другие!» Все за других. Кто же за себя-то? И я не другой, что ли? Я за тех, других, когда они за меня. Вот какое у меня условие. А когда они категорически требуют моей жизни, то я погляжу, стоит ли с такими связываться.

— И вот так ты делаешь революцию? Товарищ Мещеряков?

— Вот так и делаю. И двадцать тысяч мужиков, которые в нашей армии, тоже так делают, из того же расчета: жить, а не помирать. Они воюют не только за себя, за себя — это даже скучно, за счастье своих детей — это уже гораздо веселее. Ну, а двадцать тысяч счастливых вдов после себя оставить, да сто тысяч ребятишек-безотцовщины, да сколько еще престарелых родителей — нет, ни для кого не расчет. Разве что для самого лютого врага.

— Завтра у тебя сражение, Мещеряков?

— Что из того?

— Понадобится тебе ради верной победы бросить всех людей на верную смерть — бросишь?

— Нет. Не брошу. Какая же это будет верная победа? Я отступлю. Буду ждать победы для живых. Не для мертвых. И пусть народ губит враг народа, а не друг ему. И знаешь еще что, товарищ Черненко, давай кончим наш с тобой разговор. Спасать тебя куда ни шло. А разговаривать с тобой после того... Правда, что сроду не поймешь, где найдешь, где потеряешь... Ты и сама сказала: завтра у меня сражение, не порти мне его загодя.

— Так ты что же, боишься революции? Сам ее делаешь, и сам же боишься? Так ты трусливый, товарищ Мещеряков? Как заяц? Мне стыдно, что ты меня спасал!

Мещеряков как будто и в самом деле трусливо оглянулся — три нечеткие темные фигуры всадников двигались чуть позади, вели разговоры между собой, но за топотом копыт слов нельзя было разобрать. «Ну, значит, и нашу беседу им тоже не слыхать!— подумал Мещеряков.— Тем более колеса под тарантасом громко стукают. Смазаны, слава богу, плохо...»

Поперхнувшимся, тонким и противным каким-то голоском сказал Тасе:

— Слишком большую глупость говоришь ты человеку, товарищ Черненко. Слишком!

И заставил себя думать о предстоящем сражении.

Стал перечислять части противника, которые составляли колонну и которым он, по выходе их из Малышкина Яра, завтра даст бой: два полка — сорок первый и сорок пятый, в одном три батальона, в другом два. В одном пулеметная команда, в другом два конных эскадрона и батарея трехдюймовых орудий. В первом

батальоне сорок первого полка три роты и взвод связи... Так он перечислял на память все подразделения, чуть ли не до взвода включительно. Сведения доставляла ему разведка, и делалось это совсем просто: покуда белые двигались со станции железной дороги через степные села, ночевали в этих селах, а утром то ли на сельской площади, то ли где-нибудь в улице устраивали переклички, эти переклички обязательно слушали два-три будто бы даже глуховатых деда из бывших солдат, хорошо знающих строй и военный порядок. Белые уходили из села, тотчас появлялась разведка партизан и тут же, покуда память еще не изменяла дедам, записывала с их слов все слышанные ими названия подразделений.

И этого Мещерякову было мало.

Несколько раз в последние дни, когда колонна белых двигалась пересеченной местностью, на которой можно было найти удобный и скрытый наблюдательный пункт, он из этого укрытия просматривал колонну в бинокль — от начала и до самой последней повозки обоза. Ему удавалось подобраться так близко, что он знал уже многих офицеров по лицам и фигурам, по лошадям, на которых они ехали, по ординарцам.

Он надеялся, что и в бою тоже узнает их, а тогда сразу же и поймет, где и какие расположены подразделения, какие подразделения уже действуют, а какие еще находятся в резерве.

И нынче, закрыв глаза, Мещеряков тотчас погрузился в это занятие: «Первый батальон — командир сутулый, конь под ним карий, ординарец при нем вовсе крохотный...— вспоминал он.— Второй батальон — чаще всего со взводом связи, командир сильно толстый, почему-то с казачьей саблей, ординарец при нем красномордый... В офицерских сапогах, гад! Только бы они без шинелей воевали! Я-то их без шинелей видел, тепло было, а завтра, как наденут шинели — всех враз и попутаешь! Третий батальон...»

Тася Черненко еще раз посмотрела на круглое и даже в темноте добродушное лицо Мещерякова. Удивилась: что это он шепчет?

Ранней весной, когда она — инструктор по культуре Союза кооперативов — ехала этой же степью, охваченная каким-то недоумением и перед снежными просторами, и перед самой собою, вдруг решившейся покинуть город, родителей, сестер, друзей,— все-все, как будто и в самом деле данное ей навечно откуда-то свыше, ей

встретился отряд, человек сорок или тридцать верховых с ружьями и шашками, в серых куртках нерусского образца, в серых же коротких папахах и шапках-ушанках. Молоденький офицер вел отряд. Он долго ехал бок о бок с Тасиной кошевкой, потом кинул повод солдату, пересел к ней и стал глядеть на нее голубыми подростковыми глазами. Ему можно было дать лет четырнадцать— пятнадцать. Может быть, он впервые в жизни сидел вот так рядом с женщиной и так ее рассматривал? Тасю подросток не испугал. Наоборот, ей казалось, это он боится ее. Стоило дернуть подростка за ухо, за нос, чтобы испугать его окончательно.

И они разговаривали весело, почти мило и прятались в воротники от предвесеннего жгучего ветерка, а потом Тася ошеломила мальчика, неожиданно сказав ему:

— Ведь вы из семьи юриста, не так ли? Вам особенно хорошо должны быть известны права и обязанности старшего чина по отношению к младшему! Вы нынче старший — вы офицер, а я совсем без чина!

Это и был легкий щелчок по носу мальчика. Она не хотела объяснить ему, как ей пришла догадка. А пришла она потому, что мальчик несколько раз употребил слово «правопорядок». «Я призван восстановить в этой местности правопорядок!» — сказал он между прочим. «Правопорядок — прежде всего!» Ей же было забавно вдруг встретить себе подобного среди этих бесконечных снегов... Себя она так и не выдала, назвавшись сельской учительницей.

— Ваш папочка,— еще спросила Тася,— адвокат или прокурор?

— Увы!— вздохнул мальчик.— Увы!— Сморщил свой розовый выразительный носик, а потом расправил на нем морщинки вязаной перчаткой, которая была ему явно не по руке, явно велика.— Увы, мой папочка адвокат. Левый и либеральный. Всегда защищал мужичков бесплатно и гордился при этом собой... Вот мне и достается — исправлять родителя. Нелегкий труд...— Опять он задумался, вспоминая какие-то слова, какую-то мысль, свою или чужую. Вспомнил и сказал:— Государство и правопорядок начинают разрушать адвокаты бесплатными речами. При этом они никогда не знают, кто следует за ними, кто скажет «бе», а потом и весь алфавит, до конца.

Остановились в деревне Старая Гоньба.

И там голубоглазый мальчик собрал все население деревни, а потом ходил по рядам и бил шомполом по лицам, по рукам, которые эти лица заслоняли. Бил мужчин. Бил женщин. Бил стариков.

Сколько она прочла за свою жизнь книг, самых умных, самых благородных, сколько прочли ее сестры, ее родители — для чего было все это? Для чего, если голубоглазый мальчик оказался сильнее гениальных, потрясающих человеческое сознание мыслей? Может быть, для того, чтобы она не знала, что она должна делать? Подойти к мальчику, выхватить у него револьвер и застрелить его или — застрелиться самой? Она была отчаянно противна самой себе, потому что не знала, что нужно сделать, как поступить, потому что мальчик не избил ее, не совершил насилия над ней, а, встретившись с ней на улице села, по-прежнему ласково и преданно смотрел ей в глаза. И она не пережила бы этого, не смогла, если бы на следующую ночь, уже в Соленой Пади, куда она бежала от голубоглазого мальчика, ее не застало восстание.

Где-то незадолго до рассвета она услышала стрельбу, крики, стоны, конский топот, вышла на крыльцо земской квартиры и, вглядываясь во тьму, смотрела, как люди стреляют друг в друга, падают, поднимаются, снова падают. Когда это кончилось, она пошла на площадь и там впервые увидела Брусенкова. С первого взгляда она догадалась, что это он поднял восстание, это он только что стрелял и рубил. Брусенков говорил речь, а потом Тася подошла к нему, протянула две прокламации, призывавшие к восстанию, которые ей дали в городе на случай, если придется заслужить снисходительность красных, и сказала, что хочет быть в том самом штабе, о котором Брусенков только что говорил в своей речи.

Брусенков надел на дымящуюся паром голову огромный и рваный треух, спросил у нее:

— Сильно грамотная?

— Сильно...— ответила она.

— Не предашь?

— Не предам.

— А хотя бы чуть предашь — расстреляем! И не просто так. Обыкновенный расстрел как счастье будешь вымаливать — не вымолишь! Поняла?

— Поняла...

Кто-то сказал Брусенкову, что он все-таки напрасно берет в штаб незнакомую городскую девку. Кажется, Довгаль сказал.

Брусенков ответил:

— И вовсе не зря! Это даже лучше, чем взрослый мужчина, ей обмануть страшнее. И не умеет она.

Но еще чуть спустя снял рукавицу и подозвал Тасю снова.

— Балериной не была?— спросил он ее.

— Не была...

— Ни одного разу?

— Ни одного...

— Чтобы войны не бояться! Вот нынче с крыльца на войну глядела, чтобы всегда так же!

Она всегда так и смотрела на войну...

— Так это как же получилось, товарищ Черненко?— спросил вдруг снова Мещеряков, еще поворачиваясь к Тасе и дыша ей в лицо.— Как же произошло? Хотя бы какие ты глупости ни говорила, а ведь я все одно обязан, не откладывая, выяснить дело!

— Что выяснить?

— Кто ж таки тебя украл?

— Почем я знаю? Странный вопрос...

— Ну, из разговора ихнего не узнала — кто? Беляки? Жиганы? Свои удумали?

— Не знаю...

— Значит, трое их было.

— Трое...

— Застали они тебя — где?

— Не доезжая Протяжного верст пять. Это тебе интересно?

— Ты отвечай, товарищ Черненко! Тебя спрашивают — ты отвечай! Обстановка военная! В засаде воры были? Или встречные?

— Встречные... Один чуть позади. Он и крикнул, что у моей лошади рассупонился хомут. Соскочил затянуть супонь, а в это время те...

— Так не обидели они тебя?

— Не обидели, нет.

— Кони каких мастей под ними были?

— Не помню.

— По обличью на кого они похожие?

— На самих себя...

— Вот что, товарищ Черненко! Когда ты не будешь мне хорошо отвечать, то я могу сделать вывод, что тут заложена провокация! А когда так, то в момент посажу тебя под арест, после с тобой будет разбираться следственная комиссия. Поясняю: комиссия армейская, никому она, кроме главнокомандующего, не подчиняется. Даже товарищу Брусенкову. Теперь вопрос: зачем ты ехала на Протяжный выселок?

— Решила поехать — и поехала.

— По чьему поручению?

— Сама по себе.

— Бумаг при тебе не было?

— Не было.

— Будешь ты говорить либо нет?!— заорал вдруг Мещеряков и замахнулся на Тасю нагайкой.— Ну!

— Бумаг при мне не было. Никаких.

Мещеряков сунул нагайку под себя и спросил еще:

— Ладно. Ты приехала бы на выселок, я бы тебя встретил, спросил: зачем ты здесь? Что бы ты ответила?

— Хочу участвовать в завтрашнем сражении. Тебе известно — члены партии и сочувствующие распределились поротно. Или ты не знаешь об этом?

— О бабах разговора не было.

— Был разговор о войне. Я тоже хотела тебя спросить, товарищ Мещеряков: ты следственной армейской комиссии, наверное, сам не подчиняешься? Когда делаешь безобразия, она тебя не привлекает к ответственности?

— Не было случая. Безобразий я не делал.

— Разве это не безобразие: накануне сражения, в самую ночь перед ним, главнокомандующий гоняется за бабами? Меня украли. Так послал бы в погоню людей, но не самому же тебе за мной гоняться? Разве это твое дело?

— Не мое... Но бабу-то украли у партизанов из-под самого носа!

— А тебе разве не все равно?

— Все равно... Но все ж таки из-под самого носа, а?— Потом, засмеявшись, Мещеряков еще обернулся к Тасе, в темноте поправил на себе папаху, поплевал на руку и потер сапог. Приступил к разговору серьезно и в то же время насмешливо.— Я сроду за женщинами не бегал, товарищ Черненко. И не буду никогда. Не люблю. Не дело это. Это который бегает, без конца ухаживает, а в действительности преследует. Как охотник, по следу

идет, идет, глядит, где бы на ее удобнее окончательно петлю накинуть. Еще неизменно перед ней представляется. Если голос, к примеру, у него грубый — говорит тихо, если он работник худой, ленивый — объясняет причину: то ли занемог, то ли потому и не работает, что от любви горит. Она же и виноватой оказывается. Когда у него на правой стороне бородавка — он левой вперед ходит, когда сильно жадный — платочек ей купит. Не признаю! Мужчина — он и без того сильнее женщины, это известно, зачем же ему прикидываться разно? И так и этак? Пусть уже она и глядит, который ей всех милее, тем более от любви ей всегда горше приходится, как мужчине. Ну, а когда она спросит: «Нужна ли я тебе?» — то это грех ответить, что не нужна. Разве уж она какая-нибудь вовсе. Действительно, почему нет? Почему я ласковым не могу быть, когда ей ласковые так глянутся? Либо смелым, когда у ее от смелости дух захватывает? — Развел руками.— Да ты понимаешь ли в этом? — Поглядел на Тасю и еще сказал: — Представить невозможно, чтобы понимала!

— Да,— подтвердила Тася,— невозможно...

Она действительно не могла себя представить иной, чуть-чуть не такой, какая она есть сегодня, не хотела она и своего прошлого — ни одной встречи с ним, самой случайной, самой неожиданной.

В партизанских лазаретах кое-где были городские девицы и женщины — сестры милосердия, фельдшерицы; в районных революционных штабах восставшей местности они тоже иногда встречались — она не обмолвилась словом ни с одной из них. Все эти интеллигентные девицы, женщины, мужчины — все без исключения люди, похожие на нее самое, стали теперь самыми чуждыми для нее людьми.

Близко было до выселка, Мещеряков снова велел подать ему гнедого. Вскочил в седло, заругался:

— Вот, язвило бы тебя — как буду без коня? А? Ежели он в бою захромлет окончательно? В бою? Как буду? Может, он стерпит?

Пришпорил...

За поскотиной выселка в темноте слонялся народ — милосердные сестры и солдаты. Смешки раздавались, кто-то даже пиликал тихонечко на гармошке, но примолк, услышав конский топот.

Мещерякову это не понравилось. Ни к кому не обращаясь, но так, чтобы услышали все, он сказал:

— Будто и не перед боем! Будто и не военное у нас положение — простой балаган! Команда выздоравливающих!

В темноте кто-то хихикнул, но опять тихонечко, нельзя было понять — хихикнул или нет.

Когда же вошли в помещение, Мещеряков сразу же, с порога, окинул всех недоумевающим взглядом: что-то случилось здесь во время его отсутствия. Что-то случилось...

По-прежнему пахло ржаниной. Под лампой, подвешенной к потолку, на прежнем месте сидел комполка двадцать четыре, замещавший Мещерякова. Вид у него был растерянный. Разведчиков набилось пол-избы. Гришка Лыткин был уже здесь, во все глаза уставился на главнокомандующего.

После короткого замешательства поднялся комполка двадцать четыре:

— Товарищ Мещеряков! Сражения не будет. Не может быть!

— Что? Что-о?— быстро спросил Мещеряков, наступая.— Что сказал?

— Сражения не будет. Командующий фронтом товарищ Крекотень прислал приказ — полкам нашей группы контрнаступления срочно перейти на Моряшихинскую дорогу, сделать заслон от белых. Белые идут по той дороге огромной массой!

— Полковые командиры,— приказал Мещеряков,— подойти ко мне!— И сам направился в соседнюю горницу. Обернулся. Спросил:— Ну?

— Уже нету, товарищ главнокомандующий! И моего полка нету, и я сам ушел бы, когда не ждал бы твоего возвращения!— сказал комполка двадцать четыре.

— У-убью-ю!— заорал Мещеряков.— У-убью-ю!

— Кого-кого? Товарищ главнокомандующий, кого?— подпрыгнул Гришка Лыткин, срывая с плеча винтовку.

— Пошел к чертовой матери!— крикнул Мещеряков, крикнул снова и еще громче, потому что не знал, кого он грозился убить.

Тут вошел Петрович — командир Красных Соколов. Доложил, что его полк на месте, ждет распоряжений главкома.

Мещеряков и Петровичу не ответил. Приблизился

к темному окну, поглядел в него. Рукой показал через плечо на Тасю Черненко:

— Эту — арестовать!

«Ждали от меня победных боев, хотя бы и молчаливо, но попрекали за бездействие. Все попрекали — Брусенков, Петрович, даже Довгаль,— думал Мещеряков яростно и злобно, все еще глядя в темное окно.— Ну вот,— дождались!— Он вспомнил свой штаб в Соленой Пади с одиночной комнатой, с чернилкой и с ручкой...— Все, поди-ка, думали: это главнокомандующему страсть как нравится — кабинет и чернилка! Только этого ему и надо! Вот как могли о нем подумать! Да?»

Разведчикам Мещеряков сказал, чтобы впредь все сведения они передавали Жгуну, а его лично не искали бы. Чтобы они немедленно выяснили положение на Моряшихинской дороге.

Приказал Петровичу собрать командный состав полка Красных Соколов в кошаре под Малышкиным Яром, в той самой, которую хотел сделать командным пунктом в предстоящем бою.

Через полчаса и сам был в этой кошаре с плоской, наполовину раскрытой соломенной кровлей.

Падала сверху луна, изломанным коричневым пятном лежала на овечьем помете, на соломенных охвостьях, на дерновой стене кошары.

Вошел и встал посреди этого пятна широкогрудый латыш, огляделся, вынул из карманов руки, а изо рта трубку. Зажав трубку в кулаке, проговорил:

— Здравствт!— снова сунул трубку в рот, руки в карманы...

Забежал командир штрафников — быстрый, даже суетливый,— доложил о самом себе:

— Громыхалов прибыли!

Мещеряков спросил его:

— Громыхалов — это не ты ли прошлый год разгонял Советскую власть в Панковской волости?

— Так точно! Было дело, товарищ главнокомандующий! В прошлом годе и было!

— Тогда ты, значит, убедился, что получилось без Советской власти?

— Был случай. Сильно убедился.

— Ну, а нынче тебе случай — стать ей на защиту, чтобы она вернулась раз и навсегда.

— Нынче об чем разговор? Стану!

Еще прибывали командиры, и Мещеряков обратился к ним:

— Так вот, товарищи красные соколы, вы не то что сами завоевали честь называться красиво и гордо, вы даже силой своего убеждения перековали бывших врагов Советской власти на ее друзей. И даже на воинов-героев. А нынче положение такое — где было четыре полка, остался один. Один ваш полк.

Латыш опять вынул трубку и кивнул, кто-то стал объяснять слова главнокомандующего мадьярам, показывать на пальцах — один и четыре.

Два мадьяра — высокий пожилой и молоденький чернявый — быстро поняли, закивали.

Из другого угла им по-своему и еще кто-то сказал несколько слов. Это Андраши сказал, он там был, в дальнем углу кошары.

Мещеряков продолжил:

— Вы должны нынче показать пример всей партизанской армии. Занять передовое место в шеренге бойцов. Сделать очень смелый бой.

Высокий пожилой мадьяр понял быстрее своего товарища:

— Мой личность — хороший пример? Да? Будет вперед? Да?

— Именно,— подтвердил Мещеряков.— Сегодня будем делать мировую революцию здесь, на этом вот месте.

— Большая революция маленькой место? Да?— снова понял высокий мадьяр, а молоденький похлопал товарища по плечу.

Латыш спросил:

— Когда время? Сейчас?

— Сейчас,— подтвердил Мещеряков.— Врываемся с четырех сторон в Малышкин Яр. Наносим противнику как можно больше потерь, уходим. Все. Но только сделать нужно по-геройски. Чтобы противник бы долго и прочно бой этот помнил. Как будете наступать — кто с какой стороны, кто раньше, кто позже,— договаривайтесь промежду собой. Я требую одного — немедленно и беспрекословно повиноваться сигналу отхода, хотя бы в ту минуту вы овладевали штабом противника... Выйдем из Малышкина Яра затемно. Противник даже не увидит по-настоящему наши силы. Выйдем все в направлении на Елань, то есть к северу от села...

Мещерякова слушали, мадьяры поясняли друг другу его слова, никто не знал, что Мещеряков уже не воюет — он партизанит.

Показать этого еще нельзя, не каждый солдат в один миг может из солдата переделаться в окончательного партизана. И он не показывал. Но о себе знал твердо — снова партизан. Знал — надо показать главному штабу партизанщину: видать, в Соленой Пади ее плохо знали. Лучше рано показать, чем поздно, лучше нынче, а не тогда, когда уже начнется генеральное сражение с белыми. Может быть, придется снова вернуться в Верстово, но прежде показать себя Мещеряков-партизан должен.

Подошел Петрович, взял его за локоть, отвел чуть в сторону. Этот обо всем догадался. Этот тревожился. Но Мещеряков не хотел хоть что-то объяснять. Ни Петровичу, ни самому себе. Сказал:

— Слушаю тебя, товарищ Петрович, но учти: на все вопросы и ответы, на весь разговор — три минуты. Ну?

— Зачем этот бой? Для чего нужен? Почему приказываешь идти в сторону Елани? Бросаешь Соленую Падь? На произвол судьбы?

Мещеряков спросил:

— Паника?

— Товарищ главнокомандующий, я тебя арестую! Ты моих мадьяр и латышей знаешь? Приказ исполняют — не дрогнут!

— Убить меня можешь. Или я тебя. Всяко может быть...

— Закуривай,— сказал Петрович.— Это время не в счет, в минуты не входит.— Завернул цигарку, взял ее в руку.— Обещаешь своих не трогать? С белыми воюй как хочешь, но своих не трогаешь?

— Ничего не обещаю. Требую: ты должен подчиняться мне без слова! Все!

— Куда это может тебя завести?

— Чего не знаю, того не знаю.

Петрович потянул к губам цигарку, еще опустил руку.

— Белые Соленую Падь растерзают. Там и твоя семья, товарищ Мещеряков! Вспомни!

— Не задавай мне вопросов, гад!— крикнул Мещеряков. Переждал чуть. Чуть успокоился.— Белые не сразу поймут, что под Соленой Падью у нас силы нету.

И задача у них — разгромить нашу армию, а вовсе не самую деревню...

— Если все-таки...

— Выйдешь из боя в направлении на Елань... Встретится не сильный резерв противника — уничтожь его. Все! Дальше действуй, как хочешь,— возвращайся, обороняй Соленую Падь, собирай главный штаб и делай с ним новый план военных действий,— что хочешь, то и делай! Все можешь! Но сейчас — выполняй! Без слова. Будешь в главном штабе, скажи от моего имени: Крекотеня я расстреляю. После, как только закончим бой в Малышкином Яру,— я догоню те три полка, которые он перебросил на Моряшиху, буду вместе с теми полками драться, как он им приказал, осуществлять его приказ, но после расстреляю! За что? Он сам знает. Лучше других знает об этом товарищ Крекотень. А ежели плохо понял — я ему прежде объясню, что и как!

— Жгун? Он же тебя осудит?

— Может, осудит. Но поймет: все вы толкаете меня в партизанщину. Я толкнусь. Пойду. Не в первый раз пойду!

Сначала на Малышкин Яр пошли мадьяры. Белые оказались настороже: не прошли для них незамеченными передвижения полков. Но все равно дальних часовых мадьярам удалось снять без выстрелов, и только следующий пост открыл огонь. Тогда мадьяры встали в рост и пошли с русским «ура!», которое они кричали не совсем по-русски.

Огонь был сильный, мадьяры не ложились, ждали следующей атаки; и верно, тут же вскоре, с противоположной стороны, с севера, пошли латыши и шахтеры Васильевских рудников. Тогда мадьяры залегли, а белые все палили по ним, потом чуть смолкли. Стало слышно, как разгорается бой на противоположной окраине.

Мадьяры снова встали. Снова белые открыли сильный огонь и, должно быть, уже не слышали, как через прибрежные камыши речки Малышки, через невысокий ее яр, с левого фланга в деревню стали просачиваться штрафники Громыхалова, а с правого — через огороды — остальные две роты полка Красных Соколов.

Оборона была у белых предусмотрена круговая. Они не метались, не перебрасывали огневые средства с одного участка на другой, вступали в соприкосновение с отдельными группами партизан, которые просачивались в улицы села, основные же силы Красных Соколов продолжали держать под огнем, не позволяли им войти в село.

Ошибка все-таки у них получилась: недооценили они громыхаловских ребят, сделали огневую завесу над яром, но не очень плотную. Яр этот рассекался поперек несколькими оврагами, по ним-то громыхаловцы и пробрались в село, попали в густой конопляник, потом в проулок, из проулка на главную улицу. Тут нарвались на крупный резерв противника — полноценный батальон, который стоял в строю и, по всей видимости, готовился вступить в бой. Партизаны кинулись в стороны, а резерв белых, должно быть, подумал, что его окружают, залег в канавы, развернулся по флангам и открыл огонь. Это произвело впечатление, что самый жестокий бой как раз и завязался в центре села, и перед мадьярами и перед латышами противник начал отступать, чтобы подавить громыхаловцев. Был тот самый момент, когда белые пришли в замешательство, у партизан же поднялся боевой дух.

Хороший был момент...

Мещеряков боем не руководил. Они с Гришкой Лыткиным где-то между громыхаловцами и латышами тоже проскочили в село по конопрянику. Постреляли. В одну избу, в окошко, бросили гранату, потому что показалось — за окном кто-то в военной форме мелькнул. И надо же — не ошиблись, через окна и двери поскакали на улицу беляки, порядочно, человек пять или шесть. Они и в этих прыгунов тоже постреляли, после убрались в конопляник обратно, перебежали улицу и дали огонька по упряжке, в которой кто-то и куда-то мчался. Похоже было — попали в коней, но тут по ним тоже кто-то пристрелялся, они от греха переползли улицу на брюхе в обратном направлении, но в коноплянике спасаться было теперь неудобно: там уже пальба шла непрерывная, где свои, где чужие — с ходу не узнаешь, свои подстрелят — недорого возьмут, и Мещеряков с Лыткиным подались вдоль плетня по улице, после перемахнули через этот плетень в том месте, где и по ту и по другую сторону его были густые кусты. Гришка порвал новую гимнастерку — это боярышник оказался, колючки вер-

шковые. После огородом они стали отходить, не стреляя, к яру, а тут снова залегли, и Мещеряков объяснил Гришке:

— Отсюда мы с тобой, Гриша, будем бесповоротно отступать. Только прежде хорошо пальнем повдоль грядок, потому что, я думаю, беляки пойдут в рост, не будут ничего плохого для себя ожидать и, значит, пальнуть нам все ж таки надо.

Подумать только, какой им случай со своего огорода выпало увидеть: в проулке за плетнем белые, двое или трое, залегли и партизан сильно обстреливали, не пускали в тот проулок... Вдруг позади них появился какой-то человек, конный, закричал пронзительно:

— Бей красных паразитов! Бей! — подскакал к тем белякам и — бах-бах — из нагана по ним. После крикнул:

— Громыхалов! Где ты? За мной, ребята! — и снова исчез.

И человек этот верховой был не кто иной, как Петрович.

— Узнаешь? — спросил Мещеряков у Гришки.

— Вот гад, вот гад! — восхищенно отозвался Гришка. — Как он их ловко, а? Я бы сроду на Петровича и не подумал, будто он на такое способный! Мы-то что сидим здеся, товарищ Мещеряков?

Напряжение боя еще не спадало, еще рвали мадьяры свои пулеметы непрерывной стрельбой, у латышей было два пулемета — тоже работали, кажется, оба исправно. Еще хороший был момент! Но, в общем-то, какой там огонь давали соколы — едва различишь. Вот белые грохотали сильно, улицами мчались повозки на площадь — там была артиллерия, еще не вступившая в бой, — туда они стягивали резервы и нисколько не торопились бросаться с испугу туда-сюда... Все-таки у белых офицеры, полковники, они повоевали уже на своем веку... Мещеряков слушал, улавливал: нигде белых серьезно потеснить не удалось, хотя и сильные они получали удары, но те полковники тоже, надо думать, бой хорошо слышат, понимают. Истинные силы партизан они, наверно, уже давно угадали, и если все еще не идут на окружение, не отрезают партизанам путей отхода — так только потому, что ждут еще какого-то нового натиска, новым — удвоенным, утроенным числом. Но нету этого числа у партизан.

Игрушечный был бой. Не на жизнь и не на смерть, а на испуг. Ничего серьезного. Заставить белых замешкаться, заставить их подумать, будто это против них была разведка боем. Если разведка такая сильная — значит, основных сил партизан тем более следует опасаться и не следует из села в скором времени выходить, двигаться на Соленую Падь.

Вот и только — и вся задача.

Один раз, правда, закружилась у Мещерякова голова, замутило ее — это когда громыхаловские ребята по второму разу подняли сильный шабаш совсем поблизости от площади, а мадьяры крикнули «ура!» тоже где-то посередине главной улицы — прорвались-таки. Тут Мещеряков и подумал: вдруг белые паникнут, дрогнут, вдруг да стоит повести дело на серьезное сражение, на разгром противника? Добиться победы здесь, в Малышкином Яре,— это значит свести успех белых на нет под Моряшихой! Свести его на нет там — значит восстановить положение полностью, а тогда снова не станет в природе крекотеневского приказа, ничего не станет, что за приказом должно последовать. Ведь сколько немного надо — один бой в Малышкином Яре выиграть! Немного-то как? И как близко, оказывается, она была — победа! Не только теми четырьмя полками, которыми Мещеряков хотел вступить в бой, он этот бой выиграл бы. Будь у него сейчас только два полка, уж он использовал бы прорыв громыхаловцев и мадьяр, вот сейчас бы и бросил второй полк массированным ударом в направлении на площадь, захватил бы орудия. А тогда...

Зажимал в потной горячей руке неуклюжую ракетницу, а хотелось ему швырнуть эту чертову перечницу подальше, самому встать в рост: «Ур-ра, красные герои! За мной! Ура, ура!»

Ведь и вся-то война, которую он только что начал по новому счету, вся она — риск, вся — безотчетная. Стоит ли стесняться, нежничать? Останавливаться?

Остановился...

На огороде, в дальней его стороне, в самом деле появились неясные, будто бы очень тощие фигурки. Гришка хотел стрелять, Мещеряков вовремя остановил его:

— Ты, Гришутка, сперва погляди, в какую сторону они сами-то стреляют, может, это наши?

Вскоре стало понятно: фигурки скрытно обходят коноплянник, громыхаловских ребят хотят окружить. Тут

и Мещеряков рванул из своего кольта и сам заорал дико:

— Бей гадов! Бей контру!

Из конопляника тотчас по контре открылся огонь, а они с Гришкой быстренько скатились из огорода под яр, потом в камыши.

Отсюда Мещеряков и послал в черное звездное небо зеленую ракету. Не опоздал. У белых не могло еще появиться мысли, что это они заставили партизан отступить,— партизаны сами ушли. Прощупали силы противника и ушли. Так им надо было, партизанам. Для глубокой стратегии последующих военных действий.

Когда зеленая нить ракеты перестала искриться над головой, Мещеряков швырнул ракетницу прочь.

Стрельба тут же и спала. Будто ветром отнесло ее куда-то в сторону. Партизаны начали отход, а белые все еще думали: может, это дан сигнал к решающей атаке? Может, вот сейчас партизаны и введут в бой главные свои силы? Еще с какого-то направления ударят? Прислушивались беляки... Все ж таки напуганы были порядочно.

А Гришка Лыткин тяжело вздохнул, догадался:

— Кабы нам сию секунду, товарищ главком, те наших три полка! Которые Крекотень отвел! А?

— Помалкивай!— сказал ему Мещеряков зло.— Помалкивай, змееныш!

Он в первый раз в жизни на Гришку осердился. Подошли к коноводам, молча взнуздали лошадей.

Красные соколы выходили из села под прикрытием небольшого арьергарда, строились в походную колонну.

Подскакал Петрович, спросил:

— Ну, главком? Уходишь от Соленой Пади? Все-таки уходишь?

— Будь здоров,— ответил Мещеряков.— Будь здоров, надеюсь, встретимся. И даже в скором времени...

Когда уже тронули, разъехались, Петрович вдруг спросил из темноты:

— А как же с товарищем Черненкой? Она же под арестом? Как с ней?

— А верно что,— вспомнил Мещеряков,— живая ведь баба-то осталась! И даже невредимая. Под арестом — так это для ее по нынешним временам куда лучше. И спокойнее. Еще бы не спокойнее!— Попридержал коня.— Ты вот что, комиссар, допроси, зачем

она ехала в Протяжный. Сама ехала или послал кто? Далее рассудишь, что с ей делать. С заразой этой!

Все-таки Мещеряков хотел помириться с Гришкой и спустя время, когда уже перед рассветом они догоняли полки, выходившие на Моряшихинскую дорогу, сказал ему:

— Я, Гриша, запутаю белых гадов! Обязательно! Запутаю ужасной партизанщиной, они про все свои планы забудут, собьются с толку окончательно...— Подумал, вздохнул.— Только, Гриша, для этого, может быть, мне самому нужно будет с толку сбиться? Тоже окончательно?

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Мещеряков вывел полки на большак севернее Моряшихи, рассуждая, что, если белые еще не заняли это село, он даст им бой на марше, устроит засады. Если же Моряшиха уже под белыми — сделает на нее нападение.

Вообще-то Моряшиху удобно было взять: близко подходил к ней бор, а из степи — увал, еще с одной стороны — займище с озерами, густыми камышами и кустарником.

Противник оказался уже и в Моряшихе, и на подходе к ней по большаку с полустанка Елань. На один из таких отрядов Мещеряков и ударил значительно превосходящими силами.

Отряд был с полноценный батальон, хорошо вооруженный, с обозом. Он быстро развернулся, занял оборону, но был уничтожен почти полностью, уйти удалось конному взводу и нескольким офицерам. Пленных не брали.

Когда с севера еще подошли белые, Мещеряков боя не принял, отступил. Его стали преследовать, а он в удобном для этого месте сманеврировал и нанес контрудар. Белые вернулись на большак. Мещеряков — тоже. Стал их преследовать. Азартно воевал. Отчаянно.

Дрались партизаны в этих и в других стычках — представить невозможно, как храбро! Все — как один, один — как все. Революция! Народная война. Сами за себя вели бои, и результат сказался: вскоре разведка донесла, что противник прекратил наступление на Соленую Падь. Сосредоточивается в Моряшихе.

Правда, тут же взялся откуда-то совсем противоположный слух, коснулся каждого партизана: Соленая Падь занята белыми...

Мещеряков сильно рассердился, хотел арестовать нескольких человек, все равно кого, за распространение слухов, хотя и не знал еще, панический слух или правильный.

Но слух ни на кого не подействовал, никто в панику не бросился. Больше того — настроение было победное. Снова удавались Мещерякову победы, хотя и шальные, не настоящие. Они не решали задачи по обороне Соленой Пади, только на моряшихинском направлении изматывали противника, делали ему сильные потери.

Как в это время действовала вся остальная армия под командованием Крекотеня, Мещеряков не знал. Связь была потеряна.

О противнике судить было еще труднее,— может быть, он растерялся, может быть, разгадывал какой-то новый план Мещерякова, считал, что партизанский главком намерен бить его поочередно на всех направлениях, начиная с моряшихинского...

А плана-то никакого и не было. Совершенно никакого. Уже до крайности измотавшись в боях, Мещеряков все-таки предпринял наступление на Моряшиху и выбил из села белых. Все произошло быстро и неожиданно для него самого. Но так или иначе, теперь можно было и отдохнуть на квартирах, отметить победные бои. И только повесили флаг на штабную избу, как ему доложили: в доме прасола Королева в кадушке с молоком плавают жирные караси.

— Много?— спросил Мещеряков.

— Вся как есть кадушка гудить и бурлить!— доложил Гришка.— Во-от такие!— показал руками пошире себя самого.— И дышать и плавають вовсе не кверху брюхом.

— Карась среди рыбы, словно кошка среди животного — страшно живучая,— кивнул Мещеряков.— Это тебе не то что человек: проткнул скрозь — и нету его. Я вот что, Гриша, я отдохну часок, а ты беги к этому Королеву, накажи, чтобы хозяйка карасю не давала бы в молоке заснуть, еще живым залила его квасной гущей. На сковородке чтобы был карась в гуще и со сметаной — понятно? Пойди, накажи строго, и о другом чтобы обеспокоились!

Слышались выстрелы — вытаскивали с сеновалов, из подпольев одиночных белых. Крики тоже слышались. За деревней где-то погуще стрельнули — это в офицеров. Промчалась, прогудела во всю улицу повозка — кто-то из ездовых перед моряшихинскими бабами и девками уже начал форсить. Нынче вдруг все стало возможно. О том, что самогон запрещен, и думать нечего. Об этом — забыть.

Мещеряков сбросил гимнастерку, рубаху. Рубаха оказалась потной, липкой, а Мещеряков сильного пота на себе не любил, поморщился:

— Ты гляди, в каждый бой прошибает тебя потом!

Лег и уснул. Но только — очень коротко.

Когда проснулся, сразу почуял — приятное что-то. Гадать не пришлось, в соседней комнате — звонкий такой голос:

— А мы с батей...

Петрунькин голос! Сыночкин!

— Дора!— крикнул Мещеряков.— Дора, поди сюда!

Дверные створки распахнулись, вошла Дора.

— Здравствуй, Ефрем! Не раненый ты никуда?

— Никуда. А гнедого в ногу стрелили. И кость не задетая, и не заживает — отдыха нету коню настоящего! Когда случилось, сам забыл уже...— Вспомнил, что случилось во время погони за Тасей Черненко, и подумал: «Однако, прослышала Дора-то, что гонялся я за Черненкой. Прослышала и приехала! Было бы из-за чего, а то ведь — тьфу, язвило бы ее».— Ты какой судьбой?— спросил у Доры.

— С попутными. Еще утрось в Соленой Пади известно было — ты берешь Моряшиху. Приехала. Ребятишек тебе показать. На квартиру куда поставил бы меня, Ефрем? С ребятишками, с Ниночкой неловко в штабной избе...

— Поставлю,— кивнул Мещеряков.— К прасолу Королеву и поставлю. Только я недолго здесь буду, день какой.

И вдруг осенило его: «Вызволять меня Дора приехала. Из нынешней войны. Чтобы чересчур не погружался. Чтобы опомнился». Сам себя спросил: «Опомнюсь, нет ли? Вовремя?..»

В каждой стычке Мещеряков нынче шел на гнедом впереди всех, гнедой еще и другую царапину получил, в мякоть другой ноги, на марше даже прихрамывал, но в бою всякий раз вел себя бодро, уверенно, будто сам по

себе, а в то же время повода слушался на редкость чутко.

Конечно, и гнедого, и его самого тоже могла в любое время достать шальная пуля, но только война не в шальной пуле заключается хотя бы потому, что от шальной уходить не надо, заботы о ней нет — все равно ее не угадаешь, где и откуда она возьмется.

От шальной пули спасаясь, как раз можно под прицельную себя подставить, которая тебя одного-единственного ждет не дождется. Мо́жет, с самого начала боя, а может, с того январского дня пятнадцатого года, когда он впервые пошел в настоящий бой, неизменно ждет она его.

В атаке стреляешь, рубишь — противника не видно, видна только его повадка, только его желание убить тебя. Идешь на врага, а он идет на тебя — все равно, в пешем или в конном строю, и тут сразу же надо угадать, кто твой враг среди врагов, кто убьет тебя, ежели только на миг раньше ты не убьешь его.

Распознал — не спускай с него глаз, хотя и нужно еще глядеть, чтобы кто-то со стороны — справа либо слева — тоже не нацелился на тебя. Ищи в повадке его, в каждом его движении — ищи ошибку. В том, как идет он на тебя, как берет тебя на мушку, как поднимает на тебя шашку,— ищи!

То ли он рано поднимет руку, то ли поздно, то ли возьмет влево или вправо, а то — слишком прямо идет на тебя, что-нибудь да сделает слишком, а в этом твоя победа.

На днях, совсем недавно, шел на́встречу офицер... Рубака! Он таких, как ты, солдатиков не один десяток научил воевать, он сам вот так же шел на пруссаков и на венгерскую кавалерию, лицо у него — бледное, холодное и расчетливое, глаз — цепкий. Чуял он Ефрема издали, будто рукой уже доставал, горла касался.

«Не верь!— сказал себе Ефрем.— Ни в коем случае не верь, не покажи, что мелькнула у тебя мысль, будто вот этот уже не промахнется ни на волосок! Не покажи!» И не показал. И не он, а офицер допустил самую малую ошибку: поверил Ефрему, будто он перебрасывает шашку с правой руки на левую. А он не перебрасывал.

Ночами, бывало, снилось: тихо и молча приближается человек с шашкой или с пистолетом — безошибоч-

ный враг... Не жди от него ничего лишнего, не обманывайся: бесполезно.

Но то было ночами, во сне. Наяву же еще ни разу не поверил Ефрем врагу, а сам умел врага обмануть...

И что это нынче он подумал обо всем этом? При жене такие мысли? И вот еще офицер вспомнился последний? К чему бы это?..

Дора глядела на него, его узнавала. Живого, невредимого. В который раз узнавала на бабьем веку?

Помолчав, Мещеряков спросил:

— На Соленую Падь не кидались белые?

— Командир полка соколов их не пускал подойти. Ну и ты не давал ходу с Моряшихинской дороги. Тоже — известно.

— Скажи! А у нас среди армии слух прошел: отдали Падь белякам. Где же они, белые, куда отошли?

— Обратно у наших, у сродственников, война на ограде. Хотя бы отбить тебе Знаменскую тоже, вот как и Моряшиху отбил?

— Сделаем... На Знаменской дороге белые — как?

— Нанесли нам поражение.

— На Семенихинской?

— То же самое...

— Быстро управляются... Ну, конец им один написанный. Здоровьем не страдаешь? Ребятишки здоровые?

Обнял жену рукой.

У нее потемнели глаза в узких татарских веках. Говорили, у Доры прадед или прапрадед по матери был татарином, князьком бродячим с речки Алея. Она была белая, светлая, с синими, но узкими глазами, и скулы проступают, и нос как бы придавлен при рождении — на кончике плоский след. Ноздри тоже узкие — темные щелки. Дыхание через них заметное.

— На квартиру бы меня, Ефрем,— сказала Дора еще раз.— И ждут тебя там.— Кивнула на дверь.

— Кто?

— Товарищи! Товарищ Брусенков и еще... товарищ Петров, командир полка, красный сокол.

Мещеряков встрепенулся:

— Что нужно им? Не говорили дорогой?

— Говорили. Ты им нужен. А привез вместе всех Звягинцев, старик. На тройке. Тройка — с его же ограды.

— Сам старик? И управляется, ничего?

— Управляется. Брусенкова с собою рядом посадил на козлы, меня с Петровым-товарищем на сиденье, ребятишек в ноги погрузили. Сорок верст не заметили.

— А белые перехватили бы?

— У нас сопровождение было. Две роты мадьярских и еще другие соколы. Из полка товарища Петрова. Их товарищ Петров тоже на коней посадил. Они у него уже сколько дней спасением революции занимаются, им пешим оставаться неловко.

— Как-как?

— Ну, самые, можно сказать, лучшие соколы — они теперь роты для спасения революции и порядка. Среди гражданских и даже среди военных. В Новой Гоньбе облаву среди ночи сделали, все до одного самогонные змеевики побили. Грабителев объявилась шайка на Знаменской дороге — до человека уничтожили, не спросили — белые или красные.

— А ненароком они не меня ли приехали спасать от революции? Или революцию от меня? Ты вот что, Дора,— ты шепни моим эскадронцам, чтобы они к прасоловской избе поближе держались. На всякий случай. Поняла?

— Поняла... Как же это можно своим не верить?

Мещеряков стал натягивать портупею, подставил Доре плечо.

— Поправь.

Она поправила.

— Ты что же, Ефрем, был уже в прасоловском дому?

— Не был. Но караси там готовые. Для белого офицерства.

— И прасолиха еще будто молодая. Бездетная.

— Тебе уже известно?

— Известно...— вздохнула глубоко, в дверях снова остановила мужа:— Ефрем! Ты не думаешь ли, будто я, спасаясь из Соленой Пади, приехала? Из страха, что белые возьмут ее?

— Нет, не думаю.

— Ну и за то слава богу.

Через час гости молчаливо взошли в прасоловскую избу. Протопали по крыльцу. По сенцам. По горнице. Задвигали стульями, табуретками, после — долго еще

шаркали подошвами под столом, уставленным снедью. Брусенков очень долго шаркался.

Появилась хозяйка, стала приветствовать гостей:

— У-у-же чем богаты, тем и... Е-е-ешьте-пейте, гости дорогие!

Нижняя челюсть у нее сильно вздрагивала. Она взяла круглый локоток одной руки в ладонь другой, подперла подбородок, помолчала и с надеждой глянула на одного из гостей — на командира моряшихинского ополчения.

Тот встал, еще встрепанный после боя, после преследования беляков по сеновалам и погребам, вытер пот с лица рукавом. Сказал:

— Хочу заверить присутствующих и нашего дорогого командарма товарища Мещерякова Ефрема Николаевича: хотя караси и все протчее здешнее угощение приготовлено было для белого офицерства, сию минуту позорно пораженного в победоносном бою и сильно истребленного, но хозяева Королевы — они все одно не контра. Через их, через этих хозяев, мы схоронили в разное время своих раненых не одного человека, и сами тоже хоронились в ихних помещениях, иначе сказать, успешно скрывались. И даже когда белые бывали у их на постое, мы после узнавали от хозяев, какие планы те складывают против нас. А чтобы они, в свою очередь, выдавали белым наши тайны, то этого никогда замечено не было. Так что провозглашаю за товарища Мещерякова! Ура!

Мещеряков встал, поклонился, огляделся кругом, оглядел хозяйку, сделал ей отдельно небольшой поклон, а тогда и выпил. За ним выпили другие, заговорили.

— Это все правильно,— сказал Мещеряков.— У нас в Верстове, в партизанском Питере, тоже были свои собственные, партизанские же буржуи. Привезем к такому раненого либо здравствующего, спрячем кого,— велим скрывать и ухаживать. Когда не сделает — пообещаем пожечь. Добра много, он и бережется от огоньку. А искать — у такого белые не ищут. Не подозревают. Обоюдная польза. Так что спасибо хозяевам за нынешнее приглашение.— Поглядел в черную, прямо-таки смоляную бороду прасола и спросил:— А деньги, назначенную сумму, поди, велели тебе выкладывать партизаны под пенек либо в дупло лесное? И не раз?

— И не раз,— подтвердил прасол как будто даже обрадованно.— Не раз! Но только лично наказывали

явиться в условленное место и лично вручали в самые руки расписку.

— Зачем же лично-то,— удивился Мещеряков,— когда можно без лишних хлопотов!— Протянул прасолихе стаканчик.— Выпьем за хозяюшку! Сделайте милость, как зовут-величают?

— Евдокия Анисимовна!— ответил прасол.

— Евдокия Анисимовна!— подтвердила хозяйка, пригубила ядреными губами. Дебелая была женщина. Не старая вовсе. Все еще боялась гостей, но уже заметно меньше.

— Мы нонче для всех польза!— сказал прасол.— И белым, и красным, и даже еще какие-то тут бывали, даже им, вовсе неизвестным. Для нас-то польза существует нынче где или нет? И будет ли когда-нибудь, хотя бы не в слишком далеком времени?

— Навряд ли будет...— вздохнул Мещеряков.— Не в слишком далеком — навряд ли! Выпьем за свободу, равенство и братство! Оно даже по Евангелию и то должно вот-вот случиться, не говоря уже о действительности. Выпьем! До дна!

Еще спустя некоторое время Мещерякову сильно захотелось поговорить по душам, он огляделся. Рановато было заводить новые знакомства, показывать, будто он с кем угодно после первых же стаканчиков готов сидеть в обнимку, и он потрепал Гришку Лыткина по голове, а свою голову чуть наклонил над сковородой с жареными карасями, чтобы лучше слышать карасиный дух и чтобы из поля зрения не пропала прасолиха. Спросил:

— Мертвым себе не снишься, Гриша?

— Ни в жизнь! И во сне и наяву — я завсегда живой, Ефрем Николаевич!— ответил Гришка и весь так и подался в сторону Мещерякова, прильнул к нему взглядом.

— Ну и хорошо! Может, для тебя и война эта кончится без снов. Очень может быть.— Похрустел малосольным огурчиком.— А вот старым солдатам, хотя бы и мне, этот период времени со всякими видениями снов приходится переживать. И кто его переживет, тот уже солдат, страх с него снимается как рукой...

— А что же за сны?— спросил Гришка Лыткин с сожалением. Понял, что поторопился ответить.— Что за сны такие — настоящие, военные? Геройские?

— Ну, если опять же разговор обо мне, так на третьем годе германской мне ночи не было, чтобы не видеть

себя мертвяком. Лежишь застреленный либо пробитый осколком. Нос у тебя синий, даже подошву протертую на сапоге и ту видать. Одно бывало соображение: раз все это видишь — значит, живой! Вот так с самим же собой ругаешься, доказываешь — живой ты или мертвый... Подлинно солдатский сон.

— Страшно?

— Ну, какой особый страх! Нелепость живому, непокалеченному — и мертвым себе представляться! Противник сколь ни старается, не может тебя убить, начальство тебе за храбрость награды на грудь вешает, а ты сам себе устраиваешь похоронный вид? Глупость человеческая, и только! Хотя и через ее солдат должен пройти и после уж чувствовать себя вольным от страха. То есть быть бесстрашным. Так устроено.

И в это время капелька огуречного рассола упала Мещерякову на галифе. Он быстро вытер руки о полотенце, висевшее позади на спинке стула, одной рукой сильно натянул синее сукно, щелчком другой ловко сбил капельку. Снова пригляделся к плошке с огурцами и к сковороде. Нацелился на небольшой прыщеватый огуречик и на карасика — тоже среднего размера, но жирненького, пухленького, тоже на огурчик похожего.

— Или вот еще,— сказал Мещеряков уже громко, на все застолье, так как все гости слушали его очень внимательно.— Или вот еще: я согласный, что когда исходу не видишь — воюй. Ничего особенного — все, как один, помрем, с войной либо без нее. Выбирай для войны мужские возраста, и пусть они силой и смелостью доказывают свою правду, если уже на словах договориться не могут. И когда во всеуслышание объявлена война, то и нужно ее делать смелее и как можно лучше для себя. Но вот истязательство — оно на роду никому не написано и происходит от черной души. Я с ним не согласный, ни в коем случае! А если все ж таки оно случается и с нашей стороны, виновный в нем все одно Колчак, потому что он видит в народе заблудшее животное, которое нужно стегать чем попало и сколь угодно, а иначе народ будто бы не понимает! Он все кричит, что заботится об народе, и знать не хочет, что эти его заботы уже давно сделались истязательством. Это верно — народ, он терпеливый, с ним сделать можно многое, однако же не все. И вовсе не всегда. И вот уже я бью Колчака по морде, а в его лице — всю мировую буржуазию как раз за то, что все они осмелились глядеть на меня

таким недопустимым взглядом и вовсе народ не понимать! — И Мещеряков поглядел вокруг на одного, на другого, а на прасолиху — особо. — Надо сделать раз и навсегда, и мы — сделаем. А когда сделаем и будем помирать, то даже молодым не скажем, как они обливали народ грязью.

— Ну, ты молодым не скажешь — другие проговорятся! — усмехнулся вдруг Брусенков. Он сидел неподалеку от Мещерякова, ел и пил, до сих пор не проронив ни слова. Ел сноровисто — не то чтобы с сильным аппетитом, но будто бы ему задача была самим собой поставлена: столько-то карасей съесть, столько-то стаканов самогона выпить. Он снимал карася со сковороды за хвост и голову, губами ощупывал спинной плавник, вдруг — узкими, длинными и в каких-то желтоватых пятнышках зубами выдергивал плавник, выплевывал его под стол, а тогда уже быстро, от головы до хвоста, смалывал и всю карасиную спинку. Остальное мясо снимал с круглых карасиных костей неохотно... Вообще-то сник Брусенков в последнее время, становился будто все меньше и меньше ростом. Когда судил на площади Власихина, прямо-таки огромный был человечище... А нынче — совсем незаметный, крохотный, хотя длинное туловище и возвышается над столом, возвышает небольшую рябоватую головку. Что-то случилось с ним. Что-то его давило. Догадываться уже можно — что. Но узнать еще нельзя.

— Другие проговорятся! — повторил Брусенков прерванный было разговор. — Обязательно!

Мещеряков подумал и стал отвечать на этот брусенковский возглас:

— А кому это нужно — признаваться? — Пожал плечами и опять вытер руки о полотенце. — Мало ли что в человеческой жизни бывает, не кричать же обо всем! Тем более наша война — она сама по себе чистая и благородная, такой не бывало еще. Она за окончательную справедливость, и не для кого-то, а именно для народа! Кому же по собственной воле захочется обмарываться?

— Найдутся! — пожал плечами Брусенков. — Найдутся сильно желающие. — И опять Мещерякову брусенковские плечики показались слишком уж тощенькими и весь он — слишком тихим, незаметным, но тут вдруг Брусенков как-то очень проворно и цепко глянул на Петровича, сказал, обращаясь к нему: — Вот возьми ученую интеллигенцию... Возьми хотя бы ее...

Петрович этого особенного взгляда будто и не заметил, сказал со спокойствием:

— Продолжай, товарищ Брусенков! Интересно!

— Так вот и говорю — разве не сильный от интеллигенции разврат? Память у ее на каждое дерьмо. Кто кого и как истязал, народ не помнит, правильно это было замечено товарищем Мещеряковым, а вот поищи в ихних книжках — найдешь. Написано.

Так... Приехали Брусенков с Петровичем нынче по одному какому-то делу, вместе приехали, но враждовали. Даже больше, чем всегда, между ними это замечалось. И, поглядев на них, на того и на другого, Мещеряков решил еще спор поддержать, еще и того и другого послушать. Стал вспоминать и вспомнил один случай. Подумал: можно ли о нем при хозяйке, при молодой еще женщине, говорить? Решил, что можно.

— Могу подтвердить — бывают случаи. У нас в саперном батальоне убило командира, не наврать бы, в феврале, в семнадцатом годе. А денщик остался живой и что сделал? Пошарился в офицерском имуществе. Нашел книжечку, после — за махорку и даже за патроны давал поглядеть другим. Верите ли, там написано, как в разных государствах мужики со своими бабами в постелях обходятся! И картинки при этом! И он, гад, командир батальона, мною командовал, покуда живой был, а я за им этого не знал, а когда его хоронили — шапку перед могилой сбрасывал и давал ему воинский салют, не глядел, что в ту пору у меня в подсумке не более десятка патронов было!

Евдокия Анисимовна вспыхнула, бросилась еще подавать сковороды, Брусенков засмеялся:

— Вот так, вот так, товарищ главком! Мы, народ, друг дружку сразу понимаем, а ей — интеллигенции,— снова кивнул в сторону Петровича,— даже и не сильно нужно это понимание! Вовсе не нужно!

Гости тоже все смешались, командир моряшихинского ополчения — огромный и лохматый — подавился карасем, стал кашлять, прасол сделал вид, что ему случай нипочем, разгладил маслеными пальцами бороду и спросил, не было ли там еще чего интересного, в имуществе убитого командира батальона, а Петрович протиснулся между Гришкой Лыткиным, который ничего не понял, и Мещеряковым — стал горячо объяснять про книги, про их пользу и необходимость. Ненадолго его спокойствия хватило.

В это время и доложили, что старики от моряшихинского общества хотят говорить с главнокомандующим.

— Что за старики?— спросил Мещеряков у командира ополчения.— Что за стародавние порядки?— спросил еще раз и поглядел на Брусенкова.— Или у вас не имеется районного либо хотя бы сельского штаба? Начальника штаба, комиссара, председателя, еще какой комиссии нового порядка?

— У нас все это имеется, товарищ главнокомандующий,— привстав с места, ответил командир ополчения.— Хотя, конечно, все это было сильно постреляно, особенно в последнее, хотя и короткое царствование белых сатрапов, но все равно имеется. Но тут какое дело? Народ, кроме всего, желает еще и стариков. Привычка. Хотя если вам, товарищ главнокомандующий, сильно недосуг, то им ведь можно сказать — до другого раза.

— Ну, нет, зачем же до другого? — пожал плечами Мещеряков.— Пущай нынче и входят. Поговорим!

Старики, человек пять или шесть, стали в ряд у дверей, один из них — совсем еще бодрый, с длинной и узкой, как мочалка, бородой — поблагодарил за победу над врагом, после откашлялся в кулак, приступил к делу.

— Вы уже, товарищ Мещеряков, не бросайте после совершенного геройства наше селение на произвол! Уже хватит нашим жителям белого насилия, пожжения дворов, побития невинных. Они тут были, сатрапы, обратно — недоимки еще царского времени взымали. Мыслимо ли? Еще Советская власть объяснила: народ за те недоимки своею горячей кровью на германской войне втридорога расплатился с буржуазией, а энти — ни на что не глядят, требуют! И рекрутов молодых в поганую армию призывают. Додумались — в каратели требовать обыкновенных мужиков и даже вовсе молодых парней! И объездчиков лесных вновь вооружили — ни к одной валежине без настоящего сражения не подступишься! И грозятся казачество наделять не из казенных, не из оброчных статей, а из мирской земли. Да обо всем разве сказать? Когда обо всем, то надо сказать так: не за клочок земли, не за кусочек хлеба и не за полено дров народом нынче страдаем. Страдаем, что верховный Колчак обратно хотит по всей земле верноподданных рабов поделать! Это же немыслимо для всех нас, товарищ главнокомандующий! И понятно всем! Хотя мы первую Со-

ветскую власть скрозь собственные пальцы пропустили, но понятие она нам сделала. И просим мы нынче об одном лишь только: покуда невозможно в момент одолеть всю белую силу — то хотя бы по справедливости установить между селениями черед, кому подвергаться, кому быть под защитой своей же собственной народной армии. Мы на энтот раз к вам с надеждой! Согласные, как один, родную армию поить-кормить, довольствовать фуражом, согласные наше собственное ополчение выставлять в ночной караул, чтобы товарищи солдаты отдыхали бы в спокойствии, покуда нету истинных военных действий, согласные сделать лазарет для исцеления пострадавших за справедливость, согласные безвозмездно справлять гужевую повинность, а для лазарету доставить сто пар мужеского белья и столь же кусков мыла. Согласные наперед претерпеть которое баловство от товарищей солдатов-партизанов, а свою собственную деревенскую контру с глаз не спущать, глядеть за ей строго, лишать ее и пресекать. Согласные еще и еще, чтобы отныне и навеки избавиться от побора и утеснения! Но и к вам, обратно, имеет общество просьбу: не покидайте селение, не уходите от нас прочь и вдаль! Село наше церковное и базарное, а глядите, что нехристи на кажный заход с им делают, сколь приносят разорения и печали? Примите во внимание, товарищ главнокомандующий, и нижайше вам кланяемся!

Старики все враз махнули бородами, поклонились.

Мещеряков слушал их стоя. После сел. Подумал и обрадованно сказал:

— Ну как же, конские базары здешние я с каких пор знаю!— Чуть-чуть показал над столом.— Мы с дядей Силантием, с первым жителем Соленой Пади,— известная у его была фамилия — Дитяткин, Дитяткин Силантий Кузьмич,— так с им, бывало, в Моряшиху наезживали. Торговали коней рабочих и выездных. На бегах — сибирских и киргизских — деньги ставили!

— Выигрывали?— ахнув и подавшись тощим телом вперед, спросил старик с мочальной бородой.— Выигрывали али как?

— По большей части все ж таки выигрывали. Силантий Дитяткин, дядя мой, на коней глаз имел. И меня учил.

— Силантий Дитяткин, он, правда что,— известный был житель в здешней местности. И вокруг далеко. Хотя и не слыхать было, чтобы сильно ставил и сильно же

выигрывал. Я уж игроков-то зна-ал! Наперечет! А за тебя вот, товарищ Мещеряков, не сомневаюсь: когда не было бы тебе удачи на кóнях, не было бы ее, обратно, и в военных действиях! Неизменная примета — либо везде, либо нигде! Особенно, сказать, на конях делается проверка человеческой удачливости.

— Он у нас сильно удачливый, наш главнокомандующий,— снова вдруг и очень как-то ласково подтвердил Брусенков.— Он у нас фартовый!

— А как же по-другому?— удивился Мещеряков.— Военный без фарту — он кто? Он уже мертвец либо инвалид. Ясно каждому. И вот еще — господа ли, товарищи ли старики,— снова и уже торжественно обратился он к представителям моряшихинского общества,— армия и народ выражают вам благодарность за вашу сознательность. Горячо выражают, можете этим сильно гордиться. Еще против того, как вы сказали, мы возьмем у вас коней по одному с каждых четырех, и чтоб без обману были годные к военной службе, а не какие-нибудь там козьеногие. Еще озаботиться вам придется насчет зимнего обмундирования армии, то есть поглядеть, чтобы ни в одном дворе более двух полушубков не оставалось, разве только в самых многосемейных. Норму на пимы сейчас не скажу, но она тоже будет, сомневаться не приходится. Что касается нахождения нашей армии, то подумайте сами — как же это можно? Война идет не из-за одной деревни, хотя бы даже из-за вашей. Идет и за соседние села тоже, и за всю мировую революцию. Так что мы будем находиться, где велит нам воинский долг и революционная обстановка.— Повременил Мещеряков. Пригляделся к тому, к другому за столом.— Но в то же самое время, я так думаю,— продолжил после этой приглядки,— в Соленой Пади может нынче покомандовать главный штаб, а я только на моряшихинском направлении возьму задачу воевать с Колчаком. Так складывается либо может сложиться. На сегодняшний день.

Старики переглянулись, подумали и возликовали; с мочальной бородой старик кинулся Мещерякова обнимать. Тот сказал:

— Рано, отец! Преждевременно. Я вообще говорю, а Моряшиху мы сегодня в ночь можем оставить, не взыщи!

Старик все равно обнимался, Мещеряков из-за его бороды наблюдал за Петровичем. Тот весь изменился,

неожиданные были для него эти слова. Брусенков сидел — ничего на лице, и только о чем можно было снова догадаться, что в самом деле нету между ними никакого сговора.

Прасолиха от страха, от смущения избавилась, слушала, что Мещеряков говорит и, главное, как говорит, как рукой при разговоре делает, как брови сводит, как ласковость либо суровость в его голосе звучат... Ну и что же, пусть послушает. Поглядит!

— Королев,— сказал он, обращаясь к хозяину.— Королев, ты уважь-ка представителей, сделай милость! Хотя местов за столом уже нету, я думаю, представители не обидятся, когда им в соседней каморе накроют и хорошо поднесут. Прошу, товарищи старики! Прошу отметить нашу победу, а также дружественное отношение между народом и армией!

Старики еще не ушли в соседнюю комнату, Петрович снова наклонился к Мещерякову, сказал тихо:

— Ну и что же? Не интересует тебя положение нашей армии, Ефрем? Нисколько не интересует?

— Интересует. Жду, когда знающие мне скажут. Когда они приехали сказать, а не скрывать.

— Ну вот и дождался. Сообщаю — твой бывший так называемый комиссар Куличенко увел два полка в Заеланскую степь! Точнее, они его увели за собой, заеланцы, а он — изменил нашему делу, дезертир революции! Интересно, да?

Мещеряков поднял брови, рука у него остановилась над сковородкой с карасями, но ненадолго.

— Давай вот этого еще покушаем,— предложил он Петровичу.— Напополам? Ты рыбьи головы хорошо ли глодать можешь? Там внутри имеется очень вкусное.— И стал это место зубами прокусывать, а сам представил себе Куличенко...

С бородой, с круглым брюшком и сутуловатой спиной. Из кавалеристов. Всю войну провел на коне, а вернулся в Верстово — и года не минуло, выросло на нем брюхо. Он как-то сильно загрустил, все рвался на коня обратно и с радостью пошел в партизанскую конную разведку. Гонял по степи, рубился лихо, шел все выше, уже был в армии верстовской вторым лицом после Мещерякова. До объединения. А когда верстовская и соленопадская армии объединились, он сник, запросился на самостоятельные действия. Обещал с двумя полками сильно бить противника на Моряшихинской дороге. Что

обещал, а что сделал?! У него и семья осталась в Верстове — куча ребятишек, жена в положении, свои и женины старики родители, не говоря уже обо всем прочем, о политике хотя бы. Куличенке главнее всего на свете — командовать и быть командиром. Он им и стал — главнокомандующий заеланской армией. Что не он повел людей, а они повели его за собой — он этого не замечает. «Ведь сколько жил с Куличенкой рядом,— подумал Мещеряков,— с самого ребячества, потом больше года воевали вместе в партизанах, а так и не увидел его. Он ушел — тогда увидел. Понял, почему и как ушел!»

Вино ударяло в голову, кружило. Не пьяный, но жадный делаешься до всего — еще есть и пить желание и всех понять. Кто и что. Понять же было не просто.

— Известно ли тебе, товарищ главнокомандующий,— опять говорил Петрович,— отряд Глухова тоже ушел с нашей территории? Обратно к себе, в Карасуковскую волость?

Этому сообщению Мещеряков уже и в самом деле ничуть не удивился, на карасуковцев он никогда надежд не возлагал, один раз они выступили, налет на белых сделали — большего от них и ждать нечего. Это уже другое дело, что армия Соленой Пади не сумела их выступлением как следует воспользоваться... Вслух он сказал:

— Вот шельмец Глухов этот, Петро Петрович... Шельмец!

— Хотя белые отошли от Соленой Пади, но собираются с силами в Знаменской,— говорил и дальше Петрович.— Будут вскоре наносить свой решительный удар.

— А что, они нанесут!— согласился Мещеряков.— С них хватит! Силенки есть!

— Не сегодня завтра! — подтвердил Петрович.

— Я бы на ихнем месте сегодня сделал. Откладывать не стал бы...— Вздохнул и еще сказал:— А грехов наша армия действительно допустила нынче порядочно... И даже слишком порядочно. На кого-то все эти грехи необходимо зачислить. Так я тебя понимаю, Петрович? Либо не так?

— Отчасти — так...

Это «отчасти» Мещерякова насторожило: не торопился Петрович объяснять общее положение и даже свой

приезд в Моряшиху. И Мещеряков не стал его торопить, стал дальше ждать и смотреть вокруг себя.

Старики представители в соседней комнате уже покрикивали в честь главнокомандующего; то одна, то другая борода появлялась в дверях, провозглашала ему здоровья и новых побед.

Евдокия Анисимовна примеривалась к песне, пробовала голос. За окном народ тоже гулял. Заводилась гармошка, и не одна — сразу несколько.

Прямо в горницу, к столу, ввалился мужик — не то гражданский, не то армейский, в одних мокрых подштанниках да крест на груди.

Ремешка он аккуратнее не мог найти для святого креста — ремень толщиной в палец, коричневый, сыромятный. Таким стегать кого или взнуздывать уросливого коня. В руках у него была мордушка, снизу подвязанная тряпицей, в мордушке — караси, с пуд, как не больше. Караси — золотые. Мещеряков просто удивился карасиной расцветке.

В Верстове, да и в других местностях вокруг рыбы по озерцам, по речушкам всегда было невпроворот — и линя и окуня, а карася — особенно. Жарили ее, вялили, готовили впрок. Не то что сетью, или мордушкой, или еще какой снастью ловили — на мелких местах и просто в лужах ребятишки брали ее руками. Говорили так: была бы тина — карась найдется!

Правда, тинный карась уже припахивает, всегда лучше карась из глубокой воды — нежнее, на цвет красивее.

Но такого карасиного золота Мещерякову видеть еще не приходилось — сверкало! Караси то и дело лениво подпрыгивали в мордушке, один выскочил на пол, и мужик отпихнул его босой ногой под стол, он там принялся прыгать еще сильнее, а мужик объявил, что принес рыбки лично главнокомандующему — желает его угостить.

Ему, конечно, не столько нужно было угостить, сколько самому угоститься.

Хозяйка, Евдокия Анисимовна, от этого вида почти что голого мужика — который уже нынче раз — была в замешательстве, но другие гости даже развеселились, а Мещеряков с мужичком чокнулся и отдельно — с его мордушкой. Велел запустить в мордушку руку и вынуть оттуда, из самой глубины, еще одного карася, потому что подумал: мужик этот шельмец, только сверху золо-

тых, отборных карасиков положил, для виду. Но карась, вынутый на авось из самой середки, такой же золотой оказался.

Ну и Моряшиха! Не потому ли и названа так, что карась тут водится необыкновенный?

— А за стол я тебя не сильно приглашаю! — сказал Мещеряков незваному гостю.— Все ж таки невозможно!

Ну, он все равно был довольный, мужик: чокнулся с главнокомандующим. И у гостей аппетит от карасиного золота еще больше разыгрался.

Один только Петрович оставался серьезным.

— Ефрем, ты мне веришь?

— Покуда не уговариваешь, верю.

— Помнишь, ночью, под Малышкиным Яром, в кошаре хотел я тебя схватить?

— Недавно было, помню.

— Жалею, что не сделал.

— Не понимаешь ты! — сказал Мещеряков.— Это нужно было — кинуться в партизанщину обратно, когда воевать по порядку и дисциплине мне не дают. Не дают. Хоть убейся! Тот же Крекотень и не дал, когда отозвал полки от Малышкина Яра сюда, на Моряшиху!

— О Крекотене не вспоминай, Ефрем. Ни к чему...

— Убитый?

— Расстрелян.

— Уж не по моей ли устной угрозе? Которую я тебе все тогда же, под Малышкиным Яром, сказал?

— По этому самому. Да.

Мещеряков глотнул из стакана, вынул платок, вытер лицо... Рассмотрел Петровича заново — буроватого, небольшого, живого... Вспомнил про него, как в бою, в темной улице селения Малышкин Яр, он отчаянно храбро пострелял двух или трех беляков, хитро их обманув. Вспомнил, что Петрович нынче — чуть ли уже не комиссар при нем самом. Спросил:

— Ты сделал?

— Нет, не я. Я только о твоем намерении сообщил. Правильно ли или неправильно сделал, но только сообщил.

— Он сделал? — кивнул Мещеряков в сторону Брусенкова.— Товарищ Брусенков?

— Он.

Брусенков разговор не слушал, все, что говорил Петрович, ему давно было известно, но тут понял, о чем

речь, обернулся, ткнул себя в ворот черной расстегнутой рубахи, кивнул: он и сделал.

— Интересно...— ответил кивком же Мещеряков Брусенкову.— Интересно!— Стал негромко рассуждать:— А если — по-человечьи: он же тебе дружок был, Крекотень, он же по твоему настоянию оставался в ненужной должности командующего фронтом. Для чего же ты Крекотеня в этой самой должности оставлял — чтобы его фигурой повседневно грозить другим? Или чтобы при случае самому же стрельнуть в него? Списать на него какие хочешь грехи, поскольку должность ненужная? Сможешь ответить, товарищ Брусенков?

— Конечно, смогу,— тихо, как-то очень скромно ответил Брусенков.— Нету того вопроса, на который в здравом уме человек вовсе не может ответить! Конечно!

— Так я слушаю!

— Ты и сам хорошо это знаешь: у каждого командующего должон быть резерв. Как и каким способом он его использует — этого он долгое время не знает, это подсказывает обстановка. Обстановка подсказала.

— Толково...— сказал, подумав, Мещеряков.— Еще вопрос. Обратно к тебе, товарищ Петрович. Кто же нынче командует заместо товарища Крекотеня? Опять же — он?

— Он,— подтвердил Петрович.

А Брусенков точно тем же движением руки снова ткнул себя в грудь и снова кивнул.

Больше Мещеряков узнавал — меньше ему становилось понятным: зачем они оба здесь, Брусенков с Петровичем? Зачем они в сопровождении роты спасения революции? Может, им обоим одного Крекотеня мало?

Выпили. Закусили. И как только что Мещеряков представлял себе Куличенко — брюхатенького, лихого, так представил теперь заметно уже седого, но крепкого — косая сажень — Крекотеня. Угловатый был мужик. Неторопливый, совсем не по-военному медлительный. Наверное, потому, что очень уж земляной был. Мужики — все земляные, но тот каждым шагом к земле прирасти был готов... Выбирали летом руководство объединенной армии — он сам хотел сдать высокие командные полномочия, пойти на полк, даже на батальон, вообще пойти, куда пошлют. Но тогда главный штаб Соленой Пади, товарищ Брусенков, этого не допустил.

Прасолиха Евдокия Анисимовна вдруг приладила голос к песне, начала удивительно низко, почти по-мужски:

— Бе-ежал бродяга с Сахали-ина-а-а... Ефрем Николаевич, товарищ главнокомандующий, жду вашего голоса!

— Звери-и-ной у-зко-о-ю тропой...— тотчас пропел Мещеряков высоко и звонко. Поднял стакан, как бы чокаясь с хозяйкой на другом конце стола.

— Ты пойми, Ефрем...— сказал ему Петрович.

— Ну кого тут поймешь? Кого? Понимать — это который раз не для нас, товарищ мой Петрович! Не всегда для нас. Пробовали — делали всеобщие планы военных действий. Не получается. Не выходит. А тогда — пускай идет, как идет... Зве-е-риной у-у-зкою тропой-о-ой,— повторил во второй раз так же звонко и совершенно в такт низкому прасолихиному голосу.

Гости притихли. Услышали эти голоса, почувствовали сильную песню.

— Позор всей твоей жизни,— снова шептал Мещерякову Петрович.— На краю пропасти стоишь. Одной ногой — там...

— Выпили мало. Выпьем — все нам будет ясно. Как божий день! Ну!— И вдруг звонко, голосисто крякнул:— Веселая жизнь! Забавная!— Оглянулся.— Верно, что ли, говорю, Брусенков?

Брусенков, не улыбнувшись, спросил:

— Почто же не верно?— Внимательно присмотрелся к Мещерякову.

А Мещеряков сам к себе так же присматривался — то ли он загуляет окончательно, то ли нет,— не сможет нынче хмель его одолеть? То ли будет и дальше думать, разгадывать, то ли предастся веселью?.. Все перемешалось нынче — партизанщина!

Но еще спустя время вдруг сказал решительно:

— Извиняйте, хозяева, а мы, по долгу службы, которое-то время должны отсутствовать среди вас. Когда не сильно затруднительно, подайте нам и еще со стола в амбарушку. Карасиков и прочего. Будьте любезны!— Уже от дверей приказал:— Которые здесь находятся командный состав — прошу проследовать за мной!

Хозяйка смолкла на полуслове, он ей снова сказал:

— Мы с вами нашу песню, Евдокия Анисимовна, вскорости допоем! Запросто!

Евдокия Анисимовна и подавала гостям. Амбарушка была прилажена к сенцам, но вход в нее — через ограду, через низенькую скрипучую дверцу.

И Дора тоже подавала.

Она стала на квартиру к прасолу, Наташке велела приглядеть за Ниночкой, сама принялась хозяйке помогать. Вошла в полутьму амбарушки, прищуриваясь, оглядела мужиков. Мужики только что расселись по чурбакам, по скамейкам, уже сильно выпившие, начинали все снова... Ефрем сидел спиной к дверям, и Дора только сказала, чтобы он услышал:

— Мужики, мужики! Что с вами будет?— Поставила плошку с огурцами прямо на пол. Еще спросила:— Что будет?

Прасолиха, тоже приладив огромную сковороду на чурбак, тронула Дору за локоть:

— Пошли?..

В тот миг Дора и хотела толкнуть прасолиху в могучую праздную грудь, не выкормившую ни одного человека. Но вместо того сказала: «Пошли». От прасолихи уже сильно пахло вином, еще — перестоявшей квасной гущей...

Женщины ушли, встал Петрович и сказал:

— Товарищи! Все больше, все сильнее и беззаветнее массы борются с колчаковским игом. Борьба достигла невиданных размеров! А мы — мы чем дальше, тем меньше имеем революционного права полагаться на стихию! Движение может пойти по разным руслам, может расколоться! Может быть утоплено в крови! Но мы не обуздываем стихию, мы сами стихийно действуем. Я уже товарища Мещерякова ставил в известность, какие происходят печальные события...

И Петрович сказал снова, что Куличенко ушел с двумя полками в Заеланскую степь, что Глухов покинул Убаганскую дорогу, что повсюду, кроме моряшихинского направления, враг наступает, а партизанская армия несет тяжелые потери, что командующий фронтом Крекотень расстрелян Брусенковым, а сейчас временно Брусенков сам командует в крекотеневском штабе.

Все примолкли. Смотрели на Петровича, на Мещерякова. И Мещеряков примолк тоже, как будто обо всем этом впервые услышал.

Но теперь уже пора было не про себя думать, а вслух отвечать. И отвечать не по-пьяному. С умом. И он от-

кашлялся, встал, пошатываясь. Хмель ударил в ноги, а голова была светлая, даже светлее, чем всегда. Петрович его ждал. Командиры ждали. Брусенков упорно на него глядел... И сам себя Мещеряков тоже ждал.

— Или вы не свидетели, как преступно были переброшены Крекотенем три полка сюда, на Моряшиху, всего за какой-то час до решающего сражения? Или не ваши это были полки?— заговорил Мещеряков.— Или вы не свидетели, к чему это привело? Или никто здесь не понимает, какое имела значение та наша уже полностью подготовленная победа, наша радость и торжество, то есть взятие Малышкина Яра? И никто не жалеет о потере, не страдает от нее? Тогда о чем же только что говорил товарищ Петрович, как не о последствиях того преступного приказа? Кто же в нем в конце концов виноватый, в том приказе, во всех его немыслимых последствиях? Скажу! Куличенко виноватый — изменил делу, ушел в Заелань и отдал противнику Моряшихинскую дорогу. Скажу! Товарищ Крекотень, командующий фронтом,— виноватый: отдал тот преступный приказ! Товарищ начальник главного штаба виноватый, это я уже понял! Он толкнул Крекотеня сделать преступный приказ, после — расстрелял его за это, хотя и по моему, а не по своему указанию. Встал на его должность, а тогда и потерпел одно за другим поражения от белой банды на многих направлениях. Товарищ главнокомандующий виноватый, что в решающий момент его не оказалось у руководства в хуторе Протяжном. Товарищи командиры полков виноватые, что подчинились приказу Крекотеня немедленно, выйдя из подчинения товарищу главнокомандующему армией. Многие виноваты. Бесконечно многие. А результат? Что же нам ныне нужно делать, что и как? Нам нынче, всем виноватым, как никогда нужна наша победа, ибо мы можем ее очень просто и навсегда потерять. Все. Вот вам мой ответ. Я — сказал.

И Мещеряков посмотрел вокруг и вдруг снова и аппетитно стал грызть огурчик. Похрустывал. Командиры — один, другой — посмотрели на него и, как будто им только что, сию минуту подали, тоже принялись грызть и хрустеть. Мещеряков выпил — и они выпили.

Не пил и не грыз только один Петрович. Удивленно глядел на Мещерякова. Глядел долго, потом наклонился к нему, с тем же удивлением спросил:

— Так ты что же, Ефрем, ты все понимаешь, да? Все как есть? Всю обстановку?

— Конечно!— ответил ему Мещеряков. Про себя же подумал: «Непонятно одно — почему ты здесь с ротой спасения революции, дорогой мой товарищ комиссар?»

Все знали, кто теперь должен заговорить,— комполка двадцать четыре должен был это сделать. Его и ждали.

Он всегда-то был заметный. Высокий, кудрявый — первый парень на деревне,— комполка двадцать четыре призывался в армию в девятьсот шестнадцатом, еще мальчишкой, еще молоко на губах не обсохло, но только-только успел понюхать германского пороха — и сразу вырос. Кинулся в революцию, при Временном правительстве по первому же закону о введении смертной казни на фронте был приговорен к расстрелу и дезертировал; когда вернулся домой, в Знаменскую,— стал сразу же совдепщиком, а с начала партизанского движения пошел в отряд Крекотеня. Крекотень его любил, как родного сына. И не напрасно — было за что. Выдвинул на командование полком — тоже не напрасно.

Ему было годочков двадцать один, двадцать два — не больше. Он поправил чуб, начал привычным к речам голосом:

— Товарищи!— Резко обернулся к Брусенкову, даже нагнулся к нему и, будто забыв о своем намерении говорить речь, стал говорить только ему одному, но громко, во весь голос:— Все правильно: мы, народ, нонче боремся ради победы над ненавистным врагом. И самое необходимое нам — победа! Она! А когда так, то мы за тем идем вождем и командиром, который победы достигает, там достигает, где другому она вовсе не доступная! За которым каждый из нас готовый идти на любой подвиг! Тому мы и прощаем, когда он в чем делается виноватый, того хотим над собою видеть так же, как и впереди себя во время жестокого боя. Того мы узнаем с первой команды над нами и прежде всего — с первого сражения. Хочу спросить, кто бы сделал нынешние наши победы под Моряшихой? Товарищ Крекотень бы сделал? Мир праху революционного товарища Крекотеня, но он бы никогда этих побед не достиг, он, правда что, скорее мог сделать ошибку с нашими полками! Но когда мы идем за товарищем Мещеряковым в бой, то этот бой уже делается нашей победой, и в кон-

це концов победа под его руководством будет обязательной и всеобщей, хотя бы и по всей Сибири!

Комполка двадцать четыре, пошатываясь, подошел к Мещерякову, нагнулся, поцеловал Мещерякова в губы. Крикнул:

— Бесстрашному главкому — ур-ра!

И издалека подхватили «ура» мадьяры, крикнули не очень громко, но четко — так же и кричали, как в тот раз, когда ночью шли в цепях на Малышкин Яр, в короткий смелый налет... Нестройно, на все лады, прокричали вслед за мадьярами эскадронцы. «Ага,— подумал Мещеряков,— здесь мои ребята. Передала Дора, успела, чтобы они поблизости были, здесь они и есть. Вернее всего — предосторожность лишняя, а все ж таки! Береженого бог бережет!»

В доме гости тоже провозгласили. Чуть отставая от других, пропел «ура» низкий голос прасолихи Евдокии Анисимовны. «Могучая!» — опять подумал Мещеряков и зажмурился. Старики, представители моряшихинского общества, вякнули «ур-ря, ур-ря!», а тогда и еще покатился возглас через ограды и плетни. Теперь поищи, кто первый крикнул, по какой причине?

Загуляла Моряшиха. Сильно загуляла.

Гришка Лыткин обнимал комполка двадцать четыре, его обнимал, а Мещерякову кричал:

— Ефрем Николаевич, Ефрем Николаевич! Выпейте, пожалуйста, за мое контузие, очень контузие ко мне пришлось, очень по сердцу!— И показывал всем синий подтек под правым глазом.— Это, вы думаете, что́ у меня, товарищ Петрович? Товарищ Брусенков?— спрашивал Гришка Лыткин, в то время как комполка двадцать четыре утирался руками после его поцелуев.— Вы думаете, колчаковец сделал? Нет — это сделал в нынешнем бою наш товарищ главнокомандующий, вот кто!

И криком кричал Гришка о том, как Мещеряков лично втащил пулемет на баню и начал заливать свинцовым огнем канаву вдоль улицы, в которой беляки залегли. Тогда они конным взводом пошли на Мещерякова — а он их — огнем! Они в него гранатой, не достали, а он их — огнем! Они стали заходить сбоку, с другого переулка, а он их — огнем! Тут все поняли: вот он — конец Мещерякову, даже всему бою — конец! Стали звать Мещерякова к себе, тащить его за ногу с баньки, а он сказал: «Пошли все...» Все равно его за ноги тащи-

ли, а он брыкался и угадал каблуком вот сюда — под правый глаз Гришке Лыткину. После повернул пулемет, на минуту подставил спину противнику, залегшему в канаве, но за эту минуту — огнем по конному взводу! Потом — верхом — на коня! «За мной, красные герои!» И только когда выскочили уже из переулка, Гришка хватился: у него же контузия! Тогда и вспомнил.

Мещеряков сказал ему:

— Ты, Гришутка, еще молоденький для баловства! Ей-богу! Воевать уже можешь, и совсем неплохо, а баловаться — нет, молоденький еще! Это вот нам, взрослым...— Поглядел на Брусенкова.— Правда, Брусенков?

— Правда,— подтвердил тот, наливая в стакан.

А Петрович снова спросил Мещерякова:

— Понял ты много, Мещеряков. Понял, да. Но как же ты после этого пьешь? Почему — падаешь? Упал окончательно? Боев не было — пулеметчиков за пьянство расстреливал. Нынче, в такой момент, и сам пьянствуешь!— Поглядел на округлый и розовый рот Мещерякова, в глаза посмотрел:— Что в этот час, в эту минуту может случиться в бывшем штабе Крекотеня? Без него? Без никого? Ну?

— Су-у-ухой бы я-а ко-роч-кой пи-та-лась...— вел низкий, странно певучий голос, пробиваясь в полутьму амбарушки, заполняя ее,— сы-рую во-о-ду б я пи-ила-а...

Ну и голос же был у прасолихи! Ну и жизнь была нынче в прасолихином доме!

Покуда находились в этом доме, Мещеряков его будто и не замечал. Ел в нем и пил, разговаривал, по сторонам не глядел. Теперь из дома ушли, сидели в амбарушке, а прасоловские хоромы тут-то представились в подробностях.

Сундук, закованный в железные обручи, стоял в одном углу горницы. В другом — иконы, иконы... Одна богаче другой, а вот посередке — вовсе крохотная черная иконка, невозможно догадаться — чей лик? Особая какая-то, от родителей, или принесенная с богомолья, или беглый каторжник перед смертью завещал ее доброму человеку, а прасол, само собою, считал, что добрее его нету и не может быть никого.

...Канарейка в клетке. Не клетка, а терем с башенкой, как бы умел чирикать, то и сам поселился бы в та-

ком. Но все это — не само по себе, а рядом с карточками.

На карточках происходила жизнь — фотографом была заснята и начиналась с грустной лошадиной морды. Лошадь в станке, одна передняя нога слегка подтянута к брюху, забинтована, а еще располосована вдоль глубоким шрамом. Рядом с лошадью «смирно» стоят двое в халатах: на одном, бородатом, офицерская фуражка, а в руке железный какой-то инструмент — это был, сразу можно догадаться, ветеринарный доктор в военной службе; другой же, крепкий малый с уздой в руке, с фуражкой набекрень,— ветеринарный санитар, он же будущий прасол.

От фотографии будто и сейчас еще пахло конским потом и карболовой кислотой.

Значит, так: моряшихинскому парню повезло в военной службе сделаться конским санитаром, а далее уже известно и видно было все, что произошло,— он верный глаз на скотину, особенно на коней, в этой службе приобрел и, вернувшись домой, в память наставника своего, ветеринарного доктора, отрастил бороду, а дальше — повел и повел дело, стал торговать скотом и в Понизовской, и в Нагорной степи, и шло у него к тому, чтобы открыть свой собственный конный завод. Уже снимался на карточки в обнимку с призовыми жеребцами, молочным скотом тоже не брезговал, рядом с его бородой были и тяжелые бычьи головы, и коровы в полный рост, с медалями на шее и лбах. Были тут и похвальные свидетельства от военного ведомства за поставку армии конского поголовья.

На скотину Мещеряков не очень бы и смотрел, не очень ее запомнил, если бы этот плотный ряд не прервался особой карточкой. В коричневом цвете, крупный — был портрет Евдокии Анисимовны в подвенечном платье и ее супруга в круглой шляпе. Фотография поясная — она сидела, а он, должно быть, стоял позади, чуть возвышаясь над ней. Евдокия Анисимовна выглядела заметно моложе, чем нынче,— лет на десять, на двенадцать,— но все равно была очень похожая на себя нынешнюю, уже тогда полная, будто вот-вот и совсем перезревшая. Лет двадцать пять ей было... Немало. А не перезрела окончательно и по сю пору.

Прасол на карточке гордый, Евдокия Анисимовна — счастливая. «Ну и что?— подумал Мещеряков.— Ну и что? Хорошо, что счастливая. А то бывают которые —

не испытывали счастья ни разу, так они очень неинтересные — не знают, чего искать...»

— Су-у-у-хой бы я ко-о-роч-кой пи-и-та-а-а-лась!

И перебивал этот голос Петрович, эту несказанную тоску по сухой корочке:

— Я понял, Мещеряков: ты приказ Крекотеня пошел и выполнил. Как герой. Тем самым доказал, что он был вредным, приказ, никуда не годным. Потому что самое лучшее его выполнение ничего не дало. Доказал ты свою правоту, но ведь и свою слабость тоже доказал?! Не смог обиду преодолеть! Личность восторжествовала в тебе, и ты стал ее рабом! Побывал рабом — хватит! Хватит же! Слушайте все!— крикнул он.— Слушайте, может, момент этот — роковой для нашего движения, для той самой победы, о которой главком только что так хорошо провозгласил?

— То-о-бо-ой бы я, милый, насла-а-а-жда-а-а-лась. И-и тем до-о-овольна-а-я была...— прислушались и услышали командиры.

Гришка Лыткин, еще больше пьянея, глядел на Петровича, будто боялся за него. После перевел взгляд на Мещерякова.

Тот объяснил Петровичу:

— Личность ковыряешь? Что тебе от нее надо? Хочешь, чтобы я воевал, но — без нее? Это невозможно! Хочешь, чтобы я сию же секунду прекратил свою и вообще всю партизанщину — этого нельзя! Каждому делу и занятию, когда они начаты, должен быть свой собственный конец. Нету этого конца — не мешай! И пусть другие, а не только я, дадут тебе объяснение!

— Мы скажем! Мы объясним!— снова крикнул тогда комполка двадцать четыре — понял, что это ему главком поручает ответ.— Ребята! Может, поведем Петровича за амбарушку и объясним? Около стенки?

— Дальше уже некуда слушать о своем герое, о товарище главнокомандующем!— поддержали комполка двадцать четыре.

— Надоела канитель!

Петрович еще крикнул:

— Товарищи, может быть, сию минуту, в этот самый миг белые берут Соленую Падь!

А ему снова ответили:

— Победы наши мараешь! Сам сперва столь же белых накроши, после объясняй, как это делается, каким путем!

— Бросьте вы, ребята!— сказал Мещеряков, когда четверо к Петровичу подошли, окружили его. Пошатываясь, зорко вглядывались друг в друга: кто протянет руку, чтобы Петровича — рыженького, невысокого — первым схватить? Первый схватит, а тогда и все остальные за ним. Ждали первого...

— Бросьте,— повторил Мещеряков.— Тут среди нас имеется Брусенков — он может сделать лучше всех! Брусенков! Отработаешь Петровича? Покуда он все еще не окончательно мой комиссар?..

А Петрович, твердо стоя среди четырех пошатывающихся фигур, сказал:

— Я все равно вас обоих буду разоблачать! Вы победы имели, это правильно: Мещеряков — в сражениях, Брусенков — в гражданском главном штабе, но революции — ей одних побед над врагами слишком мало! Ей нужны победы над победителями! Над самим собой она требует побед! Чтобы в каждом торжествовало революционное существо, чтобы мы побеждали в себе гадов!

— За гадов получишь особо!

— Плевал я на особое! Понятно?!

— Берем его? Либо еще позволим над собою изгаляться?!

— Берите! Брусенков-Мещеряков-товарищи! Чего же вы меня не берете? Оба-два?

— Ну, зачем же это ты обоих сразу нас подвергаешь?— удивился Мещеряков.— Обоих? И меня и Брусенкова зараз?

— А для его, для интеллигента, он только и может быть сам хороший со своими вопросами и мыслями,— сказал Брусенков.— Остальные-прочие — для его сплошь сиволапые...

— Отставить!— вдруг крикнул Мещеряков. Потом прикрыл глаза ладонью. Тише повторил:— Отставить... И тебе, товарищ Петрович, тоже предлагаю прекратить игрушечки!

И Брусенков отставил, и те четверо, которые Петровича окружали, расселись по своим местам, а Мещеряков потянул Петровича за рукав, посадил рядом и спросил:

— Слышишь?

Теперь уже другая была песня:

— Все-е от-дал бы, чтоб быть с то-о-об-ою... Чтоб ты-ы вла-а-а-де-е-ла мной одна-а-а.

Под эту песню успокоились...

— Умный ты, Петрович. А вот скажи — с женой я всю жизнь, вечно, и за полдня каких-нибудь или за неделю ничего от меня не убудет. Но никогда это женой понято быть не может... Никогда! Не то жадность, не то сами они не знают, отчего такие. Из жалости можно ни на шаг из дома не уходить, так неужели ей жить охота с жалостью?! Ты умный, а тоже не поймешь! Нет!.. Женщин и жен любовь по рукам-ногам связывает, они и от нас того же хотят. Странно! И — чего ради? Никто не знает! Слушай, мне говорили, будто еще до того, как ты стал краснодеревцем, ты еще матросом плавал по морям? Правда, нет ли?

— Не матросом, а механиком,— устало как-то и безразлично ответил Петрович.— На торговом судне.

— И в разные страны?

— В разные.

— Ну-у-у?.. Как же после угадал на сухопутье?

— Попался на перевозке запрещенного груза. Засудили и посадили.

— В тюрьму?

— Куда же садят?

— Потом?

— Бежал. Служил в армии. Под чужой фамилией. Три месяца. Потом — плен. В настоящий-то момент это все какой представляет интерес?

Развертывалась чужая жизнь. Куличенко и Крекотеня жизни перед тем ушли. Эта — к нему приходила, его касалась. Была, наверное, даже интереснее его собственной жизни, больше нее, и давно Мещерякову хотелось ее узнать, и обстановка будто бы позволяла: все были во хмелю.

Но только и хмель не мог заглушить в Мещерякове настороженности, чуткого слуха, он все ждал продолжения прасолихиной песни. Такие подступали вдруг минуты — больше ничего не ждал, ничего не хотел, кроме ее песни.

— Ну, ладно... А в каком году бежал из плена?

— В семнадцатом.

— Родную революцию почуял?

— В ту же минуту.

— И куда угадал? Сразу — в Питер?

— Не сразу. Из Германии бежал в Бельгию. Бельгийцы наших военнопленных скрывали, помогали им дальше переправиться.

— Как же объяснил бельгийцам, кто ты, откуда и куда.

— На французском языке.

— Знаешь?

— Жизнь заставит — узнаешь.

— Выпьем?

— Черт с тобой, выпьем!

И Петрович выпил, понюхал корочку, закусил холодным карасем.

— А ведь можешь?

— Могу.

— Карточек у тебя нет? Свою жизнь ты на карточки не снимал?

— Не сохранились. Полдюжины, может, и было-то...

— Ты гляди — какого все ж таки я буду иметь комиссара!— вдруг обрадовался Мещеряков.— Хорошего, представь. Завидного! Ну вот что, комиссар, нужно нам все ж таки решить дело. Решить и скорее от него освободиться!

Мещеряков засмеялся громко, весело, потянулся, хрустнув суставами обеих рук, и неожиданно для Петровича, даже для самого себя неожиданно спросил:

— Видишь, какой он нынче у нас — комполка двадцать четыре? Видишь? Молодой, крепкий, по сю пору почти что трезвый! А теперь, комиссар, давай посоветуемся с тобой по вопросу. Окончательно!

— По какому?

— Комполка двадцать четыре!— вместо ответа позвал Мещеряков.— Подойди сюда, комполка!

И пьяные-пьяные, но все враз смолкли. Стали слушать. Стали ждать чего-то особенного. А комполка подошел, козырнул, сказал:

— Слушаю!

— Комполка двадцать четыре!— сказал отчетливо Мещеряков.— От сегодняшнего числа ты будешь в нашей армии комдивом. Все части, бывшие под командованием товарища Крекотеня, объединяю покуда в дивизию, и ты — ее командир! После сделаем из одной две либо еще больше дивизий, чтобы она не была столь обширной и поскольку идет неслыханный приток в нашу армию, а пока что командуй, комдив-один! Командуй, держись высоко, сколько подобает народному герою!

Было видно даже в сумраке, как вспыхнул комполка двадцать четыре, как Брусенков взглянул на главкома, что-то сообразил. Все остальные командиры сначала

стихли, а потом бросились поздравлять комдива-один, заодно и главнокомандующего. Разинул рот Гришка Лыткин, потом завизжал от восторга. А потом все стали ждать: что еще сделает нынче главком?

Петрович опрокинул сразу полстакана.

— Балуй, балуй, главком! Спеши!— Побурел еще больше.

Мещеряков ему не ответил.

— Брусенков!— позвал он тем же тоном, что звал уже комполка двадцать четыре. Даже еще строже.

И начальник главного штаба понял, что должен встать, подойти, козырнуть так же, как только что это сделал комполка, и он встал, подошел, козырнул, не сказал только «слушаю!».

— Товарищ Брусенков! Сопроводишь комдива-один до места, поскольку ты был какое-то время за товарища Крекотеня. Сдашь, какие есть, дела, бумаги, все прочее.

— Когда исполнять?

— А сию же минуту!

Комполка двадцать четыре, ныне комдив-один, не вышел — вылетел из амбарушки на крыльях.

Брусенков тоже отмаршировал военной походкой, хотя заметно уже пошатывалась его длинная плоская спина. Спешил. Мещеряков только подумал — каким все-таки начальник главного штаба может быть тихим, незаметным и послушным,— как вдруг, уже перед самой дверью амбарушки, уже согнув плоскую спину, чтобы пройти сквозь, Брусенков снова выпрямился, резко обернулся:

— Ну что же, товарищ главком, когда же мы с тобой встретимся теперь?— спросил он. Строго спросил.

Мещеряков насторожился.

— Или тебе такая встреча очень нужная?

— Мне — нужная.

— А мне — нет. Нужно сперва сильно побить белых сатрапов, после — встречаться для разных разговоров и воспоминаний. Раньше ни к чему. Устранимся на какое-то время друг от друга.

— Я думал...— сказал Брусенков, снова соображая что-то, снова становясь требовательным и строгим.

— Кр-ругом арш!— крикнул Мещеряков, чуть приподнявшись со своего чурбака и опираясь на него одной рукой.— Айн, цвай, драй!

Брусенков стоял прямо, строго по форме. По форме же сделал кругом арш, снова согнул плоскую спину, приподнял на спине лопатки и вышел.

Чуть спустя Петрович сказал:

— Так я тебе объясню, Ефрем, где между вами возникнет теперь разговор. Где и когда.

— Ну?

— На съезде. На предстоящем втором съезде Освобожденной территории. И вот там Брусенков уложит тебя на лопатки. И ты — умный и храбрый — пальчиком не сможешь пошевелить. Потому что — виноват и с каждой минутой становишься виноватее. И — глупее!

— Не угадал. Нет, не угадал!— засмеялся Мещеряков.

— Съезд потребует ответа — почему нас нынче бьют на всех направлениях? Почему расстрелян Крекотень? Почему главнокомандующий бросил армию, загулял в Моряшихе? Почему, почему, почему? И ты не ответишь. Не сможешь!

— Даже ни в коем случае этого не будет, товарищ Петрович! Ни в коем! Слышал — комполка двадцать четыре, ныне комдив-один, только что говорил? Он правильно говорил: нужна нам победа, и только она. А все остальное — заслонится одним необходимым и решительным сражением. Нас самих будто вовсе и не случится — случится только оно одно, будет требовать от нас победы, отчета — не будет: война!

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Все пили в Моряшихе. Гуляли. Уже на вторые сутки шла гулянка.

А в амбарушке разговаривали.

И прасолиха все пела.

Под утро гулянка забылась коротким сном, но все равно Евдокия Анисимовна и в эти часы ходила туда и сюда по дому, по ограде, по опустевшим пригонам, а прасол следовал за ней. Как тень.

Только начали утром доить коров — бабы с прасолихиного двора уже побежали с ведрами по избам: снова собирали молоко и квас. Жарили свежих карасей.

Чуяли — гулянка не кончилась, начнут на прасоловой ограде опохмеляться, и по всей Моряшихе все нач-

нется снова. Может, и не на один это день, может, завтра с утра опять то же самое. И послезавтра.

Вчерашние рыбаки заколели, охрипли и оглохли, разбрелись с озера по избам. Греться самогонкой и спать им теперь уже сам бог велел. Но тут же полезли в воду другие, эти в осенней воде надеялись отрезветь, тягали вдоль берега огромный прасолов бредень, тоже дивились моряшихинским карасям, страшным уловам: как бредень притонишь, так и полпуда-пуд карасей. И все одинакового размера, и все — золотые, только иногда мелочь попадалась, так ту в рубахах и подолах тащили парнишки и девчонки для кошек.

Вода в озере сделалась черной от взмученного ила — деготь и деготь. Табуны диких уток метались над озером, потеряли покой. И домашние утки тоже галдели, махали крыльями, будто порешили убраться восвояси куда глаза глядят, но только убраться было некуда, летать им не дано, и доброму десятку уток и селезней, которые были пожирнее, рыбаки тут же свернули головы. Помимо карасей, захотелось рыбакам утятины.

В амбарушке воздух стал тяжелее, так Гришка Лыткин распахнул дверцу, и с улицы тянуло внутрь, заносило желтые березовые листочки в капельках росы, в белых жилках. Березы стояли тут же, за амбарушкой, высокие и тихие. Сыпали листвой на кровли, на пустынные нынче скотские загоны и конюшни прасоловской усадьбы, на почерневшую от заморозков картофельную ботву, на крапиву и самосевную коноплю.

Мещеряков, облизывая губы, время от времени припадал к стакану. Красный был. Потный. Ремень и портупею сбросил, сапоги — тоже. Сапоги стояли в порядке — пятками вместе, носками врозь, сверху — портянки.

Утром приходила Дора.

Как раз в то время двое или трое командиров жгли в черепушке самогон, спорили — горит или не горит. Худенький самогончик сунул пьяным прасол или настоящий? В черепушке горел синеватый огонь, освещал серьезные, сосредоточенные лица. Самогон был без подвоха.

Еще вчера, после того как Дора заходила в амбарушку вместе с Евдокией Анисимовной, она зареклась смотреть на Ефрема, закрылась с ребятишками в горнице. Пусть Ефрем хоть сгорит в самогонке этой, ее-то

какое дело? Но утром не выдержала, пошла и устрашилась:

— Погляди, на кого ты похожий, Ефрем? Погляди на себя.

Он ее обнял.

Дора постояла тихо и недвижно, потом сбросила его руку.

— Слышь, Ефрем, от белых больше спасать тебя не буду. Когда белые тебя схватят, будут убивать — пусть убивают!

— От белых нынче меня не спасай — сам уйду...

Тут встал и в пояс поклонился Доре комполка двадцать два, протянул кружку, стал просить, чтобы выпила глоток.

Комполка двадцать два был старше, чем вновь назначенный комдив-один, и воевал он на своем веку много больше, и вот — завидовал товарищу, назначенному на дивизию. Все об этой зависти догадывались, он и не скрывал ее, а как только вновь произведенный комдив ушел — он тотчас занял его место на теплом еще чурбаке. Все как бы признали это место за ним. И Мещеряков признал. С тех пор комполка и сидел на своем чурбаке, а теперь вдруг вскочил и кланялся Доре, подавал ей выпить.

— Вовсе ты сдурел!— сказала она комполка двадцать два.— Вовсе уже пьяный, что к чему — не понимаешь! Я грудью кормлю, а ты с кружкой со своей тыкаешься! Не касайся!

Но у того был свой резон. Пьяный ли, трезвый — но резон, и, ухватив Дору за локоть, он дышал ей в лицо душным, самогонным паром.

— Как бы Ефрем-то Николаевич был твоим мужиком, а партизанским командиром — не был? Тогда и дело твое, пить за его либо не пить! А нынче, если благодаря его выходит наша победа, ты что же — брезгуешь? И за дальнейшее водительство над нами нашего Ефрема Николаевича — брезгуешь? Да твой младенец, кабы слово мог произнесть — так сию же секунду и благословил бы мать тем единственным словом на чарку!

— Отстань! У меня — дочка. Девочка. Не ваш мужицкий толк — женщина народилась!

— Как понять? Женщине-то правое дело и вся жизнь менее милы? Как понять?

Она вырвала из рук комполка двадцать два кружку, коснулась ее пересохшими губами.

Ефрем кивнул — будто доволен остался. А потом кивнул еще раз — показал, чтобы она ушла.

Она ушла.

Вчера Дора за общим столом была, но недолго — куда от детишек денешься, от Ниночки? Девчонку бы какую кликнуть, чтобы та с Ниночкой час-другой поводилась? Не смогла, застеснялась в чужом доме приказывать. И платья не было, чтобы выйти сидеть с гостями. Раз-другой показаться можно, а пировать в кофтенке штопаной? Не для этого ехала, не пировать. Но все равно упрекала себя, можно было догадаться, прихватить из Соленой Пади голубенькую пару, была у нее одна, в сундучке вместе с войсковым имуществом повсюду следовала...

И вчера же был случай: покуда Дора на короткое время отлучалась, Петрунька успел — побил Наташку, поцарапал ее рыбьей костью.

Что их мир не взял? У Наташки рука в крови, она в рев, Петрунька злой, нет чтобы сестренку пожалеть — еще грозится побить. Одна только Ниночка и тогда всем была довольна, так же лежала на чужой подушке, глядела-глядела куда-то, губки цветочком.

Дора же на Петруньку рассердилась, поддала ему. Тот — хныкать. Тогда Дора отошла к окошку, стала глядеть.

Окошко выходило в переулок — видна была какая-то постройка, еще дымившаяся, совсем недавно потушенная. Один угол сгорел и крыша тоже, но в стены постройки вделаны были кирпичные столбы, вот она и сохранилась, не сгорела дотла.

Солома рядом валялась клочьями. Тоже — и горелая и свежая.

Дора сразу поняла, что здесь произошло: в постройке этой белые засели, отстреливались, а партизаны с тыла подползли, солому под деревянные стены подбросили и подпалили. Белые стали выскакивать, их стали стрелять, которых взяли в плен живыми.

Не первый день война, не первый день Дора войну видела. Только подумала так, а тут, огибая другой, лишь слегка тронутый огнем угол постройки, в проулок

въехала телега. По бокам торчат простоволосые головы и босые ноги — ноги и головы. Убитые...

За телегой с лопатами, но тоже босые и в одном исподнем идут люди... Пленные. Сперва могилу выкопают, свалят туда убитых, а потом и сами в нее лягут.

Еще позади — вооруженные мужчины, часть верхами, а больше — пешие... Конвоиры.

А Петрунька тоже пригляделся и сказал:

— Ты гляди, Наташка, сколь наш тятька белых настрелял! Когда будешь со мной драться, я тебя застрелю тоже!

Дора закричала на Петруньку:

— Ах ты, щенок паскудный! — и со всей силы его ударила. Он от подоконника отпал и взревел во все горло.

Тут приоткрылась дверь, из горницы ворвались веселые голоса, потом показалась Евдокия Анисимовна — раскрасневшаяся, веселая. Прическа высокая, с перламутровой шпилькой, высокая же грудь под розовым, почти что красным атласом, и яркие крупные капли бус рассыпаны по груди.

— Ах, какая тут беда?

— Никакой нету!— ответила Дора.— Никакой! Нету! Нету!!

Дверь снова закрылась. Почти тут же, в тот же миг и раздался тогда в первый раз голос Евдокии Анисимовны:

— Бе-ежал бродяга с Сахали-ина-а-а-а...

И голос Ефрема вступил живо и звонко:

— Звери-и-ной у-зко-о-ю тропой.

А дальше Дора уже не слышала... Плакала.

Голоса она испугалась прасолихиного: голос тогда слишком громко, радостно и счастливо запел...

Мужчины — те от страха убивают. Испугается один другого, что тот его сильнее либо счастливее,— и убьет. Легкая жизнь. А женщине как быть?

Прасолиха нынче снова пела, а Мещеряков в амбарушке слушал. Кончится это пение или никогда не кончится? Тронул Петровича за плечо, спросил:

— Ты вот что, товарищ Петрович, ты в разных бывал государствах, знаешь чужие наречия. Как сравниваешь: сильно мы дикие, мужики? Все-то нам можно, да?

Петрович удивился:

— К чему это тебе — нынче, в таком виде?

— Об этом в таком виде только и спрашивают.

— Разные все люди. Слишком разные. Мы с тобой и то разные. Ты — и то разный.

— Ничуть не удивляюсь,— сказал Мещеряков,— не телята пришли в командиры, в главные и прочие штабы. Пришли те мужики, которые с норовом. Каждый со своим. Каждый устраивает самодельную Советскую власть. Хотя она и побыла уже, и дала пример, но еще далеко не достаточный. Еще не настоящая у нас, не фабричная работа, а каждый делает на свой лад. Уже сейчас не жалко кое-что побросать как негодное. Вот так...— Вдруг совсем неожиданно спросил:— Слушай, а ведь я в Протяжном товарища Черненко заарестовал. Что с ней после было? Ты ее случайно не освобождал?

— Освобождал.

— Спрашивал об чем?

— Спрашивал.

— Так, может, тебе стало известно, зачем она на Протяжный ехала. И кто ее украл?

— Это пока еще непонятно. До конца.

— Вся она непонятная — эта товарищ. Вся!

— Она мешает тебе?

— Кто ее знает...

Мещеряков все время будто о чем-то думал, что-то соображал, а Петрович следил за ним. Потом Петрович и еще спросил:

— Ладно. Про Черненко Таисию ты ничего не знаешь. Это может быть. А про Брусенкова?

«Нет, шельма, не купишь!— ласково подумал Мещеряков.— Сперва ты сам должен мне сказать... Когда хочешь быть моим комиссаром, а я тоже хочу быть под твоим идейным руководством!..» И он усмехнулся, погладил Петровича по лохматой бурой головке, теплой и толковой. Толковость эту прочувствовал на ощупь...

— Про Брусенкова я вчерась все сказал. Как заменил он Крекотеня, что и как у него из этого получилось. Или мало тебе, комиссар, моей личной догадки?

— А еще? Дальше?

— Дальше, я начальнику главного штаба не судья.

— И дурак!— сказал Петрович.— Точно — дурак. Не пришло в твою голову — в трезвую и пьяную,— что я за этим за судом, по крайней мере за арестом, Брусенкова к тебе и привозил? Когда он сам взял на себя обя-

занности Крекотеня. И тем самым полностью стал тебе подчинен, полностью перед тобою ответственным и — тебе подсудным.

— Ты скажи, интересно-то как! — воскликнул тут Мещеряков, обеими руками хлопнув себя по кожаным наколенникам галифе.— Ей-богу, интересно! И ведь было дело — догадывался я об этом! Только не до самого конца. Не веришь, что догадывался? Нет?

— Догадывался и отпустил Брусенкова живого-невредимого. И он уже снова — не военный человек, а полноправный начальник главного штаба. Как таковой имеет теперь все, чтобы судить тебя. И будет судить.

— Это очень интересно! — согласился Мещеряков.— Очень! — Спустя время вздохнул и спросил: — Что за умолчание еще существует, товарищ Петрович? С твоей стороны?

— Нету такового.

— Под Малышкиным Яром хотел ты меня заарестовать?

— Нельзя было. Жалко, что нельзя.

— Почему бы это?

— А толк? Расстрелять тебя — армия останется без настоящего и любимого главкома. Арестовать временно — после этого ты уйдешь с должности сам. И получается — результат один и тот же, плачевный... Вот ведь как получается. Кроме этого, я тебя люблю, Ефрем. Без умолчаний. По-человечески!

— Почему же сразу и не объявил, зачем привез ко мне Брусенкова?

— Ты сгоряча тут же его бы и хлопнул. Мог бы?

— Сгоряча — все может быть.

— А нужен ревтрибунал. Нужен революционный порядок. Нужно, чтобы ты сам размыслил, пришел к необходимому выводу, осознал обстановку.

Тут Мещеряков протянул руку, еще потрепал Петровича по голове, подождал и слегка обнял его за плечи.

— Сильнейший товарищ! — сказал он тихо и доверительно, а потом крикнул в голос: — Ребята! Выпьем за вновь произведенного комиссара всей нашей армии! За настоящего! А то до сей поры было — одни только разговоры, а ничего такого настоящего не было!

Сильно пьяные ребята выпили еще. Которые вчера хотели вывести Петровича за амбарушку, те пили с особым старанием.

Мещеряков спросил:

— Еще вопрос, товарищ Петрович. Самый последний.

— Слушаю, Ефрем.

— Почему ты прибыл ко мне далеко не один? С цельной ротой спасения революции? Почему?

Тут Петрович снова вытаращил бурые глаза, теперь они были до крайности удивленными. Часто заморгали.

— Господи боже мой!— проговорил он негромко.— Так ведь это же был конвой! Над Брусенковым конвой. Я-то считал — как ты этот конвой увидишь, так сразу же поймешь, в чем дело. И уже сам это дело продолжишь. Как полагается!

Мещеряков опять вдарил себя по кожаным коленям, потом тоже вытаращил на Петровича круглые глаза, а тогда и заржал — прерывисто и округляя красный, чуть припухший рот... Верно, что смех его был похож на ржанье — не очень громкое, не взрослое, а жеребячье.

— Это над кем же?— спросил Петрович.

— Ну, ясно — над собой!— ответил Мещеряков, просмеявшись. Потом заговорил неожиданно тихо и недоуменно:— Ведь я об чем только не думал? Что ты намерен меня заарестовать, что желаешь сместить с главного командования либо силой на это самое командование меня вернуть! Одного не мог представить, будто для единственного Брусенкова конвой требуется — цельная рота! И какая рота — красных соколов, спасения революции! Нет, скажи, из какой оказии Брусенков этот обратно вышел? Целый и невредимый! Фартовый мужик! И не военный, а фартовый.— Обождав еще чуть, Мещеряков вытер воротом расстегнутой гимнастерки рот и с сожалением, даже с обидой вздохнул.— А ведь я, товарищ мой Петрович, комиссар мой, судить нынче не могу. Сам виноватый и подсудный. И — немало. Какой же это судья, которому седни же возможно сделать перемену — самого посадить на подсудимую скамейку? Это невозможно, немыслимо. Нет и нет! Тем более когда дело касается Брусенкова — так он плюс ко всему гражданское лицо, значит, гражданские же лица только и могут его судить. Для меня это слишком легкое дело — его стрелить. Слишком легкое! Нет, не хочу я сводить наши счеты, пусть это делает, кто поумнее нас обоих — и меня и Брусенкова! Тому нас и рассуживать!

— Невиновных нынче нет, Ефрем. Что же, и судей тоже нет?

— Судей слишком даже много. В этом — беда. Брусенкову просто стрелить в Крекотеня, а когда мне столь же просто будет с Брусенковым? Нет, это не годится, где-то должен быть конец положению. Боремся за Советскую власть и перед ней же успели все замараться. Она придет, она и рассудит людей великим умом и справедливостью. Лично я от этого суда устраняюсь. Что-нибудь иное придумаю.

— Что? Что иное?— спросил Петрович.— Говори.

— Вопрос, мне кажется, нынче уже совершенно ясный. Сейчас поеду в Соленую Падь обратно и разгоню главный штаб. Непонятно? Тогда поясню: кто от меня пуще всех требует победы? Главный штаб, товарищ Брусенков. Кто более других мешает в этом? Главный штаб, товарищ Брусенков.

— И вот Брусенкову ты при таких условиях не судья, а всему главному штабу — да? Ты что, с ума сошел? Р-р-р-революционное дитятко!

— Штаб — это служба. Она нынче плохо служит, и за это ей расчет. Разгоню Брусенковых и Черненок. Пущай Черненко в окошко прыгает. Со второго этажа, с помещения начальника штаба и прямо в палисад. На кустик. Разгоню, чтобы они все вместе не были, а каждый по отдельности они нисколько не вредные, а тихие и незаметные, как нынче был уже товарищ Брусенков, когда исполнял команду «кругом арш!». Всероссийскую учредиловку разгоняли, и то не постреляли ведь заседателей? И я тоже — на уничтожение выбранных народом личностей не перехожу, а лишь устраняю некоторых от должности.

— Главный штаб я под разгон не отдам. Запомни, друг мой Ефрем. Под Малышкиным Яром я тебе уступил. Хватит. Все!

— А может, ты вернешься в Соленую Падь? Со своими ротами спасения? Я же останусь и, не сходя с места, сделаю Моряшихинскую республику. Временную, военно-революционную, независимую?!

— Преступление.

— Победим — посмотрим!

— Немыслимо!

— Сделать... Тогда будет мыслимо.

— В чем ты прав — это скорее бы тебе, товарищ Мещеряков, дожить до Советской власти!

— В этом спасение. И мое и твое. И всех нас. Начать мы — и в Нагорной и в Понизовской степи начали, но кончить своим умом не знаем как.

— В революции ты не много умеешь, Ефрем, нет!

— Что умею, то и сделаю, товарищ Петрович. И еще тебе скажу: напрасно ты про себя думаешь, будто сделаешь более того, как можешь. Напрасно! Ни к чему это.— И тут Мещеряков стал пристально глядеть в приоткрытую дверцу амбарушки. Долго-долго глядел. Сказал:— Женщины иной раз мечтают, будто они самой кромочкой пройдут и голова у них сохранится. Не получается по-ихнему. Не получается, да и только!

По ограде шла Евдокия Анисимовна. Прямо — в амбарушку. Принесла вазу с печеньем, поставила вазу на пол.

— К чаю... А самовара-то еще не подавали.

— Ты все ж таки, Евдокия Анисимовна, партизанов остерегалась бы!— сказал Мещеряков.— Меня — особенно.

— Почему это? Разве страшные вы?

— Украду.

— Для чего?

— Хотя бы для песен...

— А жена ваша?

— Единственно...— вздохнул Мещеряков.— Хотя еще и прасол есть твой. Чернобровый, чернобородый.

— И строгий очень. Сурьезный.

— Ну, нынче на всякую сурьезность — война.

Теперь вздохнула Евдокия Анисимовна, сложила руки на груди. Проговорила:

— Война не для женщин... Война началась, да и кончилась. Снова будет порядок...

— На наш век беспорядку хватит, Евдокия Анисимовна, особенно если не ждать чего-то там, чего сроду не дождешься. А то другие ждут и ждут. Всю жизнь. Ожидание им даже важнее самой жизни! Смешно! Подумай, как смешно!— И засмеялся Мещеряков.

Смех был — словно он совсем не пьян. Будто только что не спорил с Петровичем. Он смеялся звонко в самое лицо прасолихи.

Дослушав этот смех, она вышла из амбарушки, но прической задела за притолоку. Поддержала разбившиеся волосы обеими руками, обернулась в дверях:

— Так война-то давно в нашей местности — и ничего! Ничего же не случилось со мной по сей день!..

Скрылась в доме.

А Мещеряков весь изменился вдруг, стал приподниматься, стал слушать, слушать. Потом сказал:

— Та-ак... Ты скажи-ка, что между тем произошло — прогуляли мы Моряшиху! Понял?— Но не дал Петровичу вслушаться и пояснил:— Винчестера бьют! Белогвардейские!

В самом деле, пальба была уже заметно погуще той, которая не умолкала все это время по селу, раздавалась то там, то здесь, отмечая победу. Просто так она не умолкала, без всякой причины,— потому что в Моряшихе было захвачено нынче вооружение и великое множество патронов.

— Гришка-а-а!— вскрикнул Мещеряков, за уши поднял вестового с пола.

Тот заорал, вмиг пришел в себя. Мещеряков крикнул еще:

— Беги, скажи эскадронцам — умчать Дору с ребятишками! Живо! В Соленую Падь!

Хватаясь за оружие, вскакивали и командиры. Заржали где-то кони. Коровы замычали, надрывно взвыла собака за стеной амбарушки.

Пьяный и угарный, неожиданный начинался бой. Натягивая сапоги, Мещеряков приказывал:

— Эскадрон — в обход противника, через бор, через бор! Раненых, пьяных — в телеги! Двадцать второй полк! Эвакуируешь трофейное оружие, держишь оборону повдоль озера! Быстро!

Комполка двадцать два, не то отрезвевший, не то еще нет, пожилой, небритый, растрепанный, с наганом в одной руке и поясным ремнем в другой, поносил батальонного командира, требовал коня, оглядываясь на Мещерякова, кричал ему из-под пестрой щетины, сияя красным и потным ртом:

— Мы — сейчас, товарищ главком! Сейчас мы им покажем, товарищ главком!

На обширном огороде, топча еще не убранные овощи, строилась рота спасения революции.

Гости, толкаясь, выбегали из прасолова дома, прыгали по скользким от рыбьей чешуи ступенькам крыльца, кто-то вынес и поставил на средней лестнице дымящийся самовар, он там и стоял, пока его не уронили.

За углом ограды сразу двое запрягали тарантас — в тарантасе лицо Доры с закрытыми глазами, испуганное Наташкино личико, любопытная и даже веселая

улыбка Петруньки и спокойная Ниночка. Все четверо вмиг представились, в следующий миг исчезли.

Метнулась по ограде Евдокия Анисимовна — с рассыпанными волосами, с черной шкатулочкой в руках...

Мещеряков был уже верхом. Из седла указал на прасолиху нагайкой:

— Связать!— Кто-то кинулся к ней, но замешкался, он еще громче крикнул:— Связать — в телегу бросить!

Евдокия Анисимовна тяжело опустилась на землю, а к ней подбежал прасол, выхватил шкатулку, бросился перед мещеряковским гнедым на колени:

— За что? Сроду не были виноватыми перед народом, за что? Сроду не совершали — за что?

— Дурак!— ответил ему Мещеряков, тронул коня и чуть не стоптал прасола, но остановился, только встал в стременах, чтобы лучше видеть, что происходит на улице. Глядя через ограду, выкрикивал:— Дурак и есть, хотя и торговый человек! Оставить тебя невредимым — что белые с тобой сию же минуту сделают — догадался? Тебя увезти — что они от хозяйства твоего оставят? От супруги! Спасаю тебя, дурак! Постор-ронись!..

В улицу, от крайних изб, противник вел огонь, хотя еще и не сильный. Но уже кто-то был убит, кто-то ранен, жители закрывали ставни и ворота. Старики представители тягали вдоль плетей и заплотов, не быстро, но умело перебегая от избы к избе. Не надеялись на свои ноги, больше соображали головами. Обузданный, но неоседланный ярко-рыжий конь метался поперек улицы, из блестящего крупа текла кровь.

Петрович, тоже конный, подскакал к Мещерякову.

— Командуй, главком! Командуй! Ну?

— Придержи героями своими, сколь можешь, белых. После отступай в бор. Людей береги! Все!

— Ты что же, не будешь оборонять Моряшиху?

— Ни в коем случае. Ее всегда в десять разов легче взять обратно, чем оборонять. Будь здоров!

Петрович бледный, будто был уже ранен, сказал глухо, спокойно:

— Ну, Ефрем, все-таки не кому, как мне, придется тебя расстреливать!— Тронул, поскакал прочь.

Где-то впереди мчался тарантас с Дорой, с ребятишками.

Пьяных, оружие, захваченное вчера в Моряшихе, и раненых везли на телегах. Все боеспособные двига-

лись в арьергарде, но белые и не преследовали — Петрович их задержал или они сами в Моряшихе задержались, обратно захотели в ней погулять?

Припомнить — так это было первое настоящее отступление Мещерякова за всю нынешнюю войну.

В красивом виде явится он нынче в Соленую Падь! И все равно не тревожился уже очень-то сильно, не переживал — стихия! Когда на этот путь нынче ступил, все могло случиться.

По дороге к Соленой Пади в селении Старая Гоньба народ хотя и видел, что Мещеряков отступает всем своим наличным и пьяным войском, но упрека ничуть не показал. Встретил хлебом-солью, просил сказать речь.

Пришлось сказать хотя и коротко, но по порядку: о революционном моменте, призвать под победоносное знамя, хорошо отматерить мировую буржуазию, тем более что женщин было почти не видать — старики и ребятишки. Говорил Ефрем с коня, привстав в стременах, вытирая то и дело пот на лице. Все слушали, никто не мешал говорить, и единственно, заметил Ефрем, что было встречено с неодобрением — так это тарантас Евдокии Анисимовны. Не поверил никто, будто она — плененная за контрреволюцию или еще по какой-то причине. Грамотный нынче народ — с первого взгляда все понимает.

В Соленую Падь въехали не с Моряшихинской дороги, на которой стояли партизанские части — с ними Ефрем до поры, хотя бы до завтрашнего дня, встречаться не хотел,— а через знаменские ворота. Через эти же ворота Ефрем впервые вступал в Соленую Падь со своими эскадронами.

И солнце-то нынче было точь-в-точь, как и в тот раз — на закате, и так же охватывало красноватым светом зеленые кровли кузодеевских построек. Только теперь день был уже заметно короче и на площади — никого. Тихая стояла площадь, безлюдная.

Вот он и главный штаб. Тоже вроде бы притихший. В окне второго этажа — дырка. Гранатой пробитая.

Мещеряков спешился, оставил при себе полуэскадрон, остальным велел разместиться в селе. Оставаться в полной боевой готовности и вытрезвлять все еще сильно пьяных. Распахнул дверь, резво вбежал в коридор штаба.

— А-а-а, товарищ главнокомандующий! Здравствуй, здравствуй, голубчик! Что-то тебя не видно?— встретил Мещерякова старый учитель, заместитель заведующего отделом народного образования.

— Дела!..— Мещеряков пожал руку с прокуренными желтыми пальцами, а тогда уже посмотрел и на самого заместителя, на лохматые его брови...

— Спасибо тебе!— сказал тот.— Спасибо большое!

— Вовсе не за что!

— Ну как же это — а учителей-то ты освободил от воинской повинности! И правильно. Это и есть высшая сознательность с твоей стороны.

Как Мещерякову представлялось: летят бумаги главного штаба, сотрудники отделов разбегаются, схватившись руками за головы, а товарищ Черненко, вслед за ней товарищ Струков один за другим прыгают через окошко со второго этажа. Через то самое и прыгают, в которое влетела недавно граната-бутылка, стукнулась в союзку мещеряковского сапога.

Не то получалось.

И дальше было не то: нигде ни души, бумаг как-то совсем мало. Побегав по отделам, Мещеряков распахнул дверь в комнату начальника главного штаба.

Светло еще было, но предметы освещались как бы по какому-то выбору — одни ярко и выпукло, другие оставались почти в тени. А мелкие-мелкие осколки стекла в разную силу, но все с одинаковым и каким-то прозрачным блеском глянули на него из щелей между половиц, из-под черной, засиженной табуретки, с подоконника и даже со столовой горки.

Окно тоже таращилось круглым отверстием, и Мещеряков подумал, что граната летела тот раз как-то странно — не прямо, а вращаясь поперек. «Или это безрукие так гранаты бросают?» — удивился Мещеряков и вспомнил Толю Стрельникова в момент, когда Толя по какой-то неведомой случайности остался жив: он ведь уже был на мушке пистолета. Как раз растрепанная белая голова была на прицеле.

Постоял Мещеряков. Приблизился к столу, повернулся спиной и плотно к нему прижался. Пошел обратно к дверям, считая шаги. От стола до порога было шесть шагов и еще чуть-чуть — вершка три-четыре. На пороге обернулся, приподняв левую руку в уровень плеч, положил на нее дуло нагана.

Целился тщательно.

Выстрел был громкий, а чернильница пикнуть не успела. Осколки и капли брызнули в стороны, каждый осколок куда бы ни упал, везде сочился, каждая капля потекла струйкой, и не фиолетовой, а почему-то черной.

Мещеряков еще постоял, поглядел и захлопнул за собой дверь. В коридоре эскадронцы потрошили мешки с бумагами. Он велел им занятие прекратить:

— Больше от вас не требуется!

Пошел на улицу.

Нет, что-то не то было...

На этом он и бросил бы дело — оно скучным получилось,— но у выхода встретился вдруг Довгаль.

— Лука? Здорово!

Довгаль шагнул навстречу. Здороваться не стал. Спросил:

— Теперь — куда пойдешь? Кого и как громить? Сходня вот еще есть, не тронутая по сей день ни белыми, ни красными. Церква тоже целая по сю пору. Да об чем говорить — тут в любого стрелить, любую постройку пожечь — и не промахнешься: все народу, Советской власти принадлежит. Что же ты стал, как пень, не жгешь, не убиваешь?— Довгаль повернулся и пошел прочь... Но уходил все медленнее, медленнее, вот-вот повернется к Мещерякову снова. И ведь повернулся. Приблизился к нему, опять заговорил:— Слышь, герой, мой-то сельский штаб — он же работает. Нормально справляет дело. Как ты можешь оставить его в целости и невредимости?

Довгаль схватил Мещерякова за руку, а тот как раз набивал трубку. Трубка упала на землю, высыпала коричневую горку табаку.

Говорил Довгаль тихо:

— И это я ездил к тебе представителем в Верстово на предмет объединения наших восстаний? Это я привел тебя в Соленую Падь? Я — сам?

Мещеряков нагнулся, не спуская глаз с Довгаля, поднял трубку, на горку табаку ступил ногой.

— У меня нынче табачок настоящий, магазинный. Сыпать его повсюду — вовсе ни к чему!

— Ну? Пойдем в сельский штаб?

— Не балуй!

— Пойдем?!

— Не балуй!

— Так я же тебе — не просто так, я же — дело говорю!— заложив руки за спину, сказал Довгаль.—

Дело! — Засмеялся, вздрагивая телом.— Ведь главный-то штаб нынче только что в сельский перемещен! Только что! Впереди же твоей банды товарищ Петрович взвод латышей выслал и записку — как сделать. Мы и сделали. Успели. Они еще, латыши, предупредили в Старой Гоньбе — встретить тебя хлебом-солью, речь от тебя просить на митинге, одним словом — задержать твой геройский полет, сколь можно. Ну, как — говорена была тобою речь перед народом? В Старой Гоньбе? А теперь я тебя призываю — пойдем бить латышей, которые мой штаб охраняют и главный — тоже! Пойдем — они же насмерть будут стоять!

— Ты гляди-и!— удивился Мещеряков.— А я-то думаю: что это бумаг такое малое число в главном штабе, куда подевались? И люди тоже?— Он одернул на себе гимнастерку, крикнул эскадронцам, толпившимся у палисадника:— Ребята! Приглашают нас на дело!

Пешие эскадронцы построились было в колонну, но некоторые среди них все еще до конца не протрезвели, баламутили, мешали строю. Конные — человек пятнадцать,— те построились по три в ряд.

Мещеряков шел рядом с Довгалем, говорил:

— Не военный ты человек, Лука. Нет, не военный! Не понимаешь силы оружия — да разве со мной, с моими ребятами, разве можно с ними шутить? Плохо ты придумал. Пеняй на себя.

— Ну, почему же плохо? По крайности, вся Соленая Падь, вся нынешняя Освобожденная территория поймут, кто такой истинный Мещеряков. Рано ли, поздно — это надо было людям узнать. Всем.— Довгаль приостановился.— Ну, сейчас спор запросто решится. Я, Мещеряков, не совсем напрасно тебя под огонь латышей веду. К роте спасения революции. Ведь сколько раз мне товарищ Брусенков предсказывал, что ты в конце концов пойдешь разгонять главный штаб! Не поглядишь, что штаб этот сделан для великой пользы трудового народа, для Советской власти, которая уже вот-вот и придет к нам! Я Брусенкову не верил, не мог. Каждому его слову противоречил. А теперь кому мне противоречить? Самому себе? Ну, так пойдем же к латышам, пойдем!

Мещеряков шел в ногу с Довгалем.

— И товарища Петровича подводишь,— говорил главком, вздыхая.— Тот придумал, а ты — насмарку. Ведь он же хорошо придумал. С латышами, с переме-

щением главного штаба, с митингом в Старой Гоньбе! Я-то старался речь произнести! Нет, что ни говори, Довгаль, а ежели руку на сердце — правильно будет сделано, что товарищ Петрович комиссаром армии назначится, а не ты! Правильно! Это не надо глядеть, что он махонький и с волоса — бурый. Редкого упрямства, и голова на плечах, и побывал не знаю где — в самых разных государствах! Умница!

Сельский штаб Соленой Пади был не так далеко: нижней улицей и чуть в проулок. В бывшем поповском доме. Когда в проулок этот свернули, увидели на крыльце — два латыша, на подоконнике — один, и в раскрытую дверь видно — внутри еще вооруженные.

Бывший поповский дом стоял под горкой и поперек проулка, замыкая его. Сверху хорошо было видно все, даже что внутри дома делается, тем более окна, двери распахнуты.

Мещеряков скомандовал эскадронцам остановиться, сам, не сбивая шага, быстро пошел вперед. Довгаль чуть от него отставал.

Латыши наизготовку не взяли, но сделались все как вкопанные — замерли.

Правильно было сказано Довгалем: главный штаб весь тут и был, разве одного отдела народного образования только не хватало.

И юрист был знакомый, бородатый; и крохотный финотдел с очками на веревочке; и тощий завотделом агитации-информации. Знакомые все люди. Все были заняты — на новом месте приводили в порядок свои бумаги. Глаз не подымали.

Только финансист и вступил с Мещеряковым в переговоры. Подергал на коротком своем туловище длинную блузу, на носу — очки, спросил:

— Ну, как с золотом-то, товарищ Мещеряков? Куда его все ж таки определили? В Знаменском которое было конфискованное, у гражданина Коровкина?

— Золото?— вспомнил Мещеряков.— А его от памяти вовсе отбило. Некогда им было заниматься. Вернее всего — в армейском штабе находится по сю пору. Где же ему еще быть?

Вдруг явился откуда-то из дверей Струков.

Мещеряков глянул на него и положил на кобуру руку.

— Прошу! — улыбаясь и резво козыряя, сказал Струков. — Прошу, товарищ главнокомандующий! — Распахнул дверь, из которой только что появился.

— Чего просишь? — спросил Мещеряков. — Чего просишь, спрашиваю? — Ему нынче крикнуть на кого-то хотелось.

— Так я же тут за товарища Брусенкова оставленный! — сказал Струков. — Вот и прошу.

— Чего просишь за него? Ну! — Ответа не было, и Мещеряков сказал: — Вот что — когда ты не знаешь, чего просишь, так скажу тебе я: сию же секунду собирай бумаги все до единой, сотрудников своих — тоже всех и тотчас же явись в штаб армии к товарищу Жгуну за новым служебным назначением. Понятно? Повтори приказ!

Струков живо повторил, спросил еще:

— А чей это будет приказ, товарищ главнокомандующий?!

— Товарища главнокомандующего.

— Так точно — будет выполнено! — Скрылся с глаз.

Довгаль сказал:

— А кто тебе, Мещеряков, дал право...

— Непонятно мне — Струков оставлен здесь Брусенковым за самого главного. И он мои приказания хорошо понимает и признает. Повторяет слово в слово — четко, ясно. А у тебя ясности нету, товарищ Довгаль, в уме — хаос, товарищ Довгаль!

— Что совершаешь, Мещеряков? Что и как? Подумай! Еще не поздно, еще есть у тебя минута, но за ней не будет уже ничего, кроме позора, бездны контрреволюции и преступления. Ничего!

— Так ведь я очень просто делаю, Лука, — как же тебе и многим другим непонятно по сю пору? Когда главный штаб сильно повредил армии, сорвал ей победоносное сражение, то армия уже не может в долгу оставаться. Не может — иначе ей веры не будет. Никакой и ни от кого. Хотя бы — и от самой себя. Хотя бы — от товарища Довгаля Луки. Какая же после того это будет армия?

— Так вот запомни, Мещеряков: отныне и навсегда не Брусенков уже будет делать тебе самый главный, самый жестокий революционный приговор. Буду делать это — я! Запомни: я, Довгаль Лука! И когда от него ты мог бы, может, дождаться хоть какой пощады либо снисхождения, то от меня — никогда!

С бумагами под мышкой, перевязанными мочалкой и бечевкой, промаршировал Струков. За ним — еще трое его сотрудников. Довгаль хотел Струкова остановить, тот ухитрился, хотя руки были заняты, и ему козырнуть, четко отбивая шаг, прошел к двери...

— Дальше — что? — спросил Довгаль.

— Сейчас глянем, — ответил Мещеряков.

Стал заглядывать в одну дверь, в другую. И наконец увидел Тасю Черненко. Он и хотел ее увидеть: все еще представлялось, как Тася прыгает в окно второго этажа, хотя бывший поповский дом и был одноэтажным. Он Тасю для того и искал — чтобы она прыгнула.

У Таси Черненко лицо все такое же бледноватое, с глубокими ямочками и серьезное. Она как сидела за одним из столов, которыми вся комната была заставлена, так и продолжала сидеть, перелистывать свои бумаги.

— Здорово, товарищ Черненко! — сказал Мещеряков. — Здорово, товарищ мадам!

Тася резко обернулась.

— Здорово, товарищ Мещеряков! — сказала она и смолкла, но ненадолго. Вздохнула, еще больше вытянулась лицом и заговорила снова: — Давно не виделись. С Протяжного, с тех пор, как ты меня у бандитов отбивал. Я еще сказала, что ты трусливый, как заяц! И ведь угадала! С белыми не воюешь, воюешь со своим же штабом. И то — покуда здесь нету товарища Брусенкова.

— Молчать! — крикнул Мещеряков и выхватил наган. — В окно — шагом арш!

— Ты и в Моряшихе товарища Брусенкова боялся, и здесь испугался бы, это точно! — продолжала Тася спокойно, чуть даже наклонясь к Мещерякову. — Но товарищ Брусенков скоро вернется, и зайчишек он не любит — имей в виду! Он их уничтожает.

Мещеряков и в самом деле переживал страх... Боялся, что Тася и еще будет говорить, боялся, что она сию же секунду замолчит, минуя его, выйдет из комнаты, оставит его ни при чем.

Крикнуть эскадронцам, чтобы они схватили Тасю, утащили к себе в казарму? Ни крикнуть, ни выстрелить не мог, а почувствовал, что вот сейчас, сию минуту, может раз и навсегда проклясть все женское сословие. Опять страшно испугался: «Испакостит этакая стерва всю будущую мою жизнь!»

Но у Таси вдруг стали вздрагивать губы, она стала искать и произносить уже ненужные для нее, жалобные слова, а чтобы скрыть жалобу, стала говорить громко и отрывисто, спрашивать Мещерякова:

— Ты что же, Мещеряков, на себя уже не надеешься, нет? Уже буржуек мобилизуешь в армию? В Моряшихе прасолиху мобилизовал, это верно?

— Верно!— подтвердил тогда Мещеряков.— Прасолиха — она же женщина, мимо нее просто так не пройдешь. Это есть другой случай — когда украдут женский пол, после поглядят на его и бросят за ненадобностью. И кто подберет — опять то же самое, бросит!

Мещеряков говорил, а сам тревожно глядел на Тасю — на тонкую, злую и вздрагивающую всем телом. И тут он замер — на столе перед Тасей стояла чернилка. Фиолетовая. Он вздохнул с облегчением, вскинул наган, и в тот же миг и эта чернилка стеклянно пискнула, а Тася Черненко — ее лицо, шея, руки, гимнастерка — покрылась текучими пятнами и пятнышками. Мещеряков выскочил на крыльцо. Там стоял Довгаль, делал латышам какие-то знаки. Он на эти знаки не обратил никакого внимания, рассеянно глянул на Довгаля, а про себя свирепо подумал: «Бабы, эти бабы — с ними смертная отрава, и без них ничего не бывает! Войны и той не бывает!» Еще побоялся своего невысказанного проклятия женскому полу и крикнул на взгорок громко, во весь голос:

— Лыткин!

Гришка скатился под уклон.

— Передай командиру, Лыткин: Мещеряков приказал эскадронцам немедленно же расходиться. Сами же мы с тобой — на заимку. Быстро!

А на звягинцевскую заимку, еще не доезжая Соленой Пади, Мещеряков распорядился увезти Евдокию Анисимовну.

А Дора тем временем уже вернулась на свою квартиру, в Соленую Падь, в звягинцевский дом.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Выселок Протяжный долгое время был пуст.

Оставляли его хозяева — закрыли избы, амбары, все другие строения на замки и засовы, двери заколотили горбылями.

После появился штаб Мещерякова и другие военные службы, все было пораскрыто настежь, избы и строения заняты людьми. Но ненадолго.

Мещеряков ушел, командир Красных Соколов Петрович эвакуировал из выселка в Соленую Падь лазарет, лабораторию для заправки гильз, все другие тыловые службы, и захлопали, заскрипели на ветру двери, ставни опустевших изб. Осенняя листва, паутина, поздние бабочки-капустницы, коричневые, с рисунком вытаращенных, немигающих глаз «павлины» влетали теперь в окна, липли к стеклам. Тараканы торопливо шарились по столешницам, в щелях между половицами. По коротенькой улочке в полтора десятка дворов бродили оглушенные тишиной, растерянные куры, почему-то без единого петуха...

Замер выселок. Будто бы навсегда...

И вдруг снова прибыл в Протяжный главком Мещеряков. Прибыл вместе со штабом — с пишущей машинкой, с круглой армейской печатью, с начштабармом товарищем Жгуном, с разведкой, со связными, с полевой телефонной станцией, которая еще верстовскими партизанами была захвачена вместе с другими трофеями.

Мещеряков водворился в ту самую горницу, в которой он мечтал не так давно. О настоящем сражении за Малышкин Яр. О настоящей, правильной победе. О настоящем, правильном дальнейшем контрнаступлении.

Вот и прошел он по кругу, и круг замкнулся — только нету больше в избе прежнего ржаного и жилого духа.

Снова на тех же некрашеных досках скрипучего пола расстелил карту театра военных действий, измятую, с обратной стороны склеенную по швам потрескавшимися узкими бумажками, которые смазаны были тестом, крахмалом, столярным клеем и еще какими-то клеями.

Он эту карту давно уже в полный разворот не рассматривал. Не нужно было. Одна восьмая всего листа с селом Моряшиха посередине только и была ему в последнее время необходима. Тем более что эта осьмушка оказалась как раз поверх всех других.

Местность, лежавшую перед ним на карте — села и выселки, большаки и проселки, озера, ленточный бор,— он за это время изучил во всех подробностях.

А собственные мысли?

Лежа на полу, вглядывался в карту, думал о том, что вот и началось все сначала, все — обратно, все — по-новому, строгому счету. Возвращаешься к прежнему, своему же собственному плану правильной войны, а счет новый...

Теперь уже нельзя сорваться на партизанщину — нет этого резерва, использован резерв. Нет лишних надежд. Тоже использованы, тоже сослужили, какую могли, службу. И противника Мещеряков пытался понять по-новому — что с ним случилось за это время? Или он сохранил прежний план захвата Соленой Пади, или короткие, но почти повсеместные и отчаянные партизанские налеты этот план расстроили?

С утра Мещеряков издал приказ: нужно было подтвердить, кто и какими частями командует, перед каждым полком и дивизией поставить ближайшую оперативную задачу. Приказ исходил из прежнего замысла: нанести противнику возможно большие потери на маршах, потом принять оборонительный бой под Соленой Падью, из боя как можно скорее и решительнее перейти в контрнаступление. Однако приказ только по части строевой его не устраивал. Не отвечал моменту и обстановке. По новому счету — его было мало. Мещеряков это понял и тотчас велел Гришке Лыткину принести чернила, ручку с пером. Строевой приказ можно было и химическим карандашом писать, тут требовалось другое. Чернилка была та самая, что стояла на красном столе в его одиночном кабинете в штабе армии, когда штаб помещался в доме бывшего Кредитного товарищества, как две капли воды, похожая и на те, которые были им расстреляны в главном штабе Соленой Пади. И в сельском штабе — то же самое.

Что было, то было...

«Славной крестьянской армии, солдатам и командирам за победы на Малышкином Яре главнокомандующий товарищ Мещеряков со штабом шлют сердечное приветствие,— написал Мещеряков медленно-медленно, а потом уже дело пошло у него попроворнее.— Вам, боевым, честным орлам, поднявшим пику и знамя в защиту крестьянства и Советской власти, шлют также сердечную благодарность революционные комитеты ваших сел и ждут новой и новой победы от вас».

Параграф был самым первым, важным и, несмотря на потери партизанской армии, вполне своевременным,

потому что прошлой ночью Петрович взял-таки Малышкин Яр.

Произошло это быстро и неожиданно: один из двух белогвардейских полков — сорок первый — за сутки до этого вышел из Малышкина Яра на Моряшиху, а Петрович тотчас же повторил ночную операцию, в которой его люди уже участвовали однажды.

При поддержке полка неполного комплектования, снятого с оборонительных позиций Соленой Пади, соколы разгромили оставшийся в селе сорок пятый полк.

Мещеряков, тот сделал бы по-другому: разбил бы колонну, вышедшую на Моряшиху. Разгром на марше, несомненно, подействовал бы на другие белые гарнизоны, они стали бы отсиживаться по селам. А сковать маневренность противника — дело нынче очень важное.

Но и Петровича Мещеряков тоже понимал: Петрович хотел освободить хотя бы одно крупное село, закрепиться в нем прочно, то есть сделать именно ту победу, которой особенно дорожили в партизанской армии, а еще больше — среди гражданского населения.

Так или иначе, а параграф первый приказа соответствовал. Соответствовал обстановке, отвечал нынешним требованиям.

Теперь надо было написать параграф второй. «Замечено,— начал Мещеряков, сосредоточившись, закусив нижнюю губу и четко выводя букву за буквой,— что некоторые товарищи крестьяне-армейцы и более всего кавалеристы позволяют тащить и навьючивать. То есть идут по пути белогвардейцев и казаков-мародеров. Разве из дома их отпускали добывать одеяла, подушки и тряпки?

Вменяется командирам осматривать вьюки, вещи отбирать и выгонять вон из частей армии недругов социализма. Будем все вместе очищать страну от насильников, паразитов и тунеядцев!..

Замечено допущение паники среди солдат и даже командиров как при наступательных, так и при оборонительных операциях. За допущение подобного явления в среде борцов за освобождение трудового народа от рабства и гнета — предавать виновных суду по строгости военного времени...»

Покрепче закусил губу, а тогда уж и еще написал: «Замечено допущение пьянства в среде солдат и даже командиров. Замеченных привлекать к суду как за неисполнение боевого приказа в военной обстановке».

Перечитал параграф и сказал:

— Так.

На минуту припомнил Моряшиху, опять сказал себе: «Что было, то было». Вздохнул, решил позаботиться о гражданском населении и принялся за параграф третий:

«Замечено, что крестьяне-армейцы производят самоличные аресты. Объявить, что без согласия ротного или батальонного командира аресты не производятся».

Что еще было замечено им в последнее время? Стал вспоминать...

«Некоторые сапожники призываются в строй. В ответственный период осени все мастера-сапожники должны заниматься своими прямыми обязанностями, то есть обеспечивать обувью и обувным ремонтом.

Также строго требую от всех военно-революционных комитетов не прекращать работу по заготовке пик».

Далее Мещеряков вменил в обязанность комсоставу армии выделить самых сознательных, идейных и честных крестьян-армейцев в особые роты спасения революции. Роты спасения существовали уже не первый день, это Мещерякову было очень хорошо известно, но теперь следовало во всеуслышание объявить о них. О высоком их назначении.

Он и объявил.

Потом утвердил новый районный революционный штаб в Медведке, в составе волостей Медведковской же, Угловой, Облепихинской и Бураковской.

Сведения о появлении нового РРШ доставила среди военной информации армейская разведка, и, должно быть, этот факт стал известен ему даже раньше, чем главному штабу.

И хотя никогда прежде Мещеряков гражданским устройством не занимался, не касался его ни с какой стороны, но тут решил приложить руку. Ко времени это было — приложить.

И, наконец, последний параграф гласил:

«В должности комиссара Объединенной Крестьянской Красной Армии окончательно утверждаю товарища Петровича Павла Ивановича».

А затем уже и подписался: «Главнокомандующий ОККА — Мещеряков».

Давненько он таким образом не подписывался.

«Хватит партизанщины и неразберихи! Хватит ее навсегда! — подумал он, закончив приказ. — Мало ее,

что ли, когда ты сам вокруг себя тоже ее делал и создавал! Ну, теперь все! Да здравствует новая и правильная жизнь! Новый счет — это же как новое рождение!»

И приказ, который он только что подписал, тут же зажил самостоятельной жизнью, обязывал, требовал, внушал.

Легко было этому приказу порадоваться, для начала — еще и еще перечитывать его, еще дополнять в деталях.

К параграфу о ротах спасения революции Мещеряков приписал: «Вышеуказанные роты ни в коем случае не должны быть создаваемы при полках и даже при дивизиях, кроме как непосредственно при штабе армии. Штаб армии уже по своему усмотрению придает их тому или иному подразделению или использует самостоятельно». Очень правильное было дополнение.

А все равно параграф оказался не исчерпан. «Кого же назначить командиром этих рот?— подумал Мещеряков.— Хорошо бы Гришку Лыткина, но слишком еще молодой. Во всяком случае, руководство ротами спасения следовало возложить на одного из тех командиров, которые прошли вместе с главкомом недавние бои под Моряшихой и оказались в курсе реорганизации главного штаба, которую Мещеряков почти что осуществил.

Слова «реорганизация главного штаба» ему сильно понравились. Может быть, не раз еще приведется говорить эти слова и про себя, и даже вслух?

И Мещеряков вошел в соседнюю комнату, а там на широченной деревянной кровати без подушек и одеял, прямо поперек потрескавшихся черных досок лежал Жгун. Не то спал, не то не спал. Как только Мещеряков к нему вошел, приподнялся, протянул за приказом руку.

Прочитав параграфы, Жгун длинным сухим пальцем указал на бумажке:

— Вот сюда... о том, что ты призываешь к решающему сражению. Вот сюда!

Мещеряков кивнул. Он и сам все еще подозревал, что в приказе не хватает каких-то слов. Он вернулся к себе и очень старательно обмакнул ручку в чернилку:

«Призываю всех и каждого солдата и командира на подвиг. Победы, до сего времени нами одержанные,— это лишь начало решающих сражений, которые в настоящее время будут разыгрываться на истерзанных наших полях и нивах,— писал он снова.— С верой

в правое дело, в мировую справедливость человечества, с желанием победить или помереть каждый из нас вступает нынче в эти грозные сражения. Наша победа — неизбежна! Светлый день соединения с непобедимой Красной Армией — неизбежен!»

И с каждым словом все больше волновался, все больше чувствовал, как снова становится главнокомандующим, как по новому счету будет воевать с противником. Одернул на себе гимнастерку и строевым шагом вернулся к Жгуну, громко прочитал ему и этот параграф.

Жгун встал, тоже слушал. Стоял «смирно». Потом сказал:

— Безотлагательно разошли по армии. Сейчас же!

После того как Мещеряков уходил под Моряшиху, они со Жгуном встретились сегодня впервые. Жгун глядел пристально, то и дело подтягивая на перевязи руку. Должно быть, все еще сильно болела у него рука. Повторил еще раз:

— Пошли по армии безотлагательно. До начала совещания.— Опять сердито посмотрел на Мещерякова. Такого взгляда у своего начштабарма Мещеряков не видел, не приходилось.— Так вот, товарищ главком, нынче спросят с тебя ответ. И всем нам тоже необходимо понять — что мы делаем? Иначе — как же делать дальше? По чести и совести?

— Одержу победу — вот мой суд, мое оправдание. Все, что касается приказа,— пойдет срочно, экстренно, строго секретно,— ответил Жгуну Мещеряков.

И нынешний суровый взгляд Жгуна был даже мил ему.

В полдень стали собираться в Протяжном представители районных и главного штабов. Мещеряков рассматривал людей.

Были лица известные — все тот же Брусенков, Довгаль, Толя Стрельников, Тася Черненко. Были Петрович и бывший комполка двадцать четыре, ныне — комдив-один. Он уже сделал несколько небольших, но удачных сражений, успел. В самом деле — расторопный парень.

Появился краснолицый представитель какой-то вновь восставшей местности, расположенной на севере, в самом урмане, после — начальники и комиссары от-

даленных районных штабов, их в разных местностях называли тоже по-разному.

Всего человек двадцать — двадцать пять.

Представители Луговского районного революционного штаба были нынче в центре общего внимания.

Почему-то вдруг вспомнили все разом, что и восстание загорелось именно в Луговском, потом пошло и пошло по Нагорной и Понизовской степям, осенью прошлого года перекинулось в Верстово, а ранней весной — в Соленую Падь; что Луговской РРШ — самый крупный по числу волостей.

Представителей Луговского РРШ было двое, ни того, ни другого Мещеряков никогда прежде не видел. Один из них — высокий, лысый — подошел к нему:

— Кондратьев!

Поговорили.

Кондратьев из питерских, из рабочего продотряда — оказался в курсе военных событий на Освобожденной территории.

Мещеряков зорко приглядывался к собеседнику. Слухи о человеке с некоторых пор были повсюду — в здешней местности и в Верстовской. Говорили — смелый человек, очень головастый и — кремень, бьется с белыми насмерть.

«Все правильно,— думал Мещеряков, разговаривая, слушая тяжковатый, нутряной голос Кондратьева.— Правильные идут слухи, такой и есть этот человек...»

Приятно стало. Радостно как-то.

После Мещеряков спросил:

— А напарник твой?

Он подумал, что если Кондратьев — человек пришлый, так помощником у него обязательно должен быть кто-нибудь из местных мужичков. Может, известный Мещерякову не в лицо, так снова понаслышке.

Но и второй представитель оказался не кто-нибудь, а матросик. По веселому синему рисунку, выползающему из-под рукава на кисть правой руки, это было видно. Напирая на «о», матросик сказал:

— Говоров Андрей...

Пороховой. Через огонь, воду, медные трубы проходил не раз. Невысок, двигается, говорит будто бы с ленцой. Кое-что от матроса образца 1917 года и до сего дня оставалось: татуировка, сердитый вид.

— Балтика?— спросил Мещеряков.

— Черное море.

— А-а-а... Черное.

— Не нравится?

— Черное — оно в пятом году хорошо себя показало. А в семнадцатом, при полном одобрении тогда еще морского Колчака, посылало делегацию в Питер. Триста человек. Агитировать за продолжение войны до победного конца.

— А ты — знаешь?

— Знаю. Видел, делегатов этих в Питере таскали по нужникам. Макать. Смотреть не ходил, всех обмакнули или нет,— говорить не могу.

Мещеряков хотел пошутить, а матросик в лице переменился.

— Говоришь по-чалдонски. А в Питере бывал! Уже не с той ли пехотой, которую временщики к себе на помощь вызывали?

Вот так пошутили! Познакомились!

— Не с той... Был делегатом от фронтового солдатского комитета к Питерскому Совету.

После этого Говоров вздохнул, нехотя признался:

— Прореха имелась у нас на флоте. Не распознали обстановку. Хотя вскоре и для нас Питер сделался столицей революционных идей. Как для магометанцев — город Мекка.— И вдруг громко, отрывисто крикнул: — Ну? Начали, что ли?

Открылось чрезвычайное совещание.

Первым заговорил Брусенков. Тотчас, хотя и тихо, его перебил Довгаль:

— Ты? Опять?

— Я.

— О чем? О каком предмете?

— Обо всем.

— Как?

— Мы по сю пору говорим один об одном, другой об другом. В результате — нет ни у кого настоящего взгляда. Не хватает. Поэтому надо сказать в целом. Пора!

Говорил Брусенков не просто так — речь красиво написана черными чернилами; писала Тася Черненко, ее рука.

Бумажку за бумажкой прочитывал Брусенков. Из одного пиджачного кармана их вынимал, в другой бережно складывал.

— Повсюду идет разложение колчаковской армии,— излагал он.— Белые солдаты и даже казаки де-

зертируют, много случаев убийства офицеров, многие переходят на сторону партизан. Чехи, поляки, другие легионеры неохотно идут в бой, больше беспокоятся, чтобы вовремя эвакуироваться на восток...

В этих условиях можно отдавать колчаковцам села и деревни, пусть берут. Это ненадолго. Даже наоборот — чем больше противник будет проводить карательных экспедиций, больше рассредоточиваться на мелкие отряды, тем разложение его изнутри будет сильнее. Правильной войны вести с противником не надо, такая война только поддерживает его организацию, заставляет солдат оставаться в полном подчинении офицерства.

Дальше Брусенков уже должен был перейти к партизанской армии.

И перешел.

Он считал, что объединение соленопадской и верстовской армий ничего полезного не дало. Объединенная армия еще не одержала ни одной серьезной победы, а если и одержит — так это будет успех тактический, а не стратегический.

После объединения вооруженных сил и начались измены заеланских полков во главе с комиссаром бывшей верстовской армии Куличенко, а нынче на совещании зачем-то присутствует представитель северной самостоятельной армии, которая к Соленой Пади не примыкает и примыкать не собирается.

Брусенков глянул на представителя этой ничейной армии, а тот — круглолицый и краснолицый — поправил на боку огромный кольт:

— Зачем нам примыкание?

...Армия расшатала и гражданскую власть, много замечается нынче злоупотреблений на местах со стороны следственной, конфискационной и других комиссий, районных и даже чрезвычайных при главном штабе. Тяжелое и мрачное наступило время, завоевания революции в опасности, а главная опасность — идейно разлагаются бойцы революции. И даже революционное руководство.

И это было не все, не весь новый брусенковский счет.

— Это говорено мной в общем и морально,— чуть передохнув, сказал он.— Главный штаб обвиняет главнокомандующего в том, что он до сих пор не перешел к надлежащим действиям против белой армии, что покинул свой пост перед самым важным сражением за

Малышкин Яр, что самоустранился с поста главкома, полностью переключившись на партизанские действия только в одном моряшихинском направлении, что совершил попытку разогнать главный штаб, что незаконно арестовал члена главного штаба товарища Черненко, что совершил проступок, несовместимый с положением главнокомандующего,— увез насильно из села Моряшихи гражданку Королеву.— И только здесь Брусенков закончил свою речь:— Главный штаб предлагает отстранить Мещерякова от занимаемой должности главнокомандующего и предать его суду революционного трибунала.

Мещерякову же гражданка вспомнилась... На звягинцевской заимке. «А Брусенков-то — как может об этом говорить? Он-то что понимает? Рябой, злой? Такого же ни одна истинная женщина не полюбит, тем более не захочет, чтобы он ее украл. Ведь это же страшно, поди-ка, когда тебя живого крадут? И приятность при этом обязательно должна быть даже выше, чем страх. Это Черненко Таисии все равно, кто ее крадет! Нет, куда ему, Брусенкову,— голодный сытого не разумеет! Несчастный он все ж таки, Брусенков!»

Вслед за тем он пожалел и все чрезвычайное совещание: трудное положение — и простить человека неловко, когда он сильно успел натворить, и обвинить невозможно, очень нужен человек — главнокомандующий!

«Тут — какой выход?— соображал Мещеряков.— Кто-то должен сказать: «Товарищи! Когда не из-за баловства с Колчаком воюем, а всерьез, то нам ничего другого не остается, как пройти мимо баловства нашего товарища Мещерякова». Самому — неудобно это сказать, но кто-то должен догадаться».

Не догадывался никто. Даже товарищ Жгун. Как человек военный, как начштабарм, который один только и знал о новом приказе Мещерякова, о том, что приказ этот идет, идет вот сейчас к армии для воодушевления каждого командира, каждого бойца. Для победы.

Для победы истинной, человечной. Для победы народной, а вовсе не в чужой какой-то и капиталистической войне.

Тут представились Мещерякову окопы прусского фронта. Мокрые, вшивые, вонючие, голодные. Без табака и без патронов.

Это до какой степени озверели капиталисты, что загнали живых людей в такие окопы? До чего и эти люди тоже дошли, если который раз сами мечтали выползти из окопа по грязи на брюхе, миновать колючую проволоку и броситься в другой такой же окоп — рубить там, и колоть, и стрелять в упор... Не получается у капиталистов настоящей войны — одно убийство, и надо было бы кончать, посылать парламентеров с белыми флажками, но у капитала ведь и на это не хватило человеческого духа?

Нынче война вольная, на истинное геройство, на человеческую сознательность. А Брусенков? Ему и этого не понять!

И белых Мещеряков тоже чувствовал — их отчаянный поиск еще какого-то, уже немыслимого шанса. Чем шанс становился немыслимее, тем больше становился их ужас и страшная сила в этом ужасе... Ее-то он и должен был нынче сломать — ужасную силу.

Ждал Мещеряков — что будет дальше?

Первый спросил Кондратьев:

— Товарищ Брусенков, сколько ты сам, лично, принес урону нашему делу хотя бы одним поповским расстрелом?

Вопрос был далеко не для всех понятным, но Брусенков объяснять не стал, передернул плечом, и только. Стал рассказывать Довгаль.

Неделю назад человек двадцать священнослужителей собрались в соленопадском приходе. Брусенков взял сотрудников военного отдела и ревтрибунала, пошел их арестовывать. Те стали разбегаться, Брусенков стал стрелять. Был убит местный священнослужитель, двое ранены. Уже после установили — служители церкви собрались, чтобы написать в главный штаб прошение — не препятствовать отправлению религиозных обрядов.

Мещеряков подвинул табуретку ближе к Брусенкову и спросил у него:

— Убитый-то попик, это который горячился в главном штабе, в отделе народного образования? Насчет отделения церкви от государства и прочего? Он?

— Он...— кивнул Брусенков.

— Молоденький такой... Трусливенький. Розовенький. Надо же случиться? Бабам, тем особенное горе — церква, поди, стала им не мила? Слушай, Брусенков: я партизанщиной занимался, ты — строгой властью,

а результат один — убиваем людей. Это — как? Скорее бы уж победа, да кончить с этим делом. Раз и навсегда.

— Тебе этого всего не объяснишь. Бесполезно.

— Может, попику объяснишь? Ему — полезно?

Брусенков отставил свою табуретку в сторону.

А в самом деле — попик, что ли, был особенный! Так хотел жить, так хотел, ну прямо как сам Мещеряков! Еще тогда, в отделе народного образования, глянул на главкома с тоской, с жалостью, наверняка подумал тот раз про него: «Отпетая голова! Царство небесное! Аминь!» И ведь получился «аминь», только наоборот: нету попика в живых, теперь с него, как словно с козырной карты, ходят против Брусенкова. Недаром Брусенков этого попика еще живого невзлюбил!

— Через это какие мы несем потери?— спрашивал тем временем Кондратьев.— Страшно подумать! Ведем идейную борьбу среди населения месяцами, доказываем идею справедливыми действиями, а тут является Брусенков и первого попавшегося попа — бах! Старики и старухи манифестации устраивают, протестуют. В Малой Крутинке обстреляли наш разъезд. Когда схватили, расследовали — оказались свои, но только — верующие. За попов сделали отместку! И по всем другим селам и деревням, особенно где нету твердых большевиков, чтобы пресечь тебя и все твои действия, товарищ Брусенков!— И Кондратьев стал еще рассказывать о действиях Брусенкова, а потом вдруг остановился, прервал сам себя. Не сразу продолжил речь.— Товарищи!— продолжил он чуть спустя, уже медленно и глядя на одного Мещерякова.— Товарищи! Если бы у нас происходил суд, мы хотим того или нет, а предъявили бы обвинения товарищу главкому. Суровые, законные. Но мы сейчас хотя и судим, но мы — не юристы, не присяжные заседатели. Мы — революционеры! Мы следуем за товарищем Лениным и имеем цель — победу революции. Вот — наш устав и кодекс, наши закон и мораль. И вот в то время, как Брусенков этой цели, то есть победе революции, мешает, нет даже надежды, что и дальше мешать не будет,— без Мещерякова, без его влияния на армию мы скорой победы не одержим. Если начальник главного штаба товарищ Брусенков перед лицом революции сам себя судить не может, не способен к этому, то мы надеемся и уверены, что наш главком рассудит свои собственные поступки, сделает правильный вывод по самой высшей честности, не уронит, не

запятнает, а высоко понесет наше победное знамя! Мы нынче отрезаны от города колчаковцами, мы — одни. И нам этот период, покуда мы одни, без России, одни, какие есть, нужно пережить, как большевикам истинным. Давайте переживать!

Может быть, Кондратьев говорил бы и дальше, но вскочил с места круглолицый представитель северной неприсоединившейся армии.

Еще до начала совещания к нему обращался то один, то другой, но фамилии его, должно быть, никто не знал — каждый называл как вздумается, чаще «северным» и «урманным» главкомом.

Урманный главком почему-то все время держал руку на деревянной кобуре кольта, а когда заговорил — тотчас начал расстегивать на ней ремешки, будто сию же секунду собирался открыть пальбу, тем самым подтвердить свои слова. Или она у него пустая была, кобура?

— Товарищи!— говорил он, взмахивая свободной рукой.— Мы к такой армии, к такому главнокомандующему, как товарищ Мещеряков Ефрем Николаевич, ни в коем случае присоединиться не можем — идеалы не позволяют. И к такому главному штабу — тоже не можем: обои они, как две капли, одинаковые! Мы у себя, в собственной местности, давно стали выше всего этого, ибо у нас всякие распри пресечены в самом корне и после того их уже не может быть в природе. А чтобы они все ж таки помимо нас самих не произошли — так мы и не делаем ни главных, ни районных, ни сельских и никаких других штабов. Комиссий — тоже никаких. У нас полная ясность: революционная армия, и больше ничего! У нас в каждой деревне обязан иметься народный комиссар. Он беспрекословно и дает в армию, сколь положено по раскладке, продуктов питания, обмундирования, конского поголовья и солдатов-добровольцев. С остальными же призывного возраста ополченцами уже сам этот комиссар полностью и самостоятельно управляется со вверенным ему населением. По военной, гражданской и по любой линии. Когда какая деревня выбрала себе негодного комиссара, даже деспота либо пьяницу, то и пусть сама на себя пеняет, а мы — центральная военная власть — нисколько не вмешиваемся... Как хочут, так пусть и делают, вплоть до того, что устраивают вооруженный переворот против одного комиссара и делают выбор другому. Откуда всем присутст-

вующим должно быть ясно, что мы ближе стоим к всемирной революции, чем вы. Призываем: самораспуститесь и переходите к нам, под центральную революционную народную власть! Или, ежели все ж таки будете судить, устранять и даже стрелять своего главнокомандующего товарища Мещерякова Ефрема Николаевича, то лучше не стреляйте его, а отдайте нам. Нам совершенно необходимы военные спецы!

И урманский главком снова подергал на кобуре ремешки, а Мещеряков снова подумал: «Однако, пустая!»

Все молчали.

Наконец Петрович обратился к урманному главкому:

— Хочу выяснить некоторые подробности.

— Мы с удовольствием поясним!

— Если в вашей местности сельский комиссар не посылает в армию продовольствия, солдат или конское поголовье, что вы с ним делаете? Какие меры воздействия у центральной военной власти?

— Мы такого немедленно же расстреливаем! — ответил урманный главком.— Именем военной центральной народной власти!

Кто-то засмеялся, главком сердито оглянулся на этот смех, еще проговорил, подумав:

— Хотя, сказать по правде, это не сильно нам удается, потому что у каждого комиссара имеются свои люди, они своевременно оповещают о приближении представителей центральной власти, и он тоже своевременно скрывается.

Тут уже засмеялся Брусенков, а Петрович еще спросил:

— Кто же у вас идет при таком порядке в комиссары? Кто дает свое согласие?

— А никто и не идет. И — правильно! Надо делать, чтобы власть — несладкая была, тогда никто до ее добровольно дорываться не захотит и никаких распрев из-за ее сроду не случится! Вот, поглядите на себя. До чего вы тут дошли, товарищи! Поглядите! Ну? С распрями и сварами?

И опять этот представитель с маху хватил рукой по кобуре и, вытаращив глаза, стал глядеть на всех по очереди, потом взгляд надвинулся на Мещерякова, остановился на нем. Мещеряков как-то неловко ему улыбнулся.

А урманный главком сделал тогда к нему шаг и у него одного спросил:

— Власть делите, властелины? Смешно, да?

Вскочить бы и, словно ты все еще партизанишь на Моряшихинской дороге, крикнуть в голос: «Смир-р-р-на-а!» Все чрезвычайное совещание тотчас зашаркало бы ногами по полу, вскочило бы тоже, руки по швам, а тут крикнуть еще громче: «Все на фронт — ша-агом арш!»

Партизаном Мещеряков уже не был, уже вернулся с Моряшихинской дороги. Сам вернулся, по собственному усмотрению.

Но, вернувшись, еще не стал настоящим главкомом, и ни при чем вдруг оказались его строгость, его готовность воевать по новому счету.

Не мог он сделать и по-другому — тихо-спокойно, по разуму, приказать как высший командир: «Товарищи! Прошу каждого здесь присутствующего заниматься своим делом, то есть — войной с противником! Прошу покамест разойтись! До скорой победы!»

Он и в самом деле был здесь подсудимым. Был! Как положено — его здесь и обвиняли, и защищали, и допрашивали: «Смешно, да?»

Теребил свою пеструю бородку представитель Панковского районного штаба. Из того самого Панкова, в котором придуманы были мучные рубли, откуда родом был заведующий финансовым отделом главного штаба — крохотный и в очках. В котором первую Советскую власть разгонял скорый на руку Громыхалов, ныне боевой командир роты штрафников в составе полка Красных Соколов. Еще и еще подробности вспомнил о Панкове и Панковском штабе Мещеряков, а представитель этого штаба уже говорил:

— Я от себя предлагаю — на собственную мою должность как начальника районного революционного штаба поставить Власихина Якова. У нас народ, многие этой постановкой будут довольные. А соленопадские — те сроду-то своего старца не уважали, довели до суда над им и чуть ли не до всенародного расстрела.

— Панковские — за Власихина либо за Советскую власть?— спросил Брусенков.— Ну?

— Я — за то и за другое,— ответил панковский представитель.— Вместях.

— А тебе не приходит, что это невозможно — то и другое?

— Нет, не приходит. Что он, Власихин-то, бесчестный человек или как? Это не напрасно было, что товарищ главнокомандующий Мещеряков освободил товарища Власихина от суда и смертной казни. Герой, он знает, кого надобно до конца защищать. Потому и его нынче тоже предлагаю не казнить и не судить за безрассудное партизанство, а внушить, чтобы занимался победным сражением над Колчаком, больше ничем посторонним. Когда он не до конца еще сознательный — внушить!

И тут Мещеряков поднялся со своего места у окна, где он просидел так долго и так неподвижно, вглядываясь в короткую осеннюю улочку выселка, на которой запоздало и робко зеленилась травка-топтун, суетливо бегали сметанно-белые, мелкие, похожие на цыплят куры с пунцовыми гребешками.

Ужасно тоскливо, ужасно не по себе стало ему сидеть здесь. Он и встал, пошел к двери.

В дверях оглянулся, подхватил еще какое-то слово панковского представителя — опять о Власихине — и вспомнил обширную площадь Соленой Пади, всю переполненную народом.

И себя он вспомнил на гнедом, в серебряной мерлушковой папахе с красной лентой. Он указывал вытянутой рукой на Власихина, был судьей ему. А может быть, и всем людям, которые на площади в тот миг оказались, еще теснились из улиц, из проулков. Всем. Только себе самому не был он тогда судьей. И ему — никто.

Потом, с порога же, он перехватил взгляд Таси Черненко. Не девичий, не женский, не мужской. Непонятный.

Эту — хлебом не корми, только б ей судить и осуждать!.. От кого такая растет? И — куда?

Очень переживал нынешнее чрезвычайное совещание Довгаль, не знал, как обвинять, как оправдывать. Он, верно, хотел бы обвинить, обвинить ужасно — но что-то не получалось у него... Довгалю трудно, он слишком хороший человек, не бывает никогда ни перед кем виноватым и не знает, что это такое — вина.

Луговские представители — Кондратьев и Говоров — тихо беседовали между собой. Кондратьев что-то объяснял своему товарищу-матросику, а тот, не вынимая цигарки изо рта, кивал головой... Луговской штаб, он правда что всегда стоял непоколебимо, и сейчас, при

взгляде на этих двух людей, беседующих между собою так спокойно и уверенно,— в этом еще раз можно было убедиться. Они знали, что делали. И что делать будут — тоже знали. Счастливчики!

Кто задал Мещерякову загадку — это бывший компомка двадцать четыре, ныне — комдив-один; тот глядел куда-то в сторону, хотя миновать взглядом своего главкома не мог, потому что сидел как раз против двери.

«Вот так, дорогой мой комдив!— сказал Мещеряков про себя.— Может, тебе еще неизвестно, что в новом приказе, изданном сегодня утром, по части строевой, дивизий в армии уже не одна, а три? И, значит, не ты один второй человек в армии, сразу же за главкомом. Вас, вторых, теперь уже трое!»

В кухне Гришка Лыткин старательно учился курить трубку, двое партизан учили его, но сами толком не умели, умели только показывать, как это делается, на цигарках-самокрутках.

Еще какие-то вооруженные и безоружные сидели на прилавке под образами, не скидывая папах, шапок-ушанок и картузов. Некоторые спали на полу. Мещеряков сделал Гришке знак, миновал полутемные сенцы, спустился по ступенькам крыльца, пересек ограду и вошел в добрую, бревенчатую, с побеленным потолком конюшню...

Приблизился к гнедому, пощупал у него раны в мякоти передних ног, одну почти у самой груди, другую пониже, примерно в четверти от коленного сустава. Эту, другую, гнедой заработал совсем недавно, под Моряшихой. Обе раны Мещеряков ощупывал, как на себе,— нисколько не искал, рука сразу же их находила.

Гнедой тыкался в плечи Мещерякова, в одно и другое, отвислой от ласковости, расслабленной нижней губой, черной, мягкой и нежной, а верхняя губа, закапанная розоватыми пятнышками, тоже оттопыривалась, вздрагивала, набухала изнутри мелкими чуткими пупырышками.

Раны не кровоточили больше, а затягивались плотной шероховатой коростой, и гнедой — должно быть, за это — благодарил хозяина, глядел собачьими глазами, прижав уши к гриве, разбросанной по голове, переступая задними ногами, напрягая мышцы передних ног.

Потом гнедой вздумал заржать, вскинул голову на тонкой блестящей шее вверх, под кожей разом проступили натужные жилы, и тоже вверх к самой глотке, по

ним кинулась кровь... Гнедой зажмурился, но только раз или два всхлипнул — тут же снова ткнулся в мещеряковское плечо.

Мещеряков резко отвернулся, шлепнул коня по губам, а сам спросил у Гришки Лыткина, который, прислонившись к косяку, стоял в дверях конюшни, внимательно смотрел на главкома и на коня:

— Ну, Гриша, какая жизнь?

Гришка не сразу поднял взгляд.

— Жизнь, товарищ главнокомандующий, она...

— Ну, ну, что она?— потребовал Мещеряков. Но крикнуть ему не хотелось, нет. Только показалось, что хочется.— Ты не стесняешься ли меня, Гриша?— спросил он чуть спустя.

— А почто?

— Прасолиху-то я увез? Евдокию Анисимовну? Пьянство сделал в Моряшихе. Да мало ли что еще? Смешно сделал. Да?

— Вам — все это можно, товарищ Мещеряков.

— Как же так?

— Вы — герой, товарищ Мещеряков. И главный над всеми партизанами. А сказать, так и для любого гражданского жителя главнее вас нынче нету. Более, как на вас, он ни на кого не надеется.

— Победу сделает армия. И прежде всего — рядовые ее герои.

— Рядовые герои без геройского вождя не в силах. Нет, для их это невозможно...

— Все ж таки ты очень сильно хвалишь меня, Гриша. Не к моменту.

— Только вам и простительно. Больше — никому!

— А я, наверное, Гриша, не сильно мучаюсь, в том-то и дело. Я знаю — женщина может быть другая. Бывает. Ну, а другой жены мне нет и не будет.

Гришка подумал и согласился по-своему:

— Вы — страшно фартовый, Ефрем Николаевич! И не просто так — сами фарт себе добывали, а теперь хотя бы и за это, и за все другое вам от людей простится. Только одно уважение, а больше ничего.

— Ну, кто тебя научил, Гришутка, так говорить?

Мещеряков сел на конюшенную подворотню, стал закуривать. Стал рассказывать Гришке, как правильно из трубки нужно затягиваться, и Гришка, стоя перед ним, слушал внимательно, у него тоже начало полу-

чаться — дымок потянуло из трубки ровными колечками, эти колечки радовали его несказанно.

Вдруг Мещеряков резко, не оглядываясь, взмахнул рукой и ударил гнедого в левую заднюю, как раз с обратной стороны колена.

Гнедой тревожно и по-человечьи жалобно охнул, простонал, припал на задние, вздрогнул сильной дрожью всем телом, а Гришка побледнел и выронил изо рта трубку. Постукивала кровь в жилах всех троих — Мещерякова, Гришки и гнедого. После, когда все успокоились, Гришка смахнул с лица пот и не заговорил, а застонал:

— Судьбу пытать, Ефрем Николаевич? Да разве можно? Это — вам-то? А когда бы он обеими задними вас в хребтину! Либо — в голову?— Гришка отвернулся и еще раз сказал:— Через минуту гнедой уже и сам бы прослезился, но ведь он же кованый, на шипы кованный? У меня вовсе дыхание зашлось. Ефрем Николаевич, не надо! Не могу я этого!

— Нет, Гриша,— ответил Мещеряков.— Когда я на коне ездил вершним или в упряжи, когда покормил коня со своих собственных рук — он меня уже сроду не сможет ни ударить, ни обидеть. Вот это я знаю. Опять же конь, Гриша, это не человек. Коня, особенно боевого, я, как главнокомандующий, выберу себе из тысячи. Чтобы он подходил ко мне, я — к нему. А людей человек не выбирает, нет, даже когда он самый верховный. Разве что только жену. Остальные все люди — какие вокруг тебя есть, с такими и живи, с такими воюй.

И Мещеряков быстро поднялся на ноги, ткнул свою прокуренную трубку-коротышку в карман... Прошелся вдоль ограды, бросил взгляд на гнедого. Еще раз прошелся.

Вдруг приказал, словно в бою, строго и быстро:

— Запряги тройку!

— Поехать куда?

— Поехать.

— Далече?

— Порядком. В Верстово ехать!

Теперь глазенки у Гришки, серые с зеленым, вылупились. На один глаз опустился из-под шапки белый клок волос, на розовом, еще с лета обожженном ярким солнцем носу нависла капелька.

Парнишка!

Мещеряков на него поглядел, даже сбоку зашел, чтобы увидеть, и сказал:

— Вот так, мужик! Чужим занятием сколько-то побаловаться можем, и даже сильно побаловаться, а свое — оно одно-единственное! В чужом надо свой край знать и не пропустить. А куда от своего? Мужики мы, Гриша! Поедем, Гриша, зябь подымать. Покуда еще не поздно, не окончательно застыла почва... На худой конец — давай сиганем хотя бы на пару деньков. Для пользы дела. Одумаемся сами, и о нас, покуда мы на глазах не тремся, тоже как следует успеют подумать... Все может нынче быть: могут и стрелить, а может просто два приятных денька нам выйти.

— Ефрем Николаевич...

— Не хочу я что-то, Гриша, и дальше с чужого хлеба кормиться! Не хочу с чужого, хватит!

— А война? Она же — идет! Кто вас с ее отпустит?

— Не отпустят — возьмут в красные соколы. В громыхаловскую штрафную роту.

— За главнокомандующего кто будет воевать?

— Комполка двадцать четыре. Ныне — комдив-один.

— А парад? Кто его будет устраивать?

— Переживем как-нибудь. И не это переживали.

— Он же будет по случаю полной победы над кровавым Колчаком, парад! По случаю нашего окончательного соединения с Красной Армией! По случаю самого первого дня нашего светлого будущего!

— Много насчитал случаев... Не слишком ли?

— Их еще можно без конца насчитывать! Неужели — запрягать?

Мещеряков долго не отвечал. Гришка ждал.

— Кончим войну, Гриша, откуда мы пришли, туда и вернемся! Это наше слово борцов за мировую справедливость!

А когда сказал — резко повернулся, пошел.

Оглянулся уже с крыльца.

— И все ж таки — исполнять! Поставь тройку за конюшню, поближе к стенке. Супонь на кореннике распусти, не держи его до времени в твердом хомуте. Исполнять!

Снова распахнул дверь в помещение штаба.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Опять сидел Мещеряков на табуретке у окна — на подсудимой скамье. Глядел в улочку, на белых крохотных босоногих и беспокойных кур.

Подошел к нему Петрович.

— Что-то не узнаю тебя нынче, Ефрем. А ну, держись!

Мещеряков же подумал: «Хорошо, что выходил я на волю, за коня подержался. Мужицкая склонность — она не подведет!..» — Вскоре тройку стало видно за стеной конюшни, особенно правую пристяжную и коренника — гнедого с рассупоненным хомутом...

Еще сильнее было накурено в избе. И голоса людей стали поглуше, и лица суровее. Урманный главком хотя и цеплялся за кобуру, но не улыбался уже нисколько. Вытаращив глаза, слушал.

Панковского представителя потеснили, он сидел теперь с краешка стола, теребил бородку, на добреньком его лице испуг не испуг — какое-то недоумение.

И если с самого начала совещания заспорили Брусенков и Кондратьев, так теперь они будто шли один на один. Пощады друг другу не давали и не ждали ее.

Изредка взмахивая огромным сильным кулаком, а другой рукой по-прежнему опираясь на плечо своего товарища-матросика, Кондратьев разворачивался лысой головой в упор на Брусенкова:

— Преступно оставлять народ на произвол. Но к преступлению толкает товарищ Брусенков! Народ нынче убеждается, способны мы защитить его или не способны. Мы хотя и самодельная, ненастоящая, а все-таки Советская власть, и, глядя на нас, народ судит о настоящей рабоче-крестьянской Советской власти. О подлинной! А товарищ Брусенков? Он сегодня Советскую власть предает, а завтра — сам хочет ею называться! Присвоить имя — не дадим!

— Вот именно!— кивнул Брусенков, тоже поднимаясь.— Необходимо понять, кого защищаешь ты, кого — я! Для всеобщей ясности вопроса прочитываю документ...— И Брусенков вынул из кармана еще одну бумагу, разгладил ее, как всегда, когда он читал на людях, положил на картуз. Откашлялся.— Письмо изменника и предателя комиссара Куличенко своему другу-единомышленнику, а нашему главнокомандующему,— объявил он громко.— Написано таким образом: «Товарищ

главнокомандующий, Мещеряков Ефрем Николаевич! Мы с тобой парнишками вместе были, а также солдатами революции — ты меня пойми. Я ушел с двумя полками в Заелань, ибо выполняю волю революционной массы. Когда ты массе отказываешь в защите ихних детей и крова, а белые гуляют в Заелани в свое удовольствие и тебя сильно хвалят,— кто же об их позаботится, как не они сами, заеланские, и не тот командир, который еще не оторвался от народу, не гонится за службой среди других таких же служащих, а готовый в любую минуту отдать свою жизнь за народ? Но ты оторвался, не слышишь голоса массы и полностью находишься в услужении деспота Брусенкова. Чем он тебя купил — даже непонятно. Просим тебя — ты пойми это еще покуда чистым сердцем, не пятнай себя и свою честь народного героя — завтра же разгони мадамов и самого Брусенкова в его главнющем штабе, а без его пагубного влияния тебе снова станет доступным голос массы и ее светлая любовь, и ты будешь выполнять ее святую волю. Самая большая анархия — когда закон есть ничто, как собственный произвол и насилие, а ты нынче брусенковскому произволу подчиняешься, служишь рабски. Преданный тебе друг, а ныне командующий независимой заеланской народной партизанской армией *Л. Куличенко*».

Брусенков положил письмо в карман пиджака, он туда нынче складывал все свои бумажки. В тишине стал ждать, кто и чего теперь скажет. Не дождавшись, спросил:

— Каждому ли понятно, с кем заодно находится Мещеряков, когда идет разгонять главный штаб? А когда это понятно, предлагаю поглядеть, кого поддерживает Луговской штаб? Когда он тоже становится против главного штаба — не заодно ли он с Куличенкой? И не на службе ли у вас у обоих Мещеряков, не по вашей ли указке главный штаб им разгонялся? Но я покуда не тебя нынче в первую очередь виню, товарищ Кондратьев. И для твоего поведения существует причина — она в Мещерякове заключена, в нем и в нем. В его появлении среди нас. Вот что мы должны окончательно и безоговорочно понять!

Кондратьев поглядел на матросика, пожал плечами.

— Он что же — нас пугает, а? Сам пугал — не вышло. Мещеряковым пугал — не вышло. Теперь — Куличенкой и Мещеряковым, вместе взятыми! — Помолчал и крикнул: — Не выйдет!

Матрос подтвердил негромко:

— Не выйдет, нет...

И Кондратьев еще сказал:

— Не пугай и с другого края — будто мы, Луговской штаб, уже слишком самодельный, слишком кондратьевский! Мы выбраны не тобой, а съездом делегатов Луговского района. Их представляем. А ты уже никого, кроме самого себя, не представляешь.

— Так! — кивнул матросик Говоров.

Брусенков снова усмехнулся:

— Вот-вот! Я тебя с Куличенкой и сравниваю. И твою роль. Пойди в заеланские полки, с которыми он вместе совершил измену, — они тоже все, как один, за своего вождя проголосуют!

Тут Кондратьев поднялся из-за стола, прошелся по комнате.

— Как ты измену правому делу с делом путаешь? Умеешь?! Я тебе летом посылал для сведения бумагу, у контрразведчика взятую, там о Луговском говорилось. Напомню! — Кондратьев положил крупные волосатые руки на лысую голову, медленно стал говорить: — «Образец, притом самый вредный, советской партизанской власти — это так называемый Луговской район, потому что там повсюду выбраны на посты большевики и осуществлен наибольший во всей так называемой Освобожденной территории порядок...» Помнишь? Или не помнишь? «Они-то и являются главным злом и рассылают своих тайных агитаторов под видом торговцев в благонадежные волости, разлагают их...» Тоже не помнишь? Нет?

— От ребячьего ума исходит. Своими глазами не видишь, что плохо, что хорошо, — от белогвардейцев учишься понимать? — И Брусенков встал рядом с Кондратьевым, продолжил: — Ты против главного штаба. А что такое главный штаб? — спросил он у всех присутствующих. — Не покладая рук по великому желанию трудятся для народа люди из народа же, а не просто так — за жалованье, за подачки. И когда тот же Мещеряков посетил главный штаб, его отделы — народного образования, финансовый, юридический, агитационный, — он все эти отделы понял, признал их подлинное

значение. Признал?— обратился он к Мещерякову.— Если честно?

Мещеряков вспомнил главный штаб. Большую комнату с осколками стекла на полу. С окном, в котором было большое и круглое отверстие.

— Признал...— сказал он.

Брусенков кивнул ему и подтвердил:

— Правильно и честно ответил. И я честно скажу за Мещерякова дальше: не признал он лишь один отдел. Военный. На один отдел он поимел личную обиду, но она ему уже превыше всего. И он пошел разгонять весь главный штаб, всю народную власть и бескорыстных тружеников народного дела! И каждый из вас, кто против главного штаба, тоже в одном на его в обиде, но нет чтобы сказать себе: «Это обида вовсе не идейная, а за собственную личность!»,— нет, не так вы все говорите, а по-другому: «Разогнать к чертовой матери главный штаб! Веры ему нету! У меня в Луговском — лучше, у меня в дремучем урмане — лучше, у меня в армии — лучше, а я сам — гораздо лучше Брусенкова!» А дальше? Кто пошел на разгон главного штаба — тот уже среди вас герой народного дела! Вот как вы нашли всеобщий язык! И, может быть, ты, Кондратьев, будешь наверху. Вполне может быть! Но правым — никогда! Я весь главный штаб от начала до конца делал. Хорошо ли, плохо ли, но только никто другой не делал этого. Другие оглядывались, боялись совершить неправильно, жертв боялись, идею считали не до конца созревшей, поддержки в людях не видели. Луговские обнюхивались с соленопадскими, панковские — с верстовскими, верстовские — с луговскими. А я ни на что не глядел. Белые сколь раз меня чуть ли не задавливали и расстреливали — я делал. Луговские почти начисто отделялись — я делал. Революцию совершали все, на восстание шли все, поскольку, если разобраться, то это — самое первое и простое, каждому доступное. А вот власти сделать никто из вас не смог. Ни один! Революционную власть — ее надо делать уметь и успеть. Покуда контрреволюция народ по морде бьет, а тот от ее удара отворачивается — успевай! После поздно будет! А когда наша власть была успешно сделанная — тогда уже луговские со своими ячейками, панковские с мучными рублями, верстовские с армией — все пришли ко мне в Соленую Падь! Все и каждый прислонилися к власти, схватились за нее! Почему же, спрашиваю, если глав-

ный штаб плохой и Брусенков плохой, почему верстовское восстание и самая сильная армия во главе с самым хорошим командиром Мещеряковым пошли в Соленую Падь, а не Соленая Падь пошла в Верстово? Мещеряков шел — не ребенок малый, не за ручку был приведенный, а ясно знал — к чему и к кому идет. А когда так — почему тотчас стал поперек того, к чему сам же пришел? Какое на это у него право?! У кого оно — у его либо у меня? — Брусенков протянул руки, пощупал ими кого-то. Мещерякова пощупал, сжал до костяного хруста. Вздохнул. Огляделся по сторонам, спросил: — Играем? Да? Урманный главком играет в собственную самостоятельность, а я готовый порубить себе правую руку, если через месяц, того меньше, он не будет у нас. Но ведь я не уговариваю, сроду нет. Власть — она не для уговора, она — опять же для власти. Ты это знаешь, товарищ Кондратьев, как начальник районного штаба. Я тоже знаю, как начальник главного штаба. Будешь ты на высокой должности — будешь действовать так же, как и я, а не то — уйдешь с позором и еще пошатнешь общее дело. Это здесь место говорить по-интеллигентски. А дома у себя? Знаю, какой ты интеллигент у себя в дому! Там тебе известно, что нам, мужикам, уговоры — тьфу! Что они есть, что их нету!.. Еще не постесняюсь спросить: почему ты, Кондратьев, когда белые к тебе близко — за Брусенкова, когда далеко — ты против его? И тотчас начинаешь связь делать с губернией, искать от города всяческой поддержки? Ведь он, Брусенков-то, тот же остается — это ты почто-то другой делаешься, особенно после того, как товарищ Мещеряков объединил наши армии. Догадался, что силы стало у тебя больше, а власти меньше, и хочешь пропорцию навести? Не в том ли твой лозунг мировой революции? И чем ты отличаешься от дорогого тебе товарища Куличенки? Чем?

Как раз в это время Мещеряков спрашивал себя: «Уехать? Коренника засупонить?»

Кондратьев ответил:

— Я, подобно Куличенке, за полками, когда они изменяют делу революции, не побегу. И подобно тебе, Брусенков, из нее, из революции, одну только власть делать не буду. Не для этого она. Мы с тобой, когда скрывались в кустах, поднимали народ на борьбу, не для этого начинали и поднимали!

— Смешно!— ответил Брусенков снова.— Конечно, смешно! Эти твои слова о себе самом на то и годные, чтобы раз один ими попользоваться, после — выбросить куда подальше, забыть навсегда. Может быть только одно, а не два: либо ты, подобно Куличенке, побежишь за полками, либо, подобно Брусенкову, будешь держать твердую власть в твердых руках. Выбирай! Это нетрудно — выбрать. Для честного революционера.

И тут поднялся Петрович, сказал громко:

— Дальше — я!

— Куда же — еще-то дальше?— не спросил, а с каким-то даже восхищением проговорил урманный главком.

Петрович, вытянувшись в небольшой свой рост, протирал очки, будто писать собирался или разглядывать через эти очки Брусенкова. Спокойно протирал, стоя прямо, требуя, чтобы все дождались, когда он с очками кончит. Кончил, сказал:

— Сейчас — только одни факты.

Уже что-то подозревая, какую-то неожиданность, Брусенков как будто даже с интересом согласился:

— Ну и что? Факты так факты! Высказывай!

— Высказывать будешь ты... Самый первый вопрос: когда Стрельников бросил гранату в окно главного штаба,— для чего это было сделано? Испугать Мещерякова? Или схватить его?

Все стали глядеть на Брусенкова. А тот оглядывал каждого. Глядел и думал.

— Что делал — на все были соображения,— ответил после долгого молчания Брусенков.— Лучше сказать — было ясное подозрение, а когда так — я и делал, как мне подсказывала моя революционная совесть, бдительность и обязанность. Я сейчас — начальник главного штаба и тогда им же являлся. И когда бы я тот раз не применил мер, то сию минуту я был бы уже действительно перед всеми вами виноватый. Но я уже тогда подозревал измену — то ли от Куличенки, то ли самого Мещерякова, это все одно. Подозревал, что при удобном случáе главком бросит армию на произвол, как в действительности после и было. И только ты, товарищ Петрович, не щадя своей жизни, смог в его логово поехать, уговорить его... И то — заплатив цену. Цена не малая — разгон главного штаба, хотя и не удавшийся до конца, опять же благодаря другому истинному революционе-

ру — товарищу Довгалю. Кому обстановка все еще не ясная? Кому не ясный ответ?

— Не ответ. Хотел ли ты Мещерякова устранить? Своею единоличной властью?

— Хотел выяснить истинные мещеряковские намерения, свои единоличные подозрения.

А Мещеряков уже знал, что следующий вопрос Петрович задаст ему. Имел на это право. Обязан был задать. Не мог не задать вопроса комиссар своему главкому, и ощущение подсудности, острое и тревожное, снова охватило Мещерякова. Судили его. Судили Брусенкова. Судили их вместе, заодно.

— Товарищ главком, было ли тот раз на тебя совершено покушение?— спросил Петрович.

— Настоящих фактов нету.

— Какие есть. Честно и откровенно. Ну? Ну, Мещеряков!

— Откровенно — это было покушение...

Тася Черненко уставилась на Мещерякова.

Брусенков захохотал, и тогда Тася Черненко обернулась к нему.

Кондратьев и Говоров привстали вместе. Вместе и снова опустились на лавку.

Брусенков хохотнул еще раз:

— Чем доказываешь?

— Ничем... Тот день в главном штабе было четверо вооруженной охраны. Они и прибежали, когда ты, Брусенков, крикнул: «Граната!» До того случая было всегда двое.

— Пятеро!— заметил Брусенков.— Пять человек было назначено. Одного не сосчитал. Накануне того дня новый порядок был введенный в помещении штаба. И существует по сей день. Я ошибку сделал — не предупредил тебя заранее, чтобы ты не опасался входить в главный штаб. Ну, а когда ты все ж таки заметил это — и не входил бы. Вернулся, взял бы для охраны взвод. Либо эскадрон!

— Не вернулся...— вздохнул Мещеряков.— Надо было, но не вернулся. Хотел испытать тебя. И — себя.

Теперь захохотал урманный главком, стал глядеть вокруг, будто ожидая себе похвалы. Не дождался.

— Скажи ты, товарищ Довгаль!— спросил Петрович, когда этот смех наконец замолк.— Что известно тебе?

Довгаль молчал все нынешнее совещание. И сейчас трудно было ему говорить.

— Утром того дня в избе Толи Стрельникова было нас пять человек,— сказал наконец он.— Пятеро членов главного штаба. Обсуждали — убрать либо нет товарища Мещерякова. Не договорились ни на чем, хотя постановили — поставить вопрос на собрании, свести лицом к лицу товарища Брусенкова с главкомом. Я и поехал собирать на сузунцевской заимке партийцев, все остальные — в штаб. Там и произошло... На собрании же не произошло ничего, тем более что на обратном уже пути Брусенков обещал мне не принимать против главкома негласных и единоличных шагов.— Довгаль вздохнул, а Мещерякову стало чуть полегче от этого громкого, непомерно тяжелого вздоха.

— А теперь — расскажи, товарищ Довгаль, как главком разгромлял и твой собственный, и главный штабы?— попросил Брусенков.— Ты и этому — тоже свидетель.

— Свидетель...— подтвердил Довгаль. Опять вздохнул, и опять Мещерякову стало как будто легче, но только очень почему-то жаль Довгаля.

Однако Петрович не послушал Брусенкова.

— Стрельников?— спросил он так же громко.

— Ну и что — Стрельников...— отозвался тот.— Ну и что? Мне велено было с улицы бросить гранату, я и бросил! Тем более она без капсюля! Все.

— Черненко!— вызвал Петрович. Потом поправился:— Таисия Аполлоновна Черненко...

Поднялась Тася, побледневшая по желтому загару. Встала прямо. Встала и стояла молча. Ее ждали, но не дождались — вдруг вскочил Кондратьев, взмахнул рукой.

— Да вы в Соленой Пади — одни только заговорщики, да? Брусенков признается в заговоре против Мещерякова, а Мещеряков — осведомлен и молчал! И Довгаль — полностью в курсе? Все вы — одна шайка, одна круговая порука?

За всех ответил Кондратьеву Брусенков:

— Тебе не все наши обстоятельства ясные и понятные. Ты армиями не сливался, не знаешь, что это такое. У тебя штаб — районный, а не главный. Отсюда — твои ошибки. Ты Мещерякову нападение на главный штаб в вину не ставишь, а когда я хотел поступок заранее пресечь — у тебя рот до ушей: «Заговор!» Какой заго-

вор? В чем? Скажу: с целью была брошена граната, но без капсюля. Отсюда сразу видать, какое это было покушение — я хотел говорить с главкомом в присутствии военной силы. Тех пятерых с оружием, которых Мещеряков хотя и считал, все же среди их одного недосчитался. Хотел показать, что когда у его есть армия, то у нас — какое-никакое, а ополчение. Тем самым сбить у него хотя бы отчасти партизанскую замашку на главный штаб. Все — абсолютно верно.

Но Кондратьев не успокаивался, хотел узнать:

— Может, и ты, Петрович, был полностью в курсе? И ты — во всем участвовал?

— Товарищ Черненко! — снова вызвал Петрович и снова поправился: — Таисия Аполлоновна!

Через небольшие оконца на бревенчатые стены, на некрашеный пол, на людей, которые сидели по скамьям и табуреткам и прямо на полу, падал пестренький осенний свет не пасмурного, но и не погожего дня, пробирался сквозь махорочный дым.

В одном углу еще не достроенной до конца, но уже заброшенной и нежилой избы проступала густая паутина. Изукрашенная в неожиданно веселые и яркие краски, она тянулась от потолка к полу и к двум стенам, отгораживая темноту угла; в другом месте этот свет падал на травинки, кем-то занесенные сюда, поблеклые и стоптанные; на столе, вокруг которого тесно сидели люди, проступали следы клеенки — белые, расплывчатые, и, должно быть, липкие, еще — зеленая бутыль без горлышка лежала на полу, у самого плинтуса, а на потолке отчетливо проступали два следа белильной кисти... Или когда-то хозяева прилаживались белить потолок прямо по доскам, без штукатурки, или просто кто-то баловался известкой — только остался этот след из двух белых полос крест-накрест.

Тася смотрела на эти полосы...

— В чем дело, товарищ Петрович? — спросила она наконец.

— Правильно ли говорит Брусенков?

— Он говорит правильно...

— Все ли он говорит?

— Не считаю нужным что-то добавлять.

Тогда Петрович вдруг улыбнулся. Мило улыбнулся, ласково, почти засмеялся и спросил:

— Ну, вот что, девочка, тогда расскажите — кто вас украл? И почему? В ночь перед боем за Малышкин Яр?

— Я уже рассказывала тебе об этом, товарищ Петрович. Когда ты меня допрашивал. Опять допрос?

— Вы не все рассказали.

Тася пожала плечами, и стало видно, что отвечать Петровичу она больше не будет.

— Слушай, главком,— спросил тогда Петрович,— ты приказывал товарищ Черненко арестовать, потом — поручил мне допрос. В чем ты ее подозревал? Подозрение было?

— Было... Когда приказал допрашивать, значит, было.

— Объясни.

— Она знала, кто ее похищал. Но вот так же, как сейчас, не хотела сказать. Это и есть мое подозрение.

— Ну, а ты знаешь, кто был в этом замешан? В похищении?

— Может, это не вовсе нужные подробности?— спросил Мещеряков.

— Кто был замешан,— повторил Петрович,— кто?

— Одного я будто бы признал: Юренев Антоха, племяш моего квартирного хозяина Никифора Звягинцева. Ему я и крикнул тот раз ночью через овраг, чтобы бросил Черненко с тарантасом в целости и невредимости. Если не бросит — пригрозил сжить со свету всех его родственников. На родственников сделал упор. Он понял. И бросил. Но если я признал человека в темноте, товарищ Черненко не могла не признать его при свете, когда он ее похищал. Она не могла его не признать — он при Брусенкове в былое время кучерил. Давайте, товарищи, считать случай исчерпанным. Черненко не хотела на Брусенкова слишком грешить, его обвинять, так и я тоже не хотел этого. Я ее арестовал. Было. Но все мы за справедливость готовые жизнь отдать. И как бы нам при этом друг на дружку не замахиваться? А?

Тут Мещеряков припомнил Власихина: как ему довелось, вступив с верстовской армией в Соленую Падь, тут же, не слезая с коня, освободить Власихина от суда и смертного приговора.

«А вот бы,— подумал Мещеряков,— вот бы кто-нибудь вошел сию минуту в избу: «Что здесь происходит?» — «Мещерякова судим!» — «Как так, Мещерякова?! Да в уме ли вы? Отменить суд — пускай он идет, воюет и бьет немедленно Колчака! Пускай, когда он сделал какие ошибки, исправит их сам, начнет все сначала, всю свою войну против Колчака, пускай заново

подумает — что в свое время нужно было ему сделать с товарищем Брусенковым! В этом только и есть вся правда, а другого приговора Мещерякову быть не может!»

Но никто в избу не входил... Какие тут были люди, те и были, других нет и не ожидалось. Ну, а эти-то — или не способны его понять?

Все в том же неярком свете, в густом дыму, клубившемся длинными клочьями, снова поднялась Тася, посмотрела на Мещерякова. Гимнастерка была ей великовата, свисала с нешироких, чуть приподнятых кверху плеч.

— Ты что же, Мещеряков, все еще мальчик? — сказала она.— И не понимаешь, что все может быть? Может быть, я слишком многое знала и Брусенков хотел убрать меня. Может быть, он не доверял мне больше. Может быть, я сделала уже все, что должна была сделать. Может быть, может быть, может быть... Их сколько угодно, и каждого «может быть» достаточно, чтобы главный штаб, товарищ Брусенков убрал меня. Это его право! С этим я пришла к нему. Он не обманывал меня, я его. Если же кто-то из нас к этому не готов в любую минуту — тогда ему не надо начинать то, что начали мы. А если без этого убеждения он все-таки начал — он преступник. Рядовой или главнокомандующий — он преступник!

— Девка-то! А-а-а? — вздохнул урманный главком.

...Больше суток Тася Черненко провела под арестом в кладовой вот этой же протяжинской избы, а потом был допрос — и опять в этой самой комнате с белым крестом на темном дощатом потолке. Разбитая зеленая бутыль и тогда лежала на полу. А нынче Тася Черненко с новой силой почувствовала свою решимость — всею жизнью, всею смертью принадлежать единственному. Она хотела научиться и научилась принадлежать до конца.

Она пришла в Соленую Падь городским ребенком, но решительность разрушила ее ребячество. Она начала с какого-то мелкого и вздорного случая, бросив родителей, Высшие курсы, сестер, любимого человека... Но случай не мог быть случайным: не в тот, так в другой какой-то день, не как девчонка, а как женщина, как человек, как человечество — рано или поздно она поступила бы так же! И чем нелепее, нескладнее, смешнее могло показаться ее бегство в Соленую Падь, тем значительнее было то, к чему она пришла. Если уж детский

порыв привел ее сюда — значит, сюда вели все дороги, значит, борьба, в которую она вступила здесь, была всеобъемлющей, единственной в своей значительности и неизбежности. Была тем, что позволяет человеку жить без страха хотя бы сто, двести, тысячу лет или умереть сию же секунду...

Об этом и сказала Тася Черненко на допросе в первый и в последний раз в жизни — это не произносится дважды. Сказала, не обратив ни малейшего внимания на интеллигентность Петровича, не убоявшись сцены излияния одного интеллигента перед другим.

И Петрович слушал и слушал ее тогда, поглядывая на нее чуть наивными темными глазами из-под белесоватых бровей и дешевеньких очков. Не спорил, не возражал — понимал ее, и больше ничего. Допроса не было. И тем более непонятным, удивительным было тогда его поведение — выслушав Тасю, он заговорил о Мещерякове.

Тася засмеялась над ним, над его наивностью и сказала, что Мещеряков — кажущийся герой, озабочен тем, чтобы сохранить свою собственную жизнь и тоже свою собственную мерлушковую папаху!

Следователь согласился: «Он этим озабочен. Очень!»

Командир полка Красных Соколов — шахтеров и штрафников, недавних контрреволюционеров,— отчаянно смелый, искал близости с Мещеряковым. Смешно!

А допрос все-таки был. У нее что-то выведывали и выведали...

Теперь Тася насторожилась, собралась. На этот раз она хотела разглядеть Петровича. Ей это было необходимо.

А у того появился новый противник.

— Я тоже! Тоже!— крикнул вдруг Толя Стрельников, как будто кто-то не давал ему говорить. До сих пор он произнес лишь несколько слов — бросил гранату без капсюля, и все. Но после успокоиться уже не мог — заглядывал в красноватые, почти зажмуренные глаза Коломийца, смотрел на урманного главкома, на панковского представителя, а потом как будто остановил взгляд на самом себе и вот — заторопился сказать.— Мне просто удивительно,— говорил он теперь быстро, размахивая единственной рукой,— просто удивительно, как происходит? Как ровно в волостном суде старого режима! Заклевывают товарища Брусенкова со всех сторон! Начать хотя бы с попов! Ну и что? Стрелял в их

товарищ Брусенков. А они сколь разов стреляли хотя бы в меня своими песнопениями? И в моих детей? Стреляли обманом, живого закапывали в могилу темноты и невежества? Они песни пели, блины и пельмени жрали без конца и без краю, собственных деток в городских семинарских училищах учили, чтобы они тоже любую проповедь начинали с «Боже, царя храни», затыкали порабощенные глаза и уши, чтобы в их обратно не попало нисколько правды. А я? Я, как дурак, в пасть ему глядел, и свой лоб крестил, и ручку ему целовал. Все! Срок настал, пожил — все! Дай другому пожить! Он меня до смерти не убивал, нет. А почему? Жалел? Я ему живьем нужен был, с живого он с меня больше выгоды имел — деньгами, яичками, куличами, овечьей шерстью. А когда я ему был бы выгоднее мертвым — он ту же минуту убил бы меня божьим именем в божьем храме. Я их знаю, до ногтя — у двух батрачил, у одного — так уже после фронта без руки страдовал. Или всем известный был в Понизовье случай: в одиннадцатом году маслодельщик Харлампиев убил батрака, не хотел ему долг платить и убил, в колодец бросил, а поп — тестем приходился Харлампиеву — урядника смазал, скрыл убийцу своим саном. А Брусенков стрелял в попа — мы делаем скандал! Да он что — по личному делу стрелял, что ли? Он сроду-то, Брусенков, безбожник, единого разу ни лба, ни брюха не перекрестил, сроду ни один поп его обмануть был не способен, а делал он это — из-за меня! Из-за порабощенного и попом, и кулаком, и царем, и кажным другим хоть сколько грамотным и хитрым! А когда так — стреляй! Стреляй гадов при кажном случае не божьим именем, а моим! Я благословляю! Я сам много чего умею, меня не учили, а порабощали, а Брусенков вырвался из-под гнету, научился, за что же ему упрек? Хотя бы он неправильно делал с Мещеряковым, опять же — ну и что? Другой из нас на его месте во сто раз сделал бы больше неправильностей, так, может, нам обратно попов звать, когда они грамотнее нас? Или товарища Черненко хулигане сперли. Скажу — я об этом знал, и товарищ Брусенков знал, что они хотели сделать. Антоха Юренев — он известный жиган, он вслух похвалялся — украдет товарища Черненко. Ну и что? И пусть крадет, когда сумеет. Мы с товарищем Брусенковым не сторожа при ей, и она нам никто, чтобы за ей углядывать. А то — простую, народную бабу спереть можно, а интеллигентную уже нельзя?

То же самое и товарищ Петрович нынче на суд лихой, так я и о нем скажу: он еще до революции был хорошо грамотный, и ныне по этой причине ему обидно — не он, а Брусенков в главном штабе. Брусенков — мужик, а освободил от Петровича главный штаб!

Толя Стрельников стал прятать пустой рукав за ремень. Тяжело дышал.

Петрович спросил:

— Так, значит, ты, Стрельников, был порабощенным?

— Это кажному видно. Кроме тебя!

— А мне еще видно — ты им и до сих пор остался! Через два года после революции. И через десять им же останешься — это тебе хорошо и просто! Вот Брусенков,— может, он на тебя очень похож? Тоже — порабощенный? И тот же у него на все ответ: «Пожил — дай другому пожить!» Не признаешься, Брусенков? Нет?— Тут же Петрович резко потребовал:— Письмо!

— Какое?— не понял Брусенков.

— Куличенкино! Ну?

Пока Брусенков искал письмо в карманах, Тася Черненко следила за его рукой, как Брусенков вынимал руку из одного кармана, как опускал ее в другой, и среди множества бумажек, тщательно написанных ею для начальника главного штаба, никак не мог найти еще одну...

Измятая бумажка оказалась наконец у Петровича, он тщательно ее расправил, рассмотрел.

— Написано через два дня после того, как Мещеряков пошел разгонять главный штаб... Возьми, Ефрем!— протянул бумажку Мещерякову.— Тебе послано... Хотя и оказалось у Брусенкова.

— Ну и что же?— удивился Брусенков.— Только это и видать через твои очки? А еще до письма они не могли между собой договориться — Мещеряков со своим собственным комиссаром? Никак не могли?

— Вот так же, товарищ Брусенков, вот так же раньше, чем главнокомандующий, ты узнал об уходе заеланских полков. И, не сообщив об этом никому, даже главному штабу, срочно поехал к товарищу Крекотеню. Ты хотел воспользоваться моментом, хотел, чтобы Крекотень начал действовать независимо от Мещерякова. Даже — вопреки ему... Он — и начал, дал приказ об отходе от Малышкина Яра, после — кончил полным провалом, и что ты с ним тогда же сделал? Это, знаешь, кто мне

объяснил? Всю эту подоплеку? Мещеряков объяснил. Мне объяснил, а тебя отпустил с миром из Моряшихи. Слишком мягко он тогда с тобой обошелся. Слишком! Теперь это наглядно видать...

— Мягко ли, твердо,— это вовсе не имеет значения,— отозвался Брусенков.— Именно! Меня с моей линии не свернешь, миловать меня либо казнить, со штабом я или без штаба — не свернешь никакими силами! Уничтожить меня — это можно. Свернуть нельзя! Нет, я вам неподсудный, нет и нет! Никогда.

Тут за столом поднялся матросик Говоров. Вынул цигарку изо рта и пыхнул дымом. Улыбнулся, переспросил Брусенкова:

— Не свернуть тебя?

— Ни в коем случае!

— Только и можно с тобой сделать, что уничтожить?

— Только.

— Благодарствую, товарищ Брусенков, за подсказку! Очень! Нам с тобою, товарищ Брусенков, еще не один день предстоит быть рядом. И мне это очень даже полезно знать. Благодарствую!

Подходило к концу чрезвычайное совещание. Мещеряков думал — почему это что-то не так произошло с ним? Почему он не так сделал, как надо было сделать?..

Начать с того, что слишком сильно обозлился он, слишком сильно переживал брусенковское покушение, из-за того и не поехал на сузунцевскую заимку на собрание. И даже — ничего не сказал об этом случае товарищу Жгуну. Промолчал перед ним.

Из покушения ничего не вышло, не получилось, а вот с пути Брусенков его все-таки спихнул, подставил ножку.

С малого началось, но если бы он был тогда на собрании, высказался обо всем откровенно — очень может быть, что дело пошло бы другим порядком...

Очень может быть...

А Брусенков был теперь уже за созыв съезда, от которого он отказывался час назад. Говорил:

— Первый съезд начальника главного штаба выбирал. Второй только и может его устранить. Если нужно — расстрелять.

Урманный главком держал в это время Мещерякова за оба плеча, потом обеими руками широко так размахнулся, будто собираясь обнять.

— Как-никак, а мы же тебя оправдываем? Оправдали уж! А с этим куда? Куда денемся?— кивал в сторону Брусенкова.— Никуда не денемся — оправдаем тоже. Помяни мое слово! А надо бы стрелить! Надо!

— Ты меня в свою центральную власть не примешь ли?— спросил Мещеряков.— Только мне должность меньше, как главкома, не годится. Меньше — ни в коем случае!

— Взаправду?— Урманный вояка задумался, стал серьезным, хотя это к нему вовсе не шло.— Ну, вопрос надо во всех сторонах обмозговать. И — решить.

За окном видно было тройку... Коренник ступал с ноги на ногу, и его теплые напряженные мышцы Мещеряков опять почувствовал под рукой. Правая пристяжная, положив голову на прясло, норовила дотянуться к серенькому стволу уже опавшего, с редкими листочками на самой вершине тополька. Хотела погрызть горьковатой коры.

Обязательно кто-то должен был сейчас же удержать Мещерякова в Протяжном. Сильно удержать, умело и строго. Сделать — как сделали когда-то солдаты саперной роты: не выдали, хотя все до одного знали, что не кто, как он, порубил портрет его величества.

Не сделает никто — и загремит тройка, запылит осенней перемолотой пылью, а где выпали дожди — поднимет брызги жирной радужной грязи. После снова привезут ему в Верстово Брусенкова. И, должно быть, тогда, вовсе не сейчас, откроется настоящий новый счет.

В это время Мещеряков заметил взгляд — Жгун стоял неподвижно и смотрел на него.

Седая голова Жгуна только немного не доставала досок потолка с белыми полосами крест-накрест. Он был худ, чисто выбрит, стоя, одну руку держал строго по шву гимнастерки, другую на перевязи, поперек груди.

Заговорил, и тотчас суд, который только что здесь происходил, перестал даже казаться Мещерякову судом, потому что до сих пор в нем не участвовал Жгун.

Заговорил же он о заеланских полках.

Полки не ругал, Куличенко — тоже, только один раз и сказал слово «измена», потом стал доказывать, почему это слово сказано им: потому что заеланцы ушли в кри-

тический момент, потому что, уйдя, даже не попытались разрушить железную дорогу, прервать движение белых по восточной ветке и тем самым оказать поддержку партизанской армии, потому что не сообщили о своем уходе, потому что потеряли с армией всякую связь, в то время как и сейчас еще так или иначе с заеланскими полками можно было бы взаимодействовать.

— В партизанской войне нет дисциплины регулярной армии,— объяснял Жгун.— И не может быть. Нет устава боевой службы. Но ошибается тот, кто подумает, будто нет воинского долга, нет суда за его нарушение... Прошу совещание издать документ по поводу заеланских полков, назвать этот документ: «Тягчайшее преступление против революции». Разослать по армии.

— Прошу поднять руки!— объявил Петрович.

Подняли единогласно.

Жгун чуть склонил голову, поблагодарил:

— Спасибо...— Откашлялся.— Заеланские полки завтра могут стать бандами. Банды могут отвергнуть от нас гражданское население. Прошу чрезвычайное совещание откомандировать с упомянутым выше документом начальника штаба Жгуна в Заелань. Для предотвращения возможных последствий указанного события. Все согласны?

— Все...— опять ответил Мещеряков, а потом еще сказал:— Слушай, Жгун, а ведь они тебя растерзают, заеланские. Им другого выхода не будет!

И он это не зря сказал.

Не кто, как Жгун, был самым настойчивым сторонником объединения армий.

Не кто, как Жгун, был за переход верстовских вооруженных сил в Соленую Падь.

Армия это знала, а лучше других знал Куличенко. И чем больше за это время каратели совершили в Заелани — выпороли, убили, сожгли, ограбили,— тем труднее было представить себе: как Жгун явится к заеланцам? Лично к главкому Куличенко?

Отчаянно храбрый и будто бы добродушный, будто даже с ленцой, Куличенко страшен в злобе: глаза наливаются кровью, на бороду обильно течет слюна.

Видел однажды Мещеряков, довелось увидеть, что тот — кровоглазый, мокробородый — сделал с пленными карателями!

Остановить Куличенко могли только ужасные мольбы — когда падает перед ним человек ниц, хватает за

ноги, с земли молит о пощаде. Но ведь Жгун на землю не падет!..

Панковский начальник РРШ, нагнувшись к Тасе Черненко, вполголоса спрашивал:

— А детки есть? Товарищ женщина, есть у товарища Жгуна детки?

Тася повела плечом, отвернулась. А Мещеряков опять знал: детей у Жгуна двое. Еще жена и мать. Все на белой территории. В Забайкалье. Под атаманами Семеновым и Калмыковым...

— Поманивает к своим-то? К своим — поманивает, а нас обходишь маневром? — И еще что-то хотел сказать Брусенков Жгуну, но остановился.

Проголосовали. Жгун опять сказал:

— Спасибо... У меня — все. — И сел.

— Да... — сказал Кондратьев. — Да-а... Вот так. Армия, что же, будет без начальников штаба?

Жгун ответил ему:

— Главкому нынче необходим не столько начштабарм, сколько настоящий комиссар. Комиссар есть — это товарищ Петрович. Поскольку не все полностью в курсе дела, прочти, товарищ Мещеряков, последний приказ по армии. Прочти весь — от начала до конца.

— «Славной крестьянской Красной Армии главнокомандующий товарищ Мещеряков со штабом шлют сердечное приветствие...» — стал читать Мещеряков. Он читал, Жгун на него смотрел, а он читал все громче и громче... Приказ снова оживал перед ним, снова он своему приказу подчинялся с тем необыкновенным желанием, которое было пережито им нынче утром.

О сапожниках очень громко прочел.

О ротах спасения революции, об окончательном назначении комиссаром армии товарища Петровича.

Петрович, когда о нем читалось, встал, тоже руки по швам... И Жгун опять почему-то встал в это время, и Кондратьев с матросиком Говоровым.

А Брусенков сидел, молчал со странным каким-то и не сразу понятным ожиданием. Но потом Мещеряков понял: Брусенков ждал, нет ли в приказе чего-нибудь и о нем. Не упоминается ли он? Нет, Брусенков не упоминался. Ни хорошо, ни плохо — никак.

— «Наша победа — неизбежна! Светлый день соединения с непобедимой Красной Армией — неизбежен!» — закончил Мещеряков. Подошел к Жгуну, протянул приказ. — Передашь заеланцам!

— Будет сделано.

Они четко козырнули друг другу, стоя «смирно», и Мещеряков вышел в ограду, тотчас направился к Гришке Лыткину.

— Ну, Гриша, какая жизнь?— спросил строго и как будто все еще глядя в лицо Жгуна.

— Распрягать? Распрягать, Ефрем Николаевич?— вместо ответа спросил Гришка и тут же тронул коней. А супонь на кореннике так и не затянул, дуга болталась в гужах туда-сюда. Подъехал к побеленной конюшне.

— Ай-ай, Гриша! Ай-ай!— пристыдил Гришку Мещеряков.— Супонь-то! Дуга-то!

Распрягали вместе, поставили гнедого обратно в конюшню, под беленый потолок... «Что за хозяин жил?— почему-то спрашивал себя Мещеряков, распрягая.— У себя дома над головой так только один белый крест и поставил, а в конюшне на два, а то и на три слоя потолок покрыл известью, даже будто бы с синькой? Что за кони жили под белым потолком?»

Опять похлопал гнедого по теплым губам и сказал ему:

— Ты гляди, негодяй, гляди, гнедой, что мы с тобой едва не сделали? После доказывали бы, что мы — не Куличенки!

Вышли в ограду Довгаль и Петрович.

— Слушай, Мещеряков,— сказал Петрович, уже снова шутка природы, не строгий, не похожий на судью, удивленно помаргивая желтыми ресницами,— слушай, а урманный-то главком просит у тебя бумагу!

— Какую?

— Что его армия — это твоя армия. Что назначаешь его командующим северной группой своих войск.

— И все еще за кольт держится?

— Представь.

— Пустая ведь кобура-то... А что ты в ответ?

— Сказал — вряд ли он такую бумагу получит.

— Постеснялся? Больше сказать ему постеснялся?

— А ты?— вдруг снова осердившись, спросил Петрович.— А ты?

— Я?

— Просидел все чрезвычайное совещание, проморгал. Будто дело тебя не касается, будто не о тебе речь! Ушел в себя, да? А выхватил бы пистолет, в потолок — раз, два!— пальнул. По-партизански! Поставил бы вопрос: либо ты, либо Брусенков! Поставил, вот мы бы все

и задумались. Понимаешь ты Брусенкова, знаешь его. Но нету тебя против него! Почему?

— Это потому, что не умею я на подсудимой скамье сидеть, Петрович. Не получается.

Тут вмешался Гришка Лыткин:

— Он-то, Ефрем-то Николаевич, выходил ко мне со штабу, велел запря...

— Гриша! — перебил его Мещеряков. — Мигом в штаб, принеси мне трубку. На подоконнике лежит.

Гришка кинулся, Мещеряков его вернул.

— Отставить, Гришутка! Трубка-то вот она, в кармане оказалась!

Довгаль сказал:

— Это Жгун нас многих ныне обезмолвил. Это он сделал.

И они все снова замолчали, потом Петрович пошел обратно в избу с ответом к урманному главкому, а Мещеряков, поглядев ему вслед, сказал Довгалю:

— Вот он — окончательный комиссар! Не обижаешься?

Довгаль вопроса будто и не заметил. Присел рядом на конюшенную подворотню.

— Вы бы, товарищ Довгаль, маленько в сторонку, — опять заговорил и тронул его за плечо Гришка. — Ефрем Николаевич может просто так гнедого по берцу вдарить. А он, гнедой, может с этого слягнуться знаете как? Живого человека вовсе не оставит!

Сказал это Гришка заботливо. Он уже похлопотал, задавая коню сенца, из кармана вытащил кусок ситного, подставил ситный под теплые и мягкие лошадиные губы.

Довгаль и Гришке не ответил, заглянул Мещерякову в лицо.

— Ты его должен понять, Ефрем, — сказал Довгаль, и Мещеряков догадался: Брусенкова он должен понять. — А он — тебя. Вы же одной веры. И когда народ поднялся на вершину своей вековой идеи о счастье и человечестве, а мы, идейные, спустя два года после революции, после всей пролитой крови, все еще не умеем понять друг друга, — разве это допустимо? Тогда что же человек может? В чем тогда сила и решительность к новой жизни? Брусенков — это же великой силы человек, но только от кого ученый? От врага! От врага ученье необходимо, но надо помнить — ученье это ядовитое. Он — не помнит этого! Нет! Как враги с им, так

и он с ими и даже со всеми другими... Отчего бы это, Ефрем? Может, оттого, что от врага не уйдешь, не откажешься, хочешь не хочешь, на его глядишь, его разгадываешь, а вместе с тем — учишься его хитрости и повадке, а друзей — что же?— друзей выбирают сами, ну, а когда так, то и легко от их самому же отказаться? Нынче что я от его услышал? Ужасные слова: не он к луговским, а луговские к ему пришли, ему обязаны! Или он забыл, как Луговское истекало кровью, принимало удары изверга рода человеческого? Оно истекало, а мы благодаря этому успели сделать штаб в Соленой Пади, после — объявить его главным. Или забыл он, как братский памятник ставили в Луговском нынешним летом и он сам же торжественно, со слезами на глазах, говорил имена павших героев, клялся — они вечно будут жить в сердцах? А сегодня уже как попало пинает мертвых! Стелет их под себя! И это — при товарище Петровиче, который больше всех нас организовывал и создавал главный штаб! И это — в своей же идее? Но ведь идея — она обязательно должна быть превыше любого нашего действия! Пре-вы-ше! Понимаешь ты меня, Ефрем?

— Я нынче, Довгаль, всех понимаю, кто идейно говорит. Не имею уже права не понимать! Хватит — не понимать!

— Хватит, Ефрем... Давно уже хватит! Ведь подумать только, до чего хотя бы и ты дошел: до разгона главного штаба! До того, что даже не явился на сузунцевскую заимку, на собрание... Подумать только!

Настрадался Лука Довгаль. Его никто не обвинял, не судил, не упрекал. Упрекнуть его было немыслимо. Но Довгалю ничуть не легче. Может быть, тяжелее. Может быть, больше всех он страдал, исходил в тревогах и мыслях? И сейчас тревожно и тихо говорил Довгаль:

— Мы в подпольях скрывались, в кустах и борах, призывали массы следовать за собой, как за передовыми борцами справедливости. Ждали той счастливой минуты прозрения масс. Они — прозрели. Пошли за нами. А мы? Что у нас оказалось за душой, кроме имени? Мало. Либо вовсе ничего. А может, Ефрем, у нас все есть? Только пользоваться мы не умеем этим всем? Того гляди — все испортим окончательно?! Вот ты — понимаешь ли меня? А тебе надо понять. Понять раз и навсегда — у нас мозоли от истинного труда, у нас — готовность в любую минуту помереть за справедливое дело.

У нас — ни корысти, ни роскоши. Ни желания поставить себе в личное услужение другого человека, кухарку, подметалу какого — только равенство! Вот что у нас! Теперь спрошу: коли этого все еще мало для истинной сознательности? Когда ты снова не ответил, то скажу я: мне мало всего этого. Оказалось — мало! И потому я не сделал подлинного партийного собрания на сузунцевской заимке. Не сумел! Хотел сделать, собрал партийцев, а партии все одно не получилось, получился один лишь разговор. Одни слова. И хотя бы — о чем? А то — о картинках сам же я и затеял разговор, с большого сбился на малое и ненастоящее. И не услышал я тогда товарища Петровича, не понял его упрека и требования. Опять не хватило сознательности. И сколько через меня произошло впоследствии урону общему делу — немыслимо сказать! Тебя и Брусенкова нынче обсуждали, я молчал: искал подхода к самому себе, чтобы и с меня спросили бы по всей строгости, по всей ответственности перед будущим светлым человечеством. Искал — не нашел. Искал, как бы пойти на тебя с самым беспощадным, самым жестоким приговором — за разгон главного штаба, за все-все прочее — и не нашел. Не смог! Почему?! Сам удивляюсь! Но, по крайности, я теперь знаю: когда она у меня будет, сознательность,— прежде всего другого я скажу, за что и как я подсудный перед идеей! Скажу... И все ж таки не до конца тяжело у меня на душе, Ефрем! Нет! Ибо нынешнее наше собрание было уже партийным. Не я, так товарищ Петрович, товарищ Кондратьев с товарищем Говоровым его сделали — надумали и осуществили наше чрезвычайное совещание. Они уже смогли. И коряво, а все ж было у нас нынче, как должно быть во веки веков, то есть идея пошла впереди. И не тяжело на душе, Ефрем, светлый взгляд у меня в будущее, вижу я сознательных и счастливых рабочих и крестьян, после меня они уже сделают идейно и по-человечески!

— Я, Довгаль, понял. Хотя и не сразу, а в ту минуту, как товарищ Жгун сказал свое первое слово.

— Тогда, Ефрем, ты понял нынче все! Все на свете! И — навсегда! И не напрасно я верил, что твоя идейность в решительный миг станет превыше всего. Хотя и не буду зря говорить: снова и снова боялся за тебя. Зря либо нет?

— Нет,— сказал Мещеряков.— Нет, не зря!

— Ну, теперь это уже прошлое! Теперь — делать победу над врагом до соединения с Красной Армией и российской Советской властью, с товарищем Лениным. А тогда уже не останется в нас заблуждений. Тогда сразу будет видно, кто Советской власти служит, кто делает из нее службу себе! Тогда и сделаем: окончательно, раз навсегда, разберемся между собою!

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Сама-то степь и та сбилась нынче с пути: косые, просвеченные тусклым солнцем дожди набегали и тут же уходили — ни вёдро, ни ненастье; солнце было видно при дожде, а без дождя оно скрывалось в пестрых тучах. Последнюю листву с березовых колков сорвали и понесли необычайные в осеннюю пору южные ветры, в урман понесли. В засохшей было траве прозелень появилась, в зеленых камышах вокруг озер — желтые пятна. На сизых шапках стогов — бурые лоскутки.

А ведь она и всегда-то была необычная, эта степь,— непонятная, неузнанная...

Уже сколько тысяч лет лежали степи — Нагорная и Понизовская,— лежали под небом среди других степей, гор и болот, глядели, немые, в небеса пресными, чуть солеными, солоноватыми, слезно-горькими озерами.

Жадные, истомившиеся по земле приходили в степь люди. Земли было — из края в край. Без межей, без запретов, без законов. Разной земли — черноземной, болотной, песчаной, плоской, бугристой...

Были на земле места голые, как пасмурное небо — в один тон, в один цвет: не на что глянуть, нет ничего, обо что бы споткнуться. Земля для незрячих.

Были леса — березовые, поразбросанные вперемежку с озерами, а по невысоким грядам золотисто-желтых крупных зерен песка были ленты сосновых боров с редким подростом. Вековые сосны в бурой коре, от века изрытой глубокими трещинами.

Были займища, с глухими, стебель к стеблю, камышами, без прогляда, без луговинки, была чуть припорошенная типчаковой травкой землистая пыль.

Земля из края в край...

Как жить на этой земле? Как начинать?

И земля ли это была, степь ли это была? Кто и когда назвал ее землею и степью? Почему назвал?

Что найдешь на ней на разной — не до конца степной, не до конца лесистой, не до конца болотной и травяной? Как угадаешь взять ее в руки, какой скот водить по ней, какой сеять хлеб? Какого нужно пота этой земле, какой крови и веры?

На севере лежали болота, жили в болотах татары. Не сеяли, водили мелкоту-скотину. Коровы ростом чуть более собак, бело-черные, черно-белые, лохматые, зимами копытили снег, летом, сторожко ступая по хлюпкой земле, уходили в травы с головой.

На юге степь вся была в ковыльной поволоке, по холмам там и здесь из глубины земли проступал замшелый гранит, в древней пыли являлись вдруг отары овец, за ними — киргизы с кибитками. И отары, и киргизы, и кибитки возникали и снова исчезали из века в век — им ничего не надо было начинать.

И долгое время пришельцы серединной степи разгадывали: отчего не стерегут ее ни татары, ни киргизы, глядя в ее просторы через узкие щелки глаз, уступают землю без слова, сворачивают то ли на север, то ли на юг?..

Отчего беглые демидовских заводов и рудников, каторжники и раскольники не садятся на землю — идут то ли на восток, то ли на запад?

Железные дороги и те обошли степь с запада, с севера, с востока...

Полвека, не более, как задымили по степи поселения дровяными, кизячными, соломенными дымами.

Полвека.

И потому, что недавним здесь было и неустроенным жилье и вся жизнь людей,— должна была миновать эту степь война, тоже обойти ее стороной с востока или с запада. Откуда войне здесь было взяться, из чего возникнуть?

Но все равно — один год не распаханный, даже не стравленный скотом увал стал нынче огневой позицией; в березовом колке, в который однажды только и забрел отбившийся от косяка необъезженный конь, скрывалась кавалерийская засада; в темных камышах, усыпанных утиным пером, тайно жгли костры остатки чьих-то войск.

А может быть, на нераспаханной, на неузнанной, непонятной этой земле с домами-времянками, без мо-

настырей и памятников, без дорог и путей не могли люди, не воюя, начинать жизнь?

Мещеряков, Петрович, Струков, Гришка Лыткин, еще несколько всадников рысили с Семенихинского на Моряшихинский большак.

Молчали.

В водянистом горьковатом воздухе — тишина, степь клонилась в зиму. Длинными неровными полосками молочно-белого снега заштопаны были кое-где низинки, разъемные борозды пашен. Снег выпал позавчера, стаял, только эти заплатки и застал нынче вновь пришедший сумеречный холодок. В тусклое небо тоже тускло и бесконечно глядели стылые озера, кое-где курились паром, в других местах в густой неподвижной воде тонули блики неяркого, низкого солнца, иные озера были густо усыпаны черным семенем утиных табунов, утка кучно облетывала озера, видимые справа от проселка, стаи то рассыпались по озерному коричневому прибрежью и по дальнему горизонту, то свивались в черные клубки... Падала в озеро одна стая — тут же где-то вздымалась другая.

Утиный предотлетный гомон несильным ветром сносило на сторону, заглушало похрапыванием коней, перестуком подков по мерзлой земле, но время от времени гомон этот вдруг накатывался на всадников, и кони поводили острыми ушами, а Гришки Лыткина кобыла почему-то всякий раз откликалась ржаньем.

Ехали в Старую Гоньбу, в нынешнее расположение полка Красных Соколов. Спешили. И в этой спешке, и в чуть горьковатом пасмурном воздухе, и в его пасмурной же тишине, и даже в утином прерывистом гомоне снова и снова слышался Мещерякову запах войны, уже близкого сражения.

Начинало все чаще казаться, будто вся война в это сражение уложится. Вся — в одно. Победить в нем — и все победы, сколько их есть,— в твоих руках... И серое небо, по-осеннему глухая степь, вся жизнь — все раз и навсегда отступится от тебя со своим судом, который начался над тобой в выселке Протяжном, да так и не кончился. Нет, не кончился: тихо и незаметно, а все тянется за тобою след в след, за пешим и за конным и днем и ночью.

Нынче утром, постучавши в дверь, к Мещерякову в его штабную комнату вошел Струков — он был теперь адъютантом при главкоме — и доставил сводки.

Выглядел бодро, и только на лице красовался у него синяк. На всю левую скулу.

— Это кто же тебе врезал? — рассеянно спросил Мещеряков. Присмотрелся.— И ловко врезал-то!

Струков было замялся, потом сказал начистоту:

— По зависти сделано. Своим же. Штабным.

— Как так?

— Просто!

— Все ж таки?

— Ну, вы, Ефрем Николаевич, свое взяли? Погуляли, да? И мы тоже захотели, хотя, конечно, не в том самом уже мировом масштабе. А все ж таки. Тут и вышло.

Мещеряков почуял — кровь бросилась у него к лицу, но Струков сказал еще:

— Это ничего, Ефрем Николаевич. Вы сводки читайте!

Мещеряков стал читать.

Сообщалось — на полустанке Елань сгрузились голубые уланы — крупная часть, и еще одна — анненковских казаков-добровольцев. Численность той и другой пока неизвестна.

Сообщалось — на западной ветке появились бронепоезда, при одном — две, при другом — три платформы с артиллерийскими орудиями. Противник приступил к восстановлению разрушенного пути на подступах к станции Милославка.

Сообщалось — перебежчик слышал приказ генерала Матковского, зачитанный перед строем полка: села Соленую Падь, Луговское, Моряшиху и Панково взять любыми средствами, затем сжечь, жителей уничтожить. На месте сел поставить по черному столбу.

Мещеряков забыл о Струкове, о его синяке.

Черный столб представился ему. Высокий, круглый, наверху зачем-то перекладина.

Потом, в одну какую-то минуту, он мысленно перебывал на всех дорогах, их тоже представил — с перелесками, с мостами и низинами, с деревнями, которые вдоль дорог растянулись улицами, а переулки эти дороги пересекали поперек.

Карасуковская дорога — та была в стороне. Сутки-двое в конном строю нужно было добираться к ней с полустанка Елань. Открытая и с редкими населенными пунктами, она удобна для кавалерийского рейда в самом начале, после — вступала в топкую местность, пересекала несколько оврагов и выход обеспечивала прямо на

оборонительные сооружения Соленой Пади... Нет, это было не то.

И Убаганская — не то. И Знаменская. И Семенихинская.

А Моряшихинская?

До сих пор, пока противник действовал пехотой, Мещеряков не опасался этой дороги: ее легко было контролировать, делать на нее налеты из бора. Теперь положение менялось. Теперь представилось — из Моряшихи кавалеристы углубляются в бор, пересекают его... Скрытный бросок — сорок верст — с противоположной стороны боровой ленты казаки и уланы снова пересекают бор, теперь уже в обратном направлении, и вот она — Соленая Падь, с юга. Открытая, беззащитная, лежит перед ними на склоне, падающем в сторону озер. Линии обороны можно рассмотреть только в бинокль, глядя прямо на север... «Если теперь согласовать рейд с моментом решительного удара на Соленую Падь с других направлений...» — подумал Мещеряков и позвал комиссара Петровича, а также нового начштабарма Безродных.

Безродных состоял помощником при Жгуне, держался всегда в тени, может быть, потому, что в прошлом тоже был офицером. Однако Жгун оставил его вместо себя, этого было достаточно, чтобы относиться к нему с полным доверием.

Новый начштабарм сунул руки в карманы потрепанных галифе, снятых, должно быть, с какого-то юнкеришки и слишком узких ему в коленях, прошелся по комнате туда-сюда, а подойдя к карте, точь-в-точь как делал это Жгун, ткнул в нее пальцем.

Показал не куда-нибудь, показал Моряшиху.

И Петрович понял, и все трое они окончательно поняли, пережили одинаковую боль: придется снова брать эту постылую Моряшиху! Никому — ни белым, ни красным — до нынешнего дня всерьез не нужную и все-таки уже не раз переходившую из рук в руки. Придется. Немедленно.

В отличие от Безродных комиссар Петрович говорил громко, довольно долго, без конца допытывался: а что будет, если противник постарается свой рейд совершить, но Моряшиху — обойти! А что, если из Моряшихи кавалерия пойдет не в самостоятельный рейд, а вместе с пехотой? Что должны будут в это время делать луговские? Что — главный штаб? Самая большая

группа партизанских войск под Знаменской? И та, которая поменьше,— под Семенихинской?

Струков сказал:

— Все одно белый сделает, как товарищ главком говорит,— пойдет с кавалерией бором, бором от Моряшихи!

И Петрович вопросы закончил, стал тереть очки. Подтвердил:

— Так...

Уже в полдень прибыли в Старую Гоньбу.

Полком соколов командовал теперь Громыхалов, помощником у него был мадьяр Андраши.

Бывшие однополчане встретили Петровича ликованием. Были ему благодарны, что приехал не один — с самим главкомом.

Мещерякову же представилась ночь, когда он шел с красными соколами на Малышкин Яр, когда ставил перед ними задачу этого налета, а часом раньше преследовал жиганов, Антоху Юренева и с ним еще каких-то двоих, похитивших Тасю Черненко.

И все это был уже давний, совсем устаревший счет...

Провели рекогносцировку, спросили разведчиков и перебежчиков и установили: Моряшиху-то брать теперь совсем не просто!

Белые заняли оборону и в самом селе и вынесли позиции на гребень увала, к поскотине. Оттуда простреливались оба склона и вперед и назад — на подступах к окраинным улочкам.

Внизу, в междугривье, белые тоже понарыли окопов и опять-таки выдвинули их за цепочку небольших, заросших камышом и набитых карасями озер. Со стороны бора сожгли десятка два окраинных изб, образовали открытое, хорошо простреливаемое место.

Тут не то что одним — двумя полками управиться нынче невозможно против такой обороны.

Еще недавно Малышкин Яр такими же силами Мещеряков и не думал брать, сделал ночной налет и ушел. Нынче складывалось так: уходить нельзя.

И подкреплений ждать нельзя, вот-вот могла объявиться белая конница, признаки были к этому все: белые под конвоем посылали моряшихинских мужиков за сеном на луга; а на пашни — за овсяной соломой.

Закручивалась война; все больше и больше требовала риска, отчаянности.

Стали думать.

Решили — поджечь камыши в тылу низинных позиций противника, вдоль всей Моряшихи.

Сделать ложную атаку со стороны бора.

Еще решили, что самое главное — это огневые позиции белых на увале, их надо уничтожить, суметь обойти.

От мыслей, даже от самых хороших, число штыков в полку Красных Соколов не прибавлялось. Ни на один.

И тут Громыхалов, новый командир полка, вздохнул, засопел, сморщил все свое заросшее плотной черной щетиной лицо.

— Призывать надо арару...

Мещеряков промолчал.

Еще говорили, думали, а потом уже мадьяр Андраши, будто пережевывая во рту «ер», тоже сказал:

— Ар-ра-р-ра? И нас — вперед. Да?

Мещеряков еще промолчал, а тогда Петрович сказал:

— Решай, главком. Иначе нельзя, и лично я — за!

Арара делалась так.

В засаде где-нибудь, скрыто, собирали партизаны вершних ребятишек и стариков. У передних — две-три берданы, заряженные дымным и вонючим порохом, у остальных — обыкновенное дреколье.

В решающий момент лавина эта мчится на противника, оружие у нее одно: «Ур-ра, ур-ра!» Кони — топочут, ребятишки — визжат, старики — рыкают, из всего этого получается другое: ар-ра-ра-а-о-о.

Взглянул Мещеряков на Петровича. Вдвоем принимать решение легче, чем одному. Их теперь двое было.

Призвали старика — главного по этому делу во всей Старой Гоньбе.

Расстегивая гимнастерку, чтобы легче дышалось в немыслимой жарище штабной избы красных соколов, Мещеряков глядел на всклокоченную бороденку, в голубенькие глаза.

Старик стоял, заметно стесняясь, будто пришел просить главкома о каком-то одолжении. Перекладывая из руки в руку драный треух, говорил:

— Ну, ить что — надоть, значит, надоть...

— Боязно?— спрашивал Мещеряков.

— Бегали мы в арару в эту, сказать, дак не один раз. Ничего. Бог милостив. Обходилось.

— Ни разу не случалось?— спросил Мещеряков уже веселее, с надеждой.

— Ну, тоись не так чтобы вовсе не случалось. Тут в последний раз постреляли двоих мальцов. Большой-то пальбы они, белые сатрапы, не могут сделать, не выдерживають — нервы у их не хватает. И бегуть оне в степ. Нам того и надо.

— Тут и весь-то счет — на нервы,— согласился Мещеряков.— Ребятишек — куда бы все ж таки в сторонку. А? Либо совсем позади. Только для виду. Поскольку у них жизнь впереди?

— Да ведь мы и все в то время — тольки для виду. Тольки для его. Ну а за ребятишек мы нынче не в ответе. Нет! Ребятишки, они — дар божий, вот пущай бог за их в эту пору и отвечает. Это ему предстоит принять на себя, когда он такую войну затеял. А мы — мы еще и в Соленую Падь успеем сбегать за престарелыми и за детками. Чтобы у нас хорошая масса получилась у всех вместе! Многие пойдут за народное дело. И даже — с любовью!

Уходил старик безо всякого желания — ему хотелось с главкомом поговорить. С порога все еще доказывал:

— Хорошо богу-то наверху — един! Единственный! И шкуры с его никто не спущает, и он пальчиком никого не трогаит! Но ты гляди, товарищ главнокомандующий силами,— противники тоже могут выдумать. Они — слезную стенку из моряшихинских детишек и женщин запросто могут выдумать! Нам встречу!

— Ну, хватит, отец!— вдруг крикнул Мещеряков.— Договорились же обо всем и хватит!

Старик пугливо и недоуменно глянул кругом, накинул шапчонку, хлопнул дверью...

Спустя чуть время Мещеряков спросил:

— Что за стенка? Слезная — что за стенка? Это я уже вовсе не знаю! Не в курсе...

— Просто!— объяснил Громыхалов, слегка зевнув и кое-как перекрестив черную поросль на лице.— Белые идут в атаку, а наперед себя гонят все тех же стариков и ребятенков! Опять же их!

Как-то уж очень незаметно и легко получилось это решение — пустить в дело арару. Слишком простая отчаянность, и, должно быть, от этой простоты так сильно волновался нынче Мещеряков.

Непривычно волновался...

Камыши в тылу низинных позиций загорелись спустя каких-нибудь полчаса после начала боя. Подо-

жгли их моряшихинские жители — еще накануне удалось с ними на этот предмет договориться.

Дым клубился сразу в нескольких местах — густой, коричневый и тяжелый. Наполнял междугривье, а вверх по склону, к избам Моряшихи, полз медленно, неохотно.

Белые отошли в село — не понравилось, что у них сразу же за спиной горит и полыхает, они заняли оборону повыше, в огородах, в крайних постройках.

Вывалявшись в грязи и в пепле, шахтеры Васильевских рудников — два взвода при одном пулемете системы «кольт» — под покровом дыма тоже пробрались в село, почти до первой улицы, и стали простреливать ее в обе стороны. Однако и сами через эту широкую голую улицу, без кустарников и палисадников, даже без обычного придорожного бурьяна, перейти не могли — ее белые тоже простреливали.

Еще одна рота партизан оставалась на возвышенности по другую сторону коричневого смрадного дыма с багровыми и ленивыми языками огня... Дым непрестанно множился из клубка в клубок, колебался по всей низине, застилая узкие озера; багровые огни медленно, но жадно и упорно жевали сыроватый высокий камыш, а поверх этого дыма и этого огня рота вела с возвышенности свой ружейный и пулеметный огонь — поддерживала васильевцев, не позволяла их окружить, на худой конец — обеспечивала им выход из села, обратно в дым.

Бывшие громыхаловские роты штрафников находились в бору, в непосредственной близости от церковного увала, почти не стреляли, но делали вид, что их очень много, и держали против себя тоже немалые силы противника. Настоящее же наступление со стороны бора оказалось бессмысленным: противник укрепил церковный бугор, поставил на нем орудия и пулеметы, еще пожег постройки вокруг площади и надежно прикрывал фланг, как наиболее опасный во всей его обороне.

Это все было по одну сторону села.

По другую же сторону, примерно в полутора верстах от крайних изб, в сосновой рощице с густым зеленым подростом, которая откололась от большой, уже потемневшей к зиме ленты бора, сосредоточено было конное подразделение соколов. Эскадрон не эскадрон, что-то вроде того. Время от времени конники выходили на вы-

гон, вытоптанный и ровный, как стол, а здесь их встречала артиллерия противника.

С наблюдательного пункта, расположенного в кустарнике, еще чуть в стороне от рощи, эта артиллерия отлично была видна Мещерякову.

На церковной площади — прямо на бугре, на котором красовалась и сама церковь,— великолепный божий дом, уже при временном сибирском правительстве снизу доверху заново покрашенный в небесно-голубое по случаю изгнания большевиков за пределы губернии — как раз против паперти стояло два трехдюймовых орудия. Как только конники появлялись на выгоне, появлялись на этой церковной голубизне и короткие вспышки огоньков, и легкие дымки, заслонявшие эти вспышки, а когда дымки, поднимаясь, почти достигали колокольни, к наблюдательному пункту Мещерякова подкатывались и размеренные орудийные удары; они пошевеливали тонкие ветви опавшего кустарника и уши лошадей, которых чуть в стороне держал коновод...

По желтому выгону под низким сереньким небом слонялось несколько скотин — овечек, телков, стреноженный коняга, заморенный до последней степени, а еще — лохматый бурый пес. Всякий раз, когда от церкви раздавался артиллерийский выстрел, скотина бросалась в противоположную сторону, а когда впереди, почти на самой опушке сосновой рощи, гулко и тряско падали снаряды, подымая вверх черные комья земли,— и телки и овечки останавливались как вкопанные, чуть спустя кидались обратно... Артиллерия замолкала, и, покрутившись на месте, первым начинал тыкаться мордой в желтый выгон заморенный коняга, за ним овцы и телки тоже начинали щипать — война для них уже кончалась, и только по-медвежьи бурый пес задирал морду кверху,— должно быть, выл...

В бинокль хорошо видно было все — весь выгон, весь увал.

Мещеряков ждал, что противник наконец замолчит, кончит стрельбу, а тогда и эскадрону волей-неволей придется прекратить свои вылазки, и станет ясно, что у партизанской кавалерии и сил-то для атаки нет никаких, но пока бог был милостив: конники то и дело энергично выскакивали из рощи, делая вид, будто строятся для броска на деревню, орудия били, рассеивали их, заставляли уходить обратно, а Мещеряков убеждался, что беляки всерьез опасаются конной атаки с этой сторо-

ны — из небольшой и немудрой рощицы — и меньше следят за другим склоном, заметно уже подернутым дымом от горящих по ту сторону Моряшихи камышей.

Тут будто бы все было, как должно быть...

Самое же ответственное и решающее направление — со стороны противоположной бору и лучше всего видимой с наблюдательного пункта — ничего хорошего не сулило: мадьяры и латыши залегли на открытом со всех сторон гребне увала, против них, саженях в двухстах с лишним, была скособочившаяся, порушенная поскотина и тут же сильные огневые позиции противника с продольными и поперечными окопами, с гнездами для пулеметов, с ходом сообщения к деревне. Маневрируя огневыми средствами, белые простреливали отсюда оба склона и вперед и назад, прочно уложили на землю мадьяр и латышей и теперь еще усиливали огонь, лишая их возможности отхода или подхода к ним подкреплений из резерва.

Спасала мадьяр крохотная западинка поперек увала. Глазами даже в бинокль усмотреть ее нельзя, можно только прощупать собственным брюхом.

Мещерякову почувствовалось, что сражение вошло в какой-то порядок.

Даже в какую-то неизменность. А из этого порядка и неизменности стал уже чувствоваться и перевес на стороне противника, но только противник еще боялся немедленно же использовать свой перевес... Полагал — партизаны вот-вот, сию минуту сделают еще неожиданный маневр, введут резерв. Может быть, главный резерв для главного удара, ради которого до сих они только прощупывали оборону.

Научили их мыслить партизаны. Остерегаться — тоже научили.

Начштабарм Безродных, послушав стрельбу, только и сказал:

— Боятся...— Сразу же замолк. Должно быть, все понял.

Или он действительно был приучен Жгуном к такому вот короткому разговору, или самостоятельно, от природы, родился молчаливым?

Зато Струков говорил:

— Потому и боятся, что знают: сами Ефрем Николаевич нынче ведут на их наступление!

А у Ефрема Николаевича в тот миг уже оставалась за душой одна только арара. Все сражение клонилось

к нему, к этому резерву. Вся надежда к нему же. Весь риск. Все на свете. Без стариков, без ребятишек Моряшиху не взять — вот что становилось ясно.

Но даже и для того, чтобы старики с ребятишками начали воевать за Мещерякова, не все было у него готово: нужно было выманить белых из окопа на увале. Подальше выманить и чтобы они кинулись вперед азартно, не сильно позаботившись, сколько в окопах у них останется сил. И время уже истекало. Хотя арара до поры скрывалась надежно, и дисциплину поддерживал там не кто-нибудь, а Петрович, но рано или поздно она себя выдаст, покажется на глаза противнику либо заскучает в ожидании и попросту разбредется кто куда.

Перекреститься бы сейчас — не за себя, даже не за мадьяр либо васильевских шахтеров, а за стариков с ребятишками...

Пожалеешь о боге — с ним все ж таки иной раз несравненно легче жить... И, приподняв на голове мерлушковую папаху, которая с наступлением прохладной погоды была полностью на месте, но что-то не радовала Мещерякова, он смахнул со лба пот, а потом положил руку на плечо Гришки Лыткина. В лицо же Гришке не глядел.

Так они постояли, еще послушали уравновешенный, негромкий, но тяжкий бой; Мещерякову стала передаваться еще и дрожь Гришки Лыткина.

— Готовься, Гриша... Ничего не поделаешь. Другого не выдумаешь — готовься...— Сосчитал про себя: «Раз! Два! Три!!» И ничего другого уже не осталось, как снова, но уже вслух повторить:— Раз!.. Два!.. Три!..

Гришка Лыткин взмахнул рукой — поднялась зеленая ракета. Ракеты на все случаи были у партизан зеленые — других не имелось.

И тут на мгновение, даже на какое-то время, притих бой: белые притаились, подумали, что так оно и есть — сейчас-то и рухнут партизаны на Моряшиху новой какой-то силой, а партизаны на всех позициях замерли, потому что со всех направлений стали смотреть на мадьяр. Мадьяры же и латыши стали в рост из своей неприметной глазу ложбинки, крикнули отчаянно громкое «ур-ра!» и кинулись на окопы противника, но пробежали какой-нибудь десяток сажен — неожиданно стали поворачивать назад.

Они бежали, бежали, спиною к огню, падали серыми, бесцветными фигурками на землю, падали за куле-

меты, огрызались огнем и, волоча пулеметы за собой, бежали снова...

А белые все стреляли и все из окопов не выходили — они могли уничтожить мадьяр и латышей огнем в спину, покуда те не достигнут ближайшего березового колка... Им для этого только и надо было, что чуть перенести свои пулеметы на правый склон.

Нет, не воевал еще так Мещеряков, никогда не воевал отступлением, а ведь впереди ждала его арара — ребятишки со стариками!

А белые все стреляли, но не выходили из окопов, и тогда мадьяры бросили один из своих пулеметов. Они бросили его на виду, на самом бугре, и сами бросились от него прочь, петляя туда и сюда... Такой картины еще не видывали белые, потому что за потерю пулемета в партизанской армии расстреливали, покрывали позором — это и в белом лагере было известно.

Такой картины они не видели, должно быть, она их потрясла, воодушевила, и кто-то из них выскочил из окопов, потом другой, третий... Офицеры размахивали шашками, некоторые, будто прямо из рукава, палили огнем — эти были с наганами... Дымчатые, словно прозрачные, шинели подоткнуты под поясные ремни: выбрасывая вперед тонкие ноги, белые бежали в рост — по ним никто уже не вел огня. За офицерами беспорядочно, но плотно начали перекатываться другие шинели со штыками наперевес, с негромким, но непрерывным воем. Позади опять были офицеры, еще позади — в опустевших окопах — только кое-где мельтешили фигурки пулеметчиков, но и те огня не вели — свои заслонили перед ними партизан.

По самой верхней, увальной и широкой улице села, то скрываясь за постройками, то снова показывая головы и плечи над плетнями, неожиданно промчались конники. Немного — с полсотни, не более того. Эти хотели завершить удар.

А мадьяры и латыши все бежали, все бежали, а потом легли редкой цепкой и снизу вверх по склону повели огонь из своего единственного пулемета по наступающим пехотинцам и еще успели полоснуть чуть в сторону, прижали конников к избам той и другой стороны улицы, из которой они готовы были уже вырваться на простор увала.

Тут Мещеряков снова положил руку на плечо Гришки Лыткина, снова затряслась у него рука на его плече, снова он сказал:

— Ну, Гриша...— А плечо под рукой уже не дрожало — тряслось, билось крупно, шаталось туда и сюда.

Мещеряков, сощурившись, закусив губу, еще ждал... Мгновение рвалось вперед, а он не пускал его, сдерживал его, самим собою его заслонял. Сосчитал снова: «Раз, два...» Гришка стонал:

— Ефрем Николаевич, това...

— Давай!— крикнул сипло Мещеряков, и вторая ракета поднялась в воздух.

Только что вырвались из села на увал на чистое место белые конники. Только вырвались — и остановились. Несколько коней на дыбках загребли передними ногами под себя, потом кони эти резко пали на землю, другие пали с места — носом вперед. Это мадьяры снизу вверх опять полоснули-таки из единственного пулемета. Но не от этого огня повернули конники назад, дико нахлестывая лошадей. И пехота противника поняла этот их испуг и тоже остановилась в недоумении. Ей еще ничего покуда не было видно — преследуя мадьяр, она была теперь по правому склону увала и могла только слышать... Она могла слышать, как на левом склоне раздался будто бы чей-то одиночный, протяжный вопль, тотчас раскололся на высокие и низкие голоса, потом и высокие и низкие вместе вдруг прервались тяжелым конским топотом, потом опять вырвались человечьи вопли, опять топот, и, наконец, ровно так, непрерывно взялось по всему увалу, и по тому и по другому его склонам, и по всему выгону, по всей округе: ар-ра-р-а-о-о-о, ар-ра-р-а-о-о-о...

От сосновой рощи, уже не обращая никакого внимания на артиллерию и не скрывая своих истинных сил, оторвался партизанский эскадрон, рассыпавшись в редкую цепь, наметом пошел прямо на церковь.

С той стороны, из-за увала, тоже поднялась ракета, тоже зеленая,— значит, и васильевские шахтеры тоже встали и пошли.

Еще каких-то несколько мгновений Мещеряков неподвижно слушал «ар-ра-р-а-о-о», им же самим вызванное из-за увала, подвешенное на тонкую зеленую нить ракеты в серенькое небо, а потом уже покатившееся по земле, все захватившее и затмившее.

— Ну, хады,— сказал он вздрагивающими губами,— сейчас вам будет! Вот сейчас и за все!

Злоба возникла в нем еще в тот час, когда он призвал в жарко натопленную штабную избу старикашку с детскими глазками. Он хотел тогда воевать, хотел как никогда страстно, а вместо этого призвал на помощь старика, велел ему собирать арару...

— Ну, хады,— за все!— И ни думать, ни вспоминать, как будто ничего ему уже не осталось и не останется никогда.

Он тоже задохнулся криком и кинулся со своим отрядиком в несколько человек, избивая нагайкой гнедого.

Когда же открылось ему все то, навстречу чему он помчался,— бесседельное и безоружное, пестроконное, исходящее в топоте и криках, смешанное в одно огромное пятно лошадиных шкур, разметанных грив, раскрытых, ребячьих и стариковских заросших бородами ртов, и даже несколько простоволосых женщин — он пошел на гнедом чуть поодаль и правее, чтобы мять и рубить еще не смятое, а только отброшенное всем этим в сторону.

Он увидел латышей и мадьяр — на руках они тащили раненых товарищей, может быть, убитых — и взял еще правее, чтобы своим отрядиком настигнуть замешкавшихся белых конников...

Это были казаки с блестящими в крупах, тяжеловатыми конями и с десяток-два мужиков в зипунах, на конях-самоделках, истертых рабочей упряжью,— они все не рассыпались по огородам, а кучей вошли обратно в улицу и опять скакали не по всей уличной ширине, а только посередине, потому что сторонами рос густой бурьян. Эту кучную и пеструю, приникшую к седлам кавалерию, уже потерявшую кавалерийское обличье и стремившуюся только сгинуть с глаз, Мещеряков и преследовал по пятам.

Огромный казак без папахи, лежа на луке седла, и не то уже раненный, не то убитый, вдруг обернулся к нему неожиданно маленькой, ощербленной головкой, сосредоточенным лицом... Лицо лежало в разметанной конской гриве, смолистой и кудлатой, и вместе с нею, будто уже оторванное от человеческого туловища, вздымалось вверх, падало вниз, а из этой качки глянули на Мещерякова неподвижные, подернутые слезой глазки... Чуть изогнувшись грудью, казак быстро просунул правую руку под себя и выстрелил почти в упор, так что

в следующий миг Мещерякову показалось, что лицом он пересек теплую струйку выстрела. Почему Мещеряков не был убит — он не подумал, а опустил шашку на эту головку, с которой еще раньше слетела папаха. Убил ее, эту голову.

Еще пришпорив что было сил за следующей портупеей и за следующим мужицким зипуном — сразу за двоими, и не зная, кого же он будет рубить первым, он увидел, что впереди этих двоих, которых он преследовал, упал третий казак.

Невероятного усилия стоило Мещерякову вырваться из собственного хриплого, заглушающего сознание воя, с которым он шел, должно быть, с самого начала атаки, вырваться из стона и гула арары и вспомнить, что он — главнокомандующий, что он ведет сражение. Он стал замечать и заметил, как свалившийся с лошади казак пополз боком вперед по земле, хватаясь за этот передний бок обеими руками, продвинулся на несколько шагов в обнимку с самим собой и опрокинулся, приподняв кверху оба сапога, а гнедой, шедший наметом, кажется, ступил на него, и тут еще раз Мещеряков сделал усилие и спросил себя: кто же казака убил? Кто в него стрелял? Откуда?

А тогда он понял, что впереди, поперек движения всей лавы, лежит вражеская цепь, что кто-то один из этой цепи не выдержал, выстрелил раньше времени и угадал в своего.

Мещеряков сорвал с себя папаху, повернул гнедого резко влево и крикнул:

— За мной! Ур-ра! За мной!

Ринулся в проулок. Не оглядывался. Не оглядывался, но знал, чуял, что арара устремилась через тот же проулок, через открытые ворота какой-то ограды, и поэтому выстрелы, которые раздались наверху, были уже запоздалыми.

— На землю! Ложись! Падай!— крикнул он еще, а сам кинулся низом в сторону уже другого «ура!», других частых и звонких выстрелов: там шли и, должно быть, выходили к церкви васильевские шахтеры.

Еще спустя каких-нибудь полчаса толпу конных и пеших ребятишек и старцев, бывшую арару, партизаны теснили с площади, с церковного бугра, кричали на них: «Стар-ранись! Стар-ранись!» — а на площадь вели пленных, тащили по площади, раскручивая руками грязные колеса, зарядные ящики; посылали мальцов

собирать по всей Моряшихе и вокруг патроны и оружие, сердились на них, что мешаются под ногами.

Кто-то смотрел в зубы трофейных коней, кто-то, громко ругаясь, сожалел, что зарядные ящики есть, а орудий нет — успели уйти.

Успели уйти в направлении на Семенихинскую дорогу орудия, штаб и еще немалые силы противника. Преследовать их не было ни сил, ни возможностей, но победу все равно переживали все, и уже не раз то тут, то там раздавалось «ура!» Мещерякову, и ребятишки — моряшихинские, выскочившие прямо с изб кое-как, в рубашонках, и старогоньбинские в зипунах, с конями в поводу, еще не остывшими от арары,— все старались окружить его, взять в круг и даже потыкать его пальцем. Любовались им.

И моряшихинские ополченцы, которые в этом бою действовали частью вместе с партизанами, а частью изнутри деревни, в решительный момент открыв стрельбу по белым с вышек и огородов, опять же приветствовали его, как в тот раз, когда он впервые брал село.

Тот же лохматый командир ополченцев, который гулял вместе с ним в доме прасола Королева, тоже приветствовал его громко и радостно. Все еще, несмотря ни на что, был живой.

Подошел Петрович...

На Петровича Мещеряков лишь мельком глянул один раз, когда тот шел на своем коньке впереди арары. По самому увалу шел. Теперь он снова и с каким-то облегчением поглядел на него — буроватого и, как всегда, встрепанного, понятливого; Петрович победе не улыбался, только сказал серьезно:

— Ну вот, сделано!

Мещеряков кивнул. И увидел, что Петрович-то не один. Поодаль от него, но вместе с ним была Тася Черненко.

Как раз две сестры милосердия из полка Красных Соколов — одна совсем еще подросток, деревенская неуклюжая Акулька, а другая из городских, высокая и стриженая, с добрым-добрым лицом, как и должно быть у милосердной сестры,— везли на пароконной телеге нетяжело раненных и в голос окликнули ее:

— Черненко! Это ты?

Тася Черненко ничего не ответила, пожала плечами и отвернулась. Тотчас попала взглядом в Мещерякова и не так заметно, но отвернулась еще раз. В поводу

у нее был еще горячий конь, и Мещеряков догадался: она тоже была в араре. Она была там рядом с Петровичем.

— А эта почему здесь? Эта! Не знаешь?— спросил Мещеряков у Петровича, показав в Тасину сторону нагайкой.

— Товарищ Черненко теперь в главном штабе не работает. Товарищ Черненко теперь служит в полку Красных Соколов. Нынче я поручал ей собрать арару.

— Как так?— снова удивился Мещеряков.— Бабам-то это зачем? Из стариков и ребятишек делаем войско, а тут еще — из баб? Тоже — можно?

— Ей — можно. Товарищу Черненко. Ей это нужно, если она ушла из штаба, от Брусенкова.

А Тасе было неудобно, что говорят о ней, а она стоит тут же и молчит, что со скрипучей телеги ей все еще машут милосердные сестры, особенно городская сестра с добрым лицом, которую Тася и видела-то всего один раз, когда направляла ее из главного штаба в полк Красных Соколов, выдавала письменное предписание за подписью Брусенкова и своей собственной...

Она быстро подошла к главкому:

— Здорово, Мещеряков!— но руки не протянула.

— Здравствуй, товарищ Черненко!— И Мещеряков хотел идти, но Тася его задержала.

— Учишься воевать, товарищ главком?

Мещеряков не ответил. Петрович молча глядел на Тасю, на главкома. Покусывал ноготь на пальце правой руки. Из-под ногтя сочилась кровь, где-то он покалечил палец.

— Слушай, товарищ Черненко,— сказал наконец Мещеряков,— все ж таки лучше, когда ты в главном штабе. Гораздо лучше! Уж поверь мне.

— Хочу воевать. И смотреть на тебя в бою.

— Что же ты увидела, дорогая товарищ?

— Увидела, как ты командуешь ребятишками. Лихо мчишься впереди них...

— Когда народ идет в такой момент на жертву, то остается ее принять. И сделать настоящую пользу тому делу, которому жертва приносится! Народ — он идет на все сознательно. Понимаешь ты это?

Петрович перестал грызть ноготь, вытер кровь о шаровары. Глянул на Тасю, но не сказал ничего.

В такое время — сразу же после боя, после отчаянного боя — дел было по горло: еще надо было распоряжаться, командовать, торопиться, еще — переживать.

И снова надо было сказать Тасе Черненко что-нибудь. Обидное.

Мещеряков обратился будто бы к одному Петровичу:

— Учти — всякое в жизни бывает, товарищ комиссар! Другая женщина и через войну пройдет, а — женщина. Но может случиться, берешь ты себе жену — а это бесстрашный солдат оказался, очень смелый и даже героический. Вот радость-то! Ты это учти! Особенно ежели тебе необходима надежная защита при нападении всяческих жиганов и хулиганов!

А Тася опять не моргнула глазом. Как стояла, с усмешкой глядела на Мещерякова, так и продолжала глядеть. Может, и в самом деле не очень зло сказал все это Мещеряков? А вот Петрович, тот вспыхнул. Веснушка пошла по нему сильнее, глаза заморгали, на щеках выступили пятна. Значит, все-таки нельзя было этого говорить. С Тасей с этой правда, что лучше всегда молчать. Правда, что без баб войны — и той не бывает... Значит, допрос, который Мещеряков приказал сделать Петровичу над Тасей, вот как обернулся... Кто бы мог подумать?!

Тут Громыхалов показал глазами:

— Как с ими?

А показывал Громыхалов на пленных офицеров.

— Сперва допросить толком!— ответил Мещеряков.

— Для допросу у нас имеются другие.

— Тогда дело ваше!

И Мещеряков поглядел по сторонам... А чуть в стороне от площади, в первую улицу, было пепелище, обширное, с обгорелыми столбами, там и здесь торчавшими из земли, с огромной русской печью. По всей верхней кромке печи сквозь копоть можно было разглядеть узор, поделанный красным.

Ведь это была когда-то, и еще совсем недавно, ограда прасола Королева! И жены его — Евдокии Анисимовны! И совсем недавно прасол Королев интересовался: будет ли ему польза в не слишком далеком будущем?

Еще до начала нынешнего боя Мещеряков пользовался слухом, будто прасол в великой тоске искал свою супругу, нашел ее на звягинцевской заимке в одиночестве, а оттуда ночью, чтобы никто не видел, они скрылись в неизвестном направлении. Белые же пожгли

прасолову бесхозяйную ограду. Это ненароком Струков рассказал. Струков знал все на свете.

И, должно быть, все верно было в том слухе; вот они, останки прасоловой ограды, ничего нет — ни избы, ни подворья, ни фотографических карточек, на которых отражена была жизнь. Где-то и как-то начнется теперь она, другая жизнь, для этих людей?

Народу все прибавлялось — самого разного. И знакомые были лица: Мещеряков даже удивился, сколько он здесь людей знает и помнит.

Вдруг прошел по площади Власихин Яков — его издали было видать.

Высокий, бородатый, с заржавленной берданой за плечами — бердана казалась на нем совсем какой-то крохотной,— он шел, смотрел кругом себя, на всю площадь, на всех людей. На партизан, на ребятишек, на пленных.

И этот тоже был в араре? Кого она только не собрала здесь нынче? И моряшихинских, и старогоньбинских, и соленопадских...

Тут поглядеть — нет ли где Петруньки? Тоже ведь мог прискакать из Соленой Пади! Отцу на помощь. А что? Всего-то на год-другой постарше Петруньки встречались вояки среди нынешней арары.

Проходя мимо, Власихин снял шапку, поклонился.

Мещеряков поманил его, протянул ему руку:

— Здорово, отец. Воюем?

— Когда начали — довести надо дело.

— Трудно? В твои-то годы трудно доводить?

— Ну, почто же трудно?— удивился Власихин.— Даже наоборот. Лёгко. Совсем лёгко. Как все, так и я. Как я, так и все. Это вот когда ты один, один не такой, как все, вот тогда гораздо труднее становится житье. Ты неужто, Ефрем Николаевич, этого не знаешь?

Мещеряков молча кивнул: «Знаю, знаю...»

А в это время показался и еще один старик. Мещеряков глянул — это тот, которого он вызывал к себе в селении Старая Гоньба. Главный по араре.

Старикан тот же самый — глазки детские, сам щуплый и невзрачный. Небольшого росточка.

Бой прошел, после боя как будто всегда что-то меняется вокруг, и люди тоже изменяются сильно. Но этот не поменялся ничуть, точь-в-точь прежний. По-прежнему стеснялся главкома, обходил его стороной.

— Папаша!— окликнул старика Мещеряков.— Ты что же это, герой победы, старых знакомцев минуешь? Не узнаешь ни единым глазом? А?

Старик тотчас сбросил треух, и в том и в другом глазу у него мелькнуло любопытство, он с охотой приблизился.

— Ну как же можно,— мы очень сильно вас признаем, товарищ главный командующий! Только ить...

— Чего это — только?

— Только ить все ж таки... Энто я об вас подумал — может, вы меня не признаете.

— Этого не может быть! У меня — память!

— И память, а быть — может... В тот же раз, в Старой-то Гоньбе-то, мы беседовали с вами в избушке на предмет арары — не признали же вы меня? Ничуть! Запамятовали еще старое наше знакомство?

— Постой, постой! Какое еще старое? Нет, ты не говори, я тотчас и вспомню. Самолично, без подсказки. Если было — обязательно вспомню!

— Ну-ка, ну-ка!— заинтересовался старик и стал перед Мещеряковым, распахнув зипунишко и упершись руками в тощие бока. Показывал себя, чтобы легче было его признать.

Мещеряков, как-то сразу повеселев, бодро сделал обход, со всех сторон рассматривая вылинявшую и встрепанную головенку и опорки, которые еще только один день и согласились подержаться на кривоватых ногах.

— Ну как же, действительно, было такое дело! Встречались!— сказал он.— И объясню тебе, где и когда: окопы ты копал, папаша, под Соленой Падью. На оборонительных позициях. Вместе со всем народом. И вместе с ним же стоял в круге, когда зашла наша беседа. Я еще спрашивал у тебя, как будем решать: чтобы Колчак нас бил либо чтобы мы его? Но только тот раз я и не подумал, что ты этакий воин-герой! Что верно, то верно — такого в голову нисколько не приходило!

— Это, товарищ главный командующий, не только вам, мне самому не враз выяснилось. Ну, а когда война всем миром зашлась, то пришло!— И старикан развел ручонками в стороны, поглядел на них — налево и направо — с удивлением.— Вот так!

Мещеряков тоже поглядел и снова увидел весь плотный дышащий человеческий круг, в котором он стоял по самой середке, только теперь приметным стало у него

сопровождение: два старика. С одной стороны стоял безымянный этот вояка, мелкий ростом, с другой — высокий Власихин.

Опять человечья густота — любопытствующий, вопрошающий и жадный ее взор — его чуть смутила. И взволновала, как волновала всегда. И от нескладного, неумного разговора с Тасей Черненко, от самой Таси это волнение его быстро освобождало. При чем тут Черненко Тася, когда люди вокруг ждали от него чего-то, какого-то слова. Что же они ждали, люди, какого слова требовали?

А похвалить надо было народ за его геройство. За нынешнюю победоносную арару. Обязательно. Ничего не вспоминать — ни недавнего своего отступления из разнесчастной этой Моряшихи, ни пожженного королёвского подворья, никаких военных жертв, а просто взять и пережить еще раз нынешнюю победу. Только ее!

Мещеряков поднял руку.

Человечий круг тотчас замер. Смолк в ожидании речи. Главком же речи говорить не собирался, опустил руку на старикашкино плечо, к нему обратился:

— Герой и победитель, ты не сильно зазнавайся своим поведением! Ибо даже са́мому первому храбрецу победа не принадлежит, а принадлежит одному народу. Ему и еще раз — ему же! У нас в партизанской армии нынче наравне со всеми борется один человек. Из мужиков, но очень способный к разным красивым и стихотворным словам. Так он о народе высказал нынче следующее:

...Навеки историк подчеркнет на память
Храбрость и славу твою!

Навеки... то есть никогда и ни при каких обстоятельствах нынешний день полного и окончательного освобождения от ига, от всякого притеснения и несправедливости не исчезнет из человеческого сознания. Это истина! И в ней нет и даже не может быть никакого обмана, почему и весь трудящийся народ в целом, и в том числе каждый честный человек, идет нынче вперед, хотя бы на самую верную смерть. Идет с гордо поднятой головой!

Все-таки получилась речь. Была...

И старик слушал ее как бы за всех, чуть приоткрыв рот и даже привстав на цыпочки. А все слушали за старика.

Молчание миновало, кто-то первым откашлялся, кто-то переступил с ноги на ногу, старик тоже откашлялся и переступил своими обутками. Мещеряков, чтобы закончить дело, еще сказал:

— Сильное вы, арара, и позорное нанесли поражение противнику. Можно прямо сказать — решающее для всего сражения. А сами обошлись без потерь.

— Какая там потеря!— живо отозвался старикан.— Бог милостив! Оне, поди-ка, хотя и знают этот араринский секрет, белые, а все одно — редко кто противу его выдерживает. Редко! Вот и нонче — успели стрелить в правую нашу руку, правильно сказать — так в наш правый хвланг, но вовсе мало. Подстре́лили, слышно, старикашку, одногодка мне, да ребятишек двоих. Да пятерых коней. А больше не успели.

— Кого, кого?— переспросил Мещеряков.— Насмерть?

— Энтих — насмерть. Ну, есть еще и другие, раненые. Только все одно, едва ли не в любом случа́е, идти на белых варваров арарой имеется расчет. Когда бы они и еще оставались в селении, не убежали бы прочь, сколь они мирного населения уничтожили бы? Притом — навсегда!

Мещеряков оглянулся. Оглянулся еще раз.

Никто не спрашивал у него, какой же это солдат, какой главком, который посылает в бой стариков и ребятишек?

За что и за кого война? За ребятишек она, за ихнюю жизнь и свободу, а когда так — кто же имеет право скомандовать ребятишкам идти в бой? Человечья эта и до боли в глазах, до тошноты страшная неувязка сколько раз в нынешнюю войну настигала Мещерякова.

Он снова вдруг представил себе пестроконную лохматую арару, плотную — конь к коню, лицо к лицу,— из которой, казалось, невозможно было вырвать ни одного коня, ни одного лица. Но вот — вырваны были... Один старик, двое ребятишек, пять коней. Притом — навсегда.

Тихонько Мещеряков повернулся к Власихину.

Зачем-то он стоял здесь, Власихин? Зачем-то был? Но даже тот не упрекал, не спрашивал, спокойно, а все-таки чувствовал победу. Совершенно никто не упрекал.

Правду сказал нынче Власихин о себе — он был, как все были. Ни от кого не отличался. Своего добился — отстранил родных сынков от войны, одержал победу.

А самим собою истинно перестал быть, стал как все... И вот некому было понять нынешний бой... «А кто бы это мог понять?— подумал Мещеряков.— Довгаль? Даже он, и то навряд ли... Брусенков? Даже думать нечего. Ни в коем случае... Жгун — вот кто мог бы...»

Тут Гришка Лыткин уже заметил, что он сейчас, сию минуту должен быть при своем начальнике.

Протиснулся сквозь народ, что-то такое доложил главкому, поглядел туда-сюда. Вытаращил глаза:

— Товарищ главком, а у вас в папахе-то, однако, дырка образована! Однако, пулей!

Мещеряков скинул папаху — правильно: сквозь прошита двумя дырками, с той и с другой стороны... Не очень заметно, Гришке Лыткину с его вострым глазом только и видно сразу, остальные никто не хватились.

Гришка попросил папаху, послюнявил палец, стал мерлушкин завиток направлять, чтобы он прикрыл переднюю дырку. Завиток не направлялся.

— Ничего!— сказал Гришка.— Вам супруга, Дора Александровна, с изнанки прихватит ниткой — вовсе незаметно будет. Она сделает — комар носу не подточит!

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Второй съезд начал свою работу в десять часов утра 22 октября 1919 года.

Погода была удивительная, теплая, снег, выпавший несколько дней назад, теперь уже растаял без следа, небо было синим по-июльски, тени на земле отпечатывались густо.

Солнце перебродило за нынешнее жаркое лето, прошло сквозь знойный июль, сквозь осенние заморозки и одну-другую ненастную неделю припозднившейся в здешней местности осени, а теперь было ровным, мягким, жилым и печным.

Стояла на пашенном взгорке, за озером, копна, кем-то брошенная, неубранная,— так видать ее было далеко-далеко, со всех концов села. Какой-то нехристь бросил ее, одинокую, в подчищенном под гребенку поле, она и торчала, словно прыщик. Потом кто-то догадался — сметал и увез копешку, а тогда и еще глубже открылись дали. В далеком бору можно было различить коричне-

вые стволы сосен, снизу прикрытые яркими пятнами кустов боярышника.

Проходил съезд в огромном амбаре бывшей кузодеевской торговли, но и амбар оказался тесным, и делегаты мигом разобрали торцовую стену, соединили амбар с завозней, которая была под одной с ним кровлей.

Тяжелые двери амбара с крестами железной поковки на каждой створке были распахнуты, сумрачное помещение рассекали полосы света. Вверху, на стропилах, гомонили воробьи, кое-где висели клочки рогожи, пакли овечьей шерсти — когда-то кузодеевское добро сложено было здесь под самый верх, там и болтались его остатки.

И под ногами, на крепких деревянных половицах, скрипело и похрустывало — там, в разных местах, рассыпано было пшеничное, конопляное, гречишное зерно, кусочки комковой соли, битого стекла, еще чего-то.

Около тех и других дверей стояли кадушки — делегаты пили и в перерывы, и во время заседаний, черпали ковшами, облупленными эмалированными чашками и одной деревянной, обкусанной со всех сторон поварешкой. Но и этой посуды не хватало на всех — у кадушек толкалась очередь.

В ограде перед амбаром крутились ребятишки, играли в чехарду; притомившись, забирались в делегатские тарантасы.

Большая часть приезжих из других деревень и сел делегатов была Довгалем Станционным по списку распределена на постой по дворам Соленой Пади, но были и такие, что опоздали к началу съезда или считали, что съезд продлится день, не больше, на постой не пошли, а поставили свои тарантасы у коновязи обширного торгового двора.

Теперь эти бездомные делегаты и ночевали здесь, разжигая костры, тут же кормились кони, помахивая торбами с овсом. А другие кони, которым хозяева торбы не подвесили, переминались с ноги на ногу и то грустно и часто мигали на счастливцев, то совсем закрывали глаза.

Над табором час от часу гуще становился воздух — пропитывался запахом конского навоза, и ребятишки все больше и больше млели в тарантасах.

Они торчали здесь не просто так: караулили скамьи и табуретки, которые были собраны нынче в кузодеевский амбар чуть ли не со всей тысячи изб Соленой Пади и ближайших к ней выселков. После окончания съезда

они должны были в тот же миг каждый ухватить свое имущество, доставить его по домам.

Съезд шел третий день, и третий день караульщики несли свою вахту.

Открыть съезд было поручено Довгалю, и он произнес приветствие, встреченное бурными овациями.

В последний момент, только Довгаль кончил речь, пришло неожиданное сообщение: в Моряшихе, сызнова освобожденной от белых, открылся другой съезд — созванный земскими деятелями. Оказывается, были села, даже целые волости, которые выбирали делегатов сразу на два съезда, а были и такие, которые съезд в Соленой Пади бойкотировали...

Собрались в Моряшихе кооператоры, торговцы, кулачество, некоторая часть учительства, священники, а еще делегаты трудового крестьянства, такие же, как в Соленой Пади. И Довгаль тотчас снова взял слово — как мог разъяснил положение.

Тут была своя история.

Земство всегда стояло за Временное всероссийское, а после свержения Советской власти — и за сибирское временное правительство; это привело его к сотрудничеству с Колчаком.

Однако вскоре колчаковцы начали преследовать даже своих союзников, анненковцы — те вообще ничего и никого не признавали, кроме нового монарха на святой Руси. Колчака и того обзывали «левым» за то, что он в своих воззваниях обещал Учредительное собрание, в эсерах же видели виновников революции и свержения монархии, сводили с ними старые и новые счеты — тоже вешали, тоже убивали.

Тут эсеры снова сделались друзьями народа. Друзьями по несчастью.

Их бьют, разгоняют подлинных избранников народа, и они вспомнили списки, по которым выбирали их в учредиловку еще осенью семнадцатого года, и про брусенковские местные приказы тоже не забыли, и вот объявили себя народными страдальцами.

Слова известные.

Не объясняют они только одного: какое правительство — такие и избранники. И когда буржуй правил, он не допускал небуржуя к подлинной власти. Но до этого земству нынче дела мало, твердит одно: «Народ и его святая воля!» Кто только под покровом этой святой воли не желает погреться?!

Отнимали ее у Николашки, святую волю, и отняли. А поделить между собой до сих пор не могут. И с семнадцатого года болит от дележа голова трудящегося человека, и все в то время, как делить ее совсем не надо, надо прямо и честно объявить диктатуру труда — рабочего и мужика! Честно, на весь мир, раз и навсегда!

Так Довгаль нынешнее положение обрисовал.

А сразу же вслед за его речью военный гарнизон Соленой Пади в полном составе приветствовал съезд.

Разномастные партизанские подразделения — в пиджачках, в шабурах, в полушубках, в меховых треухах — выстроились за коновязью на ограде бывшей кузодеевской торговли, кричали «ура!» и «да здравствует!».

Когда же делегаты высыпали на улицу, их встретил духовой оркестр: луговские расстарались, прислали из Милославки две трубы, корнет-а-пистон, валторну, кларнет и барабан.

Под музыку и обнимались, кто с кем придется, и бегали по двору, выкликая друг друга по именам. Кто искал отца, кто — сына, кто — брата, кто — соседа, кто — односельчанина.

Съезд вручил представителям армии знамя. По кумачу синими буквами на нем было: «Да здравствует коммуна!»

Армия в память об одержанных ею победах подарила съезду трехдюймовую пушку без замка, недавно отбитую все под той же Моряшихой, и одиннадцать возов мануфактуры, тоже трофейной,— по возу на каждый районный штаб, для распределения среди неимущих.

Были речи, были приняты резолюции:

«Съезд от лица трудового крестьянства благодарит народную Красную Армию за мужественные и храбрые подвиги в деле освобождения от гнета. Благодарит за героическую стойкость в борьбе с приспешниками мирового капитала в достижении намеченного Советской властью пути всемирной социалистической революции и конечной цели — мирового социализма!»

«Армия от лица каждого ее члена приветствует съезд своих отцов и братьев, а также страдальцев за правду. Съезд еще и еще должен подчеркнуть и объяснить ту великую идею социализма, за которую мы боремся. Объяснить не только нам, но и колчаковским солдатам, всем сословиям и национальностям, населяющим Сибирь, всю Россию и весь мир. Мы все — трудя-

щиеся крестьяне и рабочие — услыхали призыв вождя товарища Ленина и взяли в руки оружие, чтобы построить наконец новую и счастливую жизнь для обездоленного народа, и на нашей обязанности лежит до края разрушить старый строй и построить совершенно новый, стереть с лица земли всех, кто встанет поперек священного и единственного пути!»

Первый день съезда был объявлен днем манифестаций и митингов. Иначе и нельзя было сделать.

В улицах и переулках Соленой Пади толпился народ, слушал речи, слушал духовой оркестр, удивлялся своим же ораторам — за кем сроду ничего такого не замечалось, и тот произносил нынче речи, призывал.

Все перемешалось: мужики, бабы, девки, старики — все ходили вместе, кричали в один голос, приветствуя ораторов. Такого мира еще никто и никогда не видывал.

Ошалевшие ребятишки — кто еще босой, а кто уже в зимних полушубках, в отцовских пимах — метались из края в край села, никак не могли понять, где происходит самое интересное.

Потом среди ребятишек пошел слух, будто бы один музыкант позволил какому-то Ванятке — не то с Озерного, не то с Нагорного края села — три раза дунуть в трубу, после того ребячья орда уже ни на шаг не отступала от оркестра, теснила его, молча и жадно заглядывая в таинственные медные пасти.

Смолкала музыка, притихали на минуту-другую ораторы и манифестанты, теснясь все плотнее и плотнее, спешили высказаться друг перед другом кто о чем и как мог.

— Справедливость — до края! На другом не помиримся!

— Завтра же провозгласим на съезде окончательную Советскую власть! Хватит нашим штабам неизвестно как называться!

— Товарищ Брусенков будто бы товарища Мещерякова будет сымать с должности! Правда, нет ли?

— Кто там против Мещерякова товарища? Кому жизнь не милая?

— А напротив Брусенкова речь скажет Власихин Яков. Напротив его расстрелов. Обратный сделает суд.

— У нас большего ума нету, как Брусенков. Уберем — пожалеем. Нас никто стрелять не будет — еще хужее постреляем друг дружку!

— Как ноне происходит: кто кого стрелил, тот и правый.

— В Европе сильный революционный пожар. Государства пылают, как одно!

— Давно пора! Давно пора всех колчаков со всего земного шару собрать и спалить. Навсегда!

— Европа Европой. В Соленой Пади ладиться надо. Давайте Кондратьева на место Брусенкова выбирать!

— Моя платформа: пущай главный штаб между собою разбирается. На то оне главные. За кого оне разберутся, за того и я голосую.

— Оставить как есть. Подлинная Советская власть придет — скажет, как сделать!

— Все ж таки сила — народ? Сколь жили — не знали!

В толпу несколько раз замешивался и Мещеряков. Некогда ему было, но миновать все эти шествия и речи тоже невозможно, нельзя было не вспомнить семнадцатый год, военный, окопный, но такой же вот митинговый. Между делом он выбегал из штаба армии, отрывался от донесений разведок, от сводок начштабарма Безродных.

На площади Мещерякова тотчас окружали люди, а он будто бы окружал их, смотрел на людей со всех сторон.

«Правда что — исстрадался народ за века по человеческому,— думал он.— Нынче — человеческое учуяли, хотим его все больше и больше, все сильнее и сильнее!» Вслух же говорил кому-то:

— Уже вовсе немного осталось — свалить Колчака. Свалим. Есть еще разные трудности, но все одно — народом свалим!

А в ответ слушал песни, речи, голоса медных труб.

Поблизости от этих труб он тоже остановился послушать, а они как раз в тот момент замолкли, и мордастый, с тонким простуженным голоском трубач подозвал из жадной кучи ребятишек одного тощенького, сказал ему:

— А ну, дунь! Испытай!

То прикасаясь к мундштуку губами, словно к горячему, то заглатывая его, парнишка пыхтел и старался изо всех сил, но валторна только сипела, и трубач стукнул неудачника по затылку, вызвал следующего:

— Кто еще храбрее? Ну?

Храбрецы подходили один за другим, поднимались на цыпочки, невозможно раздувались щеками, все, как один, рассопливились, но толку не было — не запевала труба.

Музыканты уже заходились от смеха, парнишечье племя на глазах у всех покрывалось позором, краснело, вот-вот взвоет от обиды.

— А ну,— сказал тогда Мещеряков,— дай-ка попробую!

Трубач икнул, торопливо протянул главному валторну, и оркестранты умолкли, ребятишки и какие были вокруг взрослые — все стали смотреть на Мещерякова.

Для этого множества людей надо было повернуть случай на шутку, но шутки не нашлось, и очень серьезно, как будто даже с тем же самым испугом, с которым парнишки один за другим дули в трубу, дунул в нее и Мещеряков.

Она всхлипнула и смолкла.

Он чуть отодвинулся в сторону, примерился, отер мундштук рукавом и быстро припал к нему снова.

Труба повздыхала и смолкла. Тут он заметил Брусенкова.

Брусенков стоял, заложив руки за спину, серьезный и молчаливый — приготовился ждать. Сколько главком будет дуть в трубу, столько и он будет находиться здесь, ждать, чем кончится.

Глубоко, по-трубному вздохнув, Мещеряков снова и плотно приладился колючими губами к мундштуку. Стал дуть то сильнее, то слабее, чутко слушая и себя и трубу. Наконец она отозвалась — слабенько и невнятно, а он тут же крепче вцепился в нее руками, а ртом сделал ей нежно, но настойчиво. «Пиа-пиа-а-пиа-а-а...» — на самом высоком пискнула труба, а Мещеряков уже как будто держал этот голос в своих руках и, чуть повернув трубу, пропел ею протяжно и звонко, голос выплеснулся на площадь, а он даже поглядел вверх — хотел увидеть, куда же, на какую высоту голос поднялся?

— Вот так!— сказал он важно и серьезно очередному храбрецу из мальчишек, которые смеялись вокруг весело, как будто навсегда избавившись от позора и стыда.— Вот так!

Сам пошел не торопясь прочь. К нему приблизился Брусенков, совсем рядом они шагали. Потом Брусенков положил руку на плечо Мещерякова. Потом заговорил:

— Ликует народ. Но только, помимо всего вот этого веселья, нам надо решать. Не только принимать лозунги и разные речи, а решать практически дело революции. Кому и что в этом деле доверить. Кому не доверять вовсе. С глубоким умом надо это сделать.

Мещеряков все глядел вверх. «Чуточный случай с этой трубой,— думал он.— Совсем чуточный, а для жизни почему-то годный. Потому что опять-таки произошел на народе, на глазах у всех? Или потому, что трубный голос вознесся очень высоко, был очень громким?»

Брусенков же вел свой разговор. Доверительно так, уверенно.

Как будто он был уже переизбран съездом и дальше руководил главным штабом Освобожденной территории. Как руководитель, кажется, даже прощал почему-то Мещерякову все его заблуждения и неправильные действия.

Кажется, прощал?

Но тут как раз Брусенков приостановился и сказал:

— Погляди-ка, Ефрем Николаевич, кругом себя. Погляди на народ! Конечно, вся сила нынче в народе. В нем. Хотя и в гражданской, хотя и в военной нашей деятельности. Взять последнее твое сражение за Моряшиху? Прямо-то и честно сказать, как и полагается нам говорить: ведь если бы не арара, не брошенный тобою в кровавый бой народ — старики и ребятишки,— разве вышла бы тот раз твоя победа? Да никогда! Точно ведь я говорю, товарищ Мещеряков. Неопровержимо!.. Утвердимся нынче голосованием съезда. Я в этом уверен — утвердимся окончательно. А тогда и рассмотрим допустимость этой самой арары для тебя, для лица военного, а вовсе не гражданского, как ты и сам об этом не раз говорил. И все вопросы — тоже рассмотрим. Ведь по сей день мы как их рассматривали? Хотя и в Протяжном, хотя и в других случаях? Рассматривали в полсуда. Того меньше — в одну его четверть!..

Вот кто, оказывается, понял последнее моряшихинское сражение! Вот кто! Не был там Брусенков, и не видел ничего своими глазами, и не пережил того серенького дня под низким, пухлым небом, а понял.

И как понял!

На другой день, такой же ясный и светлый, по-летнему теплый, съезд продолжил работу, расширив повестку дня с двадцати одного до сорока девяти вопросов.

Ждали, что первым выступит Брусенков. Однако произошло иначе: стали отчитываться заведующие отделами главного штаба, Брусенков же оставил за собой заключительное слово по этим отчетам.

Завотделом призрения товарищ Коломиец сообщил, какая в целом была оказана помощь семьям пострадавших во время русско-германской и нынешней классовой войны. Назвал огромные цифры — кубические сажени дров, пуды хлеба, возы сена, деньги в тысячах рублей. После поделил их на неимущие души, и цифры во мгновение стали до того крохотными, что вслед за ними даже сами-то души как бы измельчали у всех на глазах в четвертинки и осьмушки.

Отчет товарища Коломийца был утвержден со строгим наказом — увеличить помощь остро нуждающимся за счет конфискаций, самообложения, справедливого распределения трофейных материалов и продуктов.

Еще была задача — лесной вопрос. Его Первый съезд решал, не решил, отложил до Второго. Степные волости настоящие набеги делали на ленточные боры, у них к любой щепке издавна была жадность, а тут они дорвались, хозяина нет, никто штрафом, тем более тюрьмой, не угрожает... Бывшая лесная охрана оказалась приверженной к старому режиму, его защищала, а когда так, то нынче разбежалась окончательно.

А боровые села, те посчитали лес своим общественным имуществом, и вот, были случаи, устраивали сражения со степняками, а то рубили сами, меняли лесины у степняков на соль, иголки-нитки, на одежонку.

Съезд учредил народную лесную охрану, но не ясно было, какими она будет обладать правами.

Все с нетерпением ждали докладчика от земельного отдела. На это были особые причины.

Еще летом по деревням и селам Освобожденной территории встречалась кое-где листовка, подписанная профессором Новомбергским. Не погнушавшись мужицких словечек, томский профессор административного права разъяснял земельную политику Колчака: земля нынче принадлежит тому и в таком количестве, в каком кто сколь ее, родимую, испахал и полил трудовым потом. Так и будет вплоть до окончательной победы над большевистскими комиссарами, после которых окончательно вопрос решит грядущее Учредительное собрание, как избранное народом ради пользы народа.

Перед съездом листовка вдруг довольно часто снова стала встречаться то в одной деревне, то в другой.

Устроители съезда, главный штаб задумались. Надо было провести разъяснение. Думали — и сделали.

Собрали сотни две этих листовок, на оборотной стороне в милославской типографии отпечатали другое колчаковское воззвание — с призывом «дружин святого креста». Эти карательные дружины из поповских сынков, из разоренных партизанами богатеев, из уголовников, из бывших урядников жестоки были неимоверно, разве только анненковцы могли с ними по жестокости и насилиям сравняться.

Отпечатали точно так же, как было в подлинном воззвании: расположили слова по кресту.

И вот на одной стороне листовки профессор разъяснял мужикам земельную политику, снова обещал учредиловку, а на другой — красовался крест:

СИМ ПОБЕДИШИ

Да воскреснет Бог, да расточатся враги Его. Два года Святая Русь истекает кровью и слезами под игом бесовским. Труды и кровь верных сынов ея, сила оружия и золота не смогла одолеть твердыни сатанинская.

Православные!

Оружие против сатаны есть Святой Крест, «его же бесы трепещут». Возложите на себя Святой Крест. Не украдкою под одеждой,

а открыто, во Славу Божию, сверх воинского снаряжения Вашего. Водрузите крест над Домом Пресвятые Богородицы Руси Православной. Восьмиконечный белый крест прослужит Вам путь от Святынь Московских. Нашивайте белый крест на грудь и на правую руку Вашу, которою вы творите Божье дело. Да освятится крестом двери домов Ваших, и жены, и дети Ваши. Молитесь!

Пусть каждая церковь едва вмещает верующих, пусть со всех концов окровавленной, разоренной, распинаемой Матушки нашей России протянутся крестные ходы на Москву; пусть звон колокольный заглушит погон бесовский. Едиными устами, единым сердцем воскликните: «Господи Иисус Христос, Сын Божий, помилуй нас, грешных».

Уже от главного штаба под крестом еще было написано:

Никто не даст нам избавленья —
Ни бог, ни царь и не герой,
Добьемся мы освобожденья
Своею собственной рукой!

— Вот он — этот час — делать собственной рукой!

Выступил один, другой, а потом слово взял делегат, очень похожий на покойного Крекотеня: огромный, косая сажень, с глубоким и глухим голосом, с тяжелым шагом и с тяжелой рукой. Он медленно взошел на трибуну, сложенную из деревянных ящиков, подвигал ногами — выдержит ли,— а тогда поднял тяжелую свою руку.

Дождался тишины, стал спрашивать:

— Товарищи делегаты трудящегося крестьянства! Товарищи делегаты пролетарской массы города Милославска! Товарищи делегаты! Народные избранники! Все ли из вас помнят слово, данное Колчаком? Про справедливую жизнь? Все ли помнят обещание его про землю и прочие бесконечные обещания? Теперь еще спрошу: а сроду была ли она когда, эта земля, колчаковской, чтобы он ее кому обещал? Он же чужое мне обещает! Он мне мое собственное обещает! Он, адмирал его величества, мою корову уводит, после обещает ее обратно отдать, и я за это должо́н быть раболепным рабом, да? Он меня порет, бросает невинного в каталажку, после обещает перестать, и я ему опять должо́н, премного благодарствуя, провозглашать славу и многая лета? Должо́н быть — предатель против самого себя? А когда я хотя бы чуть с им не согласен — он мне крест: «Сим победиши! Да воскреснет бог, да расточатся враги его!» Это когда же кончится испытание трудовому народу, вечному гнету и обману его? Не в веках капиталу искать среди трудящегося мужика своего вражину, расточать и обманывать — дай и мне расточить тебя до основания! Позволь, голуба, припомнить за все времена моего рабства! Предлагаю постановить, чтобы навеки было запрещено капиталу прикасаться к земле, и только на один-единственный случай делать ему поблажку в три аршина...— Расправил бумажонку на огромной ладони, прочел: — «Первое. Принять закон о социализации земли, выраженной в декрете Совета Народных Комиссаров, как основу основ. Проведение закона отложить

впредь до окончания рабоче-крестьянской классовой борьбы... Второе. Немедленно принять самые жесткие меры к охране всех народных угодий и недр земли... Третье. Запретить лов рыбы во время икрометания».

Возражение раздалось только одно:

— Не так записано: угодья — они земельные! Земельные, а не народные. Народ на них не пасется!

На это оратор повторил громко:

— Истинно — народ пасется на их, на своих собственных угодьях! Это Колчак Ленские прииски продал англичанке, да еще пол-Сибири продаст какой-нибудь другой... А народ — он свою землю не продает! Земля — народное угодье, ее из-под себя не вырвешь, как ровно половицу в избе!

И резолюция принята была единогласно, без всяких поправок.

С особым вниманием был выслушан заведующий наробразом. Старый плотник, в последнее время заметно ссутулившийся, отчего руки стали у него как будто длиннее и даже узловатее, смотрел снизу вверх добрыми ребячьими глазами и делал отчет тихо, то и дело покашливая, как бы прислушиваясь к еще какому-то внутреннему смыслу своих собственных слов.

Он и не говорил о том, как отдел работал, а только указывал, что нужно сделать: сколько отремонтировать школ, сколько найти учащих.

— Нельзя строить новую жизнь без правильного и всестороннего образования,— говорил завнаробразом, придыхая.— Это все одно что ставить сруб без окон и без дверей; снаружи — новый, внутри — темно и непонятно. Образование — самое главное в жизни человека, когда он замыслил хорошо благоустроиться на земле и в обществе. Когда взять нашу Освобожденную территорию, то для нее самое главное — это начальное образование, оно дает начало ко всему будущему развитию человека, определяет способность к будущему обучению. Отсюда предлагается — сделать как можно более для обеспечения учительства, чтобы оно заботилось бы не об себе, а об учащихся. В противном случае вся душа учащего будет оставаться при нем самом, а детям не останется ничего, кроме обыкновенного урока азбуки и счета...

Съезд принял решение об обязательном четырехклассном образовании. Вопрос о жалованье учителям был передан на рассмотрение главного штаба, чтобы тот

изыскал средства и доложил о проделанной работе следующему съезду.

Где много случилось споров — это по докладу о порядке нового самообложения.

Споры нарастали, споры уже грозили скомкать вопрос, и тогда выступил Брусенков.

— Правильно было уже сказано на нашем съезде,— начал он, как обычно одергивая черную рубаху под черной же опояской,— правильно было сказано, что самое главное для нас — это образование! Ибо мы по темноте своей даже не знали как следует о декрете Совнаркома, который с самого начала гласил, что крестьянские хозяйства стоимостью не свыше десяти тысяч рублей во всех случаях считаются личной, то есть неприкосновенной собственностью. И это, сказать,— в ценах одна тысяча девятьсот тринадцатого года, то есть при стоимости коровы тридцать рублей, а порядочной рабочей лошади — шестьдесят, от силы семьдесят рублей! Но мы — по той же неимоверной своей темноте — позволили советский закон затуманить все тем же капиталистам, которые хотели спасти свои не то что тысячи, а цельные мильоны от того декрета. И как же они иезуитски сделали? Они мужику, который имел даже меньше своих допустимых десяти тысяч, мужику, ради которого Советская власть и конфисковала тех мильонщиков,— они крикнули ему: «Нас обоих грабят! И тебя и меня — одинаково! Так что — бей и ты грабителя-узурпатора! Не бойся нисколько: нам добренький интервент — чех либо итальянец — поможет, выйдет со своего эшелона на железной дороге для бескорыстной помощи!» И были случаи, одурманенный мужик большевика летом прошлого года бил, а мильонщика с чехом встречал хлебом и солью! Это ли не урок, товарищи! И я одного только не пойму — или он и по сю пору слишком малый для нас тот урок?

Вот как спросил, как выступил для первого раза Брусенков.

И споры прекратились, и нормы самообложения были приняты.

Когда нормы были приняты, на короткий миг снова поднялся Брусенков.

— Вот так!— сказал он громко, всему съезду.— Вот так! Теперь — все ясно и понятно!

Однако споры, возникшие при обсуждении этих норм обложения, как-то приглушили духовой оркестр,

до того времени неизменно сопровождавший почти каждое выступление, тем более — каждую резолюцию, когда она проходила голосованием.

Оркестр замешкался, и тут же слово взял Глухов.

Глухов Петр Петрович — представитель карасуковской делегации и ее руководитель.

Нынче нельзя было в нем узнать ходока, который в драной-рваной рубашонке месяц назад являлся в Соленую Падь: поверх черной плисовой рубахи — пиджак с длинными, почти до колен полами, сшит совершенно по-крестьянски, а между тем фабричной работы, вовсе не домотканый. Борода аккуратная, волосы на голове не кудлатые, а расчесаны, смазаны обильно.

Он был торжественный, Петр Петрович Глухов, и торжественно сделал съезду заявление:

— Именем народа создается Карасуковская народная федеративная республика! В этой республике,— пояснял он далее,— законы самые демократические, а именно: земля закрепляется за тем, кто ее обрабатывал последних три года, то есть при всех государственных режимах не покидал ее. Вся остальная, необработанная,— объявляется достоянием народа, передается в каждое сельское общество для распределения в последующие годы между теми хозяевами, которые обязуются ее возделывать, без потери земельного плодородия, а, наоборот, торжественно обещают ее, матушкино плодородие и силу, год от году повышать, даже не столь для себя лично, как ради будущих наших сыновьев и внуков. Это есть самое главное и самое нерушимое правило подлинно народной власти: кто работает, тот ест и владеет!

Налоги взимаются в порядке прямо пропорциональном доходу, а не прогрессивно. Это соответствует условиям, при которых ничто не сдерживает развития производственных сил — каждый заинтересован как можно более создать ценностей и для себя, и в равной степени для государства народного.

Конфискации у трудового населения отменяются раз и навсегда. Это соответствует первому условию справедливости, ибо изъятие плодов труда у человека, эти плоды создавшего, есть надругательство над человеком, над самой идеей труда и худший вид эксплуатации человека человеком, а экономически это есть подрубание сука, на котором развивается государство, какую бы политическую платформу оно ни осуществляло.

Тут Петр Петрович Глухов помолчал. Стало понятно, что все это были цветочки, о ягодках он скажет сейчас.

И Глухов в самом деле поднял обе руки, еще утишил слушателей, а потом пояснил, что:

— Карасуковская республика твердо стоит на платформе Советской власти. Однако она учитывает, что любая партийность — это прежде всего утеснение, причем утеснение прежде всего трудящегося — крестьянина и рабочего. Служащего партийность не касается, даже наоборот,— он от нее получает жалованье. Нетрудовому элементу, тунеядцу — тому тоже наплевать на все; как всегда, страдает в первую очередь производитель материальных ценностей. Интерес трудящегося — это не партийный интерес, а чисто производительный, то есть, чтобы как можно больше производить самого разного продукта, а также чтобы на тот свой честный и трудовой заработок приобретать для себя как можно более разных материальных и духовных ценностей. Отсюда Карасуковская всенародная республика торжественно и провозглашает Советскую власть, только без коммунистов!

И Глухов сошел с трибуны и сел в президиум, в котором сидели старейшины всех делегаций, члены главного штаба и еще целый ряд лиц, выбранных в результате голосования при открытии съезда. Однако прежде чем сесть, Глухов обернулся к слушателям, крикнул громко, ясно, по-молодому:

— Советской власти — ур-ра!

«Ура» закричали многие, хотя и очень быстро замолкли, а Глухов поклонился делегатам, тогда уже окончательно и сел на свое место.

К нему посыпались вопросы:

— Почему Карасуковская республика желает называться федеративной?

— Потому что к ней могут присоединяться все другие желающие!— ответил Глухов, привстав.

— Хотя бы и Соленая Падь?

— Хотя бы и она.

— А кто-нибудь уже присоединился к федерации?

— Близко к присоединению стоит Заеланская степь.

— Иначе говоря, тот самый Куличенко?

— Тот самый. Народный герой. Истинный защитник трудящегося человечества.

Брусенков сидел рядом с Глуховым, смотрел на него, не спуская глаз. Смотрел, слушал, слегка все время бледнея.

Потом он подвинулся к Глухову, выбрал момент и успел его тоже спросить:

— Я всегда говорил, Петро Петрович,— зря мы тебя выпустили тот раз живым из Соленой Пади. Вишь, каким ты к нам уже вернулся! Жизнь-то подтверждает, а?

— Правильно,— тоже торопливо кивнул ему Глухов,— она подтверждает, что я обязательно должон быть живым и здравствующим! То есть еще сказать — жизнь, она во мне сильно заинтересованная, одинаково, как и я в ней. Худо ей без меня!

И Глухов поглядел вокруг, а потом стал отвечать уже на следующий вопрос, поступивший из сумеречной глубины амбара.

Тут Брусенков разыскал взглядом лысую голову Кондратьева и вместе со своим табуретом перешел к нему вплотную:

— Ну, как? Как, товарищ Кондратьев? Может, еще подождешь, покуда вместо нас Советскую власть сделает товарищ Глухов?— И он еще продолжал вопросы, но матросик Говоров, который всегда был рядом с Кондратьевым и сейчас тоже не изменил своему правилу, ответил за товарища:

— Спокойно, товарищ Брусенков, спокойно!

— Это Мещеряков может быть нынче спокойный — у него с Глуховым дружба! А моей спокойности откуда взяться?

Опять пожал плечами и опять пустил дымок матросик Говоров:

— Ой, гляди, как он хочет с других шерсть стричь, шкуры снимать, товарищ Глухов! Очень хочет! И с ним надо также — остричь догола, после — содрать шкуру, ну, а после — видно будет. Мещеряков с ним хорошо начал. Очень правильно начал!

— От них, от Глуховых вреда больше, чем шерсти. Всегда и несравненно!

— И все ж таки сначала его следует оголить!

Между тем вопросы к Глухову все продолжались.

— Почему делегация карасуковцев присутствует в Соленой Пади? Не лучше ли было бы ей на съезде в Моряшихе?

— Нам хорошо хотя здесь, хотя и там. Мы всех понимаем, и нас тоже все. Это потому, что партийная

грызня — нам чуждая по духу, а истинная народность у нас ближе всего к сердцу.

— Все ж таки — присутствует ли ваша делегация в Моряшихе?

— Все ж таки присутствует.

— Кто будет за главного в Карасуковской республике? Не товарищ ли Глухов?

— Очень может быть, что он. Но только в начале самом надо договориться в отношении платформы. Личность же — это дело махонькое.

— По какому списку голосовал в семнадцатом году, товарищ Глухов, в Учредительное собрание? По списку номер два? По эсеровскому?

Тут кто-то еще крикнул:

— Или по номеру четвертому — казачьему?

— Или по пятому — кадетскому?

— Я не голосовал,— ответил Глухов,— не принимал участия. Сказать прямо, так за меня голосовали. То есть за мой взгляд на всю жизнь и человеческую судьбу.

Уже стал заметно волноваться и Глухов. Однако все еще отвечал бойко, уверенно.

— Значит, ты был членом учредиловки?

— Не успел. Покуда ехал в город Питер, учредиловки уже не оказалось. Вся вышла.

— И сильно ты жалел по этой причине?

— Не сильно. Там ведь правда, что засели слишком эсеры, слишком правые. Они-то и разозлили большевиков. А надо было по-хорошему, то есть сказать за Советскую власть полностью, но опять-таки не сильно большевистскую, а на началах народности. Пущаи политики занимаются речами, агитацией и даже пропагандой — это который раз бывает интересно, а когда так и нужно. Но только делом будем заниматься мы — кто умеет, у кого дело не пойдет вкривь да вкось, в бесхозяйственность и в недостачу!

— Ты, Глухов, контрреволюционер?

— Ни в коем, сказать, случае! Я — душой за революцию, только за ту, которую те же самые большевики с самого начала народу обещали: за скорую, бескровную и справедливую!

— Ты, Глухов, значит, за то, чтобы свято место было пусто?

— То есть?

— Или ты не понимаешь — в революции пустоты не может быть? Не будет большевиков — будут эсеры. Не

будет эсеров — будет монарх. Не понимаешь либо ищешь себе дивиденду?

— Я от этакой революции дивиденду иметь не могу: в ей нету середки, а есть одне только партийные крайности! И какой бы край ни взял верх, он все одно будет не по истинному смыслу и разуму, а лишь по силе обстоятельств, сложенных революцией. Отсюда — я не против, чтобы революция голосовала за тебя, дорогой, лишь бы за меня голосовала мирная жизнь!

А тут как раз кто-то в этот напряженный момент закричал, что на съезде присутствуют казаки — шесть человек.

Все стали глядеть кругом: где они такие, не с Глуховым ли вместе прибыли?

Председатель мандатной комиссии сделал разъяснение, что казаки являются делегатами от станиц, уже не первый день присоединившихся к народному восстанию, выбраны по закону, присутствуют по закону, к Глухову и ко всей карасуковской делегации никакого отношения не имеют.

Однако все равно пришлось поставить вопрос на голосование. За оставление казаков на съезде и признание их делегатских прав с решающим голосом было подавляющее большинство, как раз карасуковцы только и голосовали против. С перепугу, должно быть.

Карасуковским и в самом деле ничего хорошего ожидать сейчас не приходилось. Уже чувствовалось — им надо искать спасения. И тут как раз выступил председатель северного района — урманный главком.

Делегатом он не был, гостем — тоже, явился сам по себе, но слово взял и заговорил, налившись кровью в круглом лице, снова и снова хватаясь за огромную кобуру.

— Товарищи,— кричал он.— Братья и сыновья! Власть и начальство — оно есть власть и начальство! Все одно, какое и с какой платформы взятое! И царь-инператор может быть хороший, и мужик, нами же избранный, может оказаться плохой, во сто крат хужее! Как, скажем, материнство для женщины: инператрица — мать, и крестьянская баба — мать,— оне одинаково любят свое дите, так же инператор или мужик и рабочий у власти: оне одинаково же любят сперва свою собственную власть, а уж после — все остальное на свете! Взять и наш избранный на Первом съезде главный штаб — да он грызется внутре себя из-за власти убий-

ственно! К чему это говорю — что он худой, надо избрать других? Ну, выбирайте другого, так и другой зачнет тотчас же уничтожать тех, кто его выбирал, ставил на должность! И чтобы не было ошибки — вообще не надо власти! Долой ее к чертовой матери и во веки веков! Провозгласим этот истинно революционный лозунг на своих знаменах и пойдем по всему миру. Не сразу добьемся, но пойдем раз, и два, и три, а до своего конца дойдем. Ура!

Встал Брусенков, подошел к Довгалю. Наклонился к нему:

— Лука! Бери свое слово, Лука! Бери сию же минуту!

— А ты? Ты сам?

И Петрович, который вел нынешнее заседание, уже объявил:

— Слово имеет товарищ Лука Довгаль!

— Это чего же ради проливается кровь?— начал свою речь Довгаль с вопроса. Спросил — замолчал. Замолчал упрямо, будто бы ничего не хотел больше сказать. Ни одного слова. Потом сказал:— Неужели мы — человечество — настолько уже бессмысленные, что страдаем, уничтожаем друг дружку и не понимаем — чего все это ради? Безвластие, да? Так в ту же минуту явится самое нечеловеческое насилие. А если власть — она непременная, то сделаем же ее сами и для себя, сколь у нас есть ума и справедливости. И если она обязательно должна находиться в руках — пусть находится в трудящихся руках: их числом более всего на свете, они заслужили этого за века страданий и унижений, на их истинно держится мир! А когда власть должна быть у класса, то у него должна быть и партия, ибо класс без партии — все одно, что народ без класса: людей много, а идею нести некому. Товарищ делегат Глухов по причине своей беспартийности представляет себя самым справедливым. Он сам себе светлое будущее, сам себе великая идея, сам себе непорочная справедливость и светоч разума! Но его светоч — собственная его выгода. Это он, эсер, требовал братоубийственной войны, и когда заключен был Брестский мир, он сказал: «Неблагородно!» Ему нужны были Дарданеллы, беспошлинно возить через их свой хлеб и наживаться на этом, он и был патриотом войны, а когда кровавую грязь и страдания народ захотел с себя смыть, он говорит народу: «Неблагородно!» Ах ты, гад благородный, да мне

даже все равно, кто тебя повесит: Советская власть или Колчак!

И еще говорил Довгаль, и рукоплескал Довгалю съезд. Громко аплодировали ему Брусенков, Петрович, матросик Говоров и Кондратьев, все делегаты.

Еще громче, чем прежде, прогремел оркестр: две трубы, кларнет и барабан. Корнет-а-пистон молчал, у него случилась поломка.

Все заседания, не пропуская ни часа, ни минуты, Тася Черненко сидела в президиуме, у самого краешка стола.

Она сидела вблизи от трибуны, глядела в спины ораторов, слушала их, но не слышала: следила за Петровичем. Его движения, голос, появление за столом президиума, каждый его уход — а он то и дело исчезал куда-то — настораживали ее, она становилась все внимательнее, все опытнее в своем внимании к нему.

Допрос, который учинил ей Петрович в выселке Протяжном,— был как насилие, но она отнеслась к этому насилию с презрением. Мысленно повторяя разговор в протяжинской избе, где на темном потолке был неровный известковый крест, Тася Черненко снова утверждалась в том презрении, которое она сумела выразить под этим крестом, сумела сделать это презрение существом своих ответов Петровичу, бесстрашием к ее возможному осуждению, безучастием к ее собственному оправданию.

Тася Черненко была благодарна судьбе за то, что ей выпал случай вот так презреть, хотя она давно уже не произносила и тоже презирала это слово «судьба».

После допроса и чрезвычайного заседания в Протяжном она пошла за Петровичем, вместе с ним была в араре под Моряшихой и дальше, дальше следовала за ним все эти дни — ради чего?

Чтобы еще дальше и больше его разгадать, а потом еще больше презреть.

Чтобы быть готовой к предстоящему, еще более жестокому столкновению с ним, ко второму допросу, который обязательно учинит или он ей, или она ему. Не от нее зависело, кто возьмет верх — Брусенков или Петрович, но тем сильнее было ее желание какого-то конца, развязки, когда она в любом случае и в любых обстоятельствах подавит этого небольшого, умного, хитрого, рассудительного, горячего, а может быть, даже и выдающегося человека.

Тася Черненко замечала что-то неоправданное в себе, даже что-то кощунственное в том, как жадно следит она за Петровичем, изучает его здесь, во время чтения деклараций и воззваний.

Потом успокоилась: теперь уже скоро наступит момент — и продолжится суд, который не закончился в Протяжном, на чрезвычайном совещании.

Но ничего не кончилось. Все продолжалось.

Брусенков и к самой-то Тасе с некоторых пор относился настороженно, недоверчиво — он имел на это право, в этом его праве Тася опять-таки ничуть не сомневалась. Наоборот — настороженный брусенковский взгляд, который она вдруг улавливала на себе, ей был необходим...

Коломиец, Толя Стрельников — молчаливо сидели в президиуме, каждый день на одних и тех же местах и с одним и тем же выражением ожидания — ждали того решительного момента, когда они безоговорочно должны будут поддержать Брусенкова. Ждали...

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

А белые, неуклонно приближаясь к Соленой Пади, теснили партизанские полки, несмотря на то, что комдив-один, бывший комполка двадцать четыре, все еще нападал на них, наносил им на маршах удары.

Хотя приказом штаба армии было создано несколько дивизий, сам штаб свои приказы и распоряжения все еще посылал непосредственно командирам полков, потом — комдиву-один, и в последнюю очередь — комдивам-два и три. Не упрочились до сего дня дивизии, а комдив-один как бы занял место Крекотеня.

Мещеряков же снова перенес свой штаб в Соленую Падь, снова целиком и полностью был занят подготовкой к оборонительному сражению. Он сам располагал полки в обороне, с командным составом — вплоть до ротных и взводных — лично прорабатывал сигналы связи, устанавливал пристрелочные ориентиры, разыгрывал примеры по взаимодействию.

И комиссар Петрович тоже день и ночь неустанно готовился к сражению — на него были возложены обязанности вести агитацию в партизанской армии и в армии противника, подготовить лазареты, патронные лаборатории.

Подготовить арару.

В крайнем, только в самом крайнем случае арара могла вступить в дело. Но ведь крайний случай тоже мог случиться?

И желающих бежать с ararой было не счесть — все старики, все ребятишки. Народ шел в арару как бы со счастьем. Сознательно шел на жертву, организованно шел. Но странно — стояла арара перед глазами Мещерякова нынче все время. И даже когда он забегал на съезд, слушал речи и воззвания, видение это — как выметнулись пестрые кони и безоружные люди на увал, под серенькое небо, под Моряшиху — все время возникало перед ним. Неотступно.

Он вглядывался в ряды делегатов, в лица... То и дело ему приходила мысль — тот вот, бородатый, в посконной рубахе и с грудью настежь, с медным большим крестом среди кудрявого грудного волоса, вполне мог быть в араре под Моряшихой?.. Это Мещерякова сильно смущало.

А между тем съезд главкому всякий раз, как появлялся он в президиуме, провозглашал «ура!» и «да здравствует!», ораторы то и дело упоминали его в своих речах: «бесстрашный главком».

И Довгаль и Петрович, который тоже лишь время от времени забегал на съезд, даже Брусенков — все подсказывали ему, чтобы он произнес речь.

Брусенков, тот уже давно ждал — когда же наконец главком заговорит? Чем скорее заговорит, тем Брусенкову лучше — будет время возразить, вступить в спор. Но Мещеряков молчал.

Речей он говорить нынче не мог...

Уберегал себя для предстоящего сражения, для самой главной и всеобщей надежды, о которой даже здесь, на съезде, и то стеснялись очень-то громко говорить. Опять и опять на эту надежду вдруг надвигалось видение арары, а то с минуты на минуту начинал Мещеряков ждать еще какого-то известия, которым сражение о себе подскажет.

Он так долго и трудно к этому сражению приближался, так много о нем думал, что и оно должно было подумать о Мещерякове — высказать о себе какой-то намек...

И ведь дождался!

Гришка Лыткин поманил его, явившись в распахнутых воротах амбара. Гришка был в новых сапогах, в портупее, с биноклем на черном ремне.

Он стоял в воротах — многие делегаты на него глядели, он тоже на многих глядел, но по тому, как был подан Гришкой знак, Мещеряков сразу же понял, что дело срочное и вполне серьезное, отлагательства не терпит.

Когда шли в штаб армии, переходили через площадь все с теми же, еще более, чем прежде, побитыми лавчонками торговых рядов, Гришка пояснил:

— Перебежчик, товарищ главнокомандующий, к нам прибыли. Желають говорить только с вами и с товарищем Петровичем, более ни с кем. Товарища Безродного, того даже нисколько не признают за начальника. Предъявили пропуск, нами же заброшенный на белую территорию для прохождения к нам, более — ничего.

В штабе, в собственной мещеряковской комнате с чернилкой-непроливашкой на столе, уже были Безродных и Петрович.

А в углу, у самого входа, сидел этот перебежчик, по званию — старший унтер. Вид почти что справный, одет по форме и со знаками различия. Вместо поясного ремня шинелька перехвачена мужицкой опояской,— это уже кто-то из партизан не смог вытерпеть — погоны на унтере оставил, а ремень снял.

И лицо — не так давно бритое, настоящее унтерское лицо кадровой службы, со строгостью и с готовностью. А еще — с какой-то отчаянностью.

— Садись!— кивнул Мещеряков унтеру, потому что тот моментально вскочил, как только распахнулась дверь.

— Унтер сорок первого полка Лепурников Федор Козьмич!— в ответ сказал перебежчик, откозырял. Унтер был без подделки...

Мещеряков отложил все обычные вопросы — как пришел, кто привел, кто командир полка и сколько в полку солдат, офицеров, пулеметов,— а спросил сразу же:

— Зачем явился?

Лепурников смешался. Он, должно быть, тоже допрашивал пленных, знал порядок. Порядка не было, он и смешался.

— Ну?

— Явился сообщить... Явился сообщить,— повторил он снова тихо и медленно, уставившись небольшими сощуренными глазами в окно, а потом крикнул громко и глядя прямо на Мещерякова:— Сорок первый полк во время предстоящего боя готов перейти на вашу сторону!

Мещеряков не ответил. Сел. Стал набивать трубку и унтеру протянул кисет. Тогда уже и спросил:

— В полном составе желает перейти?.. Куришь?

— Так точно! В полном... Курю. Но, верите ли... верите ли — не тянет нынче на курево. Не могу.

— Да ну-у?

— Точно так. Сам не знаю, почему могло случиться. Непонятно.

— Сорок первый полк в разное время нами был сильно побитый. И в Малышкином Яру, и в других местах. Но все одно в нем, надо думать, не одна сотня живых людей еще остается. От чьего имени говоришь?

— От имени всего, можно сказать, личного состава, шестьсот человек. Кроме лишь офицерского. Но есть и офицеры, и даже половина, как не более, тоже пойдут к вам. Один командир батальона среди таковых. Поскольку он же состоит в тайном комитете по этому делу.

— В каком комитете? У вас что — они тоже имеются в достаточном количестве?

— Комитет — для перехода на вашу сторону.

— Имеешь ли что от этого комитета? Какую бумажку?

— Это невозможно!

— Почему?

— Схватят и найдут бумажку!— Унтер вытер лоб, опять уставился в окно.— Не говоря о себе — постреляют половину полка. И не ошибутся, тех постреляют, кто в комитете. Вообще — кто настроен в пользу красных.

— Как же это смогут догадаться?

— Не надо догадываться. За каждым из таких когда-нибудь, а услышано слово, либо письмо просмотрено, либо неуважение к старшему замечено. Всем таким и сделают список, потом скомандуют три шага вперед.

— Не получается у тебя, унтер Лепурников: полк готовый чуть ли не весь перейти на красную сторону, а одному перебежать нельзя — схватят? Кто же схватит, кто расстреляет, когда едва ли не все в одном сговоре состоят?

— И состоят, и схватят, и расстреляют...— сказал унтер снова, будто в первый раз оглядев Мещерякова.—

Все под страхом. Всё сделают. Что прикажут, то и сделают.

— А кого же бояться? Самих себя?

— Именно! Именно! — обрадовался вдруг унтер. — Самих себя — это обязательно! Колчака мы боимся, чехов — боимся, красных — боимся, но больше — самих себя! Каждый же на тебя может донести, настукать, себе благонадежность приобресть. Потому что без благонадежности тебя тут же пошлют под самый смертоносный огонь, и вы меня убьете. Того и убьете в первую очередь, который об вас сказал хорошее слово. И всюду так. Самые благонадежные полковники и генералы — оне при самом же Колчаке в городе Омске, а здесь — в ихних глазах уже чем-то замаранные.

Мещеряков перестал курить. Молчаливый начштабарм Безродных вдруг поежился, сказал торопливо:

— Дальше?

— Иду к вам, а отчего? От страху! Перейти — больше шансов, что живой будешь! — сказал дальше унтер.

— И вот так вы каждый божий день думаете? — спросил Мещеряков.

— Вот так.

— А ночью?

— Еще более того. В самом бы деле — будьте любезны закурить, а?

Свертывая цигарку, унтер просыпал махорку на пол и на колени — мимо клочка потертой газетной бумаги.

Мещеряков протянул ему еще, но и у него табачок тоже вдруг заморосил из щепотки куда-то в сторону, а Петрович, не сказавший до сих пор ни слова, спросил:

— Ты что же это, Ефрем?

— Страшно... — помотал вдруг туда и сюда головой с прикрытыми глазами Мещеряков. — Неужто не страшно — под таким ежеминутным страхом жить?.. Ты погляди, какое существо это — человек! И на съезде нынче он провозглашает воззвания, и в страхе ежеминутном перед своим товарищем — он же? Непонятно. Ты вот что, Лепурников, ты все ж таки под страхом пошел или еще и под правдой шагнул сколько-то?

Унтер долго затягивался, покуда ответил:

— Не знаю. Но только вот сейчас будто бы свободнее мне. Дышу. Курю.

Еще подумал Мещеряков.

— Хорошо: после допросу я могу тебя отпустить обратно. Вернешься, объяснишь как-никак начальству свою отлучку.

— Этого нельзя. Невозможно, нет! — воскликнул унтер, опять забыл про курево, зажал цигарку в кулаке. — Уже лучше вы меня стреляйте, чем они. Гораздо лучше! — Резко наклонился к Мещерякову, спросил: — Ну, так спрашивайте! Спрашивайте — за тем и шел... Ну!

Оказался унтер писарем полковой канцелярии. Через него проходило множество самых разных и самых секретных бумаг, он сам еще недавно подписывался как «чиновник военного времени» и тоже недавно за какую-то провинность, за какие-то неблагонадежные слова был послан в строй.

Он знал много.

Сказал, что сорок первый полк будет наступать с правого фланга, вдоль бора, что все колонны белых уже послезавтра на рассвете будут под Соленой Падью и тогда же вступят в бой, что для подкрепления ожидается еще кавалерийская часть, только навряд ли она успеет к началу боя, что броневики на железнодорожной ветке под Милославской должны, по всей видимости, не столько действовать, сколько отвлекать силы партизан на другое направление.

Подтвердил, что белое командование самым главным очагом большевизма по-прежнему считает Луговской штаб, а Кондратьева — самым опасным большевиком.

Он говорил, захлебываясь, торопясь, то об одном, то о другом. Писали допрос и Безродных и Петрович — едва успевали записывать. Потом унтер, схватив Мещерякова за руку, спросил:

— Живого меня оставите? Все ж таки?

— Когда не делаешь нам провокацию, когда сам по себе не будешь такой страшный — оставим...— сказал Мещеряков и поспешил крикнуть Гришке Лыткину в коридор, чтобы перебежчика отвели в арестантское помещение. Под строгую охрану.

В комнате в табачном дыму на столе отсвечивали бумажки только что снятого допроса.

— Покудова надо исходить из того, — сказал Мещеряков, — что все здесь сказано было правильно. Перед самым же началом боя постараться выяснить положение. Чтобы не было ошибки.

— Как выяснить? — спросил Петрович.

Безродных повторил:

— Как?

Мещеряков, стоя посреди комнаты, закинул руки за спину.

— Ну, когда сами не придумаем, дело подскажет!

И тут захотелось Мещерякову снова быть на съезде, страшно захотелось в помещение бывшей кузодеевской торговли. Но уже позднее было время, и Мещеряков остался в штабе, так и провел там всю ночь, без сна. Все думал и думал: верить ли Лепурникову? Верить ли в сорок первый колчаковский полк? Не дрогнет ли он в самую последнюю минуту? Такие вот военные сомнения — они гораздо хуже, чем сама война... Едва дождался Мещеряков рассвета.

Едва дождался, когда снова и как будто бы уже привычно от длинного стола президиума, который был составлен из разных и коротеньких столиков, открылась сумеречная и, показалось Мещерякову, долгожданно-спокойная глубина бывшего кузодеевского амбара с ломкими рядами скамей и табуреток, с поднятыми кверху оглоблями и жердями по углам бывшей завозни, с распахнутыми воротами, через которые падал в амбар неяркий свет зачинающегося осеннего рассвета. Было шесть часов утра, наступал последний день работы съезда.

Президиум — так уж было принято — занимал свои места раньше, чем все другие делегаты, уже сидел в полном составе.

Пришел и сел с края того длинного стола, поближе к выходу и Мещеряков, усталый после этой ночи, после встречи с унтером Лепурниковым, которая и до сих пор не давала ему покоя. Сидели — курили... Не то чтобы совещались официально, но и не без дела сидели — обсуждали вопросы.

Мещеряков пригляделся: Брусенков, Довгаль, Стрельников, Черненко, Кондратьев с Говоровым, Петрович — да мало ли еще знакомых? Начальников районных штабов, завотделами главного штаба?.. Мало ли вот так же все эти люди собирались, заседали, судили друг друга, подписывали разные протоколы и решения! В Соленой Пади! В Протяжном!

Только теперь Таисия Черненко неизменно сидела подле Петровича. Рядом с ним сидела, Брусенкова же разглядывала издалека... А еще — все эти люди были

нынче не сами по себе, были на народе. На съезде. Съезд в каждом из них по-своему присутствовал.

Сколько спорили они между собою, сколько друг друга судили, а нынче, должно быть, предстоял спор над спорами, суд над судами...

И ждали все какого-то особо решительного момента, и Мещеряков впервые подумал, что сражение, которое он ждет послезавтра, может, по-своему начинается сегодня. Может быть, уже и началось? Незаметно, без выстрелов. Одними только речами.

Это его удивило, эта догадка. А тут как раз в тот самый момент заговорил Брусенков:

— Что же, ты и сейчас против, товарищ Кондратьев, чтобы нынче же нам образоваться в Советскую власть? Объявиться ею? А когда так — сегодня же и будем голосовать вопрос на съезде. Им оттуда,— махнул Брусенков в глубину амбара,— виднее, как нам отсюдова. Я просто хотел выяснить отдельные мнения здесь,— слегка потопал ногой по деревянному настилу.— Иначе Советская власть придет — не сильно похвалит нас, что мы ее по сей день стеснялись.

Обернулся Довгаль:

— Я тоже и еще раз мнение говорю: мы, может, и самые истинные борцы за Советы, но это еще не обязательно, что мы ее истинные же представители! Хочу с ней, с настоящей, держать совет — достойный ли я ее? Могу ли ею быть? Я того не знаю. А ты, Брусенков, знаешь об себе? Ты не боишься нашу победу покалечить на глазах у всех, как было уже в восемнадцатом годе? Одно — это объявить себя частью Российской Советской Республики, признать все ее законы, другое — самим себя назвать Советской властью. Совсем другое!

— Ты, верно что, Довгаль, ровно мальчик...— удивленно и сердито развел длинными руками Брусенков.— Да разве ты правильно ставишь вопрос? Разве дело во мне? Дело нынче в обстоятельствах! Не сделаю я — сделает Глухов. Слышал ты Глухова либо не слышал?

— Я слышал. И опять говорю, что все принимаю — краевой Совет заместо главного штаба, инструкцию по организации Советской власти на местах, но только с заметкой: личный состав наших Советов — он должен быть временный, впредь до прихода Красной Армии. И Реввоенсовета. А теперешнее единогласие, когда его добьется товарищ Брусенков при голосовании вопроса, оно мне не нужное. Зачем мне «за» товарища Глухова?

К чему? Чтобы он им после похвалялся? И цеплялся бы за его? И твердил, что он тоже Советская власть?

— Ну что же, заканчиваем разговор,— сказал тогда Брусенков.— Вопрос, значит, за тем, кто будет избранный нынче председателем краевого Совета. Это и будет истинное голосование — не столько по личности, сколько по принципу. Ибо невозможно бороться за власть и от нее же уходить, ее бояться. Нет, невозможно! Поглядим...— И Брусенков поглядел на лица членов президиума, на ряды делегатов, уже заполнивших помещение, на свои руки, вытянув их перед собою...— Между прочим,— сказал он,— вот и решаются все нерешенные недоразумения, бывшие среди нас уже сильно долгое время. Тем самым — предстоящим голосованием — они непременно уже решатся, равно как и все наши действия нынче же запишутся в историю то ли как хорошие, то ли как плохие и недопустимо ошибочные. Народ в лице нашего нынешнего съезда, он способен все это нынче же понять и решить, иначе какая, спрашиваю, всему народу и его съезду цена, если он на это не способный?!

— А ты демократ, товарищ Брусенков!— ответил Брусенкову Петрович.— Сильный демократ... Удивительный!

Первым взял слово опять Глухов. Опять поднялся на трибуну. Съезд слушать его не хотел, свистел и шумел, а он все равно поднялся, руку поднял кверху, борода у него тоже приподнялась, и он объявил об уходе карасуковской делегации со съезда.

— Мы, карасуковцы,— гласило его заявление,— есть крестьяне. Крестьянин есть хозяин. Пусть встанет тот крестьянин и заявит гласно, что он не хочет быть хозяином! Таких нету. И не может быть в природе. Потому — мы блюдем хозяйский интерес, а когда совершаем революцию, то она ничто без того же интересу. Одне слова, и только. Нам власть нужна — хозяйская над хозяевами. А вовсе — не бесхозная. Уходим на моряшихинский съезд. Встретимся через год либо два, когда вы все — деятели нынешней словесной нивы — придете к нам за хлебушком и даже, может быть, за всей прочей жизнью!

В молчании оторопевшего собрания карасуковцы и еще два человека из числа шести казачьих делегатов прошли между рядами, прошли через распахнутые ворота. Совсем ушли.

Только спустя минуту раздались свист и крики, даже ругань понеслась вслед.

Кондратьев вел нынешнее заседание, он объявил:

— Продолжаем работу! От нас ушли, кому с нами не по пути! Это для нас к лучшему. Продолжаем работу!

Брусенков показал в амбар пальцем, сказал Довгалю:

— Вот хады! Восприняли этого хозяина! Этого Глухова! Он-то ушел, а делегаты теперь уже не столь слушают речи, как каждый видит себя хозяином... Коней на ограде своей видит, телушек разных... Оглушил он их, Глухов. Оглушил. Уж это точно.

Довгаль — потому что он, хотя и мельком, хотя и глубоко где-то в себе, только-только подумал о делегатах то же самое — рассердился на Брусенкова, покраснел, глядя на него.

— Ну? Ведь Глухов-то от нас ушел? Ушел, тем самым уже ничуть не угрожает, что сделается нашей же властью?— засмеялся Брусенков, а Довгаль промолчал.

А события между тем шли своим порядком.

По примерзшим уже колеям застукали-застукали перед амбаром колеса, много колес, много копыт. Съезд замер, прислушался: что случилось, откуда стук? Оказалось — чуть ли не половина моряшихинского съезда прибыла в Соленую Падь. Земская затея рассыпалась в прах, и теперь неизвестно стало — куда и к кому отправились карасуковцы во главе с товарищем Глуховым? Должно быть, на пустое место.

Вновь прибывшие еще стеснили ряды, а когда притихли горячие объятия, бурные приветствия, один из прибывших поднялся на трибуну, объяснил мотивы разрыва с моряшихинским съездом и прочитал следующую «декларацию в принципе»:

— «Товарищи трудящиеся, крестьянство и рабочие — делегаты второго съезда республики Соленая Падь!

Мы, первоначальные участники съезда в Моряшихе, порываем с ним и приходим к вам.

Мы порываем с политической платформой, которая по сей день ищет союза со своим поработителем — буржуазией. Мы приходим к лозунгу пролетарской революции как к мировой, победоносной и единственно правильной идее.

Мы раз и навсегда порываем со всеми формами буржуазного правления, а торжественно обещаем поддерживать Советскую власть.

Еще в 1906 году моряшихинский волостной съезд выработал и принял наказ членам Государственной думы первого созыва с требованием политических свобод.

Тогда же большинством голосов мы приняли платформу социал-революционеров, но — увы! — это чуть не привело нас к погибели. К дорогому нам старинному знамени «Земли и воли» все больше подползало врагов, которые хотели вырвать у нас красное знамя, созданное из пота и крови рабочих и крестьян. И зашли мы в тупик. Но явилась партия мирового пролетариата, и снова пошли трудящиеся, униженные и оскорбленные, торжественно водружать обновленное красное знамя на самой вершине счастья всего трудового народа.

За два с половиной последних года мы перепробовали всякое: белое, красное, голубое, черное, разноцветное! Анархистов, монархов, буржуев, земство, эсеров, областников, временных, постоянных, верховных, местных, союзных! Никто нам не власть, а только — истязания, побор и предательство.

И нас на зубах перепробовали все, но не нашлось зубов, по которым мы пришлись бы в самый раз.

И осталась среди этого хаоса одна надежда — Советская власть, Совет Народных Комиссаров. И за нее, последнюю эту светлую и самую надежную надежду, мы пойдем хотя бы на край света!»

Бушевал съезд, приветствуя «декларацию в принципе», громыхала в помещении бывшей кузодеевской торговли буря.

Перед самой трибуной, справа от президиума, басовито, нестройно и не сразу вступал в эту бурю оркестр: о-о-о... у-у-у... а-а-а...— каждая на свой лад выводили трубы, а потом все как одна вдруг выговорили:

...из-бав-лень-я!!!

А тогда уже и человеческие самые разные голоса стали присоединяться к одному медному голосу:

...ни бог, ни царь и не герой...

Пели все: кто умел петь, кто не пел никогда в жизни:

— Вот!— сказал Брусенков Довгалю, наклонившись к нему близко и перебивая его непривычный к пению, но вдохновенный голос:— Поешь? Поешь, а сам же страшишься своей собственной руки? Как же это ты так, товарищ Довгаль? Как же?

Довгаль пел. Когда пение смолкло наконец и делегаты успокоились, Брусенков уже обращался к новоприбывшим с вопросом:

— Дорогие товарищи!— спрашивал он.— По каким пунктам вы раскололись на своем съезде в Моряшихе? Прошу дать нам разъяснение!

Разъяснение было дано.

Раскол в Моряшихе произошел при обсуждении «мирной ноты» колчаковцев.

Эта нота, направленная губернскими властями партизанской республике, была опубликована во втором номере газеты «Серп и молот», в номере же третьем помещен редакционный ответ с примечанием: «Вместо ранее обещанной нашим читателям статьи «Уроки прошлого и настоящего».

Правоэсеровская группа моряшихинского съезда считала ответ газеты на «мирную ноту» совершенно недопустимым, большинство же горячо его поддержало. Тут и произошел раскол.

«Мирная нота к повстанцам» была следующего содержания:

«С каждой загубленной жизнью земля лишается пахаря, завод — работника, школа — учителя, семья — кормильца, государство — гражданина. Чем больше мы, русские, обескровим наше государство, нашу мать-родину, тем большее историческое преступление мы совершим против самих себя.

Наши неурядицы радуют наших иностранных врагов. И наши заграничные «друзья» только выигрывают: мы у них покупаем обмундирование, снаряжение. Россия опускается в глазах других народов, своими руками мы вырываем себе могилу...

Чем дальше продолжается кровавый пир, тем дальше мы отходим от намеченных революцией идеалов — равенство, братство, свобода,— тем дольше тормозим созыв истинного хозяина русской земли — всероссийского Учредительного собрания...— Хищные волки рыскают в поле и гложут трупы лучших сынов России,

черные вороны клюют их застывшие глаза. Люди тоже становятся хищными зверями, преступниками в силу злого исторического рока, и наряду с нашим экономическим обнищанием открывается неизмеримая бездна нашего падения.

Русские люди, очнитесь!

Оружием друг друга мы не убедим и не утешим, а только обессилим на радость иноземных «друзей» и врагов. Приступим к мирному улаживанию нашего семейного спора. Поговорим о задачах и делах. Поговорим как люди, а не как звери. И, может быть, есть еще возможность объединения и сплочения всех нас вокруг непартийных программ и восстановления великой демократической России через Учредительное собрание. Взаимно мы должны быть снисходительны друг к другу и друг друга строго не судить...

Уже объявлена полная амнистия всем повстанцам, добровольно сложившим оружие. Можете верить в искренность и высокие побудительные причины этого шага. Кого же это не удовлетворяет, кто желает договориться по политическим вопросам объединения вокруг лозунга воссоздания великой России, те пусть посылают делегатов к командующему войсками в полной уверенности, что ваши делегаты будут выслушаны и беспрепятственно пропущены обратно.

Если вы пожелаете, будут посланы к вам наши делегаты, если начальники ваших повстанческих отрядов гарантируют им неприкосновенность и свободный возврат».

Ответ газеты «Серп и молот» на эту ноту категорически отвергал «мирное» предложение. «...Мы слишком хорошо знаем, с кем имеем дело! — писала газета.— Не вам говорить об историческом преступлении — это лицемерие, плохо прикрытое фиговым листком. История для вас представляется в виде продажной женщины, которую можно утилизировать за медный грош. Что же касается упоминания о государстве, то у трудового народа свой государственный идеал — идеал советской, народной, трудовой социалистической республики, но не ваш растленный идеал государства-паразита и денежного мешка. Культурные варвары, зоологические звероподобные типы, вампиры земного мира! До каких пор вы будете кощунствовать? Палачи! Остановитесь! Вы уже произнесли себе смертный приговор!

Ха-ха-ха! Учредительное собрание! Мы не караси-идеалисты, чтобы добровольно снова идти на вашу сковородочку! Мы прекрасно видим, что под именем вашего лозунга готовится петля всему трудовому народу.

Не обманете!

Вы повторяете собою историю Римской империи в последний ее период. Вот с чем можно сравнить положение мировой буржуазии, в частности российской. И современный русский Нерон — Колчак подтверждает это своими действиями на каждом шагу. Недаром богомольные крестьяне называют его антихристом...

Господин управляющий губернией! Вы изучали социальные науки во Франции, знаем также, что вы участвовали в вооруженном восстании в декабре 1905 года, знаем, что вы были убежденным террористом. Следовательно, вы прекрасно знаете, что революционный пролетариат и трудовое крестьянство, с одной стороны, и буржуазия — с другой,— такая же семья, как сожительство волка с овцами. Но вам приходится лгать на каждом шагу, толкуя о «семейном споре». Ренегат, вы предлагаете нам переговорить о «наших» задачах и целях! Наши задачи и цели, как небо от земли, далеки от ваших грабительских, и объединение, да еще на основе так называемых «непартийных лозунгов и программ», представляет из себя жалкую улыбку. Что касается до «великой демократической России», то она осуществится только через труп Колчака. «Мы должны быть снисходительны друг к другу». Что за жалкие слова! В этих словах видна фигура пресмыкающегося гада, который молит о пощаде. И это вы делаете попытку войти в мирные переговоры после всех сделанных вами чудовищных злодеяний, перед которыми бледнеют ужасы средневековья?! Все повстанцы отвечают вам решительно — слишком поздно! Поздно! Повстанцы все, как один, говорят вместе с замученным крестьянством: будьте прокляты!

Мы представителей не пошлем. Уже слишком много делегаций погибло в ваших кровавых лапах. Присылайте вы делегата. Гарантируем ему неприкосновенность и свободный возврат».

«Ответ» был принят вторым съездом Освобожденной территории как резолюция. После слов о государстве денежного мешка были внесены строки:

«Ваше «государство» задушило всю самодеятельность трудового народа: свободу слова, собраний, печати

и союзов, которые необходимы, как главный стимул гражданственности для совершенствования народной нравственности. Это государство опирается, должно быть, на майора-дворянина Полюнина, начальника карательного отряда, который, лично застрелив партизана, кормил теплыми человеческими мозгами армейского попугая!»

После же слов: «Повстанцы все, как один, говорят вместе с замученным крестьянством...» — было записано:

«Вы знаете отлично, что в Сибири более сорока крестьянских фронтов. Красная Армия не сегодня завтра овладеет Омском. И вот разбойники и авантюристы вздумали миловать честных людей! Пользуйтесь — казните еще все благородное, все, что способно строить для страны и народа. Вам недолго осталось! Спешите! Обращайтесь с вашими приказами и воззваниями к тем, кто пресмыкается перед вашими погонами и кошельками, но мы — свободные граждане, а не рабы!»

Еще раздались требования:

— Воззвать к иностранцам!

— Ответить земству!

— Обратиться к бывшим фронтовикам!

— Обратиться ко всем на свете! Всем объяснить! Всему миру!

Тут, в этот момент, и встал Брусенков для внеочередного заявления о порядке работы съезда. Заявление было: приступить к перевыборам. Момент вполне для этого созрел. Безусловно созрело и другое решение — новым органом власти на Освобожденной территории должен быть уже не прежний главный штаб, не временный орган управления, а постоянный краевой Совет крестьянских и рабочих депутатов. Только он.

Новый краевой Совет продолжит работу главного штаба в двух основных направлениях: укрепит внутренний порядок на Освобожденной территории и окажет всемерную поддержку крестьянской Красной Армии в ее героической борьбе с врагом.

— Как мы, главный штаб, делали до сего дня эту помощь героической народной армии? — спросил сам себя Брусенков.— Мы очень всесторонне делали ее. Когда не было надежды одеть армейцев к зиме в овчинные полушубки, то главный штаб произвел по всей Освобожденной территории заготовку собачины, и нын-

че армия сплошь будет одетая в собачьи шкуры. А когда проводили людскую мобилизацию, то в прифронтовой полосе призывали мужские возраста в самую последнюю очередь. Результат отнюдь не плачевный, а положительный. Во-первых, в этих районах все мужское население и без призыва, добровольно вступало в армию. А во-вторых, поскольку белые проводили усиленную мобилизацию, а красные — нет, мужчины призывных возрастов перебегали на красную сторону, а потом — куда было деваться перебежчикам? Да опять же в нашу партизанскую армию, только уже в качестве добровольцев. Больше вовсе некуда!

Съезд принял этот ответ главного штаба, лично Брусенкова.

— Ну и Брусенков — лис двухголовый!

— С им не пропадешь, хотя и сильный стрелок по попам, даже — по гражданскому населению!

— И конфискатор знаменитый!

Возгласы с мест закончились, закончил свое заявление и Брусенков.

— А нынче будет у нас та истинная Советская власть, за которую мы сейчас боремся и впредь будем так же геройски бороться!— заключил он.— Должна уже на практике осуществиться наша мечта и надежда! Пора! И когда придет российская Красная Армия, она встретит в Соленой Пади не Глуховых, не урманных главкомов — встретит свой собственный орган власти, которому только и останется сделать, что в действительности влиться в РСФСР. Пора,— опять повторил Брусенков, а потом неожиданно для всех и как будто для самого себя тоже еще продолжил выступление:— Хотя,— сказал он, переждав овации, которыми делегаты тут же выразили свою поддержку этому предложению,— хотя должен еще сказать съезду. Это мнение не единогласное среди членов нынешнего главного штаба. Еще имеется другое положение, по которому хотя и выбирается уже не главный штаб, а краевой Совет, но и Совет этот — тоже временный, поскольку он должен будет самораспуститься с приходом российской Красной Армии. Я лично в таком случае разницы между нынешним главным штабом и краевым Советом не замечаю, но вот, мне это известно, товарищ Кондратьев и вообще весь Луговской РРШ, товарищ Довгаль и некоторые, хотя и немногочисленные, другие лица держатся такого мнения. Я же уверенный, что всевозмож-

ные слова этот вопрос не решат, а решат самые выборы тех либо других лиц в новый орган власти. Предлагаю этот важнейший вопрос и поставить сейчас же...

Замолк съезд. В первый раз с тех пор, как он открылся, тихо вдруг стало под крышей бывшей кузодеевской торговли, под негустым сумраком, в котором сидели люди.

И Брусенков встрепенулся в этой тишине, еще что-то хотел сказать, еще воззвать, еще громко потребовать, но замешкался. Не сразу пришли к нему слова.

А в это время внес предложение Петрович — тоже по ходу работы съезда.

Сказал, что не понимает товарища Брусенкова: куда он торопится? Делегаты предлагают принять воззвания и обращения съезда к земству, к бывшим фронтовикам — ко всему свету, ко всему миру,— почему же их не принять? Почему сразу же бросаться к выборам? Сию же секунду? И Петрович поднял небольшой свой кулачок и предложил текст обращения к товарищам военнопленным:

— Вы сами были очевидцами жизни освободившейся России, товарищи военнопленные!— провозгласил он, обращаясь к кому-то, кто был далеко за деревянными стенами кузодеевского амбара.— Так неужели же вы хотите видеть Россию снова порабощенную? Неужели такого же порабощения вы ожидаете и для себя, когда возвратитесь к своим отцам, детям и женам? А если вы не хотите порабощения для себя, почему же хотите его для нас? Товарищи! Наша партизанская армия уже являет пример пролетарского единения: в ней сражаются мадьяры, австрияки, чехи, латыши, представители многих других народностей. Это — лишь начало великого и вечного единения. Отныне в мире будет не множество, а только два противника — трудящиеся и эксплуататоры. Национальная же рознь отошла в прошлое.

И Петрович сказал еще раз: «В прошлое!» — а потом подсел к Довгалю, стал с ним разговаривать, обращение же, которое он произнес, тотчас было принято без обсуждений, единогласно, и еще пошли и пошли на трибуну старейшины делегаций, делегаты с мест, каждый со своим воззванием, и съезд их слушал затаив дыхание, голосовал, принимал единогласно.

К крестьянству:

«Братья! Если мы теперь попятимся назад, что нас ожидает? Проклятье наших будущих поколений, так

как на них наложат тяжелое рабство, их будут продавать на базарах, как безмолвный скот. Об нас нечего и говорить — нам один конец...»

К бывшим фронтовикам:

«Вы, шедшие умирать под палкой Николая Второго! И не зная за что, гибли в Августовских лесах, Пинских болотах, в Карпатах и на Кавказе,— неужели теперь вы грудью не станете на защиту крестьянских прав?»

К иностранцам в Сибири:

«Вы, французы свободной республики и англичане ограниченной королевской власти, вы, чехи, поляки, итальянцы, румыны, сербы,— неужели вы позволите себе поддерживать самодержавие Колчака и заковывать русский народ в рабство? Все избранные нами учреждения при малейшем поползновении на самоуправление Колчак разгонял и расстреливал. Чего же желает трудовое крестьянство? Оно желает принять участие в государственном строительстве через своих представителей, избранных на основе прямого, равного и тайного голосования. Оно желает прекратить братоубийственную войну. Оно желает завязать дружественные отношения с иностранными народами, дабы навсегда избежать войн между ними. И мы, крестьяне, заявляем для сведения всех и всех иностранцев в Сибири: разговаривать с Колчаком будем только с оружием в руках!»

Мещеряков слушал. Воззвания слушал и себя тоже — свои мысли, разные свои заметки...

Никто как будто не обратил внимания, а вот он заметил, что на съезде появились еще два человека. Делегаты не делегаты, гости не гости, просто два лица — представители от Заеланской степи... Это его обрадовало несказанно — значит, Жгун жив, делает свое дело. Это не без его участия Заелань прислала представителей на съезд.

...Среди воззваний и обращений мелькнуло одно, тоже как будто никем не замеченное: делегация северной восставшей местности вопреки выступлению своего урманного главкома просила присоединить ее к Освобожденной территории.

Унтер Лепурников все время занимал Мещерякова. Нельзя ему было не поверить, а доверить можно ли?

Тут, на съезде,— слова, мысли и обращения людей друг к другу, множество слов, но никто не говорит, никто не учит, как выиграть у врага предстоящее сражение? Как?! Послушать ораторов, так оно будто бы

уже и выиграно и даже отчасти забыто и травкой поросло, а на самом деле?

Сражение, вот оно — остается сорок восемь часов, может, и того меньше. И ошибаться уже нельзя, некогда. Все ошибки и всегда-то делаются через нельзя, но уже совсем невозможно, совсем немыслимо было ему уйти нынче со съезда с какой-то ошибкой...

К земству:

«Может быть, земство объяснит нам: за что мы вели войну с Германией? А если не может объяснить, почему же до сих пор поддерживает тех, кто в эту преступную войну нас толкнул? Довольно нас дурачить! Где было земство, когда в Томске арестовывали думу? В Омске — вашу же эсеровскую директорию? Его тогда было не видно и не слышно, зато слышно теперь, когда надо уговаривать нас, наше честное возмущение и восстание. Где было оно, еще спросим мы, когда Колчак арестовал и расстрелял тех земских деятелей, которых мы действительно выбирали? Иуды, защищайтесь от Колчака сами, а не защищайте Колчака от нас! Уйдите с дороги».

К интеллигенции:

«Все, у кого в груди бьется сердце, а не простая мочалка, кто сохранил хоть каплю чести, у кого не совсем умерли лучшие порывы,— вы идите к нам!»

К правым эсерам:

— «Террор! Насилие!» — кричите вы громко, боги и ангелы террора, стараясь заглушить грохот истинной борьбы трудящегося за свободу и независимость. И за тридцать сребреников служите своим недавним врагам, в которых сами стреляли. Если бы убитый вами царский министр Столыпин — жесточайший враг трудящегося крестьянства — восстал из гроба, он был бы вам теперь покровителем, а вы ему — верными и пресмыкающимися лакеями...»

И только когда воззвания кончились, к делегатам снова обратился Петрович. Маленький и торжественный.

— Товарищи делегаты второго съезда Освобожденной территории! А теперь мы должны обратиться к самим себе, самих себя спросить: истинная ли мы Советская власть? Мы — это то самое и есть, за что идет наша борьба, или еще не то? Или нам лучше объявить себя властью временной, подождать ее, настоящую, сформироваться окончательно с приходом Красной российской

Армии и Реввоенсовета? Чтобы ни в коем случае не противопоставить себя ей, как это уже ошибочно и трагически случилось на некоторых партизанских фронтах? Пусть каждый задумается над этим вопросом всею силой своей души, своего ума и пусть выскажет здесь и сейчас свое решение!

Тотчас первым на вопрос откликнулся Брусенков.

— Что нам, товарищи, более всего нынче необходимое?— спросил он.— В нашей борьбе и в любой повседневности?! Единство нам совершенно необходимое! Не было единства у трудящегося — из-за того он и терпел сколь веков унижение и рабство. Без него народ не мог подняться и пойти, как один, к единой цели, а поднялся и пошел — оно ему стало того нужнее. Единство — это все одно что главная цель. Нету одного — нету и другого, потому что когда каждый видит цель своей борьбы как ему вздумается, то это уже начинается несерьезная блажь. От единства — и дисциплина, и храбрость, и организованность, а в результате — конечная и полная победа. С единством все можно, все видать — кто какой человек, на что годный: идти вперед либо бежать позади всех. Это строй, в котором у каждого свое место, в котором каждый черпает свое доверие друг к другу, черпает силу, чтобы перенести любую невзгоду, не заплакать, когда больно... И, товарищи, мне вовсе не понятно, почему по главному вопросу всего нашего существования и всей нашей борьбы некоторые товарищи стараются внести в трудящуюся среду раскол, сомнение, недоверие друг к другу и неверие в свои собственные силы? Подчеркиваю свое предложение — немедленно приступить к голосованию краевого Совета, и не какого-нибудь там временного, а подлинного и настоящего, с которым нам не стыдно уже будет встретить власть Совета Народных Комиссаров и слиться с ним воедино! Предлагаю голосовать за кандидатов в этот подлинный Совет!

Довгаль сказал коротко:

— Высказываю личное свое мнение. Я — за выборы краевого Совета. Но временного. И когда моя кандидатура будет нынче выдвигаться на голосование, то я заранее должен предупредить: не могу я еще сказать, будто Советская власть — это я и есть. Не могу! Нету на это у нас права, не позволяют мне этого моя совесть и моя сознательность. Никогда в жизни не позволю я себе забегать вперед ее!

— Слово имеет товарищ главнокомандующий объединенной Крестьянской Красной Армии товарищ Мещеряков Ефрем Николаевич! — объявил Кондратьев.

Объявил, даже не предупредив Мещерякова ни знаком, ни записочкой.

Минута настала долгая. Она давно должна была настать.

Что его слово будет — Мещеряков не сомневался, что оно будет вот сейчас, в этот самый миг, — оказалось для него неожиданным, застало врасплох.

Но, должно быть, неожиданность была нужна. Ради Брусенкова она была нужна, ради Толи Стрельникова, Коломийца, Таси Черненко — это в их лицах заметил Мещеряков растерянность, это их он должен был застигнуть врасплох.

Тихо и почти ни для кого не заметно происходило сейчас событие: Брусенков снова вышел против Кондратьева, против Петровича, против Мещерякова — тоже.

И так же тихо-спокойно и даже незаметно следовало брусенковский вызов принять.

И Мещеряков кивнул Петровичу, своему комиссару: «Ну, когда так...»

Взошел на трибуну и сказал:

— Есть ли у кого сомнения, будто наша партизанская армия борется за подлинную Советскую власть? Нету таких сомнений и не может быть, а ведь не объявляет же наша армия сама себя Красной и российской? Не делает этого самозванства. Та придет, и придет уже скоро и неизбежно, и мы своими вполне боеспособными силами, призывными возрастами вольемся в нее для окончательной победы над ненавистным врагом по всей Сибири, во всем Дальнем Востоке, когда потребуется — то и во всем мире. Так будет. И я считаю, что это есть правильный и единственный пример и для нашей гражданской власти. Считаю, что истинное выступление и в полной справедливости сделал только что с этой же самой трибуны товарищ Довгаль. По высокой совести и славе нашей борьбы сделал он!.. — Еще раз передохнул Мещеряков: «Раз, два, три!..» — А когда так, то я и выдвигаю его кандидатом на предстоящее сейчас голосование. Еще разрешите заверить съезд в предстоящей победе нашей армии над врагами сибирского крестьянства и всего человечества. Ура! — поднял над головой руку с папахой. — Еще раз провозглашаю наш

девиз: земля — крестьянам, фабрики — рабочим и свобода — всему трудящемуся народу! Будем же завтра, а все может быть,— и сегодня, биться за справедливость так, как никогда в жизни еще не бились, принесем за нее последние жертвы, чтобы навсегда избавиться от любого порабощения и несправедливости. Ура! Ур-ра!

И, четко повернувшись на каблуках, взяв под козырек, Мещеряков прошел к своему месту за столом президиума. И стоял там строго, неподвижно и очень долго, покуда окончательно не умолкло «ур-ра!».

На том же заседании съезда открытым голосованием председателем краевого Совета депутатов трудящихся был выбран товарищ Довгаль. Заместителем его по гражданской части — товарищ Брусенков, по части военной, с оставлением в должности политического комиссара ОККА, был выбран товарищ Петрович.

Уже в темноте закончился съезд.

Ребятишки разобрали по домам скамьи и табуретки.

Захлопнулись ворота кузодеевского амбара, снова тишиной и мраком наполнилось внутри огромное его нутро.

Позже других шли со съезда Брусенков и Довгаль.

— Вот так... Так вот...— медленно-медленно выговаривал слова Брусенков.— Да-а... Ну, я думаю, Лука, дела ты будешь принимать от меня уже после сражения. Конечно, после. Да и какая тут предстоит особая сдача? Ты и всегда-то был в курсе моих дел, Лука. Так вот... Вот так... Мы же с тобой сработаемся, Лука? Раз и навсегда?

Довгаль слушал рассеянно.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Накануне сражения Дора ждала мужа.

Светила керосиновая лампа — Гришка Лыткин расстарался, достал где-то полную четверть керосина, и теперь освещалась в своей горнице не только Дора, но и весь звягинцевский дом стоял в свету, тепло попахивая керосинным запахом.

Наташке не спалось, она лежала на койке, глядела в потолок или еще куда-то осоловелыми глазенками. Косички на ночь не распустила, они обвились вкруг запрокинутых за голову ручонок вместе с неяркими полосками света.

Ниночка посапывала в люльке, иногда вздрагивала тельцем — ей в тот миг, может быть, снова мерещилась темная и душная глубина стога,— а то вдруг чему-то она во сне смеялась. Тихо, но явственно.

Петрунька спал на сундуке, голова вся развихренная, кулачонки сжаты... Будто бы бежал-бежал и со всего разбега споткнулся о сундук, пал на него и тотчас беспробудно уснул. И во сне — вояка, и все еще мчится куда-то, кого-то догоняет. Мать глядит на него...

Отцов сын, и она же сама час от часу, день ото дня воспитывает в нем отцовское и все то, от которого сама больше всех страдает. Сама страдает, а для какой-то другой растит следующего Мещерякова, и где-то, в какой-то избе, вот так же, как сейчас Наташка, может быть, тоже не спит еще одна крохотная женщина с разметанными на стороны косичками, уже не спит, но еще не знает, отчего ей не спится... Или они в самом деле глупые создания, эти женщины,— не могут хотя бы между собой раз навсегда условиться, чтобы друг другу-то не делать зла? А если глупые, отчего же как раз от них — вся жизнь?

Пахло детишками, их сном и снами. Пахло матерью — ее бессонницей.

Перед наступлением белых наступала темная осенняя ночь: в окно еще недавно брезжил свет, но минул час — и уже ничего не видать, ни зги.

Уже многие жители Соленой Пади забились в подполья. Узлы и сундучишки стояли наготове и у Звягинцевых в сенцах, лежали в телегах... На случай, если противник сделает прорыв, ринется в село. Или зажжет его артиллерийским огнем. Или главком Мещеряков отдаст приказ эвакуироваться...

Стукнула дверь — одна, другая, скрипнули одна за другой половицы, огонек мигнул в лампе и чуть упрятался вниз, а потом снова вскочил наверх, и вот он сам на пороге — этот главком... Наташка шевельнулась, выпростала было ручонки из-под головы, мать торопливо кинула на нее первую попавшуюся лопотинку, закрыла с головой.

И та, уже накрытая, резко повернулась на бок, замерла.

— Здравствуй, Дора!— сказал Ефрем тихо и ласково.— Здравствуй!— повторил еще раз.

Дора молча отошла к темному окну, опустилась подле него на табуретку.

Ефрем тотчас раскрыл Наташку, зажмуренную, погладил по головенке, прижал к подушке и строго наказал:

— Спи! — Закрыл всю до пяток снова.

Подошел к Петруньке — этого тронул за нос. Подошел к Ниночке, оттопырил у себя на левой руке мизинец, осторожно и удивленно шевельнул им губки, сложенные бантиком...

Он самым крохотным всегда удивлялся, особенно когда они спят. А когда не спят — боялся крохотушек, подолгу и осторожно рассматривал. Единственно, кого и боялся, — так это младенцев.

Дора ждала, что он еще скажет. И себя ждала — что скажет, что сделает она.

Ефрем повернулся от люльки, раскинул руки, зевнул, потянулся всей грудью и ногами тоже, привстал на носки уже заметно поблекших, но все еще поскрипывающих сапог.

— И устал я, слышь, Дора-а-а...

Растянул тело туда и сюда, быстро и круто поворачиваясь, закинул руки за голову.

Когда замер, внимательно еще раз оглядев ребятишек и Дору, приказал серьезно, строго:

— Принеси-ка краюшку! Чесноку спроси у хозяев. Когда не окажется — луковицу хотя бы обыкновенную. Еще — воды холодной.

Дора знала, к чему все это нужно. Встала молча, пошла. По тем же половицам, которые только что под ним скрипели, под его сапогами.

Покуда ходила — он опять глядел на Ниночку то с одной, то с другой стороны люльки, подвешенной низко, у самого пола, чтобы Наташке легче было водиться с сестренкой. Сгибался, закинув руки за спину. За этим Дора и застала его, вернувшись.

Ел и пил молча.

Огромным складнем нарезал куски, цедил, булькая, воду через край стеклянной кринки, ухватывая ее поперек будто бы и не очень большой рукой в самом широком месте и не роняя ни капли ни на грудь, ни на лицо. Кое-когда давил большим пальцем на чесночную луковицу, выдавливал из нее один зубок, обшелушивал и кидал в рот.

Ополовинил все — половину краюхи, половину кринки, половину луковицы.

«Сейчас ладонью сметет со стола...» — подумала Дора.

Он смел ладонью быстро-быстро.

«Сейчас уже все и составит на столе...»

Он составил — краюху прижал к зеленоватому потному стеклу кринки, стекло от этого будто еще позеленело, на хлеб сверху приладил поблескивающую обнаженной середкой чесночную луковицу. Обернулся и спросил:

— Сердитая? Еще?

Дора не ответила, обернулась к стене.

— Не забыла?

— Нет. Не забыла.

— Ты скажи — долго как. А — забудь!

— Не в силах.

— Да-а...— задумчиво и медленно сказал Ефрем.— Да-а... Это кто же нас, мужиков, будет прощать? Кому мы признаваться будем?

— Не знаю... Возьму вот и уйду с ребятишками. Навсегда. Куда-нибудь. В стог обратно. Во тьму! В глухоту! Веришь ли — мне там было легче, как здесь, с тобою!

— Да-а...— задумчиво и медленно повторил Ефрем.— Да-а. А все ж таки кто нас, мужиков, будет прощать? За все? Я многих осудил, и меня — тоже судили, и война — тот же суд люди делают друг другу. Убьют — это не страшно, для мертвого даже смерти нет, а прощение? От кого оно будет?

— Так ничего и не боишься по сю пору, Ефрем? Неужели?

— А вот — боюсь. Сильно боюсь. Ужасно!

— Кого же?— спросила Дора, встрепенувшись в полутьме, спросила с надеждой и со страхом:— Кого же?

— Боюсь я, Дора, вдруг опять придется не солдатами, не мужиками, а бабами и ребятишками воевать? Боюсь арары! И клянусь, клянусь уже на сколько разов, что ни за что на свете больше на это не пойду — а вдруг? Это и есть — страх... С мужиками мне и после того будет житься, я все ихние суды прошел, а с тобой? Как дальше буду с тобой? С детишками?— кивнул в сторону Ниночкиной люльки, вздохнул тяжко.

— Жалеешь? Женщин и детишек жалеешь?

— Пуще всего — самого себя. Какой я главком, солдат и мужчина, какой отец после бабьей и детской войны? Их побьют, а я останусь после того живой, а?

— Чужая кровь на тебе застывает, Ефрем, это верно. Не то что на других. Но — я все могу, я смою с тебя все, только жалей меня, бойся вот так же боли моей и печали! Не то — возьму и уйду от тебя вовсе. В стог в темный обратно. Куда глаза глядят уйду. Оставайся один.

— Этого не может быть. Не сделаешь, нет!

И вздохнул Ефрем длинным-длинным, скорбным вздохом. Скучное стало у него лицо, тоскливое. Теперь он устал весь, и руки у него устали по-настоящему, он положил их на стол, на них положил голову. Ту самую, за которую Колчак назначил большие деньги.

— Все из-за прасолихи, да?— спросил ее.

— И еще — за штабную Черненко тоже обижаюсь. За которой ты ночь прогонялся, сражения не принял.

— Это ты зря! Вовсе ничего не было, вовсе ничего не могло быть. Там, наоборот,— тьфу!— и больше ничего! Хотя сказать — это все одно... Единственный был случай или нет — не все ли одно? Сильно ты задетая?

— Ефрем, будет ли у тебя когда время понять меня? Исстрадалась я, Ефрем, ужасно. А страдание — оно глаза не открывает, нет. Оно их закрывает на все. Кроме одного — то же самое свое страдание женщина только и видит. Я в этом не виновата, Ефрем, пойми. Ну пойми?!

— А я, что же, по сю пору беспонятливый был?

— Ефрем, это, может, от войны все происходит с тобой?

— От нее — тоже...

— С каждым божьим днем все меньше и меньше меня становится в жизни, Ефрем. Там мелькну, здесь мелькну, только и есть — мелькание одно. Ехала, в стоге маялась в сенном, в глухоте — едва не прокляла и себя, и тебя, и детишек наших... Чего ради?

Спросила, но ответа не ждала. Даже боялась ответа.

Ей обиднее и горше было бы, если бы он сказал: «Я тебя не звал! Я тебя уговаривал в Верстове оставаться. Глупо это — ехать, ребятишек маять до полусмерти, мне мешать в военных моих действиях!» И еще и еще он мог бы ей отвечать точно так, как Дора не раз и не два от его имени самой себе отвечала, как упрекала самое себя... Страшно забоялась, что эти знаемые слова

он ей сию минуту и скажет. Но он не сказал. Ничего не сказал, не ответил. Догадался, что так ответить невозможно. Он всегда-то обо многом догадывался, но только все равно делал по-своему. Словом же никогда ее, ни разу в жизни не обидел. И сейчас вздохнул:

— Действительно, какая жизнь?

И вот — много ли ей было надо — она уже была ему благодарна за то, что он не обидел ее снова, еще раз.

— Убило бы, что ли, тебя, Ефрем? Либо меня?

— Ну, это ты напрасно... Все ж таки жизнь — куда лучше, как смерть. Ведь не в плену же мы, и не нищие ходим, и не украли ничего. Делаем победу. И сделаем ее, а с нее — новую жизнь.

— Мне свое нужно, Ефрем. Свое, не чужое.

— Конечно...— согласился он.— Правильно: мужику, ему надо все чужое, все — всеобщее. А женщине — ей свое и свое.

— Завтра тебе сражаться. Отдыхай. Ты сейчас вот ляжешь, уснешь. Уснешь ведь?

— Усну... В этот раз — даже перед сражением усну. Необходимо.

— Завидная жизнь...

Спал, как ребенок,— на спине, разметав руки. В шароварах и без гимнастерки. Гимнастерка, наган, трубка, бинокль, шашка — в головах. В ногах — сапоги, пятками вместе, носками врозь. Часы отдал ей в руки. Дышал ровно, спокойно, шевеля на груди желтый цыплячий пух.

Дора глядела — боялась, что убьют его завтра. Что не убьют и на всю жизнь он останется такой, как есть. Что не сможет его бросить. Что бросит его. Не знала — разбудить его, броситься перед ним на колени, просить прощенья или — проклясть, чтобы он ужаснулся наконец, почуял бы однажды в жизни страх и бессилие, узнал бы, что это такое...

Разбудила в назначенный час, минута в минуту, долго перед тем и напряженно вглядываясь в стрелки часов.

Разбудила и прильнула к его губам — коротко, для самой себя неожиданно и страшно.

Он протянул к ней руки.

— Все, Ефрем,— сказала она, отстранившись.— Не спрашивай меня нынче ничего больше. И не говори ничего. Все!

Тогда он быстро вскочил, быстро оделся, опять подошел ко всем троим ребятишкам, опять каждого коснулся.

Нету, нету таких напутствий, таких проклятий, таких мужчин и женщин, чтобы пригасить в нем жизнь, ну, хотя бы одной его жилки, одного мускула на лице, на руке, на длинных его пальцах с узкими ногтями, уже посветлевшими без мужицкой работы, тоже пронизанными тонкими жилками... Мужики из многих-многих тысяч выбрали вот этого одного, главного над собою, командира и повелителя, если дело пошло о жизни их и о смерти...

Положил на плечо Доре эту свою напряженную, быструю руку. Наказал:

— Будь здоровая, Дора! Не вздумай скучать! Не вздумай!

Наклонился, поцеловал в лоб и ушел, еще улыбнувшись из дверного проема.

Стояла глухая, застывшая темь без ветра, без звука... Загрести в ладонь эту тьму, смять, бросить под ноги или размазать по лицу и то можно было. Можно было в нее входить, чувствовать, как в это же время она входит в тебя, можно было угадывать в ней шею и голову гнедого, свою руку с поводом, обмотанным вокруг кисти.

В Соленой Пади — ни огонька, собаки и те не лаяли, затаились. И кони не ржали. Начали голосить петухи — поперхнулись, не получилось у них.

А ведь людей в Соленой Пади и под нею, в окопах,— тысячи...

Молчали партизаны. Молчали белые. Все молчали.

Ехал Мещеряков, вспоминал: когда же это было в последний раз, чтобы не он нападал, а ждал бы нападения на себя? На германской было. В нынешней войне не случалось, и вот отвык он от этого, и томительным, тягостным было для него ожидание.

Грохот орудий скорее бы, и атака противника на линию окопов, и контратака эскадрона с Большого Увала, и переход сорок первого белогвардейского полка на сторону партизан — все-все скорее бы!

Медленно двигалось время, почти не двигалось, а все равно не давало Мещерякову послушать самого себя перед сражением, как это обычно бывало, когда он сам назначал и час, и место начала боевых действий.

Приблизившись к позициям все в той же кромешной тьме, он выслушал разведчиков: белые заняли исходные рубежи верстах в двух, в трех и еще продолжали подходить их колонны и отдельные отряды с разных направлений. Сильно жгли деревни. Сгоняли людей.

Наконец едва-едва забрезжило чем-то белесым, сизым, капля за каплей.

Звезда погасла. Покуда горела, ее и совсем было незаметно...

Корова мыкнула.

Потом на стороне белых, на порядочном расстоянии, выстрел раздался.

Тут в партизанских окопах произошел шорох, шевеление, кто-то закашлял, кто-то сказал: «Ну, с богом!», а другой голос не очень громко стал понужать белых разными словами.

Мещеряков тоже ждал, ждал напряженно, но скоро понял, что выстрел ничего не значил. Так просто какой-нибудь солдатишка-новобранец нечаянно пальнул. Ему за это фельдфебель или взводный успел уже по морде, он уже объяснил: «Нечаянно, вашбродь, больше в жизнь не буду!», уже батальонный, а то и сам полковой командир присылал узнать, что за случай, почему пальба без приказа, и посыльный вернулся и тоже доложил по форме, что это просто так, но все ждут и ждут еще чего-то. Не верят, будто выстрел одиночный, ни в кого.

Зыбко стали просматриваться березовые рощи, земля в чешуе от инея и мелких ледовых лужиц; все стали глядеть — не подобрались ли все ж таки белые к окопам, минуя дозоры и передовое охранение... Нет, опять не было ничего.

— До какой степени боится тьмы проклятый этот беляк! — сказал Мещеряков, кивнув в ту сторону.— Шага не шагнет, покудова темно!

Еще ждали.

В десять ноль-ноль противник беглым артиллерийским огнем по очереди — с одной, с другой, с третьей закрытой позиции — обстрелял окопы. По порядку: начал с левого фланга, со стороны бора, кончил на Большом Увале.

Снаряды все, как один, сделали перелет, все угадали в ту низину, на дне которой лежали соленопадские озера — пресное, подернувшееся тонким ледком, и соленое, чуть посиневшее с холоду, но даже без заберегов...

Мещеряков снова представил себе: теперь белые артиллерийские офицеры сидят на деревьях, коченелыми от холода руками держат бинокли, цепляются за сучья и сильно, по-барски, матерятся; им разрывов в низине не видать, недолет они засекут, перелет нет как нет! Вот скорректируй тут огонь, сделай вилку! Нет, не просто так, не без ума окопы сделаны у партизан — как раз на линии перелома местности. И трофейные орудия партизанской армии Мещеряков тоже приказал установить на взгорочке между двумя оврагами. Взгорок и вовсе не пристреляешь: там и перелет и недолет будут прятаться в оврагах и маскировку не скоро различишь. Орудий этих хотя и немного, но похоже, что повоюют они нынче хорошо.

По селу противник пока что не стрелял. Воздерживался. Однако чем меньше у него будет успеха в стрельбе по окопам, тем скорее воздержание это может кончиться...

Пока он и еще побил по Большому Увалу. Господствующая высота — он, конечно, был заинтересован захватить ее поскорее. Но там и оборона была покрепче, и подступы потяжелее, и на случай контратаки стояли три мещеряковских эскадрона.

Опять Мещеряков с облегчением подумал, что артобстрел — это начало наступления. Но нет, ничего не началось, ничем кончилась стрельба.

Не очень даже скрываясь, он проехал вдоль линии окопов.

Пока ехал, раза два или три на той стороне, вне досягаемости прицельного ружейно-пулеметного огня, проскакали небольшие конные подразделения, потом приближались тачанки, открывали огонь из пулеметов и, не причинив потерь, уходили снова.

Партизаны молчали.

Только в полдень они впервые открыли огонь, это когда белая кавалерия — сотни две — пошла на Увал, за кавалерией — с батальон пехоты. Этот бросок отбит был тоже легко, белые сначала залегли в ближайшем колке и в кустарниках, после отступили на исходный рубеж, кавалерия их, оставив на земле убитого казака, ускакала.

Непонятно было, чего ради они все это делают. Или хотели выманить партизан с Увала? Или помотать нервы?

Мещеряков двинулся на свой левый фланг. В бору, около лаборатории для заправки гильз, он застал Петровича, и тот будто бы нисколько не нервничал. «Не может быть?» — подумал Мещеряков. Не поверил Петровичу.

Они сели на пенек, закурили. Не разговор, но потомились вместе минуту-другую.

Посидели рядом два человека. Хотя один из них уже не раз и не два сильно выручал другого, хотя один другому не уступит ни в храбрости, ни в идейности и оба солдаты одной армии,— до сих пор вот так молча они еще не сидели, плечом не чувствовали плеча... Больше ругались между собою.

Иней не таял, морозец крепчал, небо прояснилось. Все это было для партизан вовсе не плохо: они могли за сутки и раз и другой в окопах смениться, отогреться в крайних избах села — там бабы кипятили самовары, в чугунах варили щи и кашу. Прямо-таки настоящие питательные армейские пункты, даже самогонка запрещена строго-настрого.

А белым в это же время серый волк — ближний друг, и синяя прозрачная покрышка над головой.

И, подумав обо всем этом, Мещеряков рассудил, что навряд ли все-таки беляки отложат штурм хотя бы до завтра. Как только подтянутся все их силы, так и бросятся в бой. Ночевать под открытым небом им сильно не захочется...

Поделился мыслями с Петровичем, а тот коричневыми глазами на него глянул радостно, окончательно выдал себя, свое неспокойствие. Спросил Мещерякова:

— Надеешься на сорок первый ихний полк? Все-таки?

— Все-таки надеяться страшно. Не надеяться, упустить случай — глупо. Нельзя унтера Лепурникова не принять в расчет. Будто его и вовсе не было!

Тогда Петрович спросил, известно ли ему, что белые сгоняют людей со всех сел. Мещеряков вздохнул, ответил: это ему известно, но такие известия сплошь и рядом бывают сильно преувеличенными.

— Устрашают беляки народ... И сильно устрашают, не думают, как это против них же обернется.

И с тем и с другим замечанием главкома Петрович согласился. Как не согласиться, когда еще вчера они вместе поставили перед своим левофланговым двадцать вторым полком задачу — сразу же, как только белые —

сорок первый полк — сдадутся, обезоружить их и вдоль бора быстро двигаться во фланг и тыл противника, демонстрировать прорыв, а потом и в самом деле нанести ему удар. В это время с другого фланга, с Увала, кавалеристы и красные соколы под командованием Громыхалова и Андраши тоже должны будут сделать прорыв и охват. Но сделать его скрытно.

Так замышлялось...

А Петрович-то опять был не один, опять поблизости от него Таисия Черненко.

Это как же так могло случиться? С каких-то пор, с тех самых, как Петрович допрашивал арестованную Черненко в Протяжном, она вдруг стала следовать за ним. Как тень. Сердитая и неизбежная. «Когда бы сам этого не видел — не поверил бы сроду!— снова удивился Мещеряков.— Но верь не верь, а так оно и есть!»

Тася Черненко, видать, смущала комиссара Петровича, смущала сильно, но он держался, будто бы ничего за нею не замечал. Правильно делал — после сражения можно будет заметить, выговорить ей, но только после сражения.

На Тасе был мужской, сильно потрепанный полушубок, и слишком длинные рукава она отогнула шерстью вверх, на голове у нее — тоже мужской треух, на ногах — пимишки и кожаные залатанные чуни. Не сразу узнаешь... То была тоненькая, гибкая, злющая хворостинка, а стала широкой. Но злость осталась в ней прежняя, на Мещерякова поглядела ненароком, а злость этим взглядом успела высказать. Мещеряков нынче замечал все... Быстро замечал, но как-то мимо себя.

В окопах было множество партизанского войска — овчинного и домотканого, бородатого, берданного и дымокурного... Поблизости от Мещерякова оно стихало, стеснялось своего главнокомандующего, поодаль било в ладоши, рассказывало побасенки, скалило зубы, но не могло скрыть, что ему все ж таки страшновато.

Белая артиллерия и еще несколько раз примеривалась к позициям, пристреляться, не пристрелялась, но так как местами огонь был густой, кое-кого из партизан подранило.

У белого командования оставались в нынешнем дне считанные часы.

Жалко было Мещерякову этого дня: ни за что сгинул, ни войны, ни жизни — одно бесконечное ожидание.

Посматривал то и дело на часы, а вслед за ним всякий раз глядел в огромную луковицу с серебряной цепью адъютант Струков, так же нетерпеливо, так же щурясь глазом, глядел на солнце, не очень соображая, почему это делает главком.

Гришка, тот морщился на солнце без конца. А вот комдив-один сказал толково:

— Часа через два, может, все греться пойдем? По избам?

Мещеряков пожал плечами.

Все кругом уже заметно блекло в ясном и погожем дне, солнышко поторапливалось за Большой Увал, за бурую речку Падуху; с земли стал подыматься морозный дымок — пожалуй, первый в этом году. Стал звонче воздух.

«Ну, все на сегодня!— подумал Мещеряков.— Однако, все!» И только хотел произнести слова вслух, как в этом воздухе, далеко-далеко на горизонте, что-то появилось, проступило сквозь предвечернюю даль...

Он вскинул бинокль.

Шли белые цепи, медленно всплывали в промежутках между березовыми колками — где гуще, где реже, но по всей местности, от бора и до Увала... Гуще на флангах, реже в центре. Не завязав еще ни одного частного боя, не прощупав партизанской обороны, шли.

До сих пор не сделав серьезной артподготовки, теперь они начали оглушительно рвать снарядами склон позади окопов, взбаламучивать воду озер. А сами шли...

И Мещеряков затаился в догадке: почему же идут? Все сразу?

Стал глядеть в бинокль и тут понял: впереди себя белые гнали «слезную стенку» — стариков, женщин, ребятишек... Сами ехали на крестьянских подводах, мужиков заставляли править конями. Кони старательно перебирали тонюсенькими, едва видимыми ножками, поторапливались в сторону партизанских окопов, затаившегося в этих окопах винтовочного и берданного огня... Кони рабочие, пахотные, войны не понимали.

Трудно было понять и отдельных людей: действительно шла человечья стенка — тусклая, уже не живая, еще не мертвая. Можно представить, как это все задыхалось сейчас и рыдало, но бинокль показывал людей беззвучных, безучастных.

Вот как начали сражение белые — с самой крайности, с крайней точки!

Вот как заставили своего солдата сражаться — на глазах у всех сделали его извергом, палачом, и каждый солдат теперь узнал, кто он, и ни один уже не мог ждать от партизан милости, ни одному не оставалось ничего, как только убивать, убивать кого и как попало либо самому быть убитым.

Вот к чему они шли, белые, выступив против Соленой Пади по разным дорогам еще месяц назад, еще — в военном строю, в полках, батальонах, ротах и взводах, при знаменах, боевых уставах и полковых священниках!

Самая страшная догадка осенила Мещерякова: рухнуло нынешнее сражение!!

В один миг!

Окопы, вся оборона, дислокации, все его планы и замыслы — все рухнуло, все теперь не на месте, все ни к чему: военного сражения так и не случится, случится побоище.

И главнокомандующий тоже рухнул со всеми своими обязанностями, со всеми задачами. Зачем он теперь, когда белые подрубили настоящее сражение на корню, подрубили и честь, и военное умение, сделали своих солдат бабами, баб — солдатами, рабочих коней в телегах пустили в атаку, детишек погнали впереди себя?

Испокон веков солдата учили, что он воюет ради счастья детишек, чтобы детишкам жилось легче и светлее, чем отцам, а тут вот что сделано: солдат это самое счастье понужает прикладом перед собою?

Задохнулся Ефрем. Заплакал Ефрем. Дико взвыл и бросил свою мерлушковую папаху обземь, на ледовые искры инея, покрывшего рыжеватую стерню, а Гришка Лыткин поднял папаху и подал ее обратно, а он опять бросил, а Гришка опять поднял, и глядели на эту бессмысленность партизаны из окопов...

И что бы там ни было, на какой бы позор ни толкали белые Ефрема — ему надо было идти, принимать на себя бесславие и любой мучительный суд хотя бы от самого себя, даже от своей собственной, а не чужой совести и чести... Надо было воевать против баб и ребятишек опять же бабами и ребятишками, то есть проклятой аварой.

Арара же была предусмотрена в партизанской обороне. Петрович взял на себя все заботы о ней, частично даже вооружил ее берданами, влил в нее работников главного и сельского штабов... Тася Черненко была все

время при Петровиче — так это еще и для связи между ним и арарой.

Тайно скрывалась арара в лесу — не только от глаз противника, но и от глаз главкома, от своих отцов, братьев и сыновей, которые занимали окопы, хотели воевать по-солдатски, а видеть в своем войске стариков и ребятишек не хотели.

Избивая гнедого нагайкой, Мещеряков кинулся на свой левый фланг. Как в пропасть.

А еще через минуту-другую туда же, на левый фланг, на полоску земли, которая отсвечивала зеленоватым светом, отраженным от тихого и спокойного леса, стало смотреть и все партизанское войско, из всех окопов. Там, по этой полоске, как по мосту, шел Мещеряков.

Он шел один, ведя в поводу гнедого. Когда Гришка Лыткин, а за Лыткиным Петрович, а за Петровичем Тася Черненко кинулись за ним, он выхватил наган, отогнал всех прочь, сунул наган обратно в кобуру и теперь шел быстро, в папахе, плотно надвинутой на лоб, в кожаной куртке, в сапогах — тоже весь отсвечивая теми же смешанными оттенками леса, тусклого, заходящего солнца и леденистого инея...

Пули посвистывали, но не сильно и не часто, унтер Лепурников не обманул — по флангу шел сорок первый полк, даже мелькнула уже знакомая толстая фигура батальонного командира, которую Мещеряков приметил еще перед сражением за Малышкин Яр... Полк шел один, без слезной стенки, отступя от леса с полверсты, обеспечивая фланг, шел неровными цепями, которые как будто и хотели выпрямиться, но не могли: одни бежали вперед, другие отставали, грудились, снова рассыпались. Что-то там происходило сейчас, что-то происходило?!

За Мещеряковым все-таки бросился Петрович — быстрая, отчаянная фигурка,— бежал, бежал, почти догнал, немного оставалось, но упал и не догнал. Мещеряков все шел, не оглядывался.

Потом и он остановился. Поднял руку, сорвал папаху и крикнул:

— Р-ребята! Люди! Сорок первый! Кто среди вас за мировую справедливость? Кто за ее — все ко мне! Кто хочет под красное знамя — ко мне!..— Прошел еще несколько шагов, еще приблизился к изломавшемуся

строю.— Все ко мне! И всех уничтожу, кто не будет вместе со мною и с трудящимся народом!

Пахнущие чужой солдатчиной шинели окружили его, глядели почему-то сплошь зелеными глазами, хватали его, схватили, кинули в воздух, закричали кто и что, но громче всего «ура!», «да здравствует!», он вырвался, и когда был уже в седле — кто-то выстрелил в него, а в того, кто выстрелил, в самую кокарду цевьем ударилась винтовка.

Еще он увидел неподалеку Тасю Черненко — она плакала. На полушубке, на вывернутых шерстью кверху рукавах была кровь, густая, сочившаяся будто бы из этой шерсти... Она плакала, а раненый или уже убитый лежал перед нею в невысокой стерне, но Мещерякова не пугала сейчас ни чья-то смерть, ни чье-то увечье, только этот Тасин плач — протяжный, не то бабий, не то ребячий, совсем детский — он услышал и дрогнул, хлестнул гнедого.

Нельзя было терять секунды.

В бору перед арарой опять нужно было обращаться к людям...

Члены бывшего главного штаба, ныне народные комиссары краевого Совета, и многие делегаты только что закончившегося второго съезда смотрели на Мещерякова из толпы. Но все равно, арара была арарой и ничем другим: рабочие коняги, которых не жалко уже и запалить и покалечить, кое-где мужики, остальные — женщины, дети и старики.

И Мещеряков поднялся на холмик, крупный и сыпучий песок которого сплетали узловатые, будто мертвые корни огромных сосен, положил шапку на луку седла, поклонился народу.

— Товарищи! Товарищи женщины, дети, преклонные мужчины! Вы уже видели сами и поняли без меня — нынче нам необходимо не только испугать противника своим видом и со стороны, нынче вам надлежит врезаться в его живые порядки с фланга и с тыла, ибо там, среди врагов и во вражеской глубине, такие же матери, престарелые отцы, дочери и сыночки, как вы сами. Нынче без вашего подвига ничто невозможно — ни победа, ни дальнейшая война, ни сама жизнь, ни возвращение обратно нашей Советской власти. Я прошу, товарищи, кто из вас вооруженные, а также и вовсе безоружные, но которые знают за собою смелость, храбрость и преданность идее,— прошу их быть впереди, вести

всех остальных героев за собою! Я, дорогие товарищи, разбиваю вас всех на три лавы, и первые пойдут и врежутся в самый ближайший белогвардейский строй, а другие чуть спустя тоже выйдут из бору и тоже это сделают в середине наступающих... Третьих поведу я, далее других... Нас в тот же миг поддержит армия из своих окопов, выйдя нам навстречу и в лобовой удар противнику, и вместе мы сделаем великий подвиг и победу! Ура!

У Луки Довгаля, который повел первый отряд, была пика, он уже сейчас держал ее сбоку обеими руками справа и коня поэтому тоже дергал все время вправо и вправо, конь ворочался по кругу, похрапывая, приседая на задние ноги... Мещеряков велел Довгалю держать пику одной рукой и лучше править. Довгаль твердил свое:

— Все! Все, Ефрем... Знаю, Ефрем! Скорее, Ефрем!

Вторую лаву повел старогоньбинский старикашка... На маленьком лохматом коньке за этим старикашкой неотступно следовал Власихин Яков. Бородатый и безмолвный, он будто бы стал подслеповат и боялся потерять из виду своего поводыря. Сделался крохотный — меньше безымянного старикашки все в тех же никуда не годных опорках.

А потом пошел и Мещеряков...

Уже Довгаль достиг фланга белых, и там ржали кони, подводчики с белыми солдатами и порожние гнали в разные стороны; левофланговый двадцать второй партизанский полк вышел из окопов, бежал вперед без выстрела.

Мещеряков шел все рысью, почти наметом, сбоку от него оказался Гришка Лыткин, а кто там был сзади — он не смотрел, не оглядывался.

Ему нужен был позади, за собою, конский топот, человечьи голоса и дыхание. Это было.

Было:

— Ар-ра-ра-ра-о-ооо!

— А-а-а-а-р-о-оо!

Армия без главнокомандующего и без выстрелов сама по себе выходила из окопов, полк за полком, с левого на правый фланг... Шла под красными знаменами. Уже и с Большого Увала бежали цепи пеших и конных — красные соколы, верстовские эскадроны.

Белые панически били из орудий по строениям Соленой Пади, пылали избы, из зеленой крыши бывшей кузодеевской торговли валил дегтярно-черный дым.

Партизанские орудия молчали. Ничего другого им не оставалось — только молчать.

Такое нынче было сражение. Такая война... И тут Мещеряков пронзительно увидел то место, ту белогвардейскую цепь и тех мужиков-подводчиков, в изломанный, исковерканный и смешанный строй которых он должен был врезаться с тыла, чтобы земля дрогнула под ногами белых солдат и офицеров, чтобы они кинулись кто куда спасаться, чтобы ужас охватил их, чтоб любой ценой и окончательно победить в этом невиданном сражении.

Круто повернул гнедого.

Новосибирск,
1963—1967

ОСЬКА — СМЕШНОЙ МАЛЬЧИК

ФАНТАСТИЧЕСКОЕ ПОВЕСТВОВАНИЕ В ДВУХ ПЕРИОДАХ

Мне давно хотелось поставить читателя в известность о том, что автор — тоже читатель своего произведения, и я бы сказал, не последний: если уж ему неинтересно читать самого себя, вряд ли кому-нибудь будет интересно читать его.

Однако же этому самочитателю свое собственное художественное произведение представляется в оригинальном и неповторимом виде, поскольку особенное значение приобретает для него не столько Целое, сколько Конец.

Здесь требуются некоторые пояснения: я убежден, что Начало, Середина и Конец занимают по отношению к своему автору совершенно различные позиции, можно даже сказать, что они играют совершенно разные роли в его творческой жизни.

Если Начало, пусть даже и не очень надежный, а все-таки союзник автора, то уже про Середину этого сказать нельзя. Невозможно!

Середина более всего обожает самое себя и свою лояльность. Она может следовать за автором и подчиняться ему, однако прежде ее нужно убедить, что в этом подчинении нет чего-либо предосудительного.

Ничего подобного нельзя сказать о Конце.

Конец — исключительно непокладистый и трудновоспитуемый тип с негативными природными задатками. У него все не как у людей, а свою подчиненность автору он, безусловно, воспринимает словно муку мученическую, и вот он скрывается от автора, манит его к себе из своего далека, а потом скрывается еще и еще раз.

Он смешивает весь авторский пасьянс. Он толкает Середину в объятия Начала и подсматривает из-за угла, что из этого получилось; он выкидывает зигзаги и фор-

тели и придает при этом настолько нефотогеничные выражения своему лицу, что при виде их у автора волосы становятся дыбом; он знать не хочет никаких правил игры, хотя бы самых либеральных; в то же время у него непомерное самомнение: он убежден, что ему все дозволено, потому что автор при любых условиях не сможет обойтись без него.

Как будто он может обойтись без автора!

Конечно, он не может этого, но все равно бывает очень доволен, если ему удается преподнести своему автору тот сюрприз, который называется еще и пилюлей.

И тогда у автора, проглотившего такую пилюлю, остается едва ли не один-единственный способ сохранить независимый вид и собственное достоинство — он во всеуслышание объявляет свое произведение экспериментальным.

А пока читатель разбирается, как, почему, откуда и зачем эксперимент, автор разбирается во всем этом тоже, протокол же своего разбирательства под грифом «предисловие» или «послесловие» он имеет право приобщить к делу.

Лично я полагаю, что «предисловие» имеет весьма существенное преимущество перед «послесловием», оно ведь недвусмысленно дает понять, что автор возьмет все свои слова почти что назад: «Эксперимент?! Конечно! Только пусть читатель не подумает, что эксперимент будет стихиен! Ничего подобного — с самого Начала и до самого Конца (обратите внимание: до Конца! — *С. З.*) он выполнялся в плановом порядке! Доказательство? Вот оно: «предисловие!»

Ну, а все, что выполняется в плановом порядке, не может вызывать каких-либо недоумений и даже вопросов, тем более не может быть не на высоте!

Итак, теперь уже вполне логически и обоснованно должно наконец последовать предисловие автора к своему многолетнему труду под названием «Оська — смешной мальчик».

Тем не менее его не будет, а точнее, почти не будет, так как автор обнаружил, что, объясняя читателю природу предисловий в принципе, он — нечаянно — уже объяснил и рассказал ему все, что имел в виду объяснить и рассказать при помощи предисловия относительно указанного выше собственного труда.

Разве что несколько строк, а именно:

Автор предпочитает не столько рассеивать удивление читателя, сколько сам удивляться тем нереальным событиям и происшествиям, через которые прошел его собственный и вполне реальный герой;

Автор недоумевает и даже испытывает чувство растерянности по поводу разноречивой природы фантазии. Еще бы! Ведь это прежде всего фантазия уберегла его героя от неизбежной гибели в просторах тундры — если бы герой не фантазировал, он, конечно бы, погиб, но затем, когда герой безоговорочно доверился своей спасительнице, она едва не погубила его на острове «S» в благодатных условиях субтропического климата;

Автор попутно пришел к выводу о том, что каждая фантазия должна вернуться к тому, от чего она проистекает, то есть к реальной жизни. Если круг замыкается, можно ждать какого-то порядка, логики и завершения чего-то чем-то, в противоположность всякой прямой, поскольку прямая обязательно уводит нас в Ничто и приводит к Ничему. К дурной бесконечности, вот куда!

Автор, кажется, зашел туда, где фантазия имеет место уже по поводу... самой фантазии.

Автор продолжает верить в себя, то есть остается убежденным реалистом и обещает никогда больше не возвращаться к странному жанру, называемому фантастикой.

ПЕРИОД ПЕРВЫЙ

Небо...

Небо сложено из тяжелых, грузных и плотных облаков, кое-где довольно аккуратно, со вкусом, местами же облака набросаны кое-как. На скорую руку.

Небо упирается в ровную поверхность снега совсем неподалеку — сразу же за согбенной, давно одряхлевшей, но все еще крохотной елочкой.

Земля...

Земля пуста: снег и эта елочка с примороженной кривой вершинкой.

Самолет...

Самолет-биплан стоит на пустой земле сначала неподвижно, потом он вздрагивает, чихает, затем начинает гудеть и лениво вращать винтом.

Люди...

Людей двое. Один в самолете, он во всем рыжем — рыжая лисья шапка, рыжая куртка, рыжие брови, рыжеватые глаза; другой, в пестрых унтах, с закутанным лицом, неподвижно стоит на снегу, а вокруг него разбросаны различные предметы: ящик, свернутая в тюк палатка, еще ящик, металлические шесты.

Все это наспех выброшено из самолета.

Впрочем, и человек, который неподвижно стоит на снегу, тоже выброшен оттуда же, тоже — как будто наспех.

Мотор неожиданно смолкает, летчик свешивается из кабины и говорит:

— Гляди-ка, Дроздов, чудесная местность! Автострада вешками обозначена! Гостей будешь принимать, и, может, не одного!— И летчик указывает в ту сторону, куда убегает редкий пунктир вех с навешенным на каждую веху пучком еловых веток.

Человек на снегу не оглядывается, он по-прежнему стоит неподвижно.

Тогда летчик ругает мотор и запускает его снова.

— Будь здоров!— кричит он.— Будь здоров, Дроздов! Может, и через неделю прилечу за тобой. А может, раньше! Может, Тонечке передам привет, да? Может, я ее еще застану на фактории? Может, она еще не уедет на материк? Привет — мне сильно надо торопиться! Привет! Я знаю тебя как облупленного! Не скучай, веселый парень Дроздов! Занятный парень! И фантаст, можно сказать!

Поднимаясь, самолет опирается на правые плоскости, тупым носом обнюхивает облака, а почуяв в них щель, пробирается в нее и в один миг исчезает.

У Дроздова — очки на переносице. Он снимает очки и протирает их сначала о куртку, потом о мех собачьих унтов, снова надевает, разматывает с лица шарф и быстро-быстро начинает разбивать свой лагерь.

Торопится.

Устанавливает небольшую палатку, один за другим ставит метеорологические приборы: анемометр, флюгарку, барограф, термометры и термограф.

Поднимает антенну.

Лагерь разбит, приборы установлены, и Дроздов, поискав в кармане металлическую рулетку, не

торопясь измерил ею размеры своей палатки: 0,85 × 0,95 × 2,05 × 0,5 м.

Подсчитал на листочке записной книжки объем своего нового жилища. Этот объем составил 0,8276875 кубометра.

— Прекрасно! — сказал Дроздов и улегся на спину в новом жилище. Закинул руки за голову. — Думай о чем хочешь! Как хочешь! Сколько хочешь! Ну? Веселись, Дроздов!

Он полежал молча и еще сказал себе:

— Кроме того, надо будет посмотреть, как я там управляюсь на площадке, на новом месте, — сказал он. — Надо будет посмотреть!

Приборы показывали:

Термометр 51,2° ниже нуля, а термограф 51,3° .

Барограф 952 миллибара.

Гигрограф 48 процентов.

Анемометр 7,5 метра в секунду.

Флюгер северо-северо-запад.

Записав эти показания в «Дневник наблюдений», на страничку, обозначенную «8 апреля. Девятнадцать часов», Дроздов посмотрел вверх. Туда, где он совсем недавно был.

Ему послышался вдруг невнятный гул мотора. Тогда он похлопал себя по ушам шапки, и гул исчез. Он махнул рукой, еще раз посмотрел в небо, а в «Дневник наблюдений» он записал: «Облачность сплошная. Высота облаков 100—150 м». Оглянулся кругом, увидел хилую елочку и записал еще: «Видимость — 150—200 м».

Спустя несколько минут он приступил к передаче своей первой сводки погоды на базу.

— База! База! База! — звал он много раз в микрофон, пока наконец ему не откликнулись.

— Давай! Давай! Перехожу на прием! — откликнулись ему.

— А это кто? — спросил Дроздов.

— А это я, Любомиров. Давай, давай! Не узнаешь, что ли? Вот чудак!

Дроздов стал передавать шифрованную сводку:

— Семь тире четырнадцать тире восемь точка, — говорил он монотонно, — пять тире четыре тире три тире два точка четыре тире шесть тире два тире точка шесть тире три тире пять тире точка...

И так далее, пока Любомиров не сказал ему:

— Будь здоров, давай завтра!

Дроздов поднялся от рации. Поразмял руки и ноги, прибавил огонька на спиртовке, потом пошел в сторону от палатки.

Отошел шагов пятьдесят, остановился, оглянулся. Еще отошел и снова встал. Около елочки.

И отсюда, с этого места, стал описывать круг.

В центре круга была его палатка, а он медленно шел, и его следы выписывали на снегу ровный круг. Еще он отчеркивал этот круг палкой, которая была у него в руках.

Иногда он останавливался, глядел из-под ладони на свою палатку и прикидывал, ровный ли получается у него круг. Он делал свое дело старательно, и круг получался ровный.

Когда же круг замкнулся, он еще постоял в точке замыкания, еще подумал, а потом по внешней стороне круга стал писать палкой буквы: «з», «е», «м»...

«Земля Одного Человека» — написал он довольно крупными буквами. А внутри этого круга он сделал рисунки. На снегу одну за другой он нарисовал пальмы.

— В Сибири пальмы не растут! — говорил он, рисуя. — Не растут, не растут!

В полутьме палатки два странных рисунка, что-то вроде небольших древних изваяний, что-то вроде двух восьмерок, что-то вроде двух ароматных туркестанских дынь.

Но это не изваяния, не восьмерки и не дыни. Это подошвы дроздовских унтов.

Дроздов лежит на спине, закинув ногу за ногу, слегка покачивает правой, и по правой подошве от этих движений пробегают прямо-таки загадочные блики и тени.

Дроздов думает.

Дроздов обиделся на Шевырева, когда тот, прощаясь, назвал его фантазером. Обиделся потому, что Шевырев был прав.

Тем более он оказался прав нынче, когда Алеша Дроздов был в тундре один-одинешенек и твердо знал, что это не обещает ему ничего хорошего. И, чтобы не

думать о том, что это ему обещает, что — не обещает,— ему ничего не оставалось, как только фантазировать.

Тем более что он действительно был мастером этого дела. Не профессионалом, но неизменным болельщиком фантазии.

По-прежнему неподвижны и плотны тяжелые облака — мухе не пролететь.

Над облаками солнце, яркий свет.

Облака делят мир на две части: сумрачную и сияющую.

В сумрачной части находится «Земля Одного Человека» — палатка, приборы, елочка, но теперь здесь появилось еще одно странное сооружение — металлическая вышка.

Ажурные и блестящие стержни, переплетаясь, уходят в облака.

Тихо, строго и неподвижно кругом.

Но вот в белых облаках появляется темное пятнышко, оно пробивает облачную завесу и падает на землю.

Это один из двух собачьих унтов Дроздова.

Спустя некоторое время точно таким же образом на земле рядом с первым появляется и второй унт.

Оба унта обращены подошвами кверху, и возникает тот самый рисунок, в отношении которого еще недавно никак нельзя было решить, что же это такое: наскальные знаки древних, восьмерки с неким символическим смыслом или ароматные дыни?

Рядом с унтами появляется и меховая шапка Дроздова.

А вот и сам Дроздов, он торопливо взбирается по стержням вышки, и ему жарко. Он в носках, в трусах и в майке, но ему все равно жарко.

Иногда он останавливается, смахивает пот с лица и снова карабкается вверх, вверх. Вот он в густых облаках.

Вот он в облаках разреженных.

Вот он в мире заоблачном, где так щедро, при полном отсутствии каких-либо теневых сторон окружающей действительности, так свободно и раскованно сияет солнце.

Наконец, оказавшись на самом верху металлической вышки, Дроздов оказался и рядом с Солнцем — рукой подать.

Дроздов вздохнул и сказал:

— Если хорошенько вспомнить, никто никогда не достигал Солнца... Зато каждому, кто пытался его достигнуть, всегда оставалось чуть-чуть...

Сказав это, он заметил на металлической вышке горизонтальную стрелу подъемного крана. Он стал командовать — «майна», «вира»,— а стрела стала вращаться вправо и влево, задирать свой хобот, опускать его вниз. На конце стрелы поскрипывали блоки, по блокам бежали тросы, погружаясь в непроницаемо-плотный облачный покров.

А ниже облаков, на Земле кран проделывал созидательную работу: поскрипывая на морозе, тросы подавали и вплотную один к другому быстро устанавливали стеклянные сферические сегменты, опоясанные по периметру металлическим каркасом.

Минута, и эти сферы составили замкнутую окружность.

Как раз ту самую, которую вычертил на снегу Дроздов, вдоль которой он совсем недавно написал: «Земля Одного Человека».

Кран продолжал свою работу по-прежнему размеренно и быстро.

Над первым рядом сфер уже смонтирован второй.

Над вторым третий.

Из-за облаков доносится уверенный голос Дроздова:

— Право! Лево! Майна! Вира! Право! Лево!

Поскрипывают на морозе блоки и тросы. Позванивают при соприкосновении друг с другом строительные детали-сегменты.

Уже выявляются контуры всего сооружения: это будет купол.

Когда один над другим было воздвигнуто пять блестящих и совершенно идеальных в своих очертаниях стеклометаллических сферических сегментов, кран вдруг остановился.

Дроздов еще покричал: «майна!», а главным образом «вира!», однако довольно скоро понял, что ему не остается ничего другого, как действовать. Решительно и смело.

И, балансируя, он пошел по тонким стержням стрелы.

Достигнув конца стрелы, Дроздов опробовал блоки. Они были неподвижны, и все попытки придать им вращательное движение не дали результата.

Тогда Дроздов повис на одном из тросов и стал дергать его, действуя при этом собственным весом, но и это не помогло. Он стал скользить по тросу вниз, погрузился в облака, миновал их и тут увидел неясные очертания предмета, повисшего на двух тросах.

С первого взгляда предмет показался Дроздову довольно изящным, он был выполнен из того же материала, что и сферы — полупрозрачное стекло и серебристый металл,— а его конструкция позволяла разместиться в нем и сидя, и лежа. Одним словом, это был гроб.

Сконфуженно улыбнувшись, Дроздов уселся в гроб, посидел, покачался, а потом и вытянулся во всю длину своего роста.

Лежа на спине, он задумчиво смотрел в облака.

Сквозь облака чуть-чуть просвечивало солнце.

Вскоре Дроздов уловил обрывки музыки, довольно красивой и довольно знакомой.

Дроздов пошарил под собственной спиной и поднял над головой венок.

Венок был не очень большой, не очень маленький, он был сплетен из замысловатых стеклянных цветочков. Они-то, эти цветочки, и производили музыку.

Изящные звуки без излишней сентиментальности можно было назвать ласковыми, и теперь они непринужденно сливались в широко известный марш Фридерика Францишека Шопена.

— Так...— сказал Дроздов.

А продолжая рассматривать венок, заметил вплетенную в него ленту и потянул ее за черный блестящий кончик.

Атласная лента разматывалась легко. Дроздов читал надпись из четких, прямых и золоченых букв по черному фону.

«Скромному исследователю Заполярья, метеорологу и радисту Алеше Дроздову — безвременно ушедшая от него группа товарищей. Спи спокойно, дорогой друг, ты вечно будешь жить в наших сердцах!»

— Так...— снова произнес Дроздов и стал раскачиваться в гробу, и поглаживать венок, который лежал у него на коленях, и слушать тихую музыку, которую продолжали издавать стеклянные цветы.

Тихо и ласково звучала эта музыка, а черная лента, развернутая во всю длину, лирически колебалась в разреженном облаке.

Все это продолжалось до тех пор, пока Дроздов не стал шарить по дну своего уютного пристанища и не нашел там два предмета: железный молоток и сложенную вчетверо дюралюминиевую гробовую крышку с аккуратными гвоздиками по краям.

Развернув эту крышку на всю ее длину, Дроздов попытался заколотить самого себя в гроб, однако задача оказалась невыполнимой.

— Ну, что же,— сказал он,— значит, не судьба!— И, держась одной рукой за трос, другой стал разбивать венок. И венок разбивался на мелкие звенящие кусочки.— Да,— рассуждал Дроздов между делом,— каждый из чего-нибудь да выкарабкивается — птенец из скорлупы, бабочка из кокона...

«Я, наверное, выкарабкиваюсь из своего собственного страха,— думал он и дальше.— Я ведь всегда был самым послушным мальчиком в семье и аккуратно возвращался домой не позже одиннадцати. Я был очень способным и всегда фантазирующим мальчиком — почти вундеркинд. И мама и бабушка берегли меня и очень беспокоились, если я задерживался на пять минут после одиннадцати... Теперь мне некуда возвращаться после одиннадцати.

О милое-милое земное существование, почти сон, воспоминание о том времени, которое обязательно делится на утро, день, вечер и ночь, с аккуратными и обязательными восходами и заходами солнца, с завтраком, обедом и ужином, с теплой постелью, с одиннадцатью часами каждого вечера без ежесуточных двадцати трех часов! Оно возникает, как детство, как младенчество, как твое собственное эмбриональное состояние, как аромат колыбели и того начала начал, в котором постепенно различаются твое зрение, и твой слух, и осязание, а затем и весь ты — существующий... Существующий только со знаком плюс, только в качестве положительной величины, не подозревающий в себе самом ни одной античастицы, не говоря уже о том, чтобы заметить в себе хоть какие-то признаки антижизни...

Ты — сумма положительных и обязательных для всего мира частиц, а больше ничего. Вот как ты себя ощущаешь!

И ты безраздельно существуешь, ну, положим, в виде довольно курносого голубоглазого послушного мальчика, первого ученика, а существование в каком-нибудь другом виде и облике, в какой-нибудь другой, хотя бы и вполне положительной единице тебе никогда не приходит в голову! Если ты и фантазируешь, так только по поводу себя, себя самого, почему-то неизменного в этом без конца изменяющемся мире...»

Нынче же самая невероятная фантазия заключалась в том, что где-то в бесконечном пространстве, которое простиралось перед Алешей Дроздовым между центрами Земли и Солнца, нашлись места для порядочного детского сада, для всех детей природы, то есть для мальчиков и девочек, для мам и пап, для собачек, бабушек и дедушек, для вундеркиндов, для учителей географии, астрономии, математики, физкультуры и труда, для их киношек и концертных залов, для их же канцелярий, пшеничных полей, любовных историй и раздоров...

Какая невероятная фантазия, если посмотреть на все это не вблизи, а издалека, со стороны — со стороны Солнца, например!

Со стороны неба или тундры! Откуда и чья такая фантазия? Чего ради?

Все человеческие фантазии — Жюля Верна, Уэллса, Наполеона, Магомета, Ньютона, да и его собственная, Алеши Дроздова — лишь крохотные осколки с этой самой фантастической фантазии... Между тем в ней-то, исходной и самой невероятной, Алеша почему-то никогда прежде не подозревал ни малейшей фантазии, вообще какого-то невероятия, называя ее обыкновенностью, повседневностью, бытом, еще каким-нибудь словом, смысл которого полностью исключал наличие чего-то фантастического.

Ах, как хотел бы Алеша Дроздов не выдумывать сейчас ничего, не фантазировать нисколько, а простонапросто пережить что-нибудь из своего милого земного, положительного существования, какое-нибудь удивление, хотя бы то самое, которое охватило его, когда он приехал однажды в Ленинград и вместо девочки с не очень умело и торопливо заплетенными косичками, которая всегда была его собственной старшей сестрой

и водила его в школу за ручку, встретил чью-то жену и чью-то мать — мать своего племянника...

Мало ли что он еще и еще мог вспоминать из той эпохи, в которой он когда-то существовал — человек среди людей?

Но жизнь, последовательно-хронологически им прожитая, уже не принадлежала ему, нынче он отчетливо чувствовал ее независимость, непринадлежность, отчуждение его жизни от него, хотя какие-то разрозненные и вневременные отрывки воспоминаний все еще позволяли ему на минуту-другую сосредоточиться на своей бывшей жизни.

Зато ему принадлежала и, не считаясь с его желанием, его захватывала странная фантазия, она увлекала его в, кажется, несуществующее будущее, еще во что-то совершенно другое, которого он никогда не знал и знать, само собою разумеется, не мог.

Ведь, сколько бы он ни жил, он никогда не жил в будущем, а всегда и неизменно в настоящем, перерабатывая его в прошлое. И только.

Нынче у него не было настоящего, пригодного для такой переработки. Отходило и отчуждалось от него и его прошлое. А этим пользовалась не подчиненная ему фантазия, она безраздельно захватывала его, она стирала в его памяти время — события годов, месяцев, дней,— и это происходило, должно быть, потому, что вокруг него было невероятно много пространства, так много, что в нем слишком легко терялось любое время. Вчера, сегодня, завтра, и следующий год, и следующий век — все это теряло свои опорные точки, исчезало на глазах, и, казалось, навсегда.

Здесь, в этом пространстве, в Алеше Дроздове разыгрался, прямо-таки разъярился его порок, его слабость, его мания, которые в прошлом так или иначе, а все-таки сдерживались не только милым-милым, но, в какой-то мере, еще и строгим земным существованием.

Этот порок, эта слабость и эта мания были его любовью к фантазии (к безответственному размышлению).

Было так, что маленький мальчик Алеша Дроздов пропустил в поступательном движении своей мысли тот момент, когда еще не поздно было обрести ответственность за все то, что ты думаешь.

Однако же его настолько пленила безграничность мысли, что он с легким сердцем и почти незаметно для себя поступился ее разумением.

Иначе говоря, он счел, будто бы его серое мозговое вещество принадлежит только ему, ему — безраздельно, совершенно забыв о том, что, по крайней мере, исполу им должна владеть еще и природа с ее законами и порядками. Еще бы! — он, если и не был вундеркиндом, так почти что им был всегда! Первый ученик! С точки зрения первого ученика он и владел своею мыслью, прикасался ею к небу, к Земле, к людям и к самому себе, ко всему миру, сам себе царь, бог и первый ученик!

Ну, иногда природа все-таки давала ему по мозгам, напоминала о своем существовании теми или иными предметами, разными людьми, например, а так как нынче предметов вокруг него не было и некому и нечем было дать ему по мозгам, эти самые мозги и предавались своему пороку полностью, безо всяких ограничений.

Еще говоря иначе — он предался соблазнительной простоте, поскольку мыслимое всегда проще, а главное, доступнее реального.

Здесь, в этом пространстве, Алеша Дроздов чувствовал полную свободу от фантазии природы, которую она воплотила в нем — в курносом первом ученике, почти вундеркинде, а также и во всех тех людях, которых он когда-нибудь встречал рядом с собою, о которых только читал или слышал.

Главнейшая фантазия природы покинула его, а тогда-то вовсю разбушевалась та личная крохотная фантазишка, которую все та же щедрая природа когда-то обронила малой долей в его черепную коробку.

Она обронила, а он-то возгордился этой подачкой до такой степени, что пренебрегает теперь уже самой природой и на досуге действительно не прочь объявить себя ее царем.

И, поглядывая на траурную ленту, которая все еще непринужденно покачивалась неподалеку от него, Алеша Дроздов в порядке собственного оправдания стал думать, что, может быть, самая отдаленная его память — это память о том пространстве, в котором его еще не было ни в каком мыслимом виде, даже в виде амебы, и что, может быть, его конечная фантазия — это снова то же самое бесконечное пространство, в котором его уже никогда не будет, опять-таки ни в каком, даже

самом сложном виде, и, таким образом, его воспоминания и его фантазия, а вместе с ними его прошлое и будущее смыкаются в одном и том же небытии, там, где все существующее смыкается с ничем, а бесконечность вопреки законам математики — с нулем.

Алеша Дроздов вполне пережил ощущение близости этой точки смыкания. Она была вон в том направлении, где-то совсем рядом, куда, не торопясь, уплывала лента: «Скромному исследователю...» Она была где-то тут, рукой подать, эта конкретная точка в неконкретном, поглотившем время пространстве...

Ведь время всегда предметно, более того, оно как бы существует только благодаря тем изменениям, которые происходят в предметах. Предмет был маленьким, а становится большим — это Время. Предмет был большим, потом разрушился на мелкие части — это опять Время. Предмет изменил свой цвет, свой запах, свою шероховатость, свою температуру, свой взгляд на другие предметы и свое место среди них, а это все — Время, Время, Время... И Времена.

Чем больше предметов, тем больше Времени и Времен и тем скорее они протекают.

Архейская геологическая эра длилась 900 миллионов лет, Протерозой — 600, Палеозой — 325, Мезозой — 115, Кайнозой — 70. А почему так, откуда этот бег Времен? Он — потому что в Архейскую эру на Земле еще не было других предметов, кроме нее самой, а в Кайнозое уже было все — и растения, и животные, и Алеша Дроздов.

Но вот Алеша Дроздов очутился в беспредметном пространстве, и потому, что оно было беспредметно, в нем не оказалось места для Времени.

«Ай-ай-ай-ай-ай!— спустя еще некоторое время и с явно выраженным упреком сказал себе Алеша Дроздов.— И куда это ты себя занес? Ай-ай!— Помолчал перед самим собою и ответил себе:— А никуда, всего-навсего на Землю и в «Пространство Одного Человека».

Ну, а после этого, после такого самоограничения, после такой жертвы я могу существовать уже без ограничений во всем остальном!»

Как раз в этот момент траурная лента исчезла в своем, как будто бы заранее заданном направлении, крановый трос, на котором Алеша Дроздов задумчиво покачивался в своем стеклянном убежище, вдруг дрогнул и пошел вверх.

Спустя самое короткое время Алеша Дроздов с прежней позиции уже подавал свои команды:

— Вира! Майна! Право! Лево!

И снова вступило в свой изумительный темп сверхскоростное строительство.

Распахивается одна из стеклянных деталей-сегментов, и вовнутрь прекрасного светло-голубого купола, только что законченного постройкой, входят двое: Дроздов и летчик Шевырев.

Они входят сюда в диаметрально противоположном психическом состоянии.

Шевырев удивлен, быть может, даже несколько подавлен, двигается неуверенно, как если бы он попал вдруг на планету Икс, которая неизвестно куда крутится — с востока на запад или с запада на восток.

Для Дроздова же здесь нет никаких иксов. Все здесь для него предельно ясно, во всем отсутствуют искомые величины.

Уверенно Алеша Дроздов приблизился к стенке купола, снял с руки рукавицу и стал сгибать указательный палец в первом суставе. Тут на некоторое время чувство уверенности действительно изменило ему, так как оказалось, что согнуть палец в одном суставе нельзя, можно только сразу в двух. Он подумал, внутренне примирился с таким положением дел и дважды согнутым указательным пальцем правой руки стукнул по блестящему стержню металлического каркаса...

Дроздов напряженно ждал.

Наконец, где-то в стороне, в каких-то верхних стержнях и узлах каркаса послышалось отдаленное эхо, в котором далеко не сразу угадывался его первоисточник.

Слушая, Дроздов приподнимался на цыпочках, вдавливаясь подошвами унтов в плитки снега. Этими плитками, словно паркетом, был выстлан весь пол под куполом.

Постучал указательным пальцем по стержню и Шевырев.

Подождал. Его стук оказался совершенно безмолвным: ни звука, ни эха.

Убедившись в постоянстве этого безмолвия, Шевырев сделал вид, что оно ему нипочем, спрятал все пальцы, кроме одного, в карманы и спросил:

— А объем?

— Всего сооружения? — догадался Дроздов. — Сию минуту! — И стал рисовать в воздухе самое общее расчетное выражение в интегральном виде объема эллипсиса, и по мере того, как он рисовал, оно отображалось в вершине купола.

Шевырев, окончательно преодолев неловкость, задрав голову кверху, рассмотрел это выражение и одобрил его:

— Здорово! Здорово, Алеха, скажу тебе!

Как будто он что-то понял. Потом Шевырев задумался. Еще раз окинул купол внимательным взглядом.

— Прихожей нет. И санузел совмещенный, да?

— Чудак! В этом здании люди испытывают совсем, совсем другие потребности!

— А-а-а-а... А это у тебя зимний сад? — и Шевырев указал на хилую елочку, незаметно примостившуюся у стены купола.

— Идея сада есть, есть идея. Но... Практических забот слишком много: поливать, удобрять и прочее.

— Тогда ты вот что, Алеха, — попросил Шевырев, — постукай еще раз?

Дроздов снова согнул палец вдвое и снова постучал по металлу, и звуки возникли теперь еще более музыкальные, и очень скоро они стали отзываться эхом.

— Здорово? А? — утвердительно спросил Шевырев.

— А! — подтвердил Дроздов.

— А? — спросил Шевырев после паузы.

— А! — подтвердил Дроздов, а его голос устремлялся на поиск своего собственного эха и был столь близок к этой удивительной, к этой невероятной находке, что казалось, будто вполне может и не существовать то «почти», которое отделяет замысел от воплощения, поиск самого себя от самого себя, звук от эха. «Почти» стремительно сокращалось до едва мыслимого минимума, будучи еще слышным и только чуть-чуть уловимым, оно исчезало как бы на глазах, можно было наблюдать и словно даже видеть это исчезновение «почти».

Конечно, имел место элементарный случай: только одному звуку в один какой-то миг, может быть, суждено было догнать себя в своем отражении.

Конечно, явление имело место в искусственных условиях стеклянного купола.

Но ведь и электрический двигатель тоже начался с лейденских банок, тоже с того мгновения, когда между

двумя полюсами впервые промелькнула искра?! Тоже со случая!

Важно было, чтобы был случай. Будет крохотный, ничего не значащий случай, будет и всеобъемлющий принцип. Не будет случая — откуда появиться принципу?

И этот один миг, в котором должен был произойти один случай, с одним звуком и с одним эхом, уже торжествовал, и у Дроздова перехватило дыхание, а Шевырев, не угадывая ничего, ничего не ждал и не предвидел и, довольно широко открывая рот, упорно порывался что-то сказать.

Можно было поручиться, что Шевырев скажет глупость, и это в тот миг, когда должны были смолкнуть все мудрейшие слова, чтобы не спугнуть маленький, слабенький, но единственный и выдающийся случай!

Дроздову пришлось протянуть правую руку и закрыть ею шевыревский рот, а левой подтянуть к себе Шевырева за ухо и на скорую руку шепотом объяснить ему хотя бы кое-что:

— Шевырев! Это же явление — звук догоняет себя! Что это значит для мира? Нечто догоняет самое себя? Понимаешь? Вот-вот догонит! А тогда, может быть, и я догоню самого себя, свою природу, свой замысел! Понимаешь, Шевырев?! Пойми, Шевырев!

— А-а-а!— завопил Шевырев, ему показалось, будто его ухо слишком сильно защемлено между пальцами Дроздова.

Ему даже и этого не показалось. Он просто так завопил, без всяких показаний.

— А я постарше тебя, товарищ Дроздов. И не позволю...

И тут настала тишина, о которую невозможно было не споткнуться, о которую споткнулся даже Шевырев.

Когда они перемолчали эту тишину, Дроздов сказал:

— Личные интересы для тебя превыше всего, товарищ Шевырев! Шевыревы еще до сотворения мира тормозили прогресс...

Шевырев тоже прислушался к тишине, должно быть, что-то очень немногое понял и попросил:

— Постучи еще раз?!

— Чудеса не повторяются, товарищ Шевырев.

И ради доказательства Дроздов все-таки постучал, и был звук, и эхо тоже было, а чуда уже не было.

Был срок наблюдений.

Термометр показывал 42,3° ниже нуля, а термограф 42,4° .

Барограф 804 миллибара.

Гигрометр 58 процентов.

Анемометр 9,8 метра в секунду.

Флюгер северо-запад.

Погода менялась.

Уже посвистывало где-то вверху, в порядочно всклокоченном небе, где-то гудело, откуда-то тянулась поземка, сгибая худосочную елочку.

Заметало рисунки пальм на снегу вокруг палатки.

Переходя от прибора к прибору, Дроздов невольно поворачивался спиной к ветру, был очень деловит, очень сосредоточен и очень быстр.

Но на мгновения он замирал, прислушивался: вдруг доносились к нему звуки — и стеклянные, и металлические, и по-человечьи грустные.

Ну, конечно! Это были отзвуки все того же звука и того же эха, которые недавно почти догнали друг друга под стеклянным куполом! Это и сейчас были краткие мгновения надежды и радости среди наступающей со всех сторон тревоги.

Прислушиваясь к ним, все еще можно было чуточку верить, будто тревога напрасна.

Но она не была напрасной.

Она была, она была, она была! Приближалась из своего недалека.

Вот уже где не требовалось ни малейшего напряжения слуха, чтобы услышать!

Мело.

Подсвистывало.

Гудело.

Дроздов подошел к рации, включил ее, а оттуда загудело так:

— Давай, давай, Лешка! Я — Любомиров — на приеме! Давай, давай!

Или Любомиров требовал, потому что был басом, или был басом, потому что требовал?

Ему требовалось запросто, Любомирову, легко и непринужденно.

Дроздов хотел стукнуть рацию кулаком, потом он встал и примерился, чтобы стукнуть ее ногой.

Не стукнул ни кулаком, ни ногой. Неловко приподнялся на цыпочках, выбросил руки вверх, будто взывая

к кому-то, но опять-таки ни к кому не воззвал, а в такт любомировскому басу — «Давай, давай, Дроздов! Раз, два, три, четыре, Дроздов, я на приеме, раз, два, три, четыре!» — проделал движения из программы производственной физзарядки.

Настроив таким образом собственную нервную систему на приличную волну, Дроздов, не торопясь, стал передавать:

— Семь тире двадцать три тире семь точка пять тире четыре, тире, шесть еще тире шесть тире точка, четыре, тире пять тире, два тире, точка...

— Слушай, Алешка, кореш,— с неожиданной участливостью спросил бас,— загораешь, да? Потерпи чуток, скоро уже...

— Ну, а что там Шевырев? У него благополучно? — спросил Дроздов.— Когда он за мной прилетит?

— Кого ему сделается, Шевыреву?! — ответил, подумав, Любомиров.— Никого ему не сделается.

— А когда он за мной вернется?

— Пролетит над тобой караван, ты в последний раз передашь им погоду на борт, тогда будет тебе и Шевырев.

— А когда полетит караван?

— Я думаю, скоро... На днях, я думаю...

— Точка шесть тире один тире два тире девять тире точка.

— Мы по профсоюзной линии,— выждав момент, снова заговорил бас,— еще яснее, по линии местного комитета, проталкиваем Шевырева в ангар. Вне очереди. Ему и ремонтироваться — два раза плюнуть.

— Точка.

— Но не в нем даже дело. Не в Шевыреве. Дело за караваном — все еще формируется. Но твердые сведения: на днях караван полетит. А ты, герой, его обслужишь своей погодой!

— Точка!

И Дроздов выключил радио.

Обед.

Ведь без обедов человек — это полчеловека, и даже меньше. Но во время обеда снова имел место непредвиденный и странный случай.

Дроздов был занят консервированным супом, доедал его, и с особым вниманием он присмотрелся к последне-

му картофельному ломтику, диаметром около трех сантиметров, толщиной чуть поменьше сантиметра, с двумя взаимно пересекающимися трещинами посредине. Присмотревшись и до тонкостей изучив этот ломтик, он подцепил его ложкой, разжевал и проглотил.

Он хорошо его изучил и, должно быть, поэтому так остро прочувствовал его вкус и запах.

И вдруг Дроздов снова обнаружил тот же ломтик в кастрюле: тот же диаметр, та же толщина, те же взаимно пересекающиеся трещинки посредине. И светился этот ломтик на дне кастрюльки точно так же. Точно так же, как светится солнце, когда поутру вступает в не совсем ясный день.

Дроздов пожал плечами и снова подцепил забавный ломтик, но в ложке его почему-то не оказалось.

Он выплеснул содержимое ложки обратно в кастрюльку, и ломтик стал снова плавать там, по-прежнему внятный, а Дроздов снова подцепил его ложкой, а ломтик снова исчез.

Дроздов с сердцем отбросил кастрюльку, и тут снова возник стеклянный купол. Около его стены неподвижно стоял Дроздов, а Шевырев суетливо бегал посередине помещения, размахивая руками, и быстро-быстро говорил:

— Хватит! Хватит, я говорю, беспочвенной фантазии! Быстро! Пиши! — и подал Дроздову чернильницу и ручку.

Дроздов приспособил под письменный стол собственный коленный сустав, взял ручку, обмакнул перо в чернильницу.

— Кому? Зачем?

— Верно, что молодой специалист! — вздохнул Шевырев. — Теорию знаешь, желание есть, практические навыки — нуль без палочки! В аспирантуру собираешься?

— Ну и что?

— Пиши. Деловую характеристику.

— Ага... — догадался Дроздов и стал писать:

«Характеристика

Дана Дроздову Алексею Алексеевичу, 1927 года рождения, члену профсоюза с 1944 года...»

— Не могу,— сказал он спустя довольно продолжительное время.— Не могу писать характеристику на тов. Дроздова.

— Она кому нужна, характеристика, мне или тебе?

— Она нужна мне.

— А кто за тебя будет ее писать? Пушкин Александр Сергеевич? Или, может быть, Шевырев? Молодой, молодой, а палец в рот не клади — глядит, на кого бы свалить свои обязанности! Личные обязанности!

— Ты не понимаешь, Шевырев!

— Аспирантом хочешь быть? Кандидатом наук хочешь быть? Доктором наук не против быть? Членкором — милое дело! Академиком... А дело сделать — дядя из старшего поколения! Не-е-еет, мы в ваши годы...

Дроздов снова склонился над своей коленкой и снова написал:

«Характеристика

Дана Дроздову Алексею Алексеевичу, 1927 года рождения, члену профсоюза с 1944 года...»

— Слушай, Шевырев, а зачем ты здесь присутствуешь, а? Чего ради?

— Характеристику святой дух подпишет?

— Ну мало ли что я про себя могу написать? Сам про себя!

— Без доверия к молодым кадрам старые не растут!

— У меня, Шевырев, нервы!

— У меня, Дроздов, нервы!

— Ты, Шевырев, подпишись вот тут, пониже. А повыше я на досуге сочиню. И неплохо сочиню, будет порядок.

— Ненаписанную бумагу подписывать — порядок? Всерьез предупреждаю — у меня нервы!

— У меня, Шевырев, нервы, а еще ясно выраженная индивидуальность.

— Ну и что? Все мы индивидуальности, только с одного конвейера!

— Это ты брось! Я в принципе против подобного принципа!

— Индивидуальность! А характеристику на себя написать не может! Смех! Смех, больше ничего! Не серди меня, Дроздов! Рассердишь, я тебе покажу... Я тебе покажу, какая ты величина!

— А ну?

— Покажу! Практически! Твою характеристику!

— А ну!

И тут Шевырев, в самом деле очень сильно рассердившись, сказал:

— Не хочется мараться, ну да черт с тобой!

С этими словами Шевырев вынул из кармана какой-то стеклянный осколок и с сердцем протянул его Дроздову:

— Смотри!

— Куда?— тоже не без сердца спросил Дроздов.

— Хоть на меня, хоть на себя! Не все ли это равно!

При рассмотрении сквозь стеклышко в облике Шевырева оказалось очень много странного: решительность и значительность всей фигуры, но фигура была при этом в одну шестую или седьмую часть нормальной величины.

— Ну и что?— спросил Дроздов.

Ответа не последовало.

— Ну и что?— спрашивал Дроздов.— Ну и что? Ну и что? Ну и...— и вдруг он замолк.

Он держал стеклышко в опущенной руке, но теперь уже и невооруженным глазом видел крохотного Шевырева. Он оглянулся — Шевырев нормальный полностью отсутствовал.

— Побаловался, и хватит! Хватит же! Зачем это тебе! Почему? Зачем?— не вполне логично задавал вопросы Дроздов.

Крохотуля Шевырев и не подумал отреагировать.

Дроздов положил крохотулю Шевырева на левую руку, правой же гладил его, и все ходил и ходил по кругу, и все задавал и задавал глупые вопросы, пока не заметил, что Шевырев что-то шепчет ему, сделав при этом свое кукольное личико необычайно таинственным.

— Посмотри в другую сторону,— прошептал Шевырев.— Нет, нет, посмотри в стеклышко!

— Для чего?— не без опасения тоже прошептал Дроздов.

— Меня мало. Да?.. Посмотри в другую сторону, и ты увидишь, как меня много... Нет, нет, только через стеклышко!

Не без робости Дроздов посмотрел.

И увидел в другой стороне еще одного маленького Шевырева, точную копию первого.

А потом он увидел точную копию второго, копию третьего.

И т. д.

Он смотрел вокруг и всюду видел крохотных Шевыревых, они быстро смыкались в шеренгу, а, сомкнувшись, сделали приветствие правой рукой и крикнули:

— Здорово, Алешка!

Дроздов неуверенно тоже приветствовал их поднятием руки, заметив при этом, что самый первый, оригинальный крохотуля Шевырев, который лежал у него на руках, каким-то образом с руки исчез. Наверное, он был теперь в общем кругу Шевыревых.

— Почему вас так много?— спросил Дроздов.

— Чем больше тем лучше,— ответили все Шевыревы без знаков препинания, восклицания или вопроса, без интонации.

— Чем лучше?— пытался выяснить Дроздов.

— Тем лучше чем больше

— Откуда вы это знаете?

— Мы знаем потому что нас много

— Вы странные!

— Ты странный ведь ты один а мы все

— А кто это «все»?

— Все это мы

— А кто это «мы»?

— Мы это все

— Скажите, как вас зовут?

— Нас много

— Вы добрые?

— Нас много

— Вы злые?

— Нас много

— Вы умные?

— Нас много

— Паршивцы!

— Нас много нас много нас много

Голос множества был ничем не примечательным голосом ничем не примечательного человека, с незначительной хрипотцой. Хрипотца соответствовала только что пропущенным ста пятидесяти граммам. Однообразная интонация все время была лишена каких бы то ни было оттенков, кроме разве служебно-возвышенного.

— Спойте какую-нибудь песню, марш или лирическую?!— попросил Дроздов.

— Мы не поем

— Ну, тогда продекламируйте. Из классиков или из современных поэтов. Кто вам больше нравится?

— Мы не декламируем

— Не может быть, вы такие дружные, такой безупречный коллектив!

— Мы не дружные мы не знаем друг друга

— Это удивительно!

— Мы все одинаковые и нам нечего знать друг о друге

— А почему вы все произносите совершенно одинаковые слова?

— Потому что мы все знаем слова только для всех

— Ну, если так, я буду задавать темп, вы же все будете произносить все слова для всех... Начали! И-и-раз! И-и-два! И-и-и-три!..— Дроздов принял позу дирижера, вставил в глаз стеклышко, словно это был монокль, и стал взмахивать рукой, а весь ансамбль стал стройно, однако же совершенно беззвучно маршировать по кругу.— В чем еще дело?— требовательно спросил Дроздов.— Почему все молчат? Может быть, все хотят играть в бирюльки?

— Мы не хотим играть в бирюльки мы вообще не хотим играть мы хотим откашляться

— Так бы и сказали!

— Так и говорим,— ответили крохотные Шевыревы, без команды остановились, как по команде, откашлялись, сплюнули и заявили Дроздову:— Теперь давай давай

Дроздов дал дирижерский взмах, крохотные Шевыревы снова двинулись по кругу, и снова ни звука.

— В чем дело, черт побери?

— Мы забыли высморкаться.

— Валяйте! Может быть, вы все забыли еще что-нибудь сделать?

— Пока что ничего не забыли давай давай

— И-и-раз! И-и-и-два! И-и-и-три!

Шагая по кругу, крохотные Шевыревы все тем же странным, не песенным, не декламационным, но и не разговорным голосом громко произносили:

Мы песчинки мы капли мы снежинки
Нас много
Мы пустыни мы океаны мы метели
Нас много
Мы молекулы мы листочки мы клеточки
Нас много

Мы камни мы деревья мы люди
Нас много
Мы живые мы мертвые мы живые и мертвые
Нас много

— Ну и что из этого? — спросил Дроздов, утомившись от непривычной для него дирижерской деятельности.

— Все из этого,— ответил ему хор все тем же голосом одного человека, сию минуту пропустившего сто пятьдесят граммов.

— Черт с вами, откашляйтесь еще раз! Быстренько!

Голос откашлялся.

— Высморкайтесь! Вот так. Давайте дальше. Раз, два, три, четыре, пять...

— Мы раз два три четыре пять,— подхватил круг крохотных Шевыревых и, замаршировав в том же безукоризненном порядке, продолжил дальше: — Мы семьдесят семь триллионов плюс эн в тысячной степени

Мы бесконечность даже если из нас извлекут корень тысячной степени

Мы это мы потому что нас много
Нас много потому что это мы
Нас много

— Слушайте все,— сказал Дроздов, когда закончился и этот куплет,— слушайте, ребята, а куда бы мне от вас деваться?

— А зачем тебе понадобилось куда-то деваться,— ответили ему вопросом, опять-таки лишенным вопросительной и всякой другой интонации и даже знаков препинания.— Ты лучше подойди-ка к нам подойди дитя

— А это зачем — подойти? К вам? — почти что конфиденциально спросил Дроздов у одного из крохотных Шевыревых.

— Как это зачем,— удивился тот без удивления.— Чтобы избавиться от некоторых трудных мыслей. Чего там от некоторых — от всех трудных

— Да ну-у?

— Конечно! Надо ведь быть только немного меньшей величиной, чем обыкновенный человек, чтобы отвечать на любой вопрос: «Что за вопрос?» А если хочешь, и по-другому: «Пошел к черту!»

Дроздов, поколебавшись, подошел.

— Вот сюда,— показал позади себя каждый крохотуля Шевырев.

Испытав не то моральное, не то какое-то другое неудобство и замешательство, Дроздов зажмурил глаза и встал в круг, сказав при этом:

— Надо бы откашляться...

Но круг уже начал свое движение. «Против часовой стрелки! — подумал Дроздов.— А я и не заметил этого, не обратил внимания, когда смотрел со стороны. Ну, это уже гораздо лучше — против, а не по часовой!..»

— Надо бы высморкаться! — еще сказал он вслух, но таким голосом, который сам по себе уже подразумевал, что его не услышат.

Торопливо и неловко измельчая шаг, Дроздов шел по кругу.

Однако через некоторое время его шаг стал вполне соответствовать шагам всех крохотулей Шевыревых, еще чуть спустя он заметил, что не только размером шага, но и вообще всеми своими размерами он не отличается от всех.

— Мы семьдесят семь триллионов плюс эн в бесконечной степени,— подхватил он слова всех и слегка засовестился, потому что в своей собственной интонации он уловил вдруг знак вопросительный (?)

Погода менялась.

Термометр показывал 38,4 градуса, а термограф 38,5° ниже нуля.

Барограф 892 миллибара.

Гигрограф 65 процентов.

Анемометр 1,2 метра в секунду.

Флюгер северо-запад.

Число было — 12 апреля.

Четко и быстро, по заведенному порядку Дроздов записывал показания приборов. Переходя от барографа к гигрографу, он вдруг остановился.

«Погода меняется,— подумал он.— К пурге! Небо меняется. Земля меняется. Моя фантазия меняется. Но — шутка обстоятельств — сам я не меняюсь, не имею права. Здесь находится один-единственный одушевленный предмет — это Дроздов Алексей Алексеевич, тысяча девятьсот двадцать седьмого года рождения, член профсоюза с тысяча девятьсот сорок четвертого года, вот он-то и не должен меняться. Должен быть константой. Величиной пусть и бесконечно малой, но неизменной среди бесконечных изменений. Должен

быть самым совершенным, самым бесперебойным механизмом и прибором среди всех этих приборов. Вот так! И-и-раз! И-и-два! И-и-три! — очень размеренно, почти механически помахал Дроздов руками и стал продолжать наблюдения. — А что же, — говорил он себе и дальше, — реальный мир всегда обладал идеальными механизмами, такими, как деревья, камни, люди, звери.

И даже вполне реальное существование этих механизмов не может опровергнуть их идеальности, всей вообще идеальной механизации мира...»

А когда Дроздов настраивал рацию на очередную связь, слушая нервные скрежеты, писки и вздохи, он и еще подумал: «Ведь это мое исконное назначение — быть идеальной материей, идеальным механизмом, это моя база как таковая, без надстроек... И об этом назначении природа напомнила мне, когда я остался с ней один на один... Наверное, она делает это со всеми, кто встречается с нею вот так же, как нынче встретился я, без посредников...»

— Давай, давай, Лешка! — проговорила рация. — Давай, это я, Любомиров. У тебя, надеюсь, порядок?

— Надейся! — ответил Дроздов.

— То-то! Давай, давай, Дроздов!

— Семь тире восемь тире один тире... — передавал Дроздов. — А знаешь, Любомиров, идеальный механизм — это ведь и есть высшая, но вполне реальная фантазия. А? Как ты думаешь?

— Ты что это, Алеха? — после долгого молчания последовал ответ. — А говоришь, у тебя порядок! У тебя шарики, да? Закатились, да?

— Семнадцать тире два восемь тире четыре...

Погода менялась, все приближалась пурга, а из палатки некоторое время снова виднелись замысловатые подошвы дроздовских унтов, и перед Дроздовым возникала совершенно новая, никогда прежде не виданная фигура.

Уже можно было различить застывшую улыбку на некоем подобии лица, сконструированного из спирали. Лицо располагалось где-то вверху, на тонком и гибком туловище этой фигуры.

— Кто — что? — спросил Дроздов, продолжая лежать на спине и выкинув руку вперед.

Они внимательно изучали друг друга, а потом Дроздов воскликнул:

— Я первый! Я первый узнал тебя! А ты меня еще не узнал!

— А-а-а...— произнесла фигура.— Алек... Алекс... Алексей!!! Др... Дро-о-о... Дрозд...— Суммируя звуки, фигура приближалась к точному и окончательному определению: «Алексей Дроздов».

— Ну и что? А я первый: ты — Интеграл! Ты — сумма бесконечно малых! И запомни с самого начала нашей встречи: ты — понятие, а я — реальность! Вот так!

— Еще бы!...— Интеграл в какой-то мере симпатично пожал тем, что было узким и покатым подобием его плеч.— Я — сумма бесконечно малых, ты — бесконечно малая величина.

— Но я реальный! Я действительный! Я живой! Я произвел тебя, ты — мое понятие! Я вывесил тебя под куполом своего сооружения после того, как точно определил его объем. Я есть. Я — Один человек!

— Какой глупый!..— поморщился Интеграл, присел рядом с Дроздовым и монотонно стал объяснять:— Давным-давно нет даже того Одного человека, который открыл меня. Его нет давно, тебя не будет скоро — вот она, твоя реальность. А я есть, и я буду. В проектных конторах, в учебниках, в науке, в медицинской технике излечения тех, для кого я — понятие, и в военной технике их же тотального уничтожения. Я нужен, и я владею. Меня узнают все новые и новые поколения, я владею снова и снова: ведь люди свободны только от того, что им не нужно! Ты им почти не нужен, поэтому они тебя не знают, они свободны от тебя, и ты ничем не владеешь. «Безвременно ушедшая от тебя группа товарищей» — помнишь? То-то!

Потом Интеграл носил Дроздова по тундре на коротенькой, согнутой в локте ручке, а другой поглаживал его и снова говорил монотонно, без всякого выражения, приблизительно так же, как говорил с ним недавно плотный круг крохотных Шевыревых:

— Спи. Бай-бай. Ужасно много хлопот с этими самыми реальностями! Ни с чем другим нет и не может быть столько хлопот и вообще, неизвестно чего... Спи,

бесконечно малая величина... Во сне ты ведешь себя более или менее прилично.

Дроздов с высоты, на которой его убаюкивал Интеграл, с тревогой обозревал местность: тундру, а в тундре свою метеоплощадку. Ему было не по себе при этом.

А Интеграл и еще приподнял Дроздова, проделал несколько манипуляций пальцами коротких ручек и вставил его на то место, где только что было его собственное, Интегралово лицо в виде спирали.

— Удивительно, как ты это можешь!— сказал Дроздов, оглядевшись по сторонам с новой позиции и затревожившись еще больше.

— Пустяки! Как ты теперь себя чувствуешь?

— Не сказал бы, что условия нормальные. Голова у меня как будто и на месте, а вот ноги ощущают избыток высоты.

— Привередничаешь!— рассердился Интеграл.— Все тебе не так, все тебе не то. Печень у тебя не больна?

— Печень у меня здоровая.

— А почки?

— Почки ничего. В порядке.

— Ну, то-то. В общем-то, я ведь с тобой согласен — обременительно быть слишком высоким. Тем более — слишком высоким понятием... Многие этого не понимают. И не хотят понять. Почти принципиально не хотят. Ты вот что, ты, может, из зависти жалуешься?

— На что? Жалуюсь?

— На это вот свое высокое положение?

— Я жалуюсь не из-за чего. Не из-за печени, не из зависти, не из страха. Я жалуюсь стерильной жалобой, безо всяких примесей.

— Какой чистюля!

— Будешь тут чистюля!

— Гордость бесконечно малой величины?— вздохнул Интеграл.— Почти полное отсутствие массы. Да?

Тут Дроздов удивился:

— При чем тут масса?

— Ну, как же! Представим себе, что средний рост людей был бы, положим, десять метров. Следовательно, у человечества была бы совсем другая история, то есть другая судьба. Будь каждая молекула в три раза больше или меньше, чем она есть сегодня, все вещество было бы другим. Будь земной шар хотя бы на десять процентов легче или тяжелее, у него была бы другая орбита, другая атмосфера, все другое. Отсюда вытекает, что у каж-

дой массы своя судьба, а у каждой судьбы своя масса. У тебя какое образование, Дроздов? Уж не собираешься ли ты в аспирантуру?

— Типичный механический подход! — возмутился Дроздов, не отвечая прямо на поставленный вопрос и торопливо вспоминая, что же и как совсем недавно он думал наедине с самим собой о природных механизмах и механизации.

— Там, где механика, там точность. Там истина, — продолжал между тем Интеграл. — А если употребить общедоступную терминологию, там справедливость. Да ты же и сам недавно говорил, что реальность, если она хочет быть толковой, должна обладать идеальной механикой. Так, кажется?.. Тебе не нравится эта высота? Странно! Тогда я сяду тебе на колени и ты побаюкаешь меня.

— Вот это совершенно бессмысленно, я думаю.

— Напрасно думаешь, — сказал Интеграл. — Ведь Интеграл — это понятие и массы не имеет. Я просто хотел испытать тебя на сообразительность.

— Значит, ты не можешь меня раздавить?

— В буквальном смысле — нет.

— А сбросить с высоты? На землю?

— Могу, но это не будет сопровождаться членовредительством. Ты ведь будешь сброшен с высоты понятия, не более того.

— Действительно, это неважно, откуда я буду сброшен. Весь вопрос — куда? Куда я буду сброшен? Может быть, еще выше?

— А это меня не касается. Совершенно. Будешь сброшен в куда-нибудь.

— А что после этого будешь делать ты? Ты сам? — спросил, подумав, Дроздов.

— Я? Сам? Буду на тебя сердиться.

— За что? По какой причине?

— А я подумаю: «Если я не владею такой крохотной массой, как Алеша Дроздов, наверняка ею овладеет какой-то другой Интеграл. Другого вида». А раз так, мы поссоримся с этим каким-нибудь другим Интегралом: я обвиню его в узурпации не принадлежащей ему массы.

— Обвинил — и точка!

— Многоточие... — прокорректировал Дроздова Интеграл. — Ведь обвинить — это значит пришить так называемую неестественность.

— Пришил, и точка!

— Многоточие, тебе говорят! Кто же это согласится со своей собственной неестественностью? Вот ты всего-навсего Алеша Дроздов, а тоже скажешь: «Кому это дано делить мир на естественный и неестественный? Разве я, Алеша Дроздов, соглашался отдать кому-нибудь привилегию таких определений?! Кар-раул!» Вот как ты скажешь.

— Ну и скажу! А что из этого?

— Из этого все. Из этого вот что: с помощью огромного множества существенных доказательств каждый из двух Интегралов будет доказывать свою ничем непререкаемую правоту и естественность. Что будет при этом с существенными доказательствами обеих спорящих сторон — лучше не спрашивай!

— А если спрошу?

— Тогда отвечу сначала так: они — то есть существенно-вещественные доказательства — это ты и множество других малых величин. Вот что это такое.

— Предположим. А дальше?

— Дальше просто и ясно: в любом споре уничтожаются прежде всего доказательства обеих сторон, а не сами стороны. Понимаешь? Ведь и после того, как один противник окончательно побил другого в жестокой войне или просто так, они оба еще продолжают ворошить и поносить вещественные доказательства. Так что повторяю: ни от одной доказательной единицы не остается ни одной единицы, разве что две самые голенькие.

— Кто такие?— не догадался своим умом Алеша Дроздов.

— Дубль Адам и дубль Ева. Ведь надо же будет с кого-то начинать все сначала, иначе мы, Интегралы, просто подохнем от скуки и безработицы!

— Уж очень просто,— вздохнул Дроздов.— Слишком элементарно!

— Не просты и не элементарны, Алеша, только два действия: сложение и вычитание, да и то лишь потому, что они первоначальны. Умножение — это уже повторение, уже вариант сложения, деление — вариант вычитания, а дальше пошли вариации на эти две вечные темы, причем каждая вариация склонна считать себя более существенной, чем оригинал, ее породивший... Знаешь, Алеша, некоторые Интегралы с некоторых пор стали стесняться своей плебейской природы и в этой стеснительности выдумывают всякие модерновые

штучки — мини, макси, черт знает что, черт знает зачем! И, представь, делают это талантливо, проявляют исключительную изобретательность. Нет, я полагаю, что в наше время надо гордиться своей простотой, это дальновидная гордость! Ее глупо стесняться! Ты только представь себе, что вдруг ты стал бы стесняться своей собственной прямой кишки — разве не глупо? Тем более если дело происходит в современном мире науки и техники, где без прямой кишки не обходится ни один даже самый совершенный двигатель?

Над тундрой ползали облака и делали это с таким видом, как будто они были замешены на бетоне, как будто они были намерены ползать с тем же выражением собственной неприступности, по меньшей мере, еще два-три миллионолетия. Впрочем, они имели для этого серьезные основания: и появление, и будущее исчезновение такого строительного материала, как бетон, было для них не более чем эпизодом.

— Одного не понимаю,— спросил Алеша Дроздов,— ну, зачем вам, Интегралам, почти что богам, некультурные свары?

— Вот-вот! Нас перманентно раздражает это самое «почти»! И чем оно меньше, тем отчетливее впечатление, будто это самое «почти» течет из носа по собственной физиономии. Как при застарелом гайморите, да еще с одновременным воспалительным процессом, в правом и левом средних ушах!

— Ты сведущ в медицине?— спросил Дроздов.

— Исключительно по необходимости всегда иметь под рукой аналогию. Аналогия, имей в виду, метод полезный и в ряде случаев приятный. Всегда можно переложить решение любой задачи на того, кто первым попался под руку.

— И все-таки надо быть добрым. Мне почему-то кажется, что это должно быть само собой разумеющимся правилом больших величин!

— В принципе это так, но практически даже добрые боги добры ко всем окружающим до тех пор, покуда не поссорятся между собой. Будешь ты, наконец, спать? Я тебе очень советую, спи без разговоров, то есть веди себя хорошо!

— А что делить богам, если у них и так есть все?— не унимался Дроздов.

— Вот они и делят все.

— Понятия, например?

— Само собою разумеется. Кроме того, все мы, несмотря на расстояния, живем под одной крышей, я бы сказал, в одной коммуналке. И каждый хочет, чтобы к нему было не два, не три и не десять звонков с парадного входа, а только один. Каждый хочет, чтобы все другие уважали его персону, персону его жены, его племянницы и персону его приятеля, который только чуть-чуть похуже, чем он сам, забивает «козла».

— И «козла» тоже? Вот уж не думал! — удивился Дроздов.— Интегралы дуются в «козла»? Вот уж не думал!

— Напрасно не думал! Человек не может произвести ничего, ни Интеграла, ни Дифференциала, вообще ничего, помимо собственного образа. А в этот образ обязательно входит и такой штрих, как желание забить соседу «козла».

— Да? Ну, а где вы, Интегралы, чаще всего ссоритесь? По какому поводу? — поинтересовался Дроздов.

— Пожалуй, чаще всего дело происходит на лестничной площадке: каждому хочется выбросить в мусоропровод дерьмо покрупнее... Спи, тебе говорят!

— А все-таки ты, вероятно, не такой уж главный Интеграл? Зам, пом, главбух, главснаб, комендант, представитель чего-нибудь, что-нибудь еще в этом роде? Да? Так я предполагаю?— решил выяснить Алеша Дроздов.

— Сегодня я позволил себе погулять без знаков присвоенного мне верхнего предела интегрирования, вот в чем дело...

— Неужели... неужели... неужели бесконечность?!— ужаснулся Дроздов.

— Вот именно!

— Что-то я захотел спать,— сказал Дроздов и зевнул. Очень сладко зевнул еще раз.

— Алеша Дроздов! Ты уже опоздал, для тебя уже настал срок наблюдений... Отнаблюдайся сначала...

В этот срок наблюдений

Термометр показывал 27,8 градуса, а термограф 27,9° .

Барограф 888 миллибаров.

Гигрограф 69 процентов.

Анемометр 11,4 метра в секунду.

Флюгер запад-северо-запад.

Дроздов зафиксировал эти показания и оглянулся по сторонам.

Даже не столько оглянулся, сколько прислушался.

Прежде всего ему послышалась музыка.

Несколько грустная и повествовательная мелодия, которая еще не сложилась окончательно, но уже не однажды почти что слышалась Алексею Дроздову под сводами его стеклометаллического купола. Того самого купола, своды которого были им так удачно рассчитаны на сжатие.

Сначала появилась эта музыка, а потом и купол.

Дроздов вошел в него прямо из тундры, не спеша, приноравливая шаг к музыкальному ритму.

На Дроздове оказались летний костюм светлого тона и соломенная шляпа.

Войдя в подкупольное пространство по безупречно чистому снегу, он заметил на этом снегу рисунки — изображения пальм. Те самые рисунки, которые он не так давно сделал вокруг своей палатки. Дроздов остановился, поежился и сказал:

— Ошибка бюро прогнозов!— Еще поежился.— Не привыкать!— И он снял шляпу, повесил ее на что-то, что было на гладкой стеклянной оболочке купола, вынул из кармана пиджака палочку, подул, как бы сдувая с нее пыль, а потом еще и вытер ее белоснежным носовым платком, придал себе непринужденную и даже красивую позу и стал дирижировать.

Для начала получалось так:



Не бог весть что, но что-то такое, чего Дроздов не слышал ни у Бетховена, ни у Дунаевского, ни у кого, а только у самого себя и то первый раз в жизни. Поэтому он принялся варьировать:



И еще, и еще в том же духе...

Сначала ровно ничего не менялось под куполом от его дирижерства, но он был упрям, вслушивался и упорно вглядывался в рисунки на снегу, и вот его собственная музыка стала как бы прислушиваться к взмахам его палочки и пожелала подчиниться ему, и уже вскоре он овладел ею, и стал варьировать темп и громкость и самую мелодию и, наконец, когда она зазвучала в том варианте, которого он так хотел, он стал счастливо смеяться, а рисунки пальм на снегу вдруг стали зеленеть, сначала слегка, чуть-чуть, потом все гуще, а потом пальмы стали вздрагивать, поеживаться и потягиваться. Они стали приподниматься вверх на своих коричневых и лохматых стволах.

Следуя музыкальному ритму, пальмы довольно быстро поднялись во весь свой рост.

Итак, были пальмы.

Около них было море.

Среди пальм и на берегу моря была беседка, а в беседке был Дроздов, он поглядывал на часы. Он был уже просто так, а вовсе не в качестве дирижера.

Он ждал, Дроздов, он, конечно, ждал кого-то с нетерпением. Никого не было, и тогда он заговорил, обращаясь ни к кому:

— У меня уже были здесь такие встречи, такие масштабные собеседования, что я, должно быть, потерял способность к интимности. Моя личность подвергалась слишком сильным и слишком современным испытаниям, а я все равно верю в свои чувства. И буду верить!

Никто не поверил и не ответил ему, однако же он искренне хотел уладить недоразумение:

— И я могу сказать: любить — это значит, приходить вовремя.

Опять была тишина.

— Ну да! Приходить ко мне, когда я — механизм, и больше ничего — ни чувств, ни фантазии. Приходить, когда я — фантазия, а больше ничего — ни механизма, ни реальности. Приходить и своим приходом изменять меня, изменять соотношение тех составляющих и параметров, которые есть не что иное, как я — Алеша Дроздов!

Ответа снова не было.

— Любовь — всегда странность,— продолжал горячо объяснять Дроздов, полагая, что он все еще привел слишком мало убедительных рассуждений.— Это надо знать! Это надо понять!— Тут спокойствие и даже мечтательность, с которыми Дроздов обращался ни к кому, вдруг ему изменили и он крикнул:— Но тебе, но тебе, Тонечка, не надо странностей! Отнюдь! Ведь странность — это несоответствие данной минуте, расхождение с минутой. Зачем тебе расхождение? Вот минута, которая сейчас, сия минута, а ты не замечай ее, ее прихода, ее ухода, ее границ и ее объятий! Не надо, не замечай! Прекрасность минуты в твоем слиянии с нею, когда она и ты — одно и то же, когда твоя вечная природа и ты сиюминутная — одно и то же, твоя любовь и ты — одно и то же! Да?!

И тут Дроздову отозвался нежный голос:

— Почему ты обо мне, Алешенька?! Только обо мне?

— И я, и я тоже, может быть, буду жить завтра, может быть, даже послезавтра, и все только потому, что вот она — сия минута, и я чувствую ее, как единственную причину всего, что когда-нибудь будет со мной и что когда-нибудь перестанет быть мною! А в этой причине всех причин всего, что когда-нибудь случится или не случится со мной, присутствуешь ты! Ты, Тонечка!

Тонечка была беленькой, в беленькой кофточке, с короткими, чуть-чуть рыжеватыми волосами, подстриженными челочкой на два локона, и в возрасте несколько больше двадцати.

Она появилась среди пальм неподалеку от беседки,

удивленная чем-то, но только не своим собственным появлением.

— Алешенька,— с недоумением очень старательной ученицы и, может быть, даже старосты класса спросила Тонечка,— а как же тогда быть со странностями, которые всегда-всегда расходятся с минутами? Они-то — что такое? Сумасшествие, что ли? Ты ведь только что сказал — любви нет без странностей?

Бывают такие первые ученики и ученицы, которым иногда приятно что-нибудь не понять. Которым хочется, чтобы им и еще объясняли, чтобы им и еще послушать усердного преподавателя. Алеша Дроздов знал это по собственному опыту.

Алеша Дроздов был нынче до предела усердным, был переполнен энтузиазмом объяснения.

— Странность — это тоже попытка приблизиться к самому себе, к своей минуте, но только не по прямой. По кругу, по ломаной кривой. Иногда через один полюс, иногда — сразу через два.

— Ты приближаешься ко мне через два?

— Через три!

— Ах!

— Тонечка! Я повторяю: зато лично перед тобой только сия минута, то есть кратчайшая из кратчайших прямая! Ты счастлива! Пойми же это! Пойми сию же минуту!

— Значит, ты не со мной? Не совсем со мной? Потому что ты странный, а я нет?

— Ну не все ли равно? Ведь я иду, я иду, я же иду к тебе через три полюса! И это опять-таки прекрасно! Разве ты не чувствуешь, как прекрасен мой путь к тебе? Разве геометрия этого пути чужда тебе? Разве ты не чувствуешь в геометрии этого пути удивительных теорем?

— Ты где-то там, да? Где-то еще? А здесь ты не весь? А как же без тебя всего здесь существует все это?— И Тонечка выразительно и даже умело, как будто ей приходилось делать это множество раз, указала на все, что было вокруг.

Вокруг, в общем-то, оказалось довольно много всего.

Море было представлено здесь волнами, прозрачными, как у Айвазовского, с самыми различными, но одинаково блестящими бирюльками на гребешках, волны одна за другой чувственно распластывали себя по бере-

гу, чтобы обнять как можно больше горячего влажного песка, чтобы их тоже горячо и много пронизывало солнце; в море были корабли, очень похожие на детские кораблики и тем не менее изо всех своих сил старающиеся еще больше походить на них;

над морем были чайки, с высоты они зорко присматривали за тем, чтобы волны не нарушали установленного порядка движения, не обгоняли бы друг друга, а соблюдали безукоризненную очередность, чайки падали с неба на гребешки волн, попридерживая их бег к дальним и близким берегам;

на дальних и близких берегах были пальмы, и те пальмы, что были далеко, казались только что приземлившимися парашютами, на которых еще не растаяли голубые пятнышки неба, а те, которые были близко, вырастали из земли в небо, как грибы с позеленевшими от времени шляпами, с обросшими густой коричневой шерстью ногами;

еще на ближнем берегу был рисунок из темных гор, остроконечных и округлых, а другой, почти такой же рисунок, но только выполненный густой белой краской и перевернутый в обратную сторону, составляли облака;

в основном, на горы, но кое-где и на море, и на облака был наклеен город без улиц, без дворов и площадей, с одними пестрыми фасадами домиков, по-видимому, предназначенных для обитания совсем незатейливых и румяных существ;

вокруг было и еще много всего: много солнца, много разноцветного воздуха, много горизонта, парусов, камней, песчинок и травинок, пятнышек, садовых клумб, скамеек, детских колясок, бабушек, собачек, детишек и так далее, и так далее, и Дроздов, посмотрев на все это, на Тонечкину руку в коротком рукавчике, сказал:

— Нет, я, честное слово, здесь весь — до последней своей частицы! Поэтому я вижу все это. Я даже могу — вот так! — вот так закрыть глаза и отчетливо видеть все это с закрытыми глазами! Вот там, смотри, Тонечка, летит чайка! Сейчас чайка упадет на волну. Упала... Волна подняла чайку. Уронила... Подняла... Уронила... Очень важно уловить ритмы. Ритм сотворения и существования мира. А тогда многое встанет на свои законные места. Видишь, я вижу не глядя, значит, я здесь. Здесь и целиком!

Тем временем Тонечка, приложив руку к глазам, внимательно всматривалась в даль, в море, в небо, а потом обернулась к Алеше Дроздову и сказала ему:

— Удивительно!

— Удивительно!— подтвердил Алеша.— Это потому, что нас двое, что ты со мной. Ты со мной, и вот благодаря тебе я вижу все и как будто даже догадываюсь о том, о чем догадаться никогда не мог,— о смысле всего! Во всяком случае, никогда я еще не был так близко к этой догадке, как сейчас. Уж это точно! Но так странно, скажу тебе, Тонечка, и так приятно: это все и смысл этого всего нужны мне сегодня даже не сами по себе, а только ради чувства своей любви, для слов о ней. Что нужно для влюбленных? Почти ничего, но весь мир им все-таки нужен. И я постарался, я очень постарался, я просто-напросто сказал себе: «У тебя, Алешка, нет другого выхода. Умри, но сделай! Сделай и умри!» И я сделал. Вот это все. Тем более что мир становится куда порядочнее, если ты сколотил его сам, хотя бы и на скорую руку. Если он составляет геометрию моего пути к тебе, Тонечка! Тогда и становится рукой подать до смысла всего на свете!

Разговаривая таким образом, Дроздов ходил по беседке, руки за спину, полукруг за полукругом, только иногда останавливаясь, чтобы поправить очки и очень внимательно взглянуть на Тонечку, в ту сторону, где она стояла в нерешительности.

— А что же тут есть, Алеша? На самом деле?— робко и тревожно спросила она.— На самом? Деле?

— Здесь большой-большой купол. Из стекла и металла.

— Пустой?

— Здесь наша любовь.

— А еще?

— Тут Земля Одного Человека. И его Пространство.

— А если совсем реально?

— Знаешь, заниматься реализмом в нашем положении — полная бессмыслица! И даже полное отсутствие чувства реальности. Кроме того, здесь уже была генеральная репетиция нашей встречи. Здесь, в этом воздухе, уже доказаны закономерность такой встречи и ее необходимость!

— Да?

— Да! Здесь уже было мгновение, когда звук искал свое эхо, а эхо — свой звук и они почти что, ну, совсем-

совсем почти что нашли друг друга! Как же после этого здесь можем не встретиться мы?

— Но все-таки «почти»?— все еще сомневалась Тонечка.— «Почти» здесь тоже было?

— Это можно поправить! Можно кое-что прокорректировать, дополнить, а тогда ты сможешь встретиться со мной без «почти». Со мной и со всем этим! Со всем этим не таким уже захудалым миром! Начнем с самих себя, встретимся между собой, а тогда и весь этот мир сольется с нами. Начинать с самих себя — это, значит, делать дело серьезно!

— Неужели! Ну, а как мне начать, чтобы начать с самой себя?

— Просто, Тонечка! Вспомни, пожалуйста, свое детство! Ну?!

— Я была послушным ребенком. А послушным детям, когда они становятся взрослыми, трудно что-нибудь вспомнить о себе... Но я вспомнила: я любила большие тенистые деревья и маленьких розовых кукол.

— Вот-вот-вот!— обрадовался Дроздов.— И когда в детстве ты прикасалась к большому дереву или к маленькой розовой кукле, ты была убеждена, что они тоже прикасаются к тебе, что они чувствуют твое прикосновение к ним?

— Наверное... Вполне возможно, что так и было,— подумав, согласилась Тонечка.

— Значит, ты родилась с пониманием прямой и обратной связи с миром — с воздухом, с куклами, с деревьями, с солнцем, с людьми,— ты соприкасалась со всем на свете, а все на свете, когда ты была ребенком, тоже соприкасалось с тобой... А потом? С возрастом обратная связь исчезла, ты убедила себя, что ее нет, и прикасалась к своему любимому дереву, заранее зная, что оно не чувствует твоего прикосновения, что ты знаешь все и обо всем судишь, но все не знает, не ощущает и не судит тебя. И вот уже ты перестала знать, как мир относится к тебе, это тебе стало все равно, хотя ведь это он создал тебя, а не ты его! Ты хочешь узнать свое место в мире, не зная его отношения к тебе, где же логика? Ты пожимаешь руку любимому человеку, но даже и тут знаешь только свое рукопожатие, но как любимый человек чувствует твое прикосновение к нему, ты не знаешь! Где логика, я спрашиваю? Где же происходит наша жизнь, я спрашиваю, если она отчуждена от того мира, в котором она происходит?

— Действительно,— вздохнула Тонечка.— Чего-то нет, что обязательно должно быть. И во мне, и во всем.

— Ты поняла на «отлично»! А если поняла — совершай! Вот тебе мир, который чувствует малейшее прикосновение к нему, который способен выразить свое отношение к тебе! Прикоснись вот к этой пальме!

Тонечка прикоснулась.

— Еще-еще! Посильнее. Ты чувствуешь ее?

— Конечно!

— А она тебя?

— Не знаю. Хотя подожди-ка!— Тонечка прислушалась и сказала тихо.— Ей приятно... Ей хорошо от моего прикосновения... Она уже начинает меня любить!— И вдруг Тонечка отпрянула от пальмы и, нагнувшись, схватила камешек, погладила его, послушала и положила его за бюстгальтер, подхватила горсть моря и выплеснула ее туда же, а потом сорвала травинку... Проделывая все это, она говорила:— Да, да, да! Ну вот, ну вот! Ну вот, все это знает меня!

Амплуа первой ученицы и даже старосты класса больше не нужно было Тонечке. Это было видно по выражению ее лица, по выражению ее фигуры, по выражению ее голоса, по выражению завитушки, которая подпрыгивала у нее на лбу.

— А если все это слишком возвышенно? Слишком возвышенные слова и чувства?— спросила она немного спустя. И немного погрустнев.

— Но ты о них знаешь, о возвышенных словах и чувствах? Да?! Значит, они существуют! Значит, кто-то должен иметь к ним отношение, быть к ним причастным!

— А если...

— Любовь минует всяческие «если». Как Азорские острова.

— А ты знаешь, что я хочу от любви, Алеша?

— Всего! Всего мира, но только через меня — вот чего ты хочешь!

И Тонечка сделала шаг к Дроздову, и Дроздов сказал:

— Прекрасный шаг!

— А что это? Так воет? — вдруг прислушалась Тонечка.— Где-то? За границей Земли Одного Человека?

— Еще один. Еще один прекрасный, ну? Шаг?! Ну?

Тонечка сделала еще один шаг. Сделала красиво, но не очень уверенно.

— Который теперь час?— спросила она.— Может быть, уже очень поздно? Уже не время? Который час?

— Ну, зачем тебе час? Ведь у тебя же есть мгновение?

— Мало ли, что оно есть. Но оно сейчас кончится?

— Разве ты умираешь?

— Нисколько. Кажется, нисколько!

— Тогда почему же оно кончится? Представь, что вся твоя жизнь — одно мгновение, ведь это логично и вполне соответствует научной истине! Но ведь в мгновении уже нет ни прошлого, ни будущего, только оно одно — настоящее. И только настоящее становится твоей жизнью.

— Так можно?

— Нельзя иначе: бессмысленно делить мгновение на прошлое, настоящее и будущее. И только в каком-то уж недетском возрасте ты додумалась до такой бессмыслицы. Все остальное — все дети, все звери, травы, все камни и воды — не поступают так глупо! Вот сейчас, когда ты впервые восстановила утерянную еще в детстве обратную связь с миром, когда не только ты прикасалась к пальмам и камням, но и они к тебе тоже, разве ты почувствовала в пальмах и камнях их прошлое? Или их будущее?

— Нет... Этого я в них не почувствовала.

— Совершенно верно! Это потому, что мир всегда только сиюминутен, а следовательно, бесконечен. Одно только настоящее, без прошлого и без будущего,— это и есть бесконечность! Любая птаха, любая корова, любой червяк живут в состоянии бесконечности!

— А все-таки, скажи, Алеша, который же теперь час? Мне трудно без этого, я давно привыкла чем-нибудь измерять свою жизнь. Я давно привыкла измерять чем-нибудь все на свете, для меня вообще не существует всего того, что я не в состоянии хоть как-то измерить!

— А любовь?

Тонечка не ответила. Она задумалась.

Медленно Дроздов вынул из кармана часы.Он долго держал их в руке, не открывая, но Тонечка требовала. Требовала взглядом, всей своей позой, выражением лица. Дроздов колебался, а она требовала.

Было девятнадцать часов — срок наблюдений.

Дроздов с трудом держался на ногах, двигаясь от прибора к прибору, делая записи в «Дневнике», очищая механизмы метеоприборов от снега.

Одно время ему показалось, будто часовой механизм барографа увеличился до таких размеров, что он, Алеша Дроздов, смотрит на него снизу вверх, задрав голову, а потом он зачем-то решил подняться на самую верхнюю точку самого большого колеса этого механизма и побежал по зубчатой нарезке, как по ступеням, но колесо двигалось в обратную сторону и он не мог набрать высоту; кроме бега на месте не было ничего, а тогда он догадался, обежал колесо с другой стороны, вскочил на него, и оно стало быстро поднимать его вверх. Если бы не резкие рывки, осталось бы полное впечатление, что он поднимается на чертовом колесе в каком-нибудь парке культуры и отдыха в какой-нибудь праздник или просто в выходной день, но, к сожалению, ощущение праздничности было слишком недолгим, потому что колесо тут же сбросило его вниз, сбросило несправедливо, совершенно ни к чему, потому что он ведь не хотел ничего плохого — только очистить зубцы колеса от снега. Тем не менее он лежал внизу и почти что плакал от боли и обиды, а потом собрался с силами, привстал, плюнул на колесо и пошел к анемометру, но тут оказалось, что к анемометру даже близко подойти нет никакой возможности — огромные лопасти, каждая размером опять-таки почти что в рост Дроздова, вращались так быстро и создавали турбулентный воздушный поток такой силы, что Дроздова отбрасывало в сторону, по крайней мере, на десяток метров, и снова, лежа на снегу, Дроздов гладил этот снег и спрашивал: «Где мои пальмы? Где же все-таки мои пальмы?»

— Ну, нет,— сказал Дроздов, поднимаясь,— ну, нет, ведь это я — механизм, это я — самый совершенный механизм и прибор из всех этих механизмов и приборов, но только мое совершенство нарушено эмоциями. Долой эмоции! Долой фантазии! Ведь уже точно доказано, что самый совершенный механизм здесь — я! Я, а не они!

И действительно, геометрическое соотношение между ним и метеорологическими приборами довольно скоро пришло в норму, приборы стали как приборы, обыкновенной величины, хотя они и работали с перебоями и выписывали на лентах прерывистые кривые, потому что повсюду между зубцами их колесиков набился снег.

Термометр показывал 36,2 градуса, а термограф 36,3° ниже нуля.

Барограф 756 миллибаров.

Гигрограф 71 процент.

Анемометр 13,2 метра в секунду.

Флюгер запад-северо-запад.

Все эти показатели помимо своего собственного реального значения вызывали в памяти Дроздова короткометражные сеансы его прошлого земного существования. Будучи документальными, они казались теперь настолько фантастическими, что именно для них-то у него и не хватало воображения, он не мог их ни продолжить, ни войти в них надолго и прочно, поэтому они начинались и кончались сами по себе, независимо от него, а все другое, все то, чего никогда не было и никогда не будет, а вот все нереальное, фантастическое,— это было неизменно при нем. Это было проще, доступнее, не нуждаясь ни в памяти, ни в хронологии.

На этот раз короткий сеанс реального, нечто вроде кинохроники, был сначала посвящен ему самому — ему в первом классе, на последнем уроке первой четверти первого учебного года, когда учительница объявила, что он первый ученик.

Когда учительница это сказала, Алеша посмотрел вокруг, чтобы увидеть всех мальчиков своего первого «А» класса, но не увидел их, потому что в этот миг они сделались уже другими — не первыми... В классе было три окна, все три сияли, а в этом сиянии высвечивались смуглые, светлые и рыжеватые мальчишеские лица, пуговицы, пальцы в чернильных пятнах, но самое главное — высвечивалась непервость всего этого, всей этой мальчишеской массы. Самого же себя — единственно первого — Алеша видеть не мог.

Священной обязанностью всех мальчишек было теперь подтвердить Алешину единственность, вслух согласиться с тем, что он первый, но класс молчал, и он остро почувствовал неискренность человечества и свою собственную скорбь по этому поводу.

С тех пор эта маленькая и сладостная скорбь всегда томилась в нем, и никогда и ни с кем он так и не разделил ее. О ней однажды догадалась только бабушка, догадалась в тот же день, когда он — уже не совсем обыч-

ный, а первый — вернулся из школы, а она погладила его по голове... С сожалением погладила.

А ведь он всю свою последующую жизнь, всегда хотел, всегда желал, чтобы, кроме бабушки, об этом догадался весь мир.

И, пожалуй, все, что происходило с ним сейчас, тоже несло печать этого неиссякаемого желания.

Тут кадр сменился: главным действующим лицом стала бабушка.

Она была маминой мамой, и знать об этом было можно, но ясно и отчетливо это себе представить невозможно, и Алеша, давно смирившись с парадоксом, любил бабушку и за эту ее невозможность и за надежду, которую она ему неизменно подавала: он верил, что когда-нибудь серьезно поймет, как и почему происходит существование бабушек. Мама родила его, этому он верил, но в то, что человек, родивший его, сам мог родиться у кого-то, поверить было уже нельзя.

И вообще, уж эти ему интеллектуалы-первоклассники, нет чтобы принципиально перевоспитаться с переходом в третий или хотя бы в десятый класс, они существуют затем и в облике студентов, пап и мам и даже тех самых реликтовых дедушек и бабушек, которых сами не так давно почитали за старинную и странную насмешку природы.

Неизменное ощущение своей первоклассности и первоученичества так и не покидает их до конца.

Усмешка над вечными вундеркиндами не мешала, однако, Алеше Дроздову все еще отчетливо ощущать бабушкино поглаживание по голове, оно сохранилось для него не столько как акт осязательный, но и как интеллектуальный, от которого много чего возникло в его сознании, может быть, даже возникло все.

Он грел его и сейчас, этот акт, и через него же он нынче уяснял, какая в тот момент была мебель в комнате: небольшой стол, который все та же бабушка подарила ему, когда он впервые пошел в школу, и на котором он уже успел сделать заметное пятно там, внизу, куда сама по себе почему-то любила постучать его правая нога; никелированная кровать, которую он не очень любил, потому что каждый день, кроме воскресенья, из нее надо было вставать по звонку будильника, а потом еще и прибирать ее; его же персональный стул со странной, отчасти облупившейся виньеткой на спинке, ну, и еще другие незначительные вещи той комнаты, в которой он

и после этого поглаживания по голове долго еще продолжал жить и взрослеть.

В том же самом акте поглаживания для него существовала, наконец, и сама бабушка — сочетание классической доброты со спокойствием и ровностью почти неодушевленного предмета, умеющая заботиться не только от своего собственного лица, но и от лица мамы о папе, от лица папы о маме, от лица детей о родителях и так далее — в бесконечном числе всех возможных и даже невозможных сочетаний; умеющая любить каждого члена семьи больше, чем всех остальных; нигде всю жизнь не работавшая и по этой причине обладающая привычкой раньше всех в доме вставать, позже всех ложиться и безотказно помнить, где и что в доме лежит. Бабушка, давным-давно отдавшая этому дому все, что только можно отдать, даже свое имя и отчество, и называемая теперь детьми, взрослыми и соседями бабусей или просто Ба.

Ба, в образе и прикосновениях которой нынче, в очередном короткометражном сеансе реальных воспоминаний, почему-то была овеществлена земная жизнь Алеши Дроздова мирного и военного времени, вполне реальная жизнь, уже странным образом ничуть не нуждающаяся в его нынешней фантазии, но хрупкая и эпизодическая, как те приборы, наблюдения за которыми Дроздов проводил несколько раз в сутки.

— Впрочем, и вся та жизнь, которая уже была, которую Алеша Дроздов так или иначе, а все-таки уже прожил, переставала быть. Переставала приблизительно так же, как перестает быть съеденный тобою хлеб. Единственной и непоколебимой реальностью всегда ведь остается только хлеб насущный, то есть тот, который тебе съесть предстоит, который ты съешь во что бы то ни стало в скором и даже не в очень скором времени.

Прожито — это, значит, что? Это — конец! Дым, туман, полное отсутствие настоящего, а значит, и сущего!

А вот не прожитое, так это — твое, твоя реальность, твоя страсть, твое вожделение и пылкая любовь, твой повелитель, твой собственный угол в общежитии всех живых...

И Алеша Дроздов торопился втиснуться в этот угол-уголок, такой непрезентабельный, такой очевидно-необходимый и такой таинственный своей необходимостью.

Хотя бы ненадолго. Хотя бы и в нереальный уголочек — заключенный в пространство одного человека. Разве у него была сейчас такая возможность — разбираться в том, что — реально, а что — не совсем?!

— Ну, а где же все-таки твои часы, Алешенька? — спросила Тонечка.— Я так ждала тебя, так ждала. Ты исчезал? Куда? И вообще, куда исчезло все? Где море? Где чайки? Где пальмы? Которые я чувствовала и которые чувствовали меня? Я не очень, я не до конца верила им, но, когда они вдруг исчезли, я им тотчас поверила...

Действительно, ничего этого уже не было, а была только зеленоватая фосфоресцирующая темнота и в ней Тонечкин голос.

— Ты хотела прийти ко мне по часам?

— Я хотела прийти к тебе,— ответила Тонечка из темноты.— Я должна узнать тебя ближе, узнать совсем. Без часов я не могла этого сделать.

— Сейчас мы что-нибудь придумаем...— ответил Дроздов.— Сию минуту! Как все-таки прекрасно твое желание! Как я ждал его! Но у нас и у тебя лично уже нет состояния сиюминутности! Ведь ты потребовала, чтобы был назван час. Час нашей встречи. И вот...

— Что же мы будем теперь делать, Алеша? Я допустила слабость, но ведь ты-то мужчина!

— Чуточку терпения! И еще чуточку, милая Тонечка!

Конструкция обозначилась не сразу, но уже спустя минуту в ней без труда можно было различить стрелу точно тех же очертаний, которая была на карманных часах Дроздова, только это была большая, огромная Стрела, и на одном конце ее стояла Тонечка. Испуганная и растерянная.

Там, на том конце, был ветер, и волосы на Тонечкиной голове и юбочку вокруг Тонечкиных колен сбивало ветром на сторону. Дроздов же стоял теперь на площадке-круге, положение которого было точно зафиксировано вертикальной осью Стрелы.

Стрела двигалась совершенно безмолвно, без «тик-так», «тик-так», но, разумеется, двигалась вместе со своей вертикальной осью. И в то время, как Дроздов неподвижно стоял в самом центре круга и спокойно разворачивался по ходу Стрелы, на свободном ее конце

Тонечка полностью испытывала воздействие окружной скорости. Поэтому ей было трудно там удержаться.

В какие-то моменты, как раз в те, когда Тонечка, должно быть, непроизвольно, но очень сильно, хотела быть убедительной в своем чувстве к Алеше Дроздову, глаза у нее теплели, темнели, округлялись и становились как бы не ее собственными, зато вся она остальная становилась собственностью этих глаз, так что их цвет, их округлость, их выражение подчиняли себе весь ее организм, ее дыхание и сердцебиение, а их тепло мгновениями накаляло ее всю, до кончиков пальцев на руках и ногах, до ноготков на кончиках пальцев... Такой видел Тонечку Дроздов.

— Ну, вот,— сказал Дроздов,— тебе хотелось времени? Сначала тебе нужны были часы и минуты, а потом хоть какое-нибудь, но Время? Ну, вот тебе это Время — без часов и без минут. Само по себе. Теперь ты счастлива, милая Тонечка?

Тонечка, продолжая молча балансировать, медленно приближалась к Дроздову по Стреле.

Когда движения у нее стали чуть-чуть увереннее, где-то на полпути она приостановилась, отдышалась, поправила на лбу локон и спросила:

— Я все-таки не понимаю, сколько теперь времени?— И она приложила пальчик к уху, слушая. Слушая неизвестно что.

По-прежнему беззвучно двигалась Стрела, и, нарастая, со всех сторон, доносился глухой, с нервными подъемами и спадами, вой пурги.

Пурга была где-то за оболочкой купола, который не столько просматривался в зеленоватой полутьме, сколько прослушивался: выла пурга, и грустно, колокольно отзывались на ее вой конструкции купола — стекло, металл и что-то еще.

Длинная остроконечная Стрела идеальных очертаний, идеально гладкой поверхности, идеально голубого цвета излучала собственный, тоже идеально голубой свет вверх, строго по вертикали, а посередине Стрелы, пронизанная этим светом, стояла Тонечка и снова жалобно и робко, боясь рассердить Алешу Дроздова, спрашивала у него:

— А все-таки, который же теперь час? Трудно, когда не знаешь, который час! И кто их только выдумал, эти часы? И зачем они? Который час?

— Часа уже нет. Есть Время, а больше ничего! — ответил ей Дроздов.— Поняла?

— Нисколько!

— Предметно: видишь, там, у конца Стрелы, откуда ты пошла ко мне, окружность? Видишь ее?

Тонечка оглянулась назад.

— Ну и что?

— Это циферблат!

— Как странно! — пожала плечами Тонечка.— Круг, и больше ничего! Никаких цифр! Никаких делений! Подразделений! Заметок! Никаких примет! И это — циферблат?

— Любая окружность, дорогая Тонечка, это тоже Время.

— Объясни, пожалуйста! Ты умный, на выпускном вечере все говорили, что тебе нужно поступить в аспирантуру! Объясни доходчивее!

Дроздов собрался с мыслями.

— Круг Времени может быть всяким, Тонечка. Он может быть суточным или годовым. Суточный состоит из четырех дуг — утро, день, вечер и ночь,— соотношение которых определяется географической широтой и временем года. Годовой круг тоже составляет четыре дуги, примерно тех же соотношений — это весна, лето, осень, зима. Они тоже зависят от географической широты и от времени... От времени чего? От времени какого следующего круга, кратного четырем? Не знаю... Только этими двумя кругами — суточными и годовыми,— только ими я умею измерить свою, твою, вообще всякую жизнь. Только они для меня Время. Жаль, но что поделаешь, если я не знаю о Времени ничего больше! Однако не может быть, чтобы не было какого-нибудь следующего круга! И следующего за следующим! Они есть, и это ничего не значит, что я их не знаю. Я ведь не знаю их исключительно потому, что имею привычку не знать. И потому, что для меня не существует ничего, чего я не знаю. Так разве же такая привычка — это реализм? Это, дорогая Тонечка, черт знает что,— вот что это такое!

И уж если ты не хочешь этого черт знает чего, так поступи реалистично: представь, что вокруг тебя, и рядом с тобой, и в самой тебе, и над тобой множество чего-нибудь, чего ты не знаешь! Сделай такое усилие, представь,— а тогда все встанет на свои места, в том числе и неизвестные нам круги времени!

— Мне трудно стоять на таком ветру, Алешенька! — сказала Тонечка. — Ветер, и довольно холодный. Ты прекрасно объясняешь, но только...

— Так иди же, в конце концов, ко мне! У тебя была сия минута, чтобы пройти ко мне, у тебя есть Время, у тебя есть все Временные круги, которые я знаю и не знаю! Тебе служит самый совершенный, самый идеальный, а, следовательно, и самый красивый в мире механизм — вот эта Стрела и вот та окружность, к этому механизму неприложимо даже понятие к. п. д., настолько он совершенен, так будь же счастлива, так иди же ко мне! Что тебе еще мешает? Что? Ты только вспомни: мы с тобой живем! А ведь могли бы и умереть! Однако все, что есть и что было вокруг нас, нас спасло — и жизнь спасла, и смерть спасла, и мирное время, и даже военное! Так проникнись же благодарностью к Времени и доверием к нему, будь счастливой! Тебе все еще что-то мешает?

— Не знаю...

— Пойми, это двигатель, который не нуждается ни в подаче какого-нибудь топлива, ни в сбросе каких-нибудь отработанных веществ, он целиком замкнут в самом себе. Это, с нашей точки зрения, самодвижущийся механизм, потому что его энергия нам неизвестна и недоступна... Но так называемое самодвижение — это всякий раз особый мир и особая Вселенная, та ли, в которой мы с тобой живем, Тонечка, или какая-то другая, все равно. И хорошо, что тебе это все равно, ты знай себе пользуйся этим самодвижением, милая, пользуйся скорее исключительным случаем, пока случай в твоем распоряжении, не зевай, не теряйся, иди ко мне!

— Но ведь это ты — мужчина! Ведь это про тебя на выпускном вечере говорили...

— Я догадался! — прервал Тонечку Дроздов. — Догадался! — крикнул он во всю мочь, и тотчас поза его стала строгой, лицо стало строгим еще более. — Ко мне ш-шагом марш! Раз! Два! Три! Кому говорят, черт побери?!

Было объятие...

Неизвестно, сколько оно длилось, ведь часов не было.

Но разочарование, а потом недоумение, а потом испуг отразились на лице Тонечки, и она спросила:

— Алешка! Ты... ненастоящий?!

— Откуда это может быть известно? Как это может быть доказано, если я, я сам ничуть не сомневаюсь в своей подлинности? Если для себя я более настоящий, чем все на свете другое? Чем все известные и неизвестные мне Круги Существования.

— Алешенька! Ведь это же ты научил меня прикасаться ко всему, угадывая при этом обратную связь... И вот я чувствую, как ты меня не чувствуешь, как чувствуешь и ощущаешь меня не по-настоящему, а как-то там еще.

— Да?..— спросил Дроздов.— Вот так мы портим себе свое собственное существование — слишком много его объясняя, на каждом шагу подвергая его сомнению! И любовь тоже подвергаем! А чего ради? Что взамен этих сомнений? Ну, хорошо, прикоснись ко мне еще раз! Рискни! Не бойся!

— Боюсь!

— Бояться нельзя!

— Очень-очень боюсь, Алешенька!

— Тогда я!..— И Дроздов протянул к Тонечке руку и положил ей руку на плечо, а она вздрогнула и произнесла с испугом:

— Ой!— и отстранилась.

— Я совсем, совсем холодный? Как мертвец, да? Как мертвец, замерзший где-нибудь в тундре при минус тридцати шести на поверхности почвы?

— Нет!

— Очень горячий? Как в жару, да? Как умирающий в агонии, да?

— Нет!

— Мягкий, словно из ваты, да? Без единого мускула?

— Нет!

— Твердый как лед? Как лед и камень?

— Нет!

— Тогда какой же я?

— Ты ненастоящий!

— Должно быть, ты права, милая Тонечка. Так оно и есть.

— Почему? Почему я права? Зачем я права? Кому это нужно?

— Ты ни при чем, Тонечка. Ты тут ни при чем ни своей правотой, ни своей неправотой. Виноват я, я ведь действительно не знаю, который нынче час. И который год. А может быть, и который век, тоже не знаю. Знал

когда-то давно, но забыл. Вокруг меня было слишком много пространства, и в нем я потерял Время. Стал ненастоящим. Точнее — вневременным. Попробуй — лиши себя часа, дня, месяца,— и ты легко поймешь — какой я, чем я стал.

— Сделай усилие, Алеша, сделай усилие и вспомни! Вспомни свое время, свой час, свой день, свой месяц, свой год?! Ну, пожалуйста!— убедительно попросила Тонечка.— Сделай усилие и вспомни! Вспомни, пожалуйста!

— Не могу, я обижен. Это ведь не я первый отказался от часа, от дня, от месяца, от года, от десятилетия и века, это сначала они отказались от меня! Это они торопливо, я бы даже сказал, по-свински, лишили меня своего присутствия! Эта группа товарищей!

— Не надо обижаться, Алешенька, совсем не надо выяснять отношения, кто кого предал первым — ты или тебя. Зачем? Знаю я это выражение: «Безвременно ушедшая группа товарищей»! Знаю!

Дроздов задумался, глядя в зеленоватую полутьму, где высвеченный конец Стрелы Времени безмолвно, аккуратно и непрерывно передвигался вдоль окружности, не отсчитывая никаких отрезков, никаких единиц измерения.

— Ну, и что же?— снова обратился к Тонечке Дроздов, хотя Тонечка молчала.— Вот наступит какая-то иная система Времени, и по отношению к ней мы оба будем ненастоящими. Может быть, мы сами своей жизнью уже создали эту новую временну́ю систему и живем в ней, но все еще не знаем ее — ее названия, ее размерностей. Конечно, мы ее узнаем, вот посидим еще между двух стульев, а тогда волей-неволей узнаем!

— Ах, как мне безразличны и все эти круги, и все эти системы, и все эти стулья, и все эти рассуждения! Я хочу любить! Но я не могу любить без часов, дней и годов. Любовь — это тоска по ним: по любовным часам, дням и годам, их горечь, их сладость! Даже когда любовь счастлива, все равно в ней должен быть этот привкус горечи, в ней всегда должно не хватать единиц времени! А в Вечности? Во всех других Кругах, о которых ты знаешь и не знаешь,— там чего-чего, а Времени хватает всегда.

— Милая и мудрая Тонечка, а разве ты никогда не искала встречи с любимым понятием? Не назначала свидания понятию о любимом человеке? Не объясняла

этому понятию самые серьезные вещи? Не оберегала его от других понятий, хотя бы от своих собственных? Не боялась, что твое понятие обманет тебя? Не убеждала понятие в чем-то очень важном? Не целовала понятие? Не ссорилась с ним? Не мстила ему? Не прощала его? Не плакала из-за него? Скажи, что такое любовь без слов и без понятий?

— Да, да, да! Но это всегда понятия о настоящем! О наинастоящем! О том, что может быть самым настоящим часом, самым настоящим днем, самыми настоящими годами жизни, которые тебе дороже всего, потому что ты знаешь, что они обязательно кончатся! Они — это отпущенный тебе срок твоей жизни, и только попутно с этим они — это годы, это вёсны и зимы, дни и ночи! И еще, ты мужчина, Алешка? Ну?! Ради меня! Будь настоящим, будь реальным, постарайся, пожалуйста!

— Но ведь это ради тебя, Тонечка, я и сторонюсь нынче реальности. Очень опасаюсь, что она может испортить тебе настроение! Что она окажется не до конца выдержанной и воспитанной!

— Все равно, ты должен постараться, Алеша! Ну?

Комната в помещении небольшого полярного аэропорта: нештукатуренные стены, большая печь и железная печурка с открытой дверцей, в печурке горят поленья.

За столом этой крохотной и тесной комнаты сидит Шевырев в просторной рыжей куртке, в унтах и пишет. Рядом на столе его рыжая лисья шапка.

В дверь просунулась крупная мужская голова под распущенным треухом и спросила:

— Готово, что ли?

— Ты бы, Любомиров, сел бы, да сам бы и написал бы!— сердито ответил треуху Шевырев.— Писать мне, а торопить — так тебе!

— Да я лично тороплю, что ли? Народ...

— Ничего твоему народу не сделается. Сейчас!

Треух снова скрылся за дверью, а Шевырев с сердцем бросил карандаш, сложил вчетверо до половины исписанный листок бумаги, сунул его в карман куртки, надел шапку и вышел.

В огромном дворе, лишь кое-где обозначенном полуразрушенной и занесенной снегом жердяной изгородью, около деревянного склада, Шевырева ждало человек

пятнадцать—двадцать в таких же, как у него, рабочих куртках.

С одной стороны этого двора возвышался деревянный фасад двухэтажного здания аэропорта, с башенкой, с флагом на башенке и с полосатой колбасой, надутой довольно сильным ветром северо-северо-западного направления; на противоположной стороне был приземистый деревянный склад, а сбоку от склада и чуть поодаль видны были будки и приборы метеорологической станции, в пространстве между складом и помещением аэропорта возвышался небольшой ангар, рядом с ним стояло несколько самолетов-бипланов, четвертая же, противоположная ангару сторона, не была занята ничем.

Там была тундра. Из тундры дул ветер.

Когда Шевырев вышел на крыльцо, он поднял руку и помахал тем, кто стоял у складской стены.

Ветер тянул поземку. Шевырев не был уверен, что его сигнал увиден, он сложил руку трубкой и крикнул:

— Давай, давай!

Люди около склада на минутку замешкались, а потом, держась вплотную друг к другу, зашагали в тундру.

И Шевырев пошел туда же, преодолевая встречный ветер и под острым углом приближаясь к небольшой, но плотной толпе.

Шевырев почти догнал эту толпу, но почему-то тут же поубавил шаг, пошел позади нее.

Все шли молча, придерживаясь взятого порядка следования, никто не обгонял друг друга, никто, кроме Шевырева, не отставал. Всех засыпало снегом.

Шевырев подбадривал идущих:

— Веселее! Веселее! Веселее!— говорил он им.

И так все дошли до того места в тундре, где из снега торчал небольшой деревянный крестик.

Тут все остановились.

Радист Любомиров, в распущенном треухе, под которым находилось морковно-красное лицо, вышел вперед и сказал басом:

— От лица общественности считаю открытым. Давай, Шевырев. Давай, давай!

Шевырев шагнул вперед, вынул из кармана сложенную вчетверо бумажку, расправил ее, близко-близко поднес к глазам — ему мешал ветер. Откашлялся и стал читать:

«Дорогой друг Алексей Дроздов! Тысяча девятьсот двадцать седьмого года рождения! Член профсоюза с тысяча девятьсот сорок четвертого года! Мы все любили тебя, а теперь горячо надеемся, что светлая память о тебе никогда не умрет в наших сердцах».

Шевырев читал с той хрипотцой, которая соответствует только что пропущенным ста пятидесяти граммам, он читал старательно, и слушали его со вниманием, однако это общее внимание не мешало некоторым передвижениям в толпе. По мере этих передвижений где-то в середине толпы обнаруживалась небольшая площадка, а на площадке довольно большой гроб.

Это был тот самый гроб, который оказался временной помехой при строительстве Дроздовым его стеклометаллического купола, гроб, в котором он еще не так давно покачивался, сначала сидя, а потом лежа.

«Несмотря на свой молодой возраст,— читал Шевырев,— несмотря на отсутствие у тебя производственного стажа, несмотря на неизбежное присутствие в твоем воспитании пережитков прошлого, ты был примерным членом нашего дружного коллектива, который, как мы все это хорошо знаем и отлично помним, неоднократно отмечался и награждался за самые различные показатели».

На гробе лежали стеклянные и музыкальные цветочки, которые в свое время Дроздов разбил молотком.

Теперь они вновь были склеены, но так искусно, что на них почти нельзя было различить швы. И никакой музыки они теперь не издавали.

«Мы высоко ценим и всегда будем еще выше ценить тот вклад, который ты, Алеша Дроздов, уже успел внести в успешно поставленную перед нами задачу освоения Севера».

Ленты на гробе сначала не было, и невольно напрашивалась мысль, что кто-то проявил халатность и не выполнил поручения группкома профсоюза работников гражданской авиации, но вскоре она откуда-то появилась. Та же самая лента, которую Дроздов уже однажды видел и надпись на которой еще раньше прочитал:

«Скромному исследователю Заполярья, метеорологу и радисту Алеше Дроздову — безвременно ушедшая от него группа товарищей. Спи спокойно, дорогой друг, не беспокойся, ты будешь жить в наших сердцах!»

Эта же самая концовка —«Спи спокойно, дорогой друг, не беспокойся...» — была и в бумажке, по которой

Шевырев читал свою траурную речь, поэтому он прочел ее еще раз, снова свернул бумажку вчетверо и сунул в карман и лично от себя добавил:

— Спи спокойно, не волнуйся, мы все заменим тебя на твоем славном посту! Давай, давай!

Двое с лопатами стали торопливо выбрасывать снег из ямы — поземка успела забить яму до самого верха.

Потом все возвращались обратно, оставив в поле деревянную пирамидку, увенчанную фанерной звездой, шли уже не так дружно и не так плотно, а растянувшись цепочкой, по одному, по двое и по трое.

— Нет, правда,— говорил Шевырев своему спутнику справа, а этим спутником был Любомиров в своем непревзойденном треухе,— нет, правда, парень-то был ничего. Ничего! Уж это точно.

— Я с ним в самый последний раз держал связь — он по-хорошему держался. Выдержанно. Ничего не заметно. Я бы заметил, если бы что. И караван обеспечил, исполнил долг, дал каравану погоду, куда как хорошо дал, а потом, видишь, как!— ответил Шевыреву Любомиров.

— Из-за Коровенкина!— горестно вздохнул Шевырев.— У Коровенкина голос — труба! Вот он и пробился в ангар без очереди. А я пока очереди ждал, пока пробился, пока отремонтировался, пока прилетел, там уже гроб с музыкой...

Кто-то третий догнал Любомирова с Шевыревым и тоже сказал:

— А ведь парень-то был — ничего!

— Ну вот, любимая,— спросил Дроздов.— Почему же ты не была на моих похоронах? Все члены нашего коллектива были, а тебя не было. Любомиров ходил по бюллетеню и то пришел.

— Сама не знаю, как это могло случиться,— ответила Тонечка, искренне недоумевая.— Какие-то непредвиденные обстоятельства... Не знаю, какие.

Дроздов и Тонечка стояли все на том же прозрачном круге, положение которого было точно зафиксировано вертикальной осью, все так же беззвучно передвигалась голубая Стрела Времени вдоль Неизвестного Круга.

Все та же зеленоватая полутьма окружала их.

Тонечка плакала и, плача, стала гладить Алешу Дроздова по голове, по лицу, по плечам и рукам.

— Почему ты плачешь?— спросил Дроздов, подумал и сам ответил:— Ах, да, я же мертвый. Совсем забыл о своей смерти! Знаешь, так приятно было поддаться житейской интонации, вот я и забыл, что я похоронен...

— Похоронить можно ведь только настоящее...— проговорила Тонечка.— Только его!

— Значит, теперь ты меня любишь?

— Да!

— По-настоящему?

— Да! Да! Да!— заплакала и даже зарыдала Тонечка.

— Не рыдай!— сказал Тонечке Дроздов и тоже погладил ее по голове.— Давай лучше так: присядем, ты положишь свою левую руку на мое правое плечо, а я свою правую на твое левое. Мы обнимемся, как это всегда делают настоящие влюбленные, и поговорим. Сокровенно, о самых интимных и в то же время о самых насущных вещах... Согласна?

Тонечка утвердительно всхлипнула, и они присели на что-то, что неожиданно оказалось рядом с ними, и обнялись робко и нежно.

Тонечка начала первой:

— Объясни, Алешенька, еще раз, ну зачем тебе понадобилось быть ненастоящим? Пожалуйста!

— Надо же мне было быть хоть каким-нибудь? В этих особых и непредвиденных обстоятельствах!— вздохнул Дроздов.— Вот я и был сначала величиной бесконечно малой, потом я приобщался к сумме бесконечно малых, то есть, к Интегралу, и соответственно поискал свое бытие и в мгновении, и в вечности.

— Знаешь, Алешенька? По секрету, чтобы никто не знал! Знаешь, что я хотела бы от тебя? Чтобы ты жил просто так, естественно! Жил утром, днем, вечером и ночью, жил вчера, сегодня, завтра, жил в прошлом, в нынешнем и в будущем году, жил в первой и во второй половине века, ну, а потом уже было бы видно, что и как. Потом было бы видно, что к чему и зачем, а пока ты жил бы просто так! Я от души хотела этого, а больше ничего! Честное слово!

— Это было бы неплохо, Тонечка... Во всяком случае, это вполне сносные условия существования.

— Так в чем же дело?

— Дело в том, Тонечка, что просто так — это неплохо до тех пор, пока не захочешь любви.

— А чьей? Неужели секрет?

— Не секрет. Разве что-нибудь вроде секрета... Пока не захочешь любви к себе всего того, что ты сам любишь,— любви неба, любви земли, деревьев, камней, трав. И твоей любви, Тонечка... Любви всего того, что ты сам любишь.

— Так ведь я-то любила тебя! А остальное приложилось бы!

— Ты знаешь, не прилагается ничего. А от этого, от неприложения, перестает существовать даже то, к чему все должно прилагаться...

Тонечка задумалась. Она долго была задумчива, очень серьезна и неподвижна, только локон на ее милом кругленьком лобике слегка шевелили воздушные дуновения.

— Кто виноват?— спросила она.

— Должно быть, я сам. Должно быть, не случайно я попал в беспредметное пространство. В этом была логика, потому что еще прежде я сам по себе уже потерял ту обратную связь с камешками и со всеми прочими предметами мира, которую, помнишь, ты ненадолго почувствовала, когда прикасалась к зеленым пальмам и к теплому морю? Я ведь был вундеркиндом, а кто нужен вундеркинду, кроме него самого? Вот в чем моя беда.

Тонечка кивнула, подтверждая, что она это помнит. Дроздов стал говорить дальше:

— Да-да — так оно и есть... Сам не знаю, когда это со мной случилось, но вот уже я знаю только свое собственное отношение ко всему окружающему, но всего окружающего ко мне не знаю, оно мне и в голову не приходит... Если надо мной небо в копоти, я этого не чувствую, я все равно чистенький. А ведь я должен чувствовать и помнить эту небесную копоть на самом деле, если я жил когда-нибудь под грязным небом. На себе, на своем теле. И на твоем.— Дроздов очень осторожно приподнял крохотный рукавчик Тонечкиной кофточки над плечиком.— Вот видишь, ни-ни! Все чистенько!

И тут Тонечка снова заплакала безмолвными слезами.

Пурга засыпала снегом палатку, гнула к земле елочку, раскачивала шест с анемометром. Анемометр вращался с невероятной скоростью, лопасти его сливались в сплошной черный круг.

Тихо, с перебоями двигался барабан барографа, перо медленно выписывало прерывистую кривую на ленте.

Перебои на ленте были все длиннее, отрезки кривой все короче, механизм барографа работал как бы из последних сил, снег забивал его.

Сквозь пургу от вехи к вехе пробивается обоз — несколько оленьих упряжек. Упряжки связаны между собой, на передней сидит оленщик, гусь [1] его забит снегом, лица не видно.

Нарты гружены мешками, по три на каждой, нарты тяжелые, олени идут с трудом, пригибая головы к самой земле.

Оленщик бьет хореем головного быка.

Головной бык-олень с косматой сильной грудью падает на постромку, рвется вперед, в косматой его груди еще много сил, он дышит, разинув пасть, вывалив на сторону длинный язык, он клонит огромные рога к земле, как будто пробивая ими плотный снежный воздух.

Задние упряжки тормозят, не дают хода головному быку.

Оленщик всматривается в снежную завесу, она то отступает, то приближается, то становится густой, то растекается в стороны, редеет, тает; потом наливается чем-то темным, чем-то коричневым, а то покрывается пестрыми пятнами, и вихри проступают сквозь мглу черными спиралями и снова исчезают.

Голоса пурги также самые разные — дикий, громкий и один-единственный голос; потом его осколки, тонкие и густые, короткие и длинные, свисты, скрежеты, предсмертные хрипы, стоны и вопли.

А то вдруг пурга смолкает сразу всеми голосами, словно испугавшись самое себя, испугавшись чего-то такого, что может устрашить даже ее.

Оленщик часто останавливается, встает на нарты, смотрит вперед.

Уже не видно вешек, вдоль которых он держит путь.

Мелькнет одна, и нет и нет другой.

И вдруг странный какой-то предмет увидел оленщик: высокий шест, наверху черный кружок вертится.

Это был анемометр.

---

[1] Гусь — меховая одежда, которая надевается в дорогу.

А рядом другой шест, а на нем билась под ветром жестяная дощечка...

Это был флюгер.

И то и другое появилось, потом исчезло, снова появилось и снова исчезло. Так много раз.

И медленно-медленно к этим непонятным, неизвестно откуда взявшимся предметам приближался головной бык.

Он тоже что-то увидел справа от себя, и огромный свой темный и тревожный глаз он выкатывал вперед и вверх и храпел.

Когда Алеша Дроздов прибыл на работу в аэропорт, была осень, было, пожалуй, самое лучшее время в тундре: первые холода уничтожили гнус, а потом снова наступило тепло, чуть ниже нуля градусов, и воздух был чист, ароматен, и можно было в это время ходить по тундре без накомарников, чувствуя под ногами мягкий мшистый ковер, можно было дышать легко и спокойно.

Потемневшая растительность тундры была расцвечена скоплениями ягод клюквы, брусники, черники, а там, где росли невысокие ели, лиственницы, березы, под их покровом торчали из мхов и хвои грибы — белые, грузди, рыжики, чаще всего подберезовики... Очень приятные, очень древние и почти обязательные атрибуты человеческого существования на земле северных широт.

Поглазев на ягоды, на грибы и на дали тундры, Дроздов с чемоданчиком в руке подошел к главному зданию аэропорта, толкнулся в одну-другую дверь, а первый, кого он тогда увидел, был радист Любомиров, неуклюжий и басовитый.

От Любомирова он узнал, что начальник аэропорта будет в конторе часа через два и что без начальника человек шагу не шагнет, разве что послоняется взад-вперед без всякого дела.

И без всякого дела, просто так Любомиров снова вывел Дроздова на крыльцо и с крыльца стал показывать ему маленькие самолетики, нехитрые постройки и чем-то наивное, поросшее травкой и на скорую руку дренированное летное поле, объясняя, что к чему, для чего и с какого года все это существует на свете.

Сразу же за летным полем из тундры торчало десятка полтора покосившихся крестов и памятников, но

Дроздов еще не знал, что вскоре он будет соседствовать с этими деревянными знаками бывшей жизни, поселившись среди них в своем стеклянном и, на любой, самый требовательный взгляд, очень изящном гробу, который даже и не хотелось называть этим грубым и резким словом «гроб».

И, не зная ничего этого, Дроздов не обратил тогда ни малейшего внимания на пирамидки и крестики, взгляд его привлекло другое, другие люди.

— Это что там за народ?— спросил он у Любомирова, вглядываясь в противоположную сторону поля.— Маленький какой-то?..

— Маленький и есть!— подтвердил Любомиров.— Потому что это не народ вовсе, это дети. Школьники. Пришли на экскурсию из поселка и с рыбозавода. Школьники, вот им и интересно...

Дроздов смотрел в сторону дальнего и маленького народца, беспокойного и пестрого, в желтых и в красных тужурках и тулупчиках, в синих малицах, а тот народец тоже поглядывал в его сторону, на крыльцо. Кончилось же тем, что две маленькие фигурки оторвались ото всех остальных и побежали через поле на эту сторону, а за ними — один за другим побежали и все, сколько их там было... Одни бежали весело и бездумно, другие как будто чему-то удивляясь, кажется, самим себе, бежали мальчики и девочки, это были местные жители, аборигены с раскосыми глазками по смуглому, и белесые новоселы. В каждом лице, словно с экрана набегавшем из тундры на Дроздова, он вдруг различал единственный и неповторимый облик — настоящий, теперешний, детский, а сквозь него, из общего для всех детей усилия бега, проступал свой собственный для каждого ребенка характер, собственная взрослость, какой она когда-нибудь будет, и даже собственная взрослая судьба...

И этот первый день пребывания на месте своей первой работы, свой первый тундровый час и день, первый день своей истинной взрослости, Дроздов так и запомнил — в детских лицах, набегавших на него из огромного пространства, приоткрывающих ему свои никому еще не известные судьбы и надежды.

Теперь опять, в который уже раз и, по всей вероятности, в последний раз, догадывался Дроздов, дети бежали прямо на него.

Бежали, бежали, бежали из тундры. Из пространства, в котором, казалось ему, никого не могло быть — ни отцов, ни матерей, ни сестер, ни братьев, никаких одушевленных и неодушевленных предметов.

Дроздов вздохнул и пошевелился. Рядом с ним был кто-то. Не открывая глаз, он стал двигать рукой, еще и еще.

Нащупал что-то мягкое и спросил:

— Ты кто?..

— Я — Оська!— услышал он ответ.

Дроздов не поверил.

— Ты кто?

— Я — Оська!

Дроздов снова не поверил, а приблизил руку к своему лицу и стал открывать себе глаза — ресницы были запаяны у него тонкими полосками льда.

Он долго держал руку на глазах, на одном и на другом, покуда эти полоски не растаяли. Тогда он увидел, что рядом с ним лежит человек. В белом, с черными пятнами гусе.

Огромный бык тоже лежал рядом, с другой стороны — он тоже грел Дроздова, вытянув шею далеко вперед, положив ее, придавленную тяжелыми рогами, на землю. Бык внимательно смотрел на Дроздова и что-то думал о нем.

Были и другие олени, были нарты, было немножко светлого неба среди темно-серых туч.

Дроздов был прикрыт оленьими шкурами.

— Ты кто?— спросил он снова.

— Говорю же, Оська!— ответил ему человек.

Дроздов с трудом сел, осмотрелся и сказал:

— Так...— Потом заглянул в пестрый капюшон, там оказалось лицо мальчишки.— А где другие?— спросил он.

— А других нету. У тебя других тоже нету, да?

— Мои далеко,— ответил Дроздов.

— Мои, однако, тоже. Я, сказать правду, вдвоем ехал. Вдвоем рыбу в комбинат вез. Я, а еще старик, Няги звать. Няги на фактории остался. То ли хворать остался, то ли помирать, не знаю. Он остался, я один поехал. Тебя как звать?

— Алексей, Алексей Дроздов.

— Олешка, значит. Рыбы хочешь, Олешка?

Рыбу ели — Оська не торопясь, отрезая ножом кусочки строганины около самого рта, Дроздов торопливо, ухватив большую рыбину, грыз ее со спины.

Оська спросил, жуя:

— Олешка?

— Ну что?

— Английским языком говорить умеешь? Я умею!

— Врешь?! — удивился Дроздов.

— Зачем врать-то: уан, ту, тси-и...

— И дальше?

— Дальше не знаю. Дальше Ван Ванович знает.

— Кто такой?

— Учитель.

— Долго ты учился, Оська?

— Три зимы, однако. Не сказать, чтобы с осени и до самой до весны, а все ж таки три зимы. И почто это английские люди «три» на «тси» перелицевали, а? Не знаешь?

— Как тебе сказать...

— Не знаешь, значит.

Седогрудый бык слушал беседу, изредка поднимая голову и поглядывая по сторонам. Отфыркивался.

— Погибать будем или нет? — спросил Дроздов.

— Беды хватим, сильно хватим, а погибать неохота.

— Ты, Оська, оптимист.

— Кто? Как сказал?

— Рисковый человек, хочу сказать.

— Не сильно рисковый. Но который раз бываю.

— А в этот раз?

— В этот — сильно рисковый. Поехал на риск, и, гляди-ка, нас двое получилось. Был один, стало двое!

— Двое — это тебе зачем?

Оська стал соображать:

— Оленей запрягать-распрягать умеешь, Олешка?

— Нет. Не умею. Разве что распрягать.

— А ведь худой ты парень, однако. Оленей запрягать не умеешь?! Английскими словами считать не умеешь. Ты вот что, Олешка, ты людей спасать любишь, нет?

— Я люблю. А ты?

— Не шибко.

— Почему это? — удивился Дроздов.

— Хлопотно слишком... Я вот немецкими словами считать умею: айн, цвай, драй!

— Дальше?

— Дальше-то Ван Ванович умеет. Однако, до ста умеет. Может, до самой до тысячи.

— На португальском языке не считаешь, Оська?

— Про Вана Вановича не скажу. Тот мно-ого счету знает. И по-разному.— Оська задумался, а потом спросил: — И почто ты живой остался, Олешка, по сю пору? Непонятно. Секрет знаешь?

— Знаю.

— Ну-ка, ну-ка?

— Как тебе объяснить? Я фантазирую. То есть возьму вот и увижу в тундре своих друзей. Увижу самолет. И разные другие вещи. И понятия. А тогда тундры вокруг меня и вовсе нет...

— А что есть?

— Ну, какой-нибудь остров. Какая-нибудь земля какого-нибудь человека.

— Ты гляди, хитро как придумал, а?! — удивился Оська.— Тебя этому в котором классе учили?

— Сам научился.

— Ты гляди! — снова покачал головой Оська.— Ты гляди-ка! А ну придумай, будто ты оленей хорошо запрягать умеешь?

— Это — не могу!

— Ну, что-нибудь еще придумай сделать. Самую хорошую дорогу на факторию найти. Либо выбрать самого худого оленя, чтобы его сейчас на мясо и зарезать.

— Это у меня не получится, Оська...

Оська стал поглаживать шерсть оленьей шкуры, под которой они лежали.

— Плохо? — спросил у него Дроздов.

— Чего это?

— Что я только выдумывать умею, а делать — нет?

— Может, плохо, а может, вовсе хорошо...

— А почему это может быть хорошо?

— Дай тебе по всей твоей выдумке делать, Олешка, ты и наделаешь, что тебя уже сроду не спасет никто. Я не спасу и никакой другой человек...

— Зато я бы кого-нибудь спасал, Оська. Каких-нибудь других людей... Я бы сделал для них какую-нибудь прекрасную жизнь... Построил бы им какой-нибудь сказочный остров! Не веришь?

— Не сказать, чтобы сильно верю. А может, и вовсе

не верю. Когда взять меня, я бы уж лучше сам спасался. И в прекрасной жизни я тоже без тебя, худо-бедно, обошелся бы. И без твоего выдуманного острова. Уж это — ей-богу!

— Ах, Оська, Оська!— громко засмеялся Дроздов.— Какой чудак!

— А это ничего,— сказал Оська.— Зато я оленей запрягать умею. Так что мы с тобой скоро отсюда поедем. Вдвоем: чудак с нечудаком.

Догорает костер. На костре котелок с варевом. Тундра ровная, блестящая, такой она бывает после пурги.

На снегу следы людей и оленей.

Алексей и Оська ловят оленей тын-зянами. Олени держатся кучно, но в упряжку не идут. Оська взмахивает тын-зяном, бросает, и петля уже на рогах оленя. Есть один!

Подбрасывает петлю тын-зяна на снег, под ноги оленя. Есть другой! Оська привязывает оленей к нартам. Оська кричит:

— Уан, ту, тси-и!— и заарканивает еще одного.

А Дроздов выбился из сил, не может поймать ни одного оленя.

Остановился, смотрит вдаль, в одну сторону, в другую... Вправо убегает ряд вешек, влево убегает тот же ряд.

— А куда эта дорога, Осип?

— А сюда — почтовый чум. А туда — тоже почтовый чум. Сюда — почтовый чум Никола-зырянин дёржит. Туда безмужняя одна женщина и с ребятишками дёржит.

— А мы куда поедем? Туда? Сюда?

— Мы вовсе никуда. Пурга была, я вешек держался. Пурги нет, без пурги мы прямо, вот так!

— Ты бы меня оставил в каком-нибудь почтовом чуме, Осип? В том. Или в том!

— А зачем?

— Все-таки лучше будет.

— Не обманывай! Лучше не будет. Никола-зырянин тебя не спасал. Незамужняя детная женщина не спасала. Я тебя привезу, они скажут: «Ты махонький, да? Нашел человека, после не знаешь, что с им делать, да? Управляйся сам!» Лови-ка, давай, оленей, Олешка. Лови, не стой! Ты не вовсе столб, однако. Ты поболее старайся.

Но тын-зян — витой кожаный ремень с петлей на конце — совсем не просто удержать в неумелых руках; тын-зян скользкий, длинный, витков в нем много, и один виток упал на снег и уже распрямился. Сам собою выползает тын-зян из неумелых рук.

Тем более раскрутить тын-зян над головой, потом бросить, потом поймать в петлю оленя, потом подтянуть его, потом двух оленей запрячь в нарты — как все это делается? На морозе — как?

На морозе руки красные и даже багровые, на багровых руках болят пальцы.

Огромный седогрудый бык не дается не то что Дроздову, Оське и то не дается, уходит и от верхней, и от нижней петли. А Дроздова этот бык совсем не боится — подходит к нему и рассматривает: что за человек, откуда взялся? Внимательно они смотрят друг на друга, Дроздов и седогрудый бык.

Оська тем временем все-таки изловчился, подошел сбоку и закинул на быка петлю. На рога. Но подтащить быка к нарте Оська никак не может — бык упирается, мотает заарканенной головой. Тут Дроздов решил Оське помочь, быстро подбежал сзади, толкнул быка что было сил.

Но и бык сильно бьет задними копытами, и Дроздов лежит на снегу плашмя, смотрит в небо, врозь руки, врозь ноги.

И петли уже нет у быка на рогах, он ее сбросил и снова отбежал в сторону, смотрит, как Дроздов медленно-медленно поднимается на ноги. Оська тоже смотрит на Дроздова.

— Отвези ты меня, Оська, пожалуйста, в почтовый чум! К Николе-зырянину,— просит Дроздов.

— Никола-зырянин что мне за тебя скажет? Спасибо скажет? Спасибо не скажет... Николе-зырянину — что? Он тебя в тундре не находил.

Оська запрягает восемь упряжек, Дроздов кое-как одну. С грехом пополам.

Оська спрашивает:

— Пухнача у тебя есть?

— Не знаю...

— Жена, спрашиваю, есть?

— Жена? Какая жена?

— Верно что — какая? Разве хромая! Либо старая! Кривая! А может, хромая, старая, кривая!

Светит солнце. Апрель в конце. Длинный-длинный день.

Почти навстречу солнцу идут олени.

Идут две цепочки — в передней пять нарт, в задней две.

Первая идет весело, бодро. Олени, оленьи рога, нарты, поклажа на нартах, Оська, Оськин хорей — все бросает на снег длинные и четкие тени.

Второй упряжкой правит Дроздов, олени идут у него неровно, то быстро, то тихо, и тени на снегу нескладные, а седогрудый бык все время храпит, бодает рогом хорей...

Останавливается Оська. Ждет отставшую цепочку из двух нарт. Связывает обе цепочки в одну.

Молчит Оська.

А когда снова садится на переднюю нарту и взмахивает хореем, говорит себе:

— Ван Ванович, учитель, рука калеченая, а оленей запрягает куда с добром. А тоже сказать, ученый: английскими словами до тысячи считает. Немецкими — того дальше! Португальскими — подальше мильона!

Но вот и конец пути — деревянный сарай в стороне от поселка, вывеска на сарае: «Рыбоприемный пункт Красноармейского консервного комбината».

И берег реки виден — поднятые на бревенчатые лежни катера, рыбницы с высокими мачтами.

Вверх по берегу рыбаки в малицах и полушубках втаскивают чумазый старенький катер.

Варится смола в большом котле.

Собачья упряжка везет воду в бочке. Женщина хворостинкой подгоняет собак.

Дымит невысокая труба.

Вот они — живые люди.

Вот он — конец пути!

Очень счастлив Дроздов.

Очень счастлив Оська.

Мешковатый пожилой приемщик в синей малице курит в дверях приемного пункта.

Алексей и Оська таскают на весы мешки с рыбой.

Приемщик то и дело вынимает изо рта цигарку.

— Живей, ребята! Живей! С вами очень просто на обед опоздаешь! Очень просто!— Приемщик взвешивает

мешки, делает запись химическим карандашом на спичечной коробке.— Следующий вес!

Алексей и Оська торопятся. Стараются.

— Живей, ребята! Давай, ребята! Веселее, веселее, ребята!

Последний мешок на весах, и приемщик спрашивает:

— Все?

— Однако, все!— отвечает Оська.— Теперь ты гляди, чтобы моя рыба быстро пошла в завод, а с завода чтобы пошла в Ленинград. По сю пору, однако, голодают ленинградские люди!

Приемщик записывает общий вес в приходную книгу и между прочим отвечает Оське:

— В комбинат это пойдет. Точно. Поскольку сырья нет для консервов натуральных. И для субпродуктовых тоже нет. А Ленинград — не моя забота. Сделают консервы, пошлют — нас не спросят. Самого директора не спросят. Было бы что посылать, куда посылать, найдется. Может, и подальше Ленинграда.

— Это ты ка́к говоришь?— рассердился Оська.

А Дроздов и не подозревал, что Оська может быть таким сердитым: вот-вот на приемщика бросится или вот-вот заплачет. На приемщика Оська не бросился и не заплакал, а стал вдруг искать помощи у Дроздова:

— Спроси Олешку, он не даст соврать: я рыбу для ленинградских везу! Спроси его! Он соврать не даст! Наши всю войну для них возили, а я что, хуже? Хуже людей?

Приемщик засмеялся, похлопал Оську по плечу и только стал что-то Оське снова говорить, его сильно толкнуло.

Это Дроздов толкнул приемщика, не очень заметно показал ему кулак.

— Ясное дело, в Ленинград!— тут же согласился приемщик.— Старший-то кто из вас?

— Он и старший!— сначала подумал, а потом ответил Оська.— Рыба с моего колхоза, а старший он. Я у него за помощника! Да.

— Старший он, а квитанцию выписываю на тебя,— кивнул приемщик.— Айдате в столовую!

Столовая помещалась в рубленой, плохо освещенной избе. Оконце узкое, с бумажной занавеской. В дальней стене окно раздачи.

В углу вешалка, на вешалке малицы, полушубки, куртки, в другом углу картина.

Разумеется, «Утро в лесу».

За деревянными столами сидят рабочие и рыбаки, четверо за каждым.

За маленьким столиком примостились двое — Оська с Алексеем, они тянут носами воздух. Оська — громко, широко улыбаясь, Дроздов — незаметно, с задумчивым видом.

Оська еще потянул и сказал:

— Вернусь, а дома-то мне премию дадут, а? За ударную работу! И в ударники вывесят... А может, и ничего не дадут. И не вывесят. Может, ругаться будут — зачем долго ездил? А с тобой куда быстро поедешь, Олешка? Ну, когда доктор старика Няги вовсе вылечит, старик Няги в колхозе скажет, что я один поехал. Он скажет, а мне премию дадут. Может, тужурку с пуговицами дадут, а? Вот такую? А?— И Оська показал на морской китель, в котором за соседним столиком сидел усатый человек.

А Дроздов не ответил Оське, он тоже мечтал. Он тем временем думал: «Если человек жив, мало ли что с ним может в жизни случиться?! Он может сделаться ученым. Он может жениться. Он может загорать на солнышке. Он может написать какую-нибудь книгу. Он может... Главное, чтобы человек был жив».

Подошла официантка с ножницами в руках — немолодая, в засаленном фартуке, в крупных валенках. Большая женщина и сердитая.

— Давайте отрежу! Оторванные не принимаю! И не просите!

Оська и Дроздов переглянулись.

— Чего глаза-то выпростали? Давайте талончики! Не знаете, что ли, столовая для прикрепленных?

— Мы нездешние...— сказал Дроздов.— Мы без талончиков. Мы не совсем прикрепленные.

— А зачем место занимаете?

Официантка повернулась и хотела уйти, но тут из угла столовой, пережевывая кашу, подал голос приемщик рыбоприемного пункта:

— Они рыбосдатчики! Рыбосдатчикам полагается разовый обед по сдаточной квитанции. Спросила бы у людей, как человек!

— Давайте сдаточную квитанцию!— сказала официантка.— Ну?

Оська долго искал квитанцию и все посматривал на официантку, а та ждала с нетерпением.

— На одного один разовый обед,— сказала она и надорвала у квитанции уголок.— Чтобы второй раз не получили! Рубль шестьдесят пять. Без сдачи!

— А нас двое!— сказал Оська.— Вот это он, а вот это я. Рыба была моя, а старший был он!

— Рубль шестьдесят пять! Без сдачи!

За рубль шестьдесят пять получили Оська с Алексеем обед.

Стали есть двое из одной миски.

— Ешь, давай...— говорил Оська.— А она сильно злая, да?— кивнул он в сторону официантки.

— Она, может быть, и не злая,— ответил Дроздов.— Она, может быть, строгая.

— А зачем? Что она, людей учит, что ли? Учить, правда что, нужно строго. Ван Ванович говорил, нужно. А миски подавать можно и без строгости... Слушай, Олешка, а тебя, видать, без строгости учили, да?

Дроздов не ответил, он стал говорить об официантке:

— Она строгая потому, может, что была война и у нее убили кого-нибудь. Мужа. Или сына. Может быть, просто обедов не хватает.

Оська согласился:

— Просто не хватает...— сказал он.— А на войне много народу убило, да?

— Да...

— На войне воевать интересно, но только героем. Да? А простым солдатом не шибко большой интерес, да?

— Да...— снова согласился Дроздов. Потом спросил:— Ты бы стал героем, Оська?

Оська задумался.

— Героев убивают сильно. Но, опять же, охота. Сильно охота прославиться героем. Нет, я, однако, не пострашился бы. Однако, совершил бы какое-никакое геройство.

— А зачем?

Оська задумался еще больше и положил ложку на стол. Потом сказал:

— Уважение от людей. Сильное уважение. Хотя бы вот и от нее! — и Оська показал на официантку, которая в это время до пояса просунулась на кухню в окно раздачи. — Когда бы я был героем, она бы нам принесла два обеда, и даже без слов. Может, три... Ну, и везде так. — И на приемщика Оська тоже показал.Приемщик уже пообедал, оделся и крутил цигарку, перед тем как выйти из столовой. Про него Оська сказал: — Когда бы я был героем, он бы без слова отправил мою рыбу в Ленинград. Точно!

— Ну, а Ван Ванович — герой?

— А как же ты думал?! Ван Ванович без звезды, но герой.

Когда съели и суп, и гуляш, Дроздов сказал:

— Знаешь, Осип, я пойду в магазин и твою квитанцию отоварю. Тебе полагается какой-нибудь промтовар, я знаю. Вдруг тебе тужурка с пуговицами полагается? Морская?!

— Мне-то полагается. По справедливости. Да тебя-то разве отоварят?

— Сомневаешься?

— У одной бабы два обеда не получил. Один только получил обед на двоих людей. А в магазине мужик торгует. Здоровый такой мужик, хотя и с одним глазом и тоже с одним ухом.

— Откуда тебе известно? — удивился Дроздов.

— Как, поди, мне не известно? С нашего колхоза были здесь оленщики. И не один раз. Ну, ладно, ты иди в магазин, вдруг управишься с тем одноглазым мужиком! Все ж таки. А мне другое дело есть: оленей на комбинат отдам, одну только упряжку оставлю с быками. На быках погоню домой. Кормить к тому же надо быков, в тундру надо подаваться ночевать, кормить их. После ехать домой!

Дроздов показал на стенные часы-ходики:

— Это сколько же сейчас времени, Осип?

Оська смотрел долго и внимательно. Соображал.

— Двадцать две минуты пройдет и еще вот столько, — показал он на пальце, — то ли еще полминуты, то ли половина полминуты, и три часа будет стукать.

— Правильно! — подтвердил Дроздов. — Точно! Значит, ровно в пять часов — ровно в пять! — жди меня около приемного пункта. Где рыбу сдавали для Ленинграда, там и встретимся. Принесу тебе что-нибудь из магазина. Шапку принесу. Постараюсь. А может, и ту-

журку принесу. Морскую!— Вынул из кармана часы.— Длинная стрелка вот так же вверх будет смотреть и даже еще выше — на двенадцать показывать. Короткая вот тут, внизу, покажет пять. Понятно? Возьми. В пять часов встретимся, отдашь.

— А вдруг длинная стрелка будет на месте, а тебя на месте не будет?

— Стрелка здесь, а я там. То есть у рыбоприемного пункта.

— Когда получится пять часов?

— В пять! Как часы!— кивнул Дроздов.

— На тужурке пуговицы желтые? С якорями? Могут быть?

— Вполне — могут!

Они встали из-за столика, направились к вешалке. Оделись, вышли. Только сначала еще раз понюхали воздух в столовой. Пахло супом и мясом. И — кашей.

Магазин фактории — это бревенчатое помещение с зарешеченным оконцем, на полках валенки, полушубки, на гвоздях висит неводная дель, сбруя. Товаров немного.

В углу помещения стол, на столе круглый черный репродуктор.

За прилавком продавец — полный, крупный мужчина с одним глазом. Другой глаз под черной повязкой.

Дроздов свертывает покупки — шапку и китель с блестящими пуговицами,— а продавец говорит ему очень громко:

— Это, сказать, вам повезло, дорогой товарищ! Завтра под рыбу буду отоваривать стеганками! На ситцевом подкладе! Это успели последний китель взять. Потому что маломерка. И шапку успели. Тоже маломерка. А завтра под рыбу стеганками. На ситцевом подкладе.

— И вот эту книжку еще!— показал Дроздов на детскую книжку с картинками.

— Ась?— продавец подставляет правое ухо, небольшой, ярко-красный кусочек левого прикрывает рукой.— Кого еще?

— Еще книжку! Книжку, говорю...

— А-а-а! Так бы и сказал. Какие новости?

Дроздов неопределенно пожал плечами, а тогда продавец самолично приступил к изложению новостей.

— Клуб нетопленый — дровяной режим экономии,— объяснил он.— Обратно, некогда людя́м — все с утра до ночи на производстве. А вот тут, в магазине, все, какие есть, новости собираются. Все они здесь находятся заместо того, чтобы в клубе. И радио народ здесь слушает который раз. Культурно. Но, прямо-то сказать, слабо в смысле новостей. Вовсе слабо. Гутакову Александру не знаете?

— Не знаю...

— Суд ей в наследстве отказал. Она в суд подавала, а он ей отказал. И наследство-то, сказать, так с гулькин нос, не более того! Может, менее того.

— Я тут никого не знаю.— Дроздов уже положил в рюкзак покупки.

— Калитникова Петра знаете?

— Не знаю.

— Женился. С той развелся, а на Танюшке-фельдшерице женился. И чего в ей нашел? Никто не одобряет. Сухарцева, главбуха, знаете?

— Я нездешний!

— Растрату на Ухоловском пункте обнаружил, а молчит! До сих пор молчит. Никому ни слова!

— Я нездешний!

— Откуда будете? Где работаете?

— По авиации. И по связи... До свидания!

— А у нас тут есть. С авиации и со связи.

— Каким образом?

— Образ такой: наша радистка больная, а вашу прислали во временное замещение. Наша не седни, так завтре приступит к обязанностям, а ваша завтра же, как не седни, прямым ходом на Большую землю. Даже будто бы на самый на юг. Слыхать было, на самый на юг!

Продавец хотел сказать еще что-то, но тут хлопнула дверь.

Алексей Дроздов мигом выскочил из магазина.

С крыльца Дроздов оглянулся вокруг.

Что-то изменилось за последние часы и минуты в тундре. Воздух был морозен, чист, тих и прозрачен повсюду — на земле, на горизонте, в небе над головой.

Прозрачное, без единого облачка небо прильнуло к тундре, а тундра стала — как одно громадное белое облако, а горизонт — как грань громадного белого обла-

ка, за которым где-то очень далеко начинается уже настоящая Земля.

Весна. В самом начале, в свой первый час.

Еще будут вьюги, будут морозы, но весна все равно явилась. Только что. Она уже здесь.

Плывя на облаке, которое называется тундрой, вглядываясь в горизонт, очень хочется закричать: «Земля! Земля!» И еще: «Весна! Весна!»

Хочется выше поднять паруса, наполнить их ветром и достигнуть чего-нибудь.

Чего-нибудь в этом милом и своем собственном земном существовании, о котором даже и думать не надо, потому что оно думает за тебя, которое не надо выдумывать, потому что уже давным-давно и само по себе оно это сделало тоже, и очень неплохо сделало.

Так что тебе остается только видеть его совершенно голубыми глазами и дышать им, как можно глубже наполняя грудь, не подозревая себя ни в каких иных существованиях.

Остается удивляться людям, которые, будучи людьми, все равно валяют дурака в этом фантастически прекрасном мире и даже ставят свою собственную фантазию выше вот этой, мировой, со светлым небом, белой тундрой и лохматыми коричневыми дымками над деревянными крышами человеческих жилищ.

В тундре совсем один, совсем отдельно от поселка отчетливый детский рисунок — островерхий домик радиостанции.

Высокие мачты.

Красный флажок.

Мирный дым над мачтами и над флажком, как бы чувствующий, что не так давно на Земле кончилась война, что тебе досталась жизнь, пусть и не твоей, а все-таки нашей победой.

Ну, вот и живи, и пользуйся.

Только как следует пользуйся. Только уясни, каким добрым было Время твоей жизни и как ты ему обязан, этому Времени.

Рюкзак очень мешал Дроздову идти быстро.

Когда же детский рисунок радиостанции оказался совсем рядом — протянуть руку и дернуть за дверную щеколду,— Дроздов вдруг замер, остановился.

Он медленно обошел игрушечный домик по кругу, оставляя на снегу следы.

Обошел два раза.

И стал ходить под окнами вперед-назад.

Никого. Только дым из трубы.

Дроздов дернул за щеколду, вошел в сени.

Сени полутемные, щелеватые.

Узкий коридорчик.

Просторная нештукатуренная и пустынная комната.

Дроздов сел на скамейку, сбросил рюкзак. Пошарил в карманах и достал дневник наблюдений, который он вел в тундре.

В котором в ожидании воздушного каравана три раза в сутки и чаще он отмечал показания термометра и термографа, барографа, гигрографа, анемометра, флюгера — всех приборов. В котором, кроме этих показании, не отмечал больше ничего, ничего совершенно. Теперь он молча стал перелистывать странички с цифрами, как будто хотел найти среди цифр что-то еще.

Он долго был занят этим, потому что он ждал.

И дождался — из соседней комнаты вышла Тонечка.

Она была в форме гражданского воздушного флота, в валенках, в шапке-ушанке.

Она была чем-то озабочена, должно быть, какими-то мыслями. Когда человек совсем один в доме, когда он и не ждет никого в дом, когда в доме давно уже никого нет, только он один, он как бы начинает жить только этой одинокой жизнью, совершенно не предвидя ничего другого, но и тут, и в этот момент Тонечка была очень похожа на ту, которая еще давно беседовала с Дроздовым в его стеклянном куполе. Ну, просто точь-в-точь похожа. Ни шапка, ни форма гражданского воздушного флота, ни валенки не мешали ей быть похожей на ту, которая была в легком платьице с короткими рукавчиками.

Если на то пошло, практически Алеша Дроздов не очень-то хорошо знал Тонечку Белову, несмотря на то, что они вместе учились. Он ведь был отличник, а она — чуть ли не троечница.

И теперь, когда они трудились в одном аэропорту, знание их друг другом заключалось скорее всего в том, что кто бы ни говорил что-нибудь о Тонечке — обязательно подразумевал рядом с нею Алешу, и кто бы ни говорил об Алеше — заодно имел в виду и Тонечку.

Вот и все. Вот и вся практика их отношений. Ни Тонечка, говоря о самой себе, не имела при этом каких-то понятий об Алеше, ни Алеша, который, чего греха таить, очень любил думать и вспоминать самого себя, не связывал свои размышления с Тонечкой.

Но то была практика.

И вдруг появилась теория. Что бы это другое, кроме теории, ни с того ни с сего могло приблизить Тонечку к Алеше? Тем более — Алешу к Тонечке? Там — под стеклометаллическим куполом? Там — в тундре? И здесь — в домике радиостанции? Приблизить до такой степени, что Тонечка даже успела похоронить Алешу. До такой степени, что Алеша даже успел прийти к Тонечке в домик радиостанции?

— Алеш-ка?!— сказала эта реальная и узнанная им Тонечка, чуть-чуть поперхнувшись, сказала голосом долго молчавшего человека, поморгала и стала еще больше похожей на себя, на себя нынешнюю.

Пили чай.

Стол грубый, деревянный, на столе бумаги, чайник, два стакана, два кусочка сахара, два ломтя хлеба, две меховые шапки.

Дроздов внимательно смотрел на Тонечку — на эту. И все еще сравнивал ее с той, которая приближалась к нему по голубой и мерцающей голубым Стреле Времени. Та была этой, эта была той.

Тонечка вспоминала тоже:

— Помнишь, Алешка, на выпускном вечере директор предрекал нам будущее? Изображал оракула. Все директора — оракулы, и наш не был исключением.

— А что он тебе предсказал тогда? Не помню.

— Смешно,— пожала плечами Тонечка.— Мне? Предсказания? Не только ты, я и сама-то их не помню.— И она засмеялась.

— Смешно?— спросил Дроздов.— Разве?

— Еще бы! Предсказывать девчоночью судьбу?

— Женскую судьбу предсказать труднее...

— Как это?— не поняла Тонечка. Она не поняла, как это Алеша Дроздов толкует о женских судьбах. С чего бы это он? И что он вообще может об этом толковать?

— Потому что труднее эти судьбы!— объяснил ей Алеша.— Труднее мужских.

Тонечка еще внимательно посмотрела на него, сначала с любопытством, потом с недоумением, вздохнула и что-то смахнула рукой с глаз.

И Дроздов тоже провел рукой по своему лицу, по глазам, и тотчас Тонечка обратила внимание на этот жест.

— Ну, а тебе-то что с твоих глаз смахивать, а? Туда же! Поди-ка, фантазируешь? О чем-нибудь?

А Дроздов без малейшей фантазии уже знал в это время, что он женится на Тонечке Беловой — вот на этой!— что поступит в аспирантуру, защитит диссертацию и будет работать в НИИ по какому-нибудь географическому профилю... Хорошо бы НИИ помещался на юге, на берегу Черного моря, например!.. Если бы не чувство некоторой бестактности догадок такого рода, Дроздов определил бы и еще целый ряд компонентов своего реального будущего. Это бывает с людьми, которые только что прошли сквозь собственное небытие: реальность своего настоящего и своего будущего становится для них очевидней, они ничего не выдумывают и все знают.

В то же время Дроздов подозревал, что когда-нибудь, вероятно, не очень скоро, по какому-то далеко не ординарному случаю, та жизнь, которой реально не было и которую он все-таки прожил в тундре под стеклометаллическим куполом, возведенным именно для этой цели, обязательно вернется к нему. Чем-нибудь она еще продолжится, она еще будет обязательно!

У Тонечки он спросил:

— Если человек жив, мало ли что с ним может случиться?

— А что с ним может случиться, Алешка?

— Он может сделаться счастливым! Он может прожить на земле еще лет... тридцать! Даже сорок!

— Ой-ой!— отозвалась Тонечка.

— Почему «ой-ой»?— спросил Дроздов.— Может, потому что завтра ты улетаешь на Большую землю? На материк? На юг? К Черному морю?

Тонечка ответила так, будто сама впервые узнала об этом, ответила с удивлением:

— Завтра. И как раз в это время. А сколько сейчас времени, Алеша? Который же нынче час?

И тут Дроздов подхватил рюкзак, бросился к двери.

Минуту спустя в сторону от детского рисунка с изображением радиостанции по гладкому, по белому, по твердому снежному насту, то и дело проваливаясь по щиколотку, по колено — бежали две фигурки. Одна была с рюкзаком за плечами — это был Алеша Дроздов; другая в распахнутой куртке — Белова Тонечка.

И прозрачные тени бежали вместе с ними и не проваливались в снег. Они-то были высокие, неторопливые, рыхлый снег был им нипочем.

Только две фигурки и две их длинные тени — больше ничего не двигалось в этот час; дым, поднявшись из труб поселка, и тот не двигался вверху, собак и тех не было слышно, и люди, успокоенные, а может быть, и растроганные наступлением весны, первого в этом году весеннего часа, тоже затихли.

Редко так бывает, такая же тишина в присутствии людей, но тут тишина была, и только двое нарушали ее, хрустя снегом и громко дыша.

Наконец Дроздов подбежал к изгороди рыбоприемного пункта, за ним Тонечка.

На дверях сарая огромный замок.

На изгороди, которая начинается почти от самых дверей, потом окружает сарай со всех сторон, на верхней суковатой жердине висят, слегка покачиваясь на ремешке, часы Дроздова.

Они показывают без пятнадцати шесть.

Дроздов что-то хотел сказать, не смог — задохнулся.

Тонечка хотела что-то спросить, не смогла — тоже задохнулась.

Дроздов показал ей рукой на часы, потом на свой рюкзак, потом вдаль: по белому снегу, по ровному и гладкому, уходила оленья упряжка.

Там, где была упряжка, и дальше, куда она уходила, снег был еще более гладким и ровным, и белым.

— Да...— кивнула Тонечка. Она ничего не понимала, но приготовилась понять все.

Дроздов сбросил с плеча рюкзак и вырвал из него сначала тужурку с блестящими пуговицами, потом шапку.

— Оськина!— сказал он, переводя дыхание.

— Какая?

— Оськина!

— Да! — опять кивнула Тонечка, все еще ничего не зная.

— Тебе надо объяснить...

— Обязательно! — сказала Тонечка. — Все!

И они медленно пошли к домику радиостанции. Алеша шел и внутренне готовился к тому, чтобы рассказать обо всем, что произошло с ним в тундре; Тонечка шла и готовилась услышать этот рассказ.

А потом случилось самое неожиданное событие — прошли годы.

Прошло много лет, и вот наступил

ПЕРИОД ВТОРОЙ

Ведь годы всегда проходят неожиданно, никто всерьез не думает и не подозревает, и не верит тому, что они действительно идут. Что они проходят навсегда.

Есть что-то случайное в том, как проходит десять, пятнадцать и еще больше лет, какая-то есть в этом необоснованность. Какая-то странность.

Иногда во сне, да и не только во сне, человек совершенно отчетливо чувствует, как эта странность и случайность устранены: годы не ушли, они вернулись. Они не уходили в никуда, только приотстали в пути, а теперь догнали караван, и вот тогда-то все и становится на свои неслучайные места.

Но, конечно, ни одна случайность, происшедшая с нами, не первородна, ей обязательно предшествовали другие случайности, так что логика случайностей, это — увы! — железная логика.

Какой-то случайный человек однажды назвал какое-то текущее и ничем не примечательное мгновение Первым мгновением. Первым мгновением года, Первым мгновением века, Первым мгновением тысячелетия, Первым чего-нибудь и Первым чего бы то ни было.

Вот с тех пор-то и пошла писать история — История случайностей.

Пошла писать и вперед от этого Первого, и назад от него, и вперед и даже назад от сотворения мира. И все потому, что появилось понятие Первого.

С тех пор все и догадались, что всему бывает конец, даже случайностям. Потому что, если может быть Первое, значит, должно быть и Последнее.

Конечно, все это условно, но почему же какому-то человеку позволительно было назвать какое-то случайное мгновение Первым и тем самым открыть счет случайностям на века и тысячелетия, а другому не позволительно даже назвать эту условность условностью?

Может быть, потому, что выше узаконенной случайности еще никто и ничего не придумал?

Впрочем, все это отнюдь не в порядке критического отношения к тем или иным узаконениям, упаси бог! Все это совсем по другой причине — ведь конкретные случайности, которые составили жизнь и деятельность гражданина Дроздова Алексея Алексеевича, доктора географических наук, на многие годы выпали из нашего поля зрения, а, прежде чем вернуться к ним снова, позволительно бросить взгляд на природу случайностей.

Итак, прошло много лет.

И мы снова видим —

Небо...

Небо сложено из синего мрамора, отполированного так же тщательно, как на станциях московского метро, кое-где к небесным сводам подвешены белые плафоны — облака. Это плафоны обратного действия — они не светят, а поглощают свет. Так как света кругом более чем достаточно, никто не обращает на них внимания.

Земля...

Земля как таковая не просматривается из-за гор, лесов и множества других предметов, которые заняли ее всю, так что нигде не видно ни одного сантиметра нормального земного горизонта.

Море...

Море просторное, блестящее. Морской горизонт на значительном протяжении открыт для свободного обозрения.

Самолет...

Самолетов в поле зрения два, они над морем и летят навстречу друг другу.

Кажется, они летят только ради своего присутствия в общем пейзаже.

Метеорологическая Обсерватория...

Белокаменная, круглая, с большим стеклянным куполом. Расположена в самом центре большой ограды. Ограда тоже каменная, тоже белая, с двумя проходными будками. Одна будка заколочена двумя досками крест-накрест, другая усиленно функционирует.

Люди...

Люди везде: в прибрежной части моря, на морском пляже, на улицах большого приморского города, в горах, в ограде и в здании метеорологической Обсерватории.

Люди одеты и почти что раздеты, раздеты и почти что одеты, они ныряют, плавают, лежат, ползают, сидят, ходят, бегают, карабкаются на горы, едут в автомобилях, летят в двух встречных самолетах.

Приборы.

Приборы на метеоплощадке в ограде Обсерватории показывают:

Термометр +35,2° .

Барограф 1022 миллибара.

Анемометр 1,0 метра в секунду.

Флюгер юго-запад.

Среди людей и приборов в одной из комнат Обсерватории профессор Алексей Алексеевич Дроздов читает лекцию студентам.

У профессора бородка клинышком. Очки. Голос, давным-давно привыкший объяснять.

Он осторожно, чтобы никто из студентов не заметил этого, взглянул на свои ручные часы: без пяти минут пять.

Потом он взглянул в окно, на горы, на город, на синее море.

Очень странно звучат его слова, когда он говорит:

— Как вам уже известно,— говорит он,— продолжительность полярной ночи от Полярного круга к полюсу возрастает от одних до ста семидесяти девяти суток... В этот период, когда солнце отсутствует, имеет место долгий, непрерывный процесс выхолаживания воздуха. Выхолаживания воздуха,— повторяет он, заметив, что один из его слушателей тоже заглядывает в окно.

Где-то внизу плеснулось море.

Курносенькая студентка обмахивается веером с изображением солнца, солнечных лучей и роскошных пальм. На каждой пальме по одной веселой обезьянке.

Когда она складывает веер, одна за другой исчезают и обезьянки.

Взгляд профессора, ненароком брошенный им на часы, не остался незамеченным — и курносенькая и не

курносенькие студентки и студенты тоже стали поглядывать на свои часики.

Показания времени были у всех различными и колебались в пределах от без двух минут пять до пяти минут шестого. А одни какие-то часы даже показали одиннадцать минут после пяти.

Лекция тем временем продолжается:

— На окраинах арктической области часто приходят в соприкосновение холодные и теплые массы воздуха. В результате состояние атмосферы здесь очень неспокойное, при низких температурах сильные ветры, метели...

Профессор задумывается.

— Это и есть пурга...

Внимательно он смотрит в окно.

А там плоская ровная поверхность — это тундра...

И темное неясное пятнышко на плоской поверхности — это палатка...

И какие-то вертикальные тонкие линии — это шесты, на которых установлены метеорологические приборы.

Вот плоская поверхность начинает волноваться, покрывается дымкой, туманом — это пурга.

Пурга сгущается, заполняет все, ничего не видно, и профессор отворачивается от окна.

Между тем уже пять часов, уже наверняка пять, и профессор и слушатели приготовились услышать звонок.

Но звонка нет.

— Метеорологическое предупреждение по поводу возникновения пурги, то есть ее прогноз, не представляет особых трудностей...— продолжает профессор.

А звонка нет.

— Другое дело — определить заранее ее фронтальное распространение, а также интенсивность...

Звонка нет.

— И особенно ее продолжительность... Это — очень трудно!

Звонок.

Неподалеку от блистающего стеклянным куполом здания Обсерватории начинаются и сбегают вниз по склону улицы города. Они хорошо просматриваются

сверху: пешеходы, милиционеры, автомашины, троллейбусы, домики и дома — окна и двери, арки...

Видит профессор и сине-мраморное полированное небо, и море, которое, все гуще синея, уходит вдаль и ввысь, к своему горизонту, к слиянию с небом. Море покрыто крапинками, а каждая крапинка — это чья-нибудь лодка, видит он и белые пятнышки, а каждое пятнышко — чей-нибудь парус... Вершины моря не достигает уже никто, ни одна лодка, ни один парус, и там, недолго побыв наедине с самим собою, море становится сначала очень синим, а потом его синяя чистота встречается с синевой неба и от этой встречи происходят ослепительные блеск и сияние, кажется, будто сияет ледник, а может быть, огромный купол, стеклянный или из какого-нибудь другого материала, тоже твердого и прозрачного, как стекло.

Выше этой сияющей морской вершины нет ничего, и вершина моря неподвижно вздымается над берегом, над склоном, над зданием Обсерватории, над всей землей, и вся земля беспокойно шевелится у ее подножия, шевелится деревьями, троллейбусами, пешеходами, милиционерами и крохотными точками небесных птиц.

На редкость отчетливо видел все это сегодня вокруг себя профессор Алексей Алексеевич Дроздов, все это, что было рядом, что было далеко-далеко, что напомнило ему тот искусственный приморский город, который он когда-то создал в тундре, под стеклометаллическим куполом, а потом призвал под купол Тонечку Белову и показал ей свое творчество. Но двигался он среди этого нынешнего, такого отчетливого мира тяжело и безотчетно, испытывая на себе неизвестные прежде могучие силы Земного притяжения.

Профессор обиделся — со стороны всего этого сияющего мира было невежливо воздействовать таким образом на своих обитателей,— но потом он понял, что это воздействие относится только к нему, к нему персонально.

Это профессора озадачило, и в следующую минуту он подумал, что, вероятно, таким образом Земля выразила свое неудовольствие его существованием, может быть, она была задета его нынешним, слишком обостренным зрением, а может быть, и всей его жизнью, в течение которой он так много учился сам и так много

и долго учил других изучать, устраивать и в корне переустраивать ее — вот эту самую Землю.

Размышляя в этом направлении, профессор достиг проходной будки.

— Приветствуем вас, Алексей Алексеевич! — сказал ему от своего личного имени, но почему-то во множественном числе вахтер Адриан Самсонович и, сказав так, с видом очень усталого человека распахнул перед профессором двери проходной, а потом еще указал и на телефон: — Супруга сильно просили позвонить!

Медленно профессор набрал номер.

— Когда тебя ждать? — спросил в трубку уравновешенный женский голос.

— Иду, иду, дорогая!

— Поточнее, дорогой. Обед готов и ждет тебя!

— Иду...

— Кстати, ты сегодня опять плохо спал. Нам надо посоветоваться с невропатологом. С Аркадием Васильевичем, а лучше с Николаем Константиновичем!

— Так мы и сделаем, дорогая...

А какие-то ударные звуки все время мешали профессору, заглушая голос в трубке. Он оглянулся. На стене как раз за его спиной висели часы-ходики, старые, со стершимся циферблатом, вместо гирь у них были подвешены заржавленные и, должно быть, тяжелые чайки.

— Непонятно... — сказал профессор.

— Это насчет времени непонятно? — догадался Адриан Самсонович, стоя в дверях проходной и обмахивая форменной фуражкой расстегнутую грудь. — Время у нас в проходной, правда что, сильно звучит...

Профессор вздохнул и, прикрыв одно ухо рукою, стал продолжать разговор.

— Ты странно вел себя сегодня ночью, — говорил ему уравновешенный голос. — Какую-то старую детскую тужурку достал из шкафа. И где только нашел и как это она сохранилась? Какие-то старые-старые, северные-северные фотографии. Мило, конечно, припомнить нашу юность, но ведь здоровый и непрерывный сон — прежде всего!

— Иду... — отозвался профессор. — Была ли почта?

— Ничего особенного. Из института. Приглашение на банкет и перспективный план исследовательских работ.

— Иду...

Профессор повесил трубку, снова обернулся к часам-ходикам, напряженно прислушался к их громким ударам и тут же медленно осел на скамью, подтянув обе руки к левому боку, под мышку.

«Ну вот,— сказал Адриан Самсонович,— уже сколь разов я их предупреждал, чтобы он берег собственное здоровье. Ведь больному что? Ему мед и то горько! Несознательность человеческая!— И, подхватив телефонную трубку, Адриан Самсонович стал звать:—«Скорая»! Самая скорая, куда ты подевалась, спрашивается?! Медицинская?!»

Подбежали к проходной студенты с метеоплощадки и еще, и еще кто-то — довольно много разного народа,— а спустя короткое время по крутому повороту горной дороги промелькнула и машина «скорой помощи».

Невысокого роста, молоденькая, отлично сложенная брюнетка, медицинская сестра присела за свой столик и аккуратно переписала в журнал состояние больного:

Температура 37,6° .

Пульс 115 в минуту.

Кровяное давление 180—150.

«Потеря сознания»,— приписала еще сестра и вздохнула.

После этого она вынула из кармашка халата зеркальце и посмотрелась. Она была молоденькая, чуть только лет за двадцать, и собственное личико очень интересовало ее.

В палате за дверью лежал, покачиваясь и вздрагивая на металлической сетке, профессор Дроздов с пожелтевшим потным лицом, с закрытыми глазами и приоткрытым ртом.

Рядом на стуле сидела пожилая женщина, довольно полная, испуганная и растерянная.

Это была Антонина Петровна Дроздова (Белова).

— Сту-у-чат!..— произнес больной, и Антонина Петровна оглянулась на дверь.

Тихо было в палате, и только через открытое окно доносился сдержанный голос моря...

Настойчиво и громко стучали часы-ходики, и профессор сказал вахтеру, которого он не сразу различил в дверях проходной, в синем тумане, окутавшем всю проходную:

— Что это вы придумали, Адриан Самсонович?

— А мы динамик приладили, Алексей Алексеевич,— пояснил вахтер,— вот оно и загремело, наше время!

Верно: среди чаек и прочих предметов, подвешенных к часам вместо гирь, был и динамик, который исправно и мощно транслировал удары: тик-тик-тик-тик!

— А для чего? Слушали бы через динамик нормальные передачи. Регулярные и поучительные!— заметил профессор.

— Так ведь радио не на слишком высоком уровне,— пояснил Адриан Самсонович.— Разве когда сама Москва. А в остальном мелкотемное, а также малосодержательное. Ну, а когда так, мы с напарником изладили комбинацию. Для вас комбинация, видать, не очень, а другие принимают. Двое соискателей уже являлись. Говорили: диссертабельно. Один от этого определил повышение производительности вахтерского труда на десять прóцентов, другой дискутирует, утверждает — пятнадцать и даже будто бы без малого шешнадцать прóцентов. После на какое-то время отступились от исследования — у обоих семейные дела, детки в вуз поступают...

Дроздов попрощался с Адрианом Самсоновичем за руку — рука у вахтера была очень горячая — и пошел не обычной проезжей дорогой, а стал спускаться по каменным лестницам вниз. Лестница была сначала извилистой и узкой, но потом быстро выбежала на площадку, а здесь стояло два указателя.

«В город. На улицу Парковую»,— было написано на одном из них.

На другом была надпись: «Кафе-площадка «Фантазия», и стрелка указывала влево.

Профессор оглянулся по сторонам. Снова он был как раз под проходной будкой, только значительно ниже по склону.

Он сложил руки трубкой и крикнул:

— Адриан Самсонович!

— Приветствуем, Алексей Алексеевич!— отозвался вахтер.— Случилось что или как?

— Это что же, давно здесь?— Профессор имел в виду указатель влево.

— «Фантазия»-то? За год, как пришли к нам директором института товарищ Михаил Капитонович.

Еще сказать про «Фантазию», она явилась почти через год, как вы, Алексей Алексеевич, с успехом защитились докторской. Без малого ровно через год после того... А стук-то времени все одно доносится, а?

Стук доносился...

На кафе-площадке «Фантазия» не было ни души, в тени тента в три ряда были поставлены столы и стулья с почти прозрачными пластмассовыми сиденьями, а еще здесь была огромная подзорная труба. Профессор придвинул стул, сел и прильнул к этой трубе.

Пляж тянулся вдоль гор, лесов и соседних городов.

Сколько хватал отлично вооруженный глаз, берег был усеян самыми разными телами загорающих.

Негр и тот выставил навстречу солнцу черную спину и ярко-красные плавки.

Профессор долго и внимательно смотрел в трубу...

Он смотрел и вправо и влево, а потом сосредоточился на большой группе мужчин, женщин и детей, которые столпились вокруг кого-то, кого среди них не было видно.

Толпа все росла, все больше людей торопилось с разных сторон к месту происшествия, в трубу были видны изумленные лица и жесты. Мужчины поднимали на руках детей и женщин умеренной полноты, чтобы они хоть краешком глаза могли увидеть, что же все-таки происходит в середине толпы.

И ведь было чему удивляться: в толпе стало видно человека в короткой оленьей малице и в оленьих кисах.

Этим человеком был Оська, Осип Писими, и он ничуть не изменился с тех далеких пор, как расстался с Дроздовым. Вероятно, все эти годы прошли для него как один день.

Сначала сцена была немой, однако же легко было догадаться, что Оська о чем-то спрашивает, а окружающие его люди в купальниках и плавках наперебой пытаются что-то ему объяснить.

Немного позже Оську стало не только видно, но и слышно.

Оська разговаривал со спасателем.

Спасатель был молодым человеком в шортах, в шляпе, со свистком и биноклем на груди, со спасательным

кругом, закинутым за спину. Всем своим видом он явно импонировал Оське.

Они пошли вдоль пляжа, как вполне расположенные друг к другу старые друзья, и спасатель, показывая Оське купальщиков, объяснял:

— Директор, директор, директор... Редактор, директор, директор, директор, редактор...— говорил он при этом.— Заведующий! Председатель Правления!

— Трудно? Служить?— спрашивал Оська.

— Их сколько? Директоров? И прочих? А я один за всех. В ответе. Я всех спасаю, когда они утопают. Без разбору. Хотя номенклатурных, хотя каких.

— А зачем они утопают?

— Уплывают вон туда, за поплавки, а там уже идут ко дну!

— А зачем они туда плывут, если там идут? Ко дну?

— Вот уже восьмой год у всех у них спрашиваю. Уклоняются, не отвечают,— и спасатель пронзительно свистнул в свисток кому-то, кто заплыл за поплавки.

Оська стал соображать, сморщив лоб и переносицу.

— Знаю, почему они туда плавают...

— Почему?— спасатель остановился и взял Оську за рукав малицы.— Ну?

— Нравится, когда их спасают!

— Неглупый парень!— удивился спасатель и снова стал показывать:— Директор, директор, директор! Верно ведь: почему бы и не утонуть раз-другой, когда знаешь, что тебя спасут?! А фамилия? Которого ты ищешь?

— Он большой!

— Большой? Говорит басом?

— Об чем разговор!

— Это не Боцманов ли?— догадался вдруг спасатель.— Михал Капитонович?

— Вот-вот-вот!

— Отсутствует... У него комиссия. Ответственная. Министерская. Одним словом, самая главная. По проверке работы. Как бы не комиссия, они находились бы здесь — вот его персональная точка!— И спасатель показал в сторону огромного лежака.

На лежаке была табличка, отпечатанная типографским способом: «ЗАНЯТО».

Пространство под лежаком было пополам разгорожено простыней. В одной половине двое бородатых мо-

лодых людей играли в «подкидного дурачка». В другой дремала не очень молодая и не очень хрупкая женщина.

— Слушай, а может, тебе комиссия нужна? — спросил спасатель. — По проверке работы товарища Боцманова?

— Ну зачем это мне комиссия? — удивился Оська. — Да ее, поди, и вовсе не найдешь?

— Раз плюнуть!

И спасатель плюнул и подвел Оську к большому зонту, в тени которого разместилось трое довольно тщедушных мужчин, три довольно полные дамы и шесть туго набитых чемоданчиков.

— Председатель проверочной комиссии! — спасатель ткнул пальцем в мужчину-брюнета. — Заместитель! — сказал он, ткнув в блондина. — Секретарь! — чуть-чуть деликатнее спасатель отметил даму в невероятно пестром купальнике. Об остальных он сказал: — Рабочие члены!

Оська осмотрел комиссию и спросил:

— Комиссия проверяет товарища Боцманова здесь, а товарищ Боцманов там?

— Естественно, товарищ Боцманов там, ему надо готовить акт проверки! А комиссия здесь ждет этого акта.

— Ну, тогда так: сначала поищу Олешку! Пойду поищу сам. Спасибо за хлопоты! Будешь в тундре, заходи! Так Олешка Дроздов сделался профессором, да?

Солнце еще выше поднялось над пляжем, над морем, над городом.

Прохожие сосредоточивались на теневой стороне улицы, мороженщики туда же перекатывали свои торговые точки, а бабуси — коляски с внуками и внучками. Самостоятельные внуки и внучки тянули в спасительную тень бабусь.

И только один Оська целеустремленно шагал в своих одеяниях из оленьих шкур, ничуть не заботясь о том, где солнце, а где тень.

Идут троллейбусы, идут автобусы, идут прохожие, а вот идет Оська.

На перекрестке улиц он приблизился к милиционеру.

Милиционер козырнул, наклонился к нему и спросил:

— В чем дело, дорогой товарищ?
— Ищу одного...
— Нарушителя?
— Ну, какой там нарушитель, сроду нет! Профессором служит.
— Есть один ученый. Герой Социалистического...
— Этот не герой. Сроду нет!
— Есть и профессора не герои. Тоже есть. Фамилия? Имя? Отчество? Семейное положение?
— Ну,— руками Оська сделал в воздухе рисунок,— вот такой!
— Так, так,— понял милиционер.— Так, так... Это нужно идти...— милиционер четкими взмахами жезла пояснил Оське:— Прямо — налево — вверх — направо. Короче идти прямо в НИИНАУЗЕМС!
— В НИИ?— переспросил Оська.
— Само собой,— кивнул милиционер.
— В НАУ?
— Точно!
— В ЗЕМС?
— Вот именно!— подтвердил милиционер.
— Понятно... А что получится?
— Из чего получится?— не понял милиционер.
— НИИ — раз! Да?— стал повторять Оська.
— Само собою!
— НАУ — два! Да?
— Точно!
— ЗЕМС — три! Да?
— Вот именно!— снова подтвердил товарищ милиционер.
— НИИНАУЗЕМС,— повторил Оська.— А что из этого получится?
— Вот как ставишь вопрос!— милиционер принял официальную позу.— А это уже не телефонный разговор. Вот так!
Оська выразительно посмотрел на милиционера.
Милиционер выразительно посмотрел на Оську.
Оська козырнул милиционеру.
Милиционер козырнул Оське.
Они поняли друг друга, и милиционер, наклонившись к Оське, сказал с выражением:
— Научно-исследовательский институт научного землестроительства! Руководитель — товарищ Боцманов Михаил Капитонович.

— Ясно! — ответил милиционеру Оська почти в той же конфиденциальной тональности.

И деловым шагом пошел: прямо, налево, вверх, направо.

Кабинет товарища Боцманова имеет четырехугольную форму при одном тамбуре.

В стене позади письменного стола в кабинете не было дверей.

Ни слева, ни справа от того же стола не было этажерок с книгами.

Зато слева был большой стеклянный футляр, а внутри футляра был в развернутом виде пестрый флаг с надписью: «НИИНАУЗЕМС».

Справа тоже был большой стеклянный футляр, а внутри футляра белоснежная модель двухпалубного, очень красивого корабля.

— Перерыв делать недосуг! — сказал товарищ Боцманов. — Работать надо. Робить надо, мужички, да! Итак, продолжаем...— Посмотрел на часы. — Без пяти шесть!

Михаил Капитонович — мужчина солидный, имел при себе усы среднего размера, не очень густые.

Когда Михаил Капитонович Боцманов произносил такие слова, как «товарищи» или «мужички», он поднимал от бумаг серьезные глаза и осматривал ими всех присутствующих.

Все присутствующие слушали внимательно, устремив взгляд на его усы.

— Для нас основное и главное, товарищи, — говорил товарищ Боцманов, — уложиться в установленные сроки и подготовить выводы комиссии, которая проверяет нашу работу. Комиссию, товарищи, тоже надо понять: у нее жены, мужья и дети, а в школах учебный год на носу. У нее командировочные на исходе и прочие тоже, ей надо возвращаться домой, а дело на сегодняшнее число на мертвой точке. Имеется проект решения... — Товарищ Боцманов поднял со стола бумагу и прочел с выражением и подъемом: — «Признать работу института в целом вполне удовлетворительной...» Возражения? Поправки? Добавления?

Открылась дверь, и в кабинет вошел Оська.

— Привет! — сказал он всем присутствующим, а потом решил, что этого недостаточно, и стал пожимать руки персонально. — Привет! Привет! Привет! Продолжайте, дорогие товарищи! Не помешаю? А где же Олешка? Профессор, доктор Дроздов?

— Отсутствует, — пояснил Боцманов. — Причина: кажется, нездоров.

— Жаль! — сказал Оська.

Воцарилось продолжительное молчание.

— Перейдем к следующему вопросу — нам нужно окончательно и бесповоротно определить дату водружения флага на острове Эс! — сказал Боцманов. — Вот именно, товарищи. На сегодня вопрос вполне и бесповоротно наболел!

Все присутствующие обратили свои лица в тот угол кабинета, где в стеклянном футляре, опираясь древком на стеклянный же постамент, стоял в развернутом виде пестрый флаг с изображением буквы S. Взоры всех стали просветленными.

— Глубоко убежден, — волнуясь, снова заговорил один из присутствующих, — восемь! Восемь часов и восемь минут по московскому времени! Двадцатое число!

— При чем тут двадцатое?! — воскликнул другой, тоже присутствующий. — Двенадцатое! Ровно в полдень! То есть ровно в двенадцать двенадцатого числа!

Тут заговорили сразу все присутствующие:

— Нам не простит история, если мы...

— Не простит история нам, если мы...

— История нам не простит, если мы...

Оська положил руку на плечо Боцманова.

— Объясни, пожалуйста, что происходит? Главное — чего не простит история?

— А это очень просто, — сказал Боцманов. — Поскольку просто все великое. Вслушайся внимательно. Вслушался? Ну, вот, наш не раз отмеченный коллектив создает искусственную землю! Конкретно — он создает остров Эс! Дошло? Ну, а теперь ты, пожалуйста, не теряй чувства историзма! С сегодняшнего дня — не теряй!

— Не потеряю... — заверил товарища Боцманова Оська.

В открытом море шел корабль — быстрый и белоснежный, строгих очертаний.

Палубы корабля были усеяны бесчисленными кап-

лями росы, и с солнечной стороны каждая росинка на свой собственный лад отражала солнце, со стороны же теневой, то есть с левого борта, все росинки казались матово-ледяными.

Совсем недавно по палубе правого борта кто-то прошел от кормы к носу и оставил на росе следы продолговатых ботинок, с левого борта кто-то прошел тоже, там остались странные следы — округлые и неровные.

С правого борта прошел Дроздов, а с левого Оська.

Дроздов был в летнем костюме, в соломенной шляпе и в остроносых туфлях, а Оська — в форменной тужурке с золочеными пуговицами, в меховой шапке и в оленьих кисах, кисы и оставили эти странные следы на палубе левого борта.

Дроздов и Оська сошлись на носу.

— Смир-р-рна! Равнение на Оську!— подал команду Дроздов.

Потом они встали рядом, облокотились на поручни и стали смотреть вдаль...

Корабль шел по курсу, на его палубах вздрагивали капли росы. Их по-прежнему было множество, этих капель.

— Оська, ты почему сюда явился?— спросил Дроздов.

— Дела!— пожал плечами Оська.

— Какие?

— Там видно будет...

Помолчали.

— Ты совсем не меняешься, Оська! Сколько лет прошло, а ты все такой же!

— Как это — такой же?— удивился Оська.— Куртки же на мне не было по сей день. И шапки вот этой тоже. Тем более бинокля.

— Ну, разве в этом смысле...— вздохнул Дроздов.— А вот я изменился за эти годы. И даже сильно.

— А в каком смысле?

Дроздов неопределенно пожал плечами, а Оська, не настаивая на четком и определенном ответе, сказал:

— Там видно будет? Да?

— Вот именно!— согласился Дроздов.

Помолчали...

А вскоре стало видно, что на волнах покачивается проходная будка, очень похожая на ту, которая стояла у ворот Обсерватории.

Все проходные будки мира как две капли воды похожи друг на друга: крохотный домик, узкая дверца и квадратное окошечко.

Но эта имела строго индивидуальные черты — не внутри, а снаружи, прямо над нею висел огромный транспарант: «Пропуска предъявлять в развернутом виде».

Из окошечка будки показалась чья-то голова, потом окошечко закрылось, а открылась дверь, и Адриан Самсонович при форме и во весь рост появился на пороге.

— Приветствуем Алексея Алексеевича! — сказал он, глядя на корабль, но не обратил при этом ни малейшего внимания на то, что на борту корабля присутствовало еще одно лицо, то есть Оська, что Оська был в форменной тужурке с якорями, в солидной меховой шапке под пыжик и с биноклем.

Дроздов свесился через борт и снял шляпу.

— Конечно, Адриан Самсонович, нас много, а вы один...

— Пропуск забыли? — спросил Адриан Самсонович.

— Я-то Дроздов, я-то Алексей Алексеевич, при вас и докторскую успешно защищал, Адриан Самсонович! Когда вы уже трудились на посту. Хотя, конечно, нас много, а вы...

— На пенсию! И когда только дождусь! — ответил Адриан Самсонович.

— Действительно... А я Дроздов, Алексей Ал...

— А это? — и Адриан Самсонович широким жестом показал на щит, который с помощью двух понтонов покачивался на поверхности моря.

«Правила оформления и предъявления пропусков: а) коллективных, б) индивидуальных, в) экскурсионных, г) специальных, д) неразборчиво» — можно было увидеть на щите крупно. Ниже несколько мельче в количестве двадцати семи следовали конкретные пункты «Правил», еще несколько ниже и еще несколько мельче были опубликованы одиннадцать «Примечаний» к двадцати семи пунктам.

В разговор вмешался Оська и сказал:

— А ведь вас, дорогой Адриан Самсонович, можно провести с коэффициентом один двадцать девять. За вредность производства. Если постараться! Точно говорю! Ведь вы, дорогой Адриан Самсонович, уже сколько лет считаете по коэффициенту один двадцать один, а это, можно сказать, непростительная ошибка! Один

двадцать девять за вредность производства,— вот, дорогой Адриан Самсонович, ваш кровный коэффициент!

Лицо Адриана Самсоновича медленно, но верно приобретало то выражение, с которым золотоискатель нечаянно находит слиток весом шестнадцать килограммов четыреста пятьдесят пять граммов.

— Точно?— воскликнул он вопросительно, но было очевидно, что точность Оськиных слов не вызывает в нем ни малейших сомнений. И тут же Адриан Самсонович во всю силу закрутил рукоятку ворота. И на ворот стал наматываться трос, а трос стал приподнимать парусиновый колпак, и открылись установленные так же на двух понтонах два указателя, благодаря которым осуществлялось судовождение в данном районе моря.

«В экспериментальную зону НИИНАУЗЕМСа» — было написано на одном указателе.

«В зону за пределы экспериментальной зоны НИИНАУЗЕМСа» — написано было на другом.

— Значит, так,— говорил тем временем Адриан Самсонович голосом уже до конца ушедшего в глубь самого себя человека.— Значит, три года четыре месяца одна неделя и шесть дней поделить на один двадцать девять... Поделить или помножить? Поделить или помножить? Ездят тут всякие!— закричал он вдруг громко.— Нет никакой возможности! Поделить или помножить?

— Поделить!— подсказал Адриану Самсоновичу Оська, вынул из кармана микрофончик на проводе и скомандовал:— Право руля!

Корабль стал круто разворачиваться, причем «в зону», а Оська стал объяснять недоумевающему профессору Дроздову:

— Это он что считает, а? А это он считает, сколько дней ему осталось до пенсии. При коэффициенте один двадцать девять за вредность производства. Поскольку он всю свою жизнь ошибался и рассчитывал на один двадцать один!

— Что ты говоришь?— удивился Дроздов, но в это время Адриан Самсонович закричал:

— Стой, стой, стой!

— Стоп!— скомандовал Оська в микрофон.— Вопрос, Адриан Самсонович? Да? Возник?

— У нас через два на третий год будет високосный?

— Високосный,— ответил Оська, не задумываясь.

— Значит, со днем?

— Со днем!

— Ч-черт! — махнул рукой Адриан Самсонович.— Черт с им, пусть будет со днем! Бог с им, пусть будет! Все одно позагораю на пенсии будь здоров! На острове Ес в самой запретной в зоне и позагораю! Кроссворды пораз-га-ды-ваю! Одна тысяча девятьсот восемьдесят два номера «Огонька» и другой печати на тот случай уже припасено! Привет супруге и деткам! — вдруг крикнул торопливо и весело Адриан Самсонович, обращаясь к Дроздову и снова игнорируя Оську.— Значит, поделить! Три года четыре месяца одна неделя шесть дней и еще один день двадцать девятого февраля поделить на вредность производства...

Тут Адриан Самсонович снова ушел в себя, стал рассеянным и зажег красный семафор.

Потом чертыхнулся еще раз и зажег зеленый.

Над морем приподнималось удивительно желтое солнце.

Сначала солнце проложило себе узкую золотистую дорожку по водной поверхности, потом краешком глаза рассмотрело ее, потом выкатилось на нее всем своим кругом. Чуть позже поднялось и поплыло над нею, над своей собственной дорогой.

Берег.

Это берег острова S.

Он сложен из странного материала, не то это ракушечник, не то пористый каучук.

Около берега покачивается белоснежный и по-прежнему безмолвный корабль.

На берег брошен якорь.

На берегу установлен флагшток.

На берегу установлены метеорологические приборы.

На флагштоке пестрый флаг НИИНАУЗЕМСа с изображением буквы S.

Между флагштоком и якорем, обняв колени, молча сидят Оська и Дроздов. Дроздов на чемоданчике, Оська непосредственно на острове. Оба смотрят в открытое море.

Потом Оська вздохнул, поковырял пальцем берег, взял в ладонь кусочек грунта. Понюхал его. Полизал. Рассмотрел. Послушал и бросил. Хотел вытереть ладонь о самого себя, но вспомнил, что на нем новая тужурка, и раздумал.

— Почва,— сказал он,— почва здесь вовсе смешанная... На этом острове.

— А это не почва,— пояснил Оське Дроздов.— Это супергрунтовая масса, сокращенно — сегеем. Это достижение НИИНАУЗЕМСа!

— А из чего? Из чего это достижение?

— Сегеем, Оська, это продукт переработки примитивных сырьевых почв и грунтов — каштановых, красноземов и буроземов, глин и песков. И черноземов.

— И черноземов...— повторил Оська.

— Еще года два-три тому назад искусственная земля была фантазией. И вот — подумать только!— это уже реальность!— объяснил Дроздов поставленным, профессионально лекторским голосом.

— А на чем ее сюда возят, эту фантазию?— допытывался Оська.— И откуда ее возят?

— Методика такая: в черноземных районах НИИНАУЗЕМСом организованы предприятия по заготовке и переработке сырьевой массы. Далее, сегеем доставляется наземным транспортом в порт назначения и, наконец, непосредственно к острову Эс на самозатопляющихся баржах СЗ-72. Таким образом, баржи выполняют двоякую функцию: они являются транспортным средством, а самозатапливаясь, служат конструктивным элементом острова Эс. Весьма эффективное решение. Запатентовано.

В это время Оська рассматривал якорь на пуговице своей новой тужурки.

А якорь у него на глазах стал сползать с пуговицы, а сама пуговица вытянулась и стала похожей на небольшие огурчики.

Оська удивился, закрыл глаза и осторожно пощупал пуговицу пальцем.

На ощупь пуговица продолжала оставаться круглой, и на ней по-прежнему был якорь.

Оська широко открыл глаза и осмотрелся кругом: солнце было желтое и тоже огуречной формы. Это был очень большой, очень странный и давно перезревший огурец. Дроздов под взглядом Оськи тоже вел себя странно — он более чем на половину погрузился в свою собственную высоченную шляпу. И корабль, по-прежнему покачиваясь на якоре, тоже вытянулся вверх и был теперь очень похож на каланчу.

— Слушай, Олешка, что-то получилось с глазами,— пожаловался Оська.— Что-то там вывихнулось, какой-

то шурупчик, а из-за этого, гляди, что во всем свете получается!

— Вот! — воскликнул Дроздов обрадованно.— Вот так! Все правильно, милый мой Оська, через пять часов пребывания на острове Эс у нормальной человеческой особи должны появиться признаки особой аберрации зрения! Молодец! Какой ты, оказывается, молодец! А у меня до сих пор ни одного признака! Ни в одном глазу! А это — так прискорбно! Ведь аберрация зрения — совершенно необходимый компонент всей теории и практики научного землестроительства!

Дроздов привстал с чемоданчика, на котором он сидел, и вынул из него две пары продолговатых очков, отчасти похожих на театральные бинокли. Одни он тотчас надел на Оську, другие положил к себе на колени и стал смотреть на них в нетерпеливом ожидании собственной аберрации собственного зрения.

Оська же тем временем вертел головой и говорил:

— Вернусь домой, как в глаза людям буду смотреть?! Слушай, Олешка, они же худые вовсе, твои очки,— прямо видать, а в бок одна темнота! Ультрачерные лучи, и больше ничего!

— Таких лучей не бывает, Осип!

— А ежели их не бывает, откуда же ты знаешь, что их не бывает?

Но Дроздов уже не слушал, он и на себя тоже надевал очки, напоминавшие театральный бинокль, теперь и у него появились — наконец-то! — признаки аберрации.

Оська стал стучать пальцем по чемоданчику Дроздова и прислушиваться. Он стучал довольно долго и спросил:

— Слышать я стал тоже худо, Олешка! Тихо стукаю — слышно, громко — обратно слышу, а когда нормально постучишь, вот так, ничего совершенно не слыхать!

И опять Дроздов обрадовался и стал говорить:

— Это хорошо, это отлично, именно так и должно быть, а не иначе!

Он вынул из чемоданчика две пары наушников, одну пару надел на Оську, другую положил себе на колени и стал ждать.

Оська все же продолжал стучать по чемоданчику, по собственному лбу, по очкам-биноклям.

— Кое-что слыхать... А другое вовсе нет. Вот в брюхе, слышно, гудит так гудит! Ты послушай, Олешка! Как ровно самолет «Ту — одна тысяча триста пятьдесят четыре» на взлете! Ур-р-р-чит!

— Такого самолета, Оська, нет!

— Техника дойдет!

Оська верно заметил: гудело сильно, а главное, чем дальше, тем сильнее.

И опять Дроздов обрадованно опоясал Оську металлическим бандажиком, а другой бандажик, блестящий, изящных очертаний, положил к себе на колени и стал ждать собственного урчания.

Таким образом, друзья с ног до головы оказались армированными причудливыми приборами. Приборы торчали у них из ушей, были на животах и ногах.

— А это для чего, Олешка?— спрашивал Оська, растопыривая пальцы правой руки. На каждом пальце у него было по замысловатому приборчику.— Там что внутри, а?

— Там внутри, Оська, концентрат «антипис»!

— Что-о? Что такое?

— «Антипис», тебе говорят! В сто одиннадцать раз снижает потребность пальцев что-нибудь писать...

— А-а-а. А жаль! Ван Ванович, тот сильно был доволен, когда я писал. Какие-нибудь сочинения. Про оленей, про еще кого-нибудь. Помнишь Ван Вановича, Олешка?

— Что-то не знаю!

— Ну, как же, учитель, который меня сколько зим учил. Три зимы учил!

— Я же его не видел, Оська! Никогда!

— Так я же тебе о нем говорил. Еще в тот раз, еще в тундре! На кое-что, Олешка, у тебя память вовсе не развитая!

— Напомни, пожалуйста, Осип, какие-нибудь подробности. Из того нашего разговора. Какие-нибудь детали?

— Из того из нашего?.. Тогда ты внимательный был, Олешка, вот деталь. Что я тебе говорил, ты все тогда слушал и все понимал.

По совести говоря, у профессора было еще одно желание: рассердиться. И он чистосердечно признался в этом.

— Ах, как хочется, Оська, на кого-нибудь рассердиться! Кого-нибудь серьезно обвинить в серьезных не-

достатках и легкомыслии. Но, если уж кого-то обвинять, так прежде всего — тебя, Оська: зачем ты меня спас тогда в тундре? Ты меня спас, и вот я не могу на тебя рассердиться, я тебя за это хвалю, считаю героем, передовым и лучшим человеком!

Солнце поднималось все выше, остров S заметно припекало, островной почвогрунт, именуемый СГМ, начал производить букетик из двух прозрачных, почти что стеклянных цветочков, очень похожих на электрические лампочки.

Море плескалось у берега, а спустя еще некоторое время появилось искусственное Существо $25 \times 5 \times 5$ см. Вне этих габаритов Существо имело две пары треугольных бипланововых крылышек и три парнокопытные ножки. Туловище Существа было членистым. Оно подлетело-подползло к нашим друзьям, приподняло кверху свою заднюю одну треть и посмотрело сначала на Дроздова, потом на Оську — именно в этой трети у Существа помещались глаза, опять-таки в количестве трех. Потом оно зевнуло — там же у него помещался и рот с двумя зубами и с одной, нижней, половинкой клюва.

Дроздов поманил Существо пальцем... Не очень охотно оно приблизилось, и Дроздов стал нанизывать на него разнообразные приборы, среди которых один — кругленький, под пломбой — привлек внимание Оськи.

— Как называется?— спросил он.

— Альфа-омега!— охотно пояснил Дроздов.— Условное название прибора для определения производительности труда ученых, принимавших участие в создании Существа. Исчисляет общую и удельную производительность, поскольку затраты труда отнесены на один килограммометр работы, производимой Существом.

— А оно работает?— удивился Оська.— В какой организации?

— Оно двигается, а это уже и есть его работа.

— А у него сердце есть? У этого животного?

— К сожалению, есть! К сожалению, Оська, наука не может отказаться от повторения и даже копирования природы! Поэтому наряду с природным сердцем наука создает искусственное, создать что-то принципиально новое она все еще не может.

— А скоро? Сможет?

— Пока что, Оська, мы можем только завидовать тем отдельным человеческим умам, в которые такая фантазия уже сегодня укладывается. Но будем надеяться! Создан же вот этот остров Эс? И теперь, правда, в принципе, но всю планету и все, что на ней существует, уже можно рассматривать только как первичное сырье для дальнейшей переработки. Это ли не новый принцип?! И не открытие?

— Как на мясорыбоконсервном комбинате?

— Приблизительно.

— Ну, вот сделаемся мы с тобой, Олешка, консервами. Далее что?

— Далее, Осип, мы будем полностью независимы от природы. Предположим, наступит новый ледниковый период, а нам это будет все равно, мы будем существовать независимо ни от чего, мы будем победителями природы в полном смысле этого слова!

— А если ошибка в производстве?— домогался Оська.— Недосмотр либо сменный мастер с похмелья совсем не тот консерв сделает?

— Очень может быть, ведь любое существование — это риск! Однако же будем надеяться! Понял — надеяться!!

— А если нечаянно какой-нибудь гнус выработается? Буду перерабатываться я, а вместо меня либо вместе со мной гнус получится, летний и даже зимний? И сколько его года за три получится? А за десять годов? Не считал, Олешка?

— За десять лет...— поправил Оську Дроздов.

— Будем надеяться, будем надеяться!— сказал врач Антонине Петровне Дроздовой, выйдя из палаты. Антонина Петровна тут и ждала его — около столика медицинской сестры. В коридоре.

— Доктор?..— спросила она, но доктор не выслушал ее вопроса, а твердо повторил еще раз:

— Будем надеяться!— и, проведя рукой по голове Антонины Петровны, ушел в белую дверь, в палату рядом.

Теперь дежурила другая сестра, постарше той, что была в первый раз, когда «скорая» доставила Дроздова в больницу, пополнее и посолиднее. Она по-медицински улыбнулась Антонине Петровне, а потом села за столик и записала состояние больного:

Температура 37,8° .
Пульс 124.
Кровяное давление 180—130.

«Потеря сознания»,— записала еще сестра, вздохнула, вынула из кармана своего халата зеркальце и посмотрелась.

Она не была молоденькой, но все равно собственное лицо серьезно интересовало ее, тем более что оно действительно было приятным — добрым и даже милым...

Оськи на острове S больше не было, остался только ворох различных приборов — регистраторов и датчиков,— которыми он еще совсем недавно был армирован с ног до головы. Теперь этот ворох лежал без употребления на берегу, вызывая у Дроздова чувство грусти.

Дроздов тоже снял с себя все приборы и вздохнул, он почувствовал, что Оська скрылся надолго... Действительно, надо же было додуматься и почти что заковать Оську в такое огромное количество приборов! Вот он и скрылся... И оставил своего друга одного... Надолго ли? Не может быть, чтобы Оська скрылся навсегда, нет, не может быть!

Так грустно и тревожно рассуждал про себя Дроздов, когда услышал тоненький и пронзительный голосок:

— С приветиком!

Дроздов оглянулся. Может быть, это Существо 25×5×5 уже приобрело навыки общения с людьми? Существа не было, оно с головой зарылось в СГМ. В цветочках, так похожих на электролампочки, тоже не была заложена лингвистическая программа. Спрашивается: кто бы это мог быть? Кто сказал «с приветиком!»?

И тут на середине трапа, сброшенного с корабля на берег острова S, Дроздов увидел Таракана.

Таракан был порядочный — сантиметров пятнадцать в длину. Кроме того, он был небесно голубоглаз. Лазурный взгляд выражал наивность, но только очень упорную.

Таракан шевелил тонкими усиками, вздрагивал и ждал ответа, а не дождавшись, повторил снова, теперь уже с явным оттенком раздражения:

— С приветиком!

Дроздов сделал не совсем определенный жест рукой и не совсем определенно произнес:

— Привет, привет...

А Таракан приподнял свое реликтовое крылышко, круто повернул голову влево и стал по-птичьи прихорашиваться.

У Таракана, кроме глаз небесной голубизны, была и еще одна индивидуальная особенность — он имел шею и теперь демонстрировал ее Дроздову.

— А что это ты, голубчик,— спросил Дроздов,— что это ты прихорашиваешься? Здесь необитаемый остров, и для кого в этом смысле стараться?

Таракан вытянул шею, потянул в себя воздух и сказал:

— Действительно! Ужасно пахнет необитаемостью, невыразимо как пахнет! Голова кружится! Где моя Тараканиха?

— Какая?

— Моя!

— Понятия не имею... У нее есть какие-нибудь особенности и признаки?

— Само собою!

— Какие же?

— Она моя!

— Да,— сказал Дроздов,— существенный признак. Но у меня есть догадка: ее здесь нет. Откуда ей тут быть?

— Действительно, подумаешь!— отозвался Таракан.— Действительно, какое имеет значение, откуда? Откуда-нибудь, вот и все, подумаешь! Где она?

— Понятия не имею!

— Глупый ты, что ли, профессор Дроздов? Ты же меня видишь? Вот он я, да?

Таракан помахал реликтовыми крылышками, повращал лазурными глазами, а Дроздов посмотрел на него и кивнул.

— Да...

— А если здесь я, почему бы здесь не быть и моей Тараканихе? Где она?

— Это твое личное дело. Я ни при чем.

— Подумаешь, действительно! Во-первых, ты пока что единственный посредник между мной и моей Тараканихой — почетная и гуманная роль! Позже я расширю штатное расписание, но ты навсегда войдешь в историю, как первый посредник между тараканами. Может быть, я даже поставлю тебе памятник! Во-вторых, ты же человек — живи себе, существуй, занимайся какими-

нибудь занятиями, борись с запахом необитаемости, ликвидируй стерильность воздуха и всего прочего, а уж мы, тараканы, построим на острове Ес свое великое общество! Итак, где моя Тараканиха?

— Понятия не имею!

— Хам?! — удивился Таракан и как бы пригласил взглянуть на хама Дроздова еще кого-то, кого здесь не было. — Действительно!

— Осторожнее! — заметил Дроздов.

— Подумаешь! — отозвался Таракан, снова блеснул лазоревым взглядом вверх, вниз и в стороны, а потом крикнул: — Желаю размножаться! Немедленно! В экстренном порядке!

— Отстаешь от жизни, — ответил на это крикливое заявление Дроздов. — Несвоевременно и, я бы сказал, несовременно. В нынешнем цивилизованном мире это даже смешно. Тем более на острове Эс, который сам по себе является новейшим продуктом цивилизации!

— Действительно, профессор! — поразился Таракан. — И чего смотрят в ВАКе? На кого смотрят, куда смотрят во время присуждения ученых званий? Ведь если прежде мы, тараканы, размножались исключительно в физическом смысле, так нынешняя цивилизация из всех своих сил стимулирует наше размножение еще и в смысле нравственно-показательном!

— Ай-ай, ай-ай! — покачал головой Дроздов. — Как не стыдно!

— Это тебе должно быть стыдно, тебе, дремучему обывателю! Который не знает, что в одном из самых популярных романов века в таракана эволюционирует — кто? Че-ло-век! Вот кто! И совсем не одинок этот романист, нет, нет и нет, можно сказать, что уже двадцать семь и семь десятых процента всех современных фантастов тоже работает на нас, тараканов. Ну? Кто из нас отстал от жизни? От цивилизации? Где моя Тараканиха?

Дроздов на мгновение задумался.

— Ага! Задумался! — сказал ему Таракан. — Тогда вот тебе и еще пища и комбикорм для размышлений: ваши, эти — как, черт возьми, они называются, уж очень много у вас этих самых разных, ну эти — ваши биохимики, они ведь хотят сделать искусственную живую клетку?!

— Предположим. Что из этого?

— А то из этого, что они прежде всего сделают простейший вирус. Тот самый, который, как только выползет из лабораторной колбы, так и сожрет все органическое вещество на всем земном шаре. В сорок восемь часов, ну, может быть, в сорок девять. И тебя, профессор Дроздов, разумеется, сожрет. И даже меня! Вот он какой, ближайший идеал этих самых, ну, как их, этих гордых биохимиков! Так ведь я же — я же выше этого идеала! Несравненно! Я ведь не сожру все, а только кое-что! И я твой союзник, чуть ли не тезка: ты ведь тоже удовлетворяешься не всем, а только кое-чем? Кроме того, и ты и я не хотим быть сожранными этим диким и примитивным вирусом! На который и смотреть-то нет желания, а только плюнуть и растереть! — И Таракан плюнул слева от себя и энергично растер плевок быстрыми движениями трех, а может быть, и четырех своих гибких ножек.— Видишь, я высокоорганизованная материя, дорожи мной! Очень дорожи! Я научный, я мыслящий, я владеющий сравнительным анализом! Мне бы в личную обслугу двух-трех гордых биохимиков, уж я бы их научил!

— Чему бы это?!

— Научил бы не плодить дремучий вирусный примитивизм! Попутно научил бы их мыслить широко и реалистически!

— Да ну-у-у?— удивился Дроздов.— А это — как?

— А это — очень просто! Я бы указал им, что они ведь всегда выбирают не между хорошим и плохим, а между плохим и плохим, то есть — меньшее из двух зол. Они выбирают это меньшее ежедневно. И хотя в воскресенье им еще кажется, что я, таракан, ни в какой мере не устраиваю их, и они не удостаивают меня ни взглядом, ни словом, в четверг — я уже то самое меньшее зло, с которым они согласны заключить союз, а в среду следующей недели — я, все тот же самый Таракан,— уже недосягаемый идеал, к которому они и рады бы вернуться, но — поздно! Поздно — потому что они уже в объятиях вируса, а вирус, в свою очередь, уже адресует их к каким-нибудь вирусятам, полагая ниже своего достоинства иметь с ними дело непосредственно!

— Образованный Таракан! — иронически заметил Дроздов.

— Еще бы! Ведь я Таракан двадцатого века! Я заочно изучаю таблицу натуральных логарифмов! Я го-

товлюсь к сдаче кандидатского максимума! Я умею зарифмовать все, что угодно! Всю человеческую речь! Не веришь? Где моя Тараканиха?

— Пароход! — сказал Дроздов.— Болонья! — подумав, сказал он еще.— Ну?

— Пароходш-ш-ш-ш! — произнес Таракан, вращая лазурью наивных глаз.— Болоньяш-ш-ш-ш! — сказал он затем.— Ну? Чем не рифма?! Пушкинская! Гомеровская! Косинус фи равен единице! А тангенс угла в сорок пять градусов тоже равен единице! А? Что? Выкусил? Ха-ха-ха! Хя-хя-хя — вот так я! Где, черт подери, моя Тараканиха?! — взревел он дискантом.

— А зачем тебе это? — спросил Дроздов.

— Что?

— Твое собственное размножение?

— Балда! — удивился Таракан и тяжело вздохнул.— Чтобы на острове Ес стоял непрерывный тараканий шелест: ш-ш-ш-ш! Ш-ш-ш-ш-ш... Вот так! Кто знает,— Таракан мечтательно закатил под реденькие брови свою лазурь,— кто знает, может быть, это будет обновленный ш-ш-ш-шелест, сверхсовременный ш-ш-шшелест?! И отсюда, с Ес, он распространится на весь Зет, то есть на весь земной шар! На всю Вселенную! На всю Галактику! А я буду основателем новейшего ш-шшелеста! Ты что же, думаешь, будто мне чужды индивидуальные творческие замыслы? Конечно, я не такой эгоист, как ты, и, сколько бы у меня ни было выдающихся заслуг, я никогда не потребую отдельную четырехкомнатную квартиру с балконом и лоджией, я всегда буду в той среде, которая меня породила и которую породил я. Все это так, а все-таки? Я — биология как таковая, я биология прежде всего другого. Ты, интеллектуал и к тому же еще интеллигент, разумеется, презираешь биологию! Напрасно! Слава богу, мы, тараканы, обходились и без интеллигенции, а ты без нее не обходился никогда. Кроме того, учти, что я, как цивилизованный Таракан, научно обосновываю свою задачу — сделать из себя одного миллион раз самого себя. И я спрашиваю: где Тараканиха? Ведь ты же строишь остров Ес, ты хочешь оставить после себя много разных произведений, а я хочу оставить произведение самого себя! Только я, я сам в бесконечном числе, а больше — ничего другого! Чем не задача? Чем не идеал? И разве с моей точки зрения это не благородно, не грандиозно и не потрясающе? Короче: была бы энергия созидания,

а куда ее направить — всегда найдется! Еще короче: где моя Тараканиха? Учти, я сейчас начну еще и не так выражаться! Я сейчас начну так выражаться, так выражаться! Ну?!

— Хорошо! — сказал Дроздов в состоянии уязвленного самолюбия.— Будем предельно откровенны!

— Будем! — согласился Таракан.— Только сначала предельно откровенным буду я, потом ты. Чур, первый!

— Не все ли равно? Не все ли равно, кто из нас будет откровенным сначала?

— Значит, первым откровенно говорю я. Руки вверх! Ну?! Кому говорят?!

— При чем тут руки? При чем верх? — возмутился Дроздов.— Разве мы находимся в состоянии войны? Мы рассуждаем логически, и только!

— Вот я и требую логического поднятия рук. Ведь моя логика оказалась сильнее твоей! Ты все еще этого не понял?

Что-то в этом духе Дроздов действительно понимал, и его руки зашевелились в том смысле, чтобы приподняться над головой, но большим усилием воли и логики он сдержал их. Кроме того, он подумал, что его собственная логика хотя и потерпела некоторое поражение, однако все еще обладает внутренними ресурсами, и поспешил мобилизовать эти ресурсы.

— При чем какое-то там поднятие рук,— спросил он,— если мы обоюдно не применяем оружие — холодное и огнестрельное? И атомное тоже не применяем?

— Вот это да! Вот это да! Дает! — засмеялся Таракан.— Вот это я понимаю — доктор наук! Вот это цивилизация! Значит, действительно твоя логика способна поставить вопрос о стрельбе из пушек по воробьям и об атомных бомбежках тараканов?! Вот так та́к! Поднимай-ка, поднимай-ка руки!

Дроздов еще больше почувствовал щекотливость и неловкость положения.

— Не стесняйся, я все-таки верю в твою искренность, верю, что у тебя за пазухой совершенно нет ничего атомного! — заверил Таракан.— Но когда твои руки свободно взметнутся над твоей головой, это обеспечит дополнительный приток крови к глазам, у тебя обострится зрение, и ты увидишь мою Тараканиху! Либо скорее придумаешь какой-нибудь видоискатель! Можно

связать руки за спиной — тоже хорошо, тоже стимул, дает отличный результат! Короче говоря, тебе все еще не хватает страха! Жаль, жаль! Это — вредно! Там, где страх не дефицитен и не лимитирован,— там никто не жалуется на отсутствие порядка! Логарифмическая спираль есть изогональная траектория пучка прямых, проходящих через полюс! А? Что? Выкусил? Ну? Где твои руки?

— Ты — вещество!— в голос крикнул Таракану Дроздов.— Организованное, но неодухотворенное вещество, а больше ровно ничего! Кроме вещества, ты ничто, ничем никогда не был и ничем никогда не будешь! Твое вещество затвердило какие-то слова из тригонометрии, из предисловия к таблицам логарифмов, и, употребляя эти слова, ты оскорбляешь тригонометрию, таблицу логарифмов и само вещество! Как всякий подлец, ты роняешь достоинство всего, к чему прикасаешься, о чем говоришь, и даже всех тех клеток и молекул, из которых состоит твой организм! Ты обманул природу и весь мир — они вовсе не хотели тебя, но ты воспользовался их недосмотром и доверием, явился и теперь попираешь все и вся своими грязными ногами! Твое единственное утверждение в обманутом тобою мире — это размножение, а больше ничего! У тебя нет истории, а одно только будущее и только в виде размножения! Уже родную мать ты узнать не способен и вместо заботы о ней готов поселить ее у соседа! Из-за тебя, из-за твоего существования, я дойду бог знает до чего! Дойду до того, что буду отрицать всякое вещество! А ведь это — ужасно! О, черт возьми, как я разволновался, а ведь я еще не был на приеме у невропатолога Николая Константиновича, у Аркадия Васильевича тоже не был, только пообещал жене, что буду, а уже такие эмоции! Такие отрицательные! Оська! Оська! — позвал затем Дроздов, но никто не откликнулся.

И тут Дроздову показалось, что он умирает — руки, которые он ни в коем случае не хотел поднять, набрякли чем-то тяжелым, леденящим, ноги тоже, он услышал свое сердцебиение и почувствовал то невероятное усилие, с которым предсердия все еще проталкивали его кровь в желудочки, а желудочки с еще большим напряжением в аорты... Профессор Дроздов никогда не присутствовал при анатомических вскрытиях, но тут впервые он понял устройство своего сердца и ту невероят-

ную работу, какую оно исполняло в нем всю его жизнь, а теперь почти бессильно было исполнять ее и дальше, потому что оказалось не в состоянии справиться с тем земным притяжением, которое профессор Дроздов испытал не так давно, двигаясь по территории метеорологической Обсерватории, которое действовало на него непосредственно от Земли, минуя все те предметы — леса, горы, дома, улицы, людей,— которые на этой Земле были.

Теперь, удвоившись или утроившись, это притяжение снова и могущественно воздействовало на каждую клетку его организма, а на каждую клетку его сердца особенно сильно и неотвратимо.

Вдруг он увидел и собственное сердце — это был самый первый в жизни любовный и самый последний прощальный взгляд на чудо чудес, на самое гениальное, самое скромное и самое работящее произведение мира. Вот так бескорыстно и запросто оно желало трудиться семьдесят, восемьдесят, девяносто и более лет без единой минуты передышки, исполняя работу, которую никто и ничто, кроме него, исполнить не способно, которое умеет очищать самое себя и не пахнет даже при болезни и недомогании, умеет быть скрытым от похвал, восхищений и любований, но никогда не устраняется от того, чтобы принимать на себя и чувствовать собою все невзгоды, неприятности и неопрятности внешнего мира...

Профессор Дроздов забылся...

Даже остров S перестал существовать для него в этом забытьи, существовали только его сердце и великая мощность Земного притяжения — больше ничего.

И вот тут-то, в этот миг, профессор Дроздов догадался, что в схватке с Тараканом ему необходимо было стать значительно примитивнее Таракана, нужно было отступить в прошлое, еще более отдаленное, чем то, из которого явился Таракан, нужно было доказать свое более отдаленное, чем у него, начало; древность — ведь это тоже оружие! Это право на жизнь. Это утверждение жизни. Это — право на будущее!

И профессор Дроздов склонил это право, эту древнюю и древнейшую историю жизни на свою сторону, почувствовав себя амебой, назначением которой было только существовать, а больше ничего, ничего и никогда.

Для этого профессор Дроздов должен был перестать думать — и он перестал, перестать чувствовать запахи и вообще чувствовать что-либо — и он перестал, перестать видеть остров S и слышать Таракана — и он перестал.

Таким образом, профессор Дроздов Алексей Алексеевич был теперь примитивнее Таракана. Таракан по сравнению с ним сделался грандиозным интеллектуалом, и Таракан это понял, еще громче начал кричать что-то по поводу логарифмов, косинуса фи и кандидатского максимума (он все время путал кандидатский минимум с кандидатским максимумом), одним словом, понес страшную чепуху и тут же страшно проиграл: за счет того примитивизма, в который ушел профессор, во всех профессорских клетках освободилась энергия, как раз та самая, которая была ему необходима, чтобы одержать верх над Тараканом.

Конечно, это была недозволенная и некорректная хитрость, почти запрещенный тактический прием — почувствовать себя амебой, привлечь к себе хотя бы и амебовидную жизнь, как будто бы для того, чтобы впоследствии уже не требовать от жизни никогда и ничего, но, что поделаешь, другого выхода не было. Ему надо было обмануть Таракана, а когда обманываешь своего противника, неизбежно приходится обмануть и еще кого-то, а этим кем-то чаще всего бываешь ты сам и твоя жизнь.

Твоя совесть, которая прикидывается вот такой простенькой и нетребовательной, а на самом деле...

В это время у больного были:

Температура 37,8°.

Пульс 48.

Кровяное давление 70—45.

Врач сказал... Врач не сказал ничего.

У постели больного сидела Антонина Петровна.

Было дежурство молоденькой и хорошенькой сестры-брюнеточки.

Так или иначе, но Дроздов получил новый, никогда прежде не известный ему ритм не то что дыхания, а существования: раз-два, раз-два, раз-два!— осваивал он его, потом быстро восстановил в памяти всю предшест-

вующую ситуацию, снова пришел в себя, то есть в состояние, свойственное профессору Дроздову, поморгал, по-человечески вздохнул раз и другой и спокойно, очень выдержанно сказал Таракану:

— Чтобы победить, нужно принять на собственное вооружение логику противника. Если логика противника — убить тебя, значит, нужно принять эту логику и убить его. Месть со своей собственной позиции и с точки зрения собственной морали — это противнику как слону дробина! Потому ведь мы и противники, что у нас разные морали, разные «хорошо» и «плохо». Для меня плох ты — паразит, паразитическое вещество, но мои обвинения только воодушевляют тебя; они поднимают тебя в собственном мнении и во мнении твоих единомышленников!

— Действительно откровенный малый! — сказал Таракан, не моргнув глазом.— Ну, а дальше?— Он все еще был бесконечно самоуверен.

— Дальше: имей в виду, что современность для тараканов — вещь обоюдоострая. Она создает для тебя новые возможности существования, но, не забудь, она же изобрела и дуст! И производственных мощностей одного предприятия средней мощности достаточно, чтобы посыпать дустом каждый квадратный миллиметр этого острова!

— Аэрозоль тоже производится? Планируется? Создается техническая база?

— Ну, еще бы! Цивилизация в виде дуста и аэрозоля, несомненно, заставит вашего брата-паразита ей соответствовать!

Таракан очень быстро стал перебирать ножками, а остановившись и передохнув, он сказал:

— Все-таки ужасно, невыносимо, невероятно пахнет необитаемостью!.. Голова кружится, и впадаешь в состояние невменяемости, словно какая-нибудь кошка от запаха валерьянки... Подумаешь!..— и он задумался.— Подумаешь! А все-таки каким именно? Требованиям? Мы? Должны будем? Соответствовать?— спросил Таракан, судя по всему, весьма и весьма заинтересованно...

— Вот каким! — сказал Дроздов и поманил пальцем Существо 25×5×5, приблизительно $^1/_8$ которого торчала неподалеку из супергрунтовой массы острова.

Существо неохотно выкарабкалось на поверхность и подползло-подлетело к Дроздову.

— Вот!— сказал Дроздов, а больше не сказал ничего.

Таракан был весь внимание... Он долго молчал, потом спросил:

— Существо, а где твоя Существиха?

Существо 25×5×5 безразлично зевнуло...

— Где она? Где? И вообще?

Существо 25×5×5 зевнуло снова.

— Ты, ты, ты — ты не желаешь размножаться?!

Вся структура Существа 25×5×5 выразила еще большее удивление и безразличие, а Дроздов еще раз повторил:

— Вот!

Существо 25×5×5 снова стало погружаться в СГМ.

Сцена была долгой и молчаливой.

Потом очень быстро Таракан стал сгибать все свои ноги в коленях, стал перебирать ими, оставаясь, однако, на месте. Он вращал усиками и глазами, а это вращение, в свою очередь, тоже все убыстрялось, так что через две-три секунды и его усики, и глаза, и ноги стали совершенно невидимыми.

Перед тем как исчезнуть, Таракан заявил официально:

— Не поднимаю вверх ни одной ноги! Да! Мы, тараканы, никогда не теряем чувства колена! Я исчезаю, но мы еще вернемся! Выясним некоторые обстоятельства и вернемся! Углеводы бывают простые и сложные. А белки́ — это органические высокомолекулярные вещества, молекулы которых построены из аминокислот! Что, выкусил?— захохотал он.— А насчет уравнения Бернулли смотри учебник Фихтенгольца «Курс дифференциального и интегрального исчисления»! Что, опять выкусил? Ха-ха! Опять!

И еще Таракан не исчез до конца, а сначала прокричал несколько слов, которые он при всей его болтливости продержал-таки за пазухой до самого конца этой встречи.

— Ага!— крикнул он.— Я ведь помню, как ты по собственному желанию сделался крохотной и такой множественной-множественной величиной. «Мы — семьдесят семь триллионов плюс эн в бесконечной степени!» Помнишь, ага?!

— В тысячной!— захотел надуть Таракана Дроздов.— В тысячной степени!

Нет, право же, медсестричка-брюнетка была очень хорошенькой, но еще она была и усталой, и несколько рассеянной... Мало ли из-за чего она могла быть усталой и рассеянной в свои двадцать с небольшим лет? Она только недавно появилась на работе, должно быть, с опозданием, и не успела сменить лакировки на тапочки; на работе она всегда ходила в мягких тапочках.

Чуть-чуть попудрившись, она решила заняться и этим делом: открыла один из ящиков медицинского столика, вынула оттуда тапочки, а на их место положила лакировки, предварительно сдунув с них пыль и завернув в целлофановый мешочек.

Уже сквозь мешочек она вдруг заметила царапину на внешней стороне каблука правой туфли и хотела вынуть эту туфлю обратно, чтобы рассмотреть и понять, в чем дело, но в это время открылась дверь из палаты, в которой лежал Дроздов, в коридор вышли врач, а за ним Антонина Петровна и молодой человек лет двадцати пяти — сын Дроздовых, Юрий Алексеевич Дроздов.

— Анечка! — сказал врач медицинской сестре.— Анечка, пожалуйста, внимательно следите за переливанием... Когда будет отлучаться дежурный врач, следите особенно внимательно!

Анечка сказала:

— Хорошо, Виктор Николаевич! Я обязательно буду следить как можно внимательнее,— поискала ногами тапочки под столом и быстро их надела, потом заметила, что ящик стола с лакировками в целлофановом мешочке все еще приоткрыт, и захлопнула его, а потом посмотрела на Юрия Алексеевича Дроздова.

Молодой Дроздов был больше похож на мать, чем на отца,— округлое лицо, светлые серые глаза, материнский, необычной формы нос: сначала прямой, а в переднем отделе, над верхней губой чуть приплюснутый.

Антонина Петровна опустилась на скамью рядом с медсестрой и кивнула сыну, и тот пошел в ногу с доктором по коридору, спрашивая:

— Все-таки? Все-таки? Все-таки?

— Будем надеяться, будем надеяться, будем надеяться! — отвечал доктор.

— Почки у тебя по-прежнему в порядке, Алеша?

Сначала Дроздов замешкался, однако же ответил твердо:

— Не жалуюсь. На что другое, на почки — нет!

— Хорошо. Отлично. В данный момент главное, пожалуй, все-таки почки... Вообще-то, положение серьезное, а время лимитированное. Имеешь это в виду?

— Имею.

— Прекрасно!

И профессор Дроздов взмыл вверх, в голубую, со всех сторон плотную, почти горячую атмосферу... На недосягаемой низоте виднелся пятачок острова S с прильнувшим к берегу белым корабликом, а совсем рядом с Дроздовым находилась спиральная полупрозрачная конструкция, пластмассовая или какая-то другая.

— Значит, Алеша Дроздов, ты меня узнаешь?— спросила эта конструкция.

— Дело было в тундре...— вздохнул Дроздов.

— В тундре. Да.

— Мы беседовали...— вспоминал Дроздов.

— Беседовали. Да.

— По некоторым вопросам философии.

— Философия, Алеша, не мое непосредственное призвание, хотя мы, то есть я и философия,— близкие родственники. Да. Ну, а близкое знакомство с близкими родственниками лучше всего откладывать на будущее... Значит, Алеша Дроздов, ты еще помнишь обо мне?

— Ты — Интеграл.

— А ты — умница!

— И я у тебя в руках. И на порядочной высоте. Что-нибудь около километра, даже больше? Больше или меньше?

Интеграл не стал отвечать, а спросил сам:

— Что же ты помнишь о нашей встрече еще? Алеша? Дроздов?

— Все помню.

— Все помнишь или все знаешь?

— Помню — значит, знаю. И наоборот.

— Ты гениальнее, чем был в свое время Эварист Галуа... а?

— Лично я этого не думаю. Не приходило в голову.

— И не думай. Потому что память — это совсем не то, что знания. Память — это способность восстановить прошлое во всем его объеме. Попробуй-ка переживи нашу первую встречу во всем объеме? Ну? Не пропустив ничего, что тогда было, совершенно ничего?!

Дроздов попробовал, но не пережил ни холода — кругом было слишком тепло, почти горячо, ни голода — мысль о пище внушала ему отвращение...

— Знаешь,— сказал он Интегралу,— в детстве мне удалили гланды.

— Ну, ну?

— Спустя лет двадцать шесть или семь я, уже инженер, случайно оказался в одной из комнат областной конторы Главсеверовостокбурводстрой.

— Ну, ну?

— И тут я узнал и этот дом, и эту комнату: много лет здесь была больница, в этой комнате мне и удалили гланды.

— Ну, ну? Это уже совсем интересно!

— И тут оказалось, что я все знал об этой операции — знал, где и когда она проходила, знал, что в дверях этой комнаты неожиданно появилась седая голова моей бабушки, знал хирурга, знал его хирургический инструмент... Но помнить, я не помнил ничего: я не в силах был снова пережить боль, страх, надежды. Действительно, это стало для меня уже плоскостью, а не объемом. Плоскостью знаний.

— Ах ты умница!

— Вот так же, только в плоскости, я знаю свое детство, свою юность и некоторые взрослые периоды своей жизни. Знаю о них больше, чем ты, чем кто-нибудь другой, твердо знаю, что они мои, эти детство и юность, а не чьи-то чужие, но это, пожалуй, и все, что я о них знаю. Войти в них обратно я не могу, а их опыт мне не удается привести к тому общему знаменателю, который есть не что иное, как я, я сам... И, знаешь ли, товарищ Интеграл, вовсе не в этом знаменателе, а только в стремлении к нему и сказывается моя память по отношению к самому себе. Вот так...

— Замечу еще,— сказал Интеграл,— что знания ты, Алеша Дроздов, способен наращивать из года в год, изо дня в день. Но твоя память, и прежде всего по отношению к самому себе,— величина почти постоянная, и ты содрогнулся бы, окажись у тебя в руках подходящая единица измерения этой величины, настолько она мала!

— Но все-таки они существуют, эти несколько ничтожных единиц памяти. Это я твердо знаю! Только они, эти единицы, обладают старческим свойством: забывая все, что было совсем недавно, они помнят давнее прошлое. Точно! Я не очень-то в курсе своего собственного

детства, но, когда меня недавно приперло и не было другого выхода, так я быстренько припомнил себя амебой!

— Точно?— удивился Интеграл.

— Ей-богу! Могу даже пояснить, что это такое — это двухплоскостное существование, в котором одна плоскость — сама амеба, другая — все остальное, что для нее существует в этом мире, по чему она скользит и что ощущает при скольжении. Я вот смотрю на небесную звезду, на серебристый тополь и на рыжего муравья, но я совершенно ничего о них не помню, ни одного из тех состояний и ощущений, которыми существуют и живут они, хотя, кажется, хоть кое-что, а я бы должен был помнить об этом, ведь у нас общее существование, мы сложены из одних и тех же химических элементов, мы не в первый раз встречаемся, старые знакомые. Однако же я смотрю на них и не вижу и не угадываю в них ничего, кроме чьих-то знаний о них, я вспоминаю, кто из ученых о них написал, кто может написать, у кого, если я захочу, я смогу о них что-то узнать. Непосредственного их воздействия на себя я не чувствую и не знаю. Принципиальная схема та же, что и для примитивной амебы,— двухплоскостная. А где же объем? Где гармония памяти и знаний?

— Ах, умница, умница, умница!— похвалил профессора Дроздова Интеграл.— Как развился! Совсем не то, что было когда-то в тундре! Тогда ты был пикуненок, несмышленыш! Ну, откровенность за откровенность, милый Алеша: а мне за это время надоело. Надоело — как это говорится,— надоело все ко всем чертям! Никто ведь по-настоящему не мычит, не телится, одни свары, и только! Одна нервотрепка! Ну, ладно, я согласен: начнем все сначала, начнем, как я тебе уже говорил однажды, с дубль Адама и дубль Евы. Тогда бы я, покуда суд да дело, покуда эти дубль Адам и дубль Ева снова дорастут до интегрального исчисления, походил бы на пенсии, в очередном отпуске, в отпуске без сохранения содержания, наконец! Отдохнул, попринимал бы субаквальные ванны, позагорал бы! А то ведь ни дня, ни ночи: «Интеграл! Иди-ка стряпать! Интеграл! Чеши собак!» Медикам подавай математически обоснованные методы лечения, артиллеристам и ракетчикам еще больше того! Гуманитариям, лингвистам, например, и тем подайте на тарелочке Интеграл! Детям подайте тоже. Что там вундеркинды хотя бы тридцатых годов

нынешнего века — те все-таки брились или уже собирались бриться, а нынешние начинают с детского сада, в четыре года пользуются БСЭ, «Британской энциклопедией» или последним изданием «Большого Гердера», в пять лет эти товарищи уже готовы посадить понятие бесконечности под новогоднюю елку вместе с плюшевыми медведями и танцевать вокруг нее! Как будто кто-то и когда-то сможет понять бесконечность, если она и сама-то себя не понимает, не знает, не помнит и не измеряет? Ни трудового законодательства, ни положения о конкретных обязанностях, ни одной штатной единицы обслуживающего персонала, ни пол-единицы по совместительству! А работу дай! Месячный, квартальный, годовой план — кровь из носа — дай!

— Все это так...— дипломатично согласился Дроздов.— Вот и Адриан Самсонович, вахтер нашей Обсерватории, тоже всегда жалуется на перегрузку и нервотрепку, но чего же хочешь ты? Чего же ты хочешь? Персонально? Адриана Самсоновича, кажется, устроил новый коэффициент — один двадцать девять вместо один двадцать один. А что устроит тебя?

— Давай, Алешенька, заселим остров Эс,— совсем другим тоном, неожиданно лишенным какой бы то ни было назидательности, отчасти даже робким и даже заискивающим, произнес Интеграл.— Ты и я, я и ты — больше никого и ничего!

Профессор Дроздов подумал, сообразил и ужаснулся:

— Интеграл! Ты ведь тоже никто. Значит, ты обрекаешь меня на полное одиночество?

— Ах, какая старая песня, Алешенька, какая старая! Ты уже не мальчик, ты уже успел пропустить через себя столько понятий, что на девять десятых, даже больше, сам для себя уже стал понятием. Ты развился за эти годы — умница, умница! А что нынче знают о тебе твои студенты или читатели твоих ученых книг, кроме тех понятий, которые ты им внушаешь? Ничего! А когда ты бываешь доволен собой? Как раз тогда, когда не мешаешь сам себе производить какие-нибудь понятия, они ведь превыше тебя самого! Так вот, предлагаю тебе вариант, при котором ты неизменно будешь доволен собою! Что может быть лучше этого? И счастливее? Вариант, который ты сам когда-то предлагал своей дорогой Тонечке Беловой, когда вы находились с ней на Круге Времени, но только она по недоразумению и по

женской логике признала тебя ненастоящим и отвергла! Ну, умница? У тебя-то, надеюсь, мужская логика? Ты-то не можешь не понимать: сегодня у тебя одно небольшое отвлеченное понятие, а завтра другое, потом пятое, десятое, сотое и тысячное. А сумма этих отвлеченных понятий — это что такое? А? А это я, Интеграл! И это ты, твоя отвлеченная судьба, вполне логическая и доказуемая без привлечения аппарата высшей математики, а просто так: одно плюс другое, плюс десятое, сотое, тысячное, а больше ничего! Так что вот, Алеша Дроздов, брось-ка ты все эти детские бирюльки, всю эту игру в реальную и неповторимую индивидуальность, когда и зацепиться-то не за что, кроме как за свою собственную материальную часть, то есть никак не более, чем за одну десятую самого себя! Какое там, одна десятая, того меньше, значительно меньше!

Все стало ясно профессору Дроздову: просто-напросто он умирал и под занавес по собственному желанию должен был отказаться от той $^1/_{10}$ себя, которая не была понятием, а была его сердцем, ну и еще кое-какими материальными деталями его самого.

Это было очень серьезно со стороны Интеграла, очень обоснованно, ведь Дроздов сам в порядке непринужденной беседы только что сформулировал приоритет знания над памятью... Отсюда один шаг до признания себя понятием и ничем другим. Но не-ет! Он не согласен! Хотя, конечно, товарищ Интеграл — это отнюдь не товарищ Таракан, совсем не тот случай! Теперь Таракан со всеми его претензиями показался Дроздову не более чем тараканом...

Молчать, чтобы тем временем что-нибудь сообразить, было неудобно, следовало придерживаться определенного такта и дисциплины, хотя бы такой же, которой Дроздов обычно придерживался, общаясь с математическими категориями еще во времена своего милого-милого земного существования. И, внимательно вглядевшись в голубизну окружающего пространства, Дроздов заговорил как можно более непринужденно:

— Тогда, в тундре, я ведь тоже умирал... То есть,— поправился он,— я тоже переставал существовать в общепринятом смысле, но это происходило запросто: я был тогда молод, мой организм еще не был насыщен опытом жизни, ему нечего или почти что нечего было терять, не от чего было отказываться...

— Значит, лет через сто ты накопишь такой жизненный опыт, который автоматически тебя обессмертит?— спросил Интеграл.

— Я совсем-совсем не к тому. Тем более что через сто лет мой организм будет перенасыщен опытом жизни и будет счастлив избавиться от него. Могу поручиться честным словом! Хотя, как ты понимаешь, любое ручательство требует проверки. Так? А если так — давай предоставим друг другу карт-бланш. Сто лет — идет?!

Теперь задумался Интеграл... Дроздов был далек от мысли, что одержал хотя бы частичную победу, но Интеграл молчал, а это давало Дроздову передышку.

И, не выбирая слов, не вслух, а про себя и для себя Дроздов предпринял экскурс такого рода:

«Кроме опыта жизни, я, к счастью, имею еще и опыт смерти,— подумал он.— Смерть № 1 в тундре. И смерть № 2 во время недавней дискуссии с Тараканом на острове S. Это две опорные точки моей жизни, а две опоры — это не одна, а две, их надо использовать! Должно быть, опыт всей моей жизни слишком отвлечен от жизни... Отвлечен в том главном смысле, который проявляется и становится очевидным только тогда, когда соединяются вот эти два слова: «жизнь» и «смерть». Мой жизненный опыт сам по себе, без смерти, совсем лишен порядка и хронологии, не помогает мне, и у меня сейчас даже нет потребности обратиться к нему за помощью. Другое дело — опыт смерти, это кое-что, кое-что позитивное, порох в пороховнице. Когда я умирал впервые, у меня и мысли не было, что это не последний раз, но дальнейшее показало, что это было не в последний, вовсе нет, с этим тоже есть возможность так или иначе потянуть и похитрить по методу то ли Василия Теркина, то ли какому-то другому, строго индивидуальному. И не менее строго продуманному... По совести говоря, опытом смерти я давно обязан был поделиться с близкими людьми. Я этого не сделал — собрания, заседания, ученые советы. Тем более я до сих пор не собрался сделать этого по отношению к самому себе: мы ведь всегда склонны объяснять другим, сами же все знаем и без объяснений. Но когда недавно смерть № 2 настигла меня, я вспомнил все, что нужно, всю пользу прошлого опыта смерти № 1 и отвлекся от соображений логики. Я обратился к тем простейшим клеткам, которые унаследованы мною непосредственно от амебы, которые своим примитивизмом были сильнее

Тараканьего примитивизма, и они выручили меня — я остался жить!

Ладно, это еще не все, вот со стороны товарища Интеграла мне предлагается смерть № 3. Какая же у меня должна быть теперь тактика? Каков теперь мой индивидуальный план?»

Тут наступило молчание, даже мысленное. Что-то все еще соображал товарищ Интеграл, а Дроздов даже и не мыслил, он только собирался с мыслями.

Воспользовавшись моментом отсутствия мысли у Дроздова, к нему прильнула внешняя среда: яркий солнечный свет, теплый, почти горячий и плотный воздух, синие-синие морские дали... И свет, и воздух, и дали были до предела наэлектризованы существованием — существованием всего: морей и океанов, материков, планет, людей, комет, радио- и телепатических волн, птиц, червяков, рыб, кислорода и углекислого газа, магнетизма, вулканических извержений, космоса, божьих коровок и бог знает чего еще.

Дроздов почувствовал великолепие и опасность этого лабиринта, в который, конечно, было бы лучше всего не вступать, а, существуя, поглядывать на него со стороны... Если же этого никак нельзя, если такой внелабиринтной жизни нет, тогда лучше всего жить-поживать в одной какой-нибудь квартирке, очень светлой, теплой, вообще благоустроенной и с отдельным входом...

Лучше всего...

Но сию минуту нужен был энтузиазм совсем другого рода.

Он это понял отчетливо и вот с энтузиазмом вернулся к разработке индивидуального плана действия перед лицом собственной смерти № 3. «Давай, давай, Алеша Дроздов!— поторопил он себя.— Давай! Ведь чего-то ради ты, кажется, все еще вундеркинд?!»

Значит, так:

а) опыт его дискуссии с Тараканом оказался не только положительным, но и результативным, поскольку и после смерти № 2 он, по всем данным, все еще жив;

б) тем не менее от начала до конца повторить этот опыт он не мог — нужно было похитрить, а какая же это хитрость, если она повторяется? Это уже анекдот, да еще и с бородой, а профессору было не до анекдотов, каждому понятно;

в) следовательно, он имел право пойти по испытанному пути, но только пойти по нему гораздо дальше, пойти туда, где он еще не был, в то самое туда, о существовании которого он просто-напросто до сих пор не имел ни малейшего представления...

Итак, профессор Дроздов снова начал с собственного сердца, снова обратившись к этому чуду из чудес, это ведь было с его стороны вполне логично и безошибочно.

Сердце его все еще работало — с новыми тяжелейшими усилиями и с прежним бескорыстием...

Мыслью он соединил свое сердце с порядком движения мира, круг замкнулся, и профессор не выпал из этого круга, а оказался в нем, оказался в движении мира, что и следовало — прежде всего!!!— доказать.

Конечно, профессор вновь изумился своему сердцу — его механике и логике, его бескорыстию и красоте, его философии — и пожалел, что не создал в свое время научного направления «философия сердца». Ах, мало чего мы не делаем, что следует делать прежде всего?

Ему нужно было немедленно позаботиться не только о своем сердце, но и о всем том веществе, которым он был на шестом десятке своих лет и теперь хотел бы быть им же еще некоторое время. Ну, хотя бы еще лет пятнадцать—двадцать.

К чему же он мог еще обратиться в этом сугубо материальном смысле?

Само собою разумеется, к самому древнему, исконному, изначальному веществу, к веществу альма-матер, значительно более отдаленному, чем вещество амебы.

Он должен был привлечь к себе, а себя присоединить к чему-то столь изначальному и отдаленному, что было за пределами и его памяти, и памяти о памяти, что было не тем или иным конкретным веществом, а веществом вообще, субстанцией. Оно было вечно, поэтому его не могло не быть и в данный критический момент, и вот в него-то и нужно было попасть, словно в цель при стрельбе из лука с закрытыми глазами.

Шанс был ничтожный, профессор Дроздов прикинул в уме — что-нибудь около одной стомиллионной.

Но все-таки шанс!

В настоящее время — спешно сделал прикидку Дроздов — на Земле три миллиарда шестьсот миллионов жителей... Три миллиарда шестьсот миллионов разделить на сто миллионов: тридцать шесть человек — вот

сколько личностей могут рассчитывать на успех при такой стрельбе.

А что такое 36 (тридцать шесть) человек?

36 человек — это восемнадцать и восемнадцать мам и пап. Создайте им надлежащие социальные условия, прикомандируйте к ним (хотя бы из их же числа) некоторое число врачей-педиатров и акушерок, а потом посмотрите, что из этого получится, ну, положим, через пятьдесят девять лет и три с половиной месяца?

36 человек — это более, чем полувзвод, дайте этому полувзводу одни сутки и посмотрите, что он успеет в столь непродолжительный срок?

36 человек — это экипаж немаленького корабля и это приличная театральная труппа.

36 человек — это кабинет министров суверенного государства.

36 человек — это коллегия адвокатов.

36 человек — это приличная контора «Утильсырья» или чего-нибудь другого.

36 человек — это достаточно крупная арктическая или антарктическая экспедиция.

А что такое 36 профессоров, если к тому же среди них определенная часть — это, безусловно, потенциальные членкоры, действительные академики и даже академики-секретари?

И, таким образом, Дроздов убедился в том, что его игра стоит свеч, что она имеет не только личный, но и общественный смысл, а это был серьезный моральный фактор, и он ощутил чувство локтя со своими тридцатью пятью коллегами, тем более что профессор Дроздов Алексей Алексеевич был убежден, что он по праву должен занять среди них не совсем последнее место.

— Ну, ну!— подбадривал себя профессор.— Давай, давай! Ни пуха, ни пера! Пошел к черту!— успел он ответить сам себе, и тут Интеграл прервал его рассуждения, его намерения и даже его энтузиазм.

— А что, Алешенька, не дать ли тебе реактивчик?— спросил он.

— В смысле?

— В смысле интенсификации процесса твоего перехода в состояние понятия.

— Лекарство?

— Зачем же? Лекарство — величина обоюдоострая и не прогнозируемая. Человек излечился от животного состояния огнем, а сколько затем людей от огня погиб-

ло? Нет, нейтральное определение приятнее: ре-активчик!

— Чем же оно все-таки угрожает, это лекарство — ре-активчик?

— Опять за свое, опять за крайности! Угроза всему, и тебе в том числе,— это прежде всего ты сам как таковой, современный. Ты прибыл на остров Эс на корабле, и в пути корабельные двигатели сожгли кислород, который вполне мог бы пригодиться и твоим детям, и тебе самому. Один трансатлантический перелет воздушного лайнера сжигает столько же кислорода, сколько вырабатывают его сто пятьдесят гектаров леса за год. Угроза! И так без конца, и вот тебе конец биосферы! Другое дело — ты же, но только в состоянии абстрактного понятия. Блестящий выход — этот самый абстракт, а? Может быть, тебе подкинуть еще какой-нибудь гуманитарный закончик? Гегеля? Канта? Кого-нибудь из современных?

— Лучше всего Ломоносова — Лавуазье. Закон сохранения вещества! Лучше всего!

Интеграл снова задумался, профессор Дроздов задумался тоже, однако же он в это время не терял драгоценное время...

«Ах, товарищ Ломоносов, ах, мсье Лавуазье,— рассуждал он, несколько модернизируя историю и поддаваясь всеобщему искушению кого-нибудь в чем-нибудь упрекнуть,— закон сохранения вещества — это очень хорошо, это отлично, однако для тех, кто живет себе и живет, не предполагая попасть в ситуацию, в которой оказался я, бывший вундеркинд, нынешний профессор Дроздов! До нынешнего дня я тоже был в диком восторге от Вас и Ваших законов, не замечая того, как любой научный закон присваивается человечеством только себе, словно золотой запас. Но ведь и золото принадлежит вовсе не тому, кто его нашел первым или так или иначе приобрел, оно природно и принадлежит миру, мир и природа — вот кто его подлинные владельцы, это от них человек отторгает драгоценный металл. А какое может быть взаимопонимание между теми, кто взял и отторгнул, и теми, у кого взяли и отторгли? Кто из них считает себя незаслуженно обиженным, униженным и оскорбленным? Конечно, тот, кто отторгнул, и он-то и совершает все ту же ошибку — рвет обратную связь со всем остальным миром и сосредоточивает все существующее и даже все несуществующее на себе самом, по-

скольку именно он — персона грата. Ах, товарищ Ломоносов, ах, мсье Лавуазье! Хотя Ваши законы и отторгают вещество от природы, я готов повседневно восторгаться этими законами! Готов, как пионер! Но, поймите меня правильно — чтобы восторгаться Вами, чтобы и в дальнейшем воздавать Вам должное, я должен существовать, а чтобы существовать, должен — немедленно! — получить очную ставку с той субстанцией, которая подлинно владела мною всегда, владела сама по себе, а вовсе не в силу закона сохранения вещества. Теперь я вспомнил и уяснил, что когда-то и ради чего-то эта субстанция произвела меня. Может быть, и она тоже вспомнит: когда и ради чего? И, поскольку однажды она это совершила, почему бы ей не совершить этого еще раз? Она существует, а существования нет без повторения. Я очень-очень надеюсь! Я знаю, что другой надежды нет, все другое, все ближайшее ко мне вещество — дышащее, ползающее, произрастающее — уже отреклось от меня, махнуло на меня рукой. Может быть, я когда-нибудь и обидел его, вполне может быть, в спешке, в ходе интенсивного строительства острова S я, разумеется, мог этого и не заметить, извините! Очень прошу Вас, товарищ Ломоносов и мсье Лавуазье, пусть Ваш закон не отторгает меня от того, к чему он относится! Не вмешивайтесь, право же, это мое личное и даже семейное дело!

Конечно, при очной встрече со своей собственной субстанцией я не узнаю ее в лицо, тем более я не пойму ее отношения ко мне — опять-таки потому, что знаю только Ваши великолепные законы, но не знаю, не знаю всего того, к чему они относятся! Ведь, как сказал один из ученых мужей, все, что нами открыто и определено, мы заменяем его обозначением. Вот как он сказал, один из ученых мужей. Не буду скрывать, скорее наоборот, буду предельно откровенен: обозначения, а тем более Ваши законы устраивали меня во всех без исключения случаях моей жизни, но нынче, — очень прошу понять меня правильно, — совсем-совсем не тот случай! А в результате я не могу преодолеть целый ряд преград, ну, хотя бы и психологический барьер между истинным веществом и его обозначением, а в этом... Вы никогда не думали, кто в этом виноват, кто меня так воспитал? Может быть, все-таки Вы? Убедительно прошу, причем в первый и в последний раз, предоставьте такую возможность — через обозначения пробраться к самому

существу и к веществу?! Я понимаю, что, с моей стороны, со стороны доктора наук, все это слишком деликатно, а все-таки? Убедительно прошу кого-нибудь рассмотреть мое устное заявление. Медицинские справки, а также справку с места работы обязуюсь представить в установленные сроки. Прошу также...»

— Ну, вот что,— сказал Интеграл.— Давай так: шутки в сторону!

— Какие, к черту, шутки!— пожал плечами Дроздов.— Какие, не понимаю!

— Ты что, просишь форы?

— Искренность — та же любовь. И вот я предельно искренне прошу у тебя форы, товарищ Интеграл!

— Понятно, что значит искренность... А ты не проглатываешь последний слог? Может быть, ты просишь форума? Или фортеля? Или форварда? Форсинга? Форта? Ну-ка, повтори!

— Искренность — та же любовь, и я прошу у тебя форы,— повторил раздельно Дроздов.— Я ничего не проглатываю,— подумав, пояснил он еще.— Аппетита нет. Сыт словами по горло.

— Пять минут...— согласился Интеграл.

Такой была его фора.

Пока суд да дело, пока Дроздов был молодым специалистом-полярником, потом профессором, потом общался с Интегралом, время шло, и вот оно не оставило профессору Дроздову ничего, кроме его смерти.

И профессор Дроздов с каждой минутой все отчетливее чувствовал силу земного притяжения.

Вот это-то чувство, это притяжение и вносило теперь некоторую ясность в немыслимо сложный вопрос о том, в каком же направлении скрывалась искомая субстанция.

Не бог весть как этот земной шарик устраивал профессора Дроздова в течение его жизни, особенно в зрелом и активном возрасте, поэтому он и готов был рассматривать его только как сырье и сырьевую базу, необходимую для переработки и создания иных, не очень отчетливых, зато современных форм и конструкций, иногда он даже рассматривал шарик как свою собственную производную, но сейчас некогда было заниматься воспоминаниями о том, что и как было при жизни,— фора Интеграла была пять минут.

И профессор Дроздов предался притяжению Земли, оно действовало на него глобально — на все его клетки

и молекулы, на его дыхание и сердцебиение, на движение его мысли, на все те движения, которые все еще происходили в нем.

Он представлял себе всю опасность своей линии поведения, но риска здесь не было ни на йоту, так как она была единственной, эта линия. Шанс 1 : 100 000 000 — ничтожно мал, но другого шанса у него не будет никогда, хотя бы потому, что уже начинало исчезать и само «никогда».

Он не мог и мечтать о том, чтобы почувствовать прикосновение к себе своей субстанции, потому что его нервная система и вся система его ощущений, даже и в нынешних остаточных признаках, отброшенная смертью № 3 назад, в глушь, в кембрий, в архейскую древнейшую эру, все равно оставалась современной, вскормленной на витаминах серий а, б, с, д, е, на поливитаминах, на ресторанных меню и домашних обедах, приготовленных даже не на костре, а с помощью газового огня. По этой и по тысяче других причин его нервная система уже давно была некоммуникабельна со своими собственными исходными величинами, была неспособна уловить прикосновение к себе той субстанции, от которой она когда-то произошла.

И профессор Дроздов твердо знал, что в силу этих обстоятельств он должен в последний раз перехитрить все на свете — весь мир, все земное притяжение, всего самого себя. А больше он не знал уже ничего. Он прошептал, но не очень тихо:

— Да здравствует мировое вещество! Ур-ра-а!

И что-то вроде рабочего колеса центробежного насоса подхватило его, и понесло, и завращало вокруг чего-то по спиралевидной траектории; он включился в какое-то вихревое движение, по своему рисунку напоминающее то изображение, которым еще древние обозначали — опять-таки обозначали!— понятие вечности.

Он миновал плоскостное состояние, в котором побывал не так давно в качестве амебы, и устремился дальше, туда, где не было не только объемов, но и плоскостей, где он уже потерял ощущение своего собственного протяжения, своих размеров, форм, размеров и форм всего окружающего, где сначала было только чувство своего веса, а потом исчезло и оно и стало только его участием в весе и в давлении чего-то несоизмеримо большего, чем он сам...

И вот он что сделал в определенный момент — он подбросил крохотную частицу себя современного в ту среду, которой он достиг и которая, по его соображениям, уже должна была быть его субстанцией. Он подбросил в субстанцию самого себя, испытавшего несколько смертей, себя, не очень устроенного в своей современности, однако же удостоенного ею звания доктора наук;

он сделал это тайком и по секрету даже от самого себя;

он знал, что в нем всего-то этого докторского и прочего оставалась капля, и все-таки смог это сделать, полагая, что капля в соединении с его изначальностью снова могут составить его жизнь.

Вот это была хитрость так хитрость!

Ах, как наивно выглядел Интеграл, как по-детски прозвучало предложение, которое он после долгих размышлений сделал профессору Дроздову!

— По-хорошему: давай ты на острове Эс будешь Робинзоном, а я Пятницей?— сказал ему Интеграл.— По-хорошему, а?— Профессор Дроздов усмехнулся, а Интеграл стал убеждать его еще горячее и наивнее:— Пятница — знаток интегрального исчисления, ты представляешь, Алешенька! Пятница — академик! Что может быть перспективнее, чем быть Робинзоном при таком Пятнице? Пятница — высокий теоретик! Великолепно! Высшее достижение Робинзона и вообще человека!

— Забочусь о практике!— коротко ответил на всю эту возвышенную тираду Дроздов.

— Да что о ней заботиться?— удивился Интеграл.— Никто никогда не упрекает себя за несостоятельность своей практики, лишь бы не были задеты честь и достоинство его теории! Теория — вот что всегда должно быть неподкупным, справедливым, дальновидным, всеобъемлющим, должно быть предметом зависти и неприступной крепостью для других! Те-о-ри-я!

Разговор становился забавным, и Дроздов сказал:

— Я решил отложить решение вопроса. На некоторое время.

— Какое некоторое время!— возмутился Интеграл.— Какое некоторое?! Я уже объяснял, в каких ненормальных условиях я существую, в какой нервотрепке! Да от меня через некоторое время останутся кожа да

кости, еще какая-нибудь реликтовая ерунда — вот и все!

— Так ты тоже дорожишь своей материальной частью? Ай да товарищ Интеграл! А мне всегда казалось, что эта часть имеет для тебя третьестепенное значение!

— Версификатор! Это с чьего же голоса, а? Как будто ты не знаешь, что больше всего мы ценим в самих себе то, чего в нас нет совсем?! А-а-а-а!— закричал вдруг Интеграл не совсем человеческим голосом.— Шкурник! Девять десятых тебя — это твои понятия, но ты не постеснялся предать их ради своей шкуры! Ради каких-то там собственных потрохов и эпидермиса! Действительно, ты даже не шкурник, ты эпидермик!

Сброшенный Интегралом с огромной высоты, профессор Дроздов падал вниз, но, кажется, не в открытое море, а на поверхность острова S. Видя перед собой огромное и синее морское пространство, он не мог отказать себе в рассуждении о том, почему люди обозначали моря по их колеру — Белое, Черное, Красное, Желтое, но ни одно не назвали Синим? И это в то время, когда синие моря и даже синие-синие — вовсе не редкость? Должно быть, думал он, некоторые свои ощущения и восприятия мы с самого начала отдаем во власть фантазии, минуя реальность. И даже оберегаем их от реальности. Должно быть, так...

«Ну, будем же надеяться, что даже это нас не погубит!»

— Будем надеяться, будем надеяться!— ответил врач на немой вопрос Антонины Петровны и Дроздова-младшего, а медицинская сестра, та, которая была пополнее и постарше, записала:

Температура 37,3°.

Пульс 48.

Кровяное давление 80—45.

Потеря сознания...

Но несмотря на то, что нынче дежурила вот эта добрая медсестра, она попросила Дроздовых, мать и сына, пойти куда-нибудь и не мешать, пока больному будут заменять и регулировать капельницу.

Мать и сын Дроздовы кивнули и вышли из палаты.

В домашнем клетчатом фартуке и со шпингалетом в руке по острову S ходила Антонина Петровна, озабоченная тем, что ей некуда пристроить этот шпингалет.

Она была удручена этим обстоятельством, пыталась пристроить шпингалет непосредственно на синеву, заполнявшую все пространство выше острова S, но в конце концов сунула неустроенный предмет в кармашек своего фартука, как раз туда, где на фартуке изображалась поблекшая, но все еще миловидная синяя розочка, а из-под фартука она вынула веничек и принялась наводить порядок на острове S.

При этом она подходила к территории острова S избирательно и подметала его не весь, а сравнительно узкую полоску — окружность.

Профессор Дроздов долго и внимательно присматривался к хлопотам супруги, потом произнес:

— Знаю!

Профессора Дроздова на острове S не было, но он был где-то рядом, это его устраивало — быть где-то рядом с островом и видеть его во всех подробностях.

Потом Антонина Петровна подмела и полоску-радиус от линии окружности до центра острова S, а на этой полоске черенком все того же веничка изобразила стрелу.

— Знаю! — снова сказал Дроздов. Он безошибочно угадал в этой стреле, нарисованной на супергрунтовой массе острова, Стрелу Времени! Он так и сказал вслух: — Знаю, знаю — Стрела Времени!

Точно в том месте, где был центр окружности, совмещенный с осью Стрелы, Антонина Петровна поставила довольно объемистую бутыль.

Она извлекла ее опять-таки из-под фартучка, смела с нее пыль, а когда поставила, вызвала этим некоторое недоумение Дроздова...

— Не помню, не помню! Не только не помню, но даже не знаю... — говорил он самому себе озадаченно до тех пор, пока не рассмотрел надпись на бутыли:

«Аэрозоль (средство от тараканов)».

Антонина Петровна, как бы угадывая, что муж внимательно вглядывается в бутыль с аэрозолем, еще раз тщательно потерла ее фартуком, так что он смог теперь прочесть: «Перед применением встряхнуть. Защищать глаза от попадания препарата. Пустых флаконов и бутылей в огонь не бросать».

— Не бросать! — сказал Дроздов. Подумал и еще сказал: — Телепатия! Ведь Тонечка не присутствовала при моей дискуссии с Тараканом! Телепатия всегда опаздывает ровно на одну стадию — после Таракана на

острове успел побывать Интеграл! Но жена, должно быть, еще не знает об этом последнем посещении...— И, вздохнув, Дроздов стал снова внимательно смотреть.

Теперь на острове S было так:

была окружность, прочерченная черенком веника, внутри окружности была Стрела Времени, прочерченная тем же способом, на одном конце Стрелы, в точке воображаемой опоры, стояла бутыль с аэрозолем, на другом, свободном конце, почти на линии окружности была Антонина Петровна.

— Знаю!— сказал Дроздов.— Там, где стоит бутыль с аэрозолем, должен стоять я. Но я там не стою, и Тонечка ждет...

Антонина Петровна вздрогнула, нагнулась и взяла в ладонь горсть СГМ. Она пощупала ее и снова высыпала на поверхность острова.

— Знаю!..— сказал Дроздов.— Тонечка хочет узнать, чувствует ли она окружающее ее вещество, а главное, чувствует ли вещество ее прикосновение?! Когда-то я учил Тонечку узнавать то чувство, с которым окружающий нас мир относится к нам. Но по отношению к СГМ вопрос не имеет смысла, ведь остров Эс не природа, а синтетика! Что и говорить, Тонечка всегда была несколько наивна!

Антонина Петровна стояла теперь неподвижно, ветерок пошевеливал вокруг ее головы седеющие волосы, а вокруг ног клеенчатый фартучек с темно-синими розами.

В общем, только одним-единственным атрибутом Антонина Петровна в своих хлопотах отдавала дань современности — бутылью с аэрозолем, все остальные ее действия были по поводу прошлого... И чего это ей понадобилось прошлое?

Был, кажется, на свете какой-то гробовщик, который каждый вечер перед сном брал счеты, свечу, бумагу и карандаш и подсчитывал дневной приход-расход, все то, что он заработал, и все, что заработать мог бы, если бы от него не ушел выгодный заказчик, если бы он и сам постругал доски еще часок-другой. Таким образом, каждый день был для него убыточным, а за всю свою жизнь он потерял миллион в твердой валюте. Миллион — это все-таки жалко...

Вот и Антонина Петровна пыталась подсчитать свой миллион. Но что-то плохо у нее получалось, она никогда прежде не занималась счетоводством и бухгалтерией.

Сравнение действительно не бог весть как тактично, но ведь профессору Дроздову после всего того, что он только что пережил, и перед тем, что ему, быть может, еще предстояло пережить и пересмертить, многое стало позволительным.

Тоже бросая взгляд в прошлое, но только вполне реалистический взгляд, профессор Дроздов искренне мог утверждать, что он любил Тонечку неизменно. Любил такую, какая она есть. Но ее это не устраивало, она хотела, чтобы в ней любили еще и ту, которой в ней нет. Чуть ли не прежде всего любили именно ту! Вот где фантазия так фантазия! И странно, профессор Дроздов Алексей Алексеевич, обладая слишком богатым воображением, был в данном случае реалистом в самом точном смысле этого слова, а вот Антонина Петровна, женщина, безусловно, умная, но без воображения, подходила к вопросу сверх всякой меры фантастично! И если, бывало, профессор Дроздов с интересом относился к какой-нибудь такой женщине, которой в Тонечке — ну что тут поделаешь — нет и никогда не было, Тонечка была в обиде, да еще в какой! Не только за себя, а за справедливость в целом, приравнивая это к воровству и к ограблению, вообще к нарушению уголовного кодекса. Ну, да что тут говорить и думать, дело прошлое, оно во все-то времена было прошлым, потому что тянулось от самого Зевса, от истории Зевсовой личной и семейной жизни...

Что тут говорить, милое-милое земное существование давно уже было связано для него с Тонечкой, без нее он не мог себе и представить его. И если бы пришлось начинать все сначала, он бы все сначала и начал, а не как-то там по-другому. То есть с той самой встречи в тундре, в игрушечном домике радиостанции, когда в воздухе на огромных и прозрачных крыльях парила весна, когда он только что остался жить еще и еще на этой Земле, когда только что миновала огромная война и, миновав, преподнесла ему его дальнейшую жизнь.

Ну, а если уж перейти к современности, так вот что, Тонечка: устал профессор Дроздов, устал, да и только! И не мудрено: у Интеграла нет никаких органов, подверженных усталости, а все равно, как жалуется бедняга, света белого не видит!

И Тонечка тоже и несомненно устала — вырастила детей, в свое время почти что защитила кандидатскую диссертацию, на ее плечах весь дом — понятно!

Но вот в этом — в поисках потерь своей любви — она не устает, кажется, никогда. Может быть, потому, что никогда не знает, что же она все-таки любила — реального человека или свою любовь к нему? Которая была всегда больше, чем он, этот реальный человек?

И, не уставая в этом ни капельки, Антонина Петровна не до конца понимала, как устал муж оттого, что всю жизнь от него требовали, чтобы он был мужем, сыном, дедом, чтобы был отличным учеником и не менее отличным учителем, был примерным подчиненным и тоже примерным руководителем, был внимательным читателем и еще более внимательным автором, был исследователем, приятным собеседником, добрым знакомым таких-то лиц и покровителем таких-то, чтобы он обязательно был членом одного, другого и пятого добровольного общества, чтобы он был, был, был, был...

Он так много и разно был, так много был затребован по разным адресам и назначениям, что эта множественность перестала укладываться в его памяти, факты перестали отличаться от понятий, поэтому, вернее всего, ему и запомнились прежде всего те периоды, в которые он не столько жил-был, сколько переставал жить-быть, и вот все, что случилось с ним очень давно в тундре, он и знал, и помнил, а что было недавно, знал немного и не помнил почти совсем.

Может быть, это и к лучшему — когда не знает никто, тогда легче не знать об этом и самому. А не знать — это ведь неплохой выход из положения?

Никто никогда не спросил его, тем более никто не подсказал, а откуда он берет, откуда следует ему взять все необходимое для того, чтобы быть всем тем, чем он был?

Откуда же все-таки брал профессор Дроздов?

Из представлений, которыми он сам себя питал, из представлений о самом себе, что он хороший человек, обязательный, и поэтому должен беспрекословно выполнять все эти требования; из представлений и понятий обо всем окружающем, что он вполне вправе все это и даже больше этого требовать от него. А когда и этого бывало недостаточно, он брал что-то еще — и немало — от фантазии. Фантазия сама по себе ничего и никогда не требовала от него, должно быть, именно этим она снимала и требовательность к нему других, она готова была предоставить ему все что угодно без письменной заявки, а просто так, по устно-мысленному желанию, заранее

предполагая, будто профессор Дроздов не догадывается о том, что все, что дается в руки просто, когда-нибудь обязательно обернется против тебя, и не чем-нибудь, а именно своей доступностью и простотой...

И все-таки это недурно, не совсем дурно, что хотя бы в конце, а кто знает, может быть, и не в самом конце своего милого-милого земного существования он побывал-таки «вне» — непосредственно соприкоснулся с мировым движением, пообщался с мировым веществом и даже имел случай провозгласить здравицу в честь него, свел дальнейшее знакомство с разного рода никем не предусмотренными персонами, с Интегралом, например! А ведь это все придает профессору Дроздову небывалые качества или воскрешает в нем что-то давным-давно утерянное. Посуществовать в качестве собственного вещества, а больше ни в каком другом качестве — это кое-что!

С другой стороны, ему ведь вовсе не претит ММЗ — милое-милое земсуществование... А сокращенное обозначение вовсе не от пренебрежения, отнюдь, оно от искренней симпатии, оно как тут и было под самой рукой, потому что стоит лишь об этом существовании подумать, как рефлекторно появляется необходимость во всякого рода обозначениях, сокращениях, лаконизмах, символах.

«Ах, Тонечка, только не подумай, пожалуйста, будто мое ММЗ каким-то образом омрачено тобою! Ты и ММЗ — наиболее близкие аналоги, если уж не синонимы. Я уже говорил тебе,— если бы мне пришлось начинать все сначала, я бы, конечно, многое изменил, но только не тебя, Тонечка. И не потому, что ты — само совершенство, не надо лукавить, а потому, что боязно! А вдруг да сделаешь хуже? Себе же, в первую очередь, и сделаешь хуже, а не кому-то там другому! Потом будешь раскаиваться: зачем сделал? Нет уж, пусть ты останешься такой, какая есть. По крайней мере, я ни в чем не виноват!»

Конечно, всего не скажешь, но если бы говорить все, профессор Дроздов объяснил бы Тонечке, что именно она удерживала его на Земле, работала над его адаптацией в земных условиях, воспитывала его и, если бы не Тонечкино воспитание, вряд ли он устоял бы нынче против искушения поселиться на СГМ, созданной своими руками, на острове S в качестве Робинзона вместе с ученым Пятницей — Интегралом.

Она всегда утверждала его в желании жить на этом свете, и не просто так, а хорошо жить, и не просто хорошо, но жить хорошим... Хорошим, симпатичным человеком. Не бог весть как ей это удавалось, но ему-то было все равно неплохо.

Вообще, таково, наверное, назначение женщины — удерживать человеческий род в реальном и постоянном своей реальностью мире, это можно проследить хотя бы по ассортименту магазинов детских игрушек.

Игрушки для мальчиков никогда не остаются постоянными, они всегда в эволюции, всегда в конструировании, всегда последнее слово техники, в наши годы это автоматы, ракеты и космические корабли...

Игрушка для девочек — это выражение постоянства и даже консерватизма, это неизменная в течение веков и тысячелетий Кукла.

И девочка выражает в Кукле не свои фантазии и не события своего времени, а прежде всего себя, себя самое, свою, а не чужую жизнь. Кукла всегда бывает она, а не он, потому что, войдя в жизнь, девочка уже знает себя как причину жизни, и только много позже перед ней появится неигрушечная игрушка, воплощение и ее реальности, и ее фантазии — настоящий мальчик.

Так что Кукла — это якорь, которым человечество скреплено с самим собою, и, если бы не якоря такого рода, неизвестно, где бы и чем бы все мы сейчас были...

И тут, глядя на Тонечку, Дроздов предпринял шаг, быть может, самый мудрый и самый благородный из всех шагов, сделанных им когда-либо,— он мысленно вручил Тонечке Куклу...

Голубоглазую блондинку, очень похожую на ангелочка женского пола, переодетого из своего вполне естественного костюма с крылышками в современное пестрое платьице с широким поясом и двумя кармашками.

Дроздов вручил Тонечке этот ценный подарок силой своего воображения, так и не появившись на острове S, откуда-то со стороны, иначе он и не мог поступить, потому что не знал, где та страна, в которой он сам находится, но это не меняло дела.

Тонечка была счастлива, и Дроздов ничуть не опасался за ее счастье, не подозревал в нем никакого лукавства или подвоха, даже в том случае, если Кукла вдруг сделается большой, возьмет на руки Тонечку и будет ее баюкать... Ну и что?

Это ведь Кукла, а не какой-нибудь там Интеграл или Таракан, она найдет с Тонечкой не только общий, но и задушевный язык, они повздыхают об утерянном Тонечкой миллионе, они вместе посетуют на судьбу, не столько на свою, сколько, вероятнее всего, на все те передряги, которые выпали на его долю...

И вообще, вразрез с некоторыми романами и романистами Кукла — это очень серьезно, а чтобы не показаться голословным, Дроздов обдумал на этот счет и еще ряд доказательств, помимо тех, которые уже были у него.

Да, Куклу никогда не надо было изобретать, разве только одеть ее более или менее по моде. Во всем остальном на ней лежит печать самоизобретения, свойственного миру в целом, поэтому она не требует, чтобы к ней прикладывали конструкторскую мысль, разбирали и собирали ее по частям. Она всегда — целое.

Кукла всегда молода, несмотря на то, что она самая древняя на свете игрушка;

Кукла неизменно обладает гуманными интересами, она может побывать в театре или родить ребеночка, но, чтобы пойти на войну, участвовать в разгроме соседней квартиры, прыгать с крыши высотного дома, преследуя гангстеров, этого у нее нет, она не нуждается в подобном самоутверждении;

Кукла, если ей приходится худо, прежде всего зовет кого-нибудь на помощь, тем самым оберегая этого когонибудь от поступков, которые всегда рискуют быть негуманными;

Кукла никогда не позволяет той фантазии, которая есть она сама, сама по себе, со своими руками, ногами и глазками, пасть на колени перед фантазией вторичной, которую она может произвести в своей головке. Летит ли она в самолете к заграничной тетушке, плывет ли через океан, попадает ли в общество зверей, нянчит ли кого-нибудь или кто-нибудь нянчит ее, в гостях ли, дома ли — она всегда она, со своим собственным именем, со своим неизменным «я». Это не то что какой-нибудь плюшевый медведь или ванька-встанька, которые могут быть то добрыми, а то и злыми, могут кого-нибудь съесть или убить, могут быть самими собой, а могут представиться и кем-то другим в зависимости от обстоятельств и требований момента;

Кукла — это тот самый мир, который мы знаем, но который, кроме того, знает нас — наше отношение к не-

му, нашу уверенность в нем, наше взаимодействие с ним, мир, который нет необходимости в чем-либо обманывать;

Кукла — это величие бытия, его благородство, его вечная последовательность, разрушение которой и есть конец всего, всего человеческого.

«Милая Тонечка,— думал профессор Дроздов,— итак, я подарил тебе Куклу — владей! Если ты будешь владеть с искренним и глубоким пониманием, ты перенесешь все невзгоды, какие только могут быть, даже разлуку со мной... Поиграй, милая Тонечка, поиграй честно с единственно честной игрушкой, которая никогда не изменит мужу, детям, родителям или еще кому-нибудь, никогда не захочет сделаться врагом, сыщиком или разбойником, шпионом, предателем, бомбой, Тараканом, Интегралом, еще кем-нибудь или еще чем-нибудь... Вряд ли, Тонечка, на свете есть кто-либо бескорыстнее и надежнее, чем Кукла,— владей же ЕЮ!»

Удивительная метаморфоза представилась профессору Дроздову: Антонина Петровна, держась за спинку его кровати, смотрела ему в лицо.

Он заметил, что в руках у Тонечки при этом не было Куклы. Он очень пожалел: говори не говори, убеждай не убеждай, а люди — даже собственная жена — остаются глухими к тем истинам и ценностям, которые ты им пытаешься внушить, которые тебе самому дались с таким трудом...

Антонина Петровна внимательно смотрела в лицо мужа, твердо зная, что он тяжко болен, и не зная о нем ничего больше.

Он тоже понимал, что болен, но его тревожила вовсе не болезнь, а соображения о том, что за время болезни он слишком много узнал...

Если теперь силы вернутся к нему, он все равно не сумеет и не успеет рассказать обо всем, что он узнал, тем более не сумеют и не успеют понять его. Где уж там, если даже Антонина Петровна и та пренебрегла его настойчивым, со всех точек зрения обоснованным советом никогда не расставаться с Куклой.

Затем профессор Дроздов немножко простил Антонину Петровну: оказалось, что она не одна у его кровати. Ну, раз не одна, ей, конечно, неудобно было в при-

сутствии других иметь дело с Куклой. Предрассудок, а куда от него денешься?

Группируясь вокруг Антонины Петровны, здесь были медицинская сестра и врач, которого Дроздов почему-то и откуда-то знал, были сын Юрий и дочь Наташа.

«Дело-то вот какое,— подумал профессор,— неблизко Наташке ехать и непросто — маленький ребенок на руках,— но ее все-таки позвали... Вот какое дело...»

А ведь он им ничего не сможет передать, ни своему родному сыну, ни своей родной дочери, он умеет передать им не больше того, что передает студентам, то есть знания, но не опыт и не память...

— Оська! Оська!— позвал он, чтобы серьезно посоветоваться на этот счет с человеком практики и надежным реалистом, который к тому же ребенок и поэтому должен его понять.

Оська этот вот уже долгое время как девался куда-то.

Он все время должен был быть рядом, но почти все время его не было, он отсутствовал... Примерно так же, как отсутствовал в какой-то неизвестной стране сам Дроздов, когда смотрел на остров S и на Антонину Петровну, прогуливающуюся по острову с веничком в руке.

Однако же Оська превысил все нормативы самовольных отлучек.

«И не стыдно тебе, Оська? Ай-ай-ай-ай-ай!»

У Наташки волосы были уложены в неаккуратную прическу, довольно растрепанные, но красивые — ржаво-коричневого цвета... Этот цвет волос, кажется, вышел из моды, но Наташка твердо его придерживалась. И молодец, так и надо, всегда шел к ней этот цвет... Он и сейчас шел бы к ней еще больше, если бы она не напускала на себя такую строгость. Сколько из-за своей строгости Наташка мучилась еще девчонкой: напустит на себя строгость, и к ней никто не подходит, ни одна подружка, не говоря уже о мальчишках! Сколько мать переубеждала ее, разъясняла, ставила в пример Наташке Юрку, у которого рот всегда был до ушей...

— Оська? Ай-ай!

Солидная медицинская сестра записывала:

Температура 37,2° .

Пульс 52.

Кровяное давление 70—35.

Доктор сказал:

— Будем надеяться! Будем надеяться!

Над открытым морем сначала пронеслись резкие и громкие удары — что-то много раз слышанное... «В домино кто-то играет! В «козла»!» — догадался профессор Дроздов и ничуть не ошибся: в домино играли он сам и Оська.

Неплохо они устроились на верхней палубе своего белоснежного корабля, в тени, под тентом.

Неплохо шел и корабль, рассекая гладь моря, которому обязательно нужно было дать название Синего моря и которое, конечно же, называлось как-нибудь совсем не так — Оранжевым, Зеленым или Пестрым...

Вот и корабли — им тоже не повезло, как только их ни называют, какие имена им ни выдумывают, а ведь, наверное, среди них нет ни одного под названием «Белый», в то время как подавляющее большинство среди них именно белые... «Да,— вздохнул профессор Дроздов,— да-да, стесняемся реальности, отсюда используем фантазию далеко не по назначению. Заодно уводим себя от истинности предметов». Профессор Дроздов понимал нынче в вопросе ухода от действительности и даже болел за этот вопрос приблизительно так же, как доцент, кандидат медицинских наук, невропатолог Николай Константинович болеет за ленинградский «Зенит», хотя сам не ленинградец, а главное, никогда не считает эту команду способной занять первое место в розыгрыше чемпионата страны.

Это потому, что Николай Константинович — это святой нашего века и уж, во всяком случае,— толстовец, никак не менее!

Конечно, надо бы все-таки показаться Николаю Константиновичу, толстовцу-невропатологу, пожаловаться на плохой сон и еще на что-нибудь...

Он бы, конечно, понял профессора Дроздова.

А кроме Синего Моря и Белого Корабля, двигатели которого работали в ритме, напоминающем работу предсердий и желудочков, вокруг были еще прозрачно-голубая атмосфера и желтое, средних размеров солнце...

— Замешивай! — сказал Оска.— Замешивай, Олешка, мне с твоего замеса неизменно везет!

Дроздов перемешал на гладкой поверхности палубного столика тоже гладкие костяшки домино, и они начали новую игру...

— Зачем ты, Олешка, с самого начала тройку бил? А?— говорил Оська, сосредоточенно думая.— Не надо было с самого начала тройку бить... Нисколько не надо!

— Для меня все-таки самое главное, Оська, еще сколько-нибудь лет провести в кругу семьи и родного коллектива. Несколько лет, а там видно будет...

— А у меня с самого начала четыре дублета было!— ответил Оська.— И я бью пятерку! Вот так! А твое предложение, Олешка, надо провентилировать. Без вентиляции нельзя! Потому что семейный круг и родной коллектив — это серьезно!

— Надо!— согласился профессор Дроздов.— Я думаю, товарищ Боцманов поддержит. Местком будет «за». Главк —«за» тоже. К заму обращаться не будем, не его компетенция. Ректорат...

— По линии ректората вполне может случиться тайное голосование!— заметил Оська.— Вот я вышел в дамки! А вот я закрыл тебя пустышками. И справа и также слева!

— А можно сделать голосование открытым,— заметил профессор Дроздов.— Процедурный вопрос — это тоже серьезно и для этого есть ученые секретари. Пусть ученый секретарь подумает.

— Еще есть медицина,— напомнил Оська.— Она что скажет?

— Сделать она не все сделает,— пояснил Оське Дроздов,— зато сказать может все. В том числе и то, что нужно... Кто же у нас опять заходчик?— поинтересовался он, поскольку партия снова была им проиграна.

— Заходчик я. А замешивай ты, мне с твоего замеса неизменно везет.

Замесили, начали новую, и Оська спросил по существу:

— Сам что скажешь, Олешка? Скажи что-нибудь насчет Куклы? А?

Значит, Оська видел все, что происходило на острове S, хотя он там и отсутствовал. Профессор отчасти смутился.

— В щелку подглядывал?— спросил он Оську.

— Просто так видел. Благодаря пространству. Только не с той стороны, с которой был ты, а совсем с другой.

— Пожилой женщине родной человек преподносит Куклу! Какая тут может быть дальновидность?

— Я хожу с пятерки, а почему ты отпираешься от своей дальновидности? Тем более — от своей собственной фантазии?

«Уж этот Оська, этот Оська! Греха с ним не оберешься!»

— Хожу с тройки. Вот так!

Потом Оська объявил, что он прошел в дамки. Что такое дамка в шашках, профессор Дроздов знал совсем твердо, и что она такое в домино, тоже твердо, но не совсем, однако он не стал это выяснять...

— Уж если на то пошло, я бы, Оська, во-первых, вдвое сократил тиражи научно-фантастической литературы. Во-вторых, в один и пять десятых уменьшил гонорары за печатный лист фантастам. Конечно, собственная фантазия спасла меня в тундре, только благодаря ей я в тот раз дождался тебя. Но, с другой стороны, я ведь знаю по собственному опыту — каждое дело надо лимитировать! Тем более фантастику! И фантазию!

— Замешивай, Олешка,— сказал Оська.— Дело в том, что мне с твоего замеса везет неизменно... А ты знаешь, на месте, где я тебя нашел в тундре, теперь совсем другое — станция перекачки. Стоит и все время качает нефть. Без перерыва.

— Да?— только и спросил профессор, потому что был очень удивлен Оськиным реализмом и полным отсутствием в нем фантазии. Просто факт: стоит и качает.

— Стоит и качает,— подтвердил Оська.— А где мы с тобой после ехали, чтобы сдавать рыбу на рыбозавод и отовариваться в магазине, по той линии идет и тянется трубопровод. Из железа.

Окунувшись — и не раз — с ног до головы в фантазию, затем сделав в ее адрес недвусмысленные замечания, профессор Дроздов теперь не совсем обычным образом ориентировался среди реальностей. Он теперь знал, что бытующий мир лежит среди небытия. И почему мы об этом то и дело забываем, даже странно! Вот он лежит, словно таблетка, завернутая неопытной рукой ученицы из фармацевтического училища в прозрачную целлофановую обертку. Немного чьего-нибудь усилия, немного того или иного случая, и обертка развернется, и ее содержимое растворится во всем том, что уже не она, а просто-напросто ничто. Профессор об этом нынче вспомнил с исключительной отчетливостью.

Тихая и объективная грусть охватила профессора, и он очень пожалел о том, что излишне горячился

в разных спорах и дискуссиях — с Интегралом, с Тараканом,— а когда-то еще раньше придавал такое большое значение постройке стеклометаллического купола в тундре и всему тому, что затем под этим куполом происходило... Стрела Времени, Круг Времени, еще что-то в том же роде... А, собственно, в чем вопрос? В том, что одно бытие переходит в другое, что человек, к примеру, становится не человеком, а обычным органическим веществом — не более того, затем органическое вещество переходит в минеральные частицы, минеральные частицы — в частицы элементов и т. д. Только-то и всего!

Сейчас совсем другое дело, сейчас профессор Дроздов ощущал непосредственную близость такого «ничего», о котором нельзя сказать ни слова, нельзя что-нибудь подумать, нельзя сформулировать в каком-либо законе, в котором нет ни начала, ни конца, ни, тем более, какого-нибудь Круга или хотя бы Кружочка... Нет ни органического, ни неорганического вещества. В котором элементарное вещество — полная невероятность; в котором нет ни закона, ни случая; ни частиц, ни античастиц; ни плюса, ни минуса. Нет даже нуля. Кажется, нет и бесконечности.

«То-то,— вспоминал профессор Дроздов,— тогда, в тундре, и под стеклометаллическим куполом, и в палатке объемом 0,8276875 кубических метра, я все время ощущал какую-то и в чем-то недоговоренность! Вот и правильно, что ощущал: покуда я говорю и думаю о чем-либо, я обязательно подразумеваю недоговоренность. И правильно делаю. Понял договоренность — это же и есть то самое ничто, о котором уже нечего ни сказать, ни подумать... Это Зона Полной Договоренности, сокращенно ЗПД... Конечно, обозначать словом «зона» ничто и ничего — нелогично, однако, обладая одними только планетарными представлениями, ничего другого не придумаешь... Уж не поблизости ли к ней, к этой условно обозначенной Зоне, был профессор,— подумал о себе в третьем лице Дроздов,— когда он с интересом наблюдал откуда-то со стороны за Антониной Петровной во время ее пребывания на острове S?»

Затем Дроздов построил очередную логическую схему и пришел к выводу, что ощущение почти непосредственной близости ЗПД явилось результатом не столько пережитой им жизни, сколько, опять-таки, пережитых смертей № 1, № 2, № 3, а также смертей 3+n, которые одна за другой, войдя в его обиход, делали свое дело не-

заметно, по-будничному, без крика-шума. Без банкетов и фейерверков. Держались скромно и даже не требовали присвоения им индивидуальных номеров или еще каких-то знаков различий, а тем временем отбрасывали Дроздова значительно дальше тех далеких рубежей, на которых он так или иначе, а уже успел побывать, ну хотя бы в качестве амебы.

В свое время, общаясь с веществом, профессор Дроздов имел возможность провозгласить в его честь здравицу («Да здравствует мировое вещество! Ура!!!»), но в чью честь в случае даже самой крайней необходимости он мог бы провозгласить здравицу теперь, было совершенно неясно... «Да здравствует ничто!»?

Вот какая философия...

Тем временем Оська подсчитывал проигрыш Дроздова и свой выигрыш, суммируя записи, которые он делал тоненьким карандашиком прямо на поверхности белого палубного столика после каждой партии:

— Пятьдесят четыре да семнадцать — равно семьдесят один; семьдесят один да одиннадцать — равно восемьдесят два, восемьдесят два да обратно одиннадцать — равно девяносто три да...

Прислушиваясь к счету и всматриваясь в давным-давно знакомое и смуглое лицо этого мальчика, на лбу которого под меховой шапкой поблескивали маленькие капельки пота, профессор Дроздов имел в виду такую мысль, после которой, казалось, больше уже ни о чем не захочется и не о чем будет думать...

«За последнее время представление о реальном стало для меня шире, а главное, реальнее,— развертывалась эта мысль.— Еще недавно реальное было для меня обязательно чем-то и среди этого чего-то, по большей части предметного либо исходящего от предметов, лишь иногда встречалось ничто, встречалось так же редко, как нуль среди множества самых различных значащих цифр и величин. Сейчас совсем другое дело. Сейчас реальность для меня — это прежде всего ЗПД, конкретное и безусловное ничто, которое лишь кое-где и условно становится чем-то, какими-то расстояниями и предметами... Становится благодаря тому, что в него включены крупинки галактик, Вселенной, Земли и ее спутника Луны».

Он еще подумал о значимых точках незначимого мира и спросил у Оськи.

— А трубопровод из железа?

— Из железа! — подтвердил Оська.— Сто семнадцать да двадцать один — равно сто тридцать восемь, сто тридцать восемь да...

— А станция перекачки блестит?

— Сто тридцать восемь да четыре — равно сто сорок два... Лужа около нее большая и нефтяная. И блестит летом... а также и зимой,— ответил Оська.— Она и зимой ничуть не замерзает, та лужа.

Оська ведь любил отвечать на вопросы обстоятельно и с подробностями «от себя», такая у него была привычка. Иногда он тут же спрашивал о чем-нибудь. Теперь он тоже спросил:

— Тебе это интересно, Олешка? Или как?

— Мне интересно, Осип! Очень!

— Так и знал! Если ты где-нибудь начал погибать, но не погиб, остался живой, а теперь на том самом месте стоит и качает станция перекачки, так ты как будто бы ее сам строил, и она как будто бы только из-за тебя стоит и качает! Как бы не твой ударный труд, ее бы как будто и совсем не было. Если бы ты не погибал на том самом месте, ее тоже не было бы! Поэтому тебе и охота получить за нее Почетную грамоту!

Как странно, профессор Дроздов действительно очень хотел получить Почетную грамоту, хотел, несмотря на то, что это не совсем согласовывалось с гармонией, в которую он только что почти погрузился, ощущая свое приближение к ЗПД, ощущая ее во всем — в прозрачных красках моря и неба, а главное, в самом себе, эту самую Зону Полной Договоренности. Ничто, в котором Что-то — это самые крохотные,— самые невероятные частицы.

Вот он погрузился бы в нее весь, в эту Зону, без растворимого и нерастворимого осадка, и это была бы безупречная гармония, красота всех красот, точность всех точностей, совпадение всех совпадений, высшая мудрость и тоже высшее искусство, идеал!

Идеал, если бы только она, эта гармония, избежала общей беды нашего века — она опоздала.

Пустяки, на одну-другую минуту только.

Ей бы прийти чуть раньше, до того, как Оська стал рассказывать о станции перекачки, и до того, как он намекнул на Почетную грамоту, и, наконец, до того, как начал подсчитывать свой выигрыш... Неужели профессор Дроздов в самом деле ухитрился так много проиграть в «козла»? А ведь если ухитрился проиграть, зна-

чит, он играл, и даже непосредственная близость великой гармонии не помешала ему в этом занятии? Интересно!

— А трубопровод,— спросил он еще раз у Оськи,— из железа?

— Из железа!— подтвердил Оська, а от себя добавил:— Круглый! Вот такой!

Стало совсем ясно, каким был трубопровод. Стал отчетливее и облик станции перекачки, за которую профессору Дроздову хотелось бы получить Почетную грамоту, а может быть, «Знак Почета». Которую, ему показалось, он мог бы погладить, обнять, а может, и крепко расцеловать.

— Теперь заходчик я!— с необычной для себя торопливостью объявил Дроздов.— Замесить?

— Замешивай!— согласился Оська.— Мне с твоего замеса неизменно везет, Олешка!

Только успели замесить новую партию, как в море показалась проходная будка.

Семафоры над указателями «В зону...» и «В зону за пределы зоны НИИНАУЗЕМСа» не горели — ни красный, ни зеленый, ни желтый, никакой — и только в окошечке будки слегка мерцал огонек, должно быть, Адриан Самсонович как зажег свечу со вчерашнего вечера, так и просидел всю ночь и почти весь нынешний день, углубившись в подсчеты своего стажа с учетом коэффициента 1,29 за вредность производства.

Щит, на котором были изложены «Правила оформления и предъявления пропусков», стоял неподвижно, как вкопанный. Такой был в море штиль, что движение Белого Корабля ничуть не колебало Синего Моря, корабль шел, а волн вокруг него не было ни одной.

И так же ни одной волны, ни одного звука не производил и другой белый корабль, который неожиданно показался справа по ходу...

Теперь в Синем Море в районе проходной будки было уже два белых корабля, как отражения какого-то третьего, отсутствующего в этом штилевом пространстве, но вполне реального...

И палубы, и флаги над клотиками, и сами клотики — все было зеркальным отражением того третьего корабля, которого нигде не было видно, и флаги колебались как один, и тени и отображения кораблей в синей поверхности моря повторялись с такой точностью, слов-

но они были отпечатаны на фабрике Гознака способом автотипии...

Только спустя некоторое время в этих отражениях стали заметны различия — на корабле, шедшем встречным курсом, появились люди...

В бинокль, который Оська тотчас одолжил Дроздову, стал заметен блеск золота и серебра — это был духовой оркестр, который размещался на капитанском мостике и тотчас начал производить там пока что не очень оглушительный шум и треск.

По верхней палубе товарищ Боцманов толкал впереди себя трибуну, а в ногу с ним шла его секретарша и несла ножницы, предназначенные для перерезания бумажных ленточек при открытии вернисажей и Дворцов бракосочетаний.

По нижней — коллектив среднего размера двигал банкетный стол, сервированный на несколько десятков персон, и соответствующее количество стульев с ярко-красной обивкой.

На носу корабля под огромным зонтом все еще продолжала свое загорание комиссия по проверке работы НИИНАУЗЕМСа: трое довольно тщедушных мужчин, три довольно полные дамы и шесть туго набитых чемоданчиков.

На корме помещался лежак товарища Боцманова с таблицей, отпечатанной типографским способом: «ЗАНЯТО».

Итак, предстояли торжества по поводу официального открытия острова S.

Оська, который тоже внимательно рассматривал встречный корабль невооруженным глазом, все равно увидел все, а увидев, спросил Дроздова:

— Может быть, пересядешь? Туда? Там, на большом столе, почти что рядом с председательским местом, три ложки, три вилки, три ножа, три тарелки и две перечницы. Это, я думаю, для тебя накрыто?

Дроздов пересаживаться отказался и спросил:

— Ведь они нас не замечают? Нет?

— Им сильно некогда вокруг себя замечать!— ответил Оська.— Они очень занятые сами по себе!

— Они догадаются, что мы уже были на острове? Догадаются, а тогда могут последовать неприятности?! Получится, что мы без них уже открыли остров!

— Если ты, Олешка, не проболтаешься в каких-нибудь печатных трудах либо тоже на каком-нибудь меж-

дународном симпозиуме, никто и никогда этого не узнает. На меня можешь положиться. Точно!

Встречный корабль, побрякивая оркестром, удалялся, Синее Море и голубая атмосфера по-прежнему были безмолвны и спокойны, ощущая свою непосредственную близость к Зоне Полной Договоренности...

Было тихо...

Тихо молчал профессор Алексей Дроздов, и Осип ıисими молчал тоже.

И, пережив наконец эту тишину, профессор спросил:

— Оська?

— Ну?

— А сколько я тебе проиграл? В итоге?

— Одну тысячу двести тридцать четыре...

— Не может быть?!

— Честное слово!

«Одна тысяча двести тридцать четыре, одна тысяча двести тридцать четыре, одна тысяча...» — повторял мысленно профессор.

— Послушай, Оська, одна тысяча двести тридцать четыре — чего?

— Чего это — чего?— не понял Оська.

— Я спрашиваю: одна тысяча двести тридцать четыре каких единиц? Может быть, рублей? Копеек? Динаров? Килограммов? Печатных страниц? Авторских листов? Квадратных метров жилой площади? Правил какой-нибудь инструкции? Параграфов научного труда? Часов свободного времени? Выходных дней? Километров бесплатного проезда по туристической путевке? Тонн супергрунтовой массы, сокращенно СГМ? Метров рулонной типографской бумаги? Банкет на одну тысячу двести тридцать четыре персоны?

Все время, покуда Дроздов перечислял возможные варианты своего проигрыша, Оська отрицательно мотал головой — нет, нет и нет! Потом он потер левой рукой свой шейный позвонок и сказал:

— Одна тысяча двести тридцать четыре, и больше ничего. Ни рублей, ни динаров и ни километров. Просто так.

— Ведь это же мой долг, Оська. Ведь я должен его чем-то возвращать. Я проиграл, значит, я играл. За любую игру надо платить... Чем-нибудь, но надо!

— Ну, чем с тебя возьмешь, правда что, Олешка? Какими бы, придумать, единицами?— стал соображать Оська.— Запишем на тебя долг — одну тысячу двести

тридцать четыре, а больше ничего. Ты ведь не боишься, когда на тебя что-нибудь записано, а больше ничего?

В ответ Дроздов с чувством пожал Оське руки — сначала одну, потом другую,— погладил на нем шапку, повесил ему на шею бинокль, который недавно взял у него, поиграл блестящей пуговицей с якорем на Оськиной тужурке...

В то же время он вспоминал гробовщика, который каждый вечер подсчитывал, сколько бы он мог получить, если бы жил и работал не так, как он жил и работал... Который насчитал таким образом один миллион собственных убытков.

«Не так уж это плохо,— подумал профессор Дроздов,— жить в сознании, что в этой жизни ты сумел потерять миллион... И даже одна тысяча двести тридцать четыре чего-нибудь — это тоже кое-что... Не так уж это плохо!»

Белый Корабль пошел быстрее, чуть-чуть волнуя Синее Море.

С больничной этажерки, слегка покачиваясь, свешивалась газета, и первое, что увидел Дроздов,— портрет человека в меховой шапке со сварочным аппаратом в руках.

— Кто?— спросил Дроздов.

— Алеша!— испуганно и тихо ответила Антонина Петровна.

— Кто?

— Алешенька, о чем ты? О ком? Але...

— Кто?— добивался Дроздов и добился своего.

— Это, Алешенька, электросварщик какой-то... Сейчас посмотрю... Прочитаю... Он очень далеко на севере. Это электросварщик Питими Осип...

— Не Питими, а Писими!— поправил Дроздов.— Здесь опечатка.

— Пи-ти-ми — так напечатано!

— Пи-си-ми! Я знаю — опечатка. Разве опечаток не бывает?! Ах, Тонечка, если бы ты знала, какие случаются опечатки! Однажды я держал в собственных руках две газеты на одном листе! Они печатались в одной типографии, и случилось так, что с одной стороны листа была напечатана полоса «Литературной газеты», а на другой — «Литературы и жизни». Так то — «Литература» и Жизнь! А если — просто жизнь?! Впрочем, без

опечаток не бывает ничего, тем не менее все существует. Лишь бы опечатки не были фантастическими! Лишь бы!

— Лишь бы! — охотно согласилась Антонина Петровна.

В палате были и еще люди.

Юрий, Наташка. Молоденькая медсестра-брюнеточка с пудреницей в кармашке халата.

Дроздов посмотрел в окно: ему надо было увидеть мир.

Весны на прозрачных крыльях, которую он видел однажды в тундре, он не заметил, ее не было. Но Синее Небо, похожее на Синее Море,— было, и облака, удивительно похожие на Белые Корабли,— были тоже.

Потом открылась дверь и вошел доктор.

— Будем...— сказал он.

И посмотрел в лицо профессора Дроздова Алексея Алексеевича.

Новосибирск — Москва
1973

САННЫЙ ПУТЬ

Речки были разные: с узкими и широкими долинами, с открытыми и залесенными берегами, каждая со своим рисунком правого и левого берега, каждая со своим ледяным покровом — то ровным и гладким, то покрытым зубчатыми торосами... Вся местность вокруг, на юг и север, на восток и запад, была рассечена речками и ручьями, все речки и ручьи, поблуждав по местности, находили путь только на восток, к огромной реке, называемой Енисеем, впадали в нее, и та, подхватив их воды, тоже скрытно, тоже под толщей льда неслышно несла громадную и общую ношу в океан. В пространствах между реками, то больше, то меньше возвышенных, стоял повсюду лес, в один ярус, без подроста, без кустарника и без бурелома, ровный, как будто возникший в одно мгновение.

Каждое дерево этого безмолвного и удивительного леса и весь он в целом были исполнены в трех разных красках: к комлям и на высоту два-три метра — землисто-серой, затем — красной и красно-желтой, причем с высотою желтизна становилась преобладающей, она была легкой, лукавой, трогательно-нежной. В суровом и холодном воздухе устойчивой зимы она была похожей на яичный желток, на хрупкую скорлупу пасхального яичка, а кроны густо были окутаны ворсистой хвойной шерстью, почти непроницаемой в своей зелени, сквозь которую только очень слабо проступал узор причудливых древесных ветвей все той же легкой желтизны.

Изредка лес прерывался открытыми полянами с блестящим чистым и, казалось, чуть влажным снегом, толь-

ко по опушкам, запорошенным опавшей с деревьев хвоей, потом он продолжался и продолжался снова всеми тремя неизменными красками — землисто-серой, желтой и зеленой.

Над лесом колыхалось обесцвеченное небо, туманное и зыбкое, а где-то в глубине его светило почти невидимое солнце.

Если бы все это, весь пейзаж показать в кино,— наверное, ничего бы не показалось, не хватило бы глубины и перспективы самого современного и широкого экрана. Пейзаж этот недостаточно было видеть со стороны — в нем надо было чувствовать себя, себя, окруженного им повсюду, со всех сторон...

Удивляясь своей поездке, Иванов, запорошенный инеем, плотно завернутый в тулуп, в шарф и в шапку, ехал третий день через этот лес, через эти речки и, кажется даже, через это небо, путь его приближался к концу, ему это было уже все равно — в памяти один за другим возникали другие, давно и недавно минувшие санные пути...

Самым давним, самым детским, но вовсе не самым отдаленным было воспоминание о том, как ему хотелось обнять, прижать к себе и надолго оставить при себе почти такой же, как и сейчас, морозный воздух, который просачивался под воротник его тулупа из огромной зимней степи... Он был сладким и сытным, тот воздух, крохотному Иванову хотелось облизать его и закапать своими слезами, нужно было это сделать, но уже тогда какое-то «нельзя» мешало ему, и в недоумении от этих «нужно» и «нельзя» он лежал в санях неподвижно и как бы скрытно от всего на свете, а сани скрипели и везли его по степи от одного черного окаменевшего под снежной шапкой стога сена к другому, тоже черному и окаменевшему.

Когда он выглядывал из тулупа в степь, и стога тоже сейчас же выглядывали из-под своих огромных снежных, степных шапок-малахаев, как будто зная о многом очень многое, желая что-то объяснить маленькому Иванову, но ни о чем не умея подать ни одного слова...

Еще Иванов почти все время видел сильный, блестящий лошадиный круп, а иногда — крутую, высокую узорную дугу... Он думал о том, что на лошадиных ногах, на каждой из четырех, тоже есть почти такая же, но только маленькая и железная дуга. И вот ему начинало казаться, что лошадь запряжена не в дугу, а

в большую серебряную подкову, а потом, что эта подкова уже не подкова, а серебряная арка-ворота, и лошади обязательно нужно промчаться сквозь них, но они ведь, эти ворота, мчатся вместе с лошадью, и вот лошадиный бег становится бесконечностью.

Подковы — дуги; дуги — подковы, серебряные ворота — что-то он думал об этом напряженно и очень глубоко, как об открытии, но теперь уже не знал, что же все-таки он тогда думал...

Откуда и куда была поездка, он тоже хотел вспомнить за свою жизнь не один раз, но так и не вспомнил ни разу, теперь же был счастлив, что не вспомнил этого. Откуда, куда, зачем, почему, когда, кто — совершенно отсутствовали в этом воспоминании, просто это было детство, завернутое в теплый бараний тулуп, уложенное в сани на охапку сена и движимое туда, где он должен был родиться еще раз повзрослевшим человеком.

Теперь же он вспоминал себя тогдашнего, еще не рожденного окончательно, ощущая небольшую боль от ударов не этих, а тех саней, слушая не этот, а тот скрип санных полозьев, вглядываясь не в это, а в то небо...

Как будто бы сразу вслед за тем наступало для него другое время; ночь и лес, только совсем не такой, как нынешний,— редкий, неровный, в котором причудливые тени деревьев с трудом можно было отличить от самих деревьев.

Луна была тогда красной, высокой, освещая землю, она делала небо черным и тоже высоким, дорогой был один-единственный санный след, по большей части запорошенный снегом и даже затянутый снежным настом; когда луна все-таки показывала этот след, возница подтверждал, что они едут правильно и что, бог даст, правильно доедут, нисколько не заблудившись, и они действительно достигли тогда небольшой, без подворья, избушки на окраине села, в которой жил уже немолодой, заросший волосами и глуховатый человек — он строил в окрестных селах колодцы и простейшие, в одну нитку, тупиковые водопроводы.

Он был тронут своим занятием, этот человек, тронут и как бы даже подавлен им на всю жизнь, так что мир заключался для него прежде всего в этих колодцах и водопроводах, а все остальное на свете имело смысл лишь постольку, поскольку или содействовало, или противодействовало его строительству.

В течение всей оставшейся ночи этот человек не дал

Иванову сомкнуть глаз, объясняя все о колодцах и водопроводах.

И хотя Иванов был тогда техником, хотя он приехал к этому человеку по его делу и по его просьбе, он готов был просить его о пощаде, молить, чтобы тот замолчал хотя бы на час-другой.

Колодезник не замолкал, а Иванов пытался не слушать его, восстанавливая перед глазами только что минувшую дорогу: деревья и тени деревьев, ярко-красную луну, санный след, еще что-нибудь, какие-то подробности пути.

Многочисленная семья, населявшая избу, спала крепким, беспокойным сном, детишки храпели на полу и на полатях, на печи без конца бормотал старческий голос, жена колодезника, полуодетая, несколько раз вставала с кровати и, не просыпаясь, не замечая приезжих, ничего не замечая и не слыша, что-то делала с глиняной квашней, из одной посуды в другую переливала воду, а потом ложилась, почти падала в кровать снова.

Так настал рассвет, и только что настал, хозяин вышел из своей избы, запряг игреневую лошадку в разбитый коробок, усадил в него тоже разбитого бессонной ночью Иванова, и они поехали по окрестным селам, чтобы заглядывать в темные отверстия колодцев, подниматься по жиденьким и тоже темным лестницам на водонапорные башни и говорить о том, как будут счастливы люди, когда земля вокруг них покроется колодцами и водопроводами.

Уже на памяти Иванова жилая земля в основном покрылась ими, но что-то незаметно было, чтобы люди стали счастливее, однако же всякий раз, когда кто-нибудь говорил при нем о мечте, об одержимости мечтою, в сознании его снова и снова возникали глуховатый колодезник и дорога — зимняя и лунная,— которая привела его к нему.

Еще вспомнилась одна дорога — длинная-длинная, на почтовых лошадях, из небольшого заполярного городка в большой, тоже северный город областного значения. Это была даже не дорога, а совершенно обособленное от всей остальной его жизни пространство, в котором он когда-то существовал. Не имело никакого значения, когда это было — давно или недавно, каким он был тогда человеком — юношей или уже пожилым отцом семейства, какими событиями был в ту пору наполнен мир — тоже не имело значения, ведь все, что про-

истекало тогда, проистекало из времени, он же находился только в пространстве. Когда в последний раз в жизни он станет вспоминать свою жизнь, он опять не вспомнит времени этой дороги, а только ее километровые столбы и ее протяжение, рассекаемое на части буранами и все-таки целое, с редкими пунктами почтовых отделений, в которые он входил на оцепеневших ногах с задних дверей, со стороны захламленных дворов и не убранных от снега деревянных крылечек, входил как чей-то груз, прописанный в почтовой накладной, в тесной компании серых почтовых мешков под сургучными печатями...

Он и совсем не смог бы восстановить в памяти эту жизнь, понять ее и как-то — плохо ли, хорошо ли — к ней отнестись, если бы она сама по себе не позаботилась об этом — когда в один прекрасный и весенний день человек улетел в космос, Иванов долго думал, откуда ему известно состояние первого в мире космонавта, известна и та протяженность, в которой космонавт существовал, и наконец понял: санный путь на почтовых дал ему это понятие.

Тогда это было для Иванова случайным путешествием, которое возникло только потому, что начинал таять снег, и самолеты не могли приземлиться на летное поле небольшого полярного городка ни на лыжах, ни на колесах, и вот тягостный перерыв между гулкими воздушными рейсами заполнили скрипучие санные перегоны.

Со временем случайность этого пути исчезла, и тогда Иванов стал воспринимать его как что-то совершенно необходимое для себя и своей биографии, как что-то незаменимое ничем другим.

Был, однако же, у него и еще один, пожалуй, самый короткий и самый пронзительный санный путь...

Тоже весной, и тоже начинал уже таять и еще больше темнеть снег на улицах районного городка, когда Иванов выскочил не то из третьего, не то из четвертого класса деревянной школы — в точности он теперь не помнил, из какого именно,— и, волоча за собой ранец, в неизъяснимом восторге и желании бросился догонять порожний обоз.

Это был мальчишеский почти что закон: уцепиться за чьи-нибудь сани и хотя бы несколько шагов, хотя бы волочась по снегу на животе, податься по дороге вперед... Возвращаться домой без этого, своим обычным и собственным ходом было для мальчишек немыслимо,

позорно, невероятно скучно, и вот они подолгу простаивали на перекрестках улиц в ожидании благоприятного случая либо уезжали с горя в любую сторону, лишь бы только подсесть и ехать куда-нибудь, а потом долго и медленно, уже в темноте и в хандре, плелись обратно к дому.

И было непонятно, почему взрослые вступали по этому поводу в жестокую войну с мальчишками, заметив противника на перекрестке улиц, начинали хлестать лошадей, чтобы скрыться как можно скорее и без потерь; если же мальчишкам и тут удавалось подсесть,— взрослые старались их поймать, побить, отнять у них шапки и книжки.

Только редкий какой-нибудь старик, перед концом жизни снова приблизившийся к ее началу, к детству,— относился к мальчишкам с понятием, делал рукавицей знак мира и солидарности, и тогда мальчишки, пьяные от счастья, подсаживались на порожнюю и ехали куда-нибудь, все равно куда, молча и сосредоточенно разглядывая знакомые улицы своего городка с высоты ездового положения.

В этот раз мира не было...

Бесконечно длинный обоз шел порожним: лошадь, привязанная к саням, сани, снова лошадь, снова порожние сани, и так покуда хватал глаз, и только в каждых третьих или четвертых санях виднелся какой-нибудь тулуп — черный, то есть совсем еще новый, порыжевший или уже позеленевший от времени. Людей в тулупах трудно было заметить — тулупы ехали и погоняли лошадей как будто сами по себе.

Обоз двигался по пути Иванова — в сторону его дома, и тот прямо из школьных дверей бросился наперерез, а возница в зеленом тулупе, заметив этот откровенный маневр, вскочил в рост и, дико взревев, стегнул свою лошадь.

Лошадь рванулась вперед, и три следующие и связанные с нею в одну цепочку рванулись тоже, и мальчишка, только что кинувшийся в средние сани, от внезапного толчка вылетел из них на дорогу, под ноги следующей лошади...

В тот же миг он увидел прямо над собою, над своими глазами, блестящий полукруг подковы с двумя шипами по краям, между лошадиными ногами ему мелькнуло небо, он успел понять, что все это — в последний раз, что больше никогда и ничего уже не промелькнет

перед ним, но тут же он услышал не свой, а чей-то чужой треск, что-то ломалось рядом с ним, но только не он, что-то хрипело, билось о землю и стонало.

Когда он вскочил на ноги, лошадь, с порванной уздой, с окровавленной губой, лежала на сломанной оглобле, другая оглобля, целая, была у нее на брюхе, два ее копыта, вздернутые вверх, блестели подковами, а голова была откинута назад, и откуда-то не из себя, а со стороны, взглядом помутневшим, скорбным и виноватым она глядела на возницу, который, волоча за собою зеленый тулуп и тоже задыхаясь, бежал к ней, чтобы бить ее.

С неимоверной быстротой мальчишка бежал прочь от места, на котором он должен был умереть, прочь от жуткого непонимания, которое преследовало его.

Он плакал, не понимая, почему лошадь сделала все, чтобы не убить его, а человек тоже сделал все, чтобы его убить, и теперь жестоко мстит лошади за свою неудачу.

Он знал, что не поймет этого никогда, даже если станет бессмертным и самым умным на свете человеком, и бежал все быстрее, пока не опрокинулся в твердый сугроб, умереть в котором было почему-то еще ужаснее, чем под копытами лошади.

Он хотел плакать долго-долго и жалобно, как девчонка, но слезы вдруг кончились, потому что он спросил себя: «А зачем же мальчишки становятся мужчинами? Дети — взрослыми людьми?»

Самый короткий санный путь — всего несколько шагов — был самым трудным и ужасным, однако же опыт этого пути остался с ним и однажды спас его...

Под Новгородом, в ночном сумраке, его батальон погрузился в санный обоз и двинулся в объезд какой-то вражеской позиции, негустым лесом, не то хвойным, не то лиственным — он почему-то не запомнил.

Не очень глубокий, да и не очень ответственный рейд подходил к концу, стало уже светло, как вдруг огонь сразу же, без пристрелки, накрыл растянувшийся обоз. Или это была прямая наводка, или противник заранее пристрелялся, но только подводы одна за другой стали рваться на мелкие части — на деревянные обрубки саней, на копыта, на хомуты, на руки в зеленых рукавицах и на ноги в белых валенках, забрызганных красным, на вещмешки и осколки винтовок.

Иванову показалось, будто таким образом обоз, в котором он ехал, стреляет по невидимому врагу...

Не сразу он догадался тогда, что это и есть война, что это не лошади и не сани выстреливают собою во врага, а враг стреляет по лошадям, саням и людям, чтобы убить их навсегда.

Впереди по дороге был небольшой лес, то, что в Сибири называют колком, и в этот колок устремился весь обоз.

В санях, на которых ехал Иванов — младший лейтенант, только накануне прибывший в маршевой роте на фронт, кроме него, были еще пожилой сержант и трое солдат, сержант правил лошадью, и, когда огонь накрыл обоз, он стал бить ее прикладом винтовки, Иванов же ударил сержанта и, свалив его в сани рядом с собой, вырвал у него вожжи. Лошадь в это время круто стояла на дыбах, из последних сил сопротивляясь тому рывку вперед, в который толкали ее страшные удары прикладом, но, почувствовав, что ее никто больше не толкает, она прыгнула в сторону и поволокла сани по глубокому снегу в кусты, а через кусты в неглубокий, но крутой овражек, в который она сразу же упала и, кажется, задохнулась там.

Они же, пятеро, кинулись по овражку вниз и остались живы... Живы были люди еще с двух или трех подвод, которые замыкали обоз далеко позади, и это было все, что осталось тогда от батальона...

Вспомнив наконец все свои санные пути, Иванов стал чувствовать и тот путь, которым он ехал нынче.

Вокруг все было так, как должно было быть.

Сани покачивались под ним, в борта саней неторопливыми волнами ударял снег, лошадь бежала рысцой, чуть покачиваясь в стороны, и бег ее был тем самым бегом, с которого, заранее подсмотрев ответ, изобретатели списали свои задачи, создавая велосипеды и паровозы, автомобили, тракторы и танки...

Все было, как и должно быть в пейзаже с ровным красноствольным лесом без подроста, который лесники не совсем естественно называют «естественным парковым насаждением»; все было, как и должно быть в тех четких рисунках понижений, на дне которых, под льдом и снегом, скрытно протекали ручьи и речки и которые топографы и геоморфологи именуют «поперечными профилями речных долин»; все было, как должно быть в свежем и синеватом воздухе, о котором прогнозисты, синоптики и метеорологи сказали бы, что это «приземный

слой атмосферы», который «выхолаживается в результате устойчивого антициклона».

И все было так, как и должно было быть, в том, что на дороге, появился охотник с рюкзаком и ружьем за плечами, с собакой, которая стояла, почти вплотную прислонившись к его ногам, и первая приветственно помахала черным и лохматым хвостом.

Охотник тоже поднял руку с лыжной палкой, остановил подводу и спросил, кто, куда и зачем едет.

Возница ответил, что в деревню Савватеевку он везет человека из кино, а назад этот человек уже не поедет санным путем, потому что полетит на вертолете.

Охотник и возница еще поговорили об этом человеке — почему ему не сидится на месте рядом с собственной женой в городе Москве и почему он так нерасчетливо тратит не свои, а казенные проездные деньги; почему, если уж он заехал в дальние края, не позаботился о местном населении и не захватил с собою новую картину, чтобы в ней было все как настоящее и в то же время очень интересное.

Собака с рыжими подпалинами по черному знакомилась тем временем с лошадью, не очень откровенно, но последовательно обнюхивая ее со всех сторон, от потной лошади в морозный воздух исходил пар, лошадь фыркала, вздыхала и нетерпеливо переступала с ноги на ногу.

Голоса людей и вздохи лошади, которой почему-то не нравилось собачье принюхивание, слышались Иванову как бы издалека, с расстояния в несколько десятков шагов — ему не хотелось развязывать уши меховой шапки, чтобы слышать лучше.

Он сидел неподвижно, ощущая союз и братство незнакомства между тремя людьми, одной лошадью и одной собакой, которое нередко бывает очевиднее самых близких отношений, и мог бы сидеть так сколько угодно, хотя бы до конца жизни.

Он мог бы объяснить им всем кое-что о себе: кто он, зачем едет, что вспоминает дорогой, но это было ни к чему сейчас, никто из них не нуждался в этом, даже он сам, хотя давно уже в его правилах и привычках было рассказывать и объяснять о себе все, все, что касалось его прошлого и особенно будущего, включая будущее его взрослых, женатых и замужних детей и всего человечества.

В нынешней поездке у него вдруг потерялся интерес к своим собственным словам.

По замыслу его нового фильма, санным путем, через тайгу, должны были ехать молодой геолог, женщина-врач с дочерью-студенткой, охотник и, может быть, еще кто-нибудь, а на этом пути стало бы развиваться все содержание фильма — любовное, социальное, научно-познавательное.

Вот он и поехал, чтобы увидеть этот путь глазами своих героев, но их глазами не увидел ничего, а все — своим собственным, причем не нынешним, а прошлым взглядом.

У него был такой творческий навык — размышлять о прошлом своих героев: кем и чем они были до того, как стали его героями, какую прожили жизнь? Почти по Станиславскому...

Нынче и это оказалось ни к чему — свое прошлое возникало перед ним все время и неотступно, чужого не было.

С ним этого давно не случалось, разве только в юности, когда он еще не умел строить отдельные творческие замыслы и говорить о них вслух, потому что вся его собственная и даже вся окружающая жизнь казалась тогда ему одним-единственным огромным и безусловно необходимым замыслом...

Наконец охотник взял в обе руки лыжные палки, а собака подняла кверху свой лохматый хвост и повертела им в воздухе.

Собака — все ее туловище и голова — была покрыта инеем, поэтому она казалась тусклой, невыразительной, а хвост оставался натурально-черным, и, как будто зная об этом, собака энергично действовала им.

Лошадь громко и облегченно вздохнула, она, в общем-то, неплохо отнеслась к знакомству с собакой, но где-то в глубине души была не прочь расстаться с ней, она торопилась туда, где ей за ее серьезную и добросовестную работу полагался хороший отдых, сытный овес и пахучее сено.

Беседа закончилась.

Охотник все-таки подошел на минуту к Иванову и непосредственно ему объяснил, когда можно ждать вертолет, чтобы улететь из Савватеевки, после этого он толкнулся палками.

Лыжи, набирая скорость, понесли охотника под уклон, его фигура стала мелькать между землисто-се-

рых стволов высоких сосен и как будто даже сквозь них.

Это был точь-в-точь тот охотник, который мог бы сопровождать по санному пути молодого геолога, женщину-врача, ее дочь-студентку и еще кого-нибудь из героев Иванова в его новом фильме под названием «Санный путь». Если бы этот фильм состоялся...

От кончика носа до кончика хвоста вытянувшись в одну прямую линию, собака скользила по лыжному следу за охотником.

Лошадь не быстро, но торопливо побежала своей дорогой — ей оставалось бежать три-четыре километра, недалеко, и она догадывалась об этом.

Иванов же думал, почему он так мало замечает свой нынешний путь, а только вспоминает и вспоминает.

Видит вокруг себя пейзажи, а свою дорогу заметил только в каких-то отрывках — в цвете леса и неба?

Масть лошади, на которой он ехал, он увидел только что, вот сейчас — лошадь оказалась гнедой, запах ее пота ударил ему в лицо лишь сию минуту — он был острым и гармонировал с запахом нынешнего, тоже острого мороза. Скрип санных полозьев, который сопровождал его нынче, был тоже не нынешним и доносился откуда-то издалека.

Вот и с замыслом происходило что-то: он рвался в клочки и уходил от него.

Он пришел к Иванову, как всегда, нежданно-негаданно, в нестерпимо жаркие дни и на берегу моря, а теперь исчезал вместе с охотником и его собакой, так же мелькая где-то между серых, землистых стволов огромных сосен.

«Почему? — спрашивал себя Иванов.— Почему исчезает интересный и многообещающий замысел?!»

* * *

Потому что это был самый последний санный путь Иванова, только он не знал об этом, не догадывался.

Он был еще нестарым человеком, он проживет еще немало лет, поставит довольно много фильмов, в том числе один или два хороших, у него сохранится интерес к жизни, причем — взаимный, жизнь по-своему тоже будет интересоваться Ивановым, но на санях он больше

не будет ездить уже никогда: у него не будет такой необходимости.

Ни у него самого, ни у его детей и внуков. Все они в соответствии с расписаниями будут и дальше двигаться по Земле на поездах и автомобилях, будут плавать на водных ракетах и летать на воздушных лайнерах, и разве только один какой-нибудь внучонок Иванова однажды, в дни зимних каникул, прокатит три круга по центральной площади города на разукрашенной лошадке, в разукрашенных саночках.

Ни лошадки, ни саночки ничего не подскажут веселой детворе о санных путях, и дети никогда и ничего не узнают о них сами по себе, непосредственно, разве только с помощью книг, картин и кино.

Вот и в жизни Иванова было много путешествий, иногда он выбирал их, иногда — они его, он предчувствовал появление и еще каких-то неизвестных путей, но когда какой-нибудь путь становился прошлым для него — он не умел об этом догадаться.

1972

СОДЕРЖАНИЕ

СОЛЕНАЯ ПАДЬ. *Роман* 7

ОСЬКА — СМЕШНОЙ МАЛЬЧИК. *Фантастическое повествование* 447

САННЫЙ ПУТЬ. *Рассказ* 595

Залыгин С. П.

З-24 Собрание сочинений. В 6-ти т. Т. 2. Соленая Падь: Роман; Оська — смешной мальчик: Фантастическое повествование в двух периодах; Санный путь: Рассказ.— М.: Худож. лит., 1989.— 607 с.

ISBN 5-280-00786-2 (Т. 2)
ISBN 5-280-00785-4

Настоящий том составили роман «Соленая Падь» (1963—1967), посвященный гражданской войне в Сибири, фантастическое повествование «Оська — смешной мальчик» (1973) и рассказ «Санный путь» (1972), затрагивающие философские проблемы бытия современного человека.

З $\frac{4702010201-315}{028(01)-89}$ Подписное ББК 84Р7

СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ ЗАЛЫГИН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ
ВТОРОЙ

Редактор Т. ШЕХАНОВА

Художественный редактор Е. ЕНЕНКО

Технический редактор Е. ПОЛОНСКАЯ

Корректоры
И. ШЕВЯКОВА, О. ЖУРАВЛЕВА

ИБ № 5435

Сдано в набор 31.01.89. Подписано в печать 20.11.89. Формат 84×108 $^1/_{32}$. Бумага кн.-журн. имп. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 31,92. Усл. кр.-отт. 31,92. Уч.-изд. л. 33,96. Тираж 100 000 экз. Изд. № III-3451. Заказ № 1943. Цена 2 р. 50 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького при Госкомпечати СССР. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15

